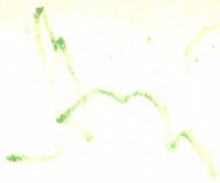


ВИЛИС ЛАЦИС

БЕСКРЫЛЫЕ ПТИЦЫ



ВИЛИС ЛАЦИС

БЕСКРЫЛЫЕ ПТИЦЫ

ВИЛИС ЛАЦИС

БЕСКРЫЛЫЕ ПТИЦЫ

РОМАН В ТРЕХ ЧАСТЯХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИЕСМА»
РИГА 1975

Перевод с латышского *М. МИХАЛЕВОЙ*

Художник *И. ЗВАГУЗИС*

© Перевод на русский язык
«Лиесма», 1975

Л $\frac{70303-577}{М\ 801\ (11)-75}$

НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ВИЛИС ЛАЦИС И ЕГО ТРИЛОГИЯ «БЕСКРЫЛЫЕ ПТИЦЫ»

Большой вклад в общую борьбу многонационального советского народа за победу коммунизма внес народный писатель Латвийской ССР Вилис Лацис — своей общественной деятельностью и литературным творчеством, всей своей жизнью. Как писатель и как советский государственный деятель он всегда стоял на страже интересов народа, неустанно, не щадя своих сил боролся за лучшее будущее, за воспитание нового, сильного и прекрасного, человека будущего. В своих мастерски написанных романах, переведенных ныне на многие языки мира и завоевавших признание широких масс далеко за пределами родины писателя, Вилис Лацис выразил несокрушимую веру в творческие возможности простого человека, в созидательную силу трудового народа, являющегося двигателем истории всего человечества.

Романы Вилиса Лациса «Бескрылые птицы», «Сын рыбака», «Буря», «К новому берегу» — это история борьбы и побед латышского народа. С большой идейной и художественной силой писатель изобразил в них представителя латышского трудового народа — в его каждодневном труде, в борьбе с эксплуататорами в буржуазной Латвии, с гитлеровскими захватчиками и врагами Советской власти. Никогда и ни в чем не отступая от истины, писатель показал, что борьба была тяжелой и трудной, что большие победы достигались ценой больших жертв и что в процессе этой борьбы формировался

и вырос новый, идейно обогащенный человек, человек-борец, человек-герой, человек-победитель и преобразователь жизни.

Эта оптимистическая вера в человека — сильного, бесстрашного, не отступающего перед трудностями, горьковского Человека с большой буквы — самая характерная и привлекательная черта творчества Вилиса Лациса. Его положительные герои нашли друзей среди трудящихся всего мира, они всегда с теми, кто борется за свои права, за улучшение жизни, за коммунизм.

Деятельность Вилиса Лациса не ограничивалась только писательским трудом. Когда в 1940 году после свержения буржуазной диктатуры в Латвии утвердился советский строй, освобожденный латышский народ избрал Вилиса Лациса Председателем Совета Народных Комиссаров Латвийской ССР. Затем он занимал пост Председателя Совета Министров республики, в течение нескольких лет был Председателем Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Как государственный деятель Вилис Лацис самоотверженно трудился в интересах народа, боролся за утверждение принципов социализма, за расцвет экономики и культуры Советской Латвии и всего Советского государства.

Ответственная государственная работа требовала много сил и времени. И все же Вилис Лацис находил возможность заниматься литературой. Именно в годы Советской власти он написал лучшие свои произведения — эпопеи народной борьбы «Буря» и «К новому берегу», удостоенные Государственных премий СССР. Оба эти произведения изданы на многих языках мира, они инсценированы и экранизированы. За плодотворную общественную и литературную деятельность Вилис Лацис награжден пятью орденами Ленина.

Рано, очень рано перестало биться горячее, беспокойное сердце писателя. Вилису Лацису было шестьдесят два года, когда в 1966 году тяжелая болезнь оборвала его жизнь. Многие замыслы остались неосуществленными, однако то, что сделано, стало достоянием народа, неиссякаемым источником силы в его дальнейшей борьбе.

Важное место в этом наследии занимает трилогия «Бескрылые птицы», написанная более сорока лет назад,

в ранний период творчества Вилиса Лациса, но не потерявшая своего значения и в наше время.

Интерес к литературе пробудился у Вилиса Лациса в ранней юности. Вначале этот интерес, как и у многих подростков, был связан с чтением, но вскоре у него возникло желание испробовать силы в писательском труде. Впервые это серьезно проявилось в Сибири, куда в 1917 году беженская судьба забросила семью рижского портового рабочего Тениса Лациса. Здесь Вилис поступил в Барнаульскую учительскую семинарию и работал посыльным в редакции газеты «Заря Алтая». После Октябрьской революции, в начале 1919 года, семья Лацисов переехала в Бийский район и обосновалась в поселке Латвийский, где Вилис Лацис работал секретарем сельсовета. В это время в сибирской латышской коммунистической газете «Сибирияс циня» появились первые публикации Вилиса Лациса — несколько стихотворений, фельетоны, корреспонденции о местной сельской жизни. Будущему писателю было шестнадцать-семнадцать лет, но уже тогда его отличала несомненная способность остро воспринимать явления окружавшей его жизни и передавать их в увлекательном, живом и интересном повествовании.

В 1921 году Вилис Лацис вместе с семьей возвращается в Латвию, и сразу же встает вопрос о том, чем заниматься, как заработать на хлеб насущный. Рабочему человеку в капиталистической Латвии решить этот вопрос было совсем не просто. Юноша хотел стать моряком, но, чтобы поступить в мореходное училище, необходима практика на судах. Такой практики у Вилиса Лациса не было, не удалось найти подходящего места и на пароходе. Пришлось пойти по стопам отца и устроиться на работу в порту. Изо дня в день Вилис Лацис на своих еще не окрепших плечах таскал тяжелые ящики и мешки с товарами, затем некоторое время вместе с рыбаками ходил в море на лососевый промысел, а зимой работал на лесозаготовках. Однако мечта о море и широких горизонтах не угасала. В 1923 году Вилису Лацису наконец удается устроиться кочегаром на пароход, который с грузом отправлялся в Англию и Францию. Это был его первый морской рейс, во время которого он убедился, что работать на пароходе отнюдь не легче, чем в порту. Лацис впервые соприкоснулся

с жизнью зарубежных стран, где рабочие были так же угнетены и обездолены, как и в Латвии. После прохождения обязательной военной службы Вилис Лацис в 1926 году опять уходит в море и на этот раз знакомится с портовыми городами Германии, Бельгии, Англии и Дании.

В конце двадцатых годов Вилис Лацис опять работает в рижском порту. Но виденное и пережитое переполняет его душу. Он берется за перо. После работы, вечерами и ночами, наперекор усталости, Лацис пишет свои первые рассказы и романы. Однако опубликовать их начинающему писателю без имени и без связей в буржуазной Латвии не так-то просто. В редакциях журналов и газет Вилис Лацис не находит поддержки: новичка или встечают с недоверием, или проявляют к нему полнейшее равнодушие. Кроме того, произведения этого молодого парня из рабочих никак не укладываются в обычную для буржуазной литературы тематику. Единственно Андрей Упит, работавший тогда в журнале «Домас», находит возможным опубликовать рассказ начинающего писателя. В то же время известный латышский писатель советует Вилису Лацису обратиться к прозе больших форм, так как, по его мнению, именно в романе лучше всего сумеют проявиться литературные способности молодого автора.

Это была первая личная встреча двух крупнейших латышских писателей. Спустя много лет Андрей Упит вспоминал, что Вилис Лацис был полон протеста против латышской буржуазной литературы того времени, против ограниченности националистически настроенных романтиков, сетовал по поводу неспособности или нежелания латышских писателей смело ставить социальные проблемы, которые глубоко взволновали бы широкие читательские массы. У молодого писателя было много готовых рукописей, которые привлекали горячим юношеским протестом против существующих условий жизни и страстными поисками пути к широким горизонтам. Это, подчеркивает Андрей Упит, был еще не осознавший себя реалист, питавший горячую любовь к «изуродованной личности человека», жаждавший освобождения человечества от оков капитализма.

Следуя совету Андрея Упита, Вилис Лацис пробует свои силы в жанре романа. Так родилась трилогия

«Бескрылые птицы» — первое крупное произведение молодого писателя. В начале тридцатых годов она была опубликована в периодике и сразу же привлекла внимание читателей как своей сюжетной напряженностью, так и реалистически точным изображением жизни буржуазной Латвии.

Что же, собственно, представляла собой буржуазная Латвия? По своей конституции она была демократической республикой. Однако действительность являла иную картину. После того как в 1919 году Советская власть в Латвии была жестоко подавлена, государственную власть при поддержке империалистов стран Запада захватили латышские буржуазные националисты. Латвия стала таким же государством замаскированной диктатуры буржуазии, как и другие демократические государства в условиях капитализма. Как внутренняя, так и внешняя политика Латвии, которую определяли имущие классы, резко противоречила жизненным интересам трудящихся. Господствующая верхушка все свои усилия направляла на укрепление положения городской и сельской буржуазии, а это, конечно, осуществлялось за счет эксплуатации трудящихся масс.

Особенно ухудшилось материальное положение трудящихся Латвии в конце двадцатых и начале тридцатых годов, когда весь капиталистический мир был охвачен жестоким экономическим кризисом. Резко сократился объем промышленного производства, и, чтобы компенсировать сокращение своих доходов, буржуазия развернула беспощадное наступление на жизненные интересы трудящихся. Возросла стоимость жизни, усилилась эксплуатация, безработица стала хронической.

Безработица была для рабочих самым страшным проклятием. Характеризуя тяжелое положение безработных, Центральный Комитет Коммунистической партии Латвии в одном из своих воззваний в 1924 году писал: «Безработица — обычное явление. Летом она уменьшается за счет ухода многих на сельскохозяйственные работы. Но с наступлением зимы опять растут ряды безработных. Опять голод, смерть, отчаяние, самоубийства становятся уделом рабочих».

В 1925 году в Латвии было зарегистрировано около 10 000 безработных, а в последующие годы их число удвоилось. В 1931 и 1932 годах безработица свела в мо-

гилу около полутора тысяч трудящихся Латвии, в основном в возрасте от 16 до 30 лет.

Бедствия, порожденные безработицей, ловко использовали капиталисты в целях усиления эксплуатации трудящихся. Люди были доведены до такого состояния, что соглашались за ничтожную плату выполнять самую тяжелую работу, чтобы хоть как-то просуществовать. Жадность и бесчеловечность предпринимателей не знала границ. Они наживались даже за счет безопасности труда. Интенсифицируя труд, предприниматели не повышали уровень техники, и ее примитивность была причиной очень многих тяжелых несчастных случаев. Даже сама буржуазия в издании «Латвийский статистический ежегодник», вышедшем в Риге в 1933 году, вынуждена была признать, что на каждую 1000 рабочих и служащих, занятых в промышленности, в 1931 году было 175, а в 1933 году — 296 несчастных случаев. К тому же вне поля зрения оставались рабочие, страдавшие туберкулезом — столь характерным для условий капитализма заболеванием, — этих больных буржуазная статистика даже не считала нужным регистрировать.

Рост стоимости жизни и снижение реальной заработной платы рабочих обостряли классовые противоречия и вызывали в массах недовольство существующим экономическим и политическим положением. Одной из наиболее распространенных форм протеста были экономические стачки, которые особенно широкий размах получили во второй половине двадцатых годов. Так, например, в 1928 году крупные забастовки организовали портовые рабочие Риги и Лиепаи, рижские обувщики и др. Этими забастовками официально руководили левые рабочие профсоюзы, а фактически — Коммунистическая партия Латвии, создавшая нелегальные коммунистические фракции во всех крупнейших профсоюзах. Сама Коммунистическая партия в это время была загнана в подполье — возможности легального существования она была лишена сразу же после прихода латышской националистической буржуазии к власти. Стачки нередко кончались поражением, так как органы буржуазной власти арестовывали руководителей забастовок, использовали штрейкбрехеров, посылали солдат работать вместо бастующих. Однако в ряде случаев трудящиеся добивались полной или частичной победы и тем самым

хотя бы временного улучшения своего материального положения и условий работы.

Рост революционной активности трудящихся, в чем, несомненно, немалую роль сыграла организаторская и воспитательная работа в массах Коммунистической партии Латвии, так обеспокоил правительство буржуазной Латвии, что в 1928 году оно приняло решение о ликвидации левых профсоюзов. На эту меру пролетариат Латвии ответил широкой политической стачкой и демонстрацией, принудив буржуазию частично отступить и допустить основание отдельных новых профсоюзов. Но это был только ловкий маневр буржуазии. Уже в 1931 году были закрыты и эти новые профсоюзы. В результате возможности трудящихся Латвии защищать свои экономические и политические интересы сократились до минимума.

Так на деле выглядели «свободы» в «демократической» Латвии. Однако буржуазная печать и литература старались замолчать или фальсифицировать реальное положение вещей. В своих произведениях идеологи буржуазии или уводили читателя в далекие исторические экскурсы, к истокам «латышских мифов», живописуя героические деяния вождей древнелатышских племен, или изображали в идеализированно-слащавых красках представителей имущих классов как самых больших благодетелей своего народа. Авторы этих произведений замалчивали классовые противоречия, проповедовали «общность интересов» нации, а буржуазную Латвию представляли в романтизированном свете как идеальное воплощение интересов всего латышского народа.

Конечно, в Латвии были революционно и демократически настроенные писатели, самое видное место среди которых принадлежало Андрею Упиту. Они правдиво изображали многие стороны буржуазной действительности, разоблачали стяжательство и аморальность господствующей верхушки, ее политические и экономические спекуляции. Однако реалистическое острие этой литературы главным образом было направлено на разоблачение буржуазии и ее приспешников, жизнь рабочих нашла в ней лишь частичное отражение.

В таких сложных условиях вышла в свет трилогия Вилиса Лациса «Бескрылые птицы», в которой впервые

в латышской литературе так правдиво и широко была изображена жизнь рабочих в «демократической» Латвии. Создавая свое произведение, писатель отталкивался от непосредственной действительности, которую наблюдал воочию, испытал на самом себе и которая болью отозвалась в его душе. Это было разоблачение и суровое осуждение «свободной» Латвии и всей капиталистической системы. Во втором романе трилогии «По морям» Вилис Лацис наглядно и убедительно показывает, что и в других капиталистических странах господствуют такая же эксплуатация, бесправие и бедствия, как и в Латвии. Он опровергает распространенную в буржуазной Латвии легенду об Америке как о стране доллара и демократии, как о «золотом дне», где каждый, кто только пожелает, может разбогатеть. Это также было вызовом Вилиса Лациса буржуазной литературе его времени, в которой зарубежная жизнь изображалась в ореоле экзотической романтики. Вилис Лацис — первый в латышской литературе писатель, рассказавший горькую правду о жизни рабочих Америки и других зарубежных стран.

Раскрытые в трилогии противоречия между трудом и капиталом так глубоки, жестоки и трагичны, причем не только на родине писателя, но и во всем капиталистическом мире, что их существование как таковое следует квалифицировать как преступление против человечества. Эти противоречия подлежат уничтожению в самих основах, что невозможно сделать, не разрушив всю капиталистическую систему в целом.

Хотя в трилогии нет непосредственного призыва к революционной борьбе, в романе «По морям», в котором изображена жизнь зарубежных рабочих, мысль о необходимости борьбы звучит особенно сильно. Например, оппонируя тем, кто в безработице обвиняет машины, вытесняющие человека как лишнего и ненужного, Волдис Витол прямо говорит: «Надо уничтожать не машины и тех, кто их изобрел, а тех, кто эти машины присвоил как частную собственность... Надо сделать машину достоянием всего народа...»

Не будем забывать, что трилогия написана в условиях буржуазного реакционного режима, когда преследовалась всякая прогрессивная мысль, когда писатель, стре-

мившийся развивать тематику революционной борьбы, был вынужден говорить вполголоса. Поэтому эпизоды, повествующие о приобщении Карла Лиепзара к классовой борьбе (в конце четвертой главы романа «Бескрылые птицы») и вступлении Волдиса Витола в ряды революционных борцов (в конце трилогии), Вилис Лацис смог ввести в свое произведение только в советское время.

Не мог Вилис Лацис в полный голос говорить и о том, какой строй следует установить взамен капиталистического. Знал ли об этом сам писатель? Следует думать, что знал. Вилис Лацис уже с 1928 года выполнял задания нелегальной Коммунистической партии Латвии. В то же время он усердно занимался самообразованием, изучал марксистскую литературу. Большое впечатление на него произвели книга Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» и первый том «Капитала» К. Маркса. Естественно, что интерес Вилиса Лациса привлекала также жизнь в Советской стране. И, очевидно, он многое знал о первом в мире социалистическом государстве. Поэтому в первой публикации второго романа трилогии «По морям» он подводит читателя к мысли о том, что на место капиталистического должен прийти советский строй. Устами своих героев — в беседе Волдиса Витола с Зоммером — Вилис Лацис прямо и ясно сказал, что человеческие условия жизни и работы для моряков созданы только на советских судах. Однако, добавляет писатель, капиталисты мира не последуют примеру государства, «которое начало с того, что разорило капиталистов». Значит, это должны сделать сами рабочие; каким образом — писатель оставляет решить читателям. Он подчеркивает, что такая жизнь не приходит сама собой, что ее нужно завоевать. В советское время, при редактировании трилогии, данный эпизод расширен и изменен, поэтому цитируем эти строки непосредственно по первой публикации, увидевшей свет в 1931 году: «От Зоммера Волдис услышал удивительные вещи о жизни на русских судах... Из всего слышанного, а также из того, что он увидел собственными глазами, побывав с Зоммером на пароходе, он понял, что русские моряки ушли далеко, далеко вперед, намного опередив своих иностранных коллег. Устройство их жизни, взаимоотношения и быт были на таком уровне, о каком могли лишь мечтать те, кто

надеялся, что справедливость на земле восторжествует сама по себе, по благоволению небес».

Такой несомненной симпатией пронизано отношение Вилиса Лациса к Советскому Союзу в то время, когда латышские буржуазные националисты, прибегая к демагогии, злобно и крикливо клеветали на советский строй. Вилис Лацис нашел в себе смелость сказать правду о восточном соседе и выдвинуть советский строй как образец государственного устройства, к которому должны стремиться латышские трудящиеся.

Новым явлением был также главный герой трилогии Волдис Витол; с ним в латышскую литературу вошел полнокровный образ портового рабочего и моряка — сильного, честного человека труда, неустанно ищущего выхода из трясины капиталистического мира. Образами Волдиса Витола, а также Карла Лиепзара и Лаумы Гулбис Вилис Лацис полемизировал с буржуазными идеологами, утверждавшими, что в «демократической» Латвии каждый работающий может обеспечить себе человеческие условия существования, может стать хозяином жизни. В трилогии он показал, что без борьбы это неосуществимо, что вне сознательного, целеустремленного, боевого коллектива рабочий, как бы он ни был честен и трудолюбив, как птица без крыльев, не в состоянии подняться для полета в высокие дали. Без борьбы человек при капиталистическом строе обречен на гибель как физически, так и духовно — жернова капитализма мелют беспощадно и основательно. Драма семьи Гулбисов в этом отношении — самый яркий, но не единственный пример в трилогии. Трагедия Лаумы Гулбис — это судьба тысяч трудящихся капиталистических стран. И напрасно буржуазия старалась доказать, что рабочих девушек на улицу гонят развращенность и низменные страсти. На примере Лаумы Гулбис Вилис Лацис убедительно показал, что проституция — это порок, произрастающий на почве бедности, бедствий, безнадежности, это отчаянная попытка девушек-работниц сохранить хоть какую-то возможность существования, хотя и эта попытка терпит крушение.

Трилогия «Бескрылые птицы» создана на материале непосредственных наблюдений писателя, пережитого и перечувствованного, его собственного жизненного опыта. В первом варианте трилогии Волдис Витол пыта-

ется заниматься литературным трудом. Так же, как и сам автор, он посылает свои произведения в редакции и тщетно ждет их опубликования. В большой мере это отражает горькие переживания самого Вилиса Лациса; его герой проходит тот же путь отчаяния и сомнений, бросает писательство, чтобы через некоторое время вновь к нему вернуться. Позднее, готовя трилогию к отдельному изданию, Вилис Лацис отказался от эпизодов, в которых речь шла о литературной деятельности Волдиса Витола; автор считал, что это специальная тема, которую следовало или развернуть шире, или совсем отбросить, и он сделал последнее. Однако автобиографические моменты в образе Волдиса Витола сохранились и без этого.

В статье «Немного о моей работе» Вилис Лацис говорит: «... свой биографический материал я разбрасывал направо и налево во многих своих произведениях! Автобиографический материал можно найти в книгах «Бескрылые птицы», «Сын рыбака», «Семья Зитаров», «Буря» и в других моих произведениях, но ни в одном из них нет чисто автобиографического персонажа».

Следовательно, отождествлять образ Волдиса Витола с самим писателем, как нередко делают читатели, неверно. Все герои произведений Вилиса Лациса — это обобщенные литературные образы, в которых воплощены типичные черты, характерные для многих лиц. В основе этих образов лежит жизненная правда, так как «действительность, конкретные наблюдения, — отмечает Вилис Лацис, — это исходная, точка, старт, откуда писатель отправляет в путь своих героев». Но этот конкретный жизненный материал литературно обработан, преломлен через призму художественного восприятия писателя.

Герои Лациса — представители определенной исторической эпохи и определенной социальной среды. Вилис Лацис считает, что «первая и главная задача писателя — создать правдивую картину той эпохи, свидетелем и участником которой является он сам», так как, «правильно, исторически правдиво и глубоко изображая свою эпоху и жизнь людей, писатель в то же время помогает ее создавать, влияет на нее, движет ее вперед».

Эти строки написаны в советское время, однако такой взгляд на труд писателя был присущ Вилису Лацису

еще в начале его творческого пути. Об этом со всей очевидностью свидетельствует также трилогия «Бескрылые птицы», которая не только реалистически отображает действительность, но и заставляет думать о ее преобразовании, о борьбе против старого, капиталистического мира.

Трилогия имела большое значение для роста художественного мастерства писателя. Андрей Упит был прав, указав, что творческие возможности Вилиса Лациса наиболее полно проявятся в прозе больших форм. Как известно, талант Вилиса Лациса наивысшего расцвета достиг в написанных в годы Советской Латвии эпопеях. Но уже в «Бескрылых птицах» проявляется еще по-настоящему не осознанное и все же несомненное тяготение литературного таланта Вилиса Лациса к тем приемам художественной выразительности, которые в дальнейшем наиболее полное выражение получили в созданных им широких эпических полотнах.

Одна из главных характерных черт мастерства Вилиса Лациса, наметившаяся уже в «Бескрылых птицах», — умение через судьбы своих героев вскрыть существеннейшие социальные противоречия изображаемой эпохи, те противоречия, которые определяют направление развития общественной жизни. В трилогии это в первую очередь противоречия между трудом и капиталом.

На переднем плане трилогии — образы молодых людей из рабочей среды. Это Волдис Витол, Карл Лиепзар и Лаума Гулбис, стоящие лицом к лицу с действительностью своего времени. Но, столкнувшись с трудностями жизни, каждый из них идет своим индивидуальным путем.

Писатель показывает, что рабочий класс в условиях капитализма отнюдь не является монолитным. Если есть юноши, которых сломили тяготы жизни, то есть и такие, которые настойчиво ищут и находят выход из трясины капиталистической жизни. Есть птицы с крыльями и птицы без крыльев. В этом-то и проявилось умение молодого писателя типизировать, умение показать отдельных индивидуумов как составную часть народной массы, как представителей определенных социальных группировок со всеми присущими им классовыми и психологическими чертами.

В «Бескрылых птицах» изображены, конечно, не все

социальные группировки общества. Такой широкий показ картины общественной жизни, с которым мы позднее встречаемся в эпопеях «Буря» и «К новому берегу», не входил в задачи трилогии, да и не был в то время еще по плечу Вилису Лацису. И все же типичные черты тех или иных социальных групп присущи не только уже упомянутым образам молодых рабочих, но и многим другим персонажам трилогии.

Так, очень характерен тип физически измученной и духовно изуродованной труженицы — старой Гулбене, матери Лаумы, которую тяжелый труд прачки и постоянные лишения превратили в отупевшее, бесчувственное существо. Столь же черств и бесчувствен к страданиям других людей поэт Пурвмикелис, только этот представитель буржуазной интеллигенции умеет ловко скрывать свое настоящее лицо под характерной для буржуазной аристократии маской лицемерия и притворства, свои низменные поступки маскировать красивыми словами об идеалах человека. Мать Лаумы и Пурвмикелис — представители двух социально противоположных группировок, но как мастерски Вилис Лацис сумел обрисовать индивидуальное лицо каждого и вместе с тем показать, что оба — порождение капиталистического строя!

Самобытность Вилиса Лациса как писателя наиболее ярко проявилась в обрисовке и типизации образов положительных героев. Еще с первых шагов творчества Вилис Лацис всегда пытался свои общественные идеалы воплотить в каком-нибудь положительном герое. Обычно это выносливый физически и кристально чистый душевно правдоискатель или борец, воплощающий в себе силу и мудрость трудового народа, выражающий его лучшие стремления, мечты и чаяния. И всегда — это человек труда, и показан он в процессе труда.

Так, например, Волдиса Витола мы видим то в порту на погрузке угля и других товаров, то на лесоразработках, то кочегаром на судне у пылающих топок. И именно в процессе этого труда и в связи с ним в Волдисе Витоле рождаются ненависть, отчаяние, упорство, выдержка и, наконец, сознание необходимости переустройства жизни. Писатель использует богатую гамму красок, чтобы всесторонне раскрыть внутренний мир своего

героя, показать, как подневольный, рабский труд воздействует на формирование сознания человека.

В трилогии «Бескрылые птицы» намечается такая характерная для последующего творчества Вилиса Лациса черта, как публицистичность. О том, оправданны ли публицистические отступления в беллетристике, в свое время много спорили. Вилис Лацис и теоретически, и практически защищает право писателя публицистическими вставками вторгаться в повествование. Более того, он считает, что иногда даже полезно, чтобы писатель с научной точностью охарактеризовал общественные явления, конкретные исторические условия или высказал свое отношение к тем или иным философским проблемам.

В трилогии «Бескрылые птицы» таких публицистических отступлений довольно много. Они невелики по объему — обычно это несколько строк или абзацев, метко характеризующих общественные явления соответствующей эпохи.

Так, например, в романе «Пятиэтажный город» Вилис Лацис говорит о стачке портовых рабочих, об основании новых профсоюзов, в романе «По морям» — о спекуляциях рижских пароходных компаний старыми, отслужившими свой срок судами, о стачке портовых рабочих в Бордо, о социальных контрастах в зарубежных городах, в романе «Бескрылые птицы» — о благотворительной деятельности дам, в которой проявилось стремление господствующих классов буржуазной Латвии грошовыми подачками утвердить свой «гуманизм».

Эти стороны действительности, конечно, говорили не в пользу существующего строя. Поэтому, когда спустя несколько лет после опубликования в периодике романы трилогии вышли отдельными книгами, цензура буржуазной Латвии все упомянутые эпизоды вычеркнула. В Латвии к этому времени установилась фашистская диктатура, и открыто говорить о классовых противоречиях было уже невозможно. Восстановить вычеркнутые цензурой места и более широко их развернуть Вилис Лацис смог только в годы Советской власти, когда трилогия вышла в новой, расширенной редакции на латышском и русском языках. В этой редакции мы и представляем ее сегодняшнему читателю.

От момента написания «Бескрылых птиц» нас отде-

ляет несколько десятилетий. В жизни латышского народа за эти годы произошли большие исторические перемены. Кануло в вечность господство капиталистов. Латвия как равноправный член вошла в состав Союза Советских Социалистических Республик. Однако трилогия В. Лациса звучит современно и сегодня, ибо капиталистический строй с его уродствами и порождаемыми им трагическими ситуациями все еще продолжает оставаться реальностью на нашей планете. Советскому читателю трилогия В. Лациса напоминает о том, какого огромного напряжения сил — духовных и физических — потребовала борьба латышского народа, завершившаяся ликвидацией эксплуататорского строя.

Б. Гудрике
Канд. филол. наук

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Роман «Бескрылые птицы» написан в 1931—1933[1] *годах, в виде трилогии, состоящей из трех частей: «Пятиэтажный город», «По морям» и «Бескрылые птицы». Это были годы жестокого экономического кризиса в капиталистическом мире (в том числе и в буржуазной Латвии), годы свирепого наступления все более наглевшей националистической буржуазии на элементарные права и жизненный уровень рабочего класса, годы беспросветной безработицы и подготовки фашистского переворота, который произошел в Латвии в мае 1934 года.*

По указке западноевропейского капитала, держа курс на фашистское государство, «образцы» которого уже были в Италии и Германии, латвийская буржуазия с каждым днем все больше наступала на такие элементарные гражданские права, как свобода печати, собраний, право объединения в профсоюзы. Это наступление началось еще до экономического кризиса. В 1927 году охранка разгромила профсоюз рабочих портового транспорта — самый боевой и революционный профсоюз Латвии.

---

[1] В действительности уже последний роман трилогии появился в газете «Социалдемократс» в 1932 г. (15 III — 30 VII). Сам Лацис, выпуская «Бескрылые птицы» отдельным изданием в 1939 году, в конце первой части поставил дату «1930 г.». Таким образом, временем написания трилогии следует считать 1930—1932 годы.

Гонениям подвергались и писатели, осмеливавшиеся в своих произведениях объективно изображать картину мрачной действительности, — насколько это вообще было возможно в условиях буржуазной цензуры. В мае 1931 года был привлечен к судебной ответственности писатель Индрик Леманис, нарисовавший в одном из своих рассказов правдивую картину нравов, господствовавших в кавалерийском полку латвийской армии. Несколькими днями позже — сразу после опубликования в газете первой главы романа «Бескрылые птицы» — к следствию был привлечен автор этих строк, сатирически изобразивший прощание уволенных в запас солдат со своим бывшим начальством. Дело дошло до обсуждения этих случаев в сейме, и только благодаря энергичным действиям рабоче-крестьянской (коммунистической) фракции и некоторых прогрессивных депутатов, а главным образом из-за опасения буржуазных кругов, что дело может принять политически невыгодный для них оборот, следствие было прекращено.

С большим трудом удалось довести до конца печатание трилогии в газете. Мешала цензура. Этим в большой мере обусловливалась и композиция «Бескрылых птиц». Несколькими годами позже, когда трилогия вышла в свет отдельными книгами, она была чудовищно искалечена множеством купюр. Только в 1949 году, выпуская новое издание «Бескрылых птиц», автор восстановил первоначальный текст, стилистически доработал его и ввел несколько новых эпизодов (преимущественно в конце романа), сняв некоторые места, явно грешившие натурализмом.

Автор хотел в своем раннем произведении показать тщетность усилий «бескрылых птиц» — беспомощность одиночек в борьбе за свое место «под солнцем», за свои человеческие права и за осуществление своих мелких индивидуалистических мечтаний. Одни из них гибнут, так и не найдя правильного пути, другим удается в конце концов, пройдя суровую жизненную школу, встать на правильный путь борьбы, найти коллектив, обрести крылья, стать сознательными революционными борцами, — в тот самый час они перестают быть беспомощными «бескрылыми птицами» и становятся частицей того мощного, неустрашимого и сознательного передового отряда рабочего класса, мужественная борьба

которого увенчалась полной победой и привела латышский народ к созданию советской, социалистической Латвии.

Отображение героического полета этих орлов — борцов за народное счастье — не входит в рамки этой книги. Это большая благородная тема, достойная многих книг наших писателей. Немало таких книг у нас уже есть и много еще будет написано.

В. Лацис

10 ноября 1953 г.

Часть первая



ПЯТИЭТАЖНЫЙ ГОРОД

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Господа, будьте любезны, очистите пути! Не ходите по рельсам! Неужели обязательно каждому напоминать, что зилупский поезд уже вышел с соседней станции?

У маленького железнодорожного служащего сегодня вечером гораздо больше работы, чем обычно. Эти уволенные в запас солдаты еще толком не понюхали воздуха за стенами казармы, а уже забыли строевой устав. Им хватило бы места на перроне и в зале ожидания, но они, сбившись кучками, заняли всю площадь перед станцией, все железнодорожные пути и своей бесцеремонностью доставляют немало хлопот педантам железнодорожного ведомства.

— Господа, очистите рельсы — сейчас подойдет поезд!

«Господа» — это звучит совсем неплохо. Одетые в отслужившие свой срок форменные френчи и брюки, парни, которым посчастливилось по жеребьевке избавиться от казармы на три месяца раньше других товарищей, не избалованы подобным обращением. Нижний чин, которого ставят «под ружье» по случаю дурного расположения духа капрала или сержанта, — как будто физические страдания подчиненного могут привести в хорошее настроение начальство, — отнюдь не господин. «Отечество!» — говорят ему те, кто разъясняет устав. Для блага отечества стоишь ты под винтовкой и рано утром во внеочередном наряде чистишь на кухне картошку; для блага отечества тебя величают идиотом, обезьяной, дураком и бараном; для блага отечества тебе командуют: «Бегом!» — и гоняют до тех пор, пока

ты в состоянии таскать ноги, — только господином тебя не называют ради блага отечества.

Пятнадцать бесконечно длинных месяцев эти парни чистили стволы росс-энфильдовских винтовок, наводили блеск на пуговицы френчей, дышали воздухом, насыщенным испарениями человеческих тел, стриглись под нуль и зубрили дисциплинарный устав — средоточие премудрости латвийской армии.

Волдемар Витол повернул к станции.

— Пошли, ребята! Раз нельзя — значит нельзя. Не стоит их дразнить.

Весь перрон был заставлен вещами отъезжающих. Зеленые, красные, черные и коричневые сундучки, желтые фанерные баулы, мешки валялись повсюду. Некоторые сидели возле своих вещей, но большинство гуляло, вызывающе засунув руки в карманы и покусывая папиросу. Они хмелели — не столько от пьянящих майских запахов и выпитого вина, сколько от сознания непривычной свободы. Они взволнованы — в этот вечер у них в кармане не увольнительные записки «до вечерней поверки», а отпускные удостоверения «до особого распоряжения». Они могли идти куда угодно, оставаться всю ночь на улице, на свободе, их больше не тревожили грозно-повелительные звуки сигнала сбора. Весь необъятный мир призывно протягивал им руки, сотни возможностей открывала жизнь — стоило только избрать одну из них. И что удивительного, если у них кружились головы?

Волдис Витол не был исключением. Ему хотелось двигаться, говорить, смеяться.

— Смотрите, даже оркестр прислали!

По команде седого капельмейстера перед станцией выстраивались барабанщики и кларнетисты-сверхсрочники.

— И все это в нашу честь! — сказал Волдис. — Все эти марши, крики «ура!», рукопожатия, весь этот вечер — все наше! Какими важными персонами мы стали!..

— Ты думаешь, они ублажают нас от большой любви? — скептически спросил бывший ефрейтор Аболтынь. — Они стараются ошарашить нас непривычными почестями. Невыгодно, когда отслужившие свой срок солдаты уезжают озлобленными, с чувством горечи.

Плохие воспоминания опасны! Поэтому присылают оркестр, приходят сами, пожимают нам руки, дают отеческие наставления на дорогу — словом, льстят нашему тщеславию и надеются, что мы забудем все унижения, которым они нас ежедневно подвергали.

— Все это мишура, — усмехнулся Волдис, — пусть они распинаются сколько угодно, я ничего не забуду!

— Да, но разве они могли действовать иначе? — возразил низенький Упите, сын зажиточного крестьянина. — Все предусмотрено уставом. Кто смеет нарушать его?

Волдис Витол поглядел на него так, как взрослые смотрят на наивного ребенка.

— В каком уставе сказано, что начальник должен руководствоваться в отношении к солдату личной враждой, антипатией или капризом? Если у старшего сержанта болят зубы, в этом не виновата вся рота и из-за этого нельзя ставить под ружье целую сотню людей. Если господин капитан не поладил утром с супругой, разве поэтому надо гонять сто пятьдесят человек в полной выкладке по грязному шоссе?

В этот момент загремели медные трубы. Над всеми остальными звуками доминировал грохот барабана, и поступь гулявших юношей привычно подлаживалась под такт марша. Это был старинный военный марш, который бесчисленное множество раз на маневрах, во время дальних походов подбадривал усталых солдат. Перрон оживился. В такт маршу звучали шаги по искрошившемуся бетону.

— Внимание! — крикнул кто-то тонким голосом.

Музыка смолкла, все глаза устремились на двери станции, в которых показался стройный офицер в полковничьей форме.

Шепот пробежал по перрону. Дымящиеся папиросы исчезли в кулаках, смех умолк, веселые лица молодых людей превратились в застывшие маски. Казалось, все перестали дышать.

Издали по бетону зазвучали четкие, размеренные шаги. Некто с каской на голове и застывшей у виска рукой, звеня шпорами, приближался к полковнику, будто гонимый невидимой механической силой. Не дойдя трех шагов, он вдруг замер и опустил шашку к ногам. Стройный полковник приложил руку к козырьку и

остановился против дежурного офицера. Тот затараторил что-то с невероятной скоростью, слова спешили опередить друг друга — как будто от того, насколько быстро будет отдан рапорт, зависела военная слава и безопасность родины. Рапорт закончился энергичным выкриком:

— Происшествий нет!

Полковник упругой походкой шагнул вперед, поздоровался с дежурным офицером и равнодушным взглядом окинул застывшую в ожидании толпу.

— Здравствуйте! — крикнул он.

В ответ раздалось нечто похожее на собачий лай.

— Вольно! — крикнул дежурный офицер.

Полковник прошел мимо лежащих кучками вещей, покосился на одежду уволенных. Почти никто не надел ремня, воротники у всех были расстегнуты, и нельзя сказать, чтобы ботинки были тщательно начищены. Этого, конечно, следовало ожидать, и здесь ничего нельзя было поделать. Полковник остановился посреди перрона и откашлялся.

— Солдаты! — раздался мягкий голос, который они не раз слышали на парадах. — Вы сейчас возвращаетесь по домам, к своим прежним, гражданским занятиям. Сюда вы пришли чужими, незнакомыми друг другу, каждый со своими мыслями. Армия вас объединила, закалила и взрастила людьми, на которых родина в трудную минуту может положиться.

В толпе кто-то громко чихнул. Слегка задетый полковник не сразу обрел дар речи. Он говорил о каких-то врагах по ту сторону границы, о ком-то, кто, подобно волку в овечьей шкуре, ходит здесь, среди нас. Он указал, насколько велики задачи получивших боевое воспитание граждан, как благодарны они должны быть своим военным наставникам и как было бы прекрасно, если бы, уезжая домой, они увезли с собой хорошие воспоминания.

В толпе послышалось приглушенное бормотанье. Полковник заметил, что к нему приближается группа парней. Нет, он ничего не имел против. Молодые люди, испытавшие столько унижений и получившие сегодня свободу, подняли командира на руки и стали подбрасывать в воздух под крики «ура!»

— Благодарю, ребята, сердечно благодарю! — говорил полковник, слегка покраснев. После этого он задержался

недолго. Пожелав отъезжающим счастливого пути, он прошел через станционное здание и сел в поджидавшую его коляску.

Тяжело отдуваясь, приближался зилупский поезд. Пронзительный свисток, затихающий гул рельсов — и на перроне поднялась суматоха. Каждый спешил к своим вещам. Тот, кто посильнее, локтями отвоевывал право первым войти в вагон. Крики, брань, смех. Суматоха продолжалась минут пять. Заняв места в вагоне, большинство вернулось на перрон, — ведь еще многие командиры и инструкторы ожидали своей доли почестей от благодарных питомцев.

В этот вечер выяснялись популярность и престиж каждого командира. Ротные и взводные командиры трепетали в ожидании момента, когда неутомимые руки отъезжающих оторвут их от земли и подбросят в воздух. Лишиться этого было позором, и смыть его можно было, разве только поставив под ружье сотню ни в чем не повинных юношей или лишив всю роту увольнения по крайней мере на неделю. В этот вечер даже самые придирчивые и требовательные командиры искали расположения своих бывших подчиненных.

— Аболтынь, это не старший сержант Спрудзан? — Волдис Витол указал на сутуловатую фигуру, одиноко стоявшую у станционного забора.

— Вот дьявол! Тоже приперся!

— Как ты думаешь, Аболтынь, он не хочет, чтобы мы его немного помяли?

— Эту собаку? Неохота руки марать, а то бы я ему показал.

— Давай подурачимся! Есть у тебя булавка?

— Есть, английская.

— Сойдет и такая. Ты понимаешь?

Аболтынь, улыбнувшись, кивнул головой. Волдис обернулся к остальным.

— Ребята, покачаем Спрудзана. Да подольше!

Спрудзан был известный всему полку негодяй, которому сам черт не угодил бы. Его ротный командир по слабости характера не заботился о поддержании дисциплины в роте и поэтому всю власть передал Спрудзану. Ни у одной казармы не стояло столько «сушильщиков штыков». Он наказывал за все — достаточно было не

понравиться ему чем-нибудь или даже просто попасться на глаза.

— Что вы на меня уставились? На час под ружье! За что? За то, что глазели на меня... А вам что — делать нечего? Ну, если настолько свободны, наденьте полное боевое снаряжение и постойте часок... А вы? Почему у вас на одеяле складка? Не знаете? Постойте часок и подумайте, как это случилось... А вы?.. А вы?.. А вы?..

Сегодня вечером он явился на станцию в надежде, что и его не обойдут благодарностью. И он не ошибся. Ни одного командира, ни одного инструктора не подбрасывали так высоко, как старшего сержанта Спрудзана. Витол и Аболтынь усердно кричали «ура».

— Да здравствует Спрудзан! Да здравствует наш дорогой старший сержант! Ура! Ура! Да здравствует!

Товарищи сменяли уставших, а кругом стояли десятки других, ожидавших с нетерпением, когда им можно будет почествовать Спрудзана за его неоспоримые заслуги. Всякий раз, когда сержант падал на руки чествующих, Волдис касался рукой задней части его тела; и каждый раз тот морщился от боли, краснел, а на лбу его выступали капли пота.

— Благодарю вас, господа! Сердечно благодарю! Хватит! Прошу вас, довольно! Господа, я вас сердечно благодарю.

— Да здравствует Спрудзан! Ура!

Раздался первый звонок — сменились чествующие; раздался второй звонок — благодарность Спрудзана звучала уже совсем мрачно; весь багровый, он барахтался в руках своих бывших подчиненных.

— Господа, опустите меня на землю. Мне нехорошо! — умолял он.

Но Аболтынь все еще не спешил прекратить эту игру. Только после третьего звонка, когда паровоз запыхтел, парни отпустили свою жертву. Не оглядываясь, Спрудзан ушел за уборную, поглаживая исколотые сзади брюки.

— Могу поспорить, что он больше никогда не придет провожать демобилизованных! — смеялся Аболтынь, стоя в дверях вагона и глядя на толпу провожающих.

— Интересно, что сказал бы полковник, если бы и его пощекотать так булавкой? — зубоскалил кто-то.

— Ну, с полковником это не пройдет, — отозвался другой. — Он слишком большая шишка для таких шуток!

В вагонах еле слышно задребезжали стекла. Медленно завертелись колеса. Оркестр играл марш, и по ветру развевались носовые платки. Волдис Витол стоял у открытой двери и смотрел на исчезавшие в сумерках дали Латгалии. Теплый майский ветер несся навстречу поезду. Из передних вагонов долетали обрывки песен, — в каждом вагоне пели свою песню.

— Как мне хочется забыть проведенное здесь время, — шептал Волдис. — Вычеркнуть из своей жизни эти безотрадные дни...

Снаружи шумел ветер. Ритм колес сбивался на стрелках. У переезда стоял человек в коричневой фуражке с зеленым флажком в руке.

«Несчастный, — думал Волдис, — ты останешься здесь навсегда. Поезда идут с востока и запада, а ты стоишь на одном месте с красным и зеленым флажками. Ты не можешь уехать ночным поездом туда, где кипит жизнь. А я...»

Чувство радости охватило его. Словно сбросив тяжелую ношу, он глубоко вздохнул.

«Кли-пата — кла-пата, кли-пата — кла-пата!» — выстукивали колеса. Двери вагона были открыты настежь. Волдис не отходил от них. Стеариновая свеча слабо освещала углы вагона, где съежившись сидели на своих вещах сонные, усталые люди. Волдису не хотелось спать. Неизъяснимо приятное ощущение наполняло все его существо. Он с наслаждением подставил свое тело прохладному ночному ветру, чтобы им наполнились все поры и охладились разгоряченные виски.

— Куда ты поедешь, Витол? — спросил кто-то совсем рядом. Это был маленький веснушчатый Аболтынь из Лиепаи. Ему тоже не хотелось спать в эту первую ночь на свободе.

— В Ригу, — ответил Волдис. — Куда же мне еще ехать?

— У тебя в Риге родные?

— У меня нет никаких родственников.

— Может, где-нибудь в деревне?

— У меня не осталось никого из близких. Отец лежит

в Тирельском болоте*, мать расстреляна бандой Бермонта*.

— Ты счастливейший человек в мире!

— В каком смысле?

— Я завидую твоей независимости. Ты один на свете, никому не должен давать отчета в своих действиях, некому влиять на тебя или навязывать свою волю.

— Может быть. Но некому и поддержать меня на первых порах. Ты можешь себе представить, Аболтынь, как мало радости у человека, которого никто не ждет, которому негде приютиться? Ты повсюду чувствуешь себя лишним и во сто раз более ограниченным в действиях, несмотря на всю свою независимость, чем человек, которого ждет семья, друзья, девушка...

— Почему ты выбрал именно Ригу? С таким же успехом ты мог поехать в деревню, в какой-нибудь рыбацкий поселок или остаться в Латгалии.

— Провинция пусть остается для тех, кто не хочет ничего достичь, кто довольствуется тем, что у него есть. Мне этого недостаточно. Ты думаешь, я уезжаю, чтобы обосноваться на каком-нибудь хуторе, копать картошку, возить хворост и заигрывать с дебелыми девицами, налившимися на сытых хлебах? Я хочу большего. А если хочешь завоевать право на жизнь, то лучше всего начать с того места, где сходятся жизненные нервы всей страны. В Риге много возможностей. Там я смогу учиться, работать и выбиться в люди.

— Все мы хотим выбиться в люди, но не всем это удается, — скептически заметил Аболтынь.

— Почему бы мне не стать одним из счастливцев?

— Возможно, Витол, тебе повезет. Ты не неженка. Но иногда обстоятельства побеждают самую сильную волю.

— Я здоров, работы не боюсь. Кое-чему учился.

— У тебя есть специальность?

— Нет, специальности у меня нет.

— Это плохо. У специалиста по крайней мере есть надежда устроиться.

— Я счастливее людей со специальностью. Я не должен замыкаться в какой-то узкой отрасли, могу взяться за любое дело. Человек, у которого есть желание работать, не пропадет.

— Не совсем так. Не думай, что ты единственный,

кто «согласен на любую работу», как мы ежедневно читаем в «Яунакас зинас» *. Рига полна такими неудачниками. Ведь человек, соглашающийся идти на любую работу, не имеет выбора. Он — добровольный раб, отдающий свою мускульную силу и мозг в любую кабалу, не считаясь со стремлениями и способностями. У тебя будет много соперников с лучшими данными и бо́льшим жизненным опытом.

— Я хочу рискнуть.

— Что же, попробуй, Витол. Может, тебе удастся...

Волдис устроился поудобнее, придвинул свой коричневый сундучок ближе к двери, уселся на него и задумался. Сомнения Аболтыня его не смутили. Ведь Аболтынь ничего не знал о смелых мечтах, которые он лелеял в своей голове. Много пришлось пережить Волдису за свою двадцатитрехлетнюю жизнь. Не все в ней было безоблачно. Он научился сам заботиться о себе, ему были знакомы и голод и обман, но это не смогло истребить в нем веру в лучшее будущее, в свои силы. И сейчас, свежей майской ночью, в вагоне, где по темным углам что-то бормотали и стонали во сне люди, он, глядя сквозь мелькающий мимо поезда сосновый бор на огни одиноких домиков, ощутил себя частью человечества. Он был одним из двух миллиардов разумных существ, населяющих планету. Перед ним были открыты все пути, казалось достижимым все то, чего уже достигли другие, самые преуспевающие. Почему бы ему не завоевать мир? Почему он не может стать знаменитее Эдисона, мудрее Толстого, богаче всех фордов и морганов вместе взятых? Почему он не может быть выше всех существовавших до сих пор благодетелей человечества? Как бы там ни было, он будет великим человеком потому, что хочет этого. Нет такой силы и таких препятствий, которые он не преодолеет.

Волдис Витол верил в себя. Пусть темны осенние ночи, пусть холодна и жестока зима — за ними придет весна, солнце и рассвет. Как прекрасна жизнь! Как чудесно дышать этим воздухом, сжав в комок жаждущие работы железные мускулы!

Где-то за лесами и полями дымила большая многообещающая Рига. Звенели трамваи, гудели автомобили, шумели машины. Туда, извиваясь, как змеи, устремлялись рельсы, неся в большой город сотни дешевых рабов.

Когда поезд подъезжал к Риге, в вагонах было уже заметно просторнее. По крайней мере половина пассажиров сошла на станциях Латгалии и побережья Даугавы. Остались только рижане или те, кто ехал дальше — в Елгаву и Лиепаю.

Волдис Витол не спал, и в голове у него слегка шумело. Он безучастно смотрел на мелькавшие мимо телеграфные столбы, стрелки и перекрещивавшиеся рельсы. Вот она — Рига, один из наиболее современных городов Европы, гордость родины Волдиса Витола! Здесь он хотел строить свою жизнь.

Утомленный бессонной ночью, Волдис не вслушивался в разговоры соседей. До него доносились смех, отдельные слова, выкрики, но он не понимал их смысла, не вникал в причину смеха, споров. Только когда один из его товарищей, в восторге от предстоящего свидания со своей милой, решил, что ему больше незачем носить казенную фуражку, и ловко швырнул ее в физиономию стоявшего у переезда полицейского, Волдис улыбнулся. Но сразу же опять стал серьезным: правда, очень смешно выглядело удивленное лицо оскорбленного блюстителя порядка, его сердито дергавшиеся черные усы и угрожающе поднятый кулак, однако разум протестовал против такой наивной демонстрации ненависти к властям. Конечно, если человек пятнадцать месяцев дрожал перед каждым капралишкой, то можно понять глубокое чувство ненависти ко всяким властям, но если эта ненависть ограничивается швырянием фуражки в лицо какому-то человечку, то можно считать, что существующая власть отделалась слишком дешево.

За желтым железнодорожным забором возвышались здания. Белые, серые, коричневые; двухэтажные, трехэтажные, четырех- и пятиэтажные дома. Пятиэтажных было больше. Над пятиэтажным городом висело облако дыма. Тысячи маленьких невидимых труб извергали белые, серые и черные столбики дыма, сливавшиеся в громадное свинцовое облако. Солнце только что поднялось над крышами домов и пыталось пронзить необъятную серую мглу своими золотистыми лучами. Дымка заалела и казалось пышно распустившимся цветком, источавшим горький, ядовитый аромат.

Поднятая «рука» семафора. Продолжительный паровозный гудок. Скрип тормозов.

— Рига! Выходите! — человек, идущий вдоль состава, кричал так резко и настойчиво, что Волдис невольно вздрогнул и схватил свой сундучок.

— Давай выходить! — предложил Аболтынь.

— Да, приехали, — ответил Волдис. Он вскинул коричневый сундучок на плечо и вышел на перрон. Мимо него несся поток занятых, торопящихся угрюмых и улыбающихся людей. Бледные, рыхлые мамаши целовали приехавших или уезжающих прилизанных молодых людей. Прогуливались надменные деревенские айзсарги* в форменной и полуформенной одежде, в начищенных до блеска сапогах; краснощекие люди в домотканой одежде спешили к выходу с маленькими чемоданчиками в руках; восторженные, нетерпеливые городские тетушки целовались с долгожданными деревенскими племянницами, приехавшими за обновками. Люди толкались и просили извинения, и каждый считал себя центром этого потока, единственным достойным внимания явлением в суете вокзала.

Волдиса втиснули в дверь, где его задержал какой-то человек в коричневой форме и пенсне на носу, испещренном красными жилками.

— Ваш билет!

За спиной Волдиса образовалась пробка, пока он искал по всем карманам зеленый кусочек картона, — он сам и его коричневый сундучок загородили толпе выход.

— Разиня!.. Тюлень!.. Не знает, куда сунул билет... Наверно, заяц! — раздавались один за другим нервные возгласы. Сотни нетерпеливых глаз впились в залатанный френч Волдиса. Но ему удалось найти билет, и поток опять подхватил его и вынес на простор. Он отошел в сторону и присел на скамью.

Мимо торопливо прошли его товарищи по службе. Всех их где-то ожидали счастливые матери, довольные отцы и расчетливые девицы, мечтающие о замужестве.

Аболтынь тоже спешил узнать, когда отправляется поезд в Лиепаю. Волдис остался один...

Да, наконец он в Риге, цель достигнута. В кармане у него восемьдесят сантимов, а на плече коричневый сундучок. Куда идти с этим багажом?

Возможно, что виной тому была бессонная ночь, но в этот момент Волдис почувствовал себя как человек, заблудившийся в лесу.

«Проклятое положение, — думал он. — Будь больше денег, тогда ничего. Восемьдесят сантимов! Я их проем сегодня же вечером. А впереди завтрашний день, много дней и ночей — желудок будет требовать своего. Что тогда?»

Волдис оглядел себя. Нельзя сказать, чтобы он был очень привлекателен в своей поношенной военной форме. Сапоги просили каши, из них торчали ветхие коричневые портянки. Обтрепанные голенища лохматились, фуражка с красным верхом изодрана, под мышкой лопнули швы. И заплаты, заплаты, заплаты... И ко всему этому неистребимый запах нафталина.

«Хоть бы продать что-нибудь», — он перерыл все содержимое коричневого сундучка, но там хранились только две рубашки, кальсоны, кусок мыла, осколок зеркала и около килограмма хлеба.

«Мне необходимо найти работу! И я ее найду! Рига большой город».

Волдис встал и поднял на плечи коричневый сундучок. Он давил плечи и стеснял движения; неудобно было ходить с таким багажом.

В одном из помещений, за решетчатой стеной, пожилой человек принимал и выдавал чемоданы, мешки и узлы. Волдис подошел к камере хранения.

— Можно здесь оставить? — спросил он.

— Пожалуйста.

— Платить нужно сейчас?

— Нет, при получении.

— Тогда примите, пожалуйста, этот сундучок.

Получив квитанцию, Волдис вышел с вокзала. Тысячами разнообразных звуков пятиэтажный город, ликуя, встречал свою новую жертву...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Волдис Витол долго бродил по рижским улицам. В витринах больших мануфактурных магазинов переливались всеми цветами парча и шелковые ткани; разодетые восковые куклы улыбались прохожим. В окнах ювелирных

магазинов сверкали белые, красные и зеленые драгоценные камни. И Волдис читал неслыханные цены, обозначенные на перстнях или серьгах, — сотни и тысячи латов! Вероятно, находились люди, способные платить такие деньги за эти блестящие безделушки. Эти люди и зарабатывали, наверно, много. Несомненно, они выполняли чрезвычайно трудную и важную работу, за которую им платили такое громадное жалованье.

Фотоателье, дамские и мужские парикмахерские с маникюром и педикюром, представительства автомобильных фирм, антикварные магазины с потрескавшимися картинами восемнадцатого века, фарфоровые сервизы со старинными рыцарскими замками и поджарыми борзыми, аптекарские магазины со шприцами, бинтами и порошками для бритья, фойе кинотеатров с фотографиями полуодетых и вовсе обнаженных див, горячие пирожки, крахмальные воротнички, дамские сумочки из крокодиловой кожи — все это мелькало перед глазами демобилизованного солдата. Предметы излучали ослепительный блеск, яркий, гипнотизирующий блеск. Люди, будто притягиваемые невидимым магнитом, льнули к витринам и жадными глазами пожирали красивые вещицы, хотя они были для них совершенно недоступны.

Волдис успел забыть, с каким намерением он вошел в город. Ослепленный роскошью, в которой утопали целые улицы и кварталы, он уже не думал о работе и своих восьмидесяти сантимах, время от времени позвякивавших в кармане. Мог ли человек оставаться равнодушным перед таким богатством и блеском!

Похожие на удивительные экзотические цветы, женщины с ярко накрашенными губами, угольно-черными ресницами, томной бледностью пудры Коти на щеках касались плечами Волдиса и наполняли благоуханием пыльный уличный воздух. Необыкновенные, хрупкие, улыбающиеся, воздушные создания скользили, легко поднимая миниатюрные ножки, вертя в руках сумочки и зонтики и проверяя в каждом зеркале свое косметическое обаяние.

Волдиса смутила первая встреча с большим городом. Судя по первым впечатлениям, это был богатый, сытый и счастливый город, — на улицах его столько смеющихся, веселых, хорошо одетых людей. Где-нибудь

в недрах этого пятиэтажного города и его ожидала своя частичка радости и удачи, пусть даже в десятки раз меньше и скромнее, чем у всех остальных.

Он не заметил, как солнце переместилось к Задвинью * и тени явно удлинились. У витрины какой-то булочной он вдруг вспомнил, что сегодня еще ничего не ел.

Вид золотисто-желтого хлебца вернул его к обыденным интересам. Во рту появилась слюна, в желудке ощущалась странная пустота.

Он вошел в булочную. За стеклянным прилавком стояла молодая светловолосая женщина в белом халате. Ленивыми движениями она сгоняла мух с пирожных и пирожков.

— Добрый день! — поздоровался Волдис.

Блондинка, вероятно, не расслышала его приветствия.

— Что вам угодно? — спросила она, глядя в потолок.

— Сколько стоит этот белый хлеб?

— Сорок сантимов.

Это составляло ровно половину всего состояния Волдиса, но хлеб был такой душистый, а он сегодня еще ничего не ел...

— Пожалуйста, получите.

Светловолосая женщина опять принялась сгонять мух, а когда Волдис вышел за дверь, она взяла веник и вымела песок, который он принес на своих солдатских сапогах.

Волдис не помнил, когда он ел такой вкусный хлеб. Усевшись на скамье, в тени деревьев на площади, он отламывал большие куски белого мягкого хлеба и отправлял их в рот. Шагах в десяти от него какая-то няня вязала кружева, пользуясь тем, что ее подопечный дремал в колясочке. Время от времени она недоверчиво поглядывала на незнакомого мужчину.

«Странный человек, — думала она, — ест хлеб на улице без всякого стеснения...»

Странный человек быстро проглотил последний кусок, вытер рот рукавом и ушел. Сытый желудок привел его в хорошее настроение. Теперь все было хорошо. С чувством превосходства поглядел он вслед двум трубочистам. Нет, таким он никогда не станет.

Волдис вспомнил, что еще не пытался искать работу. Он вернулся к практической стороне жизни. Город можно осмотреть и в другой раз, когда будет найдена

работа. Рига никуда не денется, а несчастные сорок сантимов, оставшиеся у него, служат ярким доказательством того, как трудно жить без денег.

Возле какого-то шляпного магазина Волдис увидел свое отражение в зеркале. Так вот кто вознамерился покорить этот город и завоевать расположение людей, которым принадлежали фабрики, конторы и магазины! На кого он похож? Настоящий босяк. Больше всего Волдиса огорчила фуражка. А френч? А сапоги?

По улицам торопливо проходили ловкие, обученные в танцевальных классах юноши, в пестрых галстуках и с портфелями подмышкой. Они мылись туалетным мылом и каждый день брились. Им принадлежали конторы, учреждения, министерства, самопишущие ручки и двойная бухгалтерия. И он, обросший светлым пушком, в пропахшем нафталином тряпье, хотел сравняться с ними!

Как побитая собака, внутренне весь сжавшись в комок, шел Волдис дальше. Он испытывал стыд, жгучий стыд за себя. Из-за каких-то тряпок он не смел глядеть в глаза другим людям. И хотя все их великолепие стоило не больше двухсот латов, он расценивался дешевле их именно на эту сумму. Из-за куска шерстяной материи человек терял всякую ценность. Что значили все его способности, энергия, жизненный опыт, когда не было необходимого обрамления, которое бы его украсило, как оперение украшает попугая или павлина! Породистых лошадей и собак водили на выставки и награждали за их естественный вид, но разве человек может претендовать на права благородного дога или пинчера?

Первую попытку Волдис сделал в какой-то большой фирме. Собравшись с духом, он поднялся на второй этаж.

«Ведь я человек, и они тоже люди, не съедят же они меня! — успокаивал себя Волдис. — Стыдно? Чего мне стесняться незнакомых людей? Пусть смеются надо мной, когда я уйду. По мне, пускай хоть весь мир потом смеется, — в глаза-то они не посмеют».

И как еще посмели! У них хватило смелости посмеяться над простаком-солдатиком, вздумавшим предлагать свои услуги такой солидной фирме!

— Вам нужна работа? Молодой человек, как вам могло прийти в голову, что наша фирма занимается

предоставлением работы демобилизованным солдатам? Вы умеете писать? Нет, нет, у нас достаточно конторщиков. Идите на улицу Дзирнаву — там на постоялых дворах нанимают батраков. Прощайте...

И господин с коротко остриженным ежиком седых волос углубился в какой-то счет. Молодой бухгалтер с бакенами многозначительно подмигнул машинистке. Она улыбнулась. Бухгалтер покосился на Волдиса и тоже иронически усмехнулся. В результате первой неудачной попытки возбуждение Волдиса несколько улеглось. Ведь эти господа так приветливо разговаривали, у всех были мягкие баритоны или тенора, все обращались к нему на «вы».

— Попытаемся еще! — сказал он себе и, как бурав, настойчиво сверлил укрепления пятиэтажного города.

Кое-где приходилось довольствоваться разъяснениями швейцара, что вход воспрещен. В других местах, не дав сказать ни слова, ему предлагали убираться откуда пришел. Одна пожилая дама проявила живой интерес к его судьбе, но и она только посоветовала разузнать где-нибудь в другом месте, так как им в настоящее время рабочие не нужны.

Когда конторы закрылись, Волдис стал подходить на улице к хорошо одетым людям.

— Господин, вам не нужен работник? — спрашивал он, ставя в весьма затруднительное положение чиновников третьей категории, вторых секретарей иностранных посольств, учителей танцевальных классов. Одни притворялись глухонемыми, другие отрицательно качали головой, а были и такие, которые сразу искали глазами полицейского.

Богатый, счастливый пятиэтажный город не нуждался в его услугах. Как случайно залетевший комар, носился он в этом сверкающем мире и своим назойливым писком действовал на нервы и мешал пищеварительному процессу сытой публики.

Тогда Волдис Витол понял, что он здесь не нужен. Он переступил запретный рубеж. Из сотен окон глядела на него золоченая ненависть. Нервно содрогаясь, пятиэтажный город стряхивал с себя ничтожную соринку, которая грозила остаться на его сверкающем теле.

Теперь Волдис больше не предлагал своих услуг. Безразличный ко всему и усталый, он брел вперед, куда



глаза глядят. Под ногами гудела мостовая. Улица стонала, а над крышами домов расстилалось розоватое облако дыма.

На набережной Даугавы за конторой Аугсбурга*, у самой воды, сидели двое мужчин. Можно было с уверенностью сказать, что их чумазые, загорелые лица давно не видали мыла и воды. У одного глаз закрывало бельмо; у другого под глазами отвисали мешки чуть ли не до половины щеки. У обоих лица были так изрезаны и исколоты, так щедро изукрашены шрамами, что казались татуированными.

Волдис приблизился к ним. Их жалкая одежда внушала известное доверие, и он почти инстинктивно угадал в них людей, с которыми можно поговорить откровенно.

— Извините за беспокойство! — осторожно вмешался он в их разговор.

Одноглазый небрежно посмотрел на Волдиса и тотчас забыл о его присутствии.

— Рассказывай дальше, Август! — торопил он приятеля. — Ты снес этой мадам пакет, и она дала тебе лат...

— Простите... господа, я хотел вас спросить... — не унимался Волдис.

Теперь и отвислые мешки удостоили его своим вниманием. Тень легкой досады скользнула по лицам босяков.

— Что тебе надо? — резко спросил одноглазый.

— Может быть, вы знаете, где здесь можно получить работу? Согласен на любую, какая попадется.

Гм... Этот человек искал работу! Сейчас — когда солнце так приятно грело, когда можно было блаженно растянуться во весь рост за ящиками с салакой и поискать ползающих по рубашке вшей! Босяки переглянулись, прищурились и приняли серьезный вид.

— Разве мало работы? — пропитым басом прохрипел одноглазый. — Эх, если бы я только захотел, я бы работал и в будни, и в воскресенье, и по ночам. Только к чему? Все равно подохнешь, и город будет иметь удовольствие похоронить тебя за свой счет.

— Я лучше продам свой труп в анатомичку, — пробормотал другой. — Тогда я по крайней мере за свои кости и мясо еще при жизни погуляю. Браток, есть у тебя закурить?

— Я не курю.

— Ишь, баптист какой! Так, значит, тебе нужна работа... Какую работу ты ищешь? Здесь одному мяснику требуется разносчик. Только нужно уметь говорить по-русски и по-немецки.

— Я не знаю немецкого языка.

— Тогда не подойдешь. Тут еще рыбаки искали подручных: знаешь, в море ловить неводами салаку. Неплохое дельце — каждый день водки сколько твоей душе угодно. Если хочешь, укажу хозяйку.

— Я не хочу уезжать из Риги.

— Хм...

Босяки опять задумались. Затем тот, что с мешками под глазами, порывисто схватил Волдиса за полу френча.

— Если поставишь четвертинку, скажу, где есть хорошая работа. Согласен?

— У меня всего сорок сантимов.

Мешки уныло опустились.

— Ну, нет так нет! Давай сюда сорок сантимов. Согласен и на восьмушку. Не бойся, друг, я тебе верное дело подскажу.

Волдис, колеблясь, вытащил кошелек. «А вдруг эти типы обманывают? Отдашь последние гроши, а работу не получишь?»

Босяки заметили его сомнение и принялись горячо доказывать, что они честные люди, никого в жизни не обманули.

— Честное слово! — бил себя в грудь одноглазый.

— Не веришь — не давай. Не хочу я твоих денег! — куражился его приятель.

Волдис вытащил последние монеты, молниеносно исчезнувшие в лохмотьях одноглазого.

— Теперь послушай, что я тебе скажу! — босяк придвинулся к нему вплотную; в лицо Волдиса пахнуло потом и водочным перегаром. — Иди в Андреевскую гавань*. Знаешь, где она? Не знаешь? Иди все прямо вперед, мимо таможни, пока не дойдешь до большого сада. Это Царский сад*. Там свернешь налево и иди до самой набережной Даугавы. Увидишь большие штабеля угля и пароходы. Спроси на любом судне, где найти формана. И когда тебе его укажут, скажи, что хочешь работать. Там тебя примут.

— А если не примут?

— Тогда возвращайся и плюнь мне в глаза. Как же не возьмут, если в порту стоит столько пароходов? Иди смелей.

— Я вам очень признателен... господа.

— Ладно уж.

Бродяги зашушукались, разрешая нелегкую проблему: как наиболее рационально освободиться от приобретенных сорока сантимов. Волдис поспешил в Андреевскую гавань.

«Пусть будет любая работа, — успокаивал он себя, — лишь бы работа. Это на первое время. Заработаю хоть сколько-нибудь, подыщу более подходящую».

Указания босяков соответствовали действительности. Без особого труда Волдис разыскал угольные штабеля Андреевской гавани. У берега стояло несколько судов, с них были переброшены сходни, не переставая гремели лебедки, визжали колеса тачек; в воздухе висела густая угольная пыль.

— Где форман? — решительно спросил он у первого попавшегося грузчика.

Тот указал на моложавого человека в кожаной куртке. Волдис направился к нему.

— Простите, вы форман?

— Да, я. Что вам нужно?

— Я ищу работу.

Моложавый человек в кожаной куртке внезапно рассердился. Он как-то искоса посмотрел на Волдиса.

— Какое мне дело, что вы ищите работу? У меня достаточно рабочих, мне никого больше не нужно. Где это видано, чтобы на третий день после прихода судна просили работу?

— Простите, я не знал.

— Я-то думал, у него ко мне дело, а он просит работы! — сухо засмеялся сердитый человек.

Волдис, слегка смущенный, отошел в сторону. Руки его почернели от одного прикосновения к канатам сходней, а в пароходном трюме, откуда подымали корзины с углем, царил полный мрак, сквозь тучи угольной пыли нельзя было разглядеть ни одного человека. И как вообще там мог кто-нибудь оставаться, чем там дышали, как работали?

Волдис направился дальше. Он больше не поднимался

на суда, где разгрузка уже началась: там стояли такие же сердитые люди в кожаных куртках, которым не нравилось, когда у них просили работу.

В конце Андреевской гавани, почти у самого элеватора, в этот момент швартовался низко сидевший в воде норвежский пароход. На берегу толпилось около полусотни мужчин в черной лоснящейся, грязной одежде, с покрытыми неотмывающейся, впитавшейся в кожу угольной пылью руками. Одни из них от скуки и нетерпения насвистывали надоевшие фокстроты, другие осаждали какого-то более опрятно одетого человека.

Волдис нерешительно остановился и стал искать глазами кого-нибудь внушающего доверие. Он боялся громко высказать свою просьбу, чтобы опять не опозориться публично.

Пожилой человек, стоявший в стороне, посасывая трубку, не казался ему зубоскалом. Волдис подошел и заговорил с незнакомцем.

— Скажите, пожалуйста, нужны здесь еще рабочие?

Человек с трубкой сплюнул коричневую слюну и, не глядя на Волдиса, пробурчал:

— Еще не все взяты, но свободные места берегут для друзей. Они нынче кончают разгрузку вон того «шведа», и многие из них придут на это судно. Я ничего определенного не знаю, поговорите с форманом.

— Кто же из них форман?

— Вот тот, что разговаривает у автомобиля с хозяином.

Хотя Волдис старался говорить совсем тихо, окружающие прислушивались к их разговору; они пытливо разглядывали его. Здесь не скрывали своих чувств. Конкурент в солдатской форме был принят не очень любезно. Провожаемый косыми взглядами и едкими замечаниями, Волдис подошел к форману, когда тот кончил беседовать с хозяином.

— Простите, господин форман...

— Ну, что вам?

— Не нужны ли вам еще рабочие?

— Обождите. Я еще ничего не могу сказать. Увидим, через сколько люков пароход будут разгружать. Если станут подавать из всех четырех люков, возможно, найдется дело и для вас.

— Благодарю вас.

От нескольких слов, сказанных этим человеком, Волдису сразу стало легче. Босяки не обманули его. Эти славные парни, правда, лодыри, но лживость не относилась к числу их пороков. Надежда, почти определенные виды на работу опять вселили в него бодрое отношение к жизни. Не все еще потеряно!

Волдис смешался с толпой и, напевая какую-то старую мелодию, наблюдал, как швартовался пароход. Часы показывали половину первого, когда таможенные чиновники явились на поиски контрабанды и для выполнения всяких формальностей.

— Сегодня уже мостки не будем делать! — сообщил форман ожидавшим работы.

Они стали понемногу расходиться. Тогда Волдис опять подошел к форману.

— Скажите, пожалуйста, в котором часу мне нужно завтра явиться на работу?

— Вам? Я вас совсем и не записывал. Как ваша фамилия? Витол? Ну ладно, приходите в половине восьмого. Если будет надобность, я вас возьму. Вам приходилось работать на разгрузке угля?

Что ему оставалось делать? Сказать, что еще в глаза не видывал парохода, и потерять всякую надежду на работу?

— Да, мне на военной службе приходилось иногда разгружать уголь! — лгал он. — О, я умею обращаться с лопатой.

Что-то пробормотав, форман вынул записную книжку.

— Тогда приходите в половине восьмого. Я вас записал.

Волдис вернулся в город. Он шел не торопясь, времени у него было много. Впереди длинная ночь, и Волдис не знал, как ее провести. Опять давала о себе знать мучительная пустота в желудке. Взгляд Волдиса все чаще задерживался на витринах булочных. Вон они лежат — соблазнительные хлебцы, пироги с яблоками и ватрушки с творогом. Над полупустыми противнями с пирогами летали мухи, в маленьких баночках лежали миноги.

Зачем они выставили эту снедь на витрину, когда мимо проходит столько голодных людей? Может быть, для того, чтобы люди не забывали о божественной власти куска хлеба?

На углу, возле часового магазина, Волдис заметил маленького щуплого человечка с обветренным лицом и бритой головой. Он сидел на земле, засунув руки в рукава. Человек был без ног. Рядом с собой на тротуар он положил шапку. Он не просил милостыни, не произносил ни слова, но взгляд, которым этот человек глядел в лица прохожих, был неотразим. Не отрываясь, смотрел он прямо и требовательно в глаза. Что-то страшное было в этом немом взгляде. Многие не выдерживали и начинали рыться в карманах в поисках мелочи. Калека не благодарил, даже не наклонял головы, только ни на минуту не спускал страшных глаз с подающего милостыню. Да... и у него не было ног. Короткое туловище опиралось о каменную стену.

Волдису приходилось видеть слепых, людей с провалившимися носами, горбатых, безногих, но никто из них не оставлял такого гнетущего впечатления, как этот молчаливый, требовательный калека. Чувствуя себя в чем-то виноватым, Волдис с опущенными глазами прошел мимо него.

«Как это можно допустить, — думал он, — чтобы в таком большом и богатом городе были нищие? Неужели в Риге нет ни одной богадельни?»

По самой середине улицы, навстречу, шагал полицейский. Он не глядел по сторонам, но впечатление, произведенное его появлением, было поразительным. Молодые накрашенные, кричаще одетые женщины торопливо разбежались по узким переулкам, а молчаливый калека ловко вскочил, отряхнулся и поспешно зашагал по набережной Даугавы, — как по мановению волшебного жезла, у него появились стройные ноги!

«Вот чудеса! — усмехнулся про себя Волдис. — А у меня болело за него сердце... Какое смешное это глупое сердце».

Он шел по узким улицам Старой Риги*, из которых вместе с темной прохладой на него пахнуло стариной. Дойдя до Бастионной горки*, он остановился, не зная, можно ли ему взойти на нее. Идущие туда в одиночку и парами люди были опрятно одеты, в светлых костюмах и платьях. Волдис облюбовал скамью на берегу канала и смотрел, как молодые люди катались в ярко раскрашенных лодках. Сняв пиджаки и оставшись в белых полосатых рубашках, они неуклюже гребли.

Волдис тихо усмехнулся. Как этим парням не стыдно так неумело грести? Они так глубоко опускали весла в воду, что еле могли поднять их, а приготовляясь к новому взмаху, поднимали концы весел фута на три над водой. Они затрачивали много сил, точно начинающие пловцы, а лодки чуть продвигались вперед. Нет, подобные упражнения не делали чести этим дюжим ребятам. Любой подросток из рыбацкого поселка шутя опередил бы их.

На соседней скамейке молодая женщина углубилась в чтение довольно толстой книги. «Мопассан» — стояло на переплете. Это имя было знакомо Волдису. Неизвестно отчего, ему опять стало смешно... Мопассан... Да, это так... Мопассан и молодая женщина. Мопассан написал о женщинах много занятного, и такие вот дамочки охотно вживались в роли его героинь. Но понимала ли хоть одна из них ядовитую иронию, чувствовали ли они горькую усмешку писателя, с какой он смотрел со своей высоты на толпу чувственных кукол? Мопассан, король новеллистов, спортсмен и безумец... И на скамейке у городского канала какая-то дама в сером костюме, которую кусает муха... И больше никого!..

Волдис не знал, долго ли он спал, но когда какой-то парень, проходя мимо, наступил ему на ногу и крикнул: «Не спи, тебя обкрадут!» — было уже совсем темно. Сквозь листву лип блестели одинокие звездочки, а внизу в канале отражались огни электрических фонарей. Волдис встал и пошел. Задумавшись, он не заметил, как налетел прямо на какого-то господина в очках.

— Извините... — пробормотал он, как пьяный, а господин с недоумением посмотрел ему вслед. За стеклами очков блеснули два глаза, и до ушей Волдиса донеслись сердитые слова на чужом языке. Да, никакого порядка не стало в пятиэтажном городе: почтенным гражданам проходу нет от пьяных бродяг.

Низко, почти касаясь крыш, неслись причудливой формы облака. Освещенные лунным светом, они казались легкими клочками белой шерсти. Шумел ветер. Сотнями огней расцветали улицы, и не обремененные работой люди на досуге рассказывали друг другу смешные истории... Голод боролся с усталостью. Хотелось спать, свалиться где-нибудь, хотя бы на камни, только не под ногами у людей, и думать о большом ломте чер-

ного хлеба с толстой коркой. В коричневом сундучке оставался почти килограмм хлеба.

«Какой я дурак... — думал Волдис. — У меня столько карманов, и я не захватил хлеба. Он зачерствеет, раскрошится, а мне завтра нечего есть... Теперь довольно ходить — ты устал, обессилел. Присядь!»

Но улицы были полны народа, все подъезды освещены и ворота закрыты. Начал моросить мелкий дождичек, и от земли легким туманом поднимались теплые испарения. Над тротуарами раскрылись сотни зонтиков.

«Как хорошо, что идет дождь!» — думал Волдис, не зная сам, почему это хорошо. В одном месте горели большие огненные буквы «АТ» — реклама немецкого кинотеатра. Под ним был навес. Люди, оберегавшие свое платье, укрылись здесь от дождя и делали вид, что разглядывают кинорекламу.

Втянув голову в воротник, Волдис прошел мимо этого места. Он шел мимо окон, витрин, мимо дома, где на пианино тихо наигрывали какой-то этюд. На вторых и третьих этажах горели лампы под зелеными и красными абажурами. Там было тепло и уютно, дождь усыпляюще барабанил по стеклам; там мягкие широкие пуховые постели поджидали одетые в полосатые пижамы тела. Мимо, мимо, мимо всего этого... Без зависти и вражды.

«Когда-нибудь и у меня будут все эти блага — черное пианино и широкая пуховая постель... Чего достигли вы, то достижимо и для меня».

Но в эту темную ночь, когда капли дождя, словно маленькие птички, долбили оконные стекла верхних этажей, Волдис думал о тех счастливцах, которые сейчас в далеких казармах, после вечерней поверки, улеглись на жесткие матрацы. Они сегодня за ужином ели черную, как деготь, гороховую похлебку с плавающими в ней вместо мяса синими пленками говядины и черный хлеб с толстой коркой...

«Несчастные, — думал Волдис, — какие же вы счастливые...»

Гуляющих становилось все меньше. На углах улиц сидели одинокие ночные сторожа, и женщины, глядясь в зеркальные стекла дверей, подкрашивали губы.

— Ну, мальчик, пойдем? — приглашали они Волдиса.

Но завоеватель большого города проходил мимо. Перед ним открылась набережная Даугавы.

На речном трамвае трижды ударили в колокол, и боковые колеса завертелись, вспенивая плицами воду. Впереди, в слабом свете раскачивающихся на Понтонном мосту фонарей, темнела речная глубина.

Устало, будто нехотя, временами гудели автомобили. Тяжело передвигая ноги, мимо Волдиса проходили люди, втянув головы в мокрые воротники. Даже полицейский зевал, натянув на голову брезентовый капюшон. Только Волдис не поддавался утомлению.

Он остановился у будки Аугсбурга, устало прислонясь головой к мокрой дощатой стене. Какая-то тень, какая-то столетняя древность выросла перед Волдисом.

— Эй, ты, что тебе здесь надо?

У этой древности имелся и голос.

— Ищу Америку, — ответил Волдис и пошел дальше.

— Поищи ее в другом месте. А не то позову полицейского.

Пристань городского речного трамвая не закрывалась. Там никого не было и никто не запретил Волдису приютиться здесь. Пристал какой-то пароходик, позвонил и отчалил, но в будку никто не вошел. Тогда Волдис растянулся на скамейке и заснул как убитый.

Пятиэтажный город по-прежнему сверкал тысячами огней.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда на другое утро Волдис пришел в Андреевскую гавань, там еще никого не было. Его мучил голод, но он не знал, когда ему удастся поесть.

На норвежском пароходе, который Волдис должен был разгружать, кок готовил завтрак. Ветер доносил на берег аромат кофе и жареного мяса. Да, жареное мясо... Что могло быть вкуснее шипящего свиного сала, в который обмакивается кусок ржаного хлеба? И кофе, горячий, настоящий кофе! Рот наполнился слюной. Если бы Волдис поел с утра, ему не думалось бы о трудностях предстоящего дня.

В том месте, где в Даугаву впадает канал, выводящий городские нечистоты, кричали чайки. Как одуревшие,

кружили они над стоком, отнимая друг у друга добычу. Самую ожесточенную атаку пришлось выдержать намокшему ломтю хлеба, но каждой птице удалось только разок отщипнуть от разбухшей в воде хлебной массы. И Волдис позавидовал птицам из-за этого намокшего, пропитанного маслянистой водой куска хлеба.

Юнга, насвистывая незнакомую мелодию, шел вдоль палубы и сбрасывал в воду остатки вчерашних бутербродов. Тоненькие ломтики оставались на поверхности воды, между пароходом и причалом. В этот момент, кроме Волдиса, на набережной не было ни одного человека. Воду вокруг парохода затянула маслянистая пленка, а рядом канал извергал отбросы пятиэтажного города — апельсинные и хлебные корки... комки ваты... Чайки подхватывали их клювами и разрывали в клочья, некоторые из них уже устремились к брошенным с палубы бутербродам.

— Кыш, стервы!.. — Волдис стал швырять в чаек кусочками угля. — Прочь, гадины, вон отсюда в море за салакой!

Он спустился с насыпи и хворостиной подтянул бутерброды к берегу. Они, правда, были немного грязноваты и маслянисты, но желудок справится. Ведь Волдис ничего не ел со вчерашнего дня.

Тонкие ломтики развалились, как только он взял их в руки; и все время, пока Волдис ел, во рту стоял отвратительный привкус керосина. Долго после этого, до самого обеда, Волдис ощущал этот противный вкус, но зато голод был утолен и его перестала преследовать мысль о куске хлеба.

Понемногу стали появляться рабочие. Они несли с собой завязанные в пестрые носовые платки куски хлеба на обед. Все они были знакомы друг с другом и, проходя мимо судов, здоровались с товарищами, отпуская при этом грубоватые шутки. Они не вешали голов, как осужденные, идущие к месту казни, хотя каждый из них знал, что его сегодня ожидает. Ломовая лошадь тоже привычно становится в оглобли, равнодушная к предстоящим мукам.

Волдис наблюдал, как молодые парни поддразнивали один другого, как они насмехались над каким-то простофилей. Все они были отчаянно веселы и вели себя вызывающе. Но вдруг все сразу смолкли. Все лица,

серьезные и приветливо улыбающиеся, повернулись в одну сторону. Почти все одновременно подняли шапки, и одно за другим раздались то уверенные, то робкие приветствия.

— Доброе утро!

— С добрым утром, с добрым утром! — нетерпеливо отвечал кто-то. — Утро-то доброе, а вот вы-то какие?

— Ха-ха-ха! — толпа взорвалась хохотом.

Форман сказал что-то смешное, — кто бы осмелился не расхохотаться? Некоторые будто случайно оказались вблизи формана и всякий раз, как он что-нибудь произносил, сопровождали его слова долгим, захлебывающимся смехом. Они прямо давились от смеха, и товарищи до тех пор колотили их по спине, пока они не переводили дух. Совершенно неважно, что сказал форман, важно было, что он говорил вообще. Он, вероятно, был остряком или по крайней мере считал себя таковым, и наиболее выносливые хохотуны могли радоваться этой своей способности.

Внезапно форман сделался серьезным. Его голос зазвучал сухо, требовательно, и подобострастные лица хохотунов вытянулись.

— Нечего лодырничать, вы на сдельщине! Принимайтесь за мостки.

— Пусти меня во второй номер! — кричал один.

— Я подмету мостки! — кричал другой.

— Пусти меня высыпать!

— Спокойно! — сердито крикнул форман. — И все замолчали. — Я сам укажу, кому куда становиться.

Рабочие окружили формана, как рой пчел. Волдис тоже подошел поближе. Форман вынул записную книжку, надел пенсне, придававшее его лицу официальное, строгое, почти чиновничье выражение, и стал вызывать рабочих.

— Оскар Силинь, ты останешься во втором номере.

— Спасибо, хозяин! — отозвался тот и отошел в сторону.

— Приедит Петер — в трюм! Аболтынь Янис — в трюм! Зивтынь Мартин — подметать мостки! Гринфельд Теодор — к ронеру. — В заключение, самым последним — Витол Волдемар — в трюм.

— Волдемар Витол? Кто это? — спрашивали друг у друга рабочие.

— Ах, это тот, зелененький!.. — Они иронически усмехались, указывая на Волдиса.

— Посмотрим, как он справится.

— А теперь беритесь за лопаты и корзины! — крикнул форман рабочим. — Новенький, тебя это тоже касается, — кивнул он Волдису.

Волдис вместе со всеми пошел на угольную площадку, где в темном сарае хранились корзины для угля, тачки и лопаты. Здесь все настолько покрывала угольная пыль, что стоило лишь дотронуться до одной из лопат, как руки становились черными. Рабочие вырывали друг у друга лопаты, стараясь захватить хорошую и исправную. Ничего не понимая в этом, Волдис взял первую попавшуюся.

— Эй ты, зеленый, что ты будешь делать лопатой со сломанным черенком? — спросил его кто-то.

— Я думал, надо брать подряд, — ответил Волдис.

— А ты не думай. Думает только индюк, забравшись на навозную кучу!

— Ха-ха-ха-ха! — дружно заржали кругом.

«Так вот какие у меня товарищи, — подумал Волдис. — Разыграть да высмеять — на это они горазды. Ничего, буду держать ухо востро».

Такая же борьба поднялась из-за корзин. Каждый старался взять корзину поновее, поцелее, и главное — поменьше. Волдис присмотрелся к товарищам и быстро сообразил, что делать. Но лучшие корзины уже расхватали, а оставшиеся все имели какой-нибудь недостаток: у одной на дне порядочная дыра, у другой обломан край, третья с перетертой веревкой. Наконец, он нашел довольно объемистую корзину без изъянов, если не считать сильно погнутого края.

Рабочие вернулись к пароходу, отложили в сторону лопаты и корзины и принялись укладывать мостки. Вдруг послышался дикий крик: форман орал, как недорезанный кабан, на рабочих, неправильно положивших перекладины мостков.

— Вы что, хотите свалиться в воду вместе с мостками? Сломать перекладины? Почему положили тонкие концы на поручни, сейчас же переверните! Толстые концы должны быть на судне!

Никто ему не возражал. Рабочие, опустив глаза и стараясь опередить друг друга, торопливо тянули черные

доски мостков, несли их наверх на перекладины, прибивали гвоздями, кричали один на другого. Те, что считали себя умнее товарищей, поучали их, подражая в ругани форману. Над берегом раздавались самые страшные ругательства. Но это была еще не работа, а лишь увертюра к ней.

— Зеленый, ты что стоишь, как дурак? Или тебе не полагается работать? — крикнул Волдису сухощавый рабочий. — Пускай за тебя другие гнут спину?

— Я не знаю, где мне встать.

— Не знаешь? Эй, форман! Этот молодчик не знает, что ему делать. Ты его спать нанимал?

И так уже надутый и злой, форман, рассерженный замечаниями рабочего, взорвался, как брошенная граната.

— Как? Что? Ты не знаешь? Что я, обязан каждому работу в рот сунуть? Нечего глазеть, живо становись во второй номер! Там нужно таких, помоложе.

— А где второй номер?

— Овца! Баран! Ты что, в первый раз на пароходе? Вон там, видишь, второй люк от носа. Или ты не знаешь, где у парохода носовая часть? Ну, не прохлаждайся, этим ты можешь заниматься дома! Здесь надо работать.

Волдис старался изо всех сил, брался один за самые длинные доски, бежал на всякий зов. С ним никто не обмолвился ни словом. Точно сговорившись, все ворчали и морщились, видя его старания; и ему самому стало казаться, что он не сумеет работать так, как остальные. Но он не знал, что такова старинная традиция портовых грузчиков — разыгрывать новичков, или «зеленых». Кличкой «зеленый» награждали и новичков и старых ротозеев, неженок, простофиль, плохих товарищей и недалеких людей. Она обозначала все самое отрицательное в человеке, и каждый считал величайшим оскорблением, если его наделяли этой кличкой.

Старые грузчики не имели привычки помогать советами молодым товарищам. Они равнодушно предоставляли новичкам мучиться до потери сил и становиться мишенью для всеобщих насмешек. Каждый сам должен был научиться работать и заслужить уважение товарищей, — только тогда ему открывались тайны профес-

сии, со вчерашним «зеленым» начинали разговаривать, как с человеком.

Наконец, мостки были готовы. Подъехали рабочие с тачками, и опять по всей набережной прокатился резкий выкрик:

— Открыть люки! Приступить к работе!

Загрохотали крышки люков, загремели лебедки. Люди уже не слышали друг друга, и приходилось кричать. Воздух наполнился непрерывным, раздражающим нервы хаотическим шумом. И только теперь началось знакомство Волдиса с работой. Он представлял себе ее так: здоровый человек спокойно взбирается на угольную кучу, втыкает лопату в уголь и размеренно бросает его в корзину; время от времени он расправляет спину, вытирает пот и продолжает работу. Но то, что он увидел здесь, поколебало его уверенность в своих силах: как только были открыты люки, люди соскочили на уголь, каждый занял свое место и с лихорадочной поспешностью, волнуясь, торопился наполнить корзину, не обращая внимания на окружающих.

— Ну, новичок, что смотришь? — крикнул Волдису кто-то из рабочих, стоявших у люка. — Тебе опять нечего делать?

Волдис взял корзину и поставил ее на уголь к переднему углу люка. Но там кто-то уже копал.

— Катись отсюда! — сердито закричал тот на Волдиса. — Здесь мое место!

Да, все места были заняты, за исключением одного. И в том, что именно это место осталось свободным, был определенный смысл: это место, под самыми мостками, обыкновенно оставалось для «зеленых». Добровольно туда никто не становился, так как над головой постоянно передвигались наполненные корзины, из которых сыпались куски угля.

Волдис попробовал рыть, но конец лопаты уперся во что-то твердое, похожее на камень, и дальше не пошел. Волдис торопливо и с трудом копнул еще в нескольких местах, но везде лопата натыкалась на крупные куски угля. Он не успел кинуть в корзину и двух лопат, как рабочий, стоявший на мостках, бросил ему крюк.

— Почему не прицепляешь корзину?

— А что ему цеплять — пустую корзину?.. — засмеялся кто-то сзади.

— Ну, ну, пошевеливайся! Что у тебя, волчья кость в спине? Молодой парень, а ворочаешься, как старик!

Пока крюк подхватывал корзину у других, Волдис еле-еле насыпал свою наполовину.

«В чем тут дело? — думал он. — Почему другие успевают насыпать, а я не могу?» А ведь окружавшие его рабочие совсем не были силачами.

Волдис приналег. С остервенением вонзал он лопату в уголь, крупные куски вытаскивал руками, пинал их ногами, но вовремя наполнить корзину ему все же не удавалось.

— Берегись, ты, новичок! — кричали рабочие на мостках, перекидывая через его голову пустые корзины. Сверху сыпался мелкий уголь, иногда падали и крупные куски. Воздух был насыщен угольной пылью. Куски угля свистели, пролетая мимо ушей Волдиса. Через каждые полминуты ему приходилось отскакивать в сторону, чтобы пропустить плывущие над головой полные корзины. Угольная пыль забралась сквозь рубашку на спину. По лицу беспрестанно бежали ручейки пота, в горле пересохло, на зубах хрустел уголь. Выбирая руками из кучи большие куски угля, он обломал все ногти, на ладонях вздулись водяные мозоли, потому что рукоятка у лопаты была с трещиной и натирала кожу.

Через каждые пять минут к люку подходил форман, кричал на Волдиса и свирепо размахивал руками.

— Если ты не будешь насыпать полные корзины, убирайся к черту! Ротозей!

Это была не работа, а сущий ад, в котором, как черви, извивались мокрые от пота человеческие тела. Грудь Волдиса вздымалась, как кузнечные мехи, черная пыль попадала в легкие, оседала в горле, во рту. Его охватила бессильная злоба на работу, на свою неповоротливость, на глыбы угля. И, не обращая внимания на обломанные ногти, на стертые до крови кончики пальцев, он стиснул зубы и не работал, а неистовствовал.

«Не ослабевать! Не поддаваться! Ты не слабее других. Ты должен выдержать, выдержать, выдержать!» — беспрестанно повторял он себе. И хотя спина ныла и в голове гудело, его корзины становились все полнее и почти вовремя уходили наверх.

Форман время от времени подходил к люку, по долгу

службы покрикивал, но больше не грозился прогнать Волдиса на берег.

— Перекур! — раздалось по люкам.

И черные черви поспешили наверх на палубу, чтобы передохнуть десять минут: каждые два часа — десять минут отдыха.

Волдис сел в стороне, снял рубашку и подставил ветру разгоряченное тело. Так вот какой был этот труд!.. И те, кто работал здесь, еще назывались людьми? Ни одно животное, ни один вол или вьючный верблюд так не мучились. И после всего этого еще можно было чему-то в жизни радоваться?

«Как выдержать до вечера? — думал Волдис. Он уже представлял, какими насмешками проводят его грузчики, если он сдастся. В нем заговорило упрямство. — Я должен во что бы то ни стало выдержать! Я могу!»

К Волдису подошел человек — какое-то черное, потное существо; рот его выделялся на черном лице, как свежая рана, а глаза сверкали в темных глазных впадинах подобно двум электрическим лампочкам. Молод он был или стар, красив или безобразен — этого нельзя было определить. Он подошел к Волдису и положил ему руку на плечо.

— Ты настоящий парень, не скис. А ведь на твоем месте каждый раз кто-нибудь скисал, выбивался из сил и бросал работу, не дождавшись вечера. Редко кто из новичков может выстоять под мостками. Ты выстоял. Давай руку. Меня зовут Карл Лиепзар.

Теплое чувство охватило Волдиса. Стало так легко, как будто через несколько минут не надо было опять лезть в этот ад и становиться к лопате. Он нашел друга! Взволнованный Волдис пожал руку Лиепзара.

— А теперь слушай, что я тебе скажу. Старайся врыться как можно глубже в яму, и когда получишь корзину, клади ее на бок — уголь с края ямы наполнит ее почти наполовину, тебе останется подбросить в нее несколько лопат. Иначе тебе никогда не наполнить корзину.

И Лиепзар показал, как надо поставить корзину, как насыпать и как удобнее держать лопату. Когда раздалась команда формана «По местам!», Волдис спускался в трюм уже более спокойно.

Опять грохотали лебедки, шипел пар и люди кричали друг на друга. Корзина за корзиной поднимались в воздух. И все глубже становилась яма. Следуя советам Лиепзара, Волдис теперь своевременно наполнял свою корзину, если не доверху, то по крайней мере на три четверти, и рабочие на мостках больше не орали на него. Несколько раз падающие куски угля больно ударяли его в спину. Возможно, что они выпали нечаянно из корзины, а возможно... Разные бывают люди.

Наступил полдень. Все тело нестерпимо ломило, ноги с трудом отрывались от земли, и Волдисом овладело полнейшее безразличие. Впереди у него был целый час отдыха.

Волдис жадно пил теплую воду, выполоскал рот. Он настолько устал, что даже не ощущал голода. Пройдя на носовую часть к якорной лебедке, он уселся там — полуголый, без рубашки.

Лиепзар сошел на берег, где торговка продавала пирожки, булки, фруктовую воду. Подкрепившись, он подошел к Волдису и сел рядом с ним.

— Ты поел?

— Нет, то есть... да.

— Что ты сказал?

— Я не хочу есть.

— Так, друг, дело не пойдет, ты не выдержишь до вечера.

— У меня нет с собой хлеба, а деньги я забыл дома.

— Где ты живешь?

— Там... на берегу.

Лиепзар внимательно посмотрел на Волдиса.

— Знаешь что, ты не стесняйся. Говори прямо: хочешь есть? У меня есть несколько латов. Ты мне потом отдашь.

— Как хочешь... — и Волдис взял у Карла Лиепзара один лат.

Да, мягкие французские булки были очень вкусны, недурной оказалась и охотничья колбаса. Волдис израсходовал весь лат до последнего сантима и опять почувствовал себя так хорошо, точно угольная пыль не разъедала большие лопнувшие мозоли.

Бесконечно длинными казались послеобеденные часы работы. Люди уже не бегали с тачками, а тихо катили их в гору. Все стали медлительными, вялыми. Только

один человек оставался неутомимым. Он торопливой походкой ходил от люка к люку, полный непонятной истерической злобы. И кричал, кричал, кричал. Как пес-пустобрех, лающий к месту и не к месту, орал форман до самого вечера. Орать — это была его профессия. Для того он и находился на пароходе.

— Почему он орет на нас? — спросил Волдис у Лиепзара в один из перерывов. — Мы же работаем аккордно.

— Что ж ему делать? Ведь он за это жалованье получает. Ты думаешь, он на нас сердится? Ничуть. Положено кричать — и кричит.

— Кому же нужен этот крик?

— Господам стивидорам это нравится.

— Странные господа, если им нравится, когда ругают людей...

Ровно в пять раздалось долгожданное:

— Выходить! Закрыть люки!

Неторопливо, медленно люди выползали на палубу. Они не разговаривали, не смеялись, не шутили. Точно рассердившись на кого-то, закрывали люки и сходили на берег. Радость и веселье испарились в этом черном аду, он поглотил все силы людей, все светлые мысли, все прекрасное и возвышенное. Над ними не раздавался свист кнута, не звенели цепи, — но ниже, чем под кнутом, гнулись спины свободных рабов, тяжелее, чем в кандалах, тащились их ноги, когда они возвращались в пятиэтажный город.

Завтра их опять ожидает черная яма с пустыми корзинами, грохот лебедок, так же будет сотрясаться воздух от нечеловеческого крика. Будут ломаться ногти, вздуваться мозоли, и вместе с ручьями пота будут уходить из тела силы. Но пятиэтажный город не знает жалости. Как злая мачеха, выгоняет он туманным утром толпу своих пасынков на улицу.

* * *

Волдис вымылся в грязной воде Даугавы. У него не было ручного зеркальца, и он не мог видеть своего лица. Под глазами и на шее остались черные полосы, в руки въелась черная угольная пыль, которую без мыла нельзя было отмыть. Болели ссадины, ломило плечи.

Волдис вытряс пыльный френч и шапку, красный верх которой потерял свой первоначальный цвет.

— Деньги тебе нужны? — спросил его форман. — Если нужны, пойдем в контору.

Толпа усталых людей направилась на какую-то темную узкую уличку, неподалеку от биржи. Пройдя грязный двор, они добрались до ветхого старинного здания, столь же мрачного, как эпоха, в которую оно было построено. Узкая винтовая лесенка привела рабочих в темный, пахнущий сыростью коридор. Во втором этаже находилось насквозь прокуренное помещение с низким потолком и набросанными на полу окурками. Очевидно, когда-то стены его были оклеены обоями — кое-где еще висели клочки розовой бумаги. Было так душно, что у Волдиса захватило дыхание.

Форман прошел в соседнюю комнату и через несколько минут стал по очереди вызывать туда рабочих. У дверей все снимали шапки, лица делались серьезными, а выходя оттуда, люди позвякивали серебряными монетами.

— Витол! — раздался шепелявый голос.

Волдис вошел в комнату, такую же запущенную, как и первая, только здесь стояли два письменных стола и несколько старых кресел. За столом побольше сидел молодой человек с кривым носом, золотыми зубами, в синем бостоновом костюме и в сомнительной чистоты рубашке. Он дал Волдису карандаш и указал на лист бумаги.

— Распишитесь. Пять латов. Следующий!

— Теперь все, — сказал форман, когда Волдис вышел из комнаты.

Пробираясь на ощупь в темноте, Волдис вышел во двор и полной грудью вдохнул свежий воздух.

Пять латов! Пять серебряных кружочков звенели в кошельке Волдиса. Теперь можно было смело идти на набережную: он не потеряет голову при виде жареных миног и хорошего хлеба. Однако настоящего аппетита у Волдиса не было. Переутомленный организм весь горел и требовал влаги. Только когда Волдис выпил целый литр молока, во рту исчезло ощущение сухости.

Поев, он сходил на вокзал, взял из камеры хранения свой сундучок и присел в зале ожидания на диван. Приятно было сознавать, что этот страшный день про-

шел. Но, представляя себе завтрашний день, Волдис содрогнулся. Как можно выносить такую работу ежедневно, из года в год? Временно, один-два парохода — это еще ничего, если у тебя есть надежда, что в ближайшем будущем не придется вгрызаться в горы угля. Но всю жизнь, без всяких перспектив на перемену, успокоиться и довольствоваться этим — ведь это страшно!

Рядом с Волдисом расположились два крестьянина, судя по их домотканой одежде и картузам с блестящими козырьками.

— Значит, поехали? — громко, как у себя дома, спросил один у другого.

— Да, надо ехать. В Риге везде только и знай, что плати, плати, плати... Сходишь куда-нибудь — смотришь, десять латов долой. Ты где остановился?

— Ночевал на улице Дзирнаву, у хромого Андрея. Совсем дешевый ночлег — лат за ночь. Только три кровати в комнате; живешь, как барин.

— У меня на улице Брунинieку* живет зять, я всегда у него останавливаюсь. Получается нисколько не дешевле, чем на постоялом дворе, — с пустыми руками туда не явишься. Городские думают, что крестьянам все даром дается: не привезешь кадочки масла — косятся.

— Глупости, я никогда не захожу к родным. Лучше заплатить лат и жить спокойно сколько вздумается. У меня тоже в Задвинье сестра, но я туда и глаз не кажу. Знаю, чего она от меня ждет.

Волдис встал, вскинул сундучок на спину и вышел из вокзала.

— Постоялые дворы... А я-то горевал о ночлеге.

У первого же прохожего он узнал дорогу и по Мариинской улице* добрался до района постоялых дворов.

— Где здесь постоялый двор хромого Андрея? — спросил он у женщины, стоявшей в дверях булочной.

— Что? Постоялый двор Андрея? Не знаю. Спросите у кого-нибудь другого.

Но и другие не знали, где этот постоялый двор, пока не встретился какой-то крестьянин, который объяснил ему:

— Иди вон туда, где синяя вывеска. Там Андрей дворником.

За воротами постоялого двора Волдиса ожидала сама

хромая знаменитость — дворник, в этот момент он тащил громадную вязанку дров, и его деревянные башмаки отсчитывали: полпятого, полпятого! Он, очевидно, был туговат на ухо и не услышал приветствия Волдиса.

— Скажите, пожалуйста, нельзя ли здесь переночевать? — спросил Волдис, загородив дорогу хромому великану.

— Можно. Заходите и договоритесь с хозяйкой.

Они вошли в большую комнату постоялого двора.

— Хозяйка! — крикнул дворник дородной, расплывшейся женщине, возившейся у печки. — Этот человек хочет переночевать. У нас есть еще свободная кровать?

— Да, есть в маленькой комнате. Тот, из Бауски, сегодня уехал.

Нельзя было понять, делала ли она это от скуки или на самом деле думала, что чем-то занята, но в продолжение нескольких минут, пока Волдис стоял у дверей и наблюдал за ней, хозяйка прошла по комнате из конца в конец, повертелась, переложила с места на место веник, передвинула стулья, задернула оконную занавеску — и все же не сделала ни одного действительно нужного движения.

— Так вы хотите переночевать? — как бы очнулась она, нечаянно натолкнувшись на Волдиса. — Паспорт у вас есть?

— Я с военной службы. Вот мое увольнительное удостоверение.

— Мне-то ничего, мне все равно, только вот полиция иногда беспокоит и составляет протокол. Сколько уж штрафов переплатили! Ну, идите, я покажу ваше место.

Она ввела Волдиса в маленькую, недавно выбеленную комнату. Там стояли три узкие железные кровати с высоко взбитыми соломенными матрацами, покрытыми тонкими заплатанными одеялами. Единственное окошко выходило во двор и было сплошь заставлено цветочными горшками, в которых прозябали какие-то незатейливые цветы. Маленькое нешлифованное зеркальце висело на стене рядом со старой картиной, изображавшей приезд охотников в деревенскую гостиницу: бородатые мужчины в широкополых шляпах обнимали пышнотелых деревенских девиц, которые, улыбаясь, стыдливо отворачивались; вокруг них бегали вислоухие охотничьи собаки.

— Вы можете здесь получить и чай, — сказала хозяйка.

Все обстояло прекрасно. Своя отдельная кровать, в тепле, под крышей; зеркало, чай и полчища прусаков на стенах.

Волдис сунул сундучок под кровать и разделся. Было еще рано, но он так устал, что ничего уже не мог делать.

Улегшись на кровать, он принялся наблюдать за ползающими по потолку прусаками и думать. Спать не хотелось... Руки за один день стали шершавыми и мозолистыми. Когда он провел ладонью по лицу, она царапала кожу.

Завтра работа, послезавтра работа, затем опять... и опять... Эх, не к чему думать о будущем — легче не станет. Время покажет. Надо привыкнуть, ознакомиться с обстановкой; возможно, подвернется другая работа, представится возможность выдвинуться. Тогда можно будет подумать и о книгах и об учебе. Надо опять заняться английским языком — попрактиковаться на пароходах, моряки знают английский. Не терять надежды, надеяться и надеяться! Без надежды можно погибнуть...

Волдис сам еще не знал, чего именно надеялся он достичь. У него не было ясной цели. Он хотел достичь чего-то вообще — лучшей жизни, лучшего будущего.

Часов около девяти вошли два седых крестьянина — соседи по комнате.

— Смотри-ка, какой гость нас здесь ожидает! — один из них приветливо кивнул Волдису. — Тоже из деревни?

— Нет, с военной службы.

— По жеребьевке, что ли? У меня сын тоже служит в Даугавпилсе, в кавалерии, но не вытянул жребия. Придется остаться до осени.

Крестьяне начали перебирать свои мешки, поубавили содержимое своих деревенских масленок и улеглись. Но долго еще слышно было, как они толковали о своих сегодняшних делах в городе.

— Земельный банк... векселя... мелиорация... кожа для пастал*... Попов* ментоловый спирт... ревматизм... толкучка... пастух... телята... заушница у свиней...

И все это сплеталось в какой-то удивительной связи. Дальше голоса сделались тише. Старички захихикали в темноте и бормотали из-под одеял:

— На улице Дзирнаву... барышни... Куда уж мне, старику... три лата... Шутки ради надо бы сходить... хи-хи-хи...

В соседней комнате часы пробили десять. На улице все реже раздавались автомобильные гудки, не слышно стало цокота копыт. С потолка на спящих падали прусаки. Изредка звонил запоздалый постоялец, и хромой Андрей, ворча и стуча башмаками, шел открывать калитку. Соломенный матрац казался Волдису мягким, как пуховая постель. И вообще эта чудесная ночь, когда до самого утра приходили и уходили беспокойные жильцы и ежеминутно приходилось просыпаться от болезненных укусов в шею или лицо, стоила заплаченного за нее лата.

Кончики пальцев опухли, и кровь болезненно пульсировала в местах, где были царапины или ссадины. Когда Волдис проснулся утром, он чувствовал себя окончательно разбитым. Все тело ныло, мышцы горели от малейшего движения, пальцы до того одеревенели, что их нельзя было сжать в кулак.

* * *

Разгрузка парохода продолжалась пять дней. Пять ужасных, бесконечно длинных дней нечеловеческого труда и грязи. С каждым днем Волдис все безразличнее относился к тяготам работы. Физические страдания, повторяясь изо дня в день, теряли постепенно свою остроту, — сознание примирялось с ними, как с чем-то неизбежным.

Ко всему можно привыкнуть, даже к грязи. Как тщательно ни умывался Волдис каждый вечер, следы угольной пыли все же оставались вокруг глаз, на руках, повсюду. Однажды вечером в комнату к Волдису вошла с важным, надменным видом хозяйка.

— Молодой человек, а так опустился!.. Как я теперь отстираю простыни? Так дальше не может продолжаться.

После этого Волдис, ложась спать, снимал белье и спал голым. Трудно обходиться двумя парами белья

и одной сменой верхней одежды, которую приходилось носить и на работе и дома. Но у него еще не было денег, чтобы пополнить свой гардероб. Жить на постоялом дворе было лишь немногим удобнее, чем в казармах. Здесь не приходилось поминутно отвечать за каждый шаг доброму десятку разных начальников, но и здесь не было того, к чему больше всего стремился сейчас Волдис, — возможности остаться хоть ненадолго наедине с самим собой.

Чуть ли не ежедневно менялись соседи Волдиса по комнате — чужие, недоверчивые люди, которые, не скрывая своей подозрительности, наблюдали за оборванным рабочим. Некоторые из них приставали с пустой болтовней, часами рассказывали о себе, только о себе: сколько водки они выпили, сколько свиней откормили, сколько зайцев подстрелили, какие бравые у них айзсарги, сколько прохожих они задержали при проверке паспортов и как стреляли из револьверов на вечеринках. Все эти люди страдали наивным самомнением, переоценивали свои достоинства. Было тяжело выносить их любезность, но еще невыносимее были их странности. Бывали вечера, когда у Волдиса оказывались соседи, которые избегали каких бы то ни было разговоров. Хмуро отмалчиваясь, они сидели весь длинный вечер по своим углам. Они относились с величайшим недоверием ко всем людям, в каждом незнакомом они видели врага. Вырученные от продажи свиней и кадок масла деньги они бы с большим удовольствием проглотили, ибо только в желудке их выручка оказалась бы в безопасности от покушений злоумышленников. Тяжело вздыхая, укладывались они спозаранку спать, и сон их походил на сон цепной собаки; их будил даже упавший с потолка прусак. Каждые полчаса они вскакивали с постели и прислушивались к дыханию соседей. Утром они просыпались в холодном поту. Уезжали не прощаясь.

Жизнь в таких условиях с каждым часом усиливала в Волдисе тоску по своему углу, по уединению, где бы он без помех мог отдаться своим мыслям и отдохнуть. Здесь, где пол не просыхал от грязи, нанесенной сапогами приезжающих, где по меньшей мере двадцать раз за ночь дворник открывал калитку запоздавшим и пьяным постояльцам, нечего было и думать об учении.

За эти дни Волдис ближе узнал своих товарищей по работе. Впечатления, полученные им в первый день, когда все его называли «зеленым» и ожидали, что он свалится, были крайне удручающими. Тогда казалось, что эти люди, гонимые голодом и замученные непосильной работой, враждебно настроены к каждому человеку, злорадствуют по поводу любой неудачи товарища.

Теперь Волдис убедился, что это совсем не так. Увидев, что новый их товарищ работает наравне с ними, а не изнемогает от непосильного труда, они изменили свое отношение к нему. Молодые стали заговаривать с ним, рассказывали кое-что о себе и интересовались, где он служил, как жил, нет ли общих знакомых.

Все они уже привыкли к работе, и никому она не казалась слишком тяжелой. Никто из них не жаловался на трудности. Они высмеивали всякого, кто быстро уставал. Нытикам здесь не было места, их не щадили. Людей с крепкими мускулами здесь особенно уважали.

С этой точки зрения Волдиса следовало причислить к наиболее ценным экземплярам: ростом он был почти в шесть футов, с хорошо развитой мускулатурой, со здоровыми легкими и сердцем, выносливый и потому немного самоуверенный. Такие самоуверенные парни, не желающие сдаваться перед трудностями, полные решимости все успеть, хотя бы в глазах темнело и всю ночь потом ныло под ложечкой, здесь особенно ценились.

В последний день работа на пароходе была легче, добрались до пола трюма, лопата легко скользила по гладким доскам и нагребала с верхом. Да и под мостками стало не так опасно, потому что Волдис продвинулся ближе к стене трюма и куски угля падали чуть подальше.

Работая без обеденного перерыва, разгрузку парохода кончили к двум часам, но пока разобрали мостки и отнесли в сарай инструменты, наступил вечер.

— Получка будет только завтра к вечеру! — сообщил форман, когда рабочие начали расходиться.

— Что за получка? — спросил Волдис у Карла.

— Мил человек, ты думаешь, те пять латов, которые тебе выплачивали каждый вечер, — это все? Это только аванс, а при получке нам выплатят, что заработано аккордно.

— Где будут выплачивать получку? Здесь же в конторе?

— Ну нет. Скорее всего в одном из кабачков на набережной. Приходи завтра после обеда к конторе, часам к четырем, — увидим, куда форман нас поведет.

Вот хорошо-то! Они еще получат деньги! Волдис никак не рассчитывал на это. Тогда все не так уж плохо. Из одних авансов он сумел скопить десять латов. Завтра можно будет кое-что купить. Смотри-ка, в пятиэтажном городе случаются и приятные неожиданности.

На следующий день, около трех часов, Волдис пошел к конторе. Там уже кое-кто собрался, все были по-праздничному одеты и не очень охотно мирились с его соседством.

— Берегись, как бы нам тебя не запачкать! — смеялись они, наряженные в клетчатые брюки и белые шелковые шарфы. Волдис смеялся вместе со всеми, хотя самому было горько и стыдно.

В половине четвертого пришел форман и сразу же поднялся в контору. Не прошло и четверти часа, как он вернулся обратно.

— Где остальные? — спросил он у собравшихся. — Почему так мало?

Многие еще не пришли, в том числе и Карл Лиепзар.

— Август, получил деньги? — спросил кто-то формана.

— Да, еще в обед все было подсчитано.

— Сколько же получилось?

— Увидите. Сколько выгрузили, за столько и получите.

— Нового ничего не слышно?

— М-да... нет, точно ничего неизвестно. Слыхал, ждут какого-то «шведа», но когда придет — не знают. Где будем делить получку?

— Пойдем в «Италию»! — крикнул кто-то.

— Нет, там очень дорого. Лучше в «Якорь».

— А чем плохо у Озилия?

— Ладно, пойдем куда-нибудь.

Форман не спеша направился к Даугаве. Грузчики, примеряясь к его шагу, следовали за ним беспорядочной толпой. Форман все время держал правую руку на груди, на внутреннем кармане пиджака, где лежали деньги — целая пачка десятилатовых бумажек.

Они свернули в скромную пивную около рынка. За прилавком со скучающим видом стояли два официанта. Низкие потолки, мало света, табачный дым. Из уборной несло карболкой. Слышно было, как в кухне на сковороде шипело, поджариваясь, мясо. В соседней комнате несколько рыночных торговок подкреплялись водкой; перед ними на столе дымилось целое блюдо колбасы и сосисок.

Утомленный официант в поношенном, засаленном фраке встретил вошедших сдержанной улыбкой. Буфетчица признательно улыбнулась форману. Она поняла — получка.

Посетители разместились за одним из самых больших столов, но когда и он оказался слишком мал для такой многочисленной компании, к нему приставили еще один столик, поменьше. Форман сел посредине, положил на стол записную книжку и многозначительно откашлялся. Официант уже переминался за его спиной, теребя в тонких бледных пальцах блокнот.

— Ну, что будем заказывать? — приступил форман к делу. — Сколько нас здесь? Семь, восемь, десять, двенадцать... Новичок, ты тоже участвуешь?

— В чем? В выпивке? Нет, не хочу, — ответил Волдис.

— Ну, нет так нет, и не нужно. Значит, нас здесь двенадцать персон. Кельнер, принеси нам три полштофа, дюжину пива, две бутылочки фруктовой и четыре порции жареной свинины. Только свинины, а не баранины!

Карандаш быстро забегал по блокноту. Привычно изогнулась спина, и фалды лоснящегося фрака исчезли за буфетом. Форман вынул несколько десятилатовых бумажек.

— Оскар, — обратился он к угодливому молодому человеку. — На, сходи разменяй. Попытайся разменять на латы * и кварты *. Сегодня нам понадобится много мелочи.

— Олрайт.

Волдис чувствовал себя неловко. Если остаться в пивной и ничего не заказать, это могли истолковать как неуважение к собравшимся, но пить ему не хотелось, да и денег было не так уж много, чтобы ради соблюдения приличий бросать их на ветер.

Прислонившись к стене, он смотрел, как его товарищи готовились к выпивке. Пока официант накрывал на стол, царила напряженная тишина. Все пожирали глазами бутылки с водкой и закуску. Какой чести они сегодня удостоились! Сидеть за одним столом с начальством, пить из одной бутылки одну и ту же живительную влагу с человеком, который вчера еще орал на них и завтра опять будет орать! Здесь они сблизятся, а потом, когда в головах зашумит, можно будет обнимать своего кумира, лепетать нескладные слова и бить себя кулаком в грудь: «Я!.. Клянусь честью!»

Да, они немного расчувствуются, от них запахнет водкой, они начнут хвастаться копеечным героизмом. Сидеть за столом в пивной легче, чем рыться в куче угля. Водка в соединении с пивом быстро разгонит хмурые серые тучи, окутывающие головы этих людей. Жизнь станет светлее уже после третьей чарки, и все будет представляться совсем не таким уж плохим. Другим еще и не так живется. А их труд хоть и тяжел, но зато зарабатывают они по шесть-семь, даже по восемь латов в день.

Первую порцию уничтожили за полчаса. Тогда заказали вторую, такую же. За это время вернулся Оскар с мелочью, и форман принялся выдавать получку.

— Силинь, сколько ты выбрал? — строго спросил он одного из рабочих и сразу же превратился из собутыльника в начальника.

— Двадцать пять латов.

Форман выложил на стол две десятилатовые бумажки и посмотрел на получателя.

— Это все, получи и пересчитай. Получил?

— Эхе-хе-хе! Спасибо, хозяин, за деньги.

— Я спрашиваю, ты все получил?

— Вы сами, хозяин, лучше знаете...

— Ну, тогда вот еще, детишкам на молочишко! — И широким барским жестом форман подбросил еще несколько латов и мелочь.

— Следующий! Крастынь Роберт. Не явился? Ну, тогда пусть подождет, пока все получат. Будет знать, что за деньгами надо приходить вовремя.

— Пей же, Август! — кто-то настойчиво пытался всунуть в руки форману стакан, в то время как другой отрезал самый аппетитный кусок жаркого, намазал

его горчицей и подал на вилке. Они кормили и поили, как малого ребенка, этого милейшего человека, который лишь иногда по долгу службы покрикивал на них.

Выплата подвигалась очень медленно. Поминутно требовалось выпить. Уже и вторая порция была уничтожена и официант торопливо записывал в блокнот третий заказ, когда дошла очередь до Волдиса.

— Витол Волдемар. Сколько у тебя взято?

— Двадцать пять латов.

— Сколько осталось получить?

— Этого я не знаю.

— Как не знаешь? Сам работаешь, а не знаешь. Кто же должен знать?

Кто-то из фаворитов формана тихо шепнул ему несколько слов на ухо. Форман одобрительно кивнул головой.

— Иди, Витол, получай. Тебе еще причитается пятнадцать латов и двадцать шесть сантимов. Пересчитай, правильно ли тебе уплатили?

— Да, сумма правильна. Благодарю вас!

Получив деньги, Волдис тихо вышел из пивной. В дверях он повстречался с Карлом Лиепзаром, которого с трудом узнал: он стал настоящим денди, на голове у него была серая шляпа, в руках тросточка.

— А, здорово! Ты уже получил деньги?

— Только что. Но, мне кажется, тут что-то не так.

— Сколько тебе уплатили?

Волдис назвал сумму.

— Но я видел, что другим выплачивали больше. Или здесь всем по-разному платят?

Карл засвистел и хлопнул Волдиса по плечу.

— Это старые штучки! Август горазд на такие трюки. Не уходи, пойдем со мной. Я ему покажу, как обманывать рабочих.

Он втолкнул Волдиса обратно в пивную, а сам подошел к столу.

— А, ты тоже пришел? Настоящий господин! — благожелательно улыбаясь, форман отсчитал Карлу деньги — двадцать пять латов и двадцать шесть сантимов.

— Так много получилось? — спросил Карл.

— Да, тут так записано.

Карл обернулся назад.

— Иди сюда, Витол! Сколько ты получил?

Фавориты формана сразу приняли рассеянный вид и все свое внимание сосредоточили на жарком и водке.

Волдис подошел и назвал полученную сумму. Карл повернулся к форману, прищурил глаза и скрипнул зубами.

— Что это значит? — спросил он тихо, но таким твердым голосом, что форман съежился и опустил глаза. — Что, у него меньше дней?

Смутившись, но чувствуя себя задетым, форман подскочил и заерзал на стуле.

— Это не твое дело, что ты скулишь? — заревел он.

Но его крик не произвел никакого впечатления.

— Ты тут не валяй дурака. Выплати Витолу сколько полагается, иначе...

— Чего ты суешь нос куда не следует? Какое тебе дело?

— Я тебе говорю: заплати ему. Иначе пойду в контору.

Это форману не понравилось. Он стал всячески сигнализировать: подмигивал, делал знаки руками, чтобы Карл подошел к нему поближе, но тот будто ничего не видел.

— Ты не думай, что если он новичок, то можно его околпачивать. Выкладывай деньги!

Форману легче было расстаться с жизнью, чем с десятью латами. Лицо его побагровело, стало почти сизым, а вместо голоса из горла вылетело какое-то шипение.

— Ты у меня работы больше не проси!

— Не так горячо, мистер Филандер! Не так горячо, милый Август! Кроме твоих пароходов, есть и другие. Не запугивай! Счастливо!.. Пошли.

Они вышли. Вслед им из пивной вырвался чад и растворился в воздухе, распространяя вокруг отвратительный запах. Их провожал многоголосый подобострастный, заискивающий смех.

— Пусть уходят! — бормотали оставшиеся в пивной. — Пусть их уходят! Кельнер, принеси-ка еще порцию. Только поскорее. Не заставляй господ ожидать. Марш!

* * *

— Зачем ты рассердил формана? — заговорил Волдис, шагая вместе с Карлом к Понтонному мосту. — Теперь ты из-за меня лишился работы. Сказал бы, в чем дело, я бы сам все уладил.

— Ничего бы ты не сделал, — вспылил Карл. — Они с тобой не посчитаются. Высмеют, обругают и прогонят от стола, а если ты заупрямишься, позовут полицейского и составят протокол. Это старый трюк, Август часто к нему прибегает.

— Но так навредить себе из-за чужого человека?

— Во-первых, рабочие не чужие, хотя бы они и не были знакомы друг с другом. Они называются товарищами. И тот не товарищ, кто позволит обмануть и унизить другого рабочего. Во-вторых, положения своего я совсем не ухудшил, потому что все равно не намерен с Августом работать. Я знаю других форманов и работу найду.

Нет, Карл не выглядел обеспокоенным.

— Собачья жизнь у нас, портовых рабочих, — продолжал он. — Ни один человек в мире не зависит от такого количества случайностей, как мы. Сегодня мы получили получку, но не знаем, когда опять увидим деньги. Чувствуешь себя подвешенным за волосок — малейшее дуновение ветра, и ты сорвешься в грязь. Околачиваешься вокруг контор, кабаков; целыми днями, как голодный пес, бегаешь за каким-нибудь зазнайкой и предлагаешь себя: «Пожалуйста, вот перед вами вьючная скотина, будьте так добры, поэксплуатируйте меня! Гоняйте меня, кричите на меня, насмехайтесь надо мной, но только дайте мне работу, возьмите мою силу, потому что я хочу есть, а у меня нет хлеба». Они осмотрят тебя — выносливая ли ты скотина, что из тебя можно выжать, оценят твои мускулы, посмотрят на лицо: хм, кажется не идиот, работать сможет! Ты радуешься, что унаследовал от родителей крепкое телосложение, ибо каждый лишний килограмм мускулов утраивает твои шансы на будущее, а твой костяк определяет твою ценность!

— Неужели все форманы орут, как Август?

— Большинство. Среди них очень мало тихих, иные ревут, как быки. Ты еще настоящих крикунов не видел. Когда они начинают вопить, можно подумать, что их режут. Они, как римский папа, изрекают самые страш-

ные проклятия, орут без всякого повода, а если ты вздумаешь возразить — прогонят с парохода и больше не примут на работу. Они, эти господские холуи, хозяйничают в порту. Им принадлежит вся власть, от них зависит твоя судьба и твое благополучие. О, с ними надо уметь обходиться.

— А каковы их настоящие обязанности, помимо крика?

— Они обязаны следить, чтобы погрузка производилась без путаницы, строго по партиям и в определенные места, распределяют грузы по люкам; кроме того, в их распоряжении находится рабочая сила и они выплачивают жалованье. Вот и все. Они могли бы действовать куда с меньшим шумом. Эти мелкие тираны вышли из тех же рабочих, с которых они сейчас дерут шкуру. Когда-то и они так же потели в пароходных трюмах, их так же ругали и кляли, пока не подворачивался счастливый случай: удалось угодить стивидорам, отличиться собачьей преданностью и готовностью за одно слово хозяина предать своих ближних — и карьера сделана. Не думай, что форманами становятся самые развитые, опытные, лучшие рабочие. Чаще всего ими становятся типы, которые умеют искусно польстить, находят удобный момент, чтобы предать интересы товарищей, становясь штрейкбрехерами, или просто обращают на себя внимание хозяев бравой выправкой. Почти в каждую портовую стачку рождается новый форман. За короткий срок он усваивает все традиции своей профессии — уменье орать, погонять и обжуливать рабочих. Душой и телом он продается своему хозяину. При разгрузке первых пароходов такой начинающий форман еще похож на человека, он еще узнает своих бывших товарищей, в разговоре с ним еще не надо выбирать слов. Но посмотри, что будет, как только окончится испытательный срок и мелкий карьерист почувствует под ногами твердую почву! Тотчас у него появляются свои капризы, он становится заносчивым, а мы стараемся скорее узнать, что ему по вкусу, что не по вкусу. Выведав это, мы приспосабливаемся.

Карл замолчал. Выговорившись, он освободился от горечи, что накипела в нем.

Они подошли к Понтонному мосту. Карл собирался идти в Задвинье.

— Где ты живешь, Витол? — спросил он, останавливаясь.

Волдис покраснел.

— Валяюсь по ночлежкам.

Карл опять тихо свистнул.

— Ну да, ты только что вернулся с военной службы. Верно, все, что имеешь, — на тебе? Не стесняйся же, ты не девица, — я ведь понимаю тебя.

— Не поможешь ли ты мне купить рабочий костюм попроще. Мне надо что-нибудь почище, чтобы переодеваться по вечерам.

— Это можно. Сегодня у меня есть время. Купи подержанный костюм. Я тебе помогу поторговаться.

Они свернули к барахолке. Оценив дружеское отношение Карла, Волдис чистосердечно рассказал ему о своем положении. Карл тоже рассказал кое-что о себе. Он посещал среднюю школу, хотел учиться дальше, мечтал об университете; но умер отец, и Карл остался один-одинешенек. Работал на фабриках, в мастерских, теперь очутился в порту. Нужда и непосильный труд вытравили, наконец, всякую охоту учиться. Теперь он больше не задумывался над такими высокими материями.

— В конце концов кому-нибудь приходится делать черную работу. Если ее никто не будет выполнять, вся жизнь остановится. По-настоящему, нас должны бы прославлять как героев, добровольно взявших на себя эту тяжелую участь, нам бы следовало давать ордена и после смерти вписывать наши имена в особую книгу. Но кто это сделает? На нас смотрят, как на животных, как на обыкновенную рабочую скотинку.

Этот человек умел ненавидеть. Он знал, кого ненавидеть. Волдис не понимал еще его чувств. Он еще не осознавал, что мир разделен на два лагеря, и все несправедливости ему казались случайностью. Волдис все еще думал о каких-то компромиссах и надеялся на что-то лучшее.

На барахолке их встретили спекулянты. Обуреваемые коммерческим пылом, они стремились опередить друг друга. По крайней мере из двадцати лавчонок одновременно высунулись светловолосые и темноволосые головы. Навстречу друзьям выбегали оживленно жестикулирующие пожилые женщины, а когда они проходили мимо какого-то обувного ларька, им, по-деловому улыбаясь,

молодая девушка, более сдержанно, чем ее мать, предложила свой товар. Весь ряд заволновался, десятки глаз выжидательно смотрели на покупателей.

— Молодой человек, что вы желаете? Идите сюда, заходите! Не нужна ли вам рубашка, брюки, шляпа, носки, непромокаемая куртка? Взгляните, за это денег не берут, пощупайте товар! Хорошие штиблеты, лоцманские сапоги. Брюки из манчестера, блузы, фланель, бумазея, шерсть, хлопчатка.

Торговцы противоположного конца ряда внимательно следили за каждым шагом покупателей. У них словно с груди камень свалился, когда они увидели, что посетители нигде не останавливались. Молниеносно они придумывали волнующие обращения. Неприятно было только, что они не знали, что нужно этим парням. Торговцы двинулись им навстречу, присматриваясь, на каких товарах останавливались глаза молодых людей. Присмотревшись, они вернулись в свои лавчонки, убрали в сторону сорочки и носки и разложили на виду брюки и блузы. Они перебрасывали эти вещи с руки на руку, расправляли и расхваливали. Наконец одному из них удалось привлечь внимание Волдиса и Карла.

— Молодой человек, я вижу, вам нужны рабочие брюки! Взгляните, что может быть лучше этого? Это настоящий заграничный товар, чертова кожа. Уверяю вас, ее никогда не износить! Какие вы желаете? Синие, зеленые, коричневые? Заходите сюда, заходите, что за торговля на улице?

Верзила, про которого нельзя было сказать, что природа обидела его мускулатурой, почти насильно втащил обоих покупателей в лавчонку.

— Вам нужны синие брюки? Пожалуйста, примерьте, это будет в самый раз. У вас хороший рост, и я вам даю подходящие брюки, чтобы вы не походили на кулика.

Карл с видом знатока начал торговаться. Рассматривал, мерил, ругал. То ему материал казался слишком тонким, то швы расползлись, то цвет был линялый. Ему было трудно угодить.

— Сколько вы хотите за это тряпье? — спросил он небрежно. — Только не запрашивайте, я цену знаю.

— Как можно такой товар называть тряпьем? Это настоящая чертова кожа. Ну, я вам скажу окончательную цену, чтобы не торговаться. Я отдаю даром, зара-

батываю каких-нибудь двадцать пять сантимов. Как для своего старого покупателя, отдам за пятнадцать латов! Молодой человек, молодой человек! Да не убегайте вы сразу, вернитесь, я уступлю за четырнадцать латов пятьдесят сантимов... Ну, сколько вы дадите? Торговля остается торговлей, назовите свою цену.

Громадная фигура торговца загородила выход. Карл повертел брюки и блузу, сделал кислое лицо и сказал:

— Я скажу вам свою цену. Хотите — отдавайте, хотите — нет. Только больше не торгуйтесь. Я не прибавлю ни сантима.

— Ну, сколько, сколько? Говорите же?

— Восемь латов.

Ни один актер не изобразил бы лучше чувства негодования и глубокой обиды, с какой семипудовый детина вырвал из рук Карла брюки и, повернувшись к нему спиной, с сопеньем ушел в угол.

— Что я вам — обезьяна, чтобы надо мной смеяться?! Разговор окончен. Идите, молодой человек, и поищите за восемь латов такой товар, а потом вернитесь и плюньте мне в лицо!

Внезапно он опять подбежал к Карлу и принялся бить себя кулаком в грудь.

— Постыдитесь вы... постыдитесь!.. Вам даром отдают! Постыдитесь! Последнее слово — двенадцать латов! И больше нечего говорить. Ну, по рукам, сделайте почин!

— Пойдем, — Карл сделал знак Волдису и вышел из ларька.

Они еще не успели дойти до двери, как великан схватил их за плечи и потащил обратно. Его негодование как рукой сняло. Усталый, как после тяжелого припадка, он стоял перед ними тихий и грустный и еле слышно говорил:

— Ну, сколько вы мне по-настоящему дадите? Назовите окончательную цену, вы ведь не дети.

— Кто же за это тряпье больше даст? Ну, пусть будет девять латов. Если хотите продать — заворачивайте.

— Мил человек, прибавьте еще! Немножечко прибавьте. Ну, говорите, сколько прибавите? Одиннадцать латов, десять с половиной...

Они опять направились к выходу.

— Десять латов! — в отчаянии крикнул несчастный великан.

— Заверните!

Отчаяние торговца сменилось веселым оживлением. Быстро и ловко заворачивая покупку, он не переставая говорил и иногда что-то нетерпеливо кричал жене, не уделявшей достаточно внимания проходящим покупателям.

— Когда вам опять что-либо понадобится, приходите ко мне. Я вам, как постоянному клиенту, уступлю подешевле, с ручательством за качество. Будьте здоровы, спасибо! Всего хорошего!

Не меньшую борьбу пришлось выдержать и в другой лавке, где Волдис купил за три лата серую кепку. Затем они вернулись к торговцу, у которого купили брюки. Волдис решил сразу же переодеться во все новое.

— Забыли что-нибудь, господа? — приветливо встретил их новый знакомец. — А, переодеться! Пожалуйста, пожалуйста! Будьте так добры, заходите!

Жена его вышла. И через несколько минут Волдис из оборванного бродяги превратился в скромного, прилично одетого парня. Да, теперь он походил на сотни и тысячи таких же блузников, кормивших этот большой город, — на тех, кто топил паровые котлы, кто зажигал электрический свет, приводил в действие машины; кто привык подчиняться, всегда только подчиняться, делать не то, что хотелось, а то, что приказывали.

— Вы теперь совсем как шофер! — заключил торговец.

Друзья вышли на улицу. У Понтонного моста они остановились.

— Пора по домам! — сказал Волдис, протягивая руку, но Карл так глубоко задумался, что не заметил протянутой руки.

— Где ты теперь думаешь работать? — спросил он немного погодя.

— Не знаю, где придется. Меня здесь никто не знает.

— Одному тебе будет трудно получить работу. Ты еще не знаешь, как надо подходить к форманам. Я тебе немного помогу. Приходи завтра к половине седьмого на набережную. Лучше всего сюда, к мосту, побродим по порту. До свиданья!

— До свиданья!

Карл вскочил в трамвай, а Волдис не спеша направился к центру. На углу у «Якоря» он купил газету и неторопливо зашагал с высоко поднятой головой.

Как приятно быть чистым!

...Привычная картина: крестьяне запрягали лошадей и уезжали домой. Вновь прибывшие пили чай из увесистых чашек и ели баранки. Тема разговоров: свиньи, масло, айзсарги, семена, скотные дворы, вечеринки в доме волостного правления, торги, торги, торги!

Волдис вошел в свою комнату. Там уже были новые соседи: серое полусукно, картузы с лакированными козырьками, забрызганные дорожные сапоги, недоверие и повернутые к нему спины; позже покряхтыванье, сдержанное любопытство и рассказы о себе.

Волдис, сделав вид, что не замечает своих новых соседей и не слушает их споры о том, чья рота айзсаргов оказалась лучшей на последних маневрах, принялся за газету.

«Хоть бы скорее вырваться отсюда! Когда наконец я буду один!»

Он читал объявления.

Квартиры, квартиры, квартиры... «Угол для молодого человека... Угол для интеллигентного господина... Меблированная комната для барышни, с отдельным ходом... Квартира из шести комнат — плата за полгода вперед, ремонт. Пять, четыре, три комнаты с ванной и без ванны...» Люди, поместившие эти объявления, предпочитали порядочных, спокойных и, главное, бездетных жильцов. Все для спокойного господина, интеллигентной дамы, бездетной супружеской четы. Только не для детей, не для маленьких сорванцов, которые слишком звонко выражают свою жизнерадостность и своим криком действуют на нервы спокойных господ и нервируют интеллигентных дам. Фи! Дети — нет!

Наконец Волдиса заинтересовало одно объявление: «Сдается меблированная комната тихому и непьющему господину. Улица Путну, номер 29, квартира 8. Смотреть от 17 до 21».

Часы показывали половину седьмого. Волдис вырезал объявление, спрятал рабочий костюм под кровать и вышел. В его распоряжении оставалось около двух часов. Расспрашивая полицейских, извозчиков, он узнал, что улица Путну находится где-то вблизи Экспортной гавани * и добираться туда лучше всего на саркандаугавском * трамвае. Он сел в трамвай и стал ждать, когда кондуктор назовет нужную ему улицу.

Комната, своя собственная комната! Не казарма, не барак для беженцев, не постоялый двор, в которых прошло почти три года его жизни, а своя собственная комната. Для тихого, непьющего господина...

Волдис сошел. Тихая узкая улочка. Невысокие, не выше двух этажей, дома, один старее другого. Красные черепичные крыши, однообразные желтые и зеленовато-желтые стены. Узкий, мощенный кирпичом тротуар. Бакалейная лавка на углу, рядом — маленький газетный киоск. Дальше — сапожная мастерская, парикмахерская, утюжка крахмального белья, за ними какое-то предприятие, механическая мастерская, баня или мельница, с непрерывным гудением, шипением и пылью.

Навстречу шла молодая девушка с корзиной в руках, бледная от пудры, а может быть, и от малокровия. Мелкими твердыми шагами прошла мимо Волдиса — скрип, скрип, скрип. Проходя мимо, бегло и серьезно посмотрела в лицо и еще тверже зашагала дальше.

«Девушка с характером», — подумал Волдис.

Он обернулся и встретился с девушкой взглядом. «Странно, здесь люди интересуются друг другом. Оглядываются вслед прохожим...»

Двадцать девятый номер оказался двухэтажным домом, ничем не отличающимся от окружающих зданий. Такая же зеленовато-желтая окраска, черепичная крыша, небольшие окна — скучная старинная постройка. Вход со двора. Высокие деревянные ворота, свежевыметенный двор, ряд дровяных сарайчиков вдоль забора. В углу двора хрипло лаяла черная лохматая собака на цепи, и, потревоженные ею, в одном из сарайчиков гоготали гуси. Ни деревца, ни кустика или цветочной клумбы. Никто не вышел навстречу Волдису, и собака, очевидно решив, что она выполнила свой долг, забралась в конуру. Постепенно утихли и гуси.

Волдис обошел все три двери. Где здесь могли быть меблированные комнаты?

Из средней двери вышла пожилая женщина с помойным ведром. Недоверчиво поглядев, хотела пройти мимо.

— Извините, сударыня, — обратился к ней Волдис. — Где здесь квартира номер восемь?

— Дверь направо, второй этаж. Первая дверь, прямо против лестницы.

В квартире номер восемь Волдиса встретила седая

женщина в очках, с вязаньем в руках. Оглядела его с ног до головы.

— Вы, наверно, насчет комнаты?

— Да, я прочел в газете...

— Пожалуйста, идите посмотрите.

Комната, о которой говорилось в объявлении, оказалась длинным, узким, похожим на коридор помещением с низким потолком, пестрыми, изрядно потрепанными обоями, за которыми наверняка обитали клопы. Единственное окно выходило во двор, но была видна и часть улицы. Отдельный ход на лестницу. Мебель состояла из узкой железной кровати, вешалки, маленького столика без скатерти, одного стула и таза на деревянной скамье.

— У нас здесь жил слесарь, — рассказывала хозяйка. — Недавно он уехал в Лиепаю, нашел там на заводе хорошее место. Плиты, правда, нет, но, если вы захотите, я могу два раза в день готовить чай. Слесарь всегда брал чай. Сахар покупайте сами. А зимой можете топить эту печку. Трубы идут в наш дымоход.

— Хорошо, хорошо. Сколько это стоит?

— С чаем?

— Ну конечно.

— Слесарь платил двадцать латов. — Седая женщина испытующе посмотрела на него сквозь очки, не прерывая вязанья.

Двадцать латов... Постоялый двор обходился в тридцать. Явное преимущество!

— Когда я могу переехать?

— Хоть сегодня вечером.

— Я так и сделаю.

— Да, но... кхе... — она замялась. — Надо бы задаток. Слесарь всегда платил за месяц вперед.

Опять слесарь! Долго еще тень этого человека будет маячить здесь? Он оставил свои традиции: пил два раза в день чай и платил за месяц вперед. Волдису придется идти по проторенной дороге. Двадцать латов, которые Волдис без долгих размышлений вручил женщине, сразу подняли его престиж в глазах будущей хозяйки. Она расчувствовалась, начала рассказывать о себе. Ее имя — госпожа Андерсон, — да, именно так и сказала. Живет одна. Сын дункеманом на корабле, постоянно в дальних плаваниях и в Риге появляется не чаще двух раз в год. Недавно был дома. Теперь вернется не раньше

конца ноября, когда замерзнут финские порты. «Мой Эрнест» — так называла она сына.

— Здесь вам будет спокойно...

В тот же день Волдис перебрался в новое жилище. Госпожа Андерсон взбила матрац, внесла маленькую керосиновую лампу и оставила Волдиса одного.

— Керосин вы должны покупать сами, — заявила она, уходя.

Наконец-то он устроился! Теперь можно будет подумать о будущем. Пятиэтажный город ждал, чтобы его покорили...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Понемногу жизнь Волдиса вошла в русло. С помощью Карла он находил работу на пароходах, привозящих уголь, познакомился с новыми товарищами и новыми видами труда. Волдис уже не был тем «зеленым», которого всегда загоняли в трюм под мостки. Уяснил он и то, что номер второй на всех пароходах — это самый большой трюм, и, так же как остальные, старался попасть в задние трюмы.

Один пароход он разгружал, работая на берегу с тачкой. Вначале, пока пароход сидел низко в воде и борта лежали ниже набережной, толкать тачку в гору было мучительно тяжело — колесо тачки часто соскальзывало, и куски угля сыпались за мостки.

Но снаружи воздух был чище, разгоряченное тело временами обдавал ветер, и только по вечерам ныли плечи и ноги. Постепенно и это прошло. Мускулы привыкли к тяжестям и труду; соленый пот струился по лицу, но не щипал больше глаза.

Новые товарищи, с которыми познакомился Волдис, ничем не отличались от ранее виденных им грузчиков. Они тоже любили выпить, сыграть в «очко», при случае подраться. Некоторые из них искали в каждом новом человеке его слабые струнки — ограниченность, тупость, хвастливость или что-нибудь смешное и, найдя недостатки, до тех пор донимали его своими насмешками, пока человек не изменялся или не завоевывал каким-нибудь способом расположение главарей.

Таковы были эти выросшие в предместьях парни, воспитанные улицей и приключенческими кинофильмами.

Они говорили на своеобразном жаргоне окраин и во всем мире признавали достойным уважения только одно — физическую силу; обладателям ее прощались многие недостатки.

Волдис заслужил в глазах своих товарищей уважение физической выносливостью и сдержанностью. Он никогда не рассказывал в компании о себе. Задумчивый, замкнутый, он выполнял свою работу, не давая форману повода кричать. У него не было друзей, за исключением Карла.

Орали форманы, гремели лебедки. С восьми часов утра до пяти дня — ничего, кроме пыли, смрада и пота.

Карл Лиепзар уже года два варился в этом котле. Он привык ко многому. С необычайной легкостью произносил он самые непристойные ругательства, мог касаться самых отвратительных тем, чтобы тут же перейти к вещам, не имеющим, казалось, никакого отношения к окружающему. Его увлекали громкие слова, показное благородство. Мужество и силу воли, в какой бы отрицательной форме они не проявлялись, он считал самым прекрасным в человеке. В то же время он умел ненавидеть всякую несправедливость. Ему было кого ненавидеть. Он ненавидел разжиревших капитанов, которые поднимались на капитанский мостик, небрежно пожевывая толстую сигару, или, сидя в салонах, набирались веса и хладнокровия. Он презирал шофера лимузина, услужливо выскакивающего, чтобы открыть дверцу машины судовладельцу, и сгибающего перед ним в знак глубокого уважения спину.

Он презирал. Ему были противны все эти человеческие туши с большими круглыми головами, напоминающими головы бело-розовых свиней, из которых варят студень. Все они жевали сигары, у всех были узенькие, заплывшие жиром глазки. Они разговаривали по-немецки, ругались по-латышски. Они, эти мясники гигантской бойни, торговали и спекулировали человеческим потом. И среди рабочих не было никого, кто бы не разделял ненависти Карла. Были у него и свои мечты — о лучшей жизни, где правда и справедливость определяют все... где нет угнетенных и угнетателей. Далекие отголоски той яркой, новой жизни, которую строили трудящиеся в Советском Союзе, дошли и до Риги. Но здесь можно было об этом только мечтать и перешептываться.

Два месяца Волдис выполнял самую грязную, самую тяжелую, поистине нечеловеческую работу. Менялись пароходы, менялись товарищи. Вместо лирического тенора на него покрикивал низкий бас или баритон. На ладонях не успевали зажить старые мозоли, как появлялись новые. Дважды в день — чай, один раз — молоко. По воскресеньям — тесная, похожая на коридор, комната с окном в пустынный двор, где лежала у конуры собака и гоготали гуси. Он никуда не ходил, и к нему никто не приходил. Изредка появлялся Карл. Но и у того где-то в Задвинье был сильный магнит, который притягивал его каждый вечер и каждый свободный день.

Андерсониете каждое утро уходила к какому-то одинокому врачу убирать квартиру и являлась домой часов около четырех пополудни. Кровать Волдиса была всегда в порядке, простыни менялись по субботам, и утром и вечером кипел чайник.

В одно из воскресений Андерсониете зашла к Волдису.

— Почему вы никуда не ходите? — спросила она. — Молодой человек не должен сидеть, как наседка на яйцах. Мой Эрнест, когда еще не ходил в море, каждый вечер отправлялся гулять, а по воскресеньям пропадал на целый день.

— Погодите, скоро и я буду уходить, — ответил Волдис. — Как только заработаю на приличный костюм.

Андерсониете немножко подумала, потом сказала:

— У меня в шкафу висят костюмы Эрнеста. Если вы захотите куда-нибудь пойти, я вам охотно одолжу. А так напрасно моль поедает хорошую материю.

— Благодарю вас. Мне неудобно надевать чужой костюм. Я никогда еще этого не делал.

— А вы не стесняйтесь. Ведь никто не узнает, что это не ваш.

— Нет, благодарю. Никто не узнает, но я-то буду знать. И потом — куда идти? Я ни с кем здесь не знаком.

После этого хозяйка не пыталась больше предлагать ему одежду сына. Волдис потихоньку откладывал деньги, и близился день, когда он собирался поразить окружающих неожиданным великолепием.

Во дворе он изредка встречался с соседями. Все это были простые люди. Мужчины работали, женщины ходили на рынок и сплетничали. О тех, кто не хотел сплет-

ничать, сплетничали другие. В нижнем этаже жили две сестры — швеи, старые девы. Каждое утро, уходя на работу, Волдис видел их за швейными машинками или за кройкой белья. Они шили сорочки и комбинации, изредка поглядывали в окно на прохожих и опять склонялись над своей работой. Тихие, незаметные существа.

Несколько раз Волдис встречал бледную девушку, которую приметил в день своего прихода сюда. Она жила в соседнем доме. В руках у нее всегда была корзина, иногда пустая, иногда со свертками и кусками мраморного мыла. Возвращаясь с работы в грязной одежде, Волдис при виде ее заранее сходил с тротуара и шел по мостовой. Он иногда смотрел ей вслед, девушка тоже оглядывалась. Однажды она засмеялась и впорхнула в калитку, и Волдису стало казаться, что при встрече с ним она сдерживает смех. Девушки... Что о них говорили товарищи Волдиса? Что они сказали бы об этой бледной девушке? Без сомнения, то же, что и о других. Что-то похожее на сострадание к этой незнакомой девушке закралось в сердце Волдиса.

В один из вечеров он встретил ее с каким-то парнем. Они стояли у калитки и грызли подсолнухи. Девушка была без корзинки. Они, вероятно, стояли здесь довольно долго, судя по тому, что весь тротуар вокруг пестрел от подсолнечной шелухи. Парень был почти одного роста с девушкой, худощавый, коричневый от загара, с загнутым внутрь воротником рубашки.

Когда Волдис подошел к калитке, худощавый парень стал посреди тротуара, продолжая с вызывающим видом грызть подсолнухи. Волдис свернул на мостовую, но парень, будто нечаянно повернувшись в его сторону, сплюнул ему на шею подсолнечную шелуху. Девушка опустила глаза. Волдис взглянул на парня, внутри у него все закипело. Незнакомец презрительно усмехнулся.

«Взгрей его как следует, намни бока этому нахалу!» — подсказывало что-то Волдису. Но он сдержался, стиснул зубы и прошел мимо. Вслед ему раздался смех, ему казалось, что и девушка смеялась. Ну что ж, пусть их смеются, пусть считают его трусом. Какое ему дело до этих незнакомых людей! Только жаль, что теперь тот, с загнутым воротником, будет хвастаться, скажет: «Напугал, меня боятся, я молодец!»

* * *

Как-то однажды Волдис после получки обратился к Карлу:

— Ты не поможешь мне кое-что купить?

— Олрайт! Ты наконец решил покинуть свою берлогу? Пора, давно пора показаться на люди.

Они исходили всю Мариинскую улицу, перерыли все магазины готового платья, торговались, как скряги, ругали товар, приводя в бешенство лавочников. Торговцы били себя в грудь кулаками, раскрывали перед ними книги с торговыми тайнами, показывали, сколько им самим стоит тот или иной костюм, умоляли, ругались, уговаривали, восхищались статной фигурой Волдиса в новом костюме и уступали лат за латом. В конце концов Волдис купил темно-синий бостоновый костюм с двубортным пиджаком Потом настала очередь обувных магазинов. Затем носки, подтяжки, сорочка, шляпа. Все это выглядело довольно элегантно, придавало самоуверенности и стоило денег, очень много денег.

— Почти банкрот! — констатировал Волдис, купив все, что нужно. Можно было, конечно, купить костюм поскромнее, ботинки погрубее, но тогда бы он не был молодым человеком, по внешнему виду которого нельзя судить о принадлежности к той или иной общественной прослойке.

— В воскресенье ты должен пойти в парк на гулянье, — сказал при расставанье Карл.

— Там видно будет, — уклончиво пробормотал Волдис.

— Никаких «видно будет». До сих пор ты отговаривался тем, что нет подходящего костюма. Интересно знать, чем ты теперь оправдаешь свою лень?

Карл торопился в Задвинье. Там его ждало какое-то загадочное, привлекательное существо.

Волдис вернулся на улицу Путну. Там он на некоторое время сделался предметом всеобщего внимания. Дверь бакалейной лавки приоткрылась, и из-за нее высунулись любопытные лица домашних хозяек, покупавших селедки или керосин, — они пытались прочесть на обертке покупок Волдиса название фирмы.

У калитки стояли бледная девушка и худощавый парень. Они опять разговаривали и грызли подсолнухи.

Парень пытался в чем-то убедить девушку, она отрицательно качала головой.

— Что за удовольствие ехать на гулянье в парк? — говорила девушка. — Так далеко, на самую окраину. Уж лучше пойти в кино.

— В кино можно пойти в другой раз, а в воскресенье поедем туда. Ладно?

— Только бы мать не разворчалась...

— О матери не беспокойся. Я ее уговорю.

Они так углубились в разговор, что парню не пришло в голову загородить тротуар и сплюнуть на воротник Волдиса шелуху подсолнухов. Сегодня он не смеялся.

«Они собираются на гулянье в парк, — подумал Волдис. — Почему бы и мне не поехать?»

Потом ему пришло в голову, что он, обросший светлым пухом, никак не может тягаться с гладковыбритым, завитым, надушенным и прилизанным молодым человеком; хотя — подобное превращение может произойти в течение каких-нибудь сорока минут, и стóит оно всего от одного до трех латов, в зависимости от того, на какой улице находится парикмахерская. Волдис обошелся одним латом, так как улица Путну была расположена далеко не в центре Риги.

В воскресенье Карл застал Витола еще неодетым. Постучав, он вошел и остановился возмущенный.

— Так вот как ты собираешься на гулянье, бездельник! Да знаешь ли ты, что скоро полдень?

— Потише, потише. Может быть, я и совсем не пойду туда.

— Это мы посмотрим! Ты не хочешь идти? Шутки в сторону — где твой костюм? Говори скорее. Где сорочка? Где галстук?

Побуждаемый Карлом, Волдис начал одеваться.

— Эх, какой ты нескладный! — смеялся Карл, наблюдая за неуклюжими движениями Волдиса. — Кто же так завязывает галстук? Давай сюда и смотри, как это делается. Смотри, раз вокруг, второй раз вокруг, в третий продеть через верх и потянуть за этот конец снизу. Вот и узел на славу! Теперь берешь за узкий конец и затягиваешь его потуже. Вот и все.

— Не затягивай так сильно, меня душит. Какой дурак это выдумал? Как я выдержу такую петлю до вечера?

— Будь уверен, выдержишь. Привыкнешь, как все.

Это еще мягкий воротничок, а что бы ты сказал, если бы тебе горло сдавил крахмальный стоячий воротник?

— Такие эксперименты могут позволить себе разве только самоубийцы.

— Сегодня вечером увидишь, сколько людей это делают, и без всякой опасности для жизни. Теперь носки. Затем брюки. А теперь давай сюда ботинки. Так! Что ты теперь запоешь?

— Милый мой, да ведь это инквизиция!

— Да, и она стоит приличных денег. А если ты сегодня в довершение всего наживешь мозоли, то это тоже обойдется в несколько латов на мозольную пасту.

— Я не смогу ходить. Я еще сижу, а у меня уже онемели пальцы. Ой, ой!

— Успокойся, моя крошка. Ты будешь ходить! Ты даже сможешь танцевать!

— Я совсем не умею. Танцы ты выбрось из головы.

— Не горячитесь, господин Витол, не горячитесь! Танцевать или не танцевать — это вовсе не зависит от вашего желания. Может статься, что в парке ты изменишь свой взгляд на этот вопрос.

Когда Волдис оделся, Карл с видом знатока оглядел его со всех сторон.

— Какой же ты теперь пролетарий? — шутя удивился он. — Простите, господин, в каком учреждении вы служите?

— В Международном акционерном обществе по поставке и транспортировке топлива. Специалист по углю, умею отличать кардиффский уголь от данцигского. Знаком с брикетами и коксом.

— Какой пост занимаете?

— Временно состою в должности младшего угольщика, иногда — внештатный безработный.

— Очень приятно познакомиться. А теперь надевай шляпу. Можешь посмотреться в зеркало.

Из зеркала на Волдиса смотрел незнакомый человек. Он был свеж и изящен. Такие люди не знают забот, и в кармане у них всегда кошелек, в котором не меньше чем на два лата мелочи. Они не едят черного хлеба и дешевой колбасы. По понедельникам они не надевают рабочую блузу и грубые рабочие сапоги. И на них не покрикивают, потому что у них музыкальный слух...

Волдис забыл обо всем. Вылетели из головы мысли о полном неизвестности завтрашнем дне, о безработице и последних латах. Быть хорошо одетым лучше, чем быть сытым: голое тело видят все, а пустой желудок никому не заметен.

— Теперь довольно, — прервал Карл его любованье собой. — А то еще влюбишься в себя, это не годится. Предоставь это кому-нибудь другому.

— Кого ты имеешь в виду? Может, ты думаешь меня с кем-нибудь познакомить? Может, у тебя есть сестра?

— Успокойся, у меня нет сестры, а если бы и была, я отнюдь не считал бы своим долгом поставлять ей кавалеров. Волдис, не нужно быть особенно дальновидным, чтобы предугадать естественный ход событий. Прекрасный пол не оставит незамеченным такого видного парня. Будь уверен, на дамский вальс ты получишь немало приглашений. Ты только не рассказывай, что работаешь в порту угольщиком, они могут разочароваться. Говори, что ты шофер министра, конторский служащий, моряк, художник, единственный сын какого-нибудь землевладельца. Говори все, на что способна твоя фантазия, только ни слова правды. Девушки любят романтику. Рабочий-угольщик — фи, никакой романтики!..

— Перестань дурачиться, Карл. Погоди, я скажу хозяйке, чтобы она меня рано не ждала домой.

Старая Андерсониете тихо напевала в одиночестве церковные псалмы, перед ней лежал раскрытый старый молитвенник. Она вязала, время от времени заглядывала в книгу и мычала дальше без слов, не открывая рта. Старая женщина была полна праздничной набожности и торжественной серьезности; в таком возрасте многие женщины обычно ищут связи с загробным миром, куда они могут угодить в самом ближайшем будущем, вспоминают господа бога, размышляют о бренности человеческой жизни, о тихом кладбище и о том, что «в сем мире мы только гости».

Она торжественно подняла глаза на вошедшего. Ее ханжеское лицо не осветилось улыбкой. Склеп не мог быть более холодным и мрачным, чем эта женщина, которая с леденящих кровь божественных высот спустилась на грешную землю.

— Госпожа Андерсон, я ухожу. Думаю, что вернусь довольно поздно.

— Хорошо, хорошо. Позвоните, я открою дверь. Но как вы похожи на моего Эрнеста! Эрнест тоже любил хорошо одеться. Так и следует, ведь деньги даются трудом. Лучше купить себе какую-нибудь вещь, чем выбросить их на ветер, пропить, прокурить, истратить на кино, на девушек... О, господи! Мир полон соблазнов, а молодежь не в состоянии перед ними устоять. Идите с богом!

* * *

Они вышли на улицу. День был теплый, солнечный, но над пятиэтажным городом висело тяжелое, серое облако торжественности. Проезжали полупустые трамваи, и пассажиры, одетые в свои лучшие костюмы, сидели с надменно вытянутыми серьезными лицами.

— Куда мы едем? — спросил Волдис, когда они сели в трамвай.

— Разреши это знать мне, — усмехаясь, ответил Карл.

— На гулянье еще рано. Что мы будем делать до этого?

— Разреши это знать мне...

Они проехали Понтонный мост, ехали некоторое время по тихим и пустынным улицам, пока наконец не достигли маленьких домиков с палисадниками. Спрятавшись в кустах сирени, голубовато-серые домики с цветными стеклами на верандах, казалось, дремали в тишине и покое.

На перекрестке двух таких тихих улиц они сошли с трамвая и пошли пешком по узкому деревянному тротуару. Подошли к серому одноэтажному домику, стоявшему шагах в двадцати от улицы, среди кустов сирени, яблонь, вишен и грушевых деревьев. У домика стояла качалка, между двумя яблонями был растянут гамак.

Карл остановился.

— Сюда, Волдис, в эту узенькую калитку, по этой узенькой тропинке.

— Ты здесь живешь? — спросил Волдис.

— Да, иногда живу. Иди смелей, тебя никто не укусит! Здесь нет чужих людей. Те, кто тут живет, уже кое-что слышали о тебе от меня.

Волдис уныло шел за Карлом. Его угнетало предстоящее неизбежное знакомство с людьми, которых он никогда не видел. Карл даже не сказал ему, что это за люди. Друзья? Родные? Может быть, женщина?

— Ну, встряхнись немножко, не смотри с таким отчаянием! — тихо засмеялся Карл.

По ту сторону домика загремела цепь, залаяла собака. В одном из окон колыхнулась занавеска, на мгновение показалось и сразу же исчезло чье-то лицо. Волдис взглянул на Карла и невольно рассмеялся: великий скептик и задорный сорвиголова покраснел, как девушка.

«Значит, женщина, — подумал Волдис. — Женщина Карла. Какой Карл странный. У него есть своя девушка, и он ведет меня к ней... Кому кого он хочет показать: меня ей или ее — мне?»

Им открыла дверь пожилая женщина с изжелта-румяным полным лицом, в длинной пестрой вязаной кофте.

— Мой друг Волдис Витол! Госпожа Риекстынь! — познакомил их Карл.

Полная женщина приветливо кивнула.

— Пожалуйста, проходите, Милия в комнате.

Она провела их через кухню, где в этот момент тушилась кислая капуста с мясом. Желтая стеклянная дверь вела в гостиную. Приятной прохладой повеяло навстречу им из небольшой, заставленной мебелью комнаты. Темно-красный полированный стол, покрытый тяжелой, золотистого цвета скатертью, стоял посреди ее. Этажерка с альбомами для фотографий и записей «на память». Несколько книг с золочеными корешками. Два больших фикуса. Зеленый диван и несколько мягких стульев. На стенах увеличенные портреты и много мелких снимков, фотографий и открыток. В углу трюмо. Все уставлено безделушками. Тумбочки с поддельными египетскими вазами и маленький граммофонный столик были покрыты пестрыми узорчатыми скатерками.

Милия казалась, пожалуй, уж слишком погруженной в какое-то вышиванье, и ее удивленный возглас в ответ на фамильярное приветствие Карла прозвучал театрально.

— Деточка, что ты в воскресный день занимаешься такими пустяками, как рукоделие? Бросай сейчас же! Вот я привел тебе моего друга. Можете познакомиться. Волдис Витол — Милия Риекстынь.

Милия отложила в сторону вышиванье с начатым цветком и энергично пожала Волдису руку. Впервые в своей жизни Волдис почувствовал в своей натруженной руке такие бархатные тонкие пальцы. Какая сдержанность была в пожатии этих белых, холеных пальцев, и с какой тихой грацией, как бы нехотя, она отняла их.

— Как приятно, что вы пришли. Карл мне столько рассказывал о вас. Садитесь, пожалуйста. Ты, Карл, можешь подвинуться немного.

Она встала, положила рукоделие на стол, мимоходом поправила занавески на окне, затем вернулась к дивану и села, положив ногу на ногу. Ее можно было назвать высокой женщиной, она была всего на несколько сантиметров ниже Волдиса. На ней был модный темно-синий костюм, плотно облегавший фигуру, блестящие телесного цвета чулки, выгодно обрисовывавшие стройные ноги, и белая блузка с темным галстуком. Овальное свежее лицо, большие серые глаза, чуть подкрашенные чувственные губы и пышные белокурые волосы. Она не была худощава, скорее склонна к полноте. Ее вполне можно было назвать хорошенькой женщиной. Милия, без сомнения, была на несколько лет старше обоих молодых людей, но разница между двадцатью шестью и двадцатью тремя годами не так уж велика, чтобы можно было говорить о двух разных поколениях. Кроме того, у нее было такое приятное сопрано и временами она так по-детски застенчиво улыбалась, что скорее напоминала преждевременно созревшую девочку, чем женщину.

Волдис сел в мягкое кресло и, следуя примеру Карла, подтянул немного брюки в коленях. Странно, он совсем не волновался. Здесь его встретили приветливые, сердечные люди, без усмешек и назойливого любопытства. Приятная прохлада освежала, как струя воды.

Милия встала и подошла к этажерке.

— Пожалуйста, чтобы не скучать, посмотрите эти карточки. Я вам буду объяснять, что это за люди. Карл, иди тоже сюда. Только не насмешничай, иначе мы тебя прогоним.

Притворно-серьезно, с послушной готовностью Карл придвинулся ближе.

— Смотрите, это мой папа в молодости, а это мама. Какое у нее смешное длинное платье. И как ей не

стыдно было носить такую ужасную шляпу! А это? Это мой брат. Он погиб на войне. Прошу вас, не смотрите на эту глупую гусыню. Фи, какая уродина!

Милия закрыла ладонями лицо и сквозь пальцы следила за Волдисом, рассматривавшим фотографию, на которой она была снята школьницей — в длинном платье, с длинными косами и с бантом в волосах.

— Это вы? — наивно спросил Волдис.

— Мне стыдно за себя. Как я здесь выгляжу. Ужасно!

По крайней мере полчаса Волдис знакомился с разными тетками и двоюродными сестрами, дядями и двоюродными братьями. Милия — школьница после конфирмации, Милия в купальном костюме, Милия — взрослая девушка, Милия — какой она была, какой она стала сейчас и какой она мечтала стать. Молодые люди в стоячих воротничках, с галстуком-бабочкой; молодые люди в мягких воротничках с длинными галстуками; сержанты-сверхсрочники с жетонами в память «освободительной борьбы» * и полковыми значками на подбитой ватой груди, чиновники 16-го и 14-го класса * с нарочито небрежными прическами и демонически-мечтательно-мрачными физиономиями — целая галерея самых различных персонажей таилась в этих альбомах. Кто они? Родственники? Знакомые? Может быть, поклонники?

Волдис взглянул на Карла. Погруженный в себя, он, казалось, не замечал вереницы поклонников Милии и внимательно вчитывался в один из тех бессодержательных афоризмов, которые пишут в альбомы юноши-школьники.

В альбоме мелькнуло и лицо Карла, и — какая честь для него! — в лестном соседстве с Милией. Да, они были близки. И все-таки Карл держался, как ягненок, разговаривал вполголоса, и при каждой его попытке овладеть рукой Милии, она, укоризненно глядя на Карла, незаметно высвобождала ее. Может быть, ее стесняло присутствие Волдиса?..

«Счастливый Карл...» — подумал Волдис.

— Расскажите что-нибудь о себе, — попросила Милия. — Говорят, вы много повидали? Карл мне рассказывал. Я не могла дождаться, когда он вас приведет.

Карл смущенно опустил глаза, да и Волдис чувствовал себя неловко. Эта женщина хотела познакомиться с ним, она надеялась увидеть необычного, интересного,

много испытавшего человека — героя, авантюриста. Мысль, что от него, как от разрекламированного клоуна, ждут теперь обещанных доказательств его способностей, угнетала Волдиса. Он не знал, чем заинтересовать эту девушку, с чего начать. Но тут сама Милия пришла ему на помощь и несколькими вопросами направила разговор в нужное русло.

— Где вы родились? Где росли? Куда вы потом уехали?

Волдис рассказывал. И хотя в его повествовании не было ничего особенного, необычного, Милия слушала его с повышенным вниманием, точно каждое слово было для нее откровением.

— Как хорошо! Как интересно! — восторженно воскликнула она. — У вас была близкая женщина?

Волдис смешался.

— Женщина? Нет, у меня не было родных... кроме родителей.

Милия расхохоталась.

— Какой вы наивный! У вас не было еще любимой девушки?

— У меня до сих пор не было времени знакомиться с чужими... дамами. Не смейтесь, это не моя вина.

— Этот пробел вам нужно поскорее восполнить. В Риге много красивых девушек. Не притворяйтесь таким невинным, никто вам не поверит. И я не верю. Как это можно, чтобы у юноши ваших лет не было еще ни одного романа!

Она полуприлегла на диване. Карл осторожно, будто боясь получить отпор, сел рядом с ней и обнял ее плечи.

— Детка, — шутя пригрозил он ей пальцем, — не издевайся над мужчинами. Не серди сильный пол, а то тебе придется худо.

Милия повернулась и отстранила руку Карла.

— Оставь меня в покое. Если ты ничего не можешь придумать умнее, лучше молчи.

— Не волнуйтесь, уважаемая барышня! — Карл опять обнял плечи Милии. — Волноваться вредно.

— Невыносимый человек! — хохоча, воскликнула Милия. — Знаете что, пойдемте лучше в сад. Я вижу, вам здесь становится скучно.

— Не ходи, Волдис! — перебил ее Карл. — Она хочет выманить нас из дому, чтобы не кормить!

— Фу, какой бессовестный! — возмутилась Милия. — Если он не хочет идти, пойдемте вдвоем, господин Витол.

Она подошла к этажерке и взяла какую-то книгу, намереваясь полежать в гамаке. Дама, лежащая в гамаке, не может быть без книги. Гамак для того и существует, чтобы в нем лежать с книгой в руках. Можно ее при этом и не читать...

Они пошли в сад. Милия легла в гамак и открыла книгу. Карл качал гамак.

— Вы читали «Гараган» *? — спросила она Волдиса.

— Да, на военной службе. У нас в ротной библиотечке была «Неделя» *, там печатался этот роман.

— Какая захватывающая вещь! И ведь он любил Глорию. Не знаю почему, но меня злит, что они в конце не сошлись опять. Как бы это было хорошо! Как вы думаете?

— Может быть, и хорошо, но в жизни не всегда происходит только хорошее. Мне кажется, трагический конец в этой книге придуман для того, чтобы хоть сколько-нибудь ослабить впечатление от натянутости, фальшивого драматизма, пафоса и авантюрного характера романа.

Волдис сел на качалку и смотрел по сторонам: на яблони, на столбики изгороди, на прохожих, на пыльные носки своих ботинок. Разговаривая с Милией, он старался не смотреть на нее. Под белой тканью узкой блузки, плотно облегавшей Милию, резко обозначалась упругая грудь. Может, Милия нарочно так лежит, выставляя напоказ красоту своего тела? Тогда она должна быть опытной кокеткой, — ни одна актриса не сумела бы лучше показать достоинства своей фигуры. Охваченный смятением Волдис не в силах был оторвать глаз от гамака. Он думал об этой женщине, невесте своего друга. Как она ему нравилась!

К счастью, Милии наконец надоело позировать в гамаке. Она соскочила на землю и извинилась перед гостями:

— Пора собираться на гулянье. Может быть, вы займете друг друга, пока я переоденусь? Если надоест ждать, входите и заводите граммофон. — Она убежала, потряхивая пышноволосой мальчишеской головкой.

— Что ты скажешь о ней? — спросил Карл, когда Милия исчезла за углом дома.

— Интересная девушка. Наверно, с капризами. Впрочем, у какой женщины их нет?

— Да, она красивая. Я с ней знаком уже несколько лет.

— За кого ты себя здесь выдаешь?

— Здесь мне нечего притворяться. Они знают обо мне правду. И кроме того, — Карл понизил голос и слегка покраснел, — у меня серьезные намерения.

— Ты женишься на ней?

— Надеюсь, когда-нибудь это произойдет...

И он рассказал о своей даме сердца. Отец ее — мастер на какой-то фабрике. Этот домик — их собственность. Милия несколько лет училась в средней школе, и даже не в одной, каждый год в новой. Точно неизвестно, сколько классов окончила она, — может быть, два, а может быть, три *.

«То есть как раз столько, —подумал Волдис, — чтобы дочь рабочего начала стыдиться своего класса, черной работы и родственников. Такие курьезы встречаются на каждом шагу: дети хотят подняться выше уровня своей семьи. Они хотят быть «чем-нибудь получше», но до «лучшего» не хватает нескольких ступенек. Завязнув на полдороге, они прозябают до тех пор, пока жизнь не сломит их или не отбросит с презрением обратно, в тот круг, откуда они вышли».

Карлу он, конечно, ничего не сказал.

Милия, разумеется, обучалась на курсах танцев, умела танцевать, читала журнал мод, мечтала о месте кассирши, продавщицы, машинистки в каком-нибудь магазине или конторе, а пока таких мест не находилось, жила у родителей, вышивала, помогала немного матери по хозяйству и совсем незаметно подошла к двадцать шестому году своей жизни. В альбомах набралось много фотографий военных и штатских молодых людей, накопился и кое-какой жизненный опыт, настало время подумать о законном браке. Штатские и военные знакомые дарили теперь свои фотографии в альбомы другим, а в гостиной Риекстыней каждый вечер сидел двадцатитрехлетний Карл Лиепзар, рабочий с грубыми руками. Весьма возможно, что он женится на возлюбленной. Хотя ее родители и не совсем простые люди, но он ведь

тоже может сделать карьеру: стать форманом или как-нибудь иначе выбиться в люди.

Через полчаса Милия вернулась. На ней было светлое прозрачное платье, тонкая легкая ткань свободно облегала тело.

Они отправились. Счастливый и взбудораженный Карл откровенно любовался своей невестой. Волдис понимал его, так же как и тех молодых и пожилых мужчин, которые оборачивались и пристально смотрели им вслед.

...Это был цветущий парк на окраине города. Среди парка стоял небесно-голубой павильон для оркестра, а вокруг — между ольх и лип — маленькие, заросшие вьющимся хмелем беседки. Танцевальную площадку недавно отремонтировали — на полу еще виднелись кое-где следы замазки, а плохо выстроганные доски пахли олифой. Рядом с павильоном для оркестра стоял некрашеный навес, над ним красовалась вывеска: «Буфет. Просьба расплачиваться сразу!»

Когда наши знакомцы появились в парке, там уже кишела пестрая толпа — девушки в дешевых ярких платьях и парни в костюмах самых разнообразных фасонов, начиная от смокинга и кончая белыми спортивными куртками. Здесь все подчинялось не этикету, а только индивидуальным вкусам каждого. Один считал верхом изысканности широкие матросские брюки, другой — белую рубашку фасона «апаш», третий — загнутый наподобие орлиного клюва козырек фуражки. В мочке уха какого-то парня блестела серьга. Многие щеголяли татуировкой.

В толпе молодежи попадались и пожилые люди, усатые отцы семейства в сопровождении своих величавых жен. Они запаслись на весь день бутербродами и лакомствами, прихватив с собой маленькие чемоданчики.

Девушки, неумело подкрашенные, в слишком коротких платьишках, прогуливались по три-четыре вместе, весело болтали, беспрерывно хохотали и смело поглядывали на молодых мужчин. Они не лезли за словом в карман и, когда их кто-нибудь задевал, умели как следует отбрить обидчика.

Наши друзья выбрали себе отдаленную, расположенную на пригорке беседку, откуда была видна танцевальная площадка.



— Я вас на несколько минут оставлю, — извинился Карл и ушел в буфет.

— Возьми лучше мороженое, чем пирожки! — крикнула ему Милия.

— Позволь мне самому решать! — отозвался Карл.

Пока он покупал в буфете лимонад и сладости, Милия знакомила Волдиса с публикой. Подруги, соседи, чужие, знакомые, отъявленные драчуны, хорошие танцоры вереницей проходили перед ними по крашеному полу площадки. Некоторые издали здоровались с Милией, и она отвечала сдержанной улыбкой.

На эстраде зазвучали медные инструменты. Военный оркестр заиграл «Прощание гладиатора». Гуляющие старались шагать в такт музыке. Все приободрились, самые вялые оживились и с каждым движением все больше включались в общий ритм.

Карл вернулся нагруженный бутылками, плитками шоколада, бисквитами и мороженым. Да, сегодня гулянье принесет немалый доход какому-то благотворительному учреждению. Раскрывайте кошельки!

— Ну зачем ты взял красный лимонад! — недовольно вздернула носик Милия.

— Другого нет. Светлый обещают принести позже. Ну, можете жевать! Скоро начнутся танцы.

— А что толку? — засмеялась Милия. — Ты же все равно не танцуешь.

Карл смущенно улыбнулся, что-то пробормотал и стал разливать лимонад, потом воровато оглянулся, вытащил из кармана бутылку из-под сельтерской и поставил на стол.

— Выпьешь водки? — спросил он Волдиса.

— А это обязательно?

— Непременно. Без водки не стоит и ходить на гулянье. Нет настоящего веселья, не хватает духу что-нибудь предпринять. Сидишь, как пень, и удивляешься, как это другие держатся так свободно. Милия, тебе тоже налить?

— Что за вопрос! Конечно, можно, только чтобы не очень крепкая была, иначе пить нельзя.

Волдис чуть не рассмеялся, глядя на то, с каким хладнокровием Карл разливал мнимую сельтерскую в стаканы, затыкал пробкой бутылку и доливал стаканы лимонадом.

— Чистый спирт, — шепнул он Волдису.

— А я думал, ты не пьешь.

— Разве это называется пить? Меня ведь совсем не тянет к водке, но на гулянье без этого нельзя. Как иначе поднять настроение? Немного погодя сам увидишь, что сюда никто не ходит без водки. Мы же хотим здесь повеселиться, а не разглядывать и критиковать других.

— Разве без этого нельзя веселиться?

— Как же ты трезвым развеселишься, когда из головы ни на минуту не выходит тяжелая, свинцовая жизнь? Надо же забыться!

— А водка помогает забыться?

— Да ты, видать, никогда не пил? Тогда сегодня же ты узнаешь, что значит забыться.

Они чокнулись и сделали несколько глотков, от которых у Волдиса захватило дыхание и на глазах выступили слезы.

— Что с вами, господин Витол? — лукаво засмеялась Милия. — Крепкая?

— Не понимаю, право, не понимаю...

— Но это ведь сильно разбавленный спирт, — заметил Карл. — А что ты скажешь, если тебе придется пить его разбавленным только наполовину?

— Это безумие.

— Успокойтесь, господин Витол! — даже Милия, оказывается, понимала кое-что в этом вопросе. — Потому ведь его и пьют, что это безумие. Вы не можете представить, до чего иногда приятно безумие.

Они выпили снова. Карл и Милия осушили свои стаканы до дна, Волдис же был в состоянии сделать только один глоток. Милия плутовато засмеялась. Она взяла кружок бисквита, поднесла к губам Волдиса и сказала:

— Откусите половину.

Волдис откусил, пальцы Милии коснулись его губ, вторую половину она положила себе в рот.

— Волдис, выпей-ка до дна! — настаивал Карл, и волей-неволей Волдису пришлось допить стакан.

— Вот это другое дело! — Милия придвинулась ближе к нему и опять протянула бисквит. — Откусите кусочек. Ай! Не кусайте мне пальцы. Вы становитесь дерзким, это хорошая примета.

Ее смех долетел до танцевальной площадки. Кое-кто с любопытством поглядывал в их сторону. Карл опять

налил в стаканы понемногу «сельтерской», разбавил ее водой и предложил выпить.

Неусыпные блюстители порядка разгуливали по дорожкам парка. Они испытующе посматривали в сторону беседки, но так как на столе стояла только бутылка сельтерской и лимонад, проходили успокоенные мимо; заглядывали в другие беседки, опять видели невинные бутылки с сельтерской, серьезные, равнодушные лица и окончательно успокаивались. Все шло, как полагается.

Заиграли вальс. Из отдаленных беседок торопились, почти бежали заждавшиеся танцоры; девушки еще на лестнице оказывались в объятиях партнеров и, как усталые птички, склоняли головки набок, предоставляя двигать, кружить и обнимать себя.

В дверях беседки появился худосочный молодчик с прилизанными волосами, в сильно поношенных коричневых ботинках. У него были красные полированные ногти, маленькие испанские баки и пестрый шелковый платок в нагрудном кармане. Небрежно взглянув сначала на Волдиса, затем на Карла, он низко поклонился:

— Разрешите пригласить вашу даму?

Карл отвернулся в сторону и что-то пробурчал. Волдис забарабанил пальцами по столу. Милия поднялась и протянула Волдису свою сумочку. Она улыбнулась им обоим и поправила платье.

— Извините! — Она прошла вперед, а худосочный молодчик шаркающими шагами скользил вслед за ней.

Еще на лестнице Милия повернулась к своему кавалеру и скользнула в его длинные руки. Да, у этого тщедушного молодчика был темперамент. Возможно, он забыл, что это не танго и не бостон, а всего лишь обыкновенный старинный вальс: он наклонился вперед, настойчиво глядя в глаза своей дамы, и вся верхняя часть его туловища так и застыла в этом положении, пока продолжался танец. Только ноги выполняли какие-то ритмические движения — ступали вперед и назад, два шага в сторону, поворот, опять вперед. Широко растопырив пальцы правой руки, он придерживал Милию за спину, подняв левую высоко вверх. Временами, когда он, остановившись, с головокружительной быстротой вертел свою даму на месте, вся его тщедушная фигура выпрямлялась и прижималась к Милии. Он что-то говорил. Милия покачивала головой и смеялась.

Волдис искоса посмотрел на Карла, но тот глядел куда-то вдаль, в глубь парка.

«Что он чувствует? — думал Волдис. — Он должен смотреть, как любимую женщину нагло обнимает и прижимает к себе незнакомый человек! И хотя это только танец, тем не менее пальцы этого человека дрожат от волнения, он мысленно раздевает свою даму. Бедный Карл! Танцуй он сам, не было бы этих рук. Но что скажет Милия и все эти жаждущие танцев люди, если Карл не позволит ей танцевать с другими? Его высмеют, назовут старым ханжой, никто и не подумает считаться с ним».

— Почему ты не научишься танцевать? — прервал, наконец, Волдис раздумье Карла.

— Я умею танцевать вальс и фокстрот. Я знаю все это наизусть, только никак не могу начать. Всем известно, что я не танцую, и если я когда-нибудь покажусь на танцевальной площадке, они будут смеяться над каждым моим шагом, хотя бы я танцевал не хуже здешних завсегдатаев. Ты же знаешь, что значит предубеждение.

— Но разве тебе не обидно, когда ты видишь, как твою девушку лапают всякие ферты, которые ничего не смыслят, кроме па, туров, поворотов и наклонов?

— Что за глупости!

— А если ей самой приятно быть в объятиях этого человека? Если совсем бессознательно, не думая об этом, она испытывает удовольствие от этих унизительных прикосновений? Быть может, вовсе не сам танец заставляет ее и многих других девушек вскакивать при первых звуках фокстрота?

— Если так рассуждать, нам надо ревновать наших девушек и к снам, которые снятся им ночью. Пей, Волдис, не ломайся.

«Может, Карл все же страдает? — думал Волдис. — А я все время растравляю его рану».

Они чокнулись и отпили по глотку. Оркестр кончил играть, внезапно оборвав мелодию. Танцующие немного растерялись от неожиданности, затем, смеясь, разошлись по парку. Тщедушный молодчик предложил Милии руку и какой-то неестественно торжественной походкой, подсмотренной в кинофильмах или на курсах танцев,

пошел с нею к беседке. Он низко раскланялся, прижимая левую руку к сердцу.

— Смею ли ангажировать вас на следующий танец? — спросил он Милию.

— Пожалуйста, благодарю.

Когда молодчик удалился, Карл сухо рассмеялся

— Прямо из энциклопедического словаря! Ангажировать — как здорово сказано! Просто удивительно, до чего интеллигентный стал, разучился говорить по-латышски.

— Это что — ревность? — Милия недовольно нахмурила брови. — Карл, не компрометируй себя.

— Опять иностранное слово. Знаю я этого «ангажера». Он работает возчиком у экспедитора Легздыня. Около штабелей крепежного леса и кип льна, наверное, легко изучать иностранные слова. К тому же он недавно окончил курсы танцев. Европеец, ха-ха-ха!

Милия чуть смутилась, но только чуть-чуть. Через минуту она, казалось, успела забыть ядовитое замечание и, глядя в ручное зеркальце, провела несколько раз пуховкой по лицу.

— Почему ты не наливаешь, Карл? — повернулась она к столу. — Или мне придется перейти на самообслуживание? Чего я хочу? Ну, во всяком случае и крепкого тоже. Наливай смелее, не поперхнусь. Господин Витол, как у вас разрумянилось лицо! Я знаю, это от водки. Вам она на пользу, даже кончики ушей горят.

Но на этот раз Милия ошиблась. Не водка была причиной того, что лицо Витола покрылось румянцем и он время от времени поглядывал искоса на соседнюю беседку. Он заметил знакомое лицо. Бледное, чистое девичье лицо. Большие глаза с удивлением смотрели на него, и он встретился взглядом с ними. Девушка с улицы Путну и худощавый юноша с открытой шеей сидели в соседней беседке. Они были не одни. Несколько коренастых, пышнотелых девиц, охмелевших от не совсем обычной сельтерской, верещали, визжали и били своих кавалеров по рукам, когда те становились слишком дерзкими. Парни были в брюках клеш, во френчах с бесчисленными карманами, в рубашках апаш. У одного из-под рубашки виднелась на груди татуировка: птичья голова, а руки всех троих парней были испещрены морскими эмблемами: крестами, якорями, штурвальными колесами,

сердцами, флагами и т. д., хотя ни один из них моря и в глаза не видел.

— Шпана!.. — проворчал Карл, увидев, что Волдис с интересом наблюдает за соседями. — Любят важничать, разыгрывать апашей, драться и получать сдачи. Гордятся тем, что полиция составляет на них протоколы, а когда им поставят фонарь под глазом, показывают его всему свету как доказательство своей лихости.

Каким образом эта бледная тихая девушка очутилась в таком обществе? Волдису это казалось странным. Он временами поглядывал на соседнюю беседку. Каждый раз его взгляд встречался с взглядом девушки. Она сконфуженно отворачивалась.

«Она, наверно, узнала меня», — думал Волдис. От выпитого вина он чувствовал себя непринужденно.

— Вы все время кормили меня бисквитами, — обратился он к Милии. — Теперь позвольте и мне это сделать. Так, откусите кусочек, только не откусите мне пальцы, это мои собственные; я их не застраховал, как кинозвезды страхуют свои ноги и носы, но и они имеют ценность. А теперь откуси ты, Карл. Видите, Милия, он ищет как раз то место, где вы кусали. Не кажется ли вам это странным? Как вы это объясните?

— Господин Витол, взгляните направо. Вас пожирает глазами какая-то дама. О, я вижу, она сердится на меня. Смотрите, как она хмурится!

— Ах та, в соседней беседке? Гм, интересная, но совсем незнакомая барышня.

— Вы краснеете! Карл, взгляни — он краснеет!

— Вы же сами сказали, что это от водки.

— Ах, какой хитрец! Хорошо, что я вас раскусила. Слушай, Карл, разве больше ничего нет? Бутылка пуста.

— Я попробую достать еще. Обождите.

Счастливый, что может угодить Милии, Карл схватил бутылку из-под сельтерской и затерялся в толпе. Милия села совсем рядом с Волдисом. Ей было жарко, она обмахивалась носовым платком и беспокойно двигала под столом ногами.

— Я вас приглашаю на дамский вальс, — сказала она.

— Я не умею танцевать, — ответил Волдис.

— Я вас научу.

— Я наступлю вам на туфли.

— Наступайте, я не боюсь.

Горячее дыхание касалось лица Волдиса, рука Милии, будто нечаянно, схватила его пальцы, стиснула их. Какая у нее сильная рука! Что-то заставило Волдиса сжать руку в кулак, и он крепко сдавил ладонь Милии, но она не вскрикнула, не спешила освободить свои пальцы.

— Ах вы... — начала она, пригрозив пальцем, и не окончила, так как вернулся Карл с новой бутылкой.

Заиграл оркестр, и в дверях беседки показался тщедушный молодчик.

— Извините, — сказала Милия и через минуту затерялась в толпе танцующих.

Глаза Волдиса искали ее. Взгляд его обшаривал толпу, пока не нашел Милию. Он не заметил, как стихла музыка, и очнулся тогда, когда тщедушный парень опять низко кланялся, прижимая к сердцу руку.

— Знаете что! — крикнул Волдис молодчику. — Мне приятней видеть, когда вы уходите...

— Но, господин Витол, разве так можно! — воскликнула Милия, с трудом сдерживая смех и прижимая платок к губам. Покраснев, она уселась на свое место.

Не веря своим ушам, парень переминался с ноги на ногу; губы у него дрожали, он то краснел, то бледнел.

— Вы об этом пожалеете! — прошипел он, наконец, и кинулся прочь.

— Обождите, милостивый государь! — крикнул вслед ему Карл. — Я вас ангажирую на один тур бокса. Почему вы не отвечаете?

— Ах, зачем вы так! — упрекала Милия без тени упрека в голосе. — Теперь он устроит скандал.

— Успокойся, девочка! — Карл презрительно плюнул в сторону ушедшего. — У него здесь нет друзей, некому его поддержать.

Смеясь, они осушили еще по стакану.

Милию осенила новая мысль.

— Что мы здесь «выкаем» и называем друг друга «господами»? Выпьем на «ты». Согласны? Никто не возражает? Карл, налей!

После этого некоторое время не слышалось «мадемуазель Милия» и «господин Витол».

— Садись, Волдис, ближе! — пригласила Милия.

И они уселись втроем, тесно прижавшись друг

к другу. Бутылка пустела, разговор становился бессвязным, взгляды нескромными.

Стемнело. На ветвях ольх загорелись красные и зеленые лампочки. Повсюду слышался смех, визг, и все это заглушали звуки надрывающегося оркестра, игравшего фокстроты, фокстроты, фокстроты.

Несколько раз Милия исчезала. Молодые люди с распухшими пьяными физиономиями и молодые люди несколько более благообразные желали танцевать с ней. Она уходила с ними и возвращалась каждый раз разгоряченная, запыхавшаяся и заставляла своих друзей обмахивать ее.

— Какой восхитительный вечер! — восклицала она.

— Дамский вальс! — выкрикнул кто-то в темноте, и тотчас полились нежные звуки музыки.

Откуда-то из мрака вынырнула бледная девушка, нерешительно остановилась, глядя на Волдиса большими удивленными глазами.

— Можно пригласить вас?

— К сожалению, барышня, я не умею танцевать. Благодарю вас.

Губы девушки тихо и покорно улыбнулись. Она что-то проговорила, но слов нельзя было расслышать, и ушла. Сухощавый парень с открытой шеей поднялся со скамьи, и они начали вальсировать.

Милия встала, положила руки на плечи Волдису и медовым голосом сказала:

— А если я тебя попрошу, ты тоже откажешься?

— Мадемуазель Милия... прости — Милия... я ведь отказался только потому, что не умею танцевать.

— Я тебя научу.

— Нет, не пойдет. Если я сделаю так, это обидит девушку, которой я только что отказал.

— Ты боишься ее обидеть? Плут ты этакий!

Неизвестно, чем бы окончился этот разговор, если бы на танцевальной площадке не случилось что-то. Посредине площадки внезапно поднялась суматоха. Все сбились в одну кучу и кричали. Молодые люди набрасывались друг на друга, ревели, рвали друг на друге рубашки, били кулаками по лицу; лилась кровь, неслась брань. Женщины визжали, тянули за рукава своих разбушевавшихся партнеров, но не в силах были их

удержать. Из кустов выбегали запыхавшиеся парни — любители драк.

— Смажь ему! Поддай! Фриц! Эдди! Вот он! Лови! Не упускай!

Летели пустые бутылки, тарелки, стулья. Сбившиеся в клубок драчуны скатились с танцевальной площадки и в мгновение ока рассеялись по парку. Дрались везде: в беседках, на дорожках, в кустах. Во всех уголках парка раздавались удары, стоны, брань, свистки, пинки ногами, звон разбитой посуды. Один за другим гасли лампионы; на танцевальной площадке, у эстрады, разбили большую электрическую лампу... И будто для того, чтобы усилить шум, темноту и возню, пошел дождь — сперва редкий, крупный, перешедший затем в сплошной ливень. Но и он не в силах был охладить разгоряченные головы. А началось все из-за того, что кому-то наступили на ногу, тот ответил ударом, потом его ударили, а затем уже били без разбору.

У каждого здесь оказались враги, их били, а многие колотили и друзей: драться нужно было, все равно с кем, этого требовали традиции. По дорожкам бегали встревоженные блюстители порядка и колотили публику, а публика колотила блюстителей порядка.

Когда Волдис оглянулся, Карла уже не было в беседке.

— У него руки чешутся, — усмехнулась Милия, когда Волдис кивнул ей на пустой стул Карла. — Только бы не нарвался на полицию.

Над их головами, свистя, пролетела бутылка. Они пригнулись, и Милия испуганно схватила Волдиса за локоть. Они прислушивались к бессвязным крикам, всматриваясь в темноту парка. Рядом с беседкой боролись две темные фигуры. Крепко сцепившись, они старались нанести друг другу как можно больше ударов. Один из них был сильнее. Ловким ударом он отбросил противника в кусты, где тот и остался лежать. Оттуда сквозь крики и шум доносились едва слышные стоны. Другой вошел в беседку и, тяжело дыша, уселся в углу. Это был Карл.

— Кто это там? — спросил Волдис.

— Ангажер, — ответил Карл.

Польщенная Милия улыбнулась: ведь Карл дрался из-за нее!

Дождь все усиливался. В темноте слышались пронзительные свистки полицейских, по всем дорожкам разбегались люди. Вспыхнувшая было вражда внезапно угасла. Всех охватило только одно желание — не дать схватить себя, оставить полицейских с носом.

— Стой! Стой! Стрелять буду! — слышалось вокруг.

Окровавленных, оборванных и запыхавшихся мужчин хватали за руки, сгоняли в кучи, отбирали у них паспорта и куда-то уводили.

— Гулянье кончено! — раздался чей-то голос с эстрады.

Карл встал. Милия взяла под руки своих спутников, и так они втроем вышли из парка. У ворот Волдис протянул руку.

— Куда ты пойдешь так поздно? — воскликнул Карл. — Пойдем, переночуешь у меня. Трамвай уже не ходит...

— Право, Волдис, ты можешь остаться у Карла, — пыталась уговорить его и Милия, глядя на них обоих.

Карл, может быть, весь вечер ждал момента, когда они вдвоем с любимой пойдут домой... нет, он не мог лишить друга этой радости.

— Благодарю! Завтра идти некуда, лучше я потихоньку поплетусь домой. А то Андерсониете начнет беспокоиться, подумает, что со мной что-нибудь случилось, побежит в полицию.

— Приходи завтра в обед на набережную Даугавы.

— Тебе что-нибудь известно?

— Идет какой-то «американец» с штучным грузом. Попытаем счастья.

— Хорошо.

Прощальное рукопожатие Милии было крепким и долгим. Она многообещающе посмотрела Волдису в глаза, потом пошла прочь, склонив голову на плечо Карла. Волдис сквозь пелену дождя глядел вслед этим двум людям, фигуры которых казались слившимися в какой-то фантастический силуэт. Земля была сырая, небо беззвездное. Волдис нерешительно поднял воротник.

* * *

Дождь лил теперь неровно, временами порывы ветра бросали пригоршни воды в лицо прохожим; потом ветер, стихая на несколько минут, завывал где-то

высоко в телефонных проводах и верхушках деревьев. Еле заметные, качались на ветру уличные фонари. Как лучи прожектора, скользили по тротуару блики света, выхватывая из тьмы сгорбленную, быстро двигающуюся человеческую фигуру, которая, втянув голову в воротник, боролась с ветром.

Держась подветренной стороны улицы, Волдис шел вперед. Немилосердно жали ботинки, — пальцы, вероятно, были стерты до крови; новому костюму Волдиса пришлось выдержать тяжелое испытание, — но Волдис об этом не думал и не чувствовал боли в ногах.

«Как странно бывает в жизни! — думал он. — Двадцать три года живешь на свете среди людей, ежедневно видишь вокруг себя множество мужчин и женщин и не обращаешь на них внимания, но вот однажды встречаешь какого-то человека, какое-то существо другого пола — и тебе ясно: именно ее ты желаешь, именно такая тебе нужна. И эта женщина уже не просто чужое существо в юбке, до которого тебе до сих пор не было никакого дела. Ты различаешь среди тысячи других только одно лицо, и это лицо становится для тебя самым дорогим. И разве только лицо? Если бы не было этой фигуры, этой теплоты, этого рукопожатия, этого горячего дыхания, — изведал ли бы ты это беспокойство? Эх, Волдис, что с тобой творится! Неужели ты не видишь, что другой стоит рядом с этой женщиной? И это не просто тень, это твой друг, твой единственный друг в этом городе, полном вражды и ненависти».

Он старался не думать о Милии, пытался убедить себя, что смешно так увлекаться.

Впереди замерцали огни Понтонного моста. На противоположном берегу Даугавы кое-где в окнах верхних этажей горели огни. Сонная, сырая тишина тяжело повисла над пятиэтажным городом. Шаги Волдиса гулко раздавались на мосту.

Немного впереди шла женщина. Маленькая съежившаяся фигурка казалась насквозь пропитанной сыростью. Расстояние между ними уменьшалось с каждым шагом. На середине моста Волдис нагнал ее. Девушка, услышав шаги, обернулась.

Волдис улыбнулся. Бледная девушка из соседнего дома... Одинокая, измокшая, озябшая. Волдис шагал рядом с ней и вовсе не собирался обгонять.

— Почему вы одна? — спросил он немного погодя.

— Почему бы мне не быть одной? — Она с удивлением взглянула на него, вероятно пораженная, что с ней заговорил незнакомый человек.

— Там, в саду, вы были не одна. Я вас видел. Куда девался ваш... друг?

Девушка медлила с ответом.

— Я слышал, что с гулянья молодые люди провожают девушек домой.

— Может быть, я этого не желаю...

— Весьма возможно, хотя я этому не верю. У него, наверно, вышло недоразумение с полицией и его самого теперь провожают в участок? Разве не так?

Девушка рассмеялась.

— Может быть, и так.

— На него составили протокол?

— Да, двадцать второй по счету.

— Скоро можно будет праздновать юбилей!

Дождь усилился. Волдис снял пиджак.

— Пожалуйста, наденьте, без отговорок! — протянул он его девушке.

— Как же вы без пиджака пойдете по улице?

— Сейчас ночь, и потом — я в жилетке. Подождите, я вам помогу надеть. Немного велик, но это ничего.

Они шли по набережной.

— Какой дорогой пойдем? — спросил Волдис. — Мимо замка?

— Нет, лучше через Старую Ригу, там можно укрыться.

Провожаемые взглядами одиноких ночных сторожей, они шли через спящий город. Понемногу завязался разговор о сегодняшнем гулянье, грандиозной драке и, наконец, о себе.

— Вы ужасно гордый... — сказала девушка и шутя надула губы.

— Вы так думаете?

— Почему вы отказались танцевать со мной вальс?

— Да ведь я не умею танцевать.

— Все равно нельзя было отказываться. Вы должны были проводить меня хоть до танцевальной площадки, а потом вернуться.

— В другой раз буду знать.

— В другой раз я вас не приглашу.

— Тогда я приглашу вас.

— Я тоже оставлю вас с носом.

— Тогда мы будем квиты... Лучше скажите, как вас зовут?

— На что вам?

— Когда я стану о вас думать, буду по крайней мере знать, как вас именовать.

— Вы будете обо мне думать? Ха-ха-ха! Нет, нет, лучше оставим это. У вас есть о ком думать, незачем обременять себя. Не притворяйтесь, я сама видела. Там... в беседке.

— Серьезно, вы скажете или не скажете свое имя?

— Что это, ультиматум? В таком случае я не допущу войны. Внимание!.. Разрешите представиться: Лаума Гулбис.

— Волдис Витол, очень рад познакомиться. Кажется, так принято у порядочных людей?

— Разве есть еще порядочнее нас?

— Да, во всяком случае, так они думают.

— Наверно потому, что они лучше одеты?

— Да, и еще потому, что их желудки привыкли переваривать другую пищу, не такую, как наше неизбалованное брюхо. Они воображают, что и кровь у них другого цвета. Считают, что к ней подмешана голубая краска.

— Может быть, и легкие у них не такие, как у нас?

— Я думаю — нет. Но у них болит сердце оттого, что приходится дышать тем же воздухом, которым дышим мы, низшие существа. Воздух — единственная демократическая вещь в этом мире. Кроме того, им свойственно нечто вроде куриной слепоты — их глаза не переносят темноты. Ослепленные блеском своего благополучия, вблизи они еще в состоянии кое-что видеть: самих себя и то, что находится рядом, и считают, что в них сосредоточена вся житейская мудрость и справедливость. Но как только они отвернутся в сторону, в тень, в темные углы, где голод и нужда, — они слепнут, и им кажется, что это не люди обслуживают машины, хиреют и гибнут от тяжелого труда, а фантастические бесплотные призраки, которые не имеют никакого отношения к породе двуногих мыслящих существ. Чтобы призраки не обижались, они называют их иногда людьми.

— Ужасный вы человек.

— Ничего нет ужаснее стяжателей. Вы еще их не знаете.

— Надеюсь, что я скоро познакомлюсь с ними.

— Вы поступаете на работу?

— Да, мне в будущем месяце обещали работу на лесопильном заводе. Там уже работают многие мои подруги.

Волдис взглянул на девушку. Это хрупкое существо собиралось работать на лесопильном заводе. Долгие утомительные часы будет стоять она на одном месте, выполняя ряд автоматических движений, с нетерпением ожидая вечера. Грубость начальства, унижения...

— Надо же что-то делать, — сказала она. — Ведь не могу же я всю жизнь быть обузой для родителей. Вы не представляете, как я мечтаю о собственном заработке, как мне не хочется жить за чужой счет.

«Она не хочет жить за чужой счет, — думал Волдис, — а сколько мужчин, целый необозримый класс трутней живет за счет других, за наш счет — и считают, что это правильно...»

— У вас большая семья? — спросил он немного спустя.

— Отец, мать и я. Отец работает на мельнице, мать стирает морякам белье. Я стряпаю и занимаюсь хозяйством, но мне это надоело. Получается, что я не зарабатываю ни сантима, хотя иногда целый день на ногах.

«Она совсем не такая слабенькая, как мне показалось, — думал Волдис, глядя на ее складную тонкую фигуру. — И она такая миловидная. Но почему при виде ее я испытываю только жалость, сочувствие?»

У дома Лаумы они распрощались.

— Вам холодно? — спросил Волдис, когда девушка, отдав ему пиджак, вздрогнула.

— Немножко... — пыталась она улыбнуться.

Затем она исчезла в воротах.

Сонная Андерсониете впустила Волдиса. Долго он не мог уснуть, думая обо всем виденном.

Снаружи завывал ветер, срывая с крыш черепицу. Струи дождя били в оконные стекла. Тяжелой и беспокойной была эта ночь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Наверное, кое-кому из читателей этой книги случалось около полудня или чуть позже, после закрытия биржи, проходить по набережной Даугавы или по примыкающим к ней уличкам. Тогда они, вероятно, замечали толпящихся там людей. Эти люди одеты довольно незавидно. У некоторых зад брюк почти в таких же пестрых клетках, как спортивные костюмы слоняющихся вокруг бездельников — иностранных туристов. Но в этой пестроте нет и признака моды: эти клетки — просто заплаты; заплаты, прикрывающие голое тело.

Оборванные и грязные, собираются они здесь. Иногда их немного, но случается, что они заполняют всю узкую уличку и «порядочные» граждане, которые платят подоходный налог, с трудом могут протиснуться сквозь их толпу. Здесь нужно быть особенно внимательными, чтобы не запачкать габардиновые плащи и новые портфели. Что касается карманов, за них можно не бояться, — еще не было слышно, чтобы здесь кого-нибудь «обчистили».

Больше всего сюда собирается народу, когда в порту затишье. С утра до вечера, всю неделю, иногда целый месяц они ходят здесь, свободные, как птицы. Им не надо спешить на работу, не нужно потеть в пароходных трюмах.

Эти озабоченные, странного вида люди топчутся на углах улиц, томятся долгими, бесконечными часами и ждут неизвестно чего. Так как они все-таки живые люди, они иногда и смеются, — смех ведь не является монополией опереточных артистов. Но особым остроумием эти люди не блещут: слишком уж ощутима пустота под поясом, и они с досадой прислушиваются к урчащим звукам, идущим из пустого брюха. Несведущему может показаться, что он имеет дело с чревовещателями.

Когда в понедельник Волдис вместе с Карлом явились в одно из этих мест, улица была полна народу. Можно было подумать, что здесь происходит митинг, не хватало только оратора. Около сотни мужчин от восемнадцати до шестидесяти пяти лет топтались на месте или со скучающим видом ходили взад и вперед по мостовой, разговаривая друг с другом, не сводя глаз с вы-

сокой, обитой медью двери. Каждый старался как можно незаметнее устроиться поближе к этой двери. Более пожилые просто-напросто становились у нее и не трогались с места.

Рядом с дверью была прибита медная дощечка с надписью: «П. К. Рунцис. — Стивидор».

Все эти люди ожидали работы, так как здесь находилась одна из крупнейших рижских стивидорских контор. Время от времени оттуда выходил кто-нибудь, тогда все взгляды устремлялись к дверям, но тотчас же разочарованно обращались в другую сторону. Когда приближался к двери конторы какой-нибудь «господин», люди еще издалека уступали ему дорогу и кричали:

— Посторонитесь! Дайте дорогу господину!

Прошел час. Волдису уже начинало надоедать томительное ожидание. Все время моросил мелкий дождик, фуражка намокла и стала тяжелой и липкой. Временами за ворот падали холодные капли, заставлявшие зябко поеживаться.

— Сколько мы здесь прождем? — спросил Волдис у Карла.

— Потерпи, времени еще только час. Скоро вернется хозяин с биржи и скажет форманам, что ожидается этой ночью в порту.

— А форманы объявят?

— Не сразу. Они выйдут сюда, но объявят не всем. И вообще они не так скоро спустятся. Куда им торопиться: они отлично знают, что на улице их ждет толпа. В порту пусто. Кто хочет получить работу, никуда не денется.

Внезапно наступила тишина. Как по мановению волшебного жезла, стихли разговоры, замер смех. На улице появился дородный господин в шляпе и с толстой сигарой в зубах. Казалось, он не замечал толпу, не видел множества устремленных на него глаз, старавшихся угадать, в каком расположении духа находится эта жирная особа. При его приближении многие взялись за фуражки. Стоявшие поблизости низко поклонились, робко бормоча какие-то слова, должно быть означающие приветствие.

Господин слегка дотронулся пальцем до шляпы и исчез за дверью. Только через несколько минут прошло оцепенение толпы и возобновились разговоры.

— Кто это? — спросил Волдис.

— Это наша судьба на будущую неделю, — ответил с улыбкой Карл. — От него зависит, будем мы есть завтра, послезавтра или нет. Это стивидор Рунцис.

— Значит, скоро выйдут форманы?

— Это как им заблагорассудится. Обычно они не торопятся.

— Вы правы, — перебил Карла усатый человек в непромокаемой куртке и высоких сапогах. — Они иногда сидят там, наверху, до трех или четырех часов и знать не хотят, что на улице их ждет сотня людей.

— Небось, вспоминают про нас, когда в порту много пароходов! — крикнул кто-то. — Тогда они каждого называют по имени, каждого спрашивают, не пойдет ли он на пароход.

— Они могут играть нами, но долго так продолжаться не может.

— Сколько это может продолжаться? Вырубят леса, продадут, деньги положат в карман и скроются.

— Крестьянам-то хорошо, они получают все: землю, семена, строительный лес, ссуды и пособия. А откуда это берется? Все с рабочего. Нам надо заплатить за каждую спичку, за каждый каравай хлеба, а если мы просим что-нибудь для себя — нас называют бунтовщиками, коммунистами, грозят тюрьмой и приказывают молчать.

— Жизнь дорожает, все разоряются. Рабочими играют, как игрушкой. Цены на все растут, жалованье срезают.

— Когда-нибудь эта цепь лопнет.

— Непременно!

— Но только не сама собой! — послышался чей-то скептический голос.

Волдис повернулся в сторону говорившего. Это был молодой человек, тоже портовый рабочий, только более опрятно одетый и без предательских следов алкоголя на лице.

— Мы сами должны ее порвать! — продолжал он. — И мы это сделаем, когда придет время.

По-прежнему моросил дождь. Прошел час, другой. Волдису давно хотелось есть, но нельзя было никуда уйти, каждую минуту могли появиться форманы и приступить к составлению списков.

— Ведь это же подлость! — возмущался он. — Разве

они не могут спуститься сюда, сказать нам, как там с работой, чтобы мы могли спокойно разойтись по домам?

— Погоди, ты еще их не знаешь. Бывает, что рабочие ходят за ними по пятам до самого вечера.

— Какой же смысл в этих проволочках?

— Видать, какой-нибудь есть.

В половине четвертого вышел один форман. У него было красное лицо пропойцы, припухшие глаза. Остановившись в дверях, он поглядел куда-то поверх крыш домов, должно быть, на ворону, и снисходительно позволил рабочим окружить себя, держать за полы пиджака, обращаться с вопросами.

— Погода не проясняется! — изрек он равнодушно.

— Да, погода пасмурная! — согласилось с ним большинство.

— Какая славная лошадь вон у того извозчика! — указал форман на пробегавшего мимо рысака.

— Да, лошадка недурна! — согласились все.

— Читали в газете, что полиция недавно поймала сбежавшего убийцу?

Как же! Многие помнили даже подробности. Форман говорил обо всем, только о самом главном — о работе — ни слова. Кое-кто робко спрашивал, что слышно о пароходах, но форман, вероятно, не слышал.

Он шел все вперед, будто прогуливался. Так же медленно, словно на прогулке, за ним следовало около полусотни людей. Он спустился к набережной Даугавы, поводил толпу по зеленному базару, купил у какого-то крестьянина связку чесноку и долго любовался стоявшей у набережной заграничной яхтой, потом прошелся мимо базарных весов и некоторое время оживленно беседовал со знакомыми таможенными надсмотрщиками. Как собака щенят, водил форман этих жаждущих работы людей, куда хотел, и только после того, как их терпение выдержало и это испытание, он вспомнил, что они ждут работы.

С таинственным видом, как частный детектив, он скользнул в узкий переулок и вытащил серую записную книжку. Толпа повалила за ним как рой пчел. Забрезжила перспектива получить работу, хлеб и прочие блага. Люди, толкая и отпихивая друг друга, старались пробраться ближе к форману, чтобы он волей-неволей заметил их, так — чтобы можно было дотронуться рукой до

его плеча и напомнить ему о своем присутствии. Случайным прохожим дорогу не уступали. Старых высохших дам в чепчиках сталкивали с тротуара, и никто не обращал внимания на то, как они уже издали ворчали в бессильном негодовании:

— Фи, какие бессовестные эти грузчики!

Поднявшись на приступку подъезда, форман начал записывать. Толпа загалдела, со всех сторон послышались выкрики.

— Запиши меня! Стивидор, запиши!

— Хозяин!

— Господин форман! Запиши Калныня!

— Запиши Залита!

Записавшиеся отходили в сторону и облегченно вздыхали, а остальные осаждали крыльцо. Рядом с форманом встал один из его любимчиков, по прозвищу «Затычка». Он глядел в толпу, перемигивался со знакомыми и шептал на ухо форману их фамилии. Затычка диктовал, а форман записывал.

Волдис стоял на тротуаре и ждал, когда кончится давка. Неудобно было влезать в толпу, выбегать вперед и выкрикивать свою фамилию. Карл тоже выжидательно стоял в стороне.

— Пусть они записываются, мы попытаемся попасть на «американца», — шепнул он Волдису. — Там больше заработаем.

Кончив писать, форман махнул рукой, чтобы замолчали, и начал называть фамилии записанных рабочих.

— Завтра утром в Экспортную гавань. Пароход идет недогруженный и примет груз для Манчестера. Что вы говорите? Всех? Мне во всяком случае достаточно, больше никого не буду записывать.

Примерно треть толпы осталась на месте — те, кого записали. Остальные беспорядочной гурьбой почти бегом кинулись обратно к конторе, дожидаться других форманов.

— Теперь нельзя зевать, — шепнул Карл Волдису. — Как только они выйдут из двери, надо постараться стать рядом. Тех, кто будет на виду, запишут.

Опять ожидание. Минуты казались часами. Каждый раз, как только приоткрывалась дверь, толпа подавалась вперед, готовая ринуться навстречу выходящим. Но прошел почти час, и только тогда совершенно неожиданно

вышли двое. Остановившись в дверях, они горячо что-то обсуждали. Разговор, по-видимому, грозил затянуться, но никто не осмеливался приблизиться к форманам и прервать их важные дебаты.

Люди выжидающе наблюдали издали, когда они пожмут друг другу руки. Как только это произошло, толпа, зарычав, точно голодный зверь, ринулась вперед.

— Я ничего не знаю! Оставьте меня в покое! — отмахивался форман. — Мне еще ничего не известно. Только завтра в семь часов утра узнаем, когда начнется разгрузка.

— Но ведь вы уже можете записать!

— Да? А к началу работ никого не будет. Потом бегай да разыскивай.

— Кто теперь убежит, в такое время...

— Э, не говорите! Сколько раз случалось так, что приходилось составлять новые списки. Напрасно за мной ходите, я никого не запишу.

Лица рабочих вытянулись и стали озабоченными. Будто не веря еще, они один за другим отставали от толпы, совещаясь между собой.

— А теперь что?

— Теперь все понятно. Нужно только уточнить, что ему надо. Нельзя спускать с него глаз. — Карл щелкнул себя по шее.

Волдис изумленно посмотрел на него.

— Нужно... напоить его?

— Ну конечно. Он ведь сам почти сказал об этом. Ты думаешь, что завтра в семь часов здесь кого-нибудь запишут? Кто не постарается сегодня, завтра останется ни с чем.

— Что ты думаешь предпринять? Пойдешь с ним в кабак? Дашь взятку?

— Ты угадал.

— Но ведь это же подло! Покупать работу за свои деньги! Что может быть противоестественнее? Почему я должен его спаивать, если я предлагаю ему свою мускульную силу, позволяю себя эксплуатировать? Они бы должны встречать нас с распростертыми объятиями и радоваться, что мы идем работать именно к ним, а не к кому-нибудь другому.

— Да, дружок, такое положение в порту существует уже давно. Работу покупают, работу выпрашивают.

Рабам приходится самим покупать себе оковы, потому что рабов этих слишком много и все они хотят есть. Один кусок растаскивают на десять частей.

— И никому не стыдно? Ведь это же так унизительно!

— Милый мой, забудь здесь такие слова. Рабочий никогда не унижается сам, его заставляет унижаться нужда. Что унизительного в том, если бездомная, голодная собака роется на помойке?

Они пошли за форманом вместе с другими рабочими, держась поодаль. Оставшиеся у дверей конторы с завистью смотрели им вслед. Они не могли пойти в пивную, у них сегодня не было нескольких латов, за которые можно было купить себе... ярмо.

Оживленно жестикулируя, форман с небольшой группой рабочих исчез в одной из пивных на набережной Даугавы.

Карл огляделся кругом: нет, остальные не вошли. Тогда он махнул рукой Волдису, и они торопливо проскользнули в пивную.

Пивная занимала два этажа. В нижнем обычно сидели случайные посетители, торговки и мясники, подносчики свиных туш к весам. Те, у кого было больше времени и кто хотел развлечься вдали от посторонних глаз, поднимались наверх, на второй этаж. Там столы были застланы скатертями почище, на стенах висели подобия картин или репродукции в золоченых рамах, а в углу стояло пианино. В соседней комнате не затихал стук бильярдных шаров. Все говорило о том, что эта половина предназначалась для чистой публики. Но в пивной чистота определяется не по одежде, а по толщине кошелька и щедрости, — и часто рядом с солидными господами — торговцами и письмоводителями — сидели грязные угольщики и белые от мучной пыли грузчики.

Дебелая пианистка поднялась им навстречу со своего похожего на гриб табурета. Приветливо улыбнувшись форману, она торопливо начала рыться в нотах; она знала вкусы постоянных посетителей, у каждого были свои любимые вещи.

Форман со своей компанией расположился за большим круглым столом посреди комнаты. Застрочил карандаш, засуетился официант. Чтобы гости не скучали в ожидании заказанных блюд, забренчало пианино.

Сухие, деревянные звуки. Мелодия, подобно хромому на костылях, бегала, спотыкаясь, по клавишам, и все, что ни играла пианистка, звучало резко и отрывисто.

Когда оба друга, обойдя в поисках формана все комнаты нижнего этажа, поднялись наконец наверх, на круглый стол уже ставили напитки. Возбужденные предстоящим пиршеством, мужчины опустили глаза, поглаживали усы, словно стыдясь сияния, излучаемого синевато-зелеными бутылками водки.

Карл облюбовал маленький столик у стены, как раз напротив круглого стола.

К ним подошла маленькая бойкая официантка.

— Что вы желаете?

— Полштофа, четыре бутылки пива и две порции жареной свинины.

— Кто столько выпьет? — пожал плечами Волдис, когда официантка ушла. — Мне противно даже смотреть на эту отраву. Так и кажется, что в бутылки налит керосин или бензин. Бррр!

— Об этом не беспокойся! — усмехнулся Карл. — Хорошо, если нам достанется по глотку. Если не хочешь, не пей совсем, делай только вид, что пьешь.

— Тогда проще взять деньги, которые мы должны заплатить за угощение, выложить их форману и сказать: «Возьми это от нас, делай с ними, что хочешь, только запиши нас на работу». Не пришлось бы тут рассиживать и пить.

— Некоторые так и делают. Форштадтские платят форманам известную сумму за каждый пароход. Их не стесняются, потому что считают «такими». Сами они стыдятся признаться, что купили работу за деньги, разве что иногда в пьяном виде или в сердцах проболтаются.

— Почему же мы так не делаем?

— Мы — другое дело. С настоящим портовым грузчиком надо действовать иначе, чтобы потом не было неприятностей. Ведь форманы не имеют права так делать. Выпить с ними — это совсем иное. В этом никто ничего, кроме проявления взаимной дружбы, не усмотрит.

— Барышня! — крикнул кто-то из-за круглого стола. — Сыграйте, пожалуйста, «Ямщик, не гони лошадей!»

— Пожалуйста!

Официантка принесла заказанное, подала счет. Здесь все было дороже, чем внизу. Карл заплатил.

— Рассчитаемся после! — сказал он Волдису, когда тот хотел достать деньги.

Они вопросительно посмотрели на бутылки, потом друг на друга и дружно расхохотались...

— Сидишь, как идиот, и не знаешь, с чего начать! — сказал Волдис. — Если бы мы хоть озябли, тогда бы захотелось согреться.

Карл молчал.

— Ты не хочешь поднять настроение? — усмехнулся Волдис.

— На что мне теперь настроение! Это ведь только сделка. Ну, давай начнем, а то над нами смеяться станут.

Вздохнув, они взялись за стаканы. Чокнулись, неизвестно за что, набрались духу и, превозмогая отвращение, одним глотком осушили стаканы. Потом переглянулись. Карл состроил такую гримасу, точно проглотил живую жабу. Отрезав кусочек жаркого, он густо намазал его горчицей, но во рту еще долго чувствовался отвратительный вкус водки.

— Делай, как знаешь, — категорически заявил Волдис, — а я больше не пью. К черту! Зачем я за свои же деньги должен портить себе настроение?

— Ты должен выпить по меньшей мере два стакана. Может быть, ты бы лучше выпил пива?

— Да, лучше пива.

— Ну, вот тебе и выход! Пусть водка стоит, будем пить пиво.

Выждав немного для приличия, Карл наполнил стаканы пивом. За круглым столом в эту минуту все чокались, кто-то, уже слегка захмелев, произносил тост.

— Господа и друзья! — говорил он. — Выпьем!

— Прозит! — крикнул Карл и поднял стакан.

Волдис, мрачный и ослабевший, последовал его примеру.

Форман посмотрел в их сторону, кивнул головой и поднял свой стакан.

— Приветствую вас, молодые люди!

— Привет!

Несколько мгновений царила тишина. Каждый по-сво-

ему опустошал свой стакан, утирался, покрякивал, закусывал. Только после того, как этот ритуал был завершен, за круглым столом возобновились разговоры.

Все обратили внимание на молодых людей за соседним столом. Почти все поняли значение этого маневра. Но так же, как в церкви никто не удивляется, когда повторяют в сотый и тысячный раз одну и ту же литургию, так и здесь никто не видел в этом ничего смешного. Каждый в свое время прошел через это.

— А скучно сидеть за столом вдвоем, — обратился к друзьям недавний оратор.

— Да, конечно, не так весело, как вам! — ответил Карл.

— Перебирайтесь к нам. Места хватит.

— Никто не будет возражать? — Карл дипломатично посмотрел на формана. — Вы разрешите перейти за ваш стол?

Польщенный вниманием, форман сделался важным, но приветливым.

— Пожалуйста, пожалуйста. С большим удовольствием.

— Благодарим вас. — Карл повернулся к Волдису. — Теперь не зевай, — сказал он тихо. — Бери жаркое, я заберу бутылки.

Весело и оживленно они перебрались со всем имуществом. Навстречу им протягивались услужливые руки, принимая бутылки, стаканы, тарелки с закуской. Стулья сдвинули теснее, чтобы могли поместиться все.

Карл предусмотрительно уселся рядом с форманом. Наливали, чокались, пили. Стаканы ни на минуту не оставались пустыми. Никто не отказывался, никто не смел уклоняться. Волдису тоже волей-неволей пришлось пить. Он отпил полстакана и поставил его обратно на стол.

— Это не дело, пей до дна! — настаивали все. — Если ты заодно с нами, ты и пить должен наравне.

До дна! До дна! Третий, четвертый, пятый. Водку, пиво... Запахло перегаром. Скатерть была залита пивной пеной, соусом из-под жаркого, водкой. Пианино дребезжало, как рассохшаяся телега. В воздухе клубился табачный дым.

Люди обнимали друг друга. К щеке Волдиса прижалось чье-то заросшее щетиной лицо — пахнуло перегаром, слюнявый рот что-то шепелявил на ухо.

— Поцелуемся, друг. Милый, хороший мой...

Пьяный человек плакал, неизвестно о чем, утирал жесткой рукой слезы и тянул к нему мокрые губы.

Волдиса душило непреодолимое отвращение, хотелось стряхнуть с себя руки незнакомого человека, отвернуться от его слюнявого рта, но не было сил: пятый и шестой стаканы водки уже горели в крови, затуманивали взгляд, подавляли волю. Прошло еще сколько-то времени, и внезапно Волдис почувствовал перемену. Помещение озарилось желтым светом, пивная гудела, но казалось, что все это где-то далеко, за стеной. За столом сидели люди, раскрывали рты, размахивали руками, но нельзя было понять ни слова.

По ту сторону стола сидел форман, обняв одной рукой Карла. Карл смеялся. Форман что-то рассказывал о себе, о тех временах, когда он еще творил чудеса, когда у него было больше силы и ума, чем полагается обыкновенному человеку. Так приятно рассказывать, когда есть кому слушать.

Опять гремело пианино. Двое молодых мужчин встали из-за стола и начали танцевать.

Стол уже наполовину опустел. Официантка убирала пустые бутылки и посуду.

— Мы ведь еще будем пить? — спросил у формана давешний оратор.

— Ну конечно, ведь еще рано.

— Барышня, еще одну такую же порцию!

— Пожалуйста.

— Стойте, теперь я хочу поговорить с пианисткой! — Форман подмигнул одним глазом и под бурное ликование всех сидящих за столом неверными шагами поплелся к пианино.

— Барышня, вам не скучно? — спросил он по возможности галантно. — Могу я составить вам компанию?

Пухлая женщина кокетливо улыбнулась и покачала отрицательно головой. Но форман, прищурив глаза, тихонько ущипнул ее за грудь.

— Что вы, господин! Как это можно! — пианистка пыталась разыграть оскорбленную.

— Да я ничего! Извините, барышня! — и, уходя, фор-

ман погладил ее пышную, затянутую в корсет грудь.

Попойка продолжалась. В зал все прибывали гости, вскоре не осталось ни одного свободного столика. В бильярдной поднялся шум — два мясника в полосатых костюмах порывались драться.

— Я говорю — карамболь был! — упорствовал один.

— Не мели глупости, я видел, что не было! — спорил другой.

Скорее всего они попытались бы разрешить спор кулаками, если бы маркер не позвал на помощь дюжего официанта из нижнего этажа, который быстро успокоил их разгоряченные головы.

Форман опять начал обнимать Карла.

— Я люблю таких парней, как ты, — лепетал он, брызгая на него слюной. — С такими парнями я с удовольствием выпью. Не то что с каждым шалопаем, кто пригласит. Ты не бойся, тебе работенка будет. И твоему приятелю будет. Если я дал слово, на меня можно положиться. Как зовут твоего приятеля? Витол? Я его записал или нет? Не знаешь? Тогда я взгляну. — Непослушными пальцами он нащупал записную книжку, долго перелистывал ее, пока нашел нужное. Разбирал по складам, считал. — Витол, говоришь? Нет, здесь нет Витола... — Записал Волдиса и взглянул через стол. — Ты, Витол, у меня записан. Приходи завтра в Экспортную гавань, на «американца».

— Благодарю, господин форман.

— Только молчи, никому ни слова. Если кто спросит, скажи, что ничего не знаешь ни про «американца», ни про список. Не могу же я один взять на работу всю Ригу. Я взял тех, кто мне нравится. А нравятся мне ребята, которые любят весело пожить, вот, например, ты и твой приятель, вы мне нравитесь.

Прошел час. Волдис совсем размяк, разнежился. Хотелось говорить о себе, о своих стремлениях и несправедливостях жизни. Обнять бы кого-нибудь, горько улыбаться и шептать грустные слова. Эти люди были так милы, добродушны. Они товарищи и хорошо понимают друг друга... И какой славный человек сидит по ту сторону стола, держит в руках записную книжку. За какую-то бутылку водки он записал на работу. Добрый, добрый человек...

Никто уже не хотел пить, пиво и вино больше проливали на пол, чем пили.

— На сегодня хватит, — бормотал форман. — Барышня, сколько мы должны?

— Сейчас. Сколько у вас было? Полштофа, полштофа, полштофа, пиво, жаркое, лимонад... Пожалуйста, тридцать два лата сорок сантимов.

— Сколько нас здесь? — застольный оратор с трудом поднялся и начал считать: — Один, два, четыре, шесть, семь... Да, семь. Высчитай, сколько приходится на человека.

— Нас восемь, а не семь! — пробормотал кто-то пьяным голосом.

— Что ты врешь! — вполголоса оборвал его тот же оратор. — Неужели ты и его считаешь? — указал он на формана.

— Его нет... нет. Это дело другое. Только мы, сколько нас тут есть.

— Получается по четыре лата шестьдесят три сантима на брата! — объявил форман.

— Ну, это пустяки.

— Ни черта мы не можем пропить.

— Платите деньги.

Раскрыли кошельки, развязали узелки, завязанные на носовых платках, собрали деньги. Вытащил кошелек и форман, но распорядители набросились на него с таким возмущением, что ему оставалось только махнуть рукой и положить деньги обратно в карман.

— Нет так нет. Я не навязываюсь. Но только знайте — завтра с утра в Экспортную гавань. И никому ни слова. Понятно?

— Ну конечно, хозяин.

— Барышня, получите деньги. Пол-лата вам.

— Спасибо, господа. Добрый вечер, господа. Благодарю вас, господа.

Тяжелыми, неуверенными шагами спустился Волдис с лестницы. Дождь продолжал лить. У двери пивной прогуливались несколько человек. Они час за часом терпеливо ждали выхода формана. Завистливо посмотрели они на Волдиса: у него было несколько латов, за которые можно было купить себе работу.

— Кто это такие? — Волдис с трудом ворочал язы-

ком. — Чего им здесь надо? Карл, проклятый, куда ты девался? Я должен идти домой?

— Эх, Волдис, жизнь все-таки хорошая штука, надо только уметь жить!..

— Что ты сказал? Прекрасная? Что прекрасно? Жизнь? Возможно... не знаю. Ты... теперь пойдешь к... Милии?

— Милия славная девушка. Конечно, я пойду к ней.

— А что ты там будешь делать?

— Это моя тайна. Найди себе такую Милию, тогда узнаешь.

— Я уже нашел.

— Кто она?

— Милия... Может быть, это Милия... может быть, Тилия, не знаю...

— Иди домой, Волдис, ты пьян.

— Сам ты пьян. Я еще держусь.

— Ладно, Волдис. Давай руку, попрощаемся.

— Боже ты мой, как жалко расставаться! Такими молодыми больше не встретимся. Прощай, прощай! Передай привет Милии! Только... не говори ей, что я напился как сапожник. Не скажешь?

— Не скажу, не скажу, если не хочешь.

— Ну, тогда иди. Может быть, жизнь и правда хороша. Завтра придет «американец». «А-ме-ри-ка-нец!» Тьфу! Меня... тошнит...

* * *

— Улица Путну! — резко выкрикнул кондуктор.

Волдис выбрался из вагона, неуверенно ухватился за столб у трамвайной остановки. Он уже не помнил, как сел в трамвай, как доехал.

Улица, дома, люди, лошади — все с головокружительной быстротой вертелось вокруг. Все предметы ожили. Мостовая, словно дразня, убегала из-под ног, а забор, стоящий невдалеке от мельницы, стремительно побежал навстречу Волдису и стукнул его в лоб. Но боли он не ощутил, он только почувствовал легкий толчок и что-то теплое, мокрое на щеке. Он не мог понять, почему встречные с таким удивлением смотрят на него, оборачиваются и усмехаются. Какая-то старушка укоризненно покачала головой.

— Молодой человек, а так напился. Как не стыдно!.. Оботрите хоть кровь...

— Вы сказали: кровь? Да, у меня есть кровь. У каждого живого человека есть кровь. Я знаю, вам она не нравится потому, что она красного цвета. Налейте себе в жилы молока, тогда вы станете красивой... А я... этого не сделаю...

Он шел дальше, глядя вперед широко раскрытыми глазами. Ему казалось, что он когда-то видел эти черепичные крыши, показался ему знакомым и запах селедки, доносившийся из дверей лавки. Он хорошо знал эти высокие деревянные ворота, у которых стояли бледная девушка и худощавый парень.

«Почему они вечно торчат там? Зачем эта девчонка выходит на улицу, а этот парень постоянно стоит рядом?.. Парень... что он здесь делает? Я хочу знать, что ему здесь нужно».

Пошатываясь, Волдис приближался к воротам. Девушка широко раскрытыми глазами смотрела на него. Узнав, она потупилась и покраснела. Худощавый парень, засунув руки в карманы, стал посреди тротуара и нагло уставился на него. Парень усмехнулся и засвистел.

«Щенок!» — подумал Волдис. Подойдя к нему вплотную, он остановился, засунул руки в карманы, засмеялся и тоже стал насвистывать. Парень вытащил руки из карманов и сделался серьезным.

— Ну что, молодой человек? — заговорил Волдис. — Сегодня у вас нет семечек? Почему вы их не грызете? Почему не сплевываете на меня шелуху? Поищите, может, в карманах найдется еще какое-нибудь завалящее семечко? Плюньте в меня, ведь я пьян. На пьяных можно плевать, их нечего опасаться. Ну-ка, рискните!..

Он вызывающе шагнул вперед, и его противник попятился.

— Отстань, сволочь! — прошипел он тихо.

— Плюнь же, артист, сейчас подходящий момент! Ты так ловко это делаешь. И, будь любезен, убирайся с тротуара. Сворачивай направо, обязательно направо. Боюсь, как бы не наступить тебе на ногу. Какой номер обуви ты носишь? Погоди, артист, не беги. Я не полицейский, в участок тебе не придется идти.

Худощавый парень, все время огрызавшийся поти-

хоньку, теперь счел благоразумным уступить дорогу. Он вернулся к девушке, состроил гримасу и показал пальцем на Волдиса.

Девушка смотрела в сторону.

— И если ты хочешь знать, шелуха подсолнечная, во мне восемьдесят два килограмма чистого веса. На военной службе я немного обучался боксу. Совсем небезопасно плевать на восемьдесят два килограмма.

— Ах ты прощелыга! — кричал издали худощавый, но Волдис больше не обращал на него внимания.

«Пьян... ужас, как ты пьян, Волдемар Витол, не за этим ты ехал в Ригу. Волдис... Волдис... Но кому до тебя дело? У тебя нет своей Милии, ты один на свете. И для чего вообще нужны такие Милии?»

Весь мир казался желтым, как песок на берегу моря. Весь пятиэтажный город был желтым.

— Да, паренек, — раздался совсем близко чей-то голос, — не надо пить, если не умеешь.

Но это всего лишь какой-то прохожий. Не слушать же каждого прохожего!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Господин Витол, вам сегодня никуда не нужно идти? Да откройте же глаза, голубчик! Уже утро. Ах, боже, боже, таковы они все, эти молодые! Пьют до тех пор, пока душа принимает, и тогда уже не хотят ничего знать. Проснитесь, ведь уже половина восьмого.

Минут пять Андерсониете безуспешно пыталась разбудить Волдиса, свалившегося в кровать одетым и обутым. Он уже наполовину проснулся, только не в силах был открыть глаза. Пытаясь слабо отмахнуться рукой, чтобы его не будили, он что-то бормотал, но Андерсониете не оставляла его в покое.

— Ну, поднимитесь и сядьте хоть. Подумайте хорошенько, нет ли у вас каких дел, а потом ложитесь и спите сколько угодно.

Наконец Волдис поднялся и сел, немного приоткрыв глаза, но тут же зажмурился, ослепленный ярким дневным светом. Он был страшен — бледный, с потухшими глазами, свалявшимися волосами.

— Который час? — выговорил он наконец осипшим голосом.

— Я же сказала, половина восьмого.

— Половина восьмого... Половина восьмого... В восемь везде начинается работа.

— Может быть, и вам надо начинать?

— Не знаю. Возможно. Точно не знаю. Дайте подумать.

— Вчера вы пришли в таком виде, что стыдно было смотреть. Не могли подняться по лестнице, пришлось помогать. А такой приличный парень, ай-ай-ай! Некрасиво!

Волдис начал вспоминать. Лица, контора, пивная. Да, он действительно много пил, потом болтал всякую чепуху, обнимал каких-то незнакомых людей. Позор... Какой позор!.. А что он делал внизу у ворот? Приставал к незнакомому парню. С ним была девушка...

Он схватился за голову и застонал от стыда и злости...

— Не хотите ли чаю? Или, может быть, кофе? Я сейчас сварила.

— Брр! Чтобы я сегодня что-нибудь съел? Да заплатите мне хоть тысячу латов: Пить мне хочется, все горит. Горло пересохло, как старый пастал на солнцепеке.

— Вот видите, как плохо, когда перепьешь. Зачем так напиваться?

— Это со мной впервые. Я еще никогда так не напивался, а вчера случилось.

— С приятелями, что-ли?

— Да, были и приятели. Но главное... к черту, у меня ведь есть работа! Да, вчера наклюнулась работа. Потому и попойка была. Половина восьмого. Тогда нечего больше медлить.

Волдис встал и начал искать шапку, но вдруг у него так закружилась голова, так ему стало нехорошо, что пришлось скорее сесть. Эх, если бы сегодня не идти на работу! Какой он сейчас работник! Голова как котел. Нет, пить он больше никогда не будет. Все равно — есть работа или нет, но за водку он работу покупать не станет.

— Да, госпожа Андерсон, надо идти. Будь что будет, а до вечера надо выдержать. Одно хорошо: я теперь получил урок. Больше в рот не возьму это зелье!

— Мой Эрнест тоже так хвалился в похмелье, а потом скоро забывал о своем зароке.

— Я себя знаю, меня больше не проведут.

Волдис опять попытался встать, кое-как разыскал шапку и вышел. Он надеялся, что на свежем воздухе ему станет лучше. Но как только в лицо пахнула первая струя воздуха, тошнота опять подступила к горлу, свела внутренности, и ему с большим трудом удалось удержаться от рвоты.

Он торопился. Не доходя до ворот Лаумы, перешел на противоположную сторону, стараясь не смотреть в сторону калитки.

«А вдруг она встретится? Как я взгляну ей в глаза? Что она теперь обо мне думает? Пьяница, безобразник, задира! Ищет предлога подраться на улице с незнакомым парнем... Позор! Разве с такими намерениями я ехал в Ригу?»

Сердце внезапно сжала щемящая боль. Злость и тоска сдавили сердце. С завистью смотрел он на встречных. Все шли свежие, умытые, их не пугал наступающий трудовой день, словно страшный кошмар.

Как он дотянет до вечера?

* * *

Совсем не нужно было быть знатоком иностранных флагов и знать, что означают красно-белые полосы и синие звезды, чтобы сразу же, войдя в Экспортную гавань, безошибочно сказать, что это американский корабль. Он один таким исполином высился у берега со своеобразным прямым, как у военного корабля, и низким носом. Высокие и широкие мостики, палубы, похожие на обширные поля, труба с зелеными полосами и красным крестом посередине — все выглядело внушительно. Да, там, за океаном, откуда пришел этот гигант, находилась богатая страна. Там жили счастливые богачи, ежегодно во всех уголках мира собиравшие обильный урожай золота. Мировая война давно стихла, оружие успело заржаветь, а страны-победительницы стонут под гнетом долгов, расплачиваясь за победу, купленную дорогой ценой. Дядя Сэм подсчитывает проценты... проценты... Победа стоит денег, много золота, а также человеческих жизней — что, правда, менее существенно.

Когда Волдис подошел к американскому пароходу, на набережной стояло около сотни человек. Они смотрели не столько на громадный пароход, сколько на небольшого человека с серой записной книжкой в руках. Куда бы он ни пошел, толпа следовала за ним. Поминутно кто-нибудь из более решительных подходил к нему и робко произносил несколько слов. И каждый раз человечек сердито отмахивался, резко обрывал говорившего и поворачивался к нему спиной.

Карл сидел на железной свае причала, молчаливый и раздраженный.

— Наконец-то пришел! — укоризненно сказал он, когда Волдис подошел к нему. — Еще немного — и потерял бы работу.

— Почему? Ведь еще нет восьми.

— Это неважно. Если бы форман стал вызывать по списку к люкам и тебя не оказалось, перечеркнул бы фамилию — и конец.

— Да ведь он обещал!..

— Они много обещают!

— Гм! Может быть, и так. Красивый пароход, правда?

— Он не мой.

— Неплохо было бы на таком прокатиться.

— Ты думаешь? Правильно — доллары! Но и поработать придется.

— Не больше ведь, чем на других иностранных пароходах.

— Взгляни, Волдис, как они носятся по палубе. Как угорелые! Ты видел, чтобы на каком-нибудь другом иностранном пароходе матросы так работали? Они жмут, как на сдельщине, за что ни возьмутся — стараются изо всех сил, пока пот не прошибет.

— Почему же они так гонят?

— Не знаю. Возможно, это дисциплина, но, мне кажется, главная причина — привычка. Тебе ведь известно, что американцы работают по разным там системам, рассчитывая каждое движение. Они так привыкли к быстрым, потогонным темпам, что совсем не умеют работать медленно. Так же, как мы. Ты думаешь, если бы тебя приняли на работу с поденной оплатой, ты бы смог работать с прохладцей? Никогда в жизни! Ты уже

настолько испорчен, что спокойная, осмысленная работа казалась бы преступлением.

— Почему это так?

— В этом повинна безработица. Если бы у нас здесь, в Риге, оказалось столько работы, что ее хватило бы всем латгальцам и приезжающим из провинции, тогда мы установили бы цену на свой труд. О, тогда бы они платили! Пальцы кусали бы от жадности, а платили бы как следует. Им пришлось бы платить. А попробуй сейчас сказать: «Я за эту плату не буду работать!» Сотни других согласятся встать на твое место. Нечего и думать об улучшении положения в стране, где рабочий у рабочего вынужден выхватывать кусок хлеба.

— Говорят, во Франции столько работы, что рабочих ввозят из-за границы. А заработная плата там все равно низка.

— Ее снижает импортируемая из-за границы рабочая скотинка и...

Карл не окончил фразу: окруженный толпой, форман вынул записную книжку и встал на сваю.

— Слушайте! В первый номер пойдет пятнадцать человек.

Назвал фамилии, указал, кому куда идти.

— Идите, готовьте мостки и открывайте люк!

Вызванные поднялись на пароход. Затем форман перечислил рабочих, идущих ко второму люку.

— В третьем номере товаров для Риги нет, его открывать не будут!

Волдис с Карлом были назначены в четвертый трюм. Они сговорились работать вместе.

— Это труднее, чем на угольщике? — тревожился Волдис. — Если бы у меня голова была в порядке, я бы не боялся. Раз уж такие старики выдерживают, неужели я не выдержу? Но в таком состоянии...

— Выпей бутылку сельтерской, это освежает. Начнешь работать, похмелье пройдет само собой. Испарится с потом.

На берегу стояла женщина с большой корзиной бутылок. Следуя совету Карла, Волдис выпил бутылку сельтерской.

Бесшумно и легко работали электрические лебедки. Рабочие открывали люк. Нижнее помещение было закрыто, палуба завалена мешками и ящиками.

На берегу установили весы. Пришли таможенные весовщики со своими палатками. Подъезжали длинные вереницы ломовых подвод, грузовые автомобили. Поближе к первому люку рабочие-грузчики подкатили пустые товарные вагоны. Работа началась.

В мешках были мука и сахар. Их складывали в пакет на веревку, по девять штук сразу. Так как в межпалубном трюме на мешки не давил верхний груз, они не спрессовались и легко вытаскивались из плотно уложенного штабеля. Для двух здоровых мужчин поднять эти шестипудовые мешки не составляло особого труда. Они брали мешок за оба конца, затем слегка раскачивали его и ловким броском кидали на пакеты. Но какой бы простой ни казалась эта работа, и здесь требовалась сноровка.

Рядом с приятелями работали двое пожилых мужчин, ничуть не похожих на силачей, но тем не менее их пакеты всегда были готовы раньше других и у них еще оставалось время, чтобы приготовить запасные пакеты. Отчего на их лбах не показалось еще ни капли пота, в то время как от обоих молодых здоровых парней пар шел, как от загнанных лошадей?

Друзья стали присматриваться к их приемам и скоро поняли, в чем дело: оба старика первые три мешка поднимали из штабеля на попá, стелили веревку в образовавшуюся выемку и опускали мешки уже на веревку. Таким образом, три мешка были уложены, а остальные укладывались на них. Энергии расходовалось меньше, и время экономилось.

Друзья сейчас же испробовали этот прием, и теперь у них тоже оставалось время, чтобы присесть, перевести дух и подождать, когда придет черед прицеплять свой пакет.

Тяжелое похмелье, с которым Волдис спустился в трюм, быстро исчезло, но долго еще чувствовались усталость и апатия. Все вокруг казалось безразличным. Как во сне, хватался он за углы мешков, раскачивал, бросал. Чувствовал, как болят кончики пальцев, кровоточат заусеницы, — но и к боли он был равнодушен. Временами он расправлял согнутую спину, разминал натруженные плечи.

Иногда, когда пакеты вытаскивали из отдаленного угла, мешки прорывались, и за ними тянулась белоснеж-

ная дорожка сахара. Случалось, что в мешке появлялась дыра, когда он уже был в воздухе. Тогда над люком проливался сахарный дождь, сахар сыпался на головы рабочих и исчезал в щелях между мешками. Никого это не волновало. Мало ли в трюме таких мешочков! Если поблизости оказывался форман, раздавались два-три привычных окрика, которые не производили никакого впечатления. Звали женщину с иглой, она зашивала дыру, и работа продолжалась. Хладнокровные американские штурманы даже трубки не вынимали изо рта. Пусть сыплется сладкий сор — его потом подметут вместе с прочим мусором, пылью и окурками. В Риге найдутся торговцы, которые сумеют распродать и такой американский товар.

В глубине палубы находились ящики. На них был написан адрес: «Хельсинки».

— Ты слышишь? — спросил вдруг Карл и указал на ящики.

Из темного угла доносилось тихое потрескивание.

— Что это? — спросил Волдис.

— Кто-то задумал поживиться. Теперь самое время, никого около нас нет.

Треск повторился, потом все стихло. Вскоре из угла вышел молодой парень, который работал в паре с хмурым рябым товарищем. Они зашептались, украдкой наблюдая за остальными рабочими. Потом рябой шмыгнул в угол, а его напарник продолжал делать пакеты один.

— Интересно, что в этих ящиках? — спросил кто-то в другом углу.

Рябой предостерегающе посмотрел и приложил палец к губам.

— У них уже зачесались руки, — шепнул Карл Волдису. — Наверное, нашли что-нибудь дельное.

— Да ведь это воровство, — сказал пораженный Волдис.

— Они смотрят на эти вещи проще. Говорят: вор у вора дубинку украл. Они убеждены, что каждый богач — вор, значит, можно и у него немного стянуть.

Рябой выполз из угла неестественно распухшим, за несколько минут у него образовался большой живот и высокая, богатырская грудь.

— Ты управишься один? — спросил он у приятеля.

— Ну конечно. Только возвращайся скорее.

Рябой неловко вскарабкался на палубу и исчез. Через полчаса он вернулся уже с нормальным животом и грудью. Теперь в угол полез его товарищ; за несколько минут и он разбух, стал толстым и неуклюжим, и тоже ушел на берег.

— Ребята, не зевайте! — подговаривал рябой остальных рабочих.

— А что там такое? — спросил кто-то.

— Полотно. Первый сорт! Я открыл два ящика, полные тюков.

— О, дело стоящее!

И в темный угол стали наведываться один за другим остальные рабочие. Слышался треск досок, ящики опустошались, и никто не произносил ни слова. Иногда к люку подходил форман, ему кто-нибудь выразительно подмигивал. Форман, покрикивая для виду, тоже подмигивал и шел дальше, — ему неудобно было самому становиться свидетелем таких дел.

— А вы чего зеваете? — спросил кто-то Волдиса. — Не каждый день случается такая удача.

— Мы очень далеко живем, — лгал Волдис, чтобы товарищи не заподозрили его в излишней щепетильности. — А здесь, на берегу, нет знакомых, не у кого спрятать.

— А вдруг по дороге нарвешься на полицейского или таможенного чиновника, — тихо сказал Карл. — Обеспечат на три месяца казенными хлебами и на всю жизнь запачкают бумаги. Нет смысла рисковать из-за такой ерунды.

Наступил час обеденного перерыва. У Волдиса похмелье окончательно прошло, но есть ему все еще не хотелось. «Сегодня поголодаю до вечера, пусть очистится желудок!» — решил он.

Остальные рабочие устроили угощенье по поводу выпавшей им удачи. Пригласили в компанию винчмана и формана. Форман был очень занят, однако пришел, глотнул раз-другой, взял закуски и ушел, дожевывая на ходу. Ему не полагалось публично якшаться с рабочими. Но они знали привычку формана: оставили в бутылке водки, завернули в бумагу несколько миног и спрятали все это в кожаную сумку винчмана. Позже,

когда форману захочется, он сможет закусить. А ему обязательно захочется! На пароходе царило доброе согласие.

После обеда хождение в угол возобновилось. Охмелевшие от водки рабочие действовали смелее. Волдис смотрел, как они себя «откармливали» за какие-нибудь две минуты: раздевались до рубашки, туго бинтовались полотном или крепко привязывали его к телу, а сверху надевали свободное пальто.

Вечером, незадолго до пяти часов, предприимчивая компания мастерски проделала новый трюк. В одном из ящиков обнаружили пишущие машинки. Какой-то гельсингфорсский банк или контора с нетерпением ожидали этот заморский подарок, но в Риге нашлось несколько веселых, подгулявших парней, которые решили прибрать к рукам американскую вещицу. Пишущую машинку, завернутую в темную вощеную ткань, сунули в мешок со смётками сахара, вынесли его вместе с сахарными мешками, взвесили на весах, погрузили на подводу и увезли. Грузчик, несший этот мешок, был свой человек, извозчик — тоже старый знакомый. Один из рабочих сопровождал подводу. В тихом переулке он снял свой драгоценный груз и доставил его в надежное место.

Взломанные и опустошенные ящики старательно забили. На них опять красовался адрес: «Хельсинки».

Наконец, наступил вечер. Рабочие задраили люки, прикрыли их брезентом и сошли на берег. У сходней стояли форман и полицейский.

— Поднимите руки! — говорил полицейский каждому сходившему с парохода и торопливо шарил по карманам, груди и ногам. Ощупывая, он заставлял вынимать из карманов всякий показавшийся подозрительным предмет — трубку, кисет или недоеденный кусок хлеба. Да, теперь они обыскивали, ощупывали! А в трюме стояли опустевшие, но хорошо заколоченные ящики. Ими никто не интересовался.

— Погодите, остановитесь! — крикнул вдруг полицейский изменившимся голосом, когда мимо него проходил пожилой рабочий, седой, исхудалый человек. — Я теперь понимаю, почему вы так торопитесь. Сахарок, конечно, сахарок! Да, господин хороший, вам придется пойти со мной.

— Но, господин полицейский, ведь этот сахар рассыпался на палубе. Я его только подмел и насыпал в карман.

— Знаем, знаем, как вы подметаете! Как звать? Паспорт!

— Но, господин полицейский, ведь я же не украл, только поднял с полу! Ведь этот сахар все равно затоптали бы.

— Это не ваше дело. Вы арестованы! Без разговоров.

Старика, соблазнившегося двумя пригоршнями сметок, арестовали. Здоровенный молодчик в фуражке с красным верхом гнал его впереди себя через весь порт, мимо всех пароходов. Люди останавливались, смотрели вслед и усмехались:

— Попался, старый жулик!

Помрачневший Волдис наблюдал эту невеселую сцену.

— Карл, есть ли на свете справедливость? Настоящих воров, которые взламывали, грабили и продадут награбленное, — не трогают, а этого старика засадят в тюрьму, и он до конца жизни будет ходить с позорной кличкой «вор».

Карл пожал плечами.

— Красть можно. Судят ведь не за кражу, а за то, что попадаешься. Судят дураков и растяп.

— Чтобы они научились ловчее воровать?

— Так получается...

* * *

На другой день утром начали разгружать нижний трюм. Он был заполнен зерном — пшеницей насыпью. Из конторы стивидора привезли воз деревянных лопат и книпероров. Книпер — это веревочное приспособление, концы которого продеты в деревянные колодки с двумя отверстиями. Веревка передвигается в этих отверстиях, увеличивая или уменьшая размеры петли. Такую петлю накидывают на мешок, колодки прижимают его, и мешок можно тащить из трюма. Каждый книпер имеет семь-восемь петель.

Волдис с Карлом встали на насыпку мешков. Один расстилал мешок и держал его края, другой в это время лопатой насыпал в него пшеницу. Мешок ставили в


NO SMOKING

образовавшееся углубление и несколькими лопатами почти наполняли. Затем тот, кто держал мешок, ставил его на попá, а другой насыпал доверху.

В каждой половине трюма один рабочий стоял на книперах, и хотя работа у него была не такая тяжелая, как у насыпавших, ему приходилось очень спешить, чтобы вовремя прицеплять пакеты.

На завязывании мешков в каждом помещении работало несколько женщин. В том углу, где трудились Карл с Волдисом, мешки вязала молодая румяная девушка, в коротком платье, высоких ботинках на шнурках и красном платке, туго стягивавшем волосы.

Не успела она завязать пять или шесть пакетов, как к люку подошел один из штурманов, кивнул ей и ушел.

— Вы пока обойдетесь без меня? — обратилась девушка к рабочим. — Мне нужно ненадолго отлучиться.

— Обойдемся, — ответил Карл.

Девушка ушла, и полчаса мужчины сами завязывали мешки. Пришлось крепко поднажать, они еле успевали своевременно готовить свои пакеты.

От зерна поднималась пыль, ею покрылось лицо, во рту пересохло, а спина совсем одеревенела.

Время от времени товарищи менялись: пока один насыпал, другой немного отдыхал, поддерживая мешок.

Через полчаса девушка возвратилась.

— Ну, Анныня, как успехи? — насмешливо спросил ее кто-то из мужчин, работавших на другом конце.

— Это мое дело.

— Хорошо американцы платят?

— Тебе какое дело?

От нее попахивало водкой, и она избегала смотреть в глаза товарищам. Конечно, она была молода, с румяным круглым лицом, с толстыми икрами... Американцы смотрели на ее ноги, и это было все, что их интересовало в Риге.

Анныня вязала мешки не более получаса, как у люка опять показалось чье-то плотоядное лицо. Кивнуло и исчезло. Анныня оставила работу и пошла наверх.

— Я ненадолго, у меня там дела, — сказала она.

Опять друзьям пришлось поднажать, чтобы не отстать. Один за другим они хватались за лопату, спины их взмокли от пота. А Анныня опять пропадала полчаса,

вернулась покрасневшая, и от нее еще сильнее пахло водкой.

— Хочешь выпить? — спросила она Карла, протягивая ему бутылку.

— Спасибо, сейчас не хочется. Где ты достала?

— Не спрашивай, где достала. Бери, когда дают.

— Не нужно.

— Ты какой-то баптист. А ты, наверное, не откажешься? — обратилась она к Волдису.

— Спасибо, девушка, я тоже не хочу.

— Какие же вы мужчины, если боитесь выпить? Я вас считала не такими. Может, потом выпьете?

Она даже приуныла: вероятно, думала порадовать товарищей этим маленьким угощением, а они отвернулись от него, как от чего-то постыдного.

— Дай другим, может, они выпьют, — сказал Карл.

— Это верно. Ребята, кто хочет полечиться?

Во всех углах жадно облизнулись. Конечно, все они с удовольствием попробуют американский гостинец.

Прошло около часа, девушку никто не вызывал. Она прилежно работала. Кругом начались разговоры. Рабочие старались перещеголять друг друга в бесстыдных остротах, осыпая друг друга и в особенности женщин самыми грязными ругательствами.

Волдис прислушивался и не мог понять, откуда брались эти потоки цинизма.

Самыми отъявленными циниками оказывались молодые парни.

Но безобразнее всего выглядело, когда старые, седые рабочие тоже отпускали какую-нибудь сальность, после чего долго смеялись над собственным остроумием.

Волдис представил себе Лауму в этой компании и содрогнулся. Казалось ужасным, что люди могли быть такими. И эти грубые рабочие — не единственные в своем роде и даже не самые грубые. Франты в цилиндрах, с застывшей улыбкой на лице и моноклем в глазу обладают куда более извращенной фантазией.

Женщины, выслушивавшие в пыльном трюме похабные замечания рабочих, не краснели. На дерзость они отвечали дерзостью, но каждое непристойное слово звучало в устах женщин в десятки раз отвратительнее.

Молодая румяная девушка, вязавшая мешки Волдиса и Карла, в карман за словом не лезла. Казалось,

мужчины, задававшие ей двусмысленные вопросы, делали это намеренно, испытывая ее выдержку. Но Аннына оказалась неутомимой. Она знала не меньше парней. Когда через час в люке появилось лицо очередного американца, она показала всем нос и поднялась наверх.

«Видите, ухожу. Вы догадываетесь, куда я иду, но это не ваше дело!»

Она была не единственной женщиной, на которую зарились янки. В каждом трюме находилась приятная особа женского пола. Штурманы, матросы и кочегары делали им знаки, позвякивали монетами.

Во время обеда рабочие расхаживали по палубе и коридорам парохода, восхищались машинами, вдыхали вкусные ароматы камбуза и рассматривали татуировку на руках кока-китайца. Из всех кают доносился женский визг, ревели грубые басы янки, звенела посуда и хлопали пробки. В редкой каюте не было женщин. Истомленные «сухим законом» янки пили пиво, вино, водку. Пили много и угощали женщин, кормили их бифштексами.

«Что толкает их на это? — думал Волдис о женщинах, продававших себя с таким спокойствием. — Может быть, они считают это особым видом работы? Такой же, как шитье мешков, подметание мусора или варка обеда? Если бы они не занимались ничем, кроме проституции, — другое дело. Но это не лентяйки, продающиеся на улице, чтобы не трудиться. Они ведь выполняли тяжелую физическую работу и охотно работали бы каждый день.

— Зачем они это делают? — спросил он Карла.

— У янки есть доллары... — угрюмо ответил Карл. — Для этих женщин доллар — целое состояние. Не ради удовольствия они бегают в каюты иностранных моряков.

— Да ведь они же зарабатывают.

— Много ли им удается заработать? Разгрузят этот пароход, и пройдет немало недель, пока они дождутся нового парохода с зерном. На другие корабли их не берут работать.

Мешки, мешки, мешки... Лопата за лопатой, сотни, тысячи лопат час за часом. Тело потное, разгоряченное, в сапоги насыпается зерно, во рту пересохло, ломит спину, ноют мускулы. А вечер еще не скоро. В пять часов, когда рабочие с других пароходов сошли на берег, форман сообщил:

— Сегодня работаем до одиннадцати. Сверхурочно.

Рабочие переглянулись, но никто не огорчился.

— Ну, сегодня заработаем! — радостно говорили они друг другу.

За сверхурочные часы платят отдельно, помимо аккордной платы. Они сегодня заработают лишних двенадцать латов, а это немалые деньги. Для американцев, оплачивающих сверхурочные часы, это пустяки: пароход спешил в Хельсинки, пусть рижане немножко подзаработают.

На набережной женщины с корзинками предлагали булки, пирожки, колбасу и напитки. Рабочие покупали булки с охотничьей колбасой и тут же, не бросая работы, торопливо закусывали.

Стемнело. У люков зажглись яркие фонари, и в помещении стало светлее, чем днем. Молодые парни тискали женщин. Пожилые рабочие спешили за водкой, стараясь купить ее до закрытия лавок.

Работали уже не так проворно, как днем.

Время от времени Анныня выходила из трюма и исчезала. Иногда это был штурман, иногда простой кочегар. Однажды ее удостоил вниманием сам форман: подойдя к люку, он засмеялся и так замысловато выругался, что даже пожилые, ко всему привычные женщины с отвращением плюнули.

— Анныня, выйди наверх! — крикнул форман девушке. — Они как-нибудь обойдутся и без тебя.

Анныне было все равно. Она не раздумывала. Что тут плохого, если она проведет полчаса с форманом в штурманской каюте: он такой же человек, и потом — от него зависит получение работы.

Сверхурочные часы прошли удивительно быстро. Люди потеряли способность соображать. Они тянули свою лямку, как лошади, проделывали привычные движения. Устало тело, ныли суставы, но все это ощущалось смутно, как под наркозом. Боль потеряла остроту...

Равнодушно дождавшись сигнала: «Выходи наверх! Закрой люк!», они выбрались из трюма, молча оделись; как бы рассердившись на кого-то, задраили люки, раздражаясь при этом от малейшего неловкого движения соседа и сердито крича друг на друга. Наконец, все смолкло.

В темноте тихо раскачивались фонари. Призрачно длинные человеческие тени скользили по мостовой, сливаясь в переулках с темнотой ночи.

Завтра опять длинный-длинный день, до одиннадцати ночи. Мешок за мешком... Послезавтра — опять. Затем еще день — и пароход уйдет в море, а рабочие получат деньги за свой нечеловеческий труд. Они скажут: «Да, мы хорошо заработали!», выпьют водки, купят брюки из манчестера и неделями будут жить без работы, пока в порт не зайдет опять какая-нибудь большая посудина, нуждающаяся в рабском труде. Доллары! Мужчины опять станут работать до одиннадцати ночи, женщины будут сидеть на коленях у пьяных янки... Доллары!..

Волдис начинал кое-что понимать. Проклятая все-таки и жуткая эта жизнь! Страшно, если она такой останется всегда... Нет, не должно так остаться, все должно измениться, — иначе какой смысл жить, ждать завтрашнего дня!

Работа на американском корабле продолжалась еще три дня. Каждый вечер работали сверхурочно до одиннадцати, а в последний вечер работа затянулась до двух часов ночи, пока кончили разгрузку.

Все эти дни Волдис не читал газет. Приходя вечером домой, он даже не умывался, торопясь скорее лечь и расправить уставшие руки и ноги. Тело закалилось. Мускулы больше не болели по утрам, только при мысли о предстоящем бесконечно длинном рабочем дне временами становилось тяжело на душе. Разве это не было настоящим рабством?

Может быть, и было, но за это ведь платили деньги. На американском корабле, с его сверхурочными и аккордными, удалось прилично заработать — за пять дней сто двадцать латов.

Люди, не знакомые с жизнью портовых грузчиков, рыскающие с репортерским блокнотом по пятиэтажному городу в поисках сенсаций, спешили известить в своих листках, что портовики зарабатывают страшно много денег. Двадцать с лишним латов в день! Они забывали при этом объяснить, что такие деньги удалось заработать только на одном корабле и не за день, а за сутки. Они забыли и то немаловажное обстоятельство, что

после такого заработка рабочие опять остаются без работы на неопределенное время. Иногда эти деньги — все, что они зарабатывают за несколько месяцев. Эти оговорки значительно ослабили бы впечатление, произведенное сенсационной заметкой. Но теперь сытые отцы семейства, читая газету, радовались:

— Смотрите, как хорошо зарабатывают портовики в Латвии! А кричат о безвыходном положении! Чего им еще не хватает?

Мелкие ремесленники, деревообделочники и безработные приходили в смятение от такого сообщения.

— В Рижском порту открылось золотое дно, новая Калифорния! Туда! Все туда! Долой сапожные колодки, довольно стучать на швейных машинах, пусть даже перья ржавеют на письменных столах — прочь от них, в гавань, где деньги льются рекой!

В армию безработных вливается новая толпа гонимых нуждой людей, и некоторое время они бродят по набережной, пока до их сознания не дойдет, что порт не то место, где кусок хлеба достается легче. Поняв это, они возвращаются к своей прежней, так легкомысленно брошенной работе, проклиная молодых людей, слоняющихся по городу с репортерскими блокнотами.

Выплату денег американцы производили обычно в пивной. Весь персонал кабачка предупреждался об ожидаемом торжестве, и столики были заказаны заранее. Рабочий, который так тяжело потрудился и которому посчастливилось хорошо заработать, не удовольствуется угощением «всухую» — он зальет свою радость водкой и закусит ее жареной свиной грудинкой.

Так как заработанные деньги нельзя было получить в другом месте, Волдис опять пришел в знакомую пивную. Ему гостеприимно уступили место за большим столом, напротив формана. Встретили его, как своего, дружески похлопывали по плечу, предлагали «одну только рюмочку», потом еще одну. В поисках защиты Волдис взглянул на Карла, но тот только разводил руками — и пил...

— Как же ты не будешь пить, если угощают? Тем более что послезавтра, говорят, придет пароход за грузом досок. Понятно тебе?

Волдису было понятно. Опять повторялось старое: надо было напиться и потом страдать от похмелья, чтобы

завоевать репутацию славного парня. Кроме того, на этом пароходе удалось так хорошо заработать, следовало выпить за удачу.

Уже сильно смерклось, когда в пивной остались только сидевшие за круглым столом — форман со своими ближайшими друзьями. Он сказал:

— Вы славные ребята! Выпьем по маленькой! Вы мне нравитесь.

Как можно отказаться от такого приглашения? Волдис остался, и с ним Карл.

— Барышня, сыграйте «Ямщик, не гони лошадей!» — кричал один.

— Нет, сыграйте «Валенсию!» — орал другой.

— Играйте, что хотите! — успокаивал всех авторитетный возглас формана.

Единственно из приличия Волдис опять напился. Он сознательно одурманил себя и сделался на какое-то время идиотом. Опять смеялся, обнимался, нежно и печально думал о своей бестолково сложившейся жизни. Но зато послезавтра у него опять будет работа. У других не будет, а у него будет, — ведь у него есть заслуги: он пил за одним столом с форманом! Чем больше он станет пить, тем лучше ему будет. Благополучие достигается выпивкой. Так уж устроен мир на данном градусе широты.

И все же, когда спустя некоторое время Волдис, проделав у дверей пивной длинный церемониал прощания с Карлом, шагал в одиночестве по темным уличкам домой, горько было у него на душе. Он сознавал, что совершает что-то неправильное, недостойное человека. Так не следовало поступать. Он знал, что сам растаптывает себя, — однако делал это. В последний ли раз? Не пригласят ли его добрые друзья недели через две опять за круглый стол? Не потянет ли его вдруг к водке? Тогда трясина поглотит свою новую жертву.

Нет, этого не должно быть! Он сознавал, что пьян. Сознавал, что и впредь придется иногда напиваться, так как иначе ему не удержаться на этом болоте, но никогда выпивка не доставляла ему удовольствия. Это только тяжелая жертва и больше ничего. И будет другая жизнь, совсем другая...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Как-то вечером, умывшись и поев, Волдис наткнулся нечаянно на свой коричневый сундучок. Все эти месяцы, пока он жил у Андерсониете, он совсем забыл про сундучок, так как разная мелочь, хранившаяся в нем, не нужна была ему. Но в этот вечер, ударившись ногой о висячий замок сундука, Волдис от скуки поставил его на кровать и открыл крышку.

Засохший гуталин, осколок зеркала, летняя военная гимнастерка и сухая краюха хлеба. В самом низу лежало несколько тетрадей. Волдис перелистал одну из них, взял другую, третью и провел бессонную ночь. Он читал страницу за страницей, и каждая строка воскрешала в его памяти картины прошлого, былые чаяния. Некоторые тетради были дневниками, в других были разные записи и заметки.

Все это было когда-то. Уверенный в себе, он смело смотрел в будущее. Независимый, одинокий, свободный от всяких обязательств... Надеялся путем самообразования, с помощью курсов и лекций, восполнить пробелы в своих знаниях. В некоторых вопросах Волдис был осведомлен до мелочей, и в то же время становился в тупик перед самыми элементарными вещами. С большим прилежанием и интересом он изучал все, что касалось заинтересовавшего его явления, равнодушно проходя мимо предметов, не занимавших его. Он прочитал от доски до доски сочинения многих писателей и в то же время был незнаком с самыми выдающимися произведениями других мастеров художественного слова.

Чтобы исправить эти недочеты, восполнить эти неприятные, досадные пробелы в своем образовании, он и приехал в Ригу. Работать и учиться! Но прошло уже больше трех месяцев, а ничего еще не было сделано.

Волдис задумался. Работу он нашел. Правда, самую тяжелую, самую грубую, но довольно выгодную. Тяжелая работа убила в нем всякое желание учиться, пополнять знания. По вечерам, уставши до полусмерти, он валился на кровать. Даже газеты перестали его интересовать. В дни, когда не было работы, приходилось искать ее: гоняться по всему порту и кабакам за форманами, искать возможность подойти к ним, томиться часами у дверей конторы, напиваться по необходимости,

Да, много «веселого» дали эти три месяца. А что сулил завтрашний день?

Что же удивительного, если притуплены все его духовные интересы? Читая в тот вечер свои записки, Волдис как бы проломил ту стену, которую условия жизни начали воздвигать вокруг него.

«Так бессовестно пасть! Так непозволительно бездельничать!» — злился он, расхаживая по комнате из угла в угол, упрекая себя и не зная, что же предпринять.

Учиться? Но чему? Посещать регулярно вечернюю школу, курсы — невозможно. Придется работать сверхурочно, торчать в кабачках в ожидании получки... Нет, из ученья ничего не получится! Курсы? Бухгалтерия? Рига полна безработных интеллигентов, окончивших средние и коммерческие школы. Они все знакомы с бухгалтерией. Народный университет? Когда же искать работу? Нет, ничего у него не выйдет. Единственный путь — самообразование. Надо записаться в какую-нибудь большую библиотеку и читать книги, надо что-то предпринять, чтобы наверстать упущенное.

Волдис стал брать книги из библиотеки. У него больше не оставалось свободного времени. Читал, думал, пытался вспомнить забытое. Но темпы самообразования, взятые Волдисом, были слишком стремительны. Вечерами он читал до тех пор, пока мозг не переставал воспринимать прочитанное. Через несколько недель Волдису пришлось сдаться. Наперекор себе, он иной вечер не раскрывал книги.

Однако проснувшаяся энергия не заглохла. Каждую неделю Волдис посещал какую-нибудь лекцию. Медленно, неровными скачками двигался он вперед. Кое-что закрепилось в памяти, белые пятна в его образовании хоть и медленно, но верно исчезали.

Однажды вечером Волдис надел новый костюм и поехал в город; он хотел послушать популярную лекцию одного профессора.

У Пороховой башни * Волдис сошел с трамвая. Вечер был пасмурный и теплый. Все напоминало весну, хотя уже наступил сентябрь.

Кто-то легко тронул его за плечо. Он обернулся. Ему улыбалась молодая женщина в темном пальто. Широкополая шляпа скрывала ее лицо. Женщина засмеялась.

— Что вы так заважничали, господин Витол? Ах,

простите, мы же выпили на «ты». Не узнаешь старых знакомых?

— Вы?.. Ты, Милия? Какая неожиданная встреча!

— Почему ты не говоришь — приятная?

— Прости, разумеется, приятная.

Волдис пожал ее руку в перчатке.

— В какую сторону ты идешь? Может быть, нам по пути?

Милия опять засмеялась. У нее были красивые зубы, и она очень часто смеялась, как будто все говорили только смешное и остроумное.

— Я иду на концерт. Знаешь, в Риге гостит знаменитый скрипач Губерман *.

— Карл не пошел?

— Карл... — Она замялась. — Карл не интересуется музыкой. Да я и не сказала ему, куда иду. Какое ему дело?

Они перешли на другую сторону улицы и медленно направились к мосту через канал.

«Какая она красивая... — думал Волдис. — С каким вкусом одевается, точно важная дама. Новые туфли с новомодными пряжками, гладкие, блестящие шелковые чулки, модная шляпа — все новое и добротное. Как мода сглаживает все... Кто бы сказал, что эта молодая красивая дама не жена депутата, не известная художница или любовница богатого фабриканта, а всего лишь дочь фабричного мастера?»

— Почему ты нигде не показываешься? — спросила Милия. — Скоро же ты забываешь своих друзей. Наверное, занят сердечными делами? У тебя, может быть, роман? — смеялась она, глядя в глаза Волдису.

— Куда мне ходить? Меня нигде не ждут...

— Ты когда-нибудь бывал в Большой Гильдии *, в «Улье» *, в Ремесленном обществе *?

— Я не знаю, где это.

— Вся Рига знает, а ты не знаешь! В прошлое воскресенье мы с Карлом были в Гильдии.

— Карл мне говорил.

— Правда? Прекрасный был вечер. Сколько молодых людей, все такие красивые, представительные, интересные. Всю ночь я протанцевала со старшим сержантом военного училища, пока Карл не начал нервничать.

— Там тоже дерутся?

— Когда как. Иногда и дерутся. В тот вечер была только небольшая потасовка. Почему же не подраться?

— Это верно: поколотить другого, кто слабее тебя, заманчиво, но совсем неинтересно быть побитым.

«Странная женщина, — думал про себя Волдис. — Ей приятно, когда люди дерутся, а потом она идет на концерт слушать Губермана. Что же все-таки ей приятнее?»

— Можно поинтересоваться, Волдис, куда ты идешь?

— На лекцию об искусстве.

— Странно, что тебе могут нравиться эти вещи. Отложи на сегодня всякие умные занятия. Почему ты не можешь пойти на концерт?

— Я вовсе не говорил, что не могу, но...

— Пожалуйста, без всяких «но». Губерман не каждый день приезжает в Ригу, а твое искусство никуда не денется. Пойдешь?

— Трудно решить.

— Будь спокоен, билет я себе куплю. Я никогда не позволю платить за меня.

Она уже забыла о гулянье в парке.

— Дело не в билете. Насколько я знаю, на такие концерты публика ходит нарядно одетая, в вечерних туалетах. У меня их нет.

— Глупости. Нам совсем не обязательно сидеть в партере. Возьмем билеты на балкон. Зачем ты думаешь о таких пустяках? Карл говорил, что ты не считаешься с предрассудками.

— Конечно, не считаюсь, но мне не хочется смешить своим видом публику.

— Ты просто ломаешься. Ну, так как же — идешь?

— Если ты настаиваешь... У нас еще много времени?

— Целых полчаса.

— Тогда надо идти.

Они медленно, прогуливаясь, направились к Оперному театру.

— Что ты делал все это время? — интересовалась Милия.

— Ничего особенного. Работал, ел, спал. А ты?

— О, у меня было много работы. Но это ведь мужчинам неинтересно.

— А все-таки?

— Сидела дома, занималась хозяйством. Иногда

я кухарка, иногда — горничная. Только что кончила вышивать папку для писем. Собираюсь вышивать ковер на стену. Такие мелочи требуют пропасть труда и терпения. На чтение совсем не остается времени. У меня дома две недели лежит «Дама с камелиями», и нет времени ее прочесть. Почему ты никогда не зайдешь? Может быть, как-нибудь вечерком заглянешь?

— Неудобно как-то вламываться к малознакомым людям. Тебя я знаю, ты меня тоже, но ведь для твоих родных я совершенно чужой человек.

— Какие глупости ты говоришь! Как же можно познакомиться, если ты этого избегаешь? Гораздо неудобнее даме идти к мужчине. Что, например, скажут твои соседи, если я как-нибудь приду к тебе?

— Мало ли что могут говорить соседи! — пожал плечами Волдис.

— Где ты живешь?

Волдис сказал адрес. Милия вынула из сумки маленькую записную книжку и записала.

— Так, теперь ты от меня не сбежишь. В будущую субботу в «Улье» вечер. Хочу посмотреть, как ты себя будешь держать на этом вечере. Не смейся, мы с Карлом зайдем за тобой.

Они уже дошли до Оперного театра, где толпился народ. В собственных лимузинах подъезжали представители «высшего» света. Господа в вечерних костюмах высаживали из машин своих блистающих нарядами дам. Дипломаты, здороваясь, приподнимали свои цилиндры. Празднично обнажались лысины министров, их безволосые мудрые черепа блестели, как намасленные. По крайней мере половина из них страдала предательской болезнью всех благополучных людей — тучностью. Каждый третий из них не мог подобрать себе в магазине готового воротничка.

Сняв пальто, Волдис и Милия прошли на балкон. Милия была в тот вечер очень хороша. Так хороша, что сидевшие в отдалении господа вытягивали в ее сторону шеи, на нее направляли лорнеты.

И Милия знала себе цену. Чувствуя обращенные на себя взгляды, она слегка рисовалась. Ее движения стали медлительными, томными. Разговаривая, она следила за выражением своего лица. Смеялась сдержанно, показывая все время ослепительно белые зубы. Вряд ли

великосветские дамы, сидевшие внизу, в ложах партера, держались с большим достоинством. Она училась несколько лет в средней школе — вернее, в средних школах, — каждый год в новой. Она была «почти интеллигентной», и в этот вечер ей хотелось жить среди «настоящих» людей — людей, которые задают тон обществу. Карл был бы здесь лишним, — он бы весь вечер издевался над этой публикой.

Вообще у нее с Карлом не было ничего серьезного. Встречаться они встречались, временами между ними возникала какая-то нежность — Милия разрешала гладить свою руку и, когда Карл пытался ее обнять за талию, не протестовала, он не был ей противен, — но она не любила его. Вообще она не способна была любить, она только увлекалась. Возможно, она и выйдет замуж за Карла, если не появится какой-нибудь настоящий интеллигент, который страстно влюбится в нее. Интеллигентам предпочтение!

Волдис нравился ей, потому что был непонятен. Узнать его поближе — об этом она мечтала с первой встречи. Милия читала в романах о замкнутых, окруженных ореолом тайны мужчинах, которые покоряли женщин своей загадочностью. Все они были благородными красавцами, и женщины, которые, пожертвовав всем на свете, в конце концов раскрывали изумительные души этих мужчин, становились счастливыми: они были любимы.

Если бы фигуру Волдиса украшал мундир сержанта сверхсрочной службы, он был бы вполне приличным кавалером. Его бы приглашали на дамский вальс даже офицерские жены. Эти сержанты-сверхсрочники — самые желанные кавалеры на рижских вечерах. Одни студенты, пожалуй, могут соперничать с ними, хоть и не так стройны и статны. Зато сержанту легче жениться, чем студенту, а это немаловажное обстоятельство.

Милия внимательно оглядела зал. В партере, в ложах, на балконах и галерее — нигде сегодня не было ни одного сержанта.

Начался концерт. Музыкальные критики ломали головы, подыскивая подходящие хвалебные слова. Губерман! Маэстро, выступавший в Париже, Америке и где-то еще! Тот самый, который записан на пластинках, который играет почти как Крейслер! К такому не обра-

тишься с обычной лестью. Тут нужны особые выражения.

Публика вела себя, как всегда в таких случаях, дисциплинированно: не кашляла, не чихала, не сморкалась. Казалось, министры и коммерсанты выбросили из своих лысых голов мысли о политических сделках и биржевых спекуляциях. Эти господа, привыкшие сочинять проекты новых законов и калькулировать цены на масло, бекон и людей, сегодня погрузились в музыкальные ощущения. Казалось, они понимали эти этюды и каприччо; их ожиревшие сердца, растроганные темпераментной игрой знаменитого скрипача, сентиментально бились.

Как ловко он перебирал пальцами, как красиво извивалось все его тело вслед за скрипкой, как он водил смычком по струнам! Звуки? Были и звуки, довольно приятные созвучия, временами они совсем слабели, напоминали писк мышонка, временами грозно рокотали.

Когда гость окончил и раскланялся перед публикой, голые черепа засверкали, их владельцы долго-долго аплодировали и, склонившись к своим дамам, произносили несколько слов. Дамы утвердительно наклоняли головы и, улыбнувшись, продолжали аплодировать. Туловища их оставались неподвижными, будто застывшими, только холеные руки шевелились, как веера. Да, они знали толк в музыке и ценили искусство. Губерман!

Вот он заиграл опять. Волдис вслушивался в изумительный язык души, на котором шептала, кричала, стонала и ликовала скрипка чужестранца. Человеческая душа блуждала в потемках, взывая о помощи в поисках выхода из трясины мучений и несправедливости. Но когда артист опустил скрипку и поклонился, в зале все заулыбались и опять начали хлопать. Все вызывало у них только улыбку. Их общественное положение и хороший тон требовали, чтобы они ценили искусство и посещали концерты приезжих знаменитостей, — они лишь выполняли свой долг.

Теперь они пойдут домой и расскажут другим, как хорошо играл Губерман. Головы их снова заполнятся калькуляциями, а желудок лососиной.

Милия молчала. Она даже не смеялась над помрачневшим лицом и лихорадочно блестевшими глазами Волдиса; она только подсела ближе к нему, и ее теплая нога, будто нечаянно, прикоснулась к его ноге. Чуть

заметно улыбнулась она, увидев, как Волдис вдруг болезненно поморщился, точно от булавочного укола.

Теперь он больше не слушал красивые миниатюры, которые искусно исполнял маэстро. Он думал о Милии.

— Тебе понравилось? — спросила Милия, когда они вышли на улицу.

— О таких вещах не принято говорить «нравится» или «не нравится». Мне только обидно, очень обидно, что огонь искусства горит для всех — даже для тех, кто не в состоянии его почувствовать своими ожиревшими сердцами. Сердцам, страдающим от склероза, которым угрожает паралич, такой огненный фейерверк не нужен. Дайте им лучше холодные синие и зеленые ракеты. Но если бы этим господам обещали высокую плату за каждую слезу, вызванную искусством, они бы ревели, как телята, холодными солеными слезами.

— Ты преувеличиваешь. Есть среди них и чуткие люди.

— Ты встречала таких? Мне что-то не доводилось.

— Волдис, ты проводишь меня до моста?

— С удовольствием.

— Тогда дай мне руку, а то встречные нас все время разъединяют. Пойдем по улице Грециниеку *, там тише.

Милия взяла Волдиса под руку. Они пошли в ногу, ровным, медленным шагом, не стесняя друг друга.

Разговор не клеился. Каждый из них был полон своими чувствами и думами. Милия в этот вечер повидала много новых людей и туалетов. Что, если ей перешить черное платье и сделать вырез в виде звезды, какой она видела сегодня в опере? Мать, конечно, будет ворчать, — нельзя, мол, портить материал, но она ее уговорит.

У моста они простились.

— Когда мы теперь увидимся? — спросила Милия.

— Об этом я должен спросить тебя.

— Удивительно. Рига такая маленькая, а мы с тобой не можем встретиться...

«Мы с тобой», — сказала она... Волдис сел в трамвай и поехал домой. Чем они были друг для друга? Ведь существовал еще Карл, ему принадлежало право первенства.

Волдис не сказал Карлу о концерте: всю неделю собирался рассказать, но не мог подыскать нужных слов.

Милия тоже, очевидно, не говорила, потому что Карл ни одним словом не дал понять, что ему что-нибудь известно. Здесь нечего было и скрывать, и именно поэтому Волдиса раздражала ненужная таинственность. Но так все и осталось...

Прошла неделя после концерта. Волдис не был на танцах в «Улье», да за ним никто и не заехал.

Однажды вечером Волдис, как обычно, сидел за столом и читал. Было еще довольно рано. Во дворе сердито залаяла цепная собака. На лестнице послышались осторожные шаги.

Волдис, отложив книгу, прислушался, но все стихло. Вероятно, кто-то искал дверь. Он встал и приоткрыл ее.

Спиной к нему стояла женщина в сером осеннем пальто. Услышав скрип двери, она обернулась.

— Добрый вечер! Ты, конечно, поражен, видя меня здесь?

— Но, Милия, как я мог знать? Ты ко мне?

— Ну конечно, к кому же еще? Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Ты даже не подаешь мне руки?

— Извини, я так изумлен.

— Ты, вероятно, думаешь, что мне приятно разговаривать с тобой в коридоре? — тихо сказала она.

— Верно, я совсем потерял голову. Пожалуйста, заходи в мою берлогу.

— Для молодой девушки это довольно рискованно.

— Будь спокойна.

Молодая девушка, которой было только двадцать шесть лет, вошла, без всякого смущения осмотрела комнату, скудную обстановку и, наконец, подошла к Волдису.

— Садись, пожалуйста, Милия.

— Наконец-то сообразил.

— Может быть, снимешь пальто?

— С твоего разрешения. Помоги мне.

На Милии было то же синее платье-костюм и белая блузка, что и при первой их встрече. Волосы были, видимо, только что завиты.

— Ты, конечно, не догадываешься, зачем я пришла? — спросила она с улыбкой, садясь на стул.

— Зачем бы ни пришла, мне приятно видеть тебя здесь.

— Я помешала тебе читать? Что ты читаешь, «Историю философии»? Ах, вот ты какой умный! Почему же ты работаешь в порту?

— Разве умные люди не имеют права работать в порту, а портовые рабочие не смеют быть умными?

— Не насмехайся надо мной. Не забывай, что я твоя гостья.

— Прошу прощенья.

— Прощаю. Теперь о деле.

— Слушаю, Милия...

— В воскресенье ты должен обязательно прийти к нам.

— По какому случаю?

— Маленький семейный праздник. День рождения.

— Чей? Отца?

— Нет.

— Матери?

— Тоже нет.

— Значит, твой?

— Возможно...

— Мне право, неудобно. Незнакомый человек...

— Без отговорок. Ты должен прийти. Ты будешь не один. Будет по крайней мере пять девушек. Я должна каждую обеспечить кавалером. Будет и музыка: скрипка, гитара, две мандолины да еще патефон.

— Я плохой кавалер.

— Не смеши. Ты придешь?

— Что же мне остается делать?

— Ты это говоришь таким тоном, словно приносишь тяжелую жертву. Даже вздохнул.

— Каждая попытка внести изменения в привычный уклад жизни — жертва. Я по характеру необщителен и всегда довольствовался своим одиночеством. Тебе и твоим подругам придется извинить меня, если я окажусь недостаточно приятным и остроумным кавалером.

— Ты, наверно, воображаешь, что соберется бог знает какое изысканное общество. Не бойся — все свои люди, такие же, как мы с тобой.

— Хорошо, хорошо. Приду.

— Мерси. Сначала хотела поручить Карлу пригласить тебя, но, предвидя отказ, решила зайти сама. Женщине ведь труднее отказать?

— Возможно.

— Скажи, нас никто не слышит?

— Будь спокойна. Стены довольно толстые, а Андерсониете глуховата. Скорее всего она и не заметила, что ко мне кто-то пришел.

— А с улицы в окно меня не видно?

Волдис невольно засмеялся над такой осторожностью.

— Пусть смотрят, если не видели людей.

— Все-таки... неудобно... в чужой квартире, у холостого мужчины...

Милия смущенно опустила глаза и слегка покраснела.

Волдис встал и задернул занавеску.

Белые нежные руки обвили его шею.

— Дверь заперта? — шепнула Милия.

...Да, такова была невеста Карла Лиепзара, зеница ока единственного друга Волдиса.

Через час он проводил ее до калитки. На улице не было ни души, только у следующего дома в воротах стояли девушка с парнем, они грызли подсолнухи. Когда Милия прошла мимо, они проводили ее любопытными взглядами, пока она не скрылась за углом.

«Придет ли она еще? — думал Волдис, возвращаясь в комнату. — И что она тогда скажет?»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Через несколько дней, идя утром на работу, Волдис встретил Лауму. Она была одета по-другому: голова повязана красным платочком, совершенно закрывающим волосы, на ногах легкие резиновые туфли; в руке она держала завернутый в бумагу ломоть хлеба.

Они поздоровались и продолжали путь вместе.

— Вы, как видно, на работу? — спросил Волдис.

— Да, сегодня первый день. Вчера мне объявили, что я принята: одна работница наколола гвоздем руку, и меня взяли на ее место.

— Ну, вы теперь довольны?

— Довольна? Я так рада, что и сказать нельзя. Наконец-то сама начну зарабатывать, не придется каждый сантим выпрашивать у отца.

— Да, жить на чужой счет неприятно.

— Вы еще не знаете мою мать!

— Разве она такая сердитая?

— Как она ворчит и бранится! Я могу носиться с утра до поздней ночи, делать все, что она поручит, — ей все равно не угодишь. Она считает, что я только суечусь и от меня нет никакого толку.

— Вам нужно бы чему-нибудь научиться. Шить, вязать — что-нибудь в этом роде.

— Я уже подумывала об этом. Но везде нужно платить за ученье. Однажды я поступила ученицей к парикмахеру. Месяц проучилась, а потом надо было купить бритву, щетки, машинку для стрижки волос... Когда я об этом заикнулась дома, они закричали: «Кто это в состоянии купить? Где взять такие деньги?» Пришлось бросить...

— Жаль...

— Моя мать хочет, чтобы я научилась ремеслу за один день и вдобавок даром. Понимать-то она очень хорошо понимает, что это пригодилось бы, но то соглашается, то нет. А как дело доходит до расходов — все кончено!

— Может быть, родители и правда не в состоянии помочь вам? Откуда у рабочего человека лишние деньги?

— Конечно, это трудно, но все-таки возможно. Оба зарабатывают, вместе бы что-нибудь и собрали. Но я теперь больше ничего не хочу. Как-нибудь проживу. Работы я не боюсь, лишь бы она была.

— В том-то и беда, что работы нет. Вы долго рассчитываете проработать на лесопилке?

— Пока не выздоровеет та женщина. Может, за это время подыщу постоянную работу.

— Проклятая доля! Рабочий должен ждать, когда другого изуродует или убьет, — тогда он получает работу.

— А остальные тоже ждут, когда с нами случится несчастье.

Волдис наблюдал за девушкой и удивлялся своему первому впечатлению. Лаума совсем не была такой хилой и хрупкой, как ему показалось вначале. Она была не бледная, а просто очень беленькая. Думая о предстоящем ей рабочем дне, тяжелом, утомительном и однообразном труде, ожидавшем Лауму, Волдис помрачнел. Почему женщина должна обливаться пóтом на трудной физической работе, зарабатывать право на существование напряжением своих мускулов? На лесопильных заводах прежде работали только мужчины, а теперь

почти на всех участках места мужчин занимают женщины; но оплачивается их труд ниже, чем мужской. Экономя несколько сантимов, ненасытный капитал без раздумья надевает на женщину ярмо, под тяжестью которого она гибнет, уродует тело и преждевременно старится, так же как и ее предшественник — мужчина.

Волдис нахмурился и замолчал, а Лаума, обрадованная поступлением на работу, казалась совершенно беззаботной.

— Вы еще сердитесь за те подсолнухи?

Волдис покраснел и засмеялся.

— В тот вечер я сам себя не помнил. Мне до сих пор стыдно.

— А ничего особенного и не было. Знаете, вы большой насмешник. Как вы высмеяли моего знакомого!

— Он сердится?..

— Может, и сердится!.. Но вы ведь не боитесь?

— Глупости. Если бы люди дрожали за каждый свой шаг, тогда ничего нельзя было бы делать.

— Здесь нам расходиться, господин Витол. — Она собиралась свернуть налево, к железной дороге, где за небольшой канавой дымила тонкая труба лесопилки.

— Знаете что, — сказал Волдис, останавливаясь и разглядывая лесопилку. — Не называйте меня господином Витолом. Смешно слышать, когда рабочие так называют друг друга. Можно подумать, что они подражают господам капиталистам.

— Как же мне к вам обращаться? Неудобно же сказать: Витол! Эй, Витол!

— Мое имя Волдис. Зовите меня по имени, я буду называть вас... к черту это «вас»! Я буду называть тебя Лаумой. В этом нет ничего предосудительного.

— Хорошо. Тогда будь здоров, Волдис!

— До свидания... Лаума!

Девушка рассмеялась и пошла через дровяной двор к лесопилке. Там ее ожидали другие работницы в красных платочках. Были ли у них у всех белые или просто бледные лица, Волдис не мог сказать; одно он знал точно: у всех были жесткие, грубые, как у мужчин, руки, пальцы в порезах и мозолях, с обломанными ногтями, на ладонях следы неотмывающейся грязи. Но это ведь мелочи! Девушки-работницы вовсе не обязательно должны быть красивыми. Велика беда, если у них от

длительной носки тяжестей колени становятся угловатыми, коленные чашечки некрасиво выпирают вперед! Они ведь не дамы. Пусть носят длинные юбки...

Мимо пронесся тяжело пыхтевший паровоз с платформами, нагруженными только что окоренным крепежным лесом.

Лаума уже раза два была на лесопильном заводе в поисках работы. Она знала, где находится контора и к кому обращаться. Здесь работали и несколько ее знакомых, но это были уже старые работницы, и чувствовали они себя здесь, как дома. Они позвали Лауму под навес лесопилки, где в ожидании начала работы толпились рабочие и работницы.

Все они, и парни и девушки, были знакомы между собой и обращались друг к другу на «ты». Некоторые парни говорили двусмысленности, хватали девушек, ломали им руки, всячески старались показать свое физическое превосходство. Девушки ничуть не казались оскорбленными, будто не понимали некоторых слишком нескромных шуток, а на более умеренные довольно бойко огрызались.

За полчаса, пока Лаума ожидала под навесом начала работы, ей многого пришлось наслушаться. Она не была настолько наивной, чтобы не понимать все эти намеки и словечки, и, забившись в угол, опустила глаза и сделала вид, что не слышит болтовни товарищей.

Новенькую в первое утро оставили в покое. То один парень, то другой поглядывали на нее, потихоньку спрашивали, кто это такая, но не задевали.

— Ты стесняешься? — спросила Лауму подруга, Фрида Круминь.

— Как-то непривычно все, — ответила Лаума.

— Только ради бога, Лауминь, не подавай виду, что тебя задевают эти разговоры. Иначе они будут говорить назло. Делай вид, что тебе это совсем безразлично, пусть болтают, что хотят. А при случае заткни кому-нибудь рот крепким словцом.

— Как-нибудь вытерплю.

— Надо терпеть, такие здесь порядки. Хочешь не хочешь — привыкай. К женщинам везде относятся одинаково. Разве ты не видела, как в конторах, на почтамте чиновники задевают своих сослуживиц? Хоть все они грамотные люди, но от этого не легче. Правда,

мужчины там говорят деликатнее, смеются и называют все это невинным флиртом, а в общем — это то же самое.

Без четверти восемь пришел мастер — представительный мужчина с длинными светлыми усами, на вид не то из рабочих, не то из хозяев. Во всяком случае, он носил галстук.

— Где здесь новенькая, которая заменяет Пурене? — спросил он.

Лаума вышла из-под навеса. Все замолчали и с любопытством стали прислушиваться.

— Это вы?

— Да, я.

— Вы станете на приемку отходов. Идите, я покажу.

Он подвел ее к станку, показал, где выходят кругляки, где принимать отходы, куда складывать крупные щепки, куда мелкие.

— Теперь будете знать?

— Думаю, что буду.

— Тогда ждите начала работы и старайтесь успевать.

Мастер не мог больше задерживаться. Страшно занятый и в то же время медлительный, как сытый тюлень, он пошел дальше.

Он все должен видеть, ему все надо знать, каждый человек должен быть занят работой. Подобно боцману на корабле, он распоряжался здесь всем: где какую поленницу укрепить, где освободить место для штабелей досок, где проложить рельсы для вагонеток, подвозящих лес к станкам. Да, громадная, площадью в несколько тысяч квадратных метров, ответственность лежала на широких плечах этого человека.

Ему выпала самая неблагодарная роль — быть посредником между хозяевами и рабочими. Не пойдет же директор смотреть, как работает каждый рабочий, не станет он его торопить, гонять с места на место. Это обязанность мастера. Сам рабочий в недалеком прошлом, теперь он вынужден заставлять работать своих прежних товарищей. Если он будет хорошо относиться к рабочим — в конторе накричат на него; если он станет угождать хозяевам — рабочие его возненавидят. Как быть?.. Но недаром хозяева выдвинули на эту должность именно его, а не другого. Они присмотрелись к нему, оценили его — и теперь могут спокойно сидеть

в конторе, болтая и попивая чай; мастер, подобно тени облака, скользит из одного угла рабочей площадки в другой, его глаз видит все; кое-где он поворчит, кое-где повысит голос, а где и грубо польстит.

У каждого хозяина рижских лесопильных заводов часы идут по-своему: у кого по солнцу, у кого по месяцу. По обыкновению, утром они опережают нормальное время, по мере приближения к обеду отстают, потом немного выправляются и в час дня обгоняют точные хронометры, а к вечеру, подобно хорошо поработавшему человеку, устают и опаздывают на несколько минут. Разница не слишком велика, всего несколько минут в ту и другую сторону, но в общей сложности за день это дает ощутимые результаты. Возможно, человеку несведущему покажется непонятным, почему по утрам, в восемь часов, гудки гудят все в разное время: когда один начинает, другой в это время кончает, и таким образом гудки гудят почти пять минут. Так велика разница в часах.

Лесопильный завод, где работала Лаума, всегда старался прогудеть первым. Минута — большое дело: на шестьдесят рабочих — это целый час. А мало ли можно сделать за час!

Резкий, раздирающий уши гудок еще звучал в воздухе, когда послышался другой, еще более пронзительный и неприятный звук — визг пилы. Он продолжался весь день, звенел в ушах, жужжал в голове, заглушал всякую мысль. Упрям и бездушен язык металла. Человек, не привыкший к нему, нервничает, ему кажется, что какое-то живое, назойливое существо кричит, кричит и кричит на него. Человек раздражается, ему кажется, что работа наваливается на него подобно лавине, что он не успеет всего сделать.

Лаума провожала внимательным взглядом каждый еловый кругляк, проходивший через пилы, дрожащими пальцами принимала выходившую щепу и отходы, волнуясь, бежала, сбрасывала их в указанное место и торопилась обратно к пиле. Ей все время казалось, что она не успеет вернуться, что уже будет распилен следующий кругляк, она опоздает, а пилы неистово будут кричать и кричать на нее. Оглушенная непривычным визгом пил, она не замечала, что времени достаточно и все можно сделать спокойно.

Лихорадочно хватая и бросая щепу, она занозила руки, ушибла до крови пальцы. Вытаскивая зубами занозы, она только теперь поняла, почему работницы носят перчатки с отрезанными пальцами: они их надевали не ради шика и не от холода.

Таскать сырые еловые щепки было довольно тяжело. Лаума не привыкла к такой длительной напряженной работе и вскоре почувствовала легкое головокружение. Временами ее бросало в жар и сердце начинало колотиться. Когда она останавливалась, ей приходилось держаться за столб навеса, чтобы не упасть. Позже Лаума, чувствуя приближение приступа слабости, начинала энергично двигаться, ходить — и дурнота проходила.

К обеденному перерыву она успела приучить себя к более спокойным движениям. Она принимала охапку щепок, не торопясь относила ее на место и возвращалась. Чтобы успеть все сделать, следовало находиться в непрерывном движении, не было времени думать, оглядываться и слушать.

Однажды Лаума наскочила прямо на сортировщика лесоматериалов. Тот не замедлил раскрыть объятия и обнять ее.

— Ах, какой исключительный случай, барышня! — засмеялся сортировщик, широко раскрыв плотоядный рот, полный золотых зубов. Лаума подумала, как выглядел бы этот рот без золотых зубов, и ее чуть не стошнило от прикосновения его пальцев.

— Пустите меня, — сказала она тихо, умоляюще.

— Ай-ай, барышня, почему вы такая стеснительная? Какая у вас красивая фигурка! Ай-ай-ай!

Испачканные мелом пальцы уже шарили по ее груди. Лаума покраснела и чуть не заплакала от стыда и злости. Оттолкнув сортировщика, она убежала обратно к пиле. А отвергнутый сортировщик все смеялся и покачивал головой.

— Вот дикая кошка!

Так вот где ей придется зарабатывать себе кусок хлеба! Каждый день приходить сюда, слушать визг пил, двусмысленности, переносить навязчивые приставания нахалов. С работой она справится, скоро привыкнет к ней, но как можно привыкнуть к этим пошлым, позорным, унизительным любезностям? А если привыкнет

к ним, останется ли она честной девушкой? Из-за нескольких заработанных в час сантимов она не имеет права чувствовать себя оскорбленной, когда начальство дает волю рукам.

Все послеобеденное время Лауму одолевали эти тревожные мысли. Она понимала, что нельзя приходить в отчаяние, что все надо выдержать. Надо же зарабатывать себе на хлеб. Ведь она становится самостоятельной, а ради этого стоит немного потерпеть. Нет, она не будет смущаться до слез от каждой грубости. Стиснет зубы, если нужно будет — покажет их, но не в улыбке, а чтобы укусить.

Время после обеда тянулось бесконечно долго. Лаума еле двигалась от усталости. Болели руки, саднило пальцы. С завистью поглядывала она на людей, разгуливавших по улице.

На лесопилке из рабочего выжимали максимум энергии. За поденную плату здесь трудились куда больше, чем при сдельщине. Иначе... в Риге столько безработных.

Работающий сдельно не так ощущает монотонность и надоедливость подневольного труда, не так остро чувствует свою подчиненность работодателю. Получающего почасовую или поденную оплату можно гонять с одной работы на другую; он знает только часы и вой гудка, бессознательно поджидая его весь день.

Гудок, возвещавший конец рабочего дня, прозвучал на лесопилке на несколько минут позже, чем на других предприятиях. Пилы за это время успели распилить еще целый еловый кругляк. Девушки стряхнули опилки, вытерли лица, с шутками и со смехом пошли домой. Смеялись ли они над собой, или то был вызов гнетущему ярму?

* * *

Возвращаясь по вечерам с работы, Волдис всегда встречал Лауму у железнодорожного моста, и они вместе шли домой. За эти короткие утренние и вечерние встречи они незаметно привыкли друг к другу, и когда однажды Волдису не пришлось идти утром в гавань, он почувствовал, что ему чего-то не хватает. Весь этот

свободный день он просидел над книгами, читая до одурения, а вечером, в половине пятого, пошел встречать Лауму.

Это не был легкий флирт с его беспричинным смехом, шутками без веселья и болтовней. Волдис не старался быть остроумным кавалером, не боялся показаться девушке смешным из-за своей серьезности и искренности. Они делились впечатлениями дня, не скрывали друг от друга своих неудач и в дружеской откровенной беседе рассказывали о своих планах на будущее. Волдис начал узнавать девушку ближе, понимать условия ее жизни. Он никак не мог примириться с мыслью, что Лауме приходится выполнять такую тяжелую работу и что из непосильного труда этой хрупкой девушки какие-то чужие люди извлекают прибыль, строят на нем свое благополучие. Лаума рано вставала, целый день работала, ранила и ушибала руки, уродовала свое тело, которое было ничуть не хуже тела любой принцессы, целый день выслушивала дерзости. Частенько чужие люди даже кричали на нее, на женщину!

Когда кричат на мужчину, это не так мучительно. Мужчина крепче, выносливее, любую грубость он может перенести со свойственной ему твердостью, обретенной в борьбе за кусок хлеба. Но кричать на женщину, ругать ее — это все равно что бить ребенка. Лаума должна своим трудом обеспечить благополучие какой-то дамы, разодетой в шелка, завитой, пользующейся услугами массажисток, погрязшей в своем тщеславии, живущей в мире воображения, распаленного бульварными романами и кинофильмами! Правда, не так много заработает для нее девушка — может быть, всего-навсего на пару чулок, но какая-нибудь другая заработает на бюстгальтер, третья — на шелковую сорочку, еще кто-нибудь — на пару туфель. Эта дама без стеснения принимает подарки работниц, ее деликатный носик не ощущает запаха пота и крови, которыми пропитаны все эти вещи. Нарядная, привлекательная, с благородной осанкой, появляется она в обществе, на улице, и никто не назовет ее нищенкой, которая приняла это великолепие в подарок от бедных тружениц. Нет, ей целуют руки, ее называют обворожительной, ее избирают членом дамского благотворительного комитета, где она возвращает нищим несколько сантимов — тех самых сантимов,

которые пожертвовали ей вчера эти, якобы осчастливленные ею, благодарные бедняки.

Лаума довольно много читала, правда без всякого выбора, но благодаря какому-то здоровому инстинкту она не захлебнулась в потоках слащавой чувственности. Едко смеялась она над романтическим дурманом и мистикой. Ей нравились сильные, несгибаемые характеры героев Джека Лондона, мужественные, выносливые женщины — женщины, которые были не менее женственны и нежны, чем дамы, выросшие в салонах, но находили силы и желание шагать по трудному жизненному пути рядом с мужчиной, быть ему опорой и, если потребуется, делить с ним неудачи, не сгибаясь, не падая и не умоляя о пощаде.

Да, у нее было много жизненной энергии, веры в завтрашний день.

Одного только Волдис не мог понять: как эта смелая девушка, которая так самостоятельно рассуждала о жизни, могла дружить с тем сухопарым парнем. Почти каждый день он их видел вместе. Чем мог прельстить ее этот задира, пьяница, драчун, завсегдатай полицейских участков? Волдис не хотел быть нескромным и избегал разговоров на эту тему. Лаума тоже никогда не вспоминала об этом.

Однажды вечером Волдис, как всегда, возвращался с работы вместе с Лаумой, и парень встретил их на полпути к дому. Он вышел встречать Лауму и ждал ее на углу улицы, пожевывая папиросу. Недоверчиво покосившись на Волдиса, он сделал вид, что не замечает его и, подойдя к ним, принялся рассказывать Лауме содержание какого-то ковбойского фильма, который он вчера видел в «Маске»*. Лаума почувствовала неловкость создавшегося положения и заметила, что Волдис намеренно отстает от них на несколько шагов.

— Позвольте вас познакомить! — решилась она, обращаясь к обоим.

Сухопарого звали Альфонс Эзеринь. Волдис сдержанно пожал небрежно протянутую руку и продолжал молчать. Эзеринь был не так уж молод и отслужил свой срок в армии года два тому назад. Курить он начал с десяти лет, с тринадцати стал постоянным потребителем спиртных напитков, а после пятнадцати познакомился с проститутками. В двадцать пять лет он

напоминал худощавого подростка, этот Эзеринь, которому мать при крещении дала испанское имя.

Одно время он увлекался ковбоями, детективными фильмами и романами Уоллеса*. Его идеалом был татуированный моряк, и у него самого татуировка была на самых заметных местах: на верхней части груди, на запястьях, на тыльной стороне ладоней. Он мог курить без перерыва, был знаком со всеми видами дешевых напитков, начиная с «головы мертвеца» и кончая разбавленным и неразбавленным спиртом, раза два он пробовал даже пить денатурат. Он говорил на малопонятном жаргоне, вставляя в каждую фразу несколько русских или немецких слов с латышскими окончаниями. Его друзья были «форсистые ребята», которые не «дрейфили», за каждый малейший пустяк устраивали «вселенскую смазь», пускали в ход кастеты, финки и знали назубок соответствующие статьи уголовного кодекса.

Сейчас ему приходилось подавлять в себе горячее желание «взять на мушку» этого высокого портового рабочего, с которым Лаума его познакомила. Присутствие Лаумы не позволяло ему выложить весь известный ему хулиганский лексикон. Эзеринь стал сдержанным и холодным, временами даже пренебрежительным, разговаривал только с Лаумой, и если Волдис иногда вставлял слово, Эзеринь не обращал на него внимания и продолжал разговор, как будто ничего не слышал.

— Старик сегодня вечером дома? — спросил он, когда они подошли к воротам дома Лаумы.

— Да, эту неделю он работает днем.

— Тогда олрайт! — Эзеринь таинственно усмехнулся и слегка отвернул лацкан пиджака. Волдис увидел в нагрудном кармане его пиджака красную головку четвертушки водки.

Теперь он понял, почему этот человек каждый вечер запросто приходит к Лауме: старый Гулбис ведь не в силах выгнать человека, который пришел с водкой, — такие ребята на дороге не валяются! А всегда недовольной и ворчливой мамаше Гулбис очень приходилась по вкусу плитка шоколаду. Пожилые женщины тоже любят сладкое; они едят шоколад, посасывают сливочные тянучки и называют услужливых молодых людей зятьками. Четвертинка и шоколад! А Лаума?

Прислушиваясь к их разговору, Волдис пытался уловить хоть какое-нибудь слово, которое говорило бы о ее симпатии или, наоборот, равнодушии к Эзериню. Но Лаума больше слушала, изредка задавая вопросы, и ни разу не перебила своего собеседника возгласом удивления или сочувствия.

На следующей неделе Волдис работал на погрузке льна. Пароход принял груз только в трюмы и ушел в море с пустой палубой; погрузка продолжалась всего два дня. И Волдис опять остался на несколько дней без работы.

Каждый вечер он встречал Лауму, но Эзериня больше не дожидался на углу. Однажды Волдис спросил о нем. Лаума, пожав плечами, уклончиво ответила:

— Он что-то вообразил. Он очень мнительный: стоит ему увидеть, что я разговариваю с кем-нибудь, как сразу разобидится и надуется.

— Он больше не является по вечерам?

— Как же! Каждый вечер. Приходит, пьет с отцом водку и рассказывает о себе всякую ерунду: сколько выпил, сколько плотов рассортировал, сколько браковщиков искупал. Всегда он самый догадливый, самый сильный, самый ловкий. Послушаешь его — просто жалко, что человек с таким талантом работает на складе, а не выступает в цирке акробатом или не снимается в трюковых фильмах! Как еще у отца хватает терпения слушать его болтовню! А мать верит всему этому!

— Ты давно с ним знакома?

— Года два. На чьих-то похоронах, где были и мои родители, он оказал матери мелкую услугу — поднял оброненный носовой платок, и с тех пор мать считает его самым благовоспитанным молодым человеком на свете. Она пригласила его, он пришел один раз, другой, а потом стал являться каждый вечер. Но ты не представляешь, какой он скучный. Хоть бы не говорил столько о себе... Ах, не знаю, как я сегодня вечером выдержу!

— Почему?

— Сегодня я остаюсь одна, потому что отец работает в ночную смену, а мать утром уехала в Слоку: вчера пришло письмо, что тетка при смерти. Эзериньш будет тут как тут.

— Но почему ты должна терпеть его нудное общество?

— Нудное? Это бы еще ничего! Невыносимое! Каждый вечер, после того как он вдоволь наболтается, мне приходится провожать его до ворот и еще там разговаривать с ним по крайней мере четверть часа.

— Но почему? Если тебе это неприятно...

— Моя мать не спрашивает, приятно мне или неприятно. «Иди проводи Альфонса!» — говорит она. И попробуй не послушаться! Жизни не рад будешь, целый день она будет шипеть и пыхтеть, как паровоз. Бывает, что мы с Эзеринем поссоримся, он надуется, а мать его уговаривает, ругает меня при нем — и до тех пор умасливает Альфонса, пока он не размякнет и не начнет опять рассказывать о себе. Он всегда прав, а я всегда виновата.

Волдис с недоумением смотрел на девушку. Его тронула эта внезапная откровенность. Нужно быть очень несчастной, чтобы рассказывать о таких вещах малознакомому человеку.

— Пойдем потише, Лаума. Поговорим еще. Не понимаю, как ты, столько читавшая, с твоим ясным и здравым взглядом на жизнь, можешь мириться с таким ненормальным положением. Если он нравится матери, пусть она и заискивает перед ним. А ты делай так, как считаешь нужным.

Лаума грустно улыбнулась и покачала головой.

— В том-то и беда, что я не могу делать по-своему, волей-неволей приходится плясать под дудку матери. Отец — пустое место. Если его угостить водкой, он самого отъявленного негодяя признает честным человеком. Что матери втемяшится в голову, того она и держится. Она часто меняет свое отношение к людям: заденет ее какая-нибудь мелочь — недостаточно любезно поздоровался или не вовремя ответил на какой-нибудь вопрос — руль сразу поворачивается в противоположную сторону: «Не смей с ним разговаривать! — кричит тогда она мне. — Пусть он глаз к нам не показывает! Попробуй только с ним встречаться!» Несколько дней я должна быть холодной, оскорбленной и неразговорчивой — до тех пор, пока Эзеринь не отогреет сердце матери бутылкой яблочного вина и булочками с кремом. «Лаума, где ты пропадаешь?» — кричит тогда она мне. И опять я должна провожать его до ворот и болтать с ним.

— Но, черт возьми, почему ты должна это делать? Пусть мать с ним и носится!

— Она меня выгонит, если я не буду слушаться.

— Пусть! Всю жизнь с ними все равно не проживешь. Или, может быть, тебе жалко расстаться с беззаботной, хорошей жизнью?

— Не смейся, Волдис. Что это за жизнь? Но что я буду делать, если они в самом деле выгонят меня на улицу? Сейчас я получила работу, но надолго ли? Нищенствовать? Или... пойти на улицу?

— А как живут другие девушки? Работают, нанимаются в прислуги...

— Я лучше покончу с собой, чем пойду в прислуги. Никогда, никогда я не сделаю этого, это так противно. Если я работаю на заводе, у меня есть определенный хозяин, и я выполняю определенную работу. А прислуга ухаживает за всей семьей, как домашняя скотина, ею распоряжаются даже дети.

— Чего хотят от тебя родители?

— Ты не понимаешь? Только одного — сосватать меня Эзериню. Я для них тяжелая обуза, которую нужно поскорее спихнуть с плеч, поскорее выдать замуж за кого угодно.

— Это безобразие! А подумала твоя мать о том, что с тем человеком, которому она собирается тебя продать, придется жить тебе, а не ей? Что это за мать, которая так распоряжается судьбой дочери?

— Моя мать не одна такая...

— Что же ты будешь делать? — спросил Волдис Лауму после минутного молчания. — Послушаешься матери и пойдешь за него замуж?

— Я об этом не думала. Расстраиваться еще нечего, ведь у Эзериня все равно нет денег на то, чтобы начать самостоятельную жизнь.

— А если он их накопит? Он ведь готовится к этому, откладывает?

— Эзериньш никогда не накопит. У него ведь деньги не держатся. Обрати на него внимание: ведь у него нет даже приличного костюма. Если иногда ему и удается скопить сотню латов, сразу появляются приятели и помогают их пропить.

— Тебя радуют его неудачи! — усмехнулся Волдис.

— Конечно! — улыбнулась в ответ Лаума. — Но, чтобы успокоить мать, я разыгрываю эту комедию. Если бы ты знал, какой он капризный! Достаточно где-нибудь на вечеринке мне перекинуться с другими несколькими словами, он так разозлится, что весь вечер не будет разговаривать, а на следующий день идет к матери и жалуется на меня.

Волдис остановился. Они уже дошли до улицы Путну.

— Знаешь что, Лаума, уйди на сегодняшний вечер из дому, пусть он подождет у дверей.

— Не знаю... Куда же мне деваться...

— Поедем в кино. В «Сплендиде» * фильм с участием Эмиля Яннингса *.

— С Яннингсом!

— Значит, поехали? Вообрази себе физиономию Эзериня, когда он увидит, что дома нет никого. Подождет, подождет и выйдет на улицу, — но и там не дождется. Он знает, что мать уехала?

— Нет.

— Тогда он подумает, что опять впал в немилость у матери. Так поехали?

— Ну хорошо, поедем.

— Отлично! Только собирайся поскорее, чтобы нам уйти до прихода этого грозного Отелло.

Еще не было шести часов, когда Волдис, переодевшись и поужинав, вышел на улицу. Через четверть часа появилась и Лаума в тонком поношенном пальто. Оба рассмеялись и переглянулись, как дети, собирающиеся нашалить.

— Пойдем скорее! — торопила девушка.

Ожидая начала сеанса, они почти час прогуливались по прилегающим к центру улицам. Весь день стоял туман, а к вечеру он стал еще плотнее. Люди, гуляющие по бульвару, казались призраками, скользящими навстречу друг другу, невозможно было разглядеть даже лицо. Все окутала белесая мгла, которую не могли рассеять уличные фонари. В тумане перекликались почти невидимые автомобили и проплывали трамваи, похожие на громадные катафалки. Люди кашляли от влажного воздуха.

Фильм оказался увлекательным. Яннингс!.. Это имя говорило само за себя.

Взволнованные виденным, Лаума и Волдис молча ехали домой. Лаума нахмурилась. Волдис взял в свои руки ее огрубевшие от работы пальцы.

Что скажет мать? Рано или поздно, она все равно узнает. Лаума задумчиво покачивала головой. О, она все-таки поступила слишком опрометчиво. Человек ждал ее весь вечер, может, ждет до сих пор...

У ворот стоял Альфонс Эзеринь. Когда Волдис на прощанье подал Лауме руку, он не разглядел Эзериня, притаившегося в темноте. Лаума первая заметила его; она вздрогнула и вопросительно взглянула на Эзериня. Теперь и Волдис увидел его.

— Добрый вечер! — сдержанно приветствовал он Эзериня.

Тот сделал вид, что не слышит. Он был навеселе, но держался на ногах довольно твердо.

— Я сказал: добрый вечер! — повторил Волдис.

И на этот раз Эзеринь притворился глухим и, не обращая внимания на Волдиса, обратился к Лауме, цинично усмехаясь:

— Ты знаешь, что делать в свободное время, — сказал он язвительно, — пока дома никого нет... Ну да, в Риге есть куда пойти...

Лаума молчала. Волдис не уходил, ожидая, что будет дальше. Некоторое время царило неловкое молчание. Вдруг Эзеринь резко повернулся в сторону Волдиса и скрипнул зубами.

— Чего вы здесь стоите? Что вам надо?

— Я прощаюсь со своей знакомой, — спокойно ответил Волдис. — А зачем вы здесь стоите? Что вам здесь нужно?

Эзеринь подпрыгнул, как молодой петух, подошел к Волдису, насмешливо оглядел его с головы до ног, потом неожиданным движением выдернул у Волдиса галстук.

Волдис сжал кулаки и едва сдержался, чтобы не ударить наглеца. Эзериню только того и надо было.

— Что, паразит, боишься? А ну, давай выходи, ты, шляпа! — Удивительно, откуда в нем бралось столько наглости!

Волдис двинулся ему навстречу. Его душила злоба.

— Замолчи, гнида! — тихо сказал он. — Ни слова больше!

— Не бей его, Волдис! — умоляла девушка и схватила сжатый кулак Волдиса. — Не обращай внимания на то, что он говорит. Уходи! И ты, Альфонс, тоже уходи.

— Ты эту девчонку оставь в покое! — крикнул Эзеринь. — Чтобы я больше не видел тебя с ней!

«Вот она какая! — с огорчением подумал Волдис. — Все-таки жалеет своего поклонника».

— Ну ладно, ладно, — сказал он и собирался уже уйти, но Эзеринь опять загородил ему дорогу.

— Ты ей кто? — вспылил Волдис. — Отец или муж?

— Не твое дело.

— Дай пройти, не прыгай, как воробей.

— Волдис, не бей его! — закричала опять Лаума, когда Эзеринь дал оплеуху Волдису.

Но Волдис уже не мог сдержаться и бросился вперед. В его руках барахталось живое тело, он ощущал временами короткие резкие удары ногами, кулаками, но боли не чувствовал. Его рука поднималась и опускалась, поднималась и опускалась, каждый раз натыкаясь на что-то гладкое, теплое, твердое. Потом вдруг Эзеринь упал, скорчился и так закатил глаза, что даже в темноте были видны белки, затем застонал, захрипел. На губах показалась кровавая пена.

— Что это с ним? — Волдис испуганно повернулся к девушке.

— У него падучая. Поэтому я и предупреждала тебя, чтобы ты не бил его. Это с ним всегда случается, когда его бьют.

Волдис оглянулся вокруг, ища какой-нибудь сучок или щепку, но, не найдя ничего, вытащил из кармана карандаш с надетым на него металлическим наконечником. Опустившись на колени, он с трудом разжал им крепко стиснутые зубы эпилептика.

— Где он живет? — спросил Волдис.

— Довольно далеко.

— Здесь его оставлять нельзя. Покажи мне дорогу.

Волдис поднял на руки скорчившееся в припадке тело и понес. Лаума шла рядом. В продолжение всего пути они почти не разговаривали. Несколько раз Волдис останавливался, клал Эзериня на землю и отдыхал.

Возле своего дома Эзеринь пришел в сознание. Изнуренный и обессиленный, он выскользнул из рук Волдиса

и хотел идти дальше один, но, пройдя несколько шагов, зашатался и снова упал на руки Волдису. Они прошли во двор, поднялись по лестнице. Эзеринь, как больной ребенок, доверчиво склонил голову на плечо Волдиса. Он, вероятно, забыл обо всем. Лаума позвонила. Кто-то довольно долго возился с ключом, затем дверь открылась, и навстречу им вышла маленькая, сухонькая старушка — мать Эзериня.

— Мы нашли его на улице, — сказал Волдис.

Но старушка не стала слушать его объяснений.

— Сынок, сынок, что это с тобой опять случилось?! — кинулась она к Эзериню. Она гладила, обнимала его, а потом бережно повела в комнату и больше не вышла.

Волдис закрыл дверь.

— Пойдем, она теперь справится...

— Да, она к этому привыкла. Ведь это не впервые.

И опять всю дорогу это тягостное молчание. Молча они простились и разошлись по домам. Вся радость этого вечера улетучилась. В воротах Волдис обернулся, чтобы взглянуть на Лауму, но ее уже не было.

Сонная, недовольная Андерсониете впустила Волдиса.

— Какая-то барышня вас искала.

Какая барышня? Милия? Кто же, кроме нее, станет его разыскивать.

— Просила напомнить вам, чтобы не забыли прийти в воскресенье.

— Ах да, знаю. Благодарю вас.

Да, послезавтра его будут ждать. Зачем она опять приходила? Напомнить? Не надеялась на его память? Или, может, он сам ей нужен?

Только войдя в комнату и засветив лампу, Волдис заметил, что его правая рука ободрана, на ней запеклась кровь. Он перевязал руку и уселся за стол. Так он просидел всю ночь, думая тяжелую нескончаемую думу... о девушке, которую пытались продать за бутылку водки и горсть конфет.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Шел снег. В воздухе мелькали крупные слипшиеся, мокрые хлопья, похожие на комки грязной ваты. Было безветренно, и сырой холодный туман бессильно повис над улицами и площадями.

Волдис сидел за столом и глядел в окно. Цепная собака во дворе сердито отряхнула мокрый снег и полезла в конуру. По тротуару спешила женщина с кувшином молока; она вышла на улицу без чулок, и тающий снег крупными каплями стекал по голым ногам. Скверная сегодня погода, ненастная и холодная.

В углу у затопленной печурки сушились дырявые носки и пара перчаток, распространявшие неприятный запах мокрой шерсти. Декабрь. Два раза выпадал снег, но на второй день он уже таял. И сегодня будет то же самое?

Волдис встал и принялся ходить по комнате. Подошел к печке, поворошил дрова. Долго смотрел он в одну точку, силился думать, сосредоточить внимание на чем-нибудь определенном, но мысли разбегались, бесцельные, серые, поверхностные.

Вот уже две недели, как он не работал. Каждый день с утра отправлялся в порт, обходил все пароходы, торопливо возвращался в город и до самых сумерек дрог у дверей конторы, выпрашивая и разыскивая работу, и, ничего не добившись, усталый, возвращался вечером домой. Самая тяжелая работа не утомляла его так, и никогда он не чувствовал себя таким разбитым, как в эти дни безработицы.

В порту наступило затишье. Пароходы приходили с углем, выгружали его и спешили в Финляндию, чтобы успеть до наступления зимних холодов вывезти грузы из замерзающих северных портов. Там торопились, там платили высший фрахт и судовладельцы совершали выгодные сделки. А в Риге росла безработица, рабочие проедали свои скудные сбережения и с тревогой смотрели в будущее.

Порт приходилось навещать ежедневно, независимо от того, были виды на получение работы или нет; третьего дня Волдис не пошел, просидел весь день дома над книгами и упустил пароход: именно в этот день пришло шведское моторное судно и набирали рабочих. Карл получил работу на этом судне. Огорченный неудачей, Волдис собирался махнуть рукой на поиски работы и выждать, когда настанут лучшие времена. У него еще оставалось немного денег, возможно, что их хватит до наступления холодов. Когда северные порты замерзнут, навигация в Риге оживится. Но на душе все же было

неспокойно, и он каждое утро вместе с рабочими снова шел в порт.

Вечерами лампа на столе Волдиса никогда не гасла раньше полуночи. От умственного напряжения он чувствовал себя очень утомленным. Сквозь летний загар начинала проглядывать желтизна. Кое-кто из товарищей уже спрашивал, здоров ли он. Но он не был болен.

Волдису вспоминался день рождения у Риекстыней. Туда пришли две девушки, молодые учительницы, подруги Милии по школе. Они курили, сами просили подливать им вина, не уклонялись от объятий мужчин и вели себя неизмеримо смелее и настойчивее, чем девушки-работницы, которые привыкли ежедневно выслушивать разные непристойности.

Милия проводила Волдиса до калитки.

— Приходи ко мне как-нибудь... или я приду к тебе, — сказала она ему и потребовала, чтобы он ее поцеловал.

И он, не желая обидеть женщину, поцеловал ее.

Спустя несколько дней Милия пришла к нему. Через неделю явилась опять.

— Так лучше, — сказала она. — Хорошо, что ты не приходишь ко мне. Здесь спокойнее, и никто не будет знать про наши встречи.

Она оставалась у Волдиса несколько часов, потом он ее провожал до трамвая. Он не был влюблен в нее, но по вечерам чувствовал себя без нее одиноким.

Волдис не нес никакой ответственности. Никакие юридические и моральные законы не запрещали ему эту близость. И все же, несмотря на все доводы, которые он приводил в свое оправдание, временами его охватывало чувство какой-то вины.

В минуты раскаяния Волдис пытался найти какой-нибудь выход, освободиться от этого мучительного чувства. Он не считал себя виноватым, но Карл... Как Волдис его обманывал! Какой сетью лжи он опутал своего единственного друга! Он хотел поговорить с Карлом, рассказать ему все, но как только пытался начать разговор о Милии, Карл сразу превращался в мечтателя и превозносил любимую женщину, как хвастливый ребенок. У Волдиса не хватало мужества разрушить эти иллюзии; измученный и подавлен-

ный, он замолкал, предоставляя Карлу витать в наивных мечтах.

Он не понимал, что хирург не должен обращать внимания на боль, испытываемую пациентом, когда вырезает больной орган, чтобы спасти человека. Оберегая больного от боли, нельзя вылечить болезнь. Но Волдис не только оберегал Карла. Он ведь сам был виновником. Какими глазами Карл после этого будет смотреть на него? Надо было сказать об этом с самого начала, а теперь уже поздно — зло укоренилось. Человек имеет свойство любить других, никогда не забывая любить самого себя. Умник частенько сам делает глупости, не переставая все же поучать окружающих...

Положение в порту с каждым днем ухудшалось. Наступили холода, замерзли северные гавани, сковало и Рижский залив. Осиротел берег Экспортной гавани. Два-три рейсовых парохода еженедельно кое-как пробирались в гавань, изредка появлялось какое-нибудь случайное судно. Гавань, где еще недавно царили оживление, лихорадочная деятельность и суета, сейчас казалась вымершей. Грустно становилось при виде пароходов, на которых еще гремели лебедки. Казалось, наступило воскресенье — длинное, бесконечное воскресенье, и этот изредка раздающийся шум кощунственно нарушал его покой.

Волдис каждое утро ходил в порт. Набережная кишела людьми — все они искали работу. В порту стали появляться чужие, незнакомые лица. Летом эти люди были сплавщиками, работали на лесопильных заводах, на стройках, рыбачили. С окончанием сезонных работ весь этот легион безработных хлынул в порт, где еще могла подвернуться какая-нибудь работа. Постоянные портовые рабочие косились на непрошеных конкурентов, форманы тоже не упускали случая излить на них желчь.

— Где вы были летом? — ехидно спрашивали они, когда безработные становились уж слишком назойливыми. — Куда я вас суну, у меня своих людей, которые работали здесь все лето, девать некуда. Что мне с ними делать? Впрок солить?

После такого отпора безработные стали сдержаннее, они уж не так смело подходили к форману. Конфузливо старались они присоединиться к постоянным портовым

рабочим, следили за каждым их шагом, как тени бродили за ними по пятам.

Однажды утром Волдис встретил в порту Карла. Они не виделись с неделю, потому что Карл все это время работал на пароходе в Кипсале.

— Не надо выпускать из вида стивидора Рунциса, — сказал Карл, отводя Волдиса в сторону. — Он на этой неделе ожидает три парохода.

— Кто тебе сказал? Я вчера слышал, как Рунцис говорил, что ничего не ожидает.

— Он так всегда говорит, чтобы отделаться.

— А как же ты узнал?

— Из газет. «Латвияс саргс»* извещает об ожидаемых пароходах за целую неделю вперед. Да и от лоцманов можно это узнать, надо только уметь подойти к ним.

Если двое отошли в сторонку и о чем-то шепчутся, значит у них есть секреты. Незаметно, будто прогуливаясь, мимо них проходил то один, то другой, прислушивался к их разговору. Как бы между прочим, случайно, безработные ходили следом за обоими приятелями, останавливаясь там, где останавливались они, поднимаясь вслед за ними на пароходы. Друзья ни шагу не могли сделать без провожатых.

Многие из дрожавших здесь и прыгавших с ноги на ногу, чтобы согреться, были без работы уже целый месяц, а некоторые и больше. Они по уши завязли в долгах у лавочников, и им никто больше не отпускал в кредит. Если они теперь не получат работу, им придется затянуть пояс еще туже или воровать. Они стали раздражительными, нервными и думали только об одном. Не торопясь, как профессиональные бездельники, прохаживались они около элеваторов в ожидании момента, когда на переезде покажется знакомая упряжка.

Волдис тоже невольно испытывал чувство зависти, глядя на счастливчиков, которые работали. Они могли по крайней мере не заботиться о сегодняшнем дне, через каждые два дня они получали девять латов аванса. У Волдиса осталось не больше двадцати латов. Скоро придется платить Андерсониете. Только теперь он в полной мере понял значение слова «забота», понял бессилие человека без постоянного заработка и зависимость его от случайностей. Любой, самый мелкий, ничтожный



служащий, получающий за свою работу какие-нибудь гроши, был в десятки раз счастливее его.

Он знал, что может и чего не может себе позволить, и целый год спокойно занимался своими делами, не зная мучительной тревоги за будущее, чувства безысходности.

Да, безысходность! И не по его вине. Волдис, так же как и все эти оборванные люди, хотел работать. Он по первому зову, не жалея себя, впрягся бы в самую тяжелую лямку, мерз, потел, ушибался, — только бы избавиться от ярма безработицы, в десять раз более тягостного, чем самая тяжелая работа. Безработный — это отверженный, лишний, ненужный человек. Ему предстоит погибнуть в полном сознании, с широко открытыми глазами, постепенно пережить и перечувствовать во всех подробностях ужасы надвигающейся нужды. Все они переживали это много раз. Они понимали, что значит такое состояние, когда человек готов на все, когда ему нечего терять. Такой человек не помнит о своих правах, забывает свое достоинство. Он готов продаться за кусок хлеба, он готов терпеть любые насмешки, любые издевательства, только бы избежать голода хотя бы сегодня. А если он этого не может перенести, тогда или ищет подходящую веревку, чтобы повеситься, или идет на большую дорогу встречать запоздалых одиноких прохожих.

Послышался звон бубенцов. Костлявая кляча, пытаясь изобразить бойкую рысь, уныло тащила сани, в которых развалился стивидор. У первого парохода он вышел из саней и поднялся на палубу.

Из-под всех навесов и щелей вылезали люди. Медленно, не торопясь, они направлялись к кораблю. Собралась целая толпа. Перешептываясь, они окружили сходни и, не спуская глаз, глядели на плотного немолодого человека, отсчитывающего форману деньги для выплаты аванса и выслушивающего сообщение о ходе работ.

— Пойдем наверх, поговорим.

— Нет, лучше подождем здесь, внизу.

— Тогда будет поздно. Как только он спустится, — сразу в сани, и будьте здоровы! И рта не успеешь открыть.

— Станем на дороге — лошадь на нас не пойдет.

Другие уговаривали извозчика:

— Когда хозяин усядется, ты трогай лошадь не сразу. Урони кнут или сделай вид, что запутались вожжи, пока мы не поговорим с ним.

— Не знаю, удастся ли...

— А ты попробуй.

Через четверть часа стивидор кончил свои дела. Увидев толпу, он повернулся к ней спиной и закурил сигару. Он до последнего слова знал все, о чем его будут просить. Положение создавалось неудобное, надо обдумать, как держаться: отмолчаться, или огрызнуться, не пускаясь в дальнейшие разговоры, или отделаться соленой шуткой? И нужно было спешить — в порту ожидали еще два парохода. Стивидор сделал мрачное, непроницаемое лицо и торопливо стал спускаться по трапу. Но этот маневр не помог. При его приближении почтительно приподнялось около полусотни шапок и раздался гул робких приветствий. И тотчас толпа выдвинула вперед несколько человек, более смелых, умеющих разговаривать с хозяевами.

— Господин Рунцис, разрешите вас спросить! — решительно начал один из вожаков.

— Ну, в чем дело? — отрывисто бросил стивидор, направляясь к извозчику.

Стивидор спешил скорее сесть в сани. Вожаки остались позади, и когда один из них очутился лицом к лицу со стивидором, тот уже закрывал ноги полостью, толкал извозчика в спину, чтобы трогал. Но у извозчика, как назло, выпал из рук кнут.

— Господин Рунцис, вы ожидаете прибытия пароходов, не могли бы вы поручить нам погрузку? — спросил вожак торопливо, вцепившись обеими руками в сани.

Но кучер уже поднял кнут, и лошадь тронулась. Рунцис только махнул рукой, обернулся и крикнул:

— Идите к другим. Что вы обращаетесь только ко мне? Разве у меня одного прибывают пароходы? Мне хватит своих рабочих.

— Разве только они одни хотят есть? — крикнул кто-то в толпе, но сани были уже далеко. Люди пошумели и... двинулись вслед. У следующего парохода они опять окружили сходни, ожидая стивидора, и повторили наступление. Пока хозяин разговаривал со штурманом и грузоотправителем, они благоразумно держались

в сторонке, не мешая проделывать все те несложные, общеизвестные формальности, за выполнение которых стивидор и получал солидное вознаграждение. Но как только он спустился вниз, ему не дали проходу.

Теперь вопросы посыпались со всех сторон. Некоторые, потеряв всякую надежду, начинали дерзить, осыпали Рунциса упреками и насмешками. Стивидор принял непроницаемый вид: ничего он не знает ни о каких судах, где только люди набираются таких сплетен.

Карл не вытерпел, протиснулся вперед и выкрикнул, еле сдерживаясь от смеха:

— Разве «Латвияс саргс» врет?

Стивидор побагровел, как свекла, бросился к саням, не сказав больше ни слова. Вот они, теперешние рабочие! Они скоро будут ходить на биржу и собирать там разные сведения.

Атаку повторили и у третьего парохода, но стивидор упорно отмалчивался.

Однако терпение рабочих не имело границ. Что из того, если несколько дней придется пошататься по набережной! На ремне много запасных дырочек, подтянем пояс потуже.

Кончив очередное утреннее дежурство, рабочие двинулись в город, чтобы продолжать осаду контор стивидоров.

— Знаешь, Волдис, мы так долго не выдержим! — пытался шутить Карл. — Нас вши заедят. Надо куда-нибудь в другое место сунуться.

— На лесной склад, на выгрузку вагонов?

— Вряд ли там что-нибудь получится. Там тоже много таких, что только этим и живут круглый год.

— Дурацкое положение! Я скоро буду полным банкротом.

— Ты думаешь, у меня дела лучше?

— Запишемся в безработные.

— Мало радости. Попытаться можно, но пока подойдет наша очередь получить работу — наступит весна.

* * *

Биржа безработных была полна, как улей, и полицейскому хватало дела; он, не останавливаясь, шагал из конца в конец по коридору.

— Не стойте в коридоре! — накидывался он на безработных. — Ступайте в зал ожидания; сидите и ждите, когда вас позовут.

Этот неуютный дом был настоящей выставкой нищеты. Пасталы, туфли, громыхающие «танки» на деревянных подошвах и калоши, ветхие заячьи треухи, замусоленные кепки и шляпы. Молчаливые и болтуны, мрачные нелюдимы и голосистые говоруны наполняли зал ожидания.

Не зная здешних порядков, Карл с Волдисом присоединились к толпе ожидающих. Воздух был синий от табачного дыма, лица людей, стоящих поодаль, расплывались, как в тумане. Все помещение гудело, жужжало, смеялось, кричало, бурлило. Внезапно все стихло. Вышел молодой человек в синем кителе и начал выкрикивать фамилии.

Троих направили в Саркандаугаву на дорожные работы, семерых — ровнять дюны к Даугавгривской крепости *, четверых — на очистку улиц.

Вызванные откликнулись. Чиновник ушел, сказав, чтобы они явились в канцелярию.

Друзья некоторое время наблюдали за безработными. Многие из них только на короткое время появлялись на бирже труда, в ожидании конца кризиса, но было много и таких неудачников, для которых рынок труда не улучшался и летом, в самый разгар сезона, — это те, что не имели профессии и вынуждены были всю жизнь пробавляться случайным заработком.

В конце коридора стояли женщины; большая часть их приходила с лесопильных заводов, закрывавшихся на эти месяцы. Волдис вспомнил Лауму: неужели и ей придется познакомиться с этим мрачным домом и томиться в нем неделями в ожидании куска хлеба?

— Долго приходится ждать, пока подвернется работа? — спросил Волдис у какого-то пожилого человека.

— Да не меньше месяца. А кто же это выдержит — потолкается-потолкается, подыщет где-нибудь работу и уходит. Если ничего не подвернется, придется ожидать здесь. Я больше ждать не могу.

— У вас, наверно, есть что-нибудь на примете, тогда дело другое.

— Нынешней зимой в лесу работы хватит. Надо ехать. Никому только неохота уезжать из города. Да

и не у каждого найдется подходящая одежда и нужный инструмент.

Друзья переглянулись и отошли в сторону.

— Волдис, чего мы будем здесь киснуть? Лучше соберемся с духом да поедем в лес. По крайней мере на пропитание заработаем.

Волдис задумался. Уехать из города — значит прервать все, что он затеял: книги, лекции... Но что делать! Все равно когда-нибудь нужда заставит бросить.

— Тогда надо подумать об инструменте. У тебя есть пила и топор?

— Нет. Это можно купить. Нам нельзя долго задерживаться, потому что, если мы проживем последний сантим, нам не на что будет выехать. А киснуть здесь, право, нечего.

— Значит, регистрироваться не будем?

— Нет смысла.

— Так и быть! — Волдис хлопнул Карла по плечу. Новое решение наполнило его энергией, и вместе с ней вернулась жизнерадостность, совсем было покинувшая его в последнее время.

— Чего нам, двум холостякам, горевать! — говорил Карл. — Сколько заработаем, тем и обойдемся. По крайней мере будем сыты и как-нибудь дождемся весны.

— Надолго мы поедем?

— Надолго ли? Как понравится. Кто нас может удержать? Набьем полный кошелек и вернемся домой.

Будущие лесорубы весь день ходили по лесопромышленным конторам. Они купили номер газеты «Яунакас зиняс», прочитали объявления и обошли все адреса, где требовались рабочие. Но везде их опережали латгальцы* — они были настоящие лесорубы и до тонкостей знали условия работы во всех лесах Латвии. Они только поглаживали пышные бороды, когда лесоторговцы называли им свои цены. Их нельзя было провести.

В одном месте требовались лесорубы в отъезд на север, в Видземе. Там обещали приличную сдельную оплату, жилье, обеспечивали подвоз продуктов. Только... расходы на проезд обещали возместить через месяц работы. Латгальцы уже были осведомлены о том, что там ни черта нет: лес плохой, продукты дороги, а квартиры очень далеки от лесосеки. Контора заинтересована в том, чтобы заманить туда людей,

а там уж волей-неволей придется отработать положенный срок.

— Ну их к дьяволу! — отплевывались латгальцы. — Пойдем лучше на станцию. Там потолкуем с браковщиками.

Наши друзья, не найдя ничего определенного, прекратили поиски.

— Лучше сделаем, как латгальцы, — сказал Карл. — Пойдем с утра на станцию и уедем. А там где-нибудь найдем работу.

— Но тогда нам надо собрать вещи.

— Конечно.

Купив у Попова хорошую пилу, марки «И-К», два топора и пару напильников, они обнаружили порядочную брешь в своем скромном бюджете.

Потом друзья пошли на набережную, запаслись на рынке продуктами — копченой свининой, несколькими караваями хлеба, сахаром, салом. Теперь у каждого оставалось всего несколько латов.

— Вот видишь? — сказал Карл. — Если бы мы подождали еще несколько дней, вообще никуда бы не уехали. Что у нас осталось? Еле хватит на проезд.

Уговорившись встретиться утром на станции, они расстались.

Вечером Волдис уложил в мешок продукты, две смены белья, носки, рукавицы, топор, потом собрал все тетради, бумаги и книги, запер в коричневый сундучок и поставил его под кровать. После этого зашел к Андерсониете и поделился с ней своими планами.

— Пусть комната останется за мной, сколько бы времени я ни пробыл в отъезде. Если застряну надолго, напишу и, когда вернусь, заплачу за все время.

Андерсониете ничего не имела против. Она пообещала никому не сдавать комнату Волдиса, тем более что в качестве залога оставался выходной костюм жильца.

Волдисом в этот вечер овладела какая-то непонятная грусть. Было жалко расставаться с городом. Предстоящее путешествие пугало своей неопределенностью. Все опять обрывалось. Надолго ли? Кто мог знать... Милия не приходила целую неделю. Карл сообщит ей сегодня эту новость. Лаума... Волдис с удовольствием поговорил бы с ней сегодня, но было уже поздно, да может, это и к лучшему.

Проклятый пятиэтажный город! Жадная мачеха, выгоняющая своих пасынков в зимнюю стужу на улицу, чтобы они создавали ценности для нее и для тех счастливчиков, которые попали в число ее любимцев... Жадный, жадный город!..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

На следующее утро друзья уехали из Риги. Их надежда встретить на вокзале браковщиков не оправдалась, так как была среда, а браковщики выезжали на место работы по понедельникам. На вокзале, как всегда, толпились латгальцы, с топорами, пилами, специальными топорами-шпалотесами и дорожными котомками. Круглый год они странствовали из одного конца Латвии в другой в вечных поисках работы. Где только они не были! Чего только не испытали!

Уверенные в том, что латгальцы знают хорошие лесные участки, друзья обратились к ним за советом. Те охотно пускались в разговоры, но, к несчастью, говорили все разом, стараясь перекричать один другого и блеснуть своей осведомленностью. Один советовал податься в Тауркалне. Другой высмеивал его и предлагал поехать в гулбенские леса. Третий расхваливал близлежащие лесосеки: Инчукалнс, Ропажи, Аллажи, Огре. Все эти места были хороши и одновременно плохи. Так и не поняв ничего, друзья решили отправиться в Олайне, поближе к Риге. В случае неудачи оттуда легче возвратиться в город.

Когда поезд шел по мосту, Волдису стало грустно. Он смотрел в окно на Даугаву, на белый штеттинский рейсовый пароход «Нордланд», причаливавший к таможне, и позавидовал счастливчикам, которые будут работать на разгрузке этого парохода: они могли остаться на насиженных местах, ничто не нарушит их налаженный, привычный и потому милый сердцу жизненный распорядок.

В Олайне приехали около полудня. Сойдя с поезда, друзья стали в полном неведении бродить вокруг станции. К путям были подвезены бревна и дрова. На ужасной дороге выбивались из последних сил заиндевелые лохматые крестьянские лошаденки, пытаясь

стронуть с места возы. Возчики понукали своих кляч, бранили и били кнутами до тех пор, пока кнуты не ломались. Друзья подошли к подводам.

— Лесорубы? У нас полные леса лесорубов — одни уходят, другие приходят. Как платят? Как где. Все углы кишат рижанами и латгальцами. Ничего нельзя заработать — два-три лата в день. Очень плохой лес, одни сучья. Нет, туда не стоит ходить. Двенадцать верст от станции. Лучше поискать что-нибудь здесь, поближе.

Крестьяне указали на небольшой лес у края полотна. Там тоже идут заготовки леса.

Приятели направились туда. Пришлось пройти около двух километров по железной дороге. Уже издали был слышен стук топоров и шум падающих деревьев. Пять или шесть пар лесорубов — каждая пара по отдельности — жгли костры, складывали дрова в поленницы, обрубали сучья на поваленных деревьях, дымя трубками с самосадом, запах которого уже на расстоянии бил в нос. У всех на ногах были пасталы, на руках — варежки, обшитые плотными тряпками; все носили теплые заячьи треухи.

Это были настоящие лесорубы — с обветренными лицами, обледеневшими усами, оборванные и закопченные. Разговорившись с друзьями, они сразу выплакали все свои обиды, накопившиеся на сердце...

Плохой лес. Платят за кубический фут, а бревна такие тонкие, что ничего не заработаешь. Живут в каком-то старом заброшенном домишке с испорченным дымоходом, нет тяги; комната всегда полна дыма и холода. Браковщик — настоящий цепной пес: так и норовит урвать при приемке с каждого бревна по дюйму в поперечнике и по футу в длину. Скоро этот квартал будет вырублен, и новых лесорубов, вероятно, сюда нанимать не станут.

Друзья пришли в уныние. Везде они слышали только стоны и жалобы. Два, три, самое большое четыре лата в день. Нет, здесь и на пропитание не заработаешь! Они вышли на шоссе и принялись обсуждать, что им делать. То тут, то там по дальним опушкам леса горели костры лесорубов, раздавались треск падающих деревьев, крики людей. Везде кипела работа. За два-три лата в день, со скрежетом зубовным, с проклятиями трудились люди.

— Веселенькое дело! — Карл задумчиво покачивал головой. — Поди попытайся найти работу по этим лесным трущобам. Самые лучшие участки уже заняты. Если нас и возьмут, то отведут место, где растут одни розги, или на каком-нибудь заброшенном пастбище. Так и лата в день не заработаешь.

— Попытаемся еще порасспросить, может, кто-нибудь знает места получше.

Весь день они бродили от одной лесосеки к другой, но везде встречали одни жалобы и ругань. Да здесь и лесов-то настоящих не было. Чтобы получить деньги и увеличить площадь своих полей, новохозяева продавали рощи — жидкие еловые лесочки площадью не больше полугектара.

— Нам нужно двинуться в казенные леса, где работа ведется в широких масштабах, — сказал Волдис, когда они под вечер покинули последнюю лесосеку.

— Поди знай, где они, — проворчал Карл. — От этих людей мы толку не добьемся: они или не знают, или не хотят говорить.

— Что нам предпринять? Здесь задерживаться не имеет смысла. Ехать обратно в Ригу?

— Ни в коем случае. Перед отъездом я всем сказал, чтобы раньше весны меня не ждали. Если мы теперь вернемся, засмеют.

Они уныло тащились к станции, утомившись больше, чем после тяжелого трудового дня.

— Знаешь что? — сказал Волдис таким голосом, будто он нашел выход.

— Ну?

— Вернемся обратно в Ригу, но домой не покажемся. Попытаемся найти на станции какого-нибудь подрядчика, а если не удастся — поедем в другом направлении.

— Я тоже так думаю. А где мы переночуем?

— Поедем завтра. Переночуем здесь, поищем где-нибудь ночлег.

Быстро надвигался вечер. В глубокой темноте они подошли к новому некрашеному двухэтажному дому. У изгороди стояло несколько привязанных лошадей. Это была лавка и вместе с тем чайная. Они вошли и заказали себе чаю. Кроме них здесь было несколько возчиков, завернувших сюда погреться и поужинать, пе-

ред тем как ехать обратно в лес. Хозяин, щуплый на вид человек, подавал кушанья, разносил чай, неловко возился с посудой, улыбаясь каждому посетителю и не особенно торопясь. Хозяйка, вдвое солиднее его, важная, как откормленная утка, сидела за прилавком, отпуская посетителям папиросы, спички и охотничью колбасу.

— Холодно сегодня! — говорила она каждому, входившему в чайную.

— Да, холодно! — отвечали ей.

Пока друзья уплетали свои бутерброды и согревались чаем, в чайную несколько раз заходила упитанная, широкоплечая девица, принося и унося что-то и перекидываясь словечком-другим с хозяйкой.

— Ваша сестра торгует теперь в лавке? — спросил кто-то из возчиков хозяйку.

— Да, я сама не могу торговать в двух местах. Пока здесь работают лесорубы, одной постоянно приходится быть в лавке.

Кто-то из лесорубов, вероятно, желая кутнуть, заказал жареную охотничью колбасу и сладкое. Ему подали все сразу, добавив несколько ломтей хлеба. Карл подтолкнул локтем Волдиса, и они, развеселившись, стали наблюдать, как лесоруб ел колбасу с кисло-сладким хлебом и запивал компотом.

Поев, они осведомились о ночлеге. Хозяйка, переглянувшись с мужем, заявила, что они иногда пускают переночевать.

Да, она была радушной, эта дородная женщина, весившая раза в два больше мужа. Когда сестра заперла лавку, она велела ей постелить обоим рижанам в кухне, а сама не уходила, желая узнать какие-нибудь подробности о молодых людях. Муж тоже принял участие в разговоре. Они говорили по очереди, и всегда муж оказывался глупее жены и ни разу не пытался возразить ей. Они уже достигли известного достатка: им принадлежал двухэтажный дом, лавка у самого шоссе и участок земли. Хозяин подавал чай, хозяйка сидела за прилавком, а латгалец-батрак возил хворост, рубил дрова и кормил скотину. Его поднимали в три часа ночи, а спать разрешали ложиться после девяти, — ведь он был батраком, да к тому же латгальцем. Его кормили и еще платили двадцать латов в месяц, — разве этого мало?

Так жили в этом благополучном доме, где Волдису с Карлом пришлось провести первую ночь после отъезда из Риги.

Возможно, хозяйке давно не доводилось говорить с молодыми людьми, или, может, она считала своим долгом занимать их, но, как бы то ни было, толстуха несколько раз заходила в кухню и, остановившись в дверях, разговаривала с Карлом и Волдисом.

— Не спортсмены ли вы? — удивил их неожиданный вопрос.

. Ну конечно, в Риге все по последней моде, там много всяких обществ. У них здесь, в Олайне... Тут стало понятно, почему она завела разговор о спорте: прошлым летом здесь организовали спортивный кружок. Сестра ее тоже спортсменка. Летом устраивали соревнования по бегу, прыжкам и разным играм. Ее сестра принимала участие в беге и прыжках...

После этого разговора приятели давились от смеха, представляя себе сестру хозяйки — эту широкоплечую особу, весившую не менее ста килограммов, — в спортивном костюме, бегущей на стометровую дистанцию и прыгающей в высоту с разбега.

Ох, эти деревенские девицы! Какое у них завидное здоровье и как мало потребностей! Такую жену легко прокормить, гораздо легче, чем городскую. У всех у них сундуки полны всякого добра, некоторые получают в приданое даже корову. Правда, все они немного простоваты. Но разве это так уж плохо? Карл не думал об этом: его девушка, Милия из Задвинья, была городская. А если Волдис и размышлял об этом, то только потому, что ему не хотелось еще спать и нужно было чем-нибудь отвлечься, чтобы не думать о бесцельно проведённом дне, о неприглядном будущем и о кошельке, в котором оставалось всего несколько мелких монет.

Утром они возвратились в Ригу.

Браковщиков леса им встретить не удалось. Проходил час за часом, наступил полдень, а на вокзале не появлялся ни один нужный человек. Наконец в зал ожидания ввалилась большая толпа латгальцев. Их сопровождал бородатый еврей. Волдис подошел к нему и разговорился. Да, ему требуются лесорубы, десять-пятнадцать пар. Он оплачивает проезд туда, а если проработают две недели, то и обратно. Это недалеко, в со-

рока километрах от Риги. Очень хороший лес. Надо пилить бревна, крепежный лес, кругляки и дрова. Платят по два сантима за кубический фут, четыре сантима за штуку крепежного баланса и десять латов за кубическую сажень дров.

Через час, в сопровождении еврея, они уехали в лес с большой партией латгальцев. Сойдя на маленьком полустанке, отправились пешком. Латгальцы заворчали, что нет подводы для вещей. Сопровождающий вначале делал вид, что не замечает недовольства рабочих, подбадривал их и торопил, говоря, что это не так далеко — всего лишь около двух километров. Пройдя эти два километра, он опять сказал, что осталось только несколько километров. Тогда латгальцы уселись на краю дороги и заявили, что дальше не пойдут.

Целый час проводник бегал как угорелый по ближайшим усадьбам в поисках подводы. Но крестьяне только отмахивались от него: он предлагал слишком низкую плату. Наконец ему удалось уговорить какую-то бобылку, жившую одиноко в крохотном домике; у нее была маленькая мохнатая кляча.

Сложив вещи на подводу, лесорубы шумным караваном потянулись вдоль дороги. Шли пустынными полями, потом через молодой лесок.

— Далеко еще? — спрашивали они у каждой усадьбы.

— Нет, теперь уже близко. Осталось всего несколько километров.

Несколько километров, еще несколько... Солнце уже склонилось к западу, когда усталые люди подошли к полуразвалившемуся домику с замшелой крышей и подслеповатыми оконцами, одиноко стоявшему на лесной вырубке. Здесь могло разместиться восемь пар лесорубов. Когда Волдис хотел снять свою котомку с подводы, проводник таинственно ему улыбнулся.

— Не торопитесь, я вас устрою поудобнее.

Они направились дальше. Через полчаса они подошли к речке и перебрались через нее. Подвода остановилась у опрятного, недавно построенного домика. Проводник вошел туда и очень быстро вернулся обратно, позвав Волдиса с Карлом. Он отобрал еще четверых, а с остальными отправился дальше.

— В семь утра явиться к браковщику! — крикнул он. По пути он указал дом, где жил браковщик.

Лесорубов впустили в темную, наполненную клубами пара кухню. Маленькая керосиновая лампочка еле освещала большой котел, где парилась кормовая свекла и ботва для скотины. Неровный земляной пол был заставлен ведрами, подойниками и обувью. Две девушки, с измазанными лицами, наспех заплетенными косичками, в небрежно спустившихся мужских носках и в коричневых стареньких кофтах, помешивали в котле. Пристально взглянув на вошедших, они слегка смутились и торопливо стали поднимать спустившиеся носки.

Здесь, наверное, уже жили лесорубы: в углу кухни, против плиты, были устроены широкие нары. Хозяйка, седая неопрятная женщина с давно немытым лицом, повела мужчин в сарай и показала, где взять солому для постели. Затем все стали устраиваться на ночлег. Латгальцы развязали котомки и занялись приготовлением ужина: у них были сковороды, котелки, чайники. А молодые люди, приехавшие из Риги, не захватили даже кружек для питья.

— Хозяюшка, нельзя ли достать у вас молока? — попросил Волдис.

— Отчего же нельзя. Сколько вам нужно?

Они уговорились брать по литру молока утром и вечером.

Вскоре в кухню вернулись девушки, теперь уже умытые, в простых опрятных платьях. Они прибрали кухню, не торопясь вымыли подойники, и видно было, что им совсем не хочется уходить. Наконец, они очень неохотно ушли. Через несколько минут, когда все растянулись на соломе, из комнаты хозяев послышались звуки пианино. Играли какую-то народную мелодию.

Что за люди живут в этом доме? Они ходят с неумытыми лицами — и играют на пианино. Почему не видно ни одного мужчины? Волдис не мог заснуть. Простая мелодия успокаивала, будила надежды.

Рядом с ним лежал Карл, который тоже не спал и все время беспокойно ворочался. Ну конечно, — Милия...

Смолкло пианино, утихли приглушенные голоса женщин. На дворе, будто состязаясь между собой, неистово лаяли собаки.

Волдис думал о своей комнате на улице Путну. Как в ней все привычно. Он бы сегодня опять долго-долго читал.

Стиснутый с обеих сторон соседями по нарам, Волдис наконец уснул, не имея возможности повернуться на другой бок. Рядом с ним лежало потное человеческое тело. Кто-то во сне скрипел зубами. Вши прежних постояльцев, почувствовав чужих людей, выползли на разведку: они любили разнообразие, эти хитрые насекомые. А на дворе, глядя на луну, выли собаки.

* * *

Лесосека, отведенная Волдису и Карлу, находилась в двух километрах от дома. Когда-то там начали рубить лес, но за недостатком рабочих рук прекратили. Участок находился в стороне, имел форму клина, суживавшегося в северной части, и густо зарос орешником и кустами ольхи. Кустарник надо было вырубить и сжечь.

— Неужели у вас не нашлось лучшего участка? — спросил Карл у браковщика.

— Кому-то надо вырубить и его, — ответил тот.

— Что мы здесь заработаем? — пожал плечами Волдис. — Почему именно мы должны возиться с этим кустарником?

— Не волнуйтесь, — браковщик стал совсем приветливым. — Вы не раскаетесь, работайте спокойно. Мы вам будем платить кроме обычного вознаграждения отдельно за расчистку — по десять сантимов с пня.

— Тогда другое дело.

— Только не говорите остальным, получится скандал. Если у вас спросят о расценках, скажите, что получаете по два сантима с кубического фута.

Они приступили к работе. Несколько часов вырубали и жгли кустарник, чтобы освободить место для бревен, потом валили десять — пятнадцать деревьев, обрубали сучья и сжигали их тут же на кострах. В дальнейшем сжигание сучьев оставляли на вечер. До сумерек пилили деревья, вырубали орешник, а с наступлением темноты жгли сучья, что отнимало у них часа два. Уже совсем ночью, когда на небе серебрилась луна, они отправлялись домой. Ужинали ржаным хлебом с салом, выпивали по пол-литра молока и шли к колодцу умываться ледяной водой.

— Почему вы не берете теплую воду? — удивлялись девушки. — Это же ничего не стоит.

Но они продолжали свое. На завтрак ржаной хлеб, сало и молоко, а на обед брали с собой хлеб с мясом. Хлеб, сало и искусственный мед им привозила раз в неделю хозяйка из имения. Они, таким образом, избавлялись от приготовления пищи, что крайне поражало латгальцев.

— Что вы за люди, как это вы обходитесь без горячего? — изумленно спрашивали они, и сами каждое утро кипятили чай, а по вечерам варили жидкую похлебку. Молодые рижане только усмехались: они заказывали себе несколько караваев хлеба и совсем не собирались худеть.

Начиная со второго или третьего вечера, вся семья хозяйки стала засиживаться в кухне до полуночи. Девушки перестали показываться сюда в мужских носках и коричневых блузах, — в доме находились теперь молодые люди из Риги; с ними было о чем поговорить, они много читали и вели себя вполне прилично. Даже у хозяйки появилось чувство уважения к постояльцам, а девушки по вечерам долго не шли спать, с видимым удовольствием сидели на кухне, приносили из комнаты большую лампу, читали книги, иногда вчетвером играли в карты. Когда в лампе кончался керосин, они уходили. После их ухода с полчаса еще слышались звуки пианино. Время шло незаметно.

Оба приятеля уходили на работу последними, зато вечером задерживались в лесу дольше всех: они никогда не бросали недоделанной начатую работу. Было что-то привлекательное в громадных кострах, которые они разводили по вечерам. В воздух поднимались фонтаны искр, и окружающие ели розовели в свете пламени. Друзьям нечего было торопиться домой — все равно раньше полуночи лечь не удастся. Еще одно дерево, еще один костер!

Как-то вечером, возвратясь домой, они увидели на своих постелях матрацы и подушки. У других по-прежнему лежала солома. Никто ничего не сказал, никто не ждал благодарности. Карл и Волдис взяли с собой по одному полотенцу, за неделю они загрязнились дочерна. Однажды полотенца оказались на своих местах выстиранными и выглаженными. И опять ничего не было сказано, а девушки делали вид, что не замечают удивленных лиц парней, вытиравшихся в тот вечер

чистыми полотенцами. Вот какие были эти девушки, оставшиеся без отца.

Обе они в свое время посещали в Риге среднюю школу. Одна из них окончила ее, другая нет. Отец был учителем. Теперь, после его смерти, три женщины вели хозяйство на небольшом клочке земли. Сами пахали, косили, убирали хлеб, ездили в лес за дровами — словом, выполняли всю мужскую работу и не роптали при этом на судьбу. Это были жизнерадостные люди, и если соседи иногда и подтрунивали над неумелым хозяйничаньем, то только потому, что слегка завидовали выдержке этой интеллигентной семьи.

Волдис с Карлом, вероятно, были единственными из всей партии лесорубов, кто работал и по воскресеньям, а когда через три недели наступило рождество, они не поехали в Ригу. Волдис попытался заговорить об этом, но Карл удивленно поглядел на него.

— Ехать в Ригу? И не собираюсь. Только испортишь настроение, — не захочется обратно возвращаться. Потерпим до конца. Мы уж теперь привыкли, и нам один черт, где праздновать — здесь или там.

— А что скажет Милия?

— А что ей говорить? Я ее предупредил, чтоб ждала не раньше весны.

— Что же мы здесь будем делать все праздники? Все разъедутся, и мы с ума сойдем от скуки.

— Будем работать.

— Нас сочтут за дикарей.

— Ну и что же?

Все разъехались — рабочие, браковщики. Остались только Карл и Волдис. Все дни праздника от зари до зари слышался стук их топоров на дальней лесосеке. Каждый вечер зажигали они самую яркую в окрестностях рождественскую елку, щедро рассыпавшую фейерверк искр. Они работали с рвением, как молодые лошади. Ель за елью валилась на землю, уничтожался с корнями кустарник, и крестьяне, полные праздничной торжественности, качали, дивясь, головами.

— Что это за люди? Кому они делают назло — себе или всему свету? Такое кощунство в праздник!

Вечерами друзья оставались теперь совершенно одни. В первый день рождества девушки уехали куда-то на вечеринку, на второй день к хозяевам приехали гости —

местная учительница и помощник волостного писаря. Хозяева зажигали елку на своей половине, пели, играли на пианино. Друзья угрюмо молчали в темной кухне, нарочно не зажигая света, чтобы не видеть невеселых лиц друг друга. За стеной царило веселье, молодые нарядные люди смеялись там над чем-то, а они валялись в темноте, грязные, в прожженной искрами одежде, с запачканными смолой руками...

Никто из уехавших не вернулся до Нового года. За это время Волдис с Карлом почти кончили всю лесосеку, осталось самое узкое место — клин, но там не было строевого леса, а одни тонкие елочки, которые шли на крепежный материал.

После Нового года опять съехались лесорубы — латгальцы и несколько пар рижан, — молодые ребята, считавшие работу в лесу интересным приключением.

Деревенские спекулянты успешно торговали с приезжими. Особенную предприимчивость проявил кулак, которого все окрестные жители называли не просто Пуполом, а господином Пуполом и который выписывал газету «Латвияс саргс» и руководил местными айзсаргами. Он, этот важный хозяин, расхаживал в высоких сапогах, всегда с хлыстом в руках, даже в тех случаях, когда был не на лошади; он имел самую породистую собаку в волости, настоящего волкодава; каждую неделю ездил в Ригу, скупал на мясном рынке возами постный шпиг по пятьдесят сантимов за фунт и третьесортную копченую свинину, привозил их домой и продавал лесорубам по лату за фунт. Он получал сто процентов прибыли и мог бы продавать еще дороже — ведь ближайшая лавка находилась в двенадцати километрах и в ней, кроме бисквитов и американского сала, ничего нельзя было купить. Этот кулак продавал молоко по тридцать сантимов за литр. Узнав у хозяйки Волдиса, что она отдает молоко по двадцать сантимов, он выругал нерасчетливую женщину:

— С таких молодчиков надо драть побольше! Разве они плохо зарабатывают?

Январь подходил к концу, когда на большинстве лесосек работа кончилась. Волдису с Карлом отвели второй участок, заросший одними осинами. Из каждого дерева получалось по два кругляка, остальное пилили на дрова. Когда и этот участок был вырублен, друзья собрали

мешки, упаковали свои пилы и топоры и получили расчет. Каждому пришлось, за вычетом полученного аванса, больше ста латов: средний дневной заработок был не ниже шести латов.

Рано утром они отправились. Девушки уже встали и задавали скотине корм, — возможно, они не из-за этого так рано покинули теплые постели: закутавшись в овчинные полушубки, они пошли проводить уезжающих до моста. Под ногами, приветливо повизгивая, вертелись обе собаки. У моста Волдис и Карл распростились с девушками и пошли дальше. Пройдя шагов двадцать, они остановились и оглянулись, но было так темно, что ничего нельзя было рассмотреть. За рекой тявкали собаки.

Оба друга могли теперь возвращаться в Ригу, браковщик выплатил им проездные деньги. Но Карл и слышать не хотел об отъезде.

— Что нам сейчас делать в Риге? Порт замерз, судов нет, весна не скоро. Заработаем еще столько же, тогда и вернемся.

«Так, так... — думал про себя Волдис. — Милия собирается замуж. Карл копит деньги. Значит, до весны. А для чего же буду копить я?»

* * *

Около полудня они приехали в Инчукалнс и будто снова попали в Экспортную гавань: вокруг были навалены лесоматериалы, непрерывно подъезжали подводы с крепежным лесом, бревнами, осиновыми, березовыми, еловыми кругляками. В нескольких местах рабочие грузили лес в вагоны. Браковщики суетились, бегали, кричали.

Волдис побеседовал с возчиками, расспросил нескольких браковщиков, но никто не мог сообщить ему ничего определенного.

Около двух часов на станцию приехал высокий крестьянин с тремя возами березовых кругляков. Выяснилось, что он владелец довольно большой березовой рощи, которую хочет за зиму вырубить. Ему нужны три-четыре пары лесорубов. Обещает платить двадцать сантимов за каждый кругляк.

Волдис и Карл вместе с двумя другими парами лесорубов, тоже из Риги, поехали с этим крестьянином. Новый хозяин всю дорогу был очень разговорчив: сообщил, что он получил хутор еще от родителей, что у него два брата, которым он должен выплатить их долю наследства, — поэтому и приходится продавать березовую рощу. Значит, все они из Риги? Но пусть и не думают дурить — он айзсарг и справится с кем угодно.

— За кого вы нас принимаете? — спросил Волдис.

— Я знаю рижан! Все они бунтовщики и лодыри, с ними надо быть начеку.

— Квартира далеко от участка? — спросил Карл.

Айзсарг невнятно проворчал что-то в ответ.

— Квартира... У нас есть новый дом, но он еще не достроен, самим еле-еле места хватает. Может, подыщете квартиру у соседей; а если не найдете — велю батрачке вытопить баню. Как-нибудь проживете.

Все переглянулись, но ничего не сказали. Странный хозяин: нанимает рабочих, а жилье предлагает искать где угодно.

От корчмы Раганас они свернули налево, довольно долго ехали лесными полянами, проселками и, наконец, добрались до рощи, заваленной срубленными верхушками и ветками берез.

— Разве вы верхушки и сучья не пускаете на дрова? — спросил Волдис, указывая на валежник.

— Нет, это не окупается. Мы берем у дерева ту часть, которая годится на фанеру, остальное оставляем в лесу.

— Да, по-вашему, это не окупается. А мне вот кажется — нам тоже нет расчета ради одного кругляка валить целое дерево. Подумайте, сколько деревьев нам нужно свалить, чтобы заработать два лата.

— Разве это мало — два лата? Вы что, хотите разбогатеть за зиму? Сегодня вечером двое из вас вернутся в лес и напилят мне три воза кругляков, чтоб завтра свезти на станцию, остальные за это время подыщут квартиру.

— Вы не служили фельдфебелем? — спросил Волдис.

— А что? — не понял айзсарг.

— Вы командуете нами, как своими солдатами.

Хозяин принял это за шутку, сделав вид, что не слышит смешков. Он указал на ближайшие дома: вон

в том доме много места; пожалуй, и в этом старом доме тоже примут постояльцев.

— Только не говорите, что вы из Риги, — рижан здесь недолюбливают. Прошлой зимой у нас было несколько пар... разрыли картофельные ямы, украли у соседей свинью. Истинные головорезы! Говорите, что вы из провинции, из Цесиса или Лимбажей.

У айзсарга был красивый новый дом. Просторная кухня, большие комнаты. Не достроен, очевидно, был только чердак.

Рабочие позавтракали всухомятку, после чего двое пошли с айзсаргом в рощу заготовлять кругляки. Карл тоже пошел с ними, чтобы познакомиться с условиями работы, а Волдис с одним лесорубом отправились по соседним усадьбам. Их встретила поражающая пустота. В некоторых домах единственными живыми существами, откликавшимися на их стук, были собаки. Люди не показывались. Из одного большого дома навстречу им вышла служанка-латгалка: хозяева уехали куда-то по делам, она осталась одна и ничего не знает. Но когда Волдис с товарищами уходили, в окне показалось чье-то бородатое лицо. Во дворе спустили собак, которые яростно набросились на незнакомцев. Да, что и говорить, здесь жили добрые люди! «Национальные нравы» пышно расцветали в этих местах.

Уже смеркалось, когда им удалось наконец в одной усадьбе застать хозяина: добрый малый чистил хлев. Он хотел было кинуться к дому, но опоздал: рижане поспешили ему наперерез и изложили свою просьбу. У несчастного крестьянина был самый жалкий и смешной вид.

Да, у него есть большая комната... Нет, у него нет ни одной лишней комнаты. Гм... Квартиру? Шесть человек? Он не знает... Может быть... Нет, нет, ни в коем случае...

Он мямлил, как пойманный на шалости ребенок, и, словно ища защиты, бросал сердитые взгляды на дом. В окнах показались встревоженные женские лица. Наконец он бросился бежать без оглядки, не отвечая на зов рижан. Товарищ Волдиса не выдержал.

— Эй ты, тряпка! — крикнул он так громко, что было, наверно, слышно в доме. — За кого ты нас принимаешь, старое чучело? За грабителей, убийц или...—

тут он добавил такое крепкое словцо, что пораженный хозяин остановился и оглянулся. Потом он исчез за дверью и, вероятно, там только перевел дух.

Во двор выпустили собак — двух настоящих церберов.

После этого пришлось прекратить поиски. Вся эта округа пылала слепой ненавистью к городу и горожанам. Эти люди не выносили пришельцев.

Остальные лесорубы уже приготовили на завтра возы и закусывали в хозяйской кухне. Айзсарг ничуть не удивился тому, что квартиру так и не нашли. Можно будет переспать в бане. Если кто хочет, пусть пойдет протопит ее, но сейчас довольно тепло, не ниже двух градусов, можно обойтись и без топки.

Лесорубы ничего не ответили. Молча ели они сухой хлеб — воды здесь едва хватало коровам. Когда в кухне не осталось никого из хозяйской семьи, лесорубы завязали свои мешки, собрали пилы и топоры и взвалили все это на плечи. Айзсарг в это время чистил в комнате браунинг. Он был страшно поражен, когда в дверях показались шестеро навьюченных котомками и инструментами мужчин.

— Спокойной ночи, хозяин! — громко сказали они.

Айзсарг подскочил, как на пружинах, разинул рот и заморгал глазами.

— Как, что, почему? Что вы сказали? Что это значит?

— Мы сказали: спокойной ночи! — язвительно отрезал Волдис. — Очевидно, это значит, что мы покидаем ваш гостеприимный дом.

— Но почему?

— Знаете что, — остановившись в дверях и глядя прямо в лицо растерявшемуся крестьянину, сказал Волдис, — мы не желаем спать в вашей бане. Нам не нравится, что вы у нас на глазах чистите револьвер. Мы работаем только там, где на нас смотрят как на людей. Не тревожьтесь за свою жизнь и имущество — вашу картофельную яму никто не разроет и окорока в ваших амбарах могут спокойно грызть крысы! Между прочим, купите крысиного яду. Прощайте!

— Вы можете ночевать в комнате работников! Принесем соломы...

— Теперь уж поздно.

— Если хотите, жена испечет свежего хлеба. Можно будет и молока дать.

— Сам пей!

Они ушли, стараясь поскорее покинуть этот неприветливый дом.

— Я вас не выпущу! Я вас арестую! Я айзсарг! — раздавались за их спиной крики.

— Иди к черту, кулацкое отродье! — ответил ему Карл.

Поздно вечером добрались они до корчмы Раганас. Там и переночевали на столах в комнате для проезжих. Разбуженные еще до рассвета нестерпимым холодом, они направились дальше, к Инчукалнсу, и у станции расстались. Другие лесорубы пошли в Ропажи, а Волдис с Карлом решили обойти леса в Аллажи. Но и здесь было полно безработных. Безуспешно ходили они по лесосекам, а вечером вернулись обратно и, присев у дороги, поужинали: разожгли небольшой костер и обжарили на деревянном вертеле копченую говядину.

Здесь на них наткнулся молодой художник Ринга, который наблюдал за работами на одном из ближайших лесных участков, замещая своего старого и больного тестя. Он первый заговорил с парнями и предложил им работу на несколько недель. Плата была подходящая. Художник взял их пожитки в сани, объяснил, как добраться до места, и уехал. Волдис и Карл двинулись пешком. Идти пришлось километров десять. Им отвели квартиру в батрацком доме большого хутора.

Здесь они проработали три недели. Все это время держался сильный мороз. У приятелей не было зимних шапок и лишних носков; они повязали уши платками и каждый час снимали сапоги, чтобы отогреть ноги у костра. Дни стали длиннее; работали по пятнадцати часов и зарабатывали от пяти до шести латов в день.

В этом лесу Волдиса чуть не убило. Работавшие в соседней лесосеке латгальцы валили ель. Волдис с Карлом пилили недалеко дерево и не заметили за чащей соседнюю пару. Ель упала прямо на Волдиса. Сбежались все лесорубы с участков, испуганно обсуждая случившееся; Карл бешено ругался. А тем временем Волдис, целый и невредимый, вылез из-под дерева: ель упала на сучья, нисколько не прижав Волдиса. По обе стороны от него в землю вонзились два толстых сука, один из

них немного задел Волдису плечо. Если бы он вздумал бежать, спасаясь от падающего дерева, или подвинулся на полшага в ту или другую сторону, один из суков проткнул бы ему спину. Латгальцы рассказывали, как падающие деревья убивают лошадей, как сучья протыкают спины лесорубов, как спиленное дерево, отклоняемое ветром, падает в обратную сторону и убивает тех, кто его пилил.

Квартира была ужасная: в выбитые, заткнутые тряпьем окна дул ветер, из полуразвалившейся плиты во все стороны валил дым. Вечером помещение напоминало овин. Каменные стены никогда не прогревались. Люди спали одетыми, иногда даже не разуваясь. Вечером они кутались от холода в одежду и зарывались в солому. Не хотелось даже умываться. Грязные, закоптелые, возвращались они сюда поздно вечером и, посиневшие от холода, уходили на работу до рассвета.

Через три недели работа была закончена. Стало значительно теплее, почувствовалось дыхание весны. Ринга, которому до тошноты надоела жизнь в лесу, объявил об окончании работ и рассчитался с лесорубами.

Приятели направились на станцию. Но Карл и не помышлял о возвращении домой: залив еще скован льдом, что они будут делать в Риге? Надо по меньшей мере с месяц еще поработать здесь. К вшам они уже привыкли, как привыкли зябнуть в чужих, негостеприимных домах. Карлу надо было скопить больше денег — тогда он сможет жениться на Милии.

Две недели они проработали на станции Инчукалнс — грузили лес. Стертые до крови плечи болели, особенно по ночам, но заработок был хороший: иной день им удавалось заработать до двенадцати латов на брата, и никогда они не получали меньше восьми. За такие деньги стоило терпеть саднящую боль в плечах.

Становилось все теплее. Снег таял. Проселочные дороги превратились в море грязи, и оставшиеся в лесу пиломатериалы нельзя было вывезти. Подвоз на станцию прекратился. Тогда друзья снова увязали свои мешки и направились на Гаую, где начинался сплав. Они так долго странствовали, переходя с места на место, что уже не ощущали никакой разницы в окружающей обстановке. Люди, которых они встречали сегодня, не

существовали для них завтра. Незнакомые так и оставались навсегда незнакомыми.

На Гауе они проработали еще с месяц. Их направили вверх по течению, на небольшой приток. Работа была не тяжелая, надо было весь день ходить по берегу вдоль реки, отмечать мели, где могли застрять бревна, разбирать заторы и не давать лесу застревать у берегов. Заторы образовывались часто. Достаточно было застрять одному бревну и повернуться поперек течения, как возле него за несколько минут скоплялась груда бревен. Плывущие сзади бревна наталкивались на передние, разворачивались во всех направлениях, скрещивались, становились стоймя и загромождали излучину реки до самого дна.

Здесь Волдис встретился с Альфонсом Эзеринем, тоже приехавшим на сплав. Эзериньш был настоящим сплавщиком — он мог полчаса плыть на одном бревне по сильному течению и даже не замочить одежды. Возможно, его память не сохраняла образы неприятных людей или, что вероятнее всего, Волдис сам за эти месяцы изменился до неузнаваемости, но Эзериньш, ежедневно встречаясь с Волдисом, ни разу не признал его. С чувством профессионального превосходства высокомерно поглядывал он на Волдиса, у которого не было болотных сапог и который ежедневно купался в холодной снеговой воде.

По вечерам играли в карты на деньги. Эзериньш был одним из самых азартных игроков. Он даже брал карты с собой на работу, и в то время как другие следили за мелями, он со своими приятелями успевал сыграть партию-другую. Когда у Эзериня заводились деньги, он играл, пока не спускал все, и тогда он становился позади играющих и всем своим существом жил их интересами. Да, он любил играть, не жалел о проигранном, и у него вечно не хватало денег.

Нельзя сказать, чтобы его постоянные проигрыши были неприятны Волдису: будущее одной девушки в Риге зависело от того, сумеет ли Эзериньш скопить деньги на свадьбу. Нет, этот человек не был опасен, Лауме не стоило беспокоиться.

И тут вдруг Волдис почувствовал, что ему осточертела такая жизнь. Это произошло так неожиданно и быстро, что Карл только с удивлением пожал плечами.

Мимо них по шоссе ехал рижский автобус. Увидев его, Волдис подумал, что этот желтый ящик через час или два будет в городе, где столько жизни, шума, разнообразия, — в городе со всеми его возможностями, где терпели голод и ходили в лохмотьях и где устраивали рауты и избирали королев красоты! Там пахло бензином от промчавшегося мотоцикла, а световые рекламы соперничали с звездным небом! Волдиса потянуло туда. Он должен быть там! Почти год тому назад он чувствовал себя так же — и так же полным ожидания взором смотрел в сторону пятиэтажного города...

— Ты как хочешь, а я все равно уеду! — категорически заявил он Карлу.

К его изумлению, Карл даже не пытался протестовать. Вероятно, и ему осточертела жизнь в лесу и на реке.

— А что в самом деле, поедем!

На следующий день они уехали в Ригу. От их одежды остались только жалкие лохмотья, тело безжалостно искусали вши, дым разъел глаза, уши были обморожены, но на сердце было легко, — гораздо легче, чем в полупустых дорожных котомках, где среди грязного белья лежали блестящие от работы топоры. Весеннее солнце и ветер до того обожгли их лица, что они стали медно-красными. Давно не стриженные волосы вились на шее, а руки, постоянно мокшие в грязной весенней воде, покрылись корой, напоминавшей панцирь черепахи, — но зато в кармане лежала пачка денег!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Около полудня Волдис появился на улице Путну. Он избегал встречи со знакомыми. Носки его сапог широко раскрыли зубастые пасти, а грубое зимнее пальто, истлевшее от воды, прожженное у костров, казалось простреленным дробью — повсюду торчали клочья ваты, с обшлагов свешивалась бахрома.

На улице Путну было тихо и пустынно. У дверей бакалейной лавки позевывала в ожидании покупателей новая продавщица. Она не знала Волдиса. Из окна парикмахерской выглядывала светловолосая растрепанная голова, но и она была незнакома Волдису. За эти

пять месяцев на улице Путну появилось много новых людей.

Чужими и холодными показались желтые ворота — на земле не видно было подсолнечной шелухи. Волдис ускорил шаги. Как вор, незаметно оглянувшись, торопился он пройти мимо этих ворот. Но его опасения были напрасны — никто не вышел на улицу поглядеть на оборванного парня. Сколько таких видели здесь каждый день! Лохмотья никого больше не удивляли, в этом городе к ним привыкли.

Андерсониете вязала — может быть, тот же самый чулок, что и год тому назад. Она всегда вязала, без вязанья ее невозможно было даже представить себе.

— Великий боже! — воскликнула она, и по возгласу ее трудно было определить, рада она или только удивлена. — Я уж думала, что вы забыли номер дома. Столько времени, целую долгую зиму!

— Я вам два раза посылал открытки.

— Да, я их получила. Что же, вы теперь останетесь в Риге?

— Думаю остаться.

— В вашей комнате все по-прежнему. Чаю хотите?

— Нет, спасибо. По пути я заходил в чайную. А сейчас хочу сходить в баню и вымыться как следует.

— Да, да, в баню вам стоит пойти. Сейчас пойдете?

— Только переоденусь.

Волдис переоделся, взял белье и пошел в баню. В этот ранний час там было еще пусто. Он возвращался домой, чувствуя себя чудесно освеженным. Наконец-то его тело стало опять чистым, платье опрятным, а завтрашний день не нависал над ним снеговой тучей, заслонявшей весь мир заботами и безысходностью.

У него были деньги, и он сохранил здоровье. Теперь ему хотелось отдохнуть, — отдохнуть до тех пор, пока его организм не устанет от безделья, не запросит работы.

По пути Волдис зашел в парикмахерскую, побрился, постригся и приобрел облик культурного человека.

Дома его ожидал Карл.

— Где ты бродишь? — ворчал он. — Я почти час жду. Теперь, конечно, я тебя дома не оставлю. Выспаться ты имел возможность в лесу. Здесь, в Риге, у нас другие дела.

— Ты хочешь пойти куда-нибудь развлечься? Правду сказать, не мешало бы встряхнуться. Но куда? В кино, оперу, в театр? Не в кабак же?

— Я тоже считаю, что не в кабак. Короче говоря, ты должен пойти со мной в Задвинье.

— К Милии?

— Да.

— А почему один не идешь?

— Эх, ты меня не хочешь понять. Я ведь не просто в гости иду.

— Вон что! Понимаю...

— Вот и хорошо, не придется объяснять.

Волдис испытывал двойственное чувство. С одной стороны, его забавлял этот недвусмысленный шаг (Карл, вероятно, хотел внести ясность в свои сердечные дела), а с другой — его угнетало сознание собственной вины. Неужели он так и не скажет правды Карлу?

— Так, значит, ты все же решил начать семейную жизнь? — одеваясь, спросил он Карла так небрежно, что тот не уловил иронии.

— Да надо же когда-нибудь.

Волдис не удержался от улыбки. Карл, покраснев, взглянул на него.

— Чему ты улыбаешься?

— Просто так, вспомнил смешное.

— Я знаю, ты не одобряешь этого шага.

— Возможно.

— В этом вопросе твое мнение для меня безразлично! — упрямо воскликнул Карл.

— Упаси бог! Я совсем не хочу, чтобы ты считался со мной в таком деле.

— Когда-нибудь ты сам сделаешь то же самое.

— Вряд ли.

— Почему?

— Потому что я много лет имел возможность своими глазами видеть, какой это ад — семейная жизнь. И те, кто в этом аду мучили друг друга, были мои родители. — Он задумался, вспомнив прошлое, потом с горечью добавил: — Если в семейной жизни возможен такой ужас, что два врага должны жить вместе, спать на одной кровати, с нетерпением ждать смерти другого или своей собственной, — тогда не стоит жениться.

— Ты говоришь так потому, что не любил женщину.

Полюби, и ты увидишь и согласишься со мной, что на свете есть такая красота, по сравнению с которой все остальное кажется нулем.

— Возможно. Не будем спорить.

* * *

Уже наступили сумерки, когда молодые люди подошли к дому Риекстыней. Там зажгли свет, и окна излучали желтое сияние.

— Странно, что у них ставни не закрыты, — сказал Карл, следуя за Волдисом по песчаной дорожке.

— Верно, забыли.

— Они никогда не забывают.

Собака, услышав их шаги, начала лаять и прыгать на цепи. По другую сторону дома скрипнула дверь, но никто не вышел навстречу. Приятелям пришлось пройти мимо самых окон. Яркий свет назойливо бил в глаза. Оба они разом взглянули в окно. Свет падал от люстры, висевшей над покрытым белой скатертью столом.

— Обожди немного! — Карл схватил Волдиса за рукав. — Здесь что-то не так...

— Куда это годится — подглядывать в окна! Еще увидит кто-нибудь.

— Мы только немножко. Если не хочешь, отвернись.

Но Волдис не отвернулся. Заинтересованный, он тоже заглянул в гостиную Риекстыней. Да, люстра разливала яркий свет. А под ней, на столе, накрытом белоснежной скатертью, горели в двух медных подсвечниках свечи. Весь стол был заставлен чистой посудой: тарелками, рюмками, бутылками, рядом лежали четыре сложенные салфетки. Посреди стола возвышалась ваза с конфетами, бисквитами и фруктами и стояло блюдо с нарезанным пирогом. Комната была пуста.

Друзья переглянулись.

— Что это значит? — спросил Карл, не скрывая удивления.

— Тебе лучше знать. Очевидно, какое-нибудь семейное торжество.

Дальше им пришлось замолчать, так как в комнату вошла Милия — сияющая, свежая, как цветок.

Карл вздрогнул и отшатнулся от окна. Вслед за Милией показался молодой человек в смокинге,

с бледным худощавым лицом и длинными, как у артиста, волосами. Они сели рядом на диван. Длинноволосый взял руку Милии и прижался губами к ее обнаженному плечу. Она, улыбаясь, смотрела сверху на склоненную голову молодого человека, перебирая пальцами длинные пряди его волос. Когда человек поднял голову и взглянул на нее, он тоже улыбнулся. Они стали разговаривать, и незнакомец не выпускал пальцы Милии из своих рук.

Волдис отвернулся и сочувственно взглянул на Карла. Тот стоял, подавшись всем телом вперед. Он горько улыбался, слегка обнажив зубы, не в силах оторвать глаз от этой картины.

— Войдем, что ли? — тихо спросил Волдис.

Карл словно очнулся, задумчиво провел рукой по лицу, глядя куда-то в пространство, и плотно сжал губы.

— Да, конечно, войдем.

Опять забесновалась собака. Волдис постучал. В кухне послышался встревоженный говор. Некоторое время никто не отвечал, а в кухонное окно было видно, как поспешно прикрыли дверь в гостиную.

Волдис постучал снова. В сенях послышались медленные шаркающие шаги.

— Кто там? — спросил кто-то низким басом.

Карл назвал себя.

Бас чихнул, затем не торопясь отодвинул засов.

— Добрый вечер! Добрый вечер! Вот нежданные гости! Заходите, мы с мамашей одни в кухне.

Они вошли в кухню. Старики переглянулись, и трудно было решить, которая из этих морщинистых физиономий стала более кислой. Старые Риекстыни не привыкли управлять выражением своих лиц, и сейчас по ним можно было прочесть ничем не прикрытые недовольство и досаду. Они пытались улыбаться, сухо, заискивающе покашливали, глаза их бегали по сторонам, избегая взгляда гостей. Волдиса разбирал смех. «Бедные, глупые старики, — думал он, переводя взгляд с одного на другого. — Как трудно им притворяться».

Первой обрела дар речи мамаша Риекстынь. Тихо, чуть не шепотом, словно боясь разбудить тяжело больного, она заговорила:

— Значит, вы теперь опять появились в наших краях?

Да, да, мы уже начали беспокоиться. Где вы так долго пропадали? Обратно не поедете? Ах, нет? Теперь, наверное, и в Риге хватает работы?

Вдруг, изменив слащавое выражение лица, она обратилась к мужу, стоявшему у порога:

— Ты бы, старик, пошел ставни закрыл.

— Да, да, я закрою! — Обрадовавшись возможности выйти из неловкого положения, Риекстынь опрометью кинулся во двор.

Дверь в гостиную приоткрылась, но оттуда не доносилось ни звука. Сидевшие там два человека притаились, как испуганные мыши. Они боялись пошевельнуться, переменить положение ног, чтобы не скрипнул пол, боялись дышать. А мамаша Риекстынь даже не предложила посетителям сесть — так она была занята. Время от времени она открывала дверцу духовки, переворачивала кусок тушившейся свинины. Неловкое молчание продолжалось до прихода Риекстыня.

— Отец, вынеси ребятам по стопочке. У нас сегодня небольшое семейное торжество, день рождения отца. Милии нет дома, она ушла в театр. Вы ее сегодня не дождетесь. Старик, пойди же вынеси стопочку.

Риекстынь с готовностью поспешил в комнату, заботливо закрыв за собою дверь. Тишина. Звякнула бутылка, зазвенели стаканы. Волдис с волненьем следил за Карлом: он понимал, какая буря бушевала в душе его друга. Но Карл держался мужественно. Он слегка прищурил глаза, и чуть заметная усмешка скривила его губы. Нет, он не пал духом. Это была улыбка превосходства. Возможно, его развеселила растерянность старых Риекстыней.

Риекстынь вернулся с бутылкой вина и тарелкой, на которой стояли два стакана и лежали какие-то сладости.

— Значит, Милии нет дома? — громче, чем здесь было принято говорить в этот вечер, спросил Карл. Его голос прогремел на весь дом, подобно раскату грома.

— Нет, девочка надумала пойти в театр. Ну, выпейте по стаканчику, а то вам скучно болтать с нами, стариками.

Старый Риекстынь протянул им налитые стаканы. Волдис не торопясь взял один и взглянул на Карла. Тот как будто не замечал стаканов.

— Ну что же ты, Карл? — кивнул ему Волдис.

— Спасибо, я не буду пить! — сказал он, и усмешка, кривившая его губы, стала еще злее.

— Если ты не пьешь, тогда и я не стану! — Волдис поставил стакан обратно на тарелку. — Извините, господин Риекстынь и госпожа Риекстынь, может быть, мы вам причиняем беспокойство, но...

— Нет, нет, нет, какое беспокойство? Но почему вы отказались от вина?

Карл с издевкой посмотрел на Риекстыней.

— Вы не обижайтесь, но я никогда не пью того, что приготовлено не для меня. Если захочу пить, куплю себе сам. На что это похоже — пить вино, которое кто-то принес, чтобы угостить даму сердца. Пойдем, Волдис! Спокойной ночи!

В комнате скрипнул диван. Старики смущенно и пристально разглядывали носки башмаков. Со двора слышались шаги уходивших. Собака злобно лаяла и гремела цепью.

Друзья уже успели обогнуть угол дома, когда опять раздался скрип стремительно открывшейся двери, она с силой ударилась о стену. Кто-то выбежал во двор. Друзья ускорили шаги и дошли до калитки.

— Карл! — робко прозвучало в тишине, и голос оборвался. — Карл! — затрепетал опять в ночной тиши нерешительный женский голос — и смолк.

Спокойно, не спеша запер Карл на крючок калитку, и они застучали каблуками по деревянному тротуару. Ушли не оглядываясь.

Милия выбежала в одном платье. Вечерний воздух был прохладен. Несколько минут она стояла неподвижно, прислушиваясь, пока в отдалении не стих звук шагов. Озноб охватил все ее тело, она вздрогнула, затем, скрестив на груди руки, мелкими шажками направилась к дому.

— Пойдем куда-нибудь! — сказал Волдис, когда они с Карлом уже сидели в трамвае. — В «Сплендиде» сегодня очень интересная программа.

—. Во всяком случае не интереснее той, что мы сегодня видели. По мне, как хочешь. Мне все равно.

— Как ты себя чувствуешь после этого холодного душа?

Карл беззвучно рассмеялся.

— Хорошо! Я не такой уж теленок, чтобы портить

себе настроение из-за длинноволосого соперника. Нет, милый Волдис, я с собой ничего не сделаю. Но я не сдамся. Этот смокинг не так уж неотразим.

— Ты будешь за нее бороться?

— Странно, что ты этому удивляешься. Почему я не должен бороться?

— Если женщина сама не может сделать выбор, ее не стоит добиваться.

— Ты опять запел старую песню. А я все же люблю ее. Понимаешь, люблю. И не отдам тому длинноволосому.

— На свете много хороших девушек, которые совсем не требуют, чтобы их завоевывали.

— На свете есть только одна Милия.

— Милия далеко не самая лучшая.

— Я это знаю, но мне нужна именно она, со всеми ее недостатками и слабостями. Я люблю только ее. Для этого я всю долгую зиму откладывал деньги, отказывал себе во многом, работал по воскресеньям и праздникам. И теперь, когда можно осуществить свою мечту, разве я уступлю ее какому-то худосочному молодчику в смокинге? Нет, дружище! Не уступлю! Я был первым...

«Милый, наивный простофиля...»

Волдис сочувственно посмотрел на друга. Куда девался смелый зубоскал, сильный рабочий парень? Униженный чужими людьми, он хотел еще сам унизить себя, себя — смелого, строптивого. Хотел себя бросить, точно половик, под ноги распущенной девке! Он знал — и в то же время не желал знать, видел — и делал вид, что не замечает того, что уже наступил день и сны кончились. Наперекор всему, он продолжал еще грезить, боясь жестокой минуты пробуждения.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В то время когда Карл Лиепзар и Волдис Витол сплавляли лес, в Рижском порту вспыхнула стачка — одна из самых больших стачек в Латвии за вторую половину двадцатых годов. Она продолжалась несколько месяцев, наглядно показав, что большинство портовых рабочих — сознательные люди, не боящиеся жертв и борьбы, когда надо защищать интересы своего класса.

Ошибались все те, кто думал, что портовики — неисправимые пьяницы, драчуны и хулиганы. Рядом с несознательной, отчасти деклассированной темной массой пьяниц и подхалимов в дни борьбы явственно выделилось революционное ядро портовых рабочих, и его влияние на остальных было так велико, что испугало стивидоров и их подручных. Люди, составлявшие это революционное ядро, не проводили свой досуг в кабаках, не покупали работу за бутылку водки. Они никогда не боялись сказать правду в глаза эксплуататорам и угнетателям, интересы своего класса они ставили выше личного благополучия. Многие из них сидели в тюрьмах, многие находились под зорким наблюдением охранки, подозревавшей, что у них есть какая-то связь с коммунистической партией. Их решительные действия и ясный ум влияли на массы и способствовали тому, что многие молодые рабочие вступили на правильный путь, каким шли смельчаки и борцы.

Существовало два порта: один, который видели и знали все, и другой — о котором знали не все, но его сила и целеустремленная работа сказывались и чувствовались в решающие моменты, когда сталкивались интересы эксплуататоров и эксплуатируемых.

Началось это так. Каждую весну заключался коллективный договор между работодателями — стивидорами и профессиональным союзом портовых рабочих. В этом году при заключении договора представители рабочих потребовали повысить тариф на двадцать пять процентов, так как за истекший год стоимость прожиточного минимума поднялась почти наполовину. Стивидоры категорически отказались вступать в какие-либо переговоры о повышении заработной платы и отвергли требования рабочих. Тогда рабочие порта объявили стачку.

В порту скопилось много судов. Грузов хватало, и фрахт был высок. Каждый потерянный день причинял судовладельцам и стивидорам большие убытки, но они решили сорвать стачку и любой ценой доказать, что Латвия — не та страна, где стачки побеждают.

Стивидоры вербовали штрейкбрехеров, собирая отовсюду всяких проходимцев, и проводили погрузку под охраной полиции. Пароходы месяцами простаивали в порту: штрейкбрехеры работали втрое медленнее, чем

настоящие портовые грузчики. Стивидоры, пароходные компании, торговые фирмы терпели убытки, но они скорее согласились бы все добро пустить с молотка, чем отступить перед бастующими. Старые портовые рабочие бродили по берегу и наблюдали, как чужие, неопытные люди выполняли их работу, поедали их кусок хлеба.

Для усмирения бастующих правительство выслало воинские части. На пароходах, под охраной вооруженных солдат, работали сыновья кулаков и торговцев, студенты и гимназисты, ремесленники, мещане и солдаты — люди, совсем не нуждавшиеся в этом случайном заработке и исчезавшие из порта сразу после прекращения стачки.

В то же время разные темные и грязные личности пытались сыграть на трудностях. Когда прошло уже почти два месяца забастовки, внезапно появились какие-то хромые, уволенные в бессрочный отпуск лейтенанты, крайне реакционно и националистически настроенные. По их мнению, рабочие для того только и существовали, чтобы служить хозяевам; если при этом хозяин давал за работу еще и кусок хлеба — хорошо, не давал — это тоже хорошо и правильно. Каждое проявление непокорности, всякий протест, забастовка были, по их мнению, нарушением нормального жизненного порядка, и если где-нибудь происходило что-либо подобное, лейтенанты считали необходимым вмешаться. У этих лейтенантов-инвалидов была своя организация, объединявшая так называемых национальных воинов запаса.

С ведома и благословения министерства внутренних дел и охранки лейтенанты являлись к стивидорам и предлагали свои услуги. Чтобы разгромить профсоюз портовых рабочих, они предложили учредить новый союз работников транспорта, который находился бы под их контролем и обеспечил стивидорам желательный курс в порту. Вполне понятно, что стивидоры приняли их с распростертыми объятиями. Лейтенантам предложили основать новый профсоюз и предоставили его членам монопольное право на все работы в порту.

Старые портовые рабочие подтянули ремни потуже, питались сухим хлебом и грызли селедочные головы. Они перебивались теперь разными случайными заработками: некоторые уехали на сплав, другие заготовляли крепежный лес, но многие остались без работы.

Они поняли, что стачка проиграна. Трудно бороться за свои права рабочим в стране, где царит безработица, где на каждого работающего приходятся десятки голодающих безработных и где власть принадлежит имущим классам.

С разрешения стачечного комитета бастующие портовики понемногу, небольшими группами, потянулись в новый профсоюз, который уже успели окрестить «Черной бомбой».

* * *

Когда Волдис впервые после возвращения из леса отправился в порт искать работу, его поразило обилие незнакомых лиц на судах.

Вместе с Карлом они поймали одного формана, который ждал, парохода, прибывавшего за грузом обтесанных бревен.

— Да, рабочие мне нужны, я вас запишу, только запаситесь членскими билетами нового профсоюза! — заявил форман. — Без билета теперь никого не принимаем.

Они обещали принести ему членские билеты, и форман записал их.

— Только знайте, если утром не предъявите — вычеркну.

— Будут, будут... — пообещал Карл.

Вместе с несколькими другими портовиками они направились в новый профсоюз. Он помещался в низком одноэтажном домишке, скорее напоминавшем старинную корчму, чем учреждение. Кроме профсоюза здесь находились штабы некоторых организаций весьма воинственного характера. «Национальные воины», «орлы» *, «ястребы» * — все они свили здесь гнезда и жили в дружеском согласии, наблюдая из своего затхлого убежища, где, в каком конце Латвии зашевелились рабочие, недовольные своей судьбой, и под карканье печати вся эта стая хищников бросалась туда.

Просторное помещение канцелярии было полно рабочих. Сняв шапки, тихо, как мыши, сидели люди вдоль стен, переговаривались шепотом или робко молчали.

За столом сидел маленький хромой человек в пенсне

и, покуривая папиросу, не торопясь опрашивал пришедших.

Другой человек, очень высокого роста, бледный, с неестественно большими ногами, рылся, согнувшись, в канцелярском шкафу; он вытащил наконец пачку печатных листов и сел за стол. Несколько рабочих подошли к столу, остановились на почтительном расстоянии и вежливо откашлялись.

— Извините... — начал робко самый смелый.

Человек с большими ногами искоса взглянул на него и стряхнул пепел с папиросы.

— Хе-хе, извините, мы хотели вступить... — наконец выдавил из себя смельчак.

Обладатель больших ног даже глаз не поднял.

— Вступить? Мы не принимаем новых членов. Нам достаточно.

Рабочие переглянулись. Поднялись и остальные, подошли к столу.

— Как же так? Куда же нам деваться? Мы всю жизнь проработали в порту.

— Пусть большевики дают вам работу на своих складах. Зачем вы обращаетесь к эксплуататорам?

Рабочие молчали. Скрипели перья. Оба господина тихо переговаривались, затем большеногий сказал:

— Хорошо, вас мы еще примем, но уж больше никого. Только достаньте поручителей из членов нашего союза. Каждый должен иметь двух поручителей. Лучше всего принесите рекомендацию от своих стивидоров.

Вот, так-то — происходил отбор. Здесь принимали людей с холодной кровью, безропотно сносивших обиды. Здесь принимали людей безответных, которые спокойно разрешали делать с ними все, что хозяевам вздумается. Беспокойные, несговорчивые люди оставались вне союза, им в порту не было места.

Один уже нашел поручителей. Он положил паспорт на стол и стал ждать.

— Рейнис Зивтынь? — Большеногий вынул из ящика стола какой-то список, быстро пробежал его глазами и нахмурился. — Вас мы не можем принять. Во время забастовки вы подстрекали рабочих, чтобы они не работали. Идите к русским, они дадут вам работу на складах Совторгфлота.

Рабочий подошел ближе, нагнулся над столом и спросил:

— Скажите, это профсоюз рабочих или хозяев?

— Конечно, рабочих.

— Кто запрещает принимать меня: рабочие или хозяева?

— У нас есть указания от стивидоров относительно нежелательных лиц.

— Какое дело стивидорам, кто состоит в этом профсоюзе, если это не их профсоюз?

— Не совсем так. Мы не можем допустить к работе вредных людей.

— Я вредный? В каком смысле?

— Вы подстрекали.

— Кого? Малолетних детей? Скажите, можно подстрекнуть к чему-нибудь взрослого человека, если он не хочет?

— Прошу не шуметь. Уходите, у нас много работы. Идите к хозяевам и извинитесь. Получите от них записку, что вы прощены, тогда мы вас примем. Следующий!

Среди ранее принятых рабочих были знакомые Карла. Он разыскал поручителей себе и Волдису и подошел к столу.

— У каких форманов работали? — спросил у Волдиса большеногий. Волдис назвал нескольких. Тот записал.

— Дайте ваш паспорт.

Из протянутого паспорта выпал красный военный билет. Маленький господин взглянул на Волдиса.

— Вы демобилизованный?

— Как видите.

— Почему вы не вступаете в союз демобилизованных воинов? Всем, кто когда-либо служил в армии, надо организоваться, только тогда можно надеяться на улучшение своего положения.

— Да, понятно, организоваться нужно.

— Приходите как-нибудь вечером на заседание правления. Мы вас примем в кандидаты.

В ответ Волдис пробурчал что-то невнятное. Чтобы он вступил в эту банду? Стать рабочей лошадкой для фашистски настроенных господ? Нет, эти господа плохо знают его. Полные доверия к новому кандидату, они

зарегистрировали его как члена союза портовиков, выдали квитанцию, крикнув вслед, когда он уже уходил:

— Правление заседает по вторникам и пятницам в девятнадцать часов.

— Благодарю, господа...

Волдис не пошел во вторник, не пошел и в пятницу. Надежды хромого господина зиждились на песке...

На каждый пароход из союза присылали по восемь — десять рекомендованных штрейкбрехеров из демобилизованных военных. Чтобы эти невежды не группировались вместе и окончательно не портили работу, форманы распределяли их по трюмам вперемежку со старыми рабочими, которым приходилось переносить самое большое издевательство, какое только могли придумать хозяева, — они должны были обучать своих будущих предателей. Присланные парни оказались весьма безучастными; они работали как придется, без особого рвения. А сверху наблюдал форман. Он кричал, как рассвирепевший зверь, но не на виновного, на неуча — нет, тот был послан хозяином, с ним надо было обходиться вежливо: ведь эти славные малые срывали забастовку. Форман кричал на старого рабочего, который должен был видеть все и за все отвечать.

Рабочие, стиснув зубы, молча терпели. Но иногда прорывался огонек с трудом сдерживаемой злобы: кое-кто ронял нечаянно доску на пальцы штрейкбрехера, сваливал бунт ему на ногу. Все это происходило так случайно, что усмотреть здесь месть не мог даже самый подозрительный человек.

* * *

Каждое утро, уходя на работу, Волдис поглядывал на желтую калитку; возвращаясь, — замедлял около нее шаги. Но калитка не отворялась, и голые кирпичные стены были немы. Вечерами Волдис иногда выходил на улицу и бродил по ней часами, не спуская глаз с желтой калитки. Девушка не показывалась. Эзериня тоже не было видно. Неужели Лаума за это время переехала с улицы Путну? Где она? Что делает?

Волдис больше не читал по вечерам, книги исчезли с его стола. Жизнь опять стала пустой. Волдис не понимал, зачем он каждое утро просыпается, зачем

работает целый день, а по вечерам не знал, как убить свободное время. В эти постылые дни ему хотелось встретить Лауму, но ее не было. Он собирался спросить у Андерсониете, справиться в бакалейной лавке — и не мог придумать, как он объяснит свое странное любопытство: они с Лаумой ведь были совсем чужие.

У одного формана Волдис с Карлом работали подряд на нескольких пароходах — грузили бревна. Это была опять новая, совершенно незнакомая работа, более трудная и опасная, чем все, какие ему приходилось выполнять раньше. Пропитавшиеся водой, облепленные грязью, осклизлые бревна были тяжелы и, падая, обдавали лицо брызгами.

Трое-четверо рабочих, вонзив багры в бревно и упираясь в землю ногами, кричат и тянут. Подтянут бревно фута на два, опять подхватывают баграми, кричат, тянут; положат бревно, возвращаются к бунту у люка, цепляют новое бревно, опять кричат, тянут. И так весь день — без остановки, крик за криком, рывок за рывком. Мускулы напрягаются сотни, тысячи раз. В люк светит знойное солнце, оно раскаляет железо и обжигает тело. В трюме нигде нет прочной опоры для ног, всюду круглые бревна, щели. И по этим скользким грудам нужно ходить, работая при этом изо всех сил. Нельзя падать, нельзя поскользнуться — тогда бревна обрушатся, переломают руки и ноги, сомнут грудную клетку и раздавят ступни ног. А наверху у люка стоит человек, взявший на себя роль цепного пса. Он использует всю силу своих голосовых связок; глотка у него привычная, даже не хрипнет: должно быть, он пьет сырые яйца.

Карл стал необыкновенно тихим и неразговорчивым, задумчивым. Погрузившись в свои мысли, он, словно ничего не сознавая, участвовал в работе, прислушивался к крикам товарищей, с силой налегал на багор, тащил и перекатывал бревна. Каждую свободную минуту он отходил в сторону и задумывался. Его безразличие к окружающему было так велико, что Волдису приходилось не раз окликать его, когда поблизости падало бревно или рассыпался бунт.

Однажды стропальщики подхватили восемь бревен комлями вниз. Бунт был уже развернут над пароходом и висел над люком, когда одно из бревен выскользнуло из него. Трос на секунду ослаб, оставшиеся бревна

выскользнули из петли и в беспорядке повалились в трюм. Скользкие и тяжелые, они, падая в трюм, раскатывались там во все стороны. Рабочие взбирались повыше, цеплялись за боковую обшивку. Одно из бревен упало стоймя посреди трюма. Восемь человек с ужасом смотрели на него, ожидая, в какую сторону оно упадет, не соображая, куда бежать, куда деваться. Несколько секунд продолжалось это мучительное, страшное ожидание, прежде чем длинное бревно покачнулось и, чуть не задев пожилого рабочего, упало на пол. А Карл в это время сидел где-то в углу, опершись на свой багор и ничего не замечал вокруг.

Однажды он пришел на пароход таким мрачным, что Волдис не решался спросить его о чем-либо. До самого обеда он не сказал ни слова, сердито и рассеянно выполнял свою работу. Трюм уже был настолько загружен, что приходилось класть штабеля — вкатывать бревна в три-четыре слоя, почти до палубы. Это был самый трудный день. Железная палуба раскалилась, как огонь; негде было спастись от солнца. Рабочие не успевали разобрать один бунт, как над люком уже висел другой. К полудню в люке скопилась большая груда неубранных бревен, а лебедчик продолжал сваливать все новые и новые бунты — уберут, мол, за обеденный перерыв!

— Берегись! — покрикивал он.

И в люк сваливалось семь-восемь новых бревен.

Казалось, Карл не слышал возгласов лебедчика. Другие отскакивали в сторону, а он равнодушно наблюдал, как груда бревен расползалась под тяжестью новых. Один из еловых комлей сдвинулся и покатился вниз, прямо к Карлу.

Карл метнулся в сторону, хотел добежать до боковой обшивки, но нога застряла в щели между двумя бревнами. Он присел, пытаясь вытащить ногу, однако было уже поздно.

Все произошло молниеносно. Короткий вскрик, хруст костей — и все смолкло. Люди сбежались к Карлу, не произнося от волнения ни слова. Карл лежал навзничь, с закрытыми глазами. Он потерял сознание. По лицу его струился холодный пот.

У люка, крича и размахивая руками, бегал какой-то человек.

— Почему вы не развязываете бунт? — кричал он, но никто ему не отвечал.

Бревно упало Карлу на правую ногу и лежало поперек колена. Общими усилиями удалось оттащить его в сторону, кто-то попытался освободить ступню Карла из щели. Карл застонал.

Поднялась суматоха. К люку сбежались люди, появился форман.

— Что там такое? Сильно придавило?

На секунду Карл открыл глаза, огляделся вокруг, сгоряча хотел вскочить, но беспомощно упал на руки Волдиса. По лицу его градом катился пот, лицо бледнело все больше и больше.

— Ну как, сможет он сам выйти из трюма? — крикнул сверху форман.

Волдис, уложив потерявшего сознание товарища на бревнах, вскочил, весь побагровев, и, не находя от волнения слов, проговорил:

— Воды! Дайте воды! И вызовите скорую помощь! У него же сломана нога!

Работу приостановили. Сделали из двух досок нечто вроде платформы и при помощи лебедки подняли на палубу. Принесли воды, брызнули в лицо Карлу, смочили ему губы. Карл открыл глаза.

— Очень больно? — спросил Волдис.

— Вся нога горит, как будто ее прижигают раскаленным железом. Но не так уж страшно. — Он попытался улыбнуться, но улыбка тут же застыла, и лицо сразу опять стало серьезным.

Подъехал автомобиль. На палубу поднялись санитары с носилками.

— Кто-нибудь должен поехать с ним в больницу, — сказал форман. — Кто его знает?

— Я поеду, — отозвался Волдис.

К пароходу подъехал и стивидор Рунцис на своем лимузине.

— Что там опять случилось? — обратился он к форману, заметив носилки и санитаров. — Опять, наверное, какой-нибудь пьяница забрался под бунт? Вот полюбуйтесь, до чего доводит пьянство! — а у самого нос краснел и багровел от сотен мелких, пропитанных алкоголем жилок.



— Конечно! — отозвался форман. — По собственной неосторожности.

Волдис слышал этот короткий разговор. Внезапный приступ гнева затуманил ему глаза. Покраснев и весь дрожа, он повернулся к стивидору:

— По-вашему, он ради удовольствия лег под бревно? В таком случае, я бы посоветовал вам самому попробовать, что это такое!

Гладко выбритое круглое лицо стивидора покраснело, пухлые пальцы вынули изо рта сигару, глаза выкатились из орбит. Этот господин нервничал, он потерял способность разговаривать: его высмеял какой-то рабочий!

— Кто? Как? Что? — задыхался он. — Как фамилия этого человека? Форман, как зовут этого человека? Витол? Чтобы я больше не видел этого Витола. Ни на одном пароходе! Слышите?

— Как вам будет угодно, хозяин.

Волдис рассмеялся. Сильное возбуждение придало ему спокойствие. Его прогоняют с парохода, но ему сейчас все безразлично. Он еще раз обернулся к стивидору:

— Не думайте, что вы избегнете расплаты! Я знаю, что вы не собираетесь учреждать богадельню для этих «не-ос-то-рож-ных». Пусть они скитаются по свету, пусть нанимаются в ночные сторожа, если их возьмут, пусть нищенствуют и садятся в тюрьму, если их не примут в другом месте. Вы ведь ради этих людей не откажетесь от очередной бутылки шампанского!

Волдис сел в машину скорой помощи. Зарычал мотор. Карл пришел в себя. Он протянул руку и крепко-крепко сжал пальцы Волдиса. Автомашина мчалась по неровной дороге, качаясь и подпрыгивая. Малейший толчок вызывал новые приступы жгучей боли в сломанной ноге.

Была ли тому причиной невыносимая боль в ноге, или что-то другое болело еще больше, но внезапно глаза Карла наполнились слезами. Он крепко сжал зубы, стараясь подавить приступ слабости, рот судорожно кривился от сдерживаемых рыданий, вздрагивали щеки. Некоторое время он не мог ничего выговорить. Волдис склонился к нему, не выпуская из рук натруженную, испачканную маслом руку своего друга.

— Успокойся, все будет хорошо.

Тихие, успокаивающие слова подействовали, как подлитое в огонь масло. Глазами, полными слез, Карл посмотрел на Волдиса.

— Волдис... — выдавил он с трудом и оборвал. — Волдис, теперь я должен отказаться от всего. Калека не имеет права ни на что. Калеке... остаются... объедки.

— Ты вовсе не калека, успокойся. Ногу вылечат, кость в этом месте будет еще прочнее.

— Не успокаивай... Я не ребенок. Все понимаю. Я теперь неполноценный человек. Кому я теперь нужен? Эх!.. Смокингу повезло...

Он все еще думал об этой женщине! Знал, что борьба проиграна, и все же думал.

— Смокинг счастливее меня... — Он горько улыбнулся. На щеках показалось несколько капель влаги, возможно, это был пот.

Автомобиль остановился у городской больницы. Любопытные прохожие смотрели, как санитары выносили человека. Из одного сапога сочилась кровь и редкими густыми каплями падала на носилки. Несколько капель упало и на посыпанную гравием дорожку.

* * *

Волдис пришел домой и переоделся. Возвращаться на пароход не имело смысла — он был уволен. Возможно, кто-то уже работал на его месте. Ну уж нет, просить прощения он не пойдет, этого хозяева не дождутся. За что он должен просить прощения? За несколько слов правды, сказанных стивидору?

Волдис поехал в Задвинье, чтобы рассказать соседям Карла о случившемся несчастье. Родных у Карла не было. Он жил на одной из окраинных улиц, в маленькой квартире второго этажа. Волдис раньше бывал здесь.

Из-за резкости характера Карл не пользовался здесь особой любовью. Квартирная хозяйка и соседи довольно равнодушно приняли известие о его увечье. Хозяйка, судя по желтому цвету ее лица и обтянутым скулам, страдавшая катаром желудка, только кивнула головой и облизала кончиком языка уголки губ.

— Это хорошо, что вы пришли сказать. Мы заявим в полицию. Квартиру пока сдавать не будем.

Вспомнился полный отчаяния взгляд Карла. Бедный

друг! Может быть, тебе ампутируют ногу и ты будешь ходить на деревяшке. Тебе разрешат играть на шарманке или предоставят место в убежище для инвалидов. А может быть, все обойдется — хирургия ведь творит чудеса. И тем не менее Милия для тебя потеряна. Ты сказал: калекам остаются объедки. Милия не объедок... а может быть, и объедок. Кто как понимает это.

Милия... Что она скажет? Не будет ли это для нее радостным известием? Карл — калека, и она свободна от всяких обязательств по отношению к нему. Нельзя же требовать, чтобы она принесла себя в жертву калеке. Да, это событие облегчило ее положение. Бревно решило все.

Милия... И все же ей придется пожалеть. Она виновата. Из-за нее Карл был таким рассеянным. Думая о ней, он вовремя не заметил опасность. Надо нарушить ее душевный покой, чтобы сон бежал от нее ночью, чтобы постоянно что-то грызло и терзало ее сердце.

Волдис направился к Риекстыням. Чем ближе подходил он к их дому, тем нелепее казался ему его план мщения. Но у калитки ему не пришлось долго раздумывать, так как Милия находилась в это время в саду.

Тот же гамак висел между теми же яблонями. Та же самая женщина качалась в нем, показывая голые колени. Только человек, который раскачивал гамак и, тяжело вздыхая, смотрел на нее, носил длинные волосы, как артист. И у него были тонкие-тонкие, прозрачные пальцы.

Милия выскочила из гамака с радостным восклицанием, не выказывая ни малейшего смущения.

— Какая приятная неожиданность, господин Витол! — вскрикнула она, схватив Волдиса за руки и бросив одновременно быстрый взгляд на своего поклонника. — Разрешите познакомить вас: господин Витол — господин Пурвмикель.

Пурвмикель встал и подал руку. Волдис пытливо посмотрел на молодого человека. Он кое-что слышал о нем. Пурвмикель преподавал литературу в средней школе и писал стихи, которые изредка печатались. Значит — поэт.

«Так, так... — думал Волдис. — У нее уже были рабочие, сержанты, даже чиновники. Только поэта не хватало, теперь заполнен и этот пробел. Будет ли этот тип

в ее коллекции последним? Если нет, то каким будет следующий экземпляр?»

Молодой поэт охотно бы сказал что-нибудь, но не мог сразу подыскать подходящую тему. Ведь разгадать вкус незнакомого человека — это более трудная задача, чем найти рифму к словечку «хм».

Волдис избавил его от этого испытания.

— Мадемуазель Милия... — заговорил он. — Мне нужно вам кое-что сказать.

— Пожалуйста, пожалуйста. Надеюсь, ничего такого, чего нельзя слышать моим друзьям?

Поэт закашлялся, вынул носовой платок и отошел в сторону.

— Не убегайте же, господин Пурвмикель! — воскликнула Милия, но Пурвмикель уже сосредоточенно нюхал цветы и из скромности сделал вид, что не слышит слов Милии. — Пожалуйста, говорите!

Она опять обратилась к Волдису на «вы».

— Только... пожалуйста, не волнуйтесь, — то, о чем я вам хочу сообщить, довольно трагично! — намеренно будоражил Волдис Милию.

Он не ошибся: если Милии что-нибудь запрещали — она этого хотела, если ей что-нибудь расхваливали — она на это не смотрела. Она походила на козу: если ее выпустить на поросший густой травой луг, она не притронется к сочной траве, а будет тянуться через изгородь или канаву к недоступным ей лопухам. Если перед ней положить охапку сена, — она не будет его есть, но если эту же охапку положить на крышу или подвесить куда-нибудь, — она целый день станет прыгать и тянуться к запретному лакомству.

Милия прижала руки к груди, она не могла дождаться продолжения.

— Карл... — начал Волдис и тяжело вздохнул, опустив голову.

— Что с Карлом? Что он сделал? — Милия краснела и бледнела, охваченная смутным предчувствием.

— Карл... сегодня... — Он опять смолк, как бы подыскивая слова.

Милия, широко раскрыв глаза, схватила Волдиса за руки. И чувство, изменившее теперь ее красивое лицо, было только безграничным, безудержным любопытством.

— Он... покончил с собой? — тихо проговорила она тоном, заимствованным у героинь сердцещипательных мелодрам.

Какое тщеславие у этой женщины! По-кон-чил с собой! Ради нее! Она мечтала о такой рекламе для себя.

— Нет, Карл не настолько глуп, чтобы из-за таких пустяков решаться на самоубийство! — хладнокровно ответил Волдис.

Милия покраснела, как маков цвет. О, она готова была убежать, спрятаться. Какое разочарование! Она готова была расплакаться от злости и стыда.

— Так что же с ним случилось? Говорите скорее!

Она бы топнула ногой, если бы Пурвмикель не смотрел в ее сторону: пока она должна сдерживаться, характер можно будет проявить лишь после свадьбы.

— Карл сломал ногу.

Лицо Милии разочарованно вытянулось, но она быстро овладела собой.

— Какой ужас! Как это страшно! Расскажите, как это произошло. Ах, я даже не могу себе представить!..

— Он лежит в хирургическом бараке, койка двадцать три. Прием посетителей с двух до четырех.

— Он теперь будет хромым?

— Возможно. А теперь извините — мне некогда.

— И вы не расскажете, как это произошло?

— Это только расстроит вас. Разрешите пощадить ваши нервы. Будьте здоровы!

Поэт отнял нос от яблоневой ветки и поклонился. Милия стояла, широко открыв глаза, и теребила обшлаг блузки...

Волдиса уволили. На следующий день он пошел в порт, взяв свой инструмент — багор, и стал бродить в поисках работы. Подступиться к чужим форманам было трудно, у них были свои люди; а из нового профсоюза на каждый пароход посылали по мере надобности штрейкбрехеров. Судов полная гавань, и все же не всем хватало работы.

Волдис вспомнил политику кабаков, совместной выпивки. Да, это помогло бы, но он больше не желал идти этим путем.

Капля за каплей собиралась в душе горечь. Мелкие, крошечные уколы, пустячные занозы чувствовались ежедневно, к ним он притерпелся, забывая о них. Но теперь,

после того как искалечило Карла, Волдис почувствовал, что эта горечь превращается в сознательную ненависть. Вот чего и он может достичь своей работой: годами мытариться в порту, спаивать форманов, переносить брань, пока, наконец, на него не свалится бревно или бунт. Тогда он больше не будет нужен, ведь на свете столько здоровых людей!

Нет, он не пожертвует им больше ни капли, не сядет с ними за один стол. Если право на существование приходится приобретать таким путем, тогда оно не нужно. Если человек не может быть человеком, плевательницей становиться не стоит.

Через несколько дней он получил работу в портовом кооперативе. Здесь существовали те же порядки, что в конторах стивидоров, только от заработка приходилось отчислять еще пятнадцать процентов в пользу кооператива. Кто состоял в этом кооперативе? Горсточка рабочих, в прошлом штрейкбрехеров. Из этих пятнадцати процентов составлялась вполне порядочная сумма, распределявшаяся по окончании года исключительно среди пайщиков кооператива. Так рабочие эксплуатировали рабочих. Пример эксплуатации заразителен.

В воскресенье Волдис пошел в больницу навестить Карла.

— Зачем ты принес эту ерунду? — ворчал тот, увидев принесенные Волдисом апельсины и сладости. — Лучше бы притащил какую-нибудь книгу. Подыхаю от скуки.

— Тебя никто не навещал?

— Меня? Кто же ко мне придет, кроме тебя?

— Да, да... Я позабочусь о книгах. Что бы ты хотел почитать: роман или что-нибудь научное?

— Безразлично, что, только хорошее, интересное.

— Ладно, попытаюсь, может быть, даже завтра.

— Если только тебя пустят в больницу.

— Как-нибудь изловчусь. Ну, как нога? Операция прошла удачно?

— Кто его знает. Кость переломлена, оказывается, не в одном месте, а в двух, — сгоряча не разобрались. Сделали операцию. Теперь должно заживать.

— Что они говорят, хромать не будешь?

— Возможно, что не буду. Но я здесь видел людей, которым говорили то же самое, а в конце концов их

выписывали с несгибающейся ногой. Эх, чего там! Мне все равно, я приготовился к самому худшему.

— Ну, ну, опять разволновался.

— Я вовсе не волнуюсь. Все обдумано, все предусмотрено. Согласись, что только полноценному, здоровому человеку стоит жить. Какой смысл жить безногому, слепому, глухому, больному туберкулезом?

— Даже калеке имеет смысл жить.

— А что особенного представляет собой смерть? Только известное событие в неизвестном будущем.

— Довольно об этом. Эти глупости мы выбьем у тебя из головы. Кроме того, если ты что-нибудь сделаешь с собой, кое-кто истолкует это по-своему.

— Несчастная любовь? Ну нет, только не это!

— Многие так поймут. В том числе и она. Ты же не захочешь удостоить эту женщину такой большой чести?

— Конечно, нет.

Они рассмеялись и заговорили о другом. Время, отведенное для приема посетителей, незаметно подходило к концу. Завязалась оживленная беседа, и никто бы не сказал, что Карл своими остротами только пытался заглушить затаенную в глубине сердца тоску.

— Как ты переносишь запах лекарств? — спросил Волдис.

— Сначала тошнило. Всякие карболки, тинктуры, пластыри... Если бы ты знал, как скверно быть таким беспомощным ребенком. Молодые женщины обходятся со мной, как с бесполым существом. Стыдно даже подумать.

— Время истекло! — прервала медицинская сестра больничную идиллию. Раздались звуки поцелуев, кое-где на тумбочках увядали принесенные цветы.

— Тебе, конечно, понадобятся деньги, — сказал Волдис. — На, возьми несколько латов.

— Спасибо. Иногда сюда приносят газеты и фрукты. Когда ты опять придешь?

— Посмотрим, как выйдет. Если не удастся раньше кончить работу на пароходе, приду в следующее воскресенье. А книги постараюсь доставить завтра вечером. Никому не надо передать привет?

Карл горько усмехнулся.

Волдис вышел из палаты. По больничному саду гуляли выздоравливающие. Кое-где между кустов маячили

серые фигуры — с забинтованными головами, с висящими на перевязи руками, бледные и хилые. Женщины и мужчины. Страдание... страдание... Все бараки полны страданий. Каждую ночь кого-нибудь уносят в часовню: смерть была здесь частой гостьей.

Впереди Волдиса шла женщина — серый поношенный халат, белые больничные чулки, левая рука висела на перевязи. Она дошла до того места, дальше которого не разрешалось ходить больным, и повернула обратно. Волдис хотел пройти мимо и посторонился, боясь задеть больную руку женщины.

Женщина остановилась и посмотрела на Волдиса. Он взглянул на нее и покраснел — то ли от смущения, то ли от радости.

— Лаума! Ты! — горячо воскликнул он. — Сколько времени мы не виделись!

— Я уж думала, ты не захочешь меня узнать, — улыбнулась Лаума.

— А ведь я решил, что ты уехала из Риги. Ты давно в больнице?

— Недели три. А ты давно в Риге?

— Недели две. Что с тобой?

— Эх, не хочется и говорить о таких вещах. Скучная история.

— Тебе поранило руку?

— Немного. На работе занозила локоть. Стало нарывать, наверное началось заражение крови. Рука распухла, побагровела. Больше недели я ходила в амбулаторию, потом вдруг под мышкой воспалилась железа, сильно распухла. Дергало так, что ночью не могла спать... Но к чему я тебе рассказываю о таких мелочах. Не сердись за мою глупую болтовню.

— Лаума, будь такой же, как прежде. Мы относились друг к другу гораздо проще.

Девушка опустила глаза.

— Рассказывай дальше. Тебе сделали операцию?

— Да, разрезали нарыв. Теперь скоро поправлюсь. Еще одна перевязка и можно будет выписываться. Только... Боюсь, как бы не остаться с негнущейся рукой. Я слышала разговор заведующего бараком с ассистентом. Возможно, какой-то там нерв перестанет действовать. Я не могу выпрямить руку. Сейчас делают

массаж и электризацию, но что из этого выйдет — увидим!

Некоторое время они стояли молча. Мимо них деловито сновали санитары и сестры. Поблизости бродили скучающие больные; некоторые с любопытством поглядывали на них.

— Жалко тебя... — сказал еле слышно Волдис, глядя в сторону.

Лаума хотела улыбнуться, но Волдис был так грустен, что ее напускная беспечность исчезла.

— Жалко тебя... — повторил он и на прощанье пожал ей пальцы, на которых шелушилась темная, загрубевшая кожа.

Лаума ничего не ответила. Словно застеснявшись, она спрятала руку под полу халата.

* * *

— Вас ждет какая-то барышня! — сказала Андерсониете Волдису, встретив его во дворе.

«Конечно, Милия...» — подумал Волдис, подымаясь по лестнице и пытаясь вспомнить, в каком виде он оставил комнату.

Милия сидела, будто позируя фотографу, уставившись на свою сумочку. Когда вошел Волдис, она поднялась навстречу ему, серьезная, почти печальная. Сейчас ей была бы к лицу траурная вуаль. Она бесстрастно протянула Волдису свою теплую руку.

— Вы меня простите за беспокойство, — заговорила она, заметно подчеркивая слово «вы».

— Пока я не испытываю никакого беспокойства, — ответил он и сел напротив Милии. — Чем могу быть полезен?

Милия бросила сбоку быстрый взгляд на Волдиса. Он видел, что ей нелегко начать.

— Да, я хотела попросить о небольшом одолжении... Не думаю, чтобы это вас очень затруднило.

Волдис молча снял пылинку с рукава пиджака.

— Видите, Волдис... я теперь невеста... — проговорила она, наконец.

— Поздравляю... — На другом рукаве он тоже обнаружил пылинку.

— Вы понимаете мое положение. Мне до некоторой степени неудобно...

Весь костюм Волдиса оказался покрытым пылинками. Занявшись их обиранием, Волдис не находил времени, чтобы ответить. Наконец, когда Милия смущенно замолчала и выжидательно посмотрела на него, он поднял голову.

— Неудобно, вы говорите? В каком смысле?..

— Карл...

— Да, Карл в больнице — ждет, когда срастутся кости.

— Видите, я не хотела бы этого делать тайком...

— Как тайком?

— Но вы же знаете, что мы с Карлом... встречались.

— Да... Я тоже встречался с вами, вы ведь помните?

— Нет, это не то, — она покраснела и отвернулась. — С Карлом было иначе...

— Допустим, что я это знаю, все знаю...

— Тогда хорошо. Вы сами теперь понимаете, что я не могу поступить иначе.

— Вы выходите замуж?

— Да, за господина Пурвмикеля.

«Странно, — думал Волдис. — Своего жениха она зовет господином».

— Ну конечно, — он обернулся к Милии, — вы совершенно свободны.

— Я знаю. Но я боюсь, что Карл... человек больной... нервный... Все может случиться.

— Будьте спокойны! — Волдис встал и начал ходить по комнате.

— Вы думаете, Карл перенесет это? — голос Милии задрожал, но не от волнения — от нетерпения.

— Я его подготовлю...

— Вот об этом я и хотела вас просить.

— Видите, мы одинаково думали. Надеюсь, что и в остальном договоримся.

— То есть?

— Я говорю о том, как его подготовить.

— Ну, понятно, вы ему все осторожно расскажете...

— Безусловно все! — сказал Волдис и остановился. — И по возможности бес-по-щад-но!

— Я не совсем вас понимаю. Мне кажется, больного человека нельзя так...

— Потерпите, мадемуазель Милия, я вам расскажу свой план. Видите ли, к тому, о чем вы хотите сообщить с моей помощью Карлу, его совсем не надо готовить. Он все понял еще в тот вечер, когда вы уходили в театр.

— Ах, как я сержусь на маму за эту глупую ложь!

— Ее ложь открыла то, что вы хотели скрыть. Карл еще в тот вечер знал, что если вы и не стали еще, то скоро станете невестой.

— Волдис, вы смеетесь надо мной. Почему вы делаете ударение на слове «невеста»?

— Это вы сами очень хорошо знаете. Вернемся к делу. Значит, Карл знает. А чтобы у него не возникло нежелательного намерения что-нибудь предпринять, нарушить естественный ход событий, я его под-готов-лю. Знаете, как? Слушайте. Если он и попытается что-нибудь сделать, чтобы расстроить ваше будущее счастье (возможно и это), то только потому, что он вас любит и вы ему нужны. Чтобы предотвратить возможные эксцессы (господин Пурвмикель, надо полагать, очень щепетильный человек: поэты-эстеты не выносят грязи), нам надо сделать так, чтобы Карл разлюбил вас, чтобы вы в его глазах перестали быть тем идеальным, чистым существом, каким он вас считает. И поэтому я расскажу ему все!

— Боже мой!

— Я не пожалею себя. Покажу, каким хорошим другом я для него был, нарисую незабываемые часы, проведенные вами у меня, в этой комнате! Этому он поверит. Это будет холодным душем для его пылких мечтаний. Из-за таких женщин мужчины не стреляются. Кто так поступает — тот не мужчина. Вы, конечно, согласитесь, что иначе нельзя. Он должен вас очень презирать, чтобы счесть ниже своего достоинства причинить вред такой особе. Вы, конечно, читали «Даму с камелиями»? Видите, и здесь есть что-то от Маргариты Готье, с той лишь разницей, что вся эта комбинация принесет вам пользу, чего нельзя сказать про даму с камелиями. Один вас возненавидит, чтобы другой мог полюбить.

Милия встала. Она сверкающими глазами смотрела на Волдиса, ногти впились в ладони, она дергала ремешок сумочки и тяжело дышала.

— Мне всегда казалось, что вы не можете быть джентльменом! — с трудом проговорила она и, подняв голову выше, чем обычно, бросилась к двери. — Пить водку — это все, на что способны портовики!.. — добавила она уже в дверях.

Она ушла. А в комнате еще остался запах ее духов. Волдис широко распахнул окно.

. . . . . .

Через два дня — в то время когда Карлу ломали неправильно сросшиеся кости — Милия совсем тихо обвенчалась. Молодые решили провести медовый месяц в Видземской Швейцарии*. Поэт принялся писать свою первую поэму: такой грандиозный замысел был неосуществим среди камней пятиэтажного города.

Портреты молодоженов были помещены в газете.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Опять прошли недели. За это время Волдису удалось поработать лишь несколько дней. Он теперь часто ходил в больницу. Болезнь Карла затянулась; кости срослись неправильно, пришлось вновь сделать операцию, и Карла опять на несколько недель уложили в постель.

Лаума уже вышла из больницы, но Волдису не скоро удалось с ней встретиться. Наконец как-то вечером, возвращаясь из города с книгами для Карла, он встретил ее у киоска. Они вместе пошли домой.

— Ты опять работаешь? — спросил Волдис.

— Кто теперь возьмет меня на работу? — покачала девушка головой. — Хватает и здоровых людей.

— Твое место должно быть оставлено за тобой. Ты ведь заболела на работе.

— А как работать одной рукой? Я могу двигать левой рукой только в плече и в кисти, в локте она не сгибается.

Локоть девушки, слегка вывернутый наружу, неуклюже отделялся от туловища.

— Ты уже была на комиссии?

— На какой?

— Тебе же надо установить процент потери трудоспособности. Во всяком случае, ты должна получить хотя бы единовременное пособие.

— Нет, на комиссии я не была. Да и не к чему ходить. Врач и эксперты в этой комиссии держат сторону хозяев: ворон ворону глаз не выклюет.

— Ты можешь подать в суд.

— Закон не за бедняков. Мой дядя упал в пустой трюм и повредил череп; с того времени он стал слабоумным, только смеется и плачет. Его тоже послали на комиссию, взяли даже адвоката. И что из этого получилось? В комиссии ощупали кости и признали его вполне здоровым, а адвокат получил взятку от страхового общества и отказался вести процесс. По их мнению, человек может работать, даже когда потерял рассудок.

— Да, у нас такие вещи возможны. Так, значит, ты и не пыталась отстаивать свои права?

— Не стоит, все равно ничего не получится.

— Как же ты теперь думаешь жить?

— Как-нибудь проживу. Буду ходить в порт, на пароходы, собирать в стирку белье. Мать будет стирать, я — гладить. Проживем.

— Это-то да. Мы, рабочие, привыкли жить на гроши. Многие не могут понять, как мы из своего ничтожного заработка выкраиваем не только на еду, но даже и на одежду. Да, но теперь твоей самостоятельности опять конец?

— Ах, разве я когда-нибудь была самостоятельной!

Лаума остановилась, так как они уже дошли до ее калитки.

— Поговорим еще, — сказал Волдис. — Мы так редко встречаемся. Конечно, если у тебя есть время.

— Немного можно. С тобой так хорошо говорить. Ты никогда не смеешься надо мной, если я скажу какую-нибудь глупость. Тебе я могу сказать все, и мне совсем не кажется, что это смешно. Но здесь нам нельзя стоять, меня скоро будут искать.

— Пройдемся.

— Как хочешь.

Они двинулись вдоль улицы.

— Что ты делаешь по вечерам? — спросил Волдис.

— Что мне делать? Каждый вечер приходит Эзеринь, и я должна сидеть с ним и разговаривать.

— И грызть подсолнухи?

— Да, если он принесет. Иногда меня посылают за папиросами. Он много курит. Мать обычно держит про запас несколько пачек... Недавно у него умерла тетка. Эзеринь получает наследство — две тысячи латов и деревянный домишко в Саркандаугаве.

Девушка замолчала и как-то внутренне сжалась. Волдис понимающе свистнул.

— Так вот какие дела! Он становится самостоятельным.

— Да.

— Когда же ваша свадьба?

— Эзеринь хочет в Мартынов день, потому что сейчас еще нельзя получить наследство, нужно все оформить.

Девушка еще больше сжалась. Когда она снова заговорила, голос ее был почти беззвучен. Она старалась не глядеть на Волдиса.

— Мать не хочет, чтобы он знал про руку.

— Умная мать! Да разве он сам этого не видит?

— Дома я ношу блузку с широкими рукавами.

Они остановились.

— Ой, как мы далеко зашли! Меня начнут разыскивать.

— Пойдем обратно.

— Да, вернемся.

— Лаума! — Волдис сказал это так тепло, что девушка решилась взглянуть на него. — Не слишком ли это рискованная игра?

— Что?

— Ты выйдешь за него замуж... он в конце концов узнает, какая у тебя рука, — разве тогда тебе легче будет?

— А мать...

— Матери что — мать отделается от тебя, а о будущем тебе придется думать самой. Ты знаешь, какой он.

— Сейчас он очень ласковый.

— С тобой он пока ласков. Но ведь ты знаешь, каков он с другими, он может пырнуть ножом. У него падучая.

— Он задевает только мужчин.

— Когда-нибудь он может забыть, что ты не мужчина.

Она долго не отвечала.

— Подумай об этом...

Лаума подняла голову. На мгновение в ее глазах вспыхнуло что-то похожее на надежду.

— Ну, а что же мне делать? Скажи, что делать?

Волдису нечего было сказать. Лаума опять разочарованно опустила глаза. Дальше они шли молча. Вдруг Волдис заметил, что Лаума вздрогнула и сразу как-то съежилась.

— Что с тобой? — спросил он тихо.

Она ничего не ответила и ускорила шаги. Он поспешил за ней, и вскоре они опять пошли рядом.

— Ради бога, отойди! — умоляюще взглянула девушка на Волдиса. Ее лицо выражало нескрываемый животный страх.

— Что случилось? Ты на меня рассердилась?

— Моя мать... Не иди рядом со мной. Сделай вид, что мы незнакомы.

Только теперь Волдис заметил идущую навстречу им пожилую женщину, но было уже поздно: она находилась шагах в десяти от них. Жидкие космы седых волос в беспорядке падали на лоб и уши, она шла, не спуская глаз с девушки. Издали казалось, что она улыбается, но, подойдя ближе, Волдис увидел, что это был настороженный взгляд подкрадывающегося хищника. Вначале она ничего не говорила. Подбежав к Лауме, она подняла свой высохший кулак и так толкнула девушку, что та пошатнулась и чуть не упала. Лаума съежилась; защищая лицо, она закрыла его больной рукой. Мать толкнула ее еще раз.

— Так-то ты ходишь за газетой! Таскаешься с разными прощелыгами! Человек ждет ее дома весь вечер, а она шляется по улицам! Погоди ты у меня, погоди! Уж я тебе теперь покажу, потаскуха этакая!

— Постыдись, мать! — умоляюще проговорила Лаума. Но Гулбиене уже не владела собой. Она не замечала выбежавших за ворота и высунувшихся из окон домов любопытных, привлеченных ее криком. Встречные останавливались, с усмешкой глядя на странное шествие.

Волдис содрогнулся, представив себе, что должна чувствовать Лаума, провожаемая насмешливыми взглядами зевак, пристыженная и униженная до последней степени. Что это за мать, которая так унижает свою дочь перед чужими людьми!

Чем больше собиралось вокруг зрителей, тем сильнее кричала старуха.

— Ишь ты, какая дама! Поймала на улице кавалера! Человек весь вечер сидит у нас, ума не приложишь, куда она делась, а она шляется по улицам! Что я теперь ему скажу? Отвечай, ты...

Волдис наконец не выдержал. Он ускорил шаги и нагнал ее.

— Послушайте... мать, что вы кричите без причины? Она вовсе не шляется. Я ее пригласил немного прогуляться, мы с ней знакомы, работали вместе на заводе. Если я кому-нибудь помешал, обвиняйте меня, браните со мной. Я...

Ему не удалось кончить. Желтое лицо Гулбиене, покрытое сетью морщин, повернулось к нему. Несколько секунд женщина презрительно мерила его с ног до головы взглядом, после чего прозвучал резкий крик, похожий на карканье вороны:

— А вы кто такой? Что вы от меня хотите? Что вам нужно от моей дочери? Ишь, какой защитник нашелся! — Она повернулась к кучке зевак и с издевкой показала на Волдиса. — Я позову полицию!

Лаума шла торопливо, почти бежала, чтобы скорее скрыться от любопытных взглядов. За ней по пятам следовала мать. Обе одновременно подошли к калитке и скрылись во дворе.

Волдис остановился. Он услышал глухие удары. Так бьют кулаком по спине или груди. Затем опять, еще и еще... Мать избивала Лауму. Издали можно было слышать эти тяжелые, глухие удары. Старуха не говорила ни слова, девушка даже не вскрикнула.

Волдис прислушивался, пока звуки ударов не смолкли. Скрипнула дверь. Как ему хотелось броситься вслед им, оттолкнуть эту сумасбродную старуху.

С тяжелым чувством он наконец ушел. Последние зеваки еще поглядывали на него, единственного оставшегося на улице участника скандала, следили за выражением его лица, за каждым его движением. Но когда он

вызывающе остановился и, не спуская глаз, стал смотреть на них, они, как побитые собаки, разошлись.

Все последующие дни Волдис был подавлен. Без всякого интереса ходил он ежедневно в порт. Если случалась работа, он вяло выполнял ее, с трудом дотягивая до вечера. Если работы не было — шел домой и целыми часами сидел у окна, глядя на пустынный двор. Голова была полна дум о себе, о своей жизни, затерянной в громадной пустыне.

«Почему я живу именно здесь? — спрашивал он себя. — Почему не в Курземе, не на острове Роню или не на взморье? Почему я работаю в порту? Разве это единственная работа, на которую я способен? Кем еще я могу стать?»

Вопрос был очень прост, и все же Волдис томился долгими вечерними сумерками и не мог найти ответа.

Не был ли он все это время простофилей? Простаки сильны своей простотой, ибо они ничего не оценивают и не сравнивают. Но как только они начинают сомневаться в чем-нибудь, во что раньше безгранично верили, они теряют покой и самоуверенность. Ведь не всегда приятно думать о завтрашнем дне и гадать об осуществимых и неосуществимых возможностях, — часто мысли о завтрашнем дне срывают покров, оголяют пустоту и бессодержательность настоящего. Открывать наготу неприлично, этого не допускает общественный порядок.

Волдис размышлял. Он взвесил все свои виды на будущее. Продолжать жить по-прежнему — работать на пароходах, зимой уезжать на лесоразработки, весной сплавлять лес, кормить вшей, получить ревматизм, надрывать свои мускулы, растрачивать за гроши свою силу, чтобы в конце концов какая-нибудь доска или бревно искалечили его, изуродовали или сделали слабоумным? Можно ли довольствоваться этим?

Волдис думал о порте, кормившем его в течение года. Рабочего здесь высмеивают, унижают. Для него не существует прав, с ним делают, что хотят. Где-то жизнь идет вперед неуклонно, ведется великая борьба за справедливость на земле, рабочий класс завоевывает одну позицию за другой, но этот уголок земного шара, должно быть, изъят из общего прогресса. Здесь приходится те-

рять, здесь теряют одно завоевание за другим. Что было вчера, того уже нет сегодня, а что есть сегодня, будет отнято завтра...

С каждым годом в Риге растет дороговизна, с каждым годом понижается заработная плата рабочих. Недалек тот день, когда рабочий не будет в состоянии заработать даже прожиточного минимума.

Но гудки воют утром и вечером. Воют и требуют тела рабов, их пота, их достоинства. И на этот вой отзываются с чердаков, из окраинных лачуг тысячи голодных...

Нет, это не жизнь.

Волдис вспомнил о Лауме. Еще несколько дней, и ее втопчут в болото страданий и несправедливости. Раздавят, как репейник при дороге. Этого нельзя допустить, она ведь достойна лучшей участи. Чем он мог ей помочь? Ему было жаль девушку, но впереди его ожидает борьба — тяжелая, может быть, роковая для него?

Так что же делать?

Он совершенно одинок, из всей семьи он один остался в живых. Ничто его не связывает с пятиэтажным городом, с таким же успехом, как в Риге, он мог прозябать в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе. И, возможно, где-нибудь в другом месте живется лучше. Где-нибудь в другом месте проливаемый им пот, возможно, оплачивался бы лучше, справедливее. В Соединенных Штатах или на других континентах? Есть же счастливые страны, где нет безработицы и где у каждого свой автомобиль! Америка — страна широких возможностей! Австралия — далекое сказочное царство! Как велик и многообразен все-таки мир...

Однажды утром Волдис Витол не пошел на работу. Он, правда, ходил по порту, поднимался на пароходы, но не искал встреч с форманами. Волдис решил стать моряком. Он ходил долго, несколько недель, потому что не один он подыскивал работу.

Торговый флот Латвии рос с каждым днем. Судовладельческие компании скупали одно за другим старые заграничные суда. Вместе с увеличением числа пароходов возрастало число моряков. В Латвии было много молодых людей, которые, начитавшись Жюля Верна и Майна Рида, мечтали о море, кругосветных путешествиях и о неведомом счастье в неведомой дали. Все они

были упорны, предприимчивы и полны веры в осуществимость своих мечтаний. Они обходили пароходы, месяцами околачивались возле контор пароходных компаний и ватершаута. Некоторым из них в конце концов действительно удавалось устроиться на корабль.

Больше месяца проходил Волдис в поисках работы. Каждое утро он отправлялся в порт, везде предлагал свои услуги, и всюду ему вежливо и чуть-чуть насмешливо отказывали.

Незаметно наступила осень. Дни стали короче, было ветрено, сыро, неуютно. Наконец случай пришел на помощь Волдису. Ему посчастливилось быть на одном пароходе в тот момент, когда кто-то из кочегаров взял расчет. Волдис тотчас предложил себя механику на место уволившегося. Так как пароход через два дня выходил в море и команда в этот день должна была подписать договор, механик не мог медлить. Волдиса приняли.

Неожиданная удача словно окрылила его. Разговаривая сам с собой, он бежал домой, чтобы уложить вещи и вечером же перебраться на корабль со всеми пожитками.

Да, теперь было что приводить в порядок. Волдис не знал, что брать, что оставлять. Разложив все свое имущество на кровати и на столе, он трудился весь остаток дня, укладывая мешок и коричневый сундучок.

За этим занятием и застал его Карл, только третьего дня выписавшийся из больницы. Волдис еще не успел рассказать ему о своих планах. Карл вошел, опираясь на костыль, переставляя правую ногу, как деревянную палку, — нога не гнулась в колене.

— Что это за барахолка? — Карл с удивлением осмотрел комнату.

— Как видишь — Юрьев день *.

— Ты переезжаешь?

— Да переезжаю. Ухожу в плаванье.

— Что? В плаванье? Парень, да ты в своем уме? — недовольно поморщился Карл.

— Чему ты удивляешься?

— В плаванье... Какие блага тебя там ожидают? Ты думаешь, хлеб моряка слаще нашего, портового?

— Я знаю, что не слаще, но наш мне кажется несъедобным. Я хочу разнообразия.

— Странный каприз! Я вдоволь насмотрелся на жизнь моряков. Впятеро больше смысла идти второй раз на военную службу, чем задыхаться в тесных, грязных кубриках.

— Но белый свет, Карл, чего-нибудь да стоит. Я уеду, но не уверен, вернусь ли обратно. Чего бы то ни стоило, я хочу переплыть океан, попасть в Америку или Австралию. Почему я должен работать здесь, в Латвии, за полцены, если в другом месте за мою работу мне заплатят лучше? Почему я должен плесневеть здесь, в этом тупике, видеть одни несправедливости, когда в другом месте я, может быть, обеспечу себе завтрашний день?

Карл уселся, осторожно вытянул больную ногу. Он некоторое время задумчиво глядел куда-то вдаль, затем повернулся к Волдису, серьезный и притихший.

— Почему ты хочешь искать лучшее будущее где-то за границей? Почему ты не хочешь завоевать и дождаться его здесь, в своей стране? Сам, своими руками построить здание новой, лучшей жизни, как это сделали русские?

— Здесь это не так скоро можно сделать, — сказал Волдис.

— Если все будут думать так, как ты, тогда, конечно, ничто не изменится, — продолжал Карл. — Нужно делать, чтобы было иначе. Многие должны желать — большинство людей! Не нужно бояться трудностей, борьбы и жертв. Без жертв такие дела не делаются. А ты... Вместо того чтобы завоевывать в своей стране справедливую жизнь, достойную человека, ты хочешь найти страну, где еще можно сносно дышать. Это неправильно. Это... дезертирство.

— Мне надоело быть рабом. Я не хочу продолжать жизнь без тепла и света.

— Волдис, дружище, неужели ты в самом деле не знаешь, что за исключением Советского Союза нет в мире такой страны, где нет рабов? Будешь ли ты рабом в Риге, Нью-Йорке, Сиднее — этого проклятия ты нигде не избегнешь. Разница будет заключаться только в том, что вместо латвийского буржуя тебя будет эксплуатировать и угнетать американский или австралийский. Стоит ли для этого скитаться по свету?

Волдис сел на кровать и стиснул голову руками.

— Я понимаю, Карл, — тихо сказал он. — Мир полон

несправедливости и горя, а это — горючий материал, который рано или поздно должен вспыхнуть. Но когда это случится? Почему я должен сидеть на месте и ждать, когда в Латвии что-нибудь начнет тлеть? Я хочу сам видеть, как живут люди в разных уголках земного шара. Возможно, что это нестоящая затея, возможно, что мне самому все это скоро надоест, но если я сейчас не уеду, буду об этом жалеть всю жизнь.

Карл больше не пытался его отговаривать.

Два часа спустя они покинули дом на улице Путну. Волдис уплатил за квартиру за весь месяц, и седая святоша проводила его до самых ворот с пожеланиями всяческого благополучия.

Под вечер стало тепло. Согретые солнцем камни мостовой еще не успели остыть. Дойдя до угла улицы, где надо было сворачивать к порту, Волдис остановился, поставил вещи на землю, чтобы передохнуть. Улица Путну по-прежнему дремала, скромно мечтая о сытости. Из бакалейной лавки доносился запах селедки, к нему примешивался аромат дешевого одеколона из соседней парикмахерской. По мостовой прыгали воробьи, маленькие серые птички, переносившие суровую зиму среди этих холодных каменных стен. Их не трогали крики осенних перелетных птиц, у них хватало терпения дождаться новой весны здесь, на мостовой пятиэтажного города. Маленькие отважные зимовщики...

Волдис оглянулся. Вдалеке виднелась желтая калитка, закрытая, безмолвная. Желтая деревянная калитка, за которой жила, страдала и так же горячо, как все живое, мечтала о лучшей жизни человеческая душа.

Волдис оглянулся еще раз, но калитка не отворилась, и никто из нее не вышел. Тогда он нагнулся, поднял вещи, и все время, до самой гавани, его не покидало смутное тяжелое чувство. Ему казалось, что он кого-то покинул и тайком уходит от своего долга.

Загудели гудки. Сначала одни — тонким, пронзительным голоском, затем другие — усталые, тоскливые, злые и резкие. Сотни близких и далеких звуков слились в мрачный сплошной гул.

То гудел пятиэтажный город.

Часть вторая



ПО МОРЯМ

16—2343

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Если вы хотите знать, как выглядит каюта кочегаров (или «кубрик», как его называют моряки) на старых транспортных пароходах, то представьте себе тесное помещение в форме клина, широкий конец которого равен примерно четырем метрам. Постепенно суживаясь, оно доходит до одного метра. К стенке парохода пристроены в два яруса шесть коек, возле поперечной перегородки в широком конце помещения — еще две; и все эти маленькие клетки заполнены истрепанными тюфяками, испачканной, пропитавшейся угольной пылью одеждой, грязным бельем. На одних койках есть подушки, на других нет. На проволоках и тонких веревках висят полотенца, тряпки, носки, рубахи. На самодельных стенных полках или просто в ящиках хранится имущество моряков: зеркальца, коробки с табаком, почтовая бумага, белье.

Посреди кубрика стоит некрашеный деревянный стол с бортиком высотой сантиметров в пять — чтобы при качке не падала посуда. Вдоль бортика постоянно скапливаются хлебные крошки, капельки застывшего сала. Хотя стол ежедневно моют, чистым он не бывает никогда. Обстановку завершают несколько некрашеных деревянных скамеек.

Узкая дверь ведет в темный коридор, разделяющий кубрики кочегаров и матросов. В узком конце кубрика, рядом с дверью, стоит шкаф с посудой и продуктами; он выкрашен в темно-коричневый цвет — под цвет бортов коек.

Что еще? Довольно низкий потолок; три круглых отверстия, которые хотя и именуются гордо иллюминаторами, но не в состоянии осветить тесное помещение, — поэтому здесь день и ночь горит маленькая керосиновая лампа; есть еще чугунная печка, — чтобы в кубрике было тепло, не чувствовалось недостатка в золе, пыли и копоти, чтобы воздух был тяжелым, пахло серой, газами, а одежда быстрее грязнилась и чернела.

Таков был кубрик, куда третий механик парохода ввел Волдиса Витола, когда тот явился на «Эрику» со своим багажом. Механик приоткрыл дверь, указал на свободную койку в широком конце кубрика и сказал:

— Устраивайтесь! Сложите ваши вещи и попросите у стюарда тюфяк.

Семеро мужчин, черных, как трубочисты, в лоснящейся, промасленной одежде, ужинали. За столом места хватало только шестерым, седьмой сидел в сторонке, на краю койки, держа в руках тарелку с жареной треской.

— Добрый вечер! — поздоровался Волдис.

Только один из сидевших что-то сдержанно пробурчал в ответ. Остальные сделали вид, что не слышали приветствия.

— Новый трюмный, что ли? — повернулся, наконец, один к вошедшему. Это был худощавый, высокого роста человек лет сорока. Один глаз у него косил.

— Да, меня сегодня приняли, — сдержанно ответил Волдис.

— Садись, чего стоишь, — косоглазый указал на скамейку. — Вон там твоя койка, складывай туда свои манатки. — Затем он повернулся к сидевшему на койке товарищу: — Гинтер, почему нет кофе?

— Сейчас!

Гинтер, тонкий и высокий паренек с угловатыми движениями, поставив тарелку на койку, вытер грязной рукой рот и вышел, громко стуча деревянными башмаками.

Волдис сел. Он слушал звон посуды и звуки чавканья, и его все больше охватывало неприятное ощущение. Незнакомые, равнодушные лица, тесно набитое дымное, темное помещение — все казалось холодным и враждебным. Он взглянул в узкий угол. Там висели

костюмы, пальто, шапки — все в куче, без всякого порядка, измятое. Ему тоже придется повесить туда свой новый костюм и недавно купленное летнее пальто.

— На каком пароходе ты последний раз плавал? — спросил один из кочегаров, с узенькими глазками, заносчивым выражением лица и жидкими волосами. Это был Зоммер; он имел привычку постоянно дергать носом и проводить по нему пальцами сверху вниз, хотя в этом не было решительно никакой необходимости.

— Я еще не плавал, — ответил Волдис и сразу почувствовал, что общее равнодушие перешло в насмешливое любопытство.

— А, вон как? — протянул Зоммер, проведя рукой по носу и криво усмехнувшись левым уголком губ. — И не боишься?

— Чего бояться?

— Моря, волн, морской болезни...

— Как я могу знать? Поживем — увидим.

— Да, да, да... Увидим, — усмехнулся Зоммер и принялся ковырять в зубах. — Черт возьми, куда это Гинтер девался со своим кофе?

Там был еще маленький Блав — черный, курчавый, с вечно немытым лицом. Был косоглазый Андерсон — с тонким женским голосом, иногда до смешного чистоплотный (особенно когда чистоту можно было требовать от других), а чаще — опустившийся и оборванный. Фрицис Ирбе, только недавно получивший повышение и переведенный из помощников кочерага в кочегары, — одного примерно возраста с Волдисом, среднего роста, с чуть рябоватым лицом. Замкнутый, молчаливый Зван — невысокий, плечистый, с немного кривыми ногами и мускулистыми руками. Длинноусый Зейферт — неразговорчивый, сутулый, почти беспрерывно кашлявший. И второй трюмный Гинтер, посланный за кофе. Таково было общество, членом которого стал теперь Волдис.

— Ты не будешь есть? — обратился Зван к Волдису, когда все кончили ужинать. — Иди налей себе кофе.

Волдис съел два ломтя ржаного хлеба с маслом и принялся устраиваться. Получив тюфяк, положил его на койку, застелил простыней и одеялом. Его предшественник оставил ему маленькую полочку

и несколько гвоздей в обшивке стены, на которых Волдис развесил свои вещи.

Кочегары умылись и один за другим ушли на берег. В кубрике остались только Гинтер, убиравший посуду, Зван и Волдис.

— Завтра тебе придется мыть посуду! — сказал Гинтер Волдису. — Один день тебе, другой — мне.

— А остальные?

— Кочегары не моют. Это обязанность трюмных.

— Почему так?

— Потому что мы помоложе и пониже чином. Мы должны подметать кубрик, чистить лампу и мыть гальюн.

Здесь существовали ступени — высшие и низшие. Такое открытие не очень-то обрадовало Волдиса, но он промолчал.

— Обойдемся, — ответил он Гинтеру. — Ничего страшного нет.

— Не совсем так. В те дни, когда ты будешь бачковым*, ты не сможешь пойти, куда хочешь, как остальные. Вечером придется убирать кубрик, а в воскресенье нужно постоянно находиться на судне. Да и вообще у нас, трюмных, нелегкая жизнь: где только работа погрязнее, туда посылают нас. Кочегары не полезут за брандмауэр, не станут чистить колосники, — это приходится делать нам.

Не зная, что отвечать, Волдис молчал и наконец лег от скуки на койку. На нижней койке валялся Зван. Он не произнес ни слова, только курил папиросу за папиросой и ворочался с боку на бок. Гинтер кончил уборку, умылся и тоже отправился на берег.

Скучно и однообразно тянулось время. В матросском кубрике кто-то учился играть на мандолине. Порой что-то стучало на палубе.

Спать не хотелось. Волдис думал о том, что наконец-то он добился своего: стал моряком. Но чего он достиг? Незнакомые, недоверчивые люди, незнакомая работа, море... Впереди всякие случайности...

Но за этими серыми буднями, за этим монотонным, серым оцепенением расстилались просторы всего мира! Да, просторы...

* * *

Было, вероятно, около семи утра, когда Волдиса разбудили.

Какой-то матрос толкнул его в плечо.

— Эй, новичок, вставай. Неси кофейник в камбуз!

Волдис поднялся, сел на койке и, протерев глаза, стал одеваться. Вахтенный вышел. Большой, залепленный гущей кофейник с облупившейся эмалью был еще наполовину полон вчерашнего кофе. Волдис взял его и, когда хотел уже выйти, услышал за спиной ворчанье Гинтера.

— Что ты говоришь? — спросил Волдис.

— Вылей гущу и ополосни кофейник, иначе из него нельзя будет пить.

Так началась жизнь Волдиса на пароходе. На завтрак была кашица из молотого мяса и хлеб с маслом. Раньше всех вскочил маленький Блав, вероятно мучимый голодом, тогда как другие, поздно вернувшиеся с берега, наслаждались еще крепким, сладким сном. Постанывая в полусне, они кутались в тонкие одеяла и поворачивались к стене.

Без четверти восемь встал Зван, молча положил на тарелку свою порцию и начал медленно, сосредоточенно жевать. К нему присоединился Гинтер. И только без пяти восемь зашевелились остальные. Они торопливо, ничего не видя опухшими со сна глазами, соскакивали с коек, пошатывались, натыкались на стол и отчаянно чертыхались. Сопя и кряхтя, они старались попасть ногой в штанину, ругались по-английски и вообще всячески выказывали свое недовольство. Зоммер, фыркая носом, поковырял в тарелке и отвернулся.

— Вчера бурда, сегодня бурда, завтра бурда, послезавтра... Что это за наваждение, неужели кок ничего больше не может придумать? Тьфу!

Пофыркав и покрутив носом, он в конце концов все же сел за стол и принялся за только что сурово раскритикованный им завтрак.

В восемь раздался стук в дверь каюты.

— Пошевеливайтесь!

Заспанные, сердитые и неразговорчивые кочегары вышли на работу.

— Останься в кубрике и вымой посуду! — сказал Волдису перед уходом Гинтер. — Не забудь налить в лампу керосину и почистить стекло, а то опять крику не оберешься.

— Кто будет кричать?

— Кочегары. Больше всего Зоммер и Андерсон. Им никогда не угодишь. Времени у тебя полчаса.

— А потом что?

— Потом спустишься в машинное отделение и спросишь у второго механика, что делать.

Гинтер ушел. Снаружи уже слышались грохот лебедки и крики рабочих. Волдис сходил в камбуз за горячей водой и сложил в жестяной таз тарелки, чтобы отмокли. Но чем мыть? У него не было тряпки, Гинтер свою спрятал. Подумав немного, Волдис взял два носовых платка и стал тереть ими тарелки, ложки и ножи. Вода сделалась сальной и густой, и когда он опустил в таз кофейные кружки, они только больше загрязнились.

Потом оказалось, что нечем вытереть посуду, — пришлось взять свое полотенце. Чтобы протереть ламповое стекло, пришлось взять другое полотенце, так как стекло нужно было вычистить любой ценой.

За полчаса он с трудом успел сделать самое главное. А потом следовало еще подмести каюту, — пол заплевали, забросали окурками, бумагой и разным мусором. Покончив с уборкой, Волдис спустился вниз. Часы показывали без четверти девять. Возле машин двигались люди — протирали, смазывали, подтачивали, подкручивали.

— Где тут второй механик? — спросил Волдис у стройного мужчины в коричневой спецовке, который в этот момент что-то намечал циркулем на темной, похожей на подметку, пластинке. Тот сначала кончил чертить, потом взглянул искоса на Волдиса и задумался на минуту.

— Тебе что нужно? — спросил он, будто очнувшись.

— Я посуду вымыл...

— А мне какое дело?

— Что мне теперь делать?

Высокий задумался опять, затем махнул рукой куда-то вправо.

— Иди в кочегарку и помогай выгружать шлак на палубу.

Волдис разыскал темное углубление в стене. В углублении находилась дверь, за ней — абсолютная темнота. Двигаясь на ощупь, Волдис потихоньку проби-

рался вперед. Левая рука коснулась чего-то теплого, — это была стенка котла. С другой стороны находился бункер. Наконец, он оказался в полутемном помещении. Высоко над головой пробивался дневной свет; внизу, в топках, горел слабый огонь. Зоммер насыпал лопатой шлак в громадное ведро, раза в два больше обыкновенного, нацеплял полное ведро на крюк и кричал наверх:

— Крути!

Наверху что-то скрипело, гремело, и ведро медленно поднималось, исчезая в вентиляционной трубе.

— Меня прислали помочь вам, — обратился Волдис к Зоммеру.

— Иди наверх крутить. Пусть Андерсон насыпает.

До обеда Волдис крутил ручную лебедку. Пока пароход стоял в гавани, в кочегарке скопилось около полусотни ведер шлака и золы. На палубе уже образовалась порядочная куча, на которую кок и юнги время от времени вываливали отбросы: кости, банки из-под сгущенного молока, картофельную шелуху.

Кончив выгрузку шлака, кочегары остальное время прослонялись по темным углам, в которых здесь не было недостатка, и только за несколько минут до двенадцати вымыли руки в керосине. Они брали его тут же, в котельном помещении, из маленьких лампочек, висевших во всех углах и чадивших наподобие факелов.

Волдису не удалось спокойно пообедать. Только он взялся за тарелку, как вынужден был ее отставить: Зоммеру захотелось воды.

— Вылей кофе и принеси воды, — сказал он тоном, не допускающим возражения. Волдис встал из-за стола и пошел за водой.

Затем Зоммер нашел, что лампа не в порядке.

— Кто так чистит стекло? Ты его вытер мокрой тряпкой. Смотри, даже жирные пятна видны!

Пол, по его мнению, тоже был плохо подметен.

Чтобы Зоммер не чувствовал себя одиноким, заговорил и Андерсон — тот, что косил одним глазом:

— Что это под койками делается? Мусорный ящик или змеиное гнездо? Так дело не пойдет! Человеку для того и дают время, чтобы он сделал все как следует. Когда я был трюмным, мне каждый день приходилось обтирать койки и иллюминаторы.

— Да! — поддакнул Зоммер. — Я на «Ольге» даже сапоги кочегарам чистил.

Волдис слушал, краснел и не знал: сердиться или признать себя виновным? Растерявшись, он бросил есть и сел в стороне.

— Брось это, — сказал Зван, вставая из-за стола. — Ты, Зоммер, не воображай, что тебе будут чистить сапоги. Если ты и был когда-то таким болваном, постыдился бы об этом рассказывать.

Зван уселся рядом с Волдисом и замолчал. Он, очевидно, пользовался здесь авторитетом, и никто не пытался ему возражать. Волдис поблагодарил его взглядом.

После обеда Волдис целый час возился в каюте, приняв во внимание все сделанные ему замечания. Вытер стол, потом выскреб изо всех щелей набившиеся туда хлебные крошки, еще раз вычистил ламповое стекло и подмел под койками.

Внизу, в машинном отделении, его ждал второй механик.

— Возьми метлу и обмети сверху котлы! — сказал он, когда Волдис спросил, что ему делать.

Волдис пролез через маленькую дверцу в темное, душное помещение. Громадные котлы покрывал толстый слой пыли. Волдис сметал ее, стоя на зигзагообразных открытых и изолированных трубах. Трубы были горячие, да и котлы уже согрелись, — пароход готовился к отплытию и в топках поддерживали огонь. Горячая пыль поднималась тучами, набивалась в нос, в легкие, ложилась на лицо, смешивалась со струившимся по нему потом.

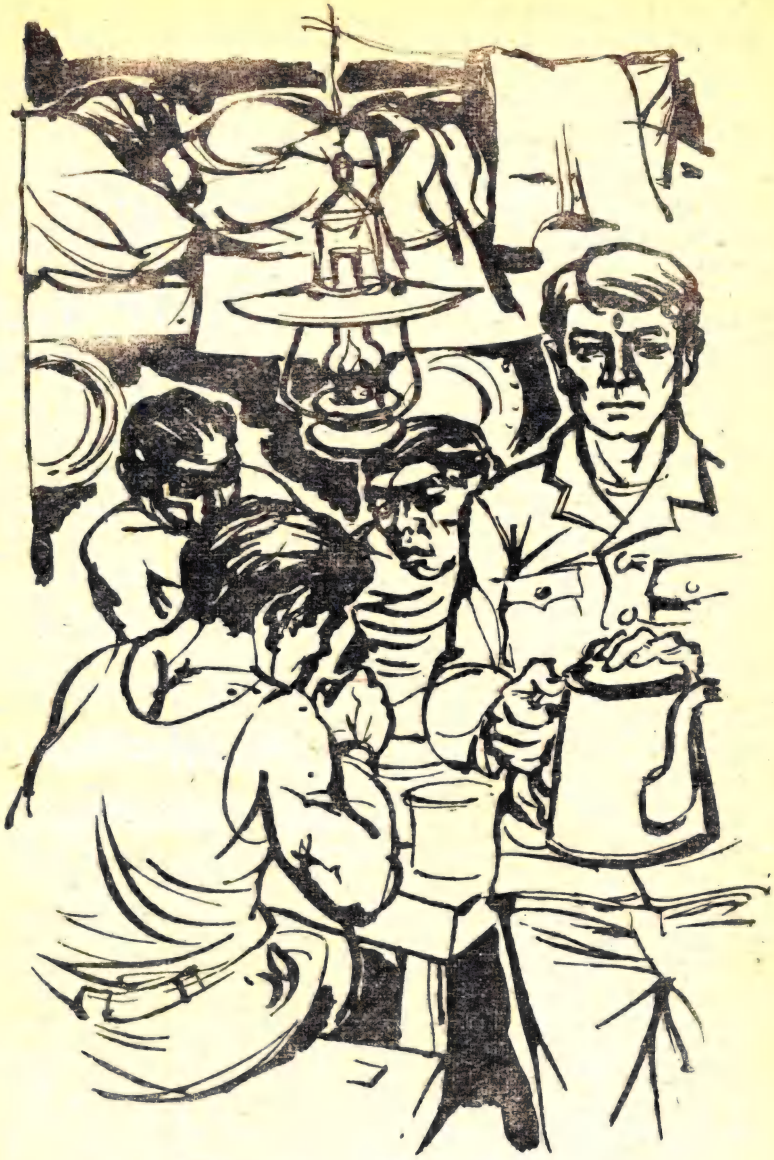
Можно ли было вообще обмести котлы? Они так раскалились, что жгли ноги даже сквозь толстые подошвы. Попарившись часа два, закоптев, как трубочист, Волдис вернулся в машинное отделение. Его одежда потеряла свой синий цвет, сам он выглядел так, будто вывалялся в золе.

Второй механик с усмешкой кивнул головой.

— Сделано?

— Я там больше ничего не мог сделать.

— Хорошо. Пойдем со мной. У меня для тебя есть на примете еще одно дельце.



Механик усмехался. И Волдис понял, что его разыгрывают. Это были грязные, обидные шутки, их мог разрешить себе только второй механик, старый черноморский волк, служивший раньше в Добровольном флоте* и ходивший на пароходах дальнего плавания в рейсы между Одессой и Владивостоком.

Он подвел Волдиса к темному отверстию, дал ему коптилку и велел вычистить один из открытых боковых отсеков трюма. Там всегда набиралось немного воды: кочегары и механики выливали туда мыльную воду, остатки масла и, если никого поблизости не было, делали кое-что похуже. Волдис не подозревал этого. Засучив рукава, он вычерпывал жестяной коробкой скопившиеся на дне отсека комки хлопка, мусор, обрезки асбеста и всякую мерзость, вылитую сюда вместе с помоями и масляными отходами. Вода издавала зловоние. Волдис весь выпачкался и вымок. Нет, эту яму просто невозможно было вычистить. Он выгребал бы еще несколько часов, если бы его не увидел Зван.

— Кто тебе поручил это? — спросил Зван и нахмурился. — Второй? Так... Скажи ему, чтобы он сам чистил за собой дерьмо. Брось это, нечего здесь чистить.

Волдис недоумевал: механик дал распоряжение, как можно не выполнить его? Но Зван, очевидно, знал, что говорил. Сбитый с толку Волдис опять направился ко второму механику. Тот мельком взглянул на него, усмехнулся и сплюнул.

— Откуда ты явился? Воняешь, как хорек! Тьфу! Убирайся отсюда. Иди подмети кочегарку.

Волдис почувствовал, что к горлу у него подступил комок, челюсти судорожно сжались, зубы скрипнули. Не говоря ни слова, в сильном возбуждении он вышел в котельную. Там он обернулся и погрозил кулаком:

— Ну, погоди... ты!.. Погоди же!

Наступил вечер. Теперь Волдис был достаточно загнан и вряд ли удалось бы найти кого-нибудь грязнее его, поэтому он уже не оберегал ни одежду, ни самого себя. А за ужином опять кто-то фыркал носом и недовольно говорил:

— А ведь этот нож сегодня не чистили! Смотрите, ржавчина!

А другой, что косил одним глазом, обнюхивал лампу:

— Смотри, она не вытерта, керосин капает прямо в тарелку.

И когда, наконец, все кончили фыркать и принюхиваться, успокоились, умылись и сошли на берег, в кубрике остался только Волдис. У него не было времени даже умыться как следует. Думая о чем-то невеселом, он медленно перетирал тарелку за тарелкой, скоблил стол и очищал ножом щели стола от хлебных крошек.

Когда он все вымыл и убрал, кто-то из кочегаров вернулся с берега. Он хорошо прогулялся и ему захотелось есть. Взяв хлеб, намазал его маслом, достал кружку, налил себе кофе. Поев, он оставил все на столе, — стол опять был залит и усыпан хлебными крошками. Через некоторое время вернулся с берега еще один, уселся за стол и тоже оставил после себя крошки и пролитую кофейную гущу. Он шмыгнул носом и заявил:

— Так дело не пойдет! У нас стало очень грязно.

Потом ему захотелось пить. Не кофе, нет, — он хотел воды.

— Почему у нас нет воды? Или мне самому идти за ней?

И хотя Волдис уже разделся и лежал на койке, он встал и пошел.

Держись, новичок! Ты на корабле...

* * *

На следующий день начались обычные вахты. Теперь больше не приходилось спрашивать у механика работу — пошли очередные морские дела. Пар в котлах постепенно довели до восьмидесяти фунтов. К вечеру его следовало поднять до полной мощности — до ста восьмидесяти фунтов, как показывала на манометрах красная черта — максимум.

На «Эрике» было два котла, в каждом по три топки. В смену работали два кочегара и один трюмный. Кочегары менялись каждые четыре часа, после чего восемь часов отдыхали, в то время как двое трюмных работали восемь часов без перерыва и отдыхали только восемь часов.

Пока пароход стоит, нагнать пар и удержать его не составляет особого труда: огонь не форсируют, он горит равномерно, и только время от времени кочегар подбра-

сывает лопату-другую угля или пошурует его ломом, чтобы пламя не заглохло.

Из трюмных на вахту первым вышел Гинтер. Он уже побывал в нескольких рейсах и знал, что гораздо легче отдежурить восемь часов во время стоянки судна, чем в плавании.

Свободные от вахт кочегары решили выпить. Они собрали оставшиеся латвийские деньги и послали Волдиса за водкой.

— Эти деньги все равно не годятся за границей, — решил Андерсон. — Так лучше прогулять их и знать, что твои гроши пристроены.

Волдис сходил в винную лавку один раз, другой, — у всех развязались языки и вместе с тем усилилась жажда: две поллитровки, принесенные Волдисом, ни в какой мере не могли удовлетворить кочегаров «Эрики».

Тогда молчаливый Зван взял свой новый шелковый шарф и вышел на палубу. Какой-то портовый рабочий купил его за пол-литра. Когда пропили шарф, Андерсон вытащил свою знаменитую бритву и тоже вышел. За нее он получил целую четвертинку. Больше продавать было нечего. Правда, Блав достал тельняшку и вынес ее на палубу, но покупателя не нашлось.

Андерсон задумался: ему самому очень хотелось еще выпить, да и друзья сгорали от жажды. Подумав, он сказал Зоммеру:

— Надо кого-нибудь завербовать, иначе водочки не достанешь. Надень-ка ты, Зоммер, свою новую фуражку и изобрази механика.

Это был старый номер. Кочегары одобрительно усмехались.

Андерсон вышел на палубу и принялся изучать набережную. Там не было недостатка в искателях счастья, Андерсону недолго пришлось ждать. Коренастый деревенский парень показался ему вполне подходящим для намеченной цели, — Андерсон поманил парня пальцем. Белобрысый здоровяк сначала широко разинул рот, не понимая, очевидно, чего от него хотят, но, когда Андерсон поманил его еще раз, он поспешно подошел к пароходу.

— Что надо? — тихо спросил он.

Андерсон сделал таинственное лицо и зашептал:

— Не знаешь ли ты какого-нибудь дюжего парня, который хотел бы отправиться в плавание? Нам сейчас нужен кочегар. Механик просил меня подыскать.

Слова Андерсона произвели на парня совершенно неотразимое впечатление: на его широком простодушном лице появилась улыбка, в синих глазах загорелись хитрые огоньки.

— Я бы и сам мог... — конфузливо сказал он.

— Вот видишь, как хорошо! Мне тогда не придется искать на берегу. Пойдем к механику.

Его не надо было приглашать вторично. Тяжелая фигура перевалилась через борт и грузно, как мешок, упала на палубу.

— Куда этот пароход идет? — задыхаясь, спросил парень.

— Наверно, в Африку. Точно не знаю, может быть, и в Индию. Во всяком случае — далеко.

— Ой, как хорошо! Мне так хочется побывать где-нибудь далеко!

— Ну, тем более. Ты только не стесняйся, подходи прямо к механику и говори о деле.

Андерсон провел парня в кечегарский кубрик. Увидев его, Ирбе отвернулся, пряча улыбку.

— Вот видишь, это механик, — указал Андерсон на Зоммера, который, засунув руки в карманы, расхаживал по кубрику в новой фуражке. Вид у него был достаточно самоуверенный, и он вполне мог сойти за лицо, облеченное властью.

Парень смутился и, словно ища поддержки, посмотрел на Андерсона, но тот только ободряюще кивал ему головой. Наконец он собрался с духом.

— Господин механик... мистер механик... говорят, вам нужен кочегар? — тихо проговорил он.

Зоммер остановился, многозначительно оглядел парня с ног до головы и пожал плечами.

— Да, мне действительно нужен кочегар. Понимаете, кочегар... Разве вы кочегар?

Парень сразу преисполнился самоуверенности.

— О, еще бы! В деревне я целое лето топил котел локомобиля.

— Так. Дровами?

— Да, березовыми поленьями.

— Ну, если вы умеете дровами топить, с углем у вас дело пойдет еще лучше.

— Ну, конечно, уголь крепче будет.

Зоммер сделал вид, что задумался.

— Не знаю, как и быть... У вас есть документы о том, что вы плавали на пароходах?

— Нет...

— Я так и думал. Без документов нельзя.

Парень помрачнел. Но Андерсон тут же поспешил к нему на помощь.

— Господин механик, — смиренно обратился он к Зоммеру, — на этот раз, я думаю, можно без документов. Посмотрите, какой детина. — Затем он нагнулся к парню и шепнул на ухо: — Ты не зевай, беги в винную лавку и возьми пол-литра. А я пока буду уговаривать механика. Дело пойдет.

На мгновение парень как будто заколебался, но, увидев со стороны окружающих горячее одобрение, заторопился.

— До свиданья! — крикнул он в дверях, показывая таким образом, что хорошо воспитан. Оставшиеся ждали его, хохоча и зубоскаля в предвкушении выпивки. Скоро парень вернулся, запыхавшийся и потный, так как мчался во всю прыть.

Андерсон откупорил бутылку и подобострастно пригласил Зоммера:

— Господин механик, выпейте, пожалуйста, с новым товарищем...

Новый товарищ! Простак покраснел до кончиков ушей, он сам себе не верил:

— Разве меня все-таки... примут?

— Все сделано. А сколько нам пришлось уламывать механика, пока уговорили!

— Да... — сдержанно заметил Зоммер. — Я только потому принял, что они за вас поручились. К тому же, видать, вы настоящий мужчина.

Все пили, бутылка скоро опустела, и Андерсон сказал:

— Теперь не будь выжигой, докажи, что уважаешь своих товарищей. Мы же за тебя поручились.

Еще бы! Детина решил не ударить лицом в грязь. Они ведь возьмут его с собой, поедут в Африку, возможно, даже в Индию!

— Как вы думаете, может, лучше сразу принести две поллитровки?

— Правильно! — крикнул Андерсон. — Вот это парень! Я буду работать с тобой в паре. Прихвати там какой-нибудь закуски. Купи колбасы...

— Олрайт.

— И возьми большую пачку папирос «Рига».

— Возьму!

Он поспешно ушел, охмелев от выпитой водки и от предчувствия счастья. Африка! Индия! Индия! Африка! Обезьяны, попугаи, слоны! Ликуй, будущий моряк!

Он вернулся подобно бумерангу, и в кочегарском кубрике весь день продолжалось веселье, велись задушевные беседы. А чтобы в этом веселье участвовали все — и виновники торжества и не имеющие к нему прямого отношения, Андерсон вышел и пригласил дункемана и налил ему стопку. Потом в каюту зазвали боцмана и судового столяра. Все они пили за здоровье новоиспеченного моряка, говорили по-английски и рассказывали об Индии. Простак слушал с замиранием сердца. Его воображение рисовало пеструю панораму, множество обезьян — больших и маленьких. Кочегары расхваливали парня, щупали мускулатуру и заставляли рассказывать о том, как он работал у локомобиля. Парень встал и продемонстрировал:

— Я брал полено и бросал вот так!

Поднялся Андерсон и показал:

— А мы лопату берем вот так и бросаем уголь вот так!

Все хохотали, похлопывали парня по плечу, а он тайком ощупывал кошелек. Там еще оставалось несколько латов.

— Знаете что? — сказал он голосом, прерывающимся от избытка чувств. — Я принесу еще пол-литра!

На мгновение все были ошеломлены. Первым пришел в себя Андерсон:

— Если у тебя есть сердце, принеси!

Парень умчался и через четверть часа уже вернулся, и компания распила последнюю поллитровку. Когда с этим было покончено, Андерсон спросил у парня:

— Где ты остановился?

— Я? На постоялом дворе.

— Тогда иди-ка домой, собери вещи и завтра утром приходи с ними на пароход.

— А нельзя сегодня вечером?

— Нет, сегодня нельзя.

Парень ушел. На берегу он еще несколько раз оглянулся, радуясь, что ему придется плыть на таком красивом пароходе. И название парохода такое звучное — «Эрика»!..

— Чтобы только потом ерунды не получилось... — забеспокоился Зейферт.

— Почему? — пожал плечами Андерсон. — Ведь мы сегодня вечером выходим в море. Завтра утром, когда он придет, мы уже будем у мыса Колки. Вот это была добыча!

— Да, подвезло... — согласились все.

Зоммер не мог припомнить, чтобы он когда-нибудь на своем веку видел такого простофилю.

— Как ошалелый, рвется в море!

Обстоятельства, относящиеся к категории «непредвиденных», создают больше всего осложнений. «Эрика» в тот вечер не вышла в море, так как осталось несколько непогруженных стандартов. Это неприятно взволновало кое-кого из кочегаров. Утром Зоммер с Андерсоном ушли в котельную стирать белье, хотя накануне у них совсем не было такого намерения. Они стирали слишком долго, гораздо дольше, чем того требовали их старые комбинезоны. Если кто-нибудь из товарищей спускался вниз, они интересовались:

— Что, тот шальной еще не приходил?

Парень явился к семи часам утра. У него было довольно много вещей — целый мешок, доверху набитый всякими узелками, маленький сундучок и желтая фанерная коробка.

Как раз в тот момент, когда он торопливо, как и полагается рабочему человеку, перелезал через борт, его заметил боцман. Парень, вероятно, узнал вчерашнего собутыльника и широко улыбнулся.

— С добрым утром! Вот я и явился.

Но боцман вытаращил на него злые глаза.

— Что? Что вам здесь надо? Зачем вы лезете на пароход?

Парень смутился, улыбка сошла с его лица.

— Меня приняли...

— Кто вас принял?
— Механик.
— Вы оставляли кому-нибудь свой паспорт?
— Нет, паспорта у меня не спрашивали.
— Тогда убирайся! Катись вместе со своим барахлом! Ну, ну, пошевеливайся, живей! Нечего здесь стоять.
— Да меня ведь приняли на работу... кочегаром...
— Не мели ерунду, убирайся!

Чтобы подбодрить парня, боцман схватил тяжелый железный лом и замахнулся им. Но парень, упрямый в своей наивности, не двигался с места.

— Мне сказали, чтобы я сегодня утром выходил на работу!

Тогда парень получил удар тяжелым ломом по спине, по плечам, раз, другой, еще несколько раз... Лицо парня исказилось от боли, он втянул голову в плечи, защищая ее от ударов.

— Скорее убирайся! — тихо шипел боцман; кричать нельзя было, чтобы не привлечь внимание штурмана, могло получиться кляузное дело.

Парень продолжал топтаться на месте, и боцман снова ударил его. Тогда парень схватил мешок, перебросил его на набережную и сам перескочил через перила. Выбравшись на берег, он повел болевшими от побоев плечами и, не оглядываясь, устало поплелся в город.

Из котельного отделения вылезли Зоммер с Андерсоном. К ним присоединились дункеман и старший матрос. Они смотрели вслед ушедшему, весело переговариваясь, и громко хохотали.

— Хорошо, что ты его перехватил! — говорили они боцману.
— Да, было бы дело, не встреть он меня на палубе.
— Ты ему как следует всыпал?
— Подними-ка эту железку!

Лом действительно был увесистый...

* * *

В одиннадцать утра портовые рабочие спустились на берег. Матросы поспешно увязывали палубный груз. Появился лоцман. Трижды прокричала сирена «Эрики», и матросы выбрали концы.

Волдис вышел на палубу. Внизу у топок сейчас нечего было делать. Пароход медленно разворачивался по течению. Заработал мощный винт, и весь корпус парохода задрожал, как тело гигантской рыбы в предсмертной агонии. Черный и массивный, он, точно фантастический кит, постепенно отдалялся от берега, выбрасывая в воздух громадные клубы черного дыма. Расплываясь в бесформенные массы, они казались тенью темного города, упавшей в небо.

Волдису не жаль было расставаться с этим городом. Равнодушно смотрел он, как пятиэтажный город все больше и больше отдалялся, темнел и наконец скрылся за изгибом реки.

Внизу у топок кто-то крикнул:

— Трюмный, куда ты провалился?

— Сейчас! — отозвался Волдис. — Иду!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ветер катил тяжелые воды, нагонял мелкую и торопливую волну, не разбивая гребешков. Пароход грузно пробивался сквозь волны, оставляя позади пенную гряду.

Окончив вахту, Волдис умылся и поднялся на палубу. Пронизывающий сырой воздух охватил разгоряченное тело, и Волдис поежился. Берег скрылся из виду. Вокруг раскинулся однообразный свинцово-серый простор моря. На волнах лениво покачивались большие стаи морских чаек. Несколько громадных серых самцов вились вокруг парохода, жалобно крича и высматривая добычу.

Взяв в камбузе кружку кофе, Волдис ушел в кубрик. Первая вахта показалась ему легкой — бункеры были еще полны и уголь сыпался сам. Волдису пришлось поднимать наверх шлак и золу, высыпать все это в море и подносить кочегарам питьевую воду. Внизу у топок вода быстро нагревалась, и ее приходилось постоянно менять. Несколько раз Волдиса посылали наверх поворачивать вентиляционные трубы по ветру: при перемене курса парохода или смене направления ветра внизу задыхались без воздуха и огни в топках гасли. Больше часа проработал он на палубе, выбрасывая в море золу,

скопившуюся во время стоянки в порту, а когда вся палуба была очищена, кочегары поручили ему разбивать большим молотом куски угля.

— Теперь трюмным праздник! — говорили кочегары. — Погодите, когда бункеры опустеют, вот тогда поработаете как следует.

Выпив кофе, Волдис пытался уснуть, но не мог. Мысли вновь и вновь возвращались к первым впечатлениям. В восемь Гинтер принес ужин и разбудил очередную смену — Зоммера и Андерсона.

Мыл посуду и убирал каюту трюмный, отбывающий вахту. С этой обременительной обязанностью трудно было справляться, но с трюмным никто не считался: ведь он младший, от него можно требовать невозможного; он обязан двенадцать часов в сутки выполнять самую грязную и тяжелую работу. Кочегары могут распоряжаться им по своему усмотрению, гонять из одного бункера в другой, посылать за водой и к вентиляционным трубам. Когда кочегары чистят топки, трюмный должен стоять возле них с ведром воды и заливать куски горячего шлака.

У трюмного почти нет свободного времени, а чтобы его совсем не оставалось, ему поручают носить в кубрик кофе, еду, будить очередную смену и выполнять роль прислуги.

Кочегары в прошлом сами прошли такую же тяжелую и унизительную школу, никто из них еще не забыл перенесенных испытаний, и, очевидно, именно поэтому им было приятно сознавать себя свободными от этих обязанностей. Ведь так отрадно иметь право кому-нибудь приказать, хотя тот, кому ты приказываешь, твой товарищ, и вообще тех, кому можно приказывать, всего лишь двое, в то время как отдающих приказания — целых шестеро. Но и маленький почет — все-таки почет, и кто не избалован, довольствуется малым.

Волдис заснул только около десяти, и уже через два часа Гинтер тряс его за плечо:

— Вставай!

Сонный Волдис вместе со Званом и Ирбе пошел на вахту. Стояла непроглядная ночь. За бортом плескалась и шумела темная вода.

Из котельного отделения доносился лязг дверцы топ-

ки и звон лопаты. Маленький Блав насвистывал «Бананы».

Кочегары сменились. В двух топках спустили огонь: пока в остальных бушевало белое пламя, так что дрожали котлы, сотрясаемые гигантской силой, здесь над гаснущим и уже погасшим углем и шлаком еле рдел красный свет. Зван и Ирбе прежде всего раздули огонь в тех топках, которые не надо было чистить, потом взялись за дело. Из дверцы печи обдавало жаром, обжигало шею, лицо, руки. Куски шлака прикипели к колосникам, и их приходилось выламывать длинным железным ломом. Лом сразу же накалялся добела. Дно топки находилось глубоко, и, чтобы выломать запекшийся шлак, нужно было нагибаться к самому устью. Как солдаты, обучающиеся штыковому бою, кочегары делали внезапные выпады вперед и быстро наносили удары, отвернув лицо в сторону, чтобы не обжечь глаза. Взломав шлак, они длинными кочергами вытягивали его кусками из топок. Сначала чистили одну половину печи, потом туда отгребали ярко горевший уголь, а если его было мало, брали из вычищенных топок и разжигали огонь. Затем принимались за чистку второй половины.

Во время чистки топок стрелка манометра неудержимо падала. Со ста восьмидесяти фунтов она опускалась до ста пятидесяти, иногда даже ниже, и тогда сразу раздавался скрип дверей машинного отделения и слышался голос механика:

— Это что за безобразие! Пар не можете удержать?

Под топками скапливалась зола. Выгребать ее — обязанность трюмных, — здесь они имели возможность научиться орудовать кочергой.

Наконец топки были очищены. Кочегары, мокрые, как мыши, еще немного подправили огонь, пошуровали уголь, и, когда стрелка манометра начала подыматься, послали Волдиса наверх — вытаскивать шлак. Сейчас шел уголь среднего качества, золы и шлака было не очень много — за каждую смену десятка два ведер. Хотя золу заливали водой, некоторые куски шлака еще тлели и ведро нагревалось так, что нельзя было до него дотронуться. Большую посудину следовало обхватить руками, донести до борта и через мусорный рукав

высыпать в море. Ведро было мокрое, зола прилипала к рукам, пачкала одежду.

К концу вахты ослабили огонь в двух других топках, которые должна была чистить другая смена. Чтобы не упало давление пара, пришлось форсировать огонь в остальных печах.

Вахта Звана и Ирбе уже подходила к концу, когда из левого бункера перестал сыпаться уголь.

— Поднимись на бункерную платформу и подвези несколько тачек, если там есть еще уголь, — сказал Зван, — тогда не придется лезть с лопатой в бункер.

Волдис зажег маленькую коптилку и поднялся наверх. Кое-как ему удалось протиснуться сквозь маленькую узкую дверцу в темное межпалубное помещение. Коптилка еле освещала маленькую площадку, виднелись пустая стена и отверстие бункерного люка. На бункерной платформе больше не осталось угля, его еще в порту перегрузили в бункеры. Волдису пришлось лезть в боковой бункер, чтобы стронуть с места почти отвесную гору угля, которая сама собой не сползала вниз. Несколькими осторожными ударами лопаты ему удалось сдвинуть сбоку довольно увесистый кусок угля. Минутой позже гора зашевелилась, подалась вперед и лавиной покатилась вниз. Крупные куски угля со стуком ударялись о стенки бункера, все кругом шумело и грохотало. Волдиса со всех сторон охватило облако мелкой угольной пыли.

Волдис выкарабкался обратно на бункерную платформу и пошел заглянуть в правый бункер. Уголь там тоже слежался и скоро должен был перестать сыпаться. Расшевелив и эту груду и убедившись, что угля теперь хватит смены на две, Волдис возвратился на бункерную платформу.

Вдруг его внимание привлек какой-то слабый шум — шорох одежды или хруст угля. Он остановился, стал прислушиваться. Хруст возобновился где-то в темноте межпалубного помещения. Возможно, это возились крысы, которых здесь было немало; возможно, от качки трещали крепления. Подняв коптилку над головой, Волдис направился в ту сторону, откуда слышался шорох.

Если бы он верил в привидения, он бы вскрикнул от неожиданности. В темноте шевелилась какая-то фигура.

— Кто там? — крикнул Волдис.

Никто не ответил, Волдис подошел поближе. На него смотрел какой-то человек, весь в пыли, в коричневой одежде моряка.

Увидев, что его заметили, человек заискивающе улыбнулся и пошел навстречу Волдису.

— Привет, браток!

— Здорово! Что ты здесь делаешь?

— Да так, ничего. Где же мне еще прятаться?

— Ты прячешься?

— Да. Если бы на судне были знакомые, тогда другое дело. Можно было бы пойти на бак и жить в кубрике.

— Куда ты едешь?

— В Кардифф.

— Ведь «Эрика» идет в Манчестер.

— Это ничего. От Ливерпуля проеду по железной дороге. У меня все бумаги в порядке. Я плавал на «англичанах».

— Вот как?

— Ты, браток, не говори никому, что видел меня.

— А если тебя заметит второй трюмный?

— Второй знает. С ним я на берегу уговорился. Я боялся только тебя.

— Меня тебе нечего бояться, мне все равно.

— Конечно. Моряк моряка выручит.

— У тебя есть еда?

— Есть! Я не новичок в таких делах. У меня с собой чемодан с продуктами.

— Где же ты спишь?

— На угле в бункере. И представь, там очень тепло!

— Да, да... Только будь поосторожнее, чтобы не увидел первый механик. Он иногда влезает сюда — посмотреть, сколько угля осталось в бункере.

— Ладно...

Волдис никому ничего не сказал. Только однажды заметил Гинтеру, когда тот пришел его сменить:

— Не снести ли ему чего-нибудь горячего?

Гинтер испуганно взглянул на Волдиса.

— Видишь, Гинтер, у нас всегда остается суп. Чем выливать его за борт, лучше отдать человеку.

— Ах, вот что! Ты знаешь?

— Ну, конечно.

И они всю дорогу кормили тайного пассажира. Постепенно и кочегары узнали о нем. Все молчали. На-

конец, — они тогда находились в Северном море, — Зван велел позвать чужого в кубрик, где пустовали три койки. Незнакомец пришел к ним ночью. Это был старый морской волк, долго странствовавший на пароходах разных стран. Звали его Бонджа.

Балтийское море прошли при сравнительно хорошей погоде. Временами, правда, пароход слегка кренился под ударами боковой волны, но это случалось редко.

— Погоди, вот выйдем в Северное море! — говорил Андерсон Волдису. — Ешь теперь побольше, пока есть аппетит. Иначе нечем будет блевать.

Все смеялись, только Гинтер молчал, а когда заводили разговор о морской болезни, он стыдливо отворачивался. Гинтер плавал третий раз и все никак не мог привыкнуть к морю. Он каждый день приходил к радисту и интересовался, какая ожидается погода, затем начинал размышлять и высчитывать:

— Норд-вест будет с левого борта... нет, как раз встречный.

Будто назло Гинтеру со всеми его страхами и невеселым расчетом радио обещало именно этот проклятый норд-вест.

— Вот когда нам зададут жару! — сказал он Волдису при смене. — Если в течение всего пути будет дуть встречный ветер, нам придется перекидать в топки все, что есть в бункерах.

При входе в Зунд пароход около часа качало боковой волной. Волдис мог считать себя счастливым, что качка на него не действовала. К великому разочарованию Андерсона, он съел за обедом свою порцию до последнего куска.

— Это еще ничего, — не терял надежды Андерсон. — Когда попадем в настоящую волну, ты и смотреть на еду не захочешь.

— Почему ты так думаешь? — спросил Волдис.

— Я знаю, что так будет.

Скоро качка кончилась, пароход шел мимо островов с подветренной стороны. Налево виднелись скалы — темные горы, поднимающиеся прямо из воды. Море билось о скалы, и стаи чаек с громкими криками кружили над ними.

* * *

В восемь часов утра Волдис сменил Гинтера. В бункерах уголь уже не ссыпался сам, поэтому у Волдиса не было времени подняться на палубу, чтобы полюбоваться видами Зунда. Только высыпая золу, он заметил справа от парохода берег — темный, скалистый, мрачный. Наверху виднелся город. Слева тоже тянулся берег.

«Эрика» шла мимо небольшого островка. На островке виднелись пушки, направленные в сторону моря. Дальше шла земля, заросшая зеленым лесом, и застроенный домами берег. Это был какой-то город, широко раскинувшийся по берегу. Посреди города возвышался освещенный солнцем круглый золотой купол церкви или другого какого-то высокого здания.

Первый механик, или чиф, как его называют на пароходах, вышел на палубу и равнодушно посмотрел на панораму города.

— Мистер чиф, что это за город? — отважился спросить Волдис.

Чиф — старый идиот, про которого с полным правом можно было сказать, что он достиг обезьяньего возраста, всегда недовольный, злой, боящийся капитана, до смешного скупой, — этот чиф Рундзинь, которого кочегары называли не иначе, как адмиралом Палочкиным *, свирепо уставился на Волдиса. Он, очевидно, не мог решить — разговаривать или не разговаривать ему с трюмным, но так как поблизости некому было заметить его снисходительность, он торопливо буркнул под нос:

— Копенгаген! — затем отвернулся и сердито нахмурился, чтобы назойливый подчиненный не вздумал спросить еще что-нибудь.

Волдис усмехнулся и, остановившись у борта, несколько минут смотрел на окрестности. Мимо него скользили берега — зеленые, скалистые, пестревшие деревнями и городами. Мальмё, Копенгаген, дальше Хельсингёр и Хельсингборг. У входа в Каттегат бросил якорь шедший порожняком громадный, неуклюжий танкер. Навстречу, через Зунд, шли пароходы.

Сразу за проливом раскинулся Каттегат, серый и неприветливый, как осенний день. Насколько хватал глаз, над морем тяжело нависло облачное небо, а на самом море вздымались высокие свинцово-серые валы.

Ветер насвистывал в вантах невеселую, тоскливую мелодию. Люди бегом носились по палубе, поворачиваясь спиной к сырому ветру; разговаривая друг с другом, они кричали изо всех сил. Норд-вест подхватывал голоса и относил их в море.

Ванты свистели, и большая посудина — кусок ржавчины, называвшийся «Эрикой», — жалобно скрипела всем корпусом. Вздымающийся и качающийся на волнах пароход бросало из стороны в сторону; порою, зарываясь носом в глубокую водяную яму, он весь содрогался.

* * *

Гинтер ходил бледный, сплевывая липкую, тягучую слюну, — его рот постоянно был полон этой сладковатой слюны; при каждом покачивании парохода он прижимал руки к груди и стискивал зубы. Стесняясь других, он пытался скрыть свое состояние и всякий раз, как только чувствовал приступ тошноты, спешил отойти куда-нибудь в сторонку. Иногда он, не говоря ни слова, кидал несколько лопат угля в топку, выбегал в бункер и возвращался с красными, слезящимися глазами.

Все знали, отчего это, но, понимая страдания парня, делали вид, что не замечают их.

Наутро боцман яростно ругался:

— Дьяволы, кто это загадил палубу? Опять мыть! Вот скоты!

Выйдя из Каттегата в Северное море, пароход попал в еще более сильную качку; чувствовалась близость Атлантики. Старая посудина трещала по всем швам, каждую минуту казалось, что она переломится пополам и исчезнет в морской пучине.

На море виднелись маленькие суденышки, временами они скрывались в волнах вместе с мачтами и только через несколько мгновений взлетали на широком гребне высокой волны. Их бросало и качало, точно игрушки. Каково было людям на таких скорлупках!

Гинтер не ел ни крошки. Иногда, чтобы доказать товарищам, что у него есть аппетит, он садился за стол и четверть часа возился с одной картофелиной, жевал ее, валял во рту, но не мог проглотить ни куска. Наконец ему удалось сделать глоток, но как раз в этот

момент пароход, дрожа, зарылся носом в воду, — парень сейчас же зажал рукой рот и стал давиться.

В другой раз, заметив, что в средней части парохода качка чувствуется значительно меньше, чем на баке, он пытался съесть свою порцию в бункере. Утомленный работой и истощенный от голода организм требовал своего. С большим трудом Гинтер съел котлету и две картофелины, но уже спустя полчаса, заливая внизу горячий шлак, он вдохнул серные пары, и сразу же его желудок конвульсивно сжался.

Он все больше бледнел и слабел. Между тем работа с каждой сменой становилась все тяжелее, уже давно уголь приходилось перекидывать лопатой к люку котельного помещения. Теперь это невозможно было сделать одним броском: надо было накидать уголь в кучу на полдороге, затем перекидывать эту кучу дальше и, наконец, в третий раз сбросить в котельное помещение.

Трюмному все восемь часов некогда было поднять голову. Работая в полусогнутом состоянии, с исцарапанными, избитыми руками, он обливался потом и задыхался в угольной пыли бункера. Промокнув до нитки, он жарился еще некоторое время у очищаемых топок, заливая золу и шлак, потом, разгоряченный, поднимался вверх на палубу и вытаскивал лебедкой золу. А наверху свистел пронизывающий сырой ветер, холодные брызги обдавали его с ног до головы, и, коченея, замерзший, щелкая зубами, он уже опять тосковал по жаркому машинному отделению, по запаху серы и пыльному бункеру.

Промучившись свои восемь часов, он еще не мог свалиться на койку и отдохнуть: стол в каюте был завален грязной посудой. Трюмный шел в камбуз за горячей водой. По пути ветер наполовину расплескивал ее, а оставшаяся вода остывала, и в ней нельзя было отмыть жирную посуду. Так проходил час. А каюта все оставалась неподметенной и ламповое стекло закопченным, как труба. Только убрав все, трюмный мог отдохнуть.

За иллюминаторами плескалась вода, временами волны с силой ударялись о борт парохода. Через несколько часов товарищ тряс трюмного за плечо — снова надо было вставать. Он знал, что его ожидает, предвидел до последней мелочи все предстоящие муче-

ния. Тяжело вздохнув, как осужденный, спускался он вниз, к топкам.

Волдис, к явному неудовольствию товарищей, не страдал морской болезнью, аппетит у него был великолепный, но все же он уставал и, кончив долгую вахту, чувствовал себя совсем разбитым. Поэтому он удивлялся выносливости Гинтера: тот вторые сутки ничего не ел и все же держался на ногах, с нечеловеческими усилиями выполняя свои обязанности.

Однажды, пронося в темноте в камбуз кофейник, Волдис увидел стоявшего у ручной лебедки Гинтера. Опустив голову, тот беспомощно прислонился к прохладной вентиляционной трубе. Когда снизу раздавался крик: «Поднимай!» — он, вздрагивая, как собака, которую собираются ударить, с отчаянием крутил обессилевшими руками рукоятку лебедки, вытаскивал ведро с золой. Нести его уже не хватало сил, поэтому он толкал его перед собой по палубе, а добравшись до мусорного рукава, с трудом поднимал ведро. Это была му́ка, это было все что угодно, но только не работа... Но за нее кормили и платили семьдесят латов в месяц.

Однажды Гинтер спустился в котельное отделение сменить Волдиса и заявил, что он не в состоянии работать:

— Пусть делают, что хотят, я больше не могу этого выдержать.

— Тогда иди к механику и скажи, чтобы подыскали кого-нибудь на твое место, — сказал Зейферт, стоявший на вахте с Блавом. Нам нельзя оставаться без трюмного.

Он был довольно самоуверен, этот длинноусый Зейферт. Однако позже Волдис застал и его у борта корчащимся от приступа морской болезни.

— Я, кажется, подавился! — сказал он тогда и в сердцах проклинал застрявшую кость. Но это была отнюдь не кость.

Сегодня он проворчал в присутствии Гинтера:

— И зачем только люди пускаются в плавание, если не могут переносить моря?

Гинтер ушел, пошатываясь, как пьяный. Голова кружилась, словно в тяжелом похмелье, и у него не хватило даже сил закрыть дверь машинного отделения, которая от качки с силой стучала о стену.

— Механик, я не в состоянии работать... — еле проговорил он.

Механик, надев очки, смазывал машину и не сразу поднял голову.

— Что я могу поделать. Иди говори с чифом.

Чиф пил кофе в кают-компании.

— Ты не в состоянии работать? Ну и что же? Хочешь, чтобы я вместо тебя работал? Хочешь баклуши бить? Этакий мерзавец!

— Чиф, я хочу работать, но у меня нет сил. Я болен. Может быть, у вас есть какое-нибудь лекарство?

Старый идиот вскочил. Мутные глаза его сверкнули, он старался говорить громким, грозным голосом:

— Лекарство? Плеткой тебя хорошенько отхлестать! По утрам вместо завтрака всыпать твенти файф! * И зачем только такие выходят в море? Ну, чего ты стоишь? Живо иди на работу!

— Чиф, я не могу...

— Черт бы тебя побрал! — старик задохнулся от злости. — Пойдем к капитану.

Капитан в это время спускался с мостика. Он принял все совершенно спокойно.

— Только-то и всего? Небольшой приступ морской болезни. Это пройдет, идите и работайте. И хорошенько кушайте.

— Может быть, у вас есть какое-нибудь лекарство?

— Здесь не нужны никакие лекарства. Нужно работать, пока не захочется есть. Вы же сами знаете, что у нас нет ни одного лишнего человека и заменить вас некому. Хотите или не хотите, вы должны держать вахту.

Гинтер спустился опять вниз. Он еще несколько дней жил без еды. Было совершенно непонятно, как этот человек держится на ногах. Никто его не шадил...

* * *

Это было в полночь. Умывшись солоноватой морской водой, Волдис вышел на палубу. Прошла еще одна тяжелая вахта. Внизу бушевал белый огонь, шипел залитый водой шлак, и пароходная труба извергала облака черного дыма. Было бесконечно приятно сознавать, что мучительные часы вахты позади.

Выйдя в ту ночь на палубу, Волдис впервые за три дня увидел сигналы прибрежных маяков. Их было много, они сверкали огнями по обе стороны парохода. Некоторые горели вдали, обегая снопами своих лучей черные просторы моря, другие мигали совсем рядом.

Волдис долго простоял на палубе, сырой ветер ласкал его разгоряченное тело. Ночь была прохладная, но он не замечал холода и восхищенно глядел в темноту.

— Что это за огни? — спросил Волдис у спускающегося с капитанского мостика штурмана.

— Шотландские скалы, — ответил штурман.

Два дня они шли среди этих скал. Днем их скрывал туман, и за бледной дымкой еле можно было различить черные силуэты. Стаи чаек тучами кружились над пароходом, садились на верхушки мачт, на ванты и кричали, кричали... А по ночам, когда крутые волны мчались вдоль борта и перекатывались через палубу, вода светилась, и чудилось, что по палубе, потрескивая, прыгают маленькие искорки.

Казалось, все море горело. Это были прекрасные ночи.

Только Гинтеру было не до них. Он все еще был бледен и ничего не ел. Бункеры все больше пустели. Чиф каждую ночь обмерял угольные кучи, что-то вычислял, — и лицо его мрачнело: неизвестно, хватит ли топлива до Ливерпуля...

Полдня пароход шел открытым морем. Океан бушевал. Крутые волны валили пароход набок, так что временами борт касался поверхности воды. Ветер стих, и непонятна была причина такого волнения, — быть может, где-нибудь далеко в океанских просторах бушевал шторм.

Тусклые лучи солнца поблескивали над однообразной волнующейся поверхностью, и темные бездны между валами всегда отливали черным, мрачным блеском.

В бункерах больше не было угля. Оставшуюся мелочь подмели, а когда и она была сожжена, начали жечь разные лесоматериалы, находившиеся на судне. Боцман с плотником обшарили все углы, собрали лишние клинья, доски, старые сходни — все, без чего можно было обойтись, и сбросили вниз кочегарам.

До Ливерпуля было уже рукой подать, оставался всего какой-нибудь час, а пароход все больше замедлял ход.

Пламя с ревом в несколько мгновений поглощало самые толстые доски, зола вместе с бледным дымом вылетала через трубу. Стрелка манометра падала с каждой минутой, винт вращался все медленнее, а машина скрипела, обессиленная и отяжелевшая. И все из-за того, что пароходная компания в Риге не потрудилась наполнить бункеры углем, — там, видите ли, уголь немного дороже.

Наконец, пришлось взяться за груз. Один стандарт досок исчез в топках, а капитан составил акт, подписанный членами экипажа, о том, что во время сильного шторма волны смыли с палубы часть груза... Страховое общество возместит убытки.

Впереди показался низкий песчаный берег. Возможно, это были острова, возможно — мели, образованные землей, вывезенной в море шаландами. На волнах покачивалось много различных бакенов.

Пароход остановился. К борту «Эрики» пристал лоцманский катер, и на палубу поднялся человек. Он жевал табак, энергично двигая челюстями, и сплевывал коричневую слюну.

— Хелло, бойс! — поздоровался он; казалось, что во рту у него катается горячая картофелина.

Только теперь Гинтер пошел в каюту и начал есть. Он съел полкаравая хлеба, глотая его громадными кусками, торопливо, будто боясь упустить что-то важное. А когда наступило время обеда, он поспешил принести еду, хотя идти за ней должен был Волдис. Гинтер налил первую тарелку себе и спешил скорее съесть суп, чтобы получить еще. А когда после супа осталось мясо, он спросил у товарищей, можно ли ему съесть остатки. Ему разрешили, и он уплел все мясо...

Пароход медленно скользил мимо бакенов. Скоро должен был показаться город.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Эрика» тихим ходом шла через Ливерпульскую гавань к Манчестерскому каналу. Волдис был свободен. Он проводил все время на палубе, с любопытством наблюдая за лихорадочной деятельностью, кипевшей вокруг.

Маленькие пассажирские пароходики энергично носились по всем уголкам громадной гавани, лавируя между большими океанскими гигантами. Слышался рев пароходных сирен, гремели лебедки и большие электрические подъемные краны. Весь этот шум, грохот, лязг, шипение и стук сливались в мощный, всеподавляющий гул. Гавань куталась в серую дымку, над крышами домов нависло сплошное облако. Небо казалось совсем черным от копоти, и пробивавшееся сквозь него солнце было красным и мутным, как в час заката.

Мимо «Эрики» шли пароходы — большие трехтрубные гиганты, похожие на плавучие города. Блестела медь и белая краска. Из отдаленных колоний прибывали неуклюжие грузовые пароходы, черные, неопрятные и тяжелые. Флаги... флаги!.. Английские, японские, американские, бельгийские, итальянские!.. Над обширным рейдом, над доками и шлюзами веяло дыхание почти всего мира. Сюда через океан как бы протянулись невидимые нити из Африки, Индии, Канады и Австралии.

Волдис разглядывал большие канадские лайнеры водоизмещением в пятнадцать тысяч тонн; они глубоко оседали под тяжестью пшеницы и муки. Он видел громадные танкеры, идущие из Персидского залива и Панамы. Из Австралии и Буэнос-Айреса прибывали опрятные пароходы-холодильники с мясом и консервами. Высоко поднимавшиеся над водой корабли из Индии и Африки порожняком спешили в море — в экзотические дали, за фруктами, рудой и драгоценными ископаемыми. Черные и почти черные маленькие человечки в красных фесках разгуливали по палубам этих кораблей. У некоторых на голове красовалась чалма. Это были индусы, кочегары с экваториальных лайнеров.

Довольно большая «Эрика» казалась крохотной лодочкой по сравнению с этими исполинами, терялась в их тени и выглядела уродливой и жалкой.

Все виденное привело Волдиса в восхищение, в его ушах звучали голоса всего света, маня вслед уходящим вдаль дымящим «иностранцам». Мир так широк! Так волшебно прекрасен! Так много обещает! Хорошо бы вырваться в этот мир, исчезнуть в нем и скитаться до тех пор, пока не насытишься его просторами так, чтобы хватило на всю жизнь, чтобы никогда больше не мучила тоска по ним...

В эти мгновения Волдис забыл о пылавших топках, за один час поглощавших целую тонну угля, забыл, что та же участь ожидает его и в дальнейшем, через несколько дней, и что это — расплата за мечты о просторах мира. — То была совсем недешевая плата, но об этом он сейчас не думал.

Несколько часов пароход простоял у шлюзов канала, ожидая, когда откроют ворота. К вечеру прилив поднял уровень воды до нужной высоты, и пароходы вошли в канал, а другие вышли на рейд. Почти час менялись местами караваны судов. «Эрика» почти последней скользнула в тихие воды канала.

Пароход пристал к набережной канала: нужно было взять столько угля, чтобы его хватило до Манчестера. Остальные пароходы, обогнав «Эрику», поднимались вверх. Только большой «американец» «Уэст Уауна» ошвартовался у набережной.

* * *

Каждый раз после долгого плавания по морю стоянка кажется праздником. Люди моются с ног до головы, меняют белье.

Гинтер в последние дни совсем не умывался. Грязный приходил он с вахты и, не раздеваясь, не разуваясь, бросался на койку, чтобы хоть на несколько минут удлинить короткие часы отдыха. Его койка была так грязна, что напоминала бункер. Теперь он ел за троих, и у кочегаров постоянно не хватало хлеба, что заметно тревожило старосту продовольственной артели — пароходного плотника.

Как только пароход пристал к берегу, тайный пассажир, Бонджа, собрался уходить. Он должен был уйти незамеченным, во избежание недоразумений с капитаном и таможенными чиновниками. Ему принесли теплой воды, он побрился, вымылся и надел синий костюм, хранившийся в солидном чемодане вместе с другими его пожитками. Чемодан еще в Риге был принесен на пароход и спрятан у Гинтера. В Кардиффе Бонджа знал некоторых бордингмастеров, к которым хотел теперь обратиться.

На палубу поднялись таможенные чиновники. Корабельную команду созвали в салон и предложили пока-

зать все товары, считавшиеся контрабандными: табак, крепкие напитки и т. д. Потом таможенные ищейки отправились в каюты, ощупали матрацы и велели открыть чемоданы.

Сразу же после ухода таможенников кочегары проводили на берег Бонджу: он пригласил всех выпить по пинте пива за его счет. Зоммер, Андерсон, Блав и Зван ушли с ним, и все вернулись под хмельком. Весь вечер они сокрушались, что у них не было английских денег, а то бы с удовольствием выпили еще.

Спустя неделю кочегары получили от Бонджи письмо: уже на другой день он устроился на бельгийский пароход водоизмещением в девять тысяч тонн. Волдис опять втайне затосковал: у него еще не выросли настолько сильные крылья, чтобы можно было улететь и исчезнуть в заманчивых далях...

Наступило воскресенье. После долгого ненастья небо опять прояснилось. Согрев паром воду в машинном отделении, Волдис вымылся с головы до ног. Тело пропиталось грязью и пóтом, его удалось отмыть только жесткой щеткой. Но руки никак не отмывались. Волдис испробовал и масло, и керосин, и пемзу и увидел, что все равно ничего не добьется, — хоть сдирай кожу с ладоней и пальцев.

Когда он надел, наконец, белое трикотажное белье и чистый костюм, его охватило ощущение легкости и свежести.

Сняв грязную простыню и наволочку, Волдис вынес матрац на палубу, выколотил его, принес обратно, накрыл чистой простыней, предвкушая блаженство, которое он испытает ночью, ложась в чистую постель.

Покрытое копотью одеяло, грязное белье и заношенную рабочую одежду он связал в узел и спустился с ним вниз к топкам, там Андерсон и Блав с ожесточением занимались стиркой.

Блав дал Волдису несколько полезных советов:

— Возьми в кладовой зеленое мыло, соду, приготовь теплый раствор и замочи в нем одежду. Дай помокнуть часа два и тогда стирай — не нужно будет больше ни мыла, ничего...

Замочив белье по рецепту Блава, Волдис взглянул на товáрищей. Засучив рукава, они полоскали, терли щеткой, отжимали и колотили свою одежду...

На верхней палубе матросы занимались тем же. Пароход превратился в прачечную. На вантах и шлюпочной палубе были натянуты веревки, на которых развевались по ветру рубашки и штаны. Даже в камбузе у повара рядом с миской начищенного картофеля стоял жестяной бачок с намыленным бельем.

Начальство не стирало. Свои рабочие костюмы и пыльные фланелевые одеяла механики отдавали стирать кочегарам в рабочее время. Чтобы получить это почетное и легкое задание, устраивалось даже нечто вроде соревнования.

Выждав необходимое время, Волдис спустился вниз, к замоченному в бочке белью. Вода в ней сделалась совершенно черной, а сверху плавал густой слой ржавчины.

Блав опять принялся поучать Волдиса:

— Возьми какое-нибудь ведро и приготовь теплой воды. Положи туда немного зеленого мыла.

Когда это было выполнено, он посоветовал хорошенько отжать белье, опустить его в ведро и палкой от метлы ворочать до тех пор, пока не надоест.

— Вот и вся стирка. Потом только выполощи в холодной воде.

Действительно, это был весьма удобный способ. Волдис мешал белье палкой от метлы, переворачивал и мешал опять, и, когда наконец отжал, оно казалось таким чистым, как будто было выстирано со щеткой.

Окончив стирку, Волдис натянул на шлюпочной палубе между трубой и будкой телеграфиста веревку и развесил свои вещи.

На противоположной стороне канала ждал выхода в море красивый светло-серый пароход «Иджипшн Принс». На трубе его виднелась красная корона, на палубе — ящики с товарами, на которых стояли надписи «Александрия» и «Порт-Саид». По мостикам и палубам разгуливали моряки, стюарды в белоснежных куртках и офицеры в форме. Ручки дверей и рамы иллюминаторов сверкали на солнце.

Развесив мокрое белье, Волдис долго смотрел через канал. Вот на таком пароходе плавать — одно удовольствие!

На душе сделалось тоскливо, когда он оторвал взгляд от сверкающего лайнера и поглядел на жалкую посу-

дину, которой принадлежала весьма сомнительная честь быть его обиталищем.

«Ничего... — думал он про себя. — Когда-нибудь и я попаду на такой корабль».

* * *

Во время обеда на «Эрику» пришли в гости два латыша, бывалые парни, лет по тридцати. Они служили матросами на «американце», который стоял за кормой «Эрики».

Их окружили и засыпали вопросами:

— Как сейчас с въездом в Соединенные Штаты? Не высылают? Можно получить работу на берегу?

Они рассказывали подробно, но бестолково, и часто то, что один из них утверждал, опровергал другой, поэтому выведать что-нибудь у них было невозможно. Достоверным казалось лишь одно: Америка — страна золота, там чуть ли не у всех автомобили, там чуть ли не каждый хранит деньги в банке.

Они добрались до Америки через Архангельск во время войны, удирая от военной службы. Кое-что слышали о переменах в России и Латвии, но это их мало интересовало.

Уходя, «американцы» обещали в Манчестере еще зайти на «Эрику». Они почти забыли латышский язык, хотя не слышали его только шесть лет.

В сумерки Волдис и Зван сошли на берег; они направились по асфальтированной дороге. Кругом виднелись пустые поля и маленькие красные кирпичные домики. В одном месте странствующий птицевод раскинул свою складную палатку, рядом с которой в гигантской клетке разгуливали куры. По соседству стоял большой фургон, готовый каждую минуту забрать все это имущество и двинуться дальше.

Пройдя еще немного, они достигли маленького поселка. В нем было не больше десяти домов, вероятно, жилища рабочих ближайшей фабрики. Асфальтированная дорога делила его пополам, образуя улицу. У дороги стояло несколько шкафчиков-автоматов, где за несколько пенсов можно было приобрести шоколад и сигареты.

Пришельцев окружила толпа грязных ребятишек, которые, увидев, что имеют дело с иностранцами, начали приставать к ним:

— Дяденька, дай пенни! Дяденька, дай сигарету, дай шоколаду!

Они бежали вперед, окружали моряков, хватали их за полы и провожали далеко за поселок, не переставая клянчить. Это были крошечные бледные существа, о которых родителям некогда было заботиться. Маленькие мальчуганы, которым было не больше восьми лет, жадно хватали каждый брошенный на землю окурок.

Позже Волдису часто приходилось видеть, что дети просят милостыню. Не только в городских предместьях и портовых районах, но и в центре города, у дверей магазинов и кино они протягивали свои грязные ручонки и, остерегаясь стоявших вдали полисменов, жалобно, застенчиво повторяли:

— Дяденька, пожалуйста! Пожалуйста!

Зван дал одному из мальчуганов рижскую папиросу.

* * *

Продолжительная стоянка в канале начала всем надоедать.

— Прийти бы наконец на место, выдали бы по фунту и можно бы выпить каплю-другую! — сетовали моряки.

Пароход простоял в канале еще два дня: из Манчестера пришло сообщение, что в порту нет свободных мест, нельзя пристать к берегу и произвести разгрузку.

Ежедневно вверх и вниз по каналу проходили суда. Громадные, широкие, однообразные ливерпульские пароходы с красными трубами, названия которых всегда оканчивались на «ан» — например, «Нинниан», «Нубиан», «Левиафан», — проплывали мимо, почти, касаясь корпуса «Эрики». Были там суда компании «Манчестер гардиан», курсирующие в Канаду, с полосатыми трубами, все с военными названиями: «Манчестер Бригейд», «Манчестер Дивижн», «Манчестер Реджимент» [1]; маленькие белфастские суда для перевозки скота с несколькими межпалубными помещениями, где блеяли овцы; моторные

[1] «Манчестерская бригада», «Манчестерская дивизия», «Манчестерский полк».

парусные суда, поддерживающие торговую связь с островами; крайне запущенные «недельники», курсирующие через Ламанш и обратно, и много других.

В один из солнечных дней «Эрика», наконец, двинулась вперед. Два больших буксира, снабженных кранцами, подошли к обоим концам парохода. Один его тянул, другой подталкивал носом, ловко разворачивая тяжелую посудину на самых крутых изгибах канала.

Мимо проплывали зеленые равнины, дымные каменноугольные шахты, фабрики и поселки. В некоторых местах нужно было проходить под висячими мостами, подымающимися над каналом так высоко, что пароход со всеми мачтами, опустив предварительно стеньгу, мог пройти под ними.

Несколько раз пароход впускали в шлюзы, которые быстро наполнялись водой. Как только вода достигала известного уровня, ворота шлюзов автоматически открывались и пароход мог идти дальше.

Местами берега канала подымались высоко, выше верхушек мачт, и пароход шел, как по глубокому ущелью. На прибрежных холмах паслись овцы, поглядывая глупыми глазами на заморских гостей.

В других местах канал тянулся, как нескончаемая улица. Рядом с ним шла асфальтированная дорога, и километр за километром по берегу тянулись красные кирпичные здания. Все они были небольшие, двухэтажные. Возле каждого дома несколько цветочных клумб, железная ограда, маленький балкончик на втором этаже. Здания были похожи друг на друга, как две капли воды: каждый кирпич уложен по шаблону, все до последнего украшения и штукатурной отделки напоминало соседний дом.

Индивидуальный вкус не проявлялся ни в чем. Это было типично по-английски, так же как типично английскими были все эти встречающиеся на каждом шагу угрюмо-серьезные лица, форменная одежда и блестящие пуговицы с изображением британского льва.

Волдиса это однообразие утомляло, так же как и скучная равнина и дымящие по обе стороны канала фабричные трубы.

* * *

В манчестерские доки прибыли уже к вечеру. Так как таможенные формальности были выполнены еще в Ливерпуле, люди могли сейчас же сойти на берег.

— Топорик*, у тебя должны быть деньги! — приставал Блав к артельщику. — Если ты в бога веруешь, дай один фунт и спаси нас от жажды.

— Ей-богу, нет ни пенни! — божился плотник. — Старик в Ливерпуле дал на продукты только на два дня.

— Ну не будь же таким бессердечным, выручи своих старых друзей!

Плотник пробовал как-нибудь отвертеться, но, увидев, что это не удастся, плюнул, смачно выругался и сдался на просьбы Блава.

— Пойдем вместе на берег. Самому тоже не мешает выпить...

У них сразу оказалось много попутчиков, так как все поняли, что у плотника есть деньжонки. К Блаву присоединились Зоммер, Андерсон и Зейферт, и полчаса спустя после прибытия парохода они веселой гурьбой пошли в город.

Сразу же после их ухода в кубрик кочегаров вошел радист Алкснис. Это был странный человек. Радиста причисляют к судовому начальству, оплачивают, как третьего штурмана; у него отдельная каюта, обедает он в кают-компании. Следовательно, он стоит как бы выше обслуживающей команды и ему не полагается дружить с матросами и кочегарами.

Алкснис, вероятно, представлял исключение из этого правила. Замкнутый и неразговорчивый среди пароходного начальства, он не общался с механиками и штурманами, никогда не садился вместе с ними за стол, — свой досуг он проводил в кубрике кочегаров, с ними ходил на берег, в кино, в кабаки.

Так как Алкснис все это делал открыто, остальные обитатели кают-компании награждали его уксуснокислыми замечаниями. Первый штурман пробовал однажды повлиять на него, указав, что недостойно общаться с такими людьми, и посоветовал найти собутыльников и собеседников среди людей своего круга.

Алкснис не обращал внимания на эти советы. Он был веселый парень, умел играть на пианино и знал французский язык.

О нежелательном панибратстве стало известно и капи-

тану. Старик вызвал упрямца к себе в салон, и они довольно долго оставались там наедине.

— Скажите, почему вы так себя ведете? Если вам скучно, почему вы не общаетесь с равными?

— Господин капитан, разве чиф Рундзинь — общество? Я не могу с ним слова сказать. Всегда раздраженный, недоверчивый, скупой.

— Есть же другие, помимо чифа. Что вы можете возразить против первого штурмана?

— Он только что женился и не решается сходить на берег.

— А второй штурман? Тот еще не женат.

— С тем еще хуже: он собирается жениться и копит деньги на свадьбу.

— Второй механик?

— Вот видите, господин капитан, вам самому смешно. Это же павлин, готовый лопнуть от надменности. Шутка ли — из кочегаров стать механиком!

— О третьем механике не стоит говорить, не правда ли?

— Этот седой отец семейства? Он такой набожный, каким я, к сожалению, как бы ни старался, не смогу стать.

— Так, значит, вам нужны молодые, веселые товарищи? Знаете что? Если уж вы действительно не можете обойтись без этих чумазых, не лучше ли будет, если вы переберетесь на бак со всем имуществом? Сделаем там еще одну койку, и вы будете находиться круглые сутки среди своих любимцев.

Потом капитан бранил и стыдил Алксниса, взывал к его гордости. Но сразу же после этого разговора строптивец опять пошел на нос, к кочегарам.

Таков был Алкснис. Сейчас он надел темный костюм и собирался на берег.

— Вы что, думаете торчать весь вечер на пароходе? — обратился он к тем, которые еще не ушли.

Зван сидел на койке, обхватив голову руками.

— А что делать на берегу без единого пенни в кармане?

— У меня есть еще два фунта, которые я выменял в Риге. Живо вставай и одевайся!

Волдис мыл посуду, но радист не дал ему кончить.

— Бросай тряпку в печку и пойдем с нами в город.

Волдису и самому очень хотелось сойти на берег, поэтому он без возражений согласился. Гинтер обещал домыть за него посуду.

— Галстук не нужен! — крикнул Алкснис, когда Волдис собрался повязать галстук. — Надень только шарф, не на бал ведь идем.

Когда они сошли на берег, было уже темно. Прошли мимо длинного большого элеватора, под которым стояли черные пароходы. Некоторое время им пришлось идти по пустынному железнодорожному полотну, перерезанному во всех направлениях рельсами. Доки окружала высокая ограда. Отсюда можно было выйти только через ворота, у которых все время дежурил полисмен, громадный, как лошадь, очень ленивый и важный. Когда кто-нибудь приближался к его сторожевой будке, он выходил навстречу, и все его приветствовали. «Добрый вечер, сэр», — говорили моряки.

И черная колонна в шлеме что-то лаяла в ответ, как будто не справляясь с застрявшей в горле картофелиной. Ему было приятно, что его называли сэром; кто его так величал, для того путь всегда был свободен, даже если человек находился слегка под хмельком.

Где-то налево от ворот слышался шум — играла шарманка, звенели бубенчики, гудели дудки, и в этом шуме выделялись веселые крики людей.

— Что там за базар? — спросил Волдис. Он увидел освещенную площадь, множество народу, будки и карусель.

— Это балаган, — пояснил Алкснис. — Сходим туда когда-нибудь в другой раз, когда будет больше времени.

Сразу же за доками начинался город. В сущности это было портовое предместье Манчестера — Салфорд. Дома большей частью были двухэтажные. Почти всю улицу занимали магазины, предназначенные для обслуживания моряков. Они торговали мылом, синими и коричневыми комбинезонами, шапками с длинными козырьками — для кочегаров, носовыми платками, резиновыми высокими сапогами, куртками для смазчиков, спасательными кругами, пробковыми жилетами, трубками, табаком, патефонными пластинками, губными гармониками, альбомами местных видов, аптекарскими товарами. Здесь же мелькали разноцветные киноплакаты,


WHITE SE
CHURCH ST
BA

вывески штаба Армии спасения *, парикмахерских, религиозных миссий и всевозможных кабаков.

Из всех этих благ, необходимых для тела и души человека, именно кабак первым привлек к себе внимание наших друзей.

Кабаков здесь было много, и приятели не знали, на котором остановиться. Наконец они вошли в небольшой бар, где было не очень многолюдно. За столиком сидело несколько портовых рабочих со своими женами и подругами; перед ними стояли большие кружки с пивом, его искрящаяся пена вызывала жажду.

Алксне заказал каждому по пинте. Плотный бармен за стойкой отвернул белый кран, и в кружки потекла золотистая пенящаяся жидкость. Волдис никогда не испытывал такой жажды, как в эту минуту.

Первую пинту он осушил в один прием, не переводя духа, что вызвало всеобщее удивление посетителей кабачка. Англичане сидят за одной кружкой пива целый вечер, это предлог для времяпровождения. Они болтают между собой о мировой политике, о Макдональде *, об ирландских шинфейнерах *, время от времени поднося кружку к губам, — и вам кажется, что они пьют долго и много. Но обратите внимание на кружки, которые они отставили, — уровень пива в них почти не понизился. Они приходят каждый вечер, выпивают свою порцию и просиживают здесь часами, — дома скучно, а идти больше некуда.

С некоторыми приходят и жены, помогая им пить и болтать, и совсем не торопят своих Джонов отправляться домой.

Хохотавшие за столиком женщины были грязны, неряшливо одеты, с растрепанными волосами и красными лицами. Теперь все эти люди с нескрываемым любопытством смотрели на латвийских моряков, которые говорили на незнакомом языке, осушали залпом целую пинту пива, сразу же заказывали другую и тут же, не обождав и не поболтав, выпивали до дна. Таких питухов им, вероятно, не доводилось видеть. Англичане, проходя мимо столика иностранных моряков, прислушивались к их разговору и успокаивались. Нет, это были не «джерманы» — проклятые «джерманы», по отношению к которым в сердце каждого патриота-англичанина гнездилась вражда. Заезжие чужестранцы

могли быть турками, неграми, китайцами или итальянцами, только не немцами. Мировая война еще не была забыта. Фу! Проклятье!

После второй пинты на друзей напал приступ болтливости. Они разделились попарно и, ухватив друг друга за пуговицы пиджаков, рассказывали невероятные вещи о себе и о своем прошлом. Все говорили, и никто не хотел слушать. Но когда радист заказал по третьей пинте, бармен вытаращил глаза и... подал только по полпинты. Когда и это было выпито и Волдемар Витол, трюмный с «Эрики», впервые попавший за границу, вдруг заговорил по-английски, его товарищи были поражены. Алкснис заказал четвертую порцию, но бармен отрицательно покачал головой: эти парни уже выпили максимум, который полагалось отпускать в одном кабачке.

— Не дают — не надо! — сказал Зван. — Пойдем в другое место!

Они поднялись и ушли. На противоположной стороне улицы был другой кабачок, где они заказали сначала две порции, потом еще полпинты. Здесь у Алксниса иссякли деньги, и все почувствовали, что жажда утолена, что надоело разговаривать и хочется спать. Бармен взглянул на часы: они показывали без десяти минут десять. Он сказал гостям:

— Time, please! [1]

Посетители торопились допить оставшееся пиво, чтобы ровно в десять уйти из кабачка. После «тайм плиза» больше ничего не подавали, и в десять часов кабак закрывался.

Люди с «Эрики» возвращались на судно, громко разговаривая всю дорогу, хотя им казалось, что они говорят шепотом. У ворот дока они застегнули пиджаки, выпрямились и старались пройти как можно ровнее мимо будки полисмена. Полисмен вышел им навстречу, они сказали ему: «Добрый вечер, сэр!», и он разрешил им войти.

Таков был первый вечер Волдиса на английской земле. И таков первый вечер многих моряков. Так они знакомятся с миром, в преддверии которого неизменно находится кабак.

---

[1] Пожалуйста, пора! *(англ.)*

В следующий раз Волдис пошел на берег с Ирбе. Было воскресенье. Представьте себе скучное предобеденное время — когда улицы с однообразными красными двухэтажными домиками затихли и кажутся вымершими; когда только изредка на них появляются направляющиеся в церковь люди с притворно-печальными физиономиями, в черной одежде; когда не услышишь детского смеха; когда автомашины гудят тише обычного, а полисмен долго смотрит вам вслед, если вы разрешили себе улыбнуться. По прошествии этих часов традиционного ханжества на улицы выходят супружеские пары, дабы показать, что у него есть шляпа, у нее коричневый шерстяной костюм и что они наплодили детей. Она толкает перед собой детскую колясочку, он сосет трубку, шагая рядом с ней; и когда дорога поднимается в гору и у жены начинает болеть под ложечкой, муж сменяет ее. Мужчины поднимают шляпы, сгибают шеи, и кажется, что все люди в городе знакомы между собой, а их души и лица скованы самым страшным видом оцепенения — традицией. Таков воскресный день в Англии.

Волдис с Ирбе ушли с парохода после обеда, когда на улицах опять начали появляться люди. Не зная города, они забрели в грязный рабочий квартал. Длинный ряд домов выглядел как один большой дом, настолько они были однообразны.

Серая, иногда грязная и сырая, иногда тонущая в облаках пыли мостовая, тяжелый воздух, грязные дети, играющие в футбол, и бранящие их за это взрослые; в дверях и через улицу протянуты веревки с развешанным на них заплатанным бельем и всяческими лохмотьями.

— Не понимаю, как эти люди могут прожить жизнь в таких казармах, — заговорил Волдис. — Здесь они рождаются, на грязной мостовой проходит их детство, они вырастают, работают, женятся и оставляют после себя опять новое поколение, наследующее те же казармы, ту же нищету и те же лохмотья. И при этом они поют свою гордую песню: «Британец никогда не будет рабом!»

— И тут же рядом ежедневно видят другую, богатую жизнь, — заметил Ирбе. — Они, вероятно, очень неприхотливы, если не пытаются протестовать.

— Да, протестовать... — Волдис улыбнулся. —

У них ведь есть колонии, где недовольные могут попытать счастья... Но если у них вдруг в один прекрасный день отнять этот отводной канал, по которому сплавляются все неблагонадежные элементы, — возможно, что эти казармы заговорили бы. Это был бы очень опасный разговор.

Затем Волдис и Ирбе выбрались на Трэдфорд-Род и некоторое время двигались вместе с толпой. В одном месте они увидели множество людей, ожидавших, когда откроются двери серого двухэтажного дома, стоявшего в стороне от других. На двери была вывеска: «Миссия для моряков».

— Ты когда-нибудь бывал здесь? — спросил Волдис у Ирбе.

— Нет еще, — ответил Ирбе.

— Интересно посмотреть, как они спасают наши гибнущие души.

В это время открылась дверь, и люди стали входить.

— Пойдем и мы, — сказал Волдис.

Они рассмеялись и зашли в миссию.

* * *

Волдис и Ирбе поднялись на второй этаж. Навстречу вышел седой мужчина с гладковыбритым лицом и повел их в небольшой зал. На стульях сидело десятка два высохших старух, примерно столько же детей, но не видно было ни одного мужчины, если не считать седого господина с золотыми зубами, который поднялся на кафедру и начал что-то говорить. В его речи чаще всего повторялось слово «бог».

Оба парня растерянно смотрели на публику.

— А где же моряки? — шепотом спросли Волдис у Ирбе.

— Вероятно, это они и есть.

— Эти старухи и дети?

Им стало смешно, но смеяться здесь было неудобно, поэтому они сдержались и хотели незаметно выскользнуть из зала. Мужчина, который их впустил, указал на стулья.

— Ну и попали мы, как кур во щи!.. — шепнул Ирбе, уже начавший злиться на Волдиса.

На них было обращено усиленное внимание. Старухи

и дети больше смотрели на них, чем на проповедника. Проповедник повысил голос, сделался приветливым и, казалось, обращался только к ним; он все время смотрел в их сторону, так что им было неудобно разговаривать и улыбаться. Потом проповедник открыл какую-то книгу и запел. Все присутствующие вторили ему. Одна старуха услужливо протянула Волдису свой молитвенник, указала стих, и им с Ирбе ничего не оставалось, как уткнуться в него и мычать вместе со всеми. Мелодия была незнакомая и в иных местах неожиданно обрывалась, всеобщее молчание нарушалось лишь мычанием друзей, приводившим всех в смущение. Тогда они перестали мычать и только шевелили губами, так что все опять успокоились.

Пение кончилось, и все опустились на колени. Послышалось многоголосое бормотанье, по окончании которого проповедник громко сказал: «Аминь», и все поднялись.

Публика было зашевелилась, собираясь уходить, но все опять остановились, потому что мужчина, впустивший приятелей, обходил теперь зал с тарелкой для пожертвований. Старушки открывали кошельки, расплачиваясь своими пенни за общение со святым духом. Волдис нащупал в кармане несколько латвийских мелких монеток и высыпал на блюдо.

После этой церемонии всех пригласили в нижний этаж, где было устроено нечто вроде клуба: там был бильярд, стояло несколько столов с журналами и газетами, на стенах — картины аллегорического содержания (дорога на небо и в ад, тонущий корабль и утопающий, ухватившийся за крест) и разные игры.

Проповедник дал детям по апельсину. Старухи уселись вдоль стен. В этом помещении, вероятно, никогда не появлялись молодые здоровые мужчины, поэтому присутствие моряков так подействовало на всех собравшихся. В миссии царило приподнятое настроение. Проповедник с удовлетворением отметил, что слово божие дошло до недосягаемых доселе слоев, и думал о том, как он сделает приятное сообщение руководству миссии: Салфордскую миссию моряков начали посещать моряки!

— Попытаемся сбежать! — сказал Ирбе и потянул Волдиса за рукав.

— Как же сбежишь, если они с нас глаз не спускают...

Отчаявшись, они еще с полчаса листали журналы, — некоторые были вполне светского содержания, даже с фотографиями обнаженных женщин.

— Как они это терпят? — указал Волдис на снимок какой-то эстрадной труппы.

— Вероятно, этим пытаются привлечь моряков. Я уверен, что если бы здесь после проповедей устраивались танцы с хорошенькими девушками, моряки перестали бы быть такими безбожниками!

Раз даже сам проповедник подошел к ним и спросил, какие книги их интересуют — французские, скандинавские или немецкие?

— У вас есть русские? — спросил Волдис.

Нет, русских у них не было. Кисло улыбнувшись, добродушный господин удалился.

— Я больше не могу! — сказал, наконец, Волдис, встал, торопливо отвесил поклон, на что старухи ответили глубокомысленным наклонением головы, и бросился вон из комнаты. Ирбе последовал за ним. На улице они с облегчением вздохнули.

— Вот каких мест надо избегать! — сказал Ирбе.

Погуляв еще около получаса по улицам, они вернулись на пароход.

— По воскресеньям не стоит ходить на берег, — заявил Волдис Гинтеру. — Можно умереть от скуки.

* * *

Каждый день на пароходе появлялись новые лица. Торговцы присылали карточки со списком своих товаров, сапожники и портные являлись сами, соблазняя парней образцами разнообразной обуви и одежды. Иногда приходили подозрительные личности, оборванные и грязные, с большими чемоданами. Они открывали двери кают, произносили свое «хелло, бойс» и преспокойно раскрывали чемоданы. Там была всякая мелочь: туалетное мыло, щетки, бритвы, ручные зеркальца, письменные принадлежности, апельсины, шоколад, курительная бумага, специальные жидкости для чистки одежды, открытки и многое другое.

Моряки недоверчиво поглядывали на них. Но как быть, если вам за один шиллинг предлагают настоящий будильник? Вы не верите своим ушам, затем берете в руки, вертите в руках эту прекрасную вещицу, и вам представляется чудесная возможность за смехотворную цену приобрести себе часы. Шутя, вы покупаете их, глядя на вас, покупает и другой, и в результате разносчик освобождается от жестянки, которая тикает с неделю, а затем останавливается навсегда. Вас к тому времени уже не будет в гавани, да и разносчик не рискнет прийти в другой раз на такой пароход.

Торговцы не давали ни разу спокойно пообедать. Иногда они приходили к морякам во время работы, и тогда кто-нибудь из начальства прогонял их с парохода.

Однажды, когда кочегары сидели за обедом, в кубрик вошел седой господин в пенсне.

— Сегодня в семь часов вас всех приглашают на вечер моряков, — обратился он к сидящим. — Будет общий ужин с веселой программой в «Отдыхе моряков».

После его ухода началось обсуждение.

— Наверно, опять какая-нибудь ловушка... — заикнулся было Волдис. — Заманят нас в молитвенный дом и заставят распевать псалмы.

— А общий ужин?! — восторгался Блав. — Ради одного этого стоит пойти.

— Ну, во всяком случае виски там угощать не будут, — сомневался Зоммер.

— Уж по кружке пива-то, наверно, поставят, — думал вслух Андерсон.

В конце концов сговорились идти, а если станет невтерпеж — сбежать.

Поспешно убрав каюту и вымыв посуду, Волдис в половине седьмого вместе с остальными сошел на берег. За последнее время кочегары изменили свое отношение к Витолу. Убедившись, что море никак не влияет на него, увидев, как легко он справляется со своей работой, они стали относиться к новичку более дружески и перестали ворчать, если иногда тарелки казались им недостаточно чистыми. Зато тем больше доставалось Гинтеру — Волдису иногда даже становилось жаль парня, — что бы он ни сделал, все было не так, все им командовали и часами пилили за малейший промах.

«Отдых моряков» находился на Трэдфорд-Род, в са-

мом оживленном районе Салфорда. Окна здания были разрисованы пятимачтовыми парусниками и якорями. Глядя с улицы, можно было подумать, что здесь находится клуб моряков или таверна первого разряда. Внутренность помещения говорила о другом. Это была большая, пустая, скучная комната с несколькими картинами религиозного содержания. Посреди нее стояли два накрытых стола, за которым сидело около полусотни мужчин разных национальностей. Здесь были французы, норвежцы, испанцы, шведы, индусы, негры и даже несколько японцев.

Вошедших встречали пожилые суетливые женщины, вели к столу и усаживали. Волдиса посадили между коренастым датчанином и негром. Окинув взглядом компанию, он стал наблюдать здешние порядки. Перед каждым гостем стояла только чашка чаю и лежало пирожное. Как только пирожное съедалось, подавали другое. У столов все время ходили две женщины и смотрели, кому чего не хватает. Так обычно обращаются с маленькими детьми, чтобы они не раскрошили еду: «Скушаешь это, получишь еще». Но если здесь придерживались такого порядка, на то имелись причины, которые Волдис очень скоро постиг, внимательно наблюдая за своими соседями. Сидевший рядом с ним датчанин прятал пирожные в карман одно за другим и все время просил еще. В промежутках он съел одно-два пирожных, но это был пустяк по сравнению с тем, что исчезало в его карманах. Несколько раз он подмигивал Волдису, приглашая следовать его примеру.

В комнате стоял гул. Подходили все новые гости. Запоздавшие моряки с таким рвением кидались к столу, что пожилые дамы с корзинками не могли отойти от них, чтобы подать другим.

После чая всех попросили наверх, на второй этаж. Помещение там оказалось гораздо меньше, и пестрой толпе пришлось потесниться.

Латыши весело болтали со скандинавами и американцами, а японцы глубокомысленно обменивались мнениями с индусами.

Вышли два молодых человека во фраках, поклонились. Седая дама села за пианино. Молодые люди пели и плясали одновременно, и все смеялись. Кончив одну песенку, они спели другую и, наконец, затянули «Бананы».

Толпа моряков заревела и, отбивая такт ногами, подтягивала им. Пол грохотал так, что, казалось, вот-вот проломится, а пожилые дамы стояли позади, упершись руками в бока, и устало улыбались.

Потом мальчик лет десяти играл на скрипке и пел. Все ему подпевали, так как это была популярная матросская песенка. А когда все кончилось, откуда-то вынырнул пожилой господин и произнес короткую проповедь, многократно упоминая бога и короля, и в заключение предложил спеть английский гимн.

После гимна моряки сказали:

— Спокойной ночи, сэр, спокойной ночи, леди! — и по крайней мере половина из них прямо из «Отдыха моряков» направилась в кабак.

— Неужели в этом городе действительно некуда пойти, кроме благотворительных заведений? — спросил Волдис, когда они с Ирбе вышли.

— Сходим в балаган, там совсем другое.

— Кабаки, церкви и балаганы — и это все, что есть у моряка на этом свете, — покачал головой Волдис.

— Есть и еще кое-что! — усмехнулся Ирбе.

— Что ты имеешь в виду?

— Дома терпимости.

— Да, вероятно. Но стоило ли тогда пускаться в плавание? Разве я для этого пошел на корабль?

Товарищи замолчали. Немного погодя Волдис вновь заговорил.

— С какой целью затеян этот вечер? Сделались ли мы там умнее или лучше? Поесть мы можем и на пароходе, куплеты эти сотни раз слышали на патефонных пластинках. Развлечение? Сближение наций? Но при чем тогда английский гимн? Можно ли представить себе большую наглость: свести вместе нации всего мира и заставить их петь во славу английского короля и Англии! И все это за пару пирожных и чашку чая! Нет, уж лучше балаган...

Они свернули направо, в ту сторону, откуда слышались звуки шарманки.

* * *

Балаган стоял у самой ограды дока, так что ни один направляющийся в город моряк не мог пройти мимо, не заметив его. Карусель занимала центр площади; вокруг

нее были построены маленькие будочки, в которых ловкие, предприимчивые люди наживались на охмелевших моряках. Там стояли будки, в которых можно было, швыряя, нанизывать кольца на горлышко бутылки, — бутылку получал тот, кому удавалось накинуть кольцо; в других будках за деньги показывали отощавшего медведя и какие-то редкие экземпляры крыс; были палатки, где на расстоянии пяти шагов нужно было попадать маленькими вальками в кокосовые орехи; были и тиры, в которых стреляли по прыгающим шарикам и качающимся трубочкам: за шиллинг полагалось восемь выстрелов, и если удавалось попасть в трубочку, стрелок получал приз — маленькое карманное зеркальце, куклу, расческу или гипсового котенка, что даже не окупало стоимости выстрела. Еще там имелись стереоскопы, где за небольшую плату можно было увидеть удивительные вещи, начиная с красивых пейзажей и кончая явной порнографией; лотерея, весы, силомеры и фигура боксера, на животе которого каждый мог испытать силу своих кулаков. Все это выглядело очень просто и наивно, тем не менее недостатка в посетителях не было.

Первое, что привлекло внимание наших друзей, когда они пришли в балаган, была валявшаяся в грязи и стонавшая женщина. Вокруг нее толпилось несколько человек, стараясь поднять ее на ноги, но у женщины, очевидно, закружилась голова от карусели, а возможно — и от виски, и она даже не пыталась приподняться. Позже Волдис убедился, что здесь такие вещи случаются часто. Во время катанья на карусели почти каждый раз кому-нибудь делалось дурно. Иногда женщины испуганно кричали, чтобы остановили карусель, чего, конечно, никто не делал до тех пор, пока не заканчивался положенный срок катания.

Большинство мужчин были пьяны, поэтому содержатели балаганов собирали богатую жатву, — каждому ведь хотелось испробовать свою силу, проверить вес, ловкость рук и остроту зрения. Волдис заметил какого-то англичанина, который у будки с кокосовыми орехами кидал вальки в продолжение получаса, ни разу не попав в цель.

В толпе мужчин толкались мальчики-подростки и девушки-работницы, принимавшие участие в веселье или просто наблюдавшие за другими.

Многие женщины были пьяны; они заговаривали с незнакомыми мужчинами, звали их с собой, беспрерывно хохотали.

Среди работниц, пришедших сюда повеселиться или завести мимолетный роман с молодыми парнями, Волдис заметил двух девушек, которые гуляли около будок, с любопытством разглядывая соревновавшихся в ловкости мужчин. Они остановились в стороне и смотрели, как мужчины пытались попасть в кокосовые орехи; если кому-нибудь это удавалось, девушки с веселыми восклицаниями хлопали в ладоши. Но на них даже никто не глядел. В веселье этих одиноких девушек было что-то горькое. Одна из них была стройная, бледная, с несколько большим ртом; другая походила на киноактрису Мэри Пикфорд.

Наконец Волдис заинтересовался стрельбой в цель. На военной службе он считался одним из лучших стрелков в полку.

— Попробуем и мы, Фриц! — сказал он Ирбе.

— Давай.

Для предприимчивого торговца это, наверно, была самая большая трагедия за весь сезон: он дал латышским парням по восемь выстрелов каждому, — попасть в двигающуюся головку трубочки на расстоянии трех шагов было до смешного легко. Волдис искрошил целую вереницу трубочек, и физиономия англичанина, вначале такая доброжелательная и улыбающаяся, все больше и больше вытягивалась, пока, наконец, не послышался тяжелый вздох. Он грустно показал на кучу призов.

Волдис выбрал несколько кукол, обезьянок и карманное зеркальце, а Ирбе взял гипсового кота и жестяной поднос. Позади них собралась толпа, громко выражавшая свое одобрение. Волдис опять заметил в толпе одиноких девушек: они с восхищением смотрели на призы, которые он нацепил на все пуговицы своего пиджака.

— Фриц, куда мы денем кукол и обезьян? — спросил Волдис. — Не отдать ли их этим девушкам?

— Ты думаешь, они возьмут?

— Почему же нет?

— Ну, попробуй.

Волдис отцепил несколько безделушек и, улыбаясь, направился к девушкам. Те переглянулись, засмеялись и взяли подарки. С большим интересом они разгляды-

вали и вертели в руках маленького павиана и кукол. Тогда Ирбе протянул им своего гипсового кота, и стройная девушка жадно схватила его.

Зван, только что кончивший борьбу с «боксером», взглянув издали на них, улыбнулся и ушел. Приятели остались. Девушки не отказались прокатиться на карусели и с удовольствием грызли орехи, предложенные им Волдисом.

* * *

Было уже довольно поздно, когда они вчетвером ушли из балагана. Девушки вели своих спутников по узеньким переулкам, избегая, видимо, центральных улиц. Ирбе знал только несколько английских слов и больше молчал, да и остальные мало говорили. Так как переулки были темные и пешеходов встречалось мало, молодые люди разделились попарно, и девушки ухватили под руку своих спутников. Маленькая, та, которая походила на Мэри Пикфорд, держалась за локоть Волдиса и рассказывала ему о себе. Ее зовут Анни, она работала на текстильной фабрике, но уже больше месяца без работы. Такое же положение у ее подруги Долли.

Она посмотрела в глаза Волдису и грустно улыбнулась, будто стыдясь своей незавидной судьбы. Волдис взял ее маленькую твердую руку с коротко остриженными ногтями, настоящую руку работницы.

— Что вы теперь думаете делать? — спросил он тихо.

— Я ищу работы...

— А если вы ее не найдете так скоро?..

Она взглянула на него и покраснела.

— Разве вы не знаете, что делают работницы... что им приходится делать, когда нет другого выхода?..

Волдис ничего не ответил, только крепче пожал руку девушки. Зачем он задал этот вопрос? Разве можно об этом спрашивать девушку, принимающую подарки от незнакомого мужчины и позволяющую себя провожать? Она так смущена и так неуверенно держится, эта Анни, — может, она именно сегодня пошла впервые на улицу искать... выхода?

— Вы далеко живете? — спросил он ее.

— О да! — воскликнула она, указывая куда-то в темноту.

— Зачем вы пришли к докам?

Анни опустила глаза, медля с ответом.

— Там меня никто не знает, — сказала она наконец совсем тихо.

Теперь Волдис понял все: они обе начинающие, возможно, только собирались начать, — а делать это на своей окраине было неудобно.

— Куда мы идем? К вам домой? — спросил он.

— Ой, нет! Меня мать изобьет, если увидит с незнакомым парнем. Но мы идем в ту сторону, только вы не доходите до нашей улицы: я не хочу, чтобы меня видели знакомые.

Из узкого переулка они вышли на темный пустырь. Здесь не видно было зданий, только бесконечно тянулся высокий дощатый забор, теряясь в темноте. На изрядном расстоянии друг от друга горели фонари; между ними темнели широкие полосы неосвещенного пространства.

— Что это такое? — спросил Волдис. (Их догнали Ирбе и Долли.)

— Здесь футбольное поле, — ответила Анни. — Пойдемте дальше.

— Идите скорее! — крикнула вслед Долли. — А то мы вам пятки отдавим.

В тени забора, на расстоянии пятнадцати — двадцати шагов друг от друга, стояли человеческие фигуры. Это были парочки. Когда приближались прохожие, кавалеры загораживали своих дам от посторонних взглядов. Наконец у забора больше не виднелось ни одной пары. В одном из темных уголков Анни остановилась.

— Подождем Долли, — сказала она, прислонясь к забору, затем беспокойно, словно выжидательно, взглянула на Волдиса и поежилась, кусая губы.

Долли с Ирбе не двигались. Издали были видны их тени, казавшиеся в тумане гигантскими и призрачными: двое стояли там, обнявшись и надолго застыв в этой позе.

Волдис опять взял девушку за руку.

— О чем вы сейчас думаете? — спросил он.

— О вас! — засмеялась Анни и потупилась.

— Я ведь для вас чужой, вы меня не знаете. Что вы можете думать о незнакомом человеке?

— Только хорошее...

— Конечно, потому что не знаете, каков я на самом деле.

Он прислонился к забору рядом с девушкой. Мимо них прошел какой-то мужчина, взглянул на них и отвернулся. Девушка придвинулась поближе и прислонилась плечом к груди Волдиса. Он взял ее руку и улыбнулся. Девушка точно ожила и потянулась к нему, выжидательно глядя в глаза.

«Нет, она еще не начинала, иначе она знала бы, как вести разговор, держала бы себя более вызывающе, торговалась. Очевидно, это была первая попытка».

Некоторое время они стояли молча. Призрачная тень стоявшей вдали пары задвигалась. Девушка взглянула на нее и покраснела.

— Почему вы не хотите меня поцеловать? — робко и печально сказала она, наконец.

— Вы позволяете? — спросил Волдис.

Ему стало грустно, когда он заметил смущение девушки. Она хотела продаться, ей нужно было это сделать, но она не знала, как себя предложить.

— Я хочу, чтобы вы меня поцеловали... — шепнула она и вдруг застенчиво спрятала лицо на груди Волдиса.

Но Волдис задумчиво смотрел куда-то в темную туманную даль. Было прохладно. Из темноты вышли, обнявшись, Долли и Ирбе; подойдя ближе, они рассмеялись.

— Что вы здесь стоите, как прибитые? — крикнула Долли.

Никто ей не ответил. Она взглянула на Анни, потом на Волдиса и сделалась серьезной.

— Анни, может быть, пойдем домой? — обратилась она к подруге.

— Пойдем... — еле слышно прошептала Анни.

— Мы договорились завтра вечером встретиться в Салфорде у кино «Эмпайр», — сказал Ирбе Волдису.

Волдис взглянул на Анни.

— А мы?

— Можно... — улыбнулась она, теребя куклу.

Они расстались. Девушки не разрешили проводить их, издали они послали несколько воздушных поцелуев.

— Дьявольские девчонки! — расхохотался Ирбе, когда они дошли до края футбольного поля. — В первый вечер зайти так далеко! Это можно назвать достижением.

— Бедные девочки, — сказал Волдис и более резко добавил: — Если девушка в первый вечер позволяет зайти так далеко — это не достижение, а сделка.

Они возвращались опять теми же темными переулками. В подъездах домов, притаившись в темноте, стояли мужчины и женщины. Они стояли, крепко обнявшись, и целовались, не обращая внимания на прохожих.

* * *

После этого они встречались каждый вечер. Иногда ходили в балаган. Парни стреляли и предоставляли девушкам выбирать призы. В другой раз они смотрели в кино какой-нибудь фильм. В «Эмпайре» показывали только английские фильмы, из жизни канадских охотников и английских фермеров. Однажды они зашли в «Спэниш джейд» — причудливое, построенное в форме амфитеатра кино, где показывали только фильмы об Испании или других южных странах. Каждый сеанс оканчивался дивертисментом в испанском духе. Девушки искренне радовались любому зрелищу, — видно было, что они не избалованы.

После сеансов они опять шли на футбольное поле, где Ирбе с Долли отставали немного, и их фигуры бросали гигантские тени на лужайку. Волдис каждый вечер несколько раз целовал девушку и угощал ее орехами, но девушка становилась все беспокойнее.

Разговаривали они мало, так как Анни уже все рассказала о своей фабрике. Она была всего лишь простой ткачихой, ткала она не шелк, а простую хлопчатобумажную ткань... О себе Волдис никогда не умел рассказывать.

Они были чужими друг другу, — такими им и следовало оставаться.

И все же иногда, когда Волдис держал в своих руках тонкие девичьи пальцы, ему казалось, что не только тепло тела передавали ему эти руки, — то был мостик, переброшенный от человека к человеку, и каждый толчок пульсирующей в них крови нес волну затаенных дум и желаний, которые трудно было выразить словами.

Как-то на пароходе объявили, что наутро «Эрика» покинет порт; она провела в манчестерских доках уже две недели.

Наступил вечер. Волдис и Ирбе опять встретились с девушками. Они пошли к темным окраинам, как будто хотели скрыть что-то греховное.

— Почему вы сегодня такой молчаливый, — заговорила Анни. — Вам скучно?

— Хорошо, если бы это была только скука.

— Значит, что-то похуже?

— Трудно сказать, лучше или хуже. Часто то, что вначале кажется очень приятным, превращается потом в большое несчастье, и наоборот.

— А сейчас вы как думаете?

— Я думаю, что неплохо бы провести еще несколько недель в Манчестере.

— Вы отплываете? Когда?

— Завтра.

Они шли некоторое время в глубоком молчании. На футбольном поле девушка больше не остановилась на обычном месте.

— Не будем ждать Долли? — спросил Волдис.

— Не знаю. Нет, не стоит.

— Можно вас еще немного проводить?

— Да... можно...

За футбольным полем им пришлось переходить ярко освещенные трамвайные пути, соединяющие Салфорд с Манчестером. Волдис хотел освободить локоть девушки и дать ей возможность одной пройти светлую полосу дороги у путей. Анни взглянула на него и крепко, крепко сжала руку Волдиса.

Они вошли в темную аллею: налево стояла высокая каменная стена, над которой свешивались густые ветви темных деревьев, направо чернел изрытый огород с белеющими в темноте кочанами капусты.

Грязная дорога поднималась в гору. На горе стояла башня. Она напоминала ворота средневековой крепости: сквозь основание башни проходила дорога.

Здесь они остановились. Девушка с минуту прислушивалась, оглянулась на аллею, затем свернула налево, и они по темной каменной лестнице поднялись наверх. Теперь они были одни.

— Долли вас будет искать, — сказал Волдис, когда они сели на широкую плиту подоконника.

— Пусть ищет...

Башня была высока сама по себе и, кроме того, стояла на холме, поэтому она возвышалась над всей окрестностью. Окна были без стекол. Молодые люди сидели рядом и смотрели на ночной гудящий город. Снизу доносился звон двухэтажных трамваев, переполненных пассажирами, горели тысячи огней, как громадный пламенеющий костер, световые рекламы соперничали одна с другой, провозглашая оплаченную хвалу сигаретам и бритвам. Где-то далеко на канале завывала мощная сирена, и эхо через одинаковые интервалы разносилось по городу текстильщиков.

В башне было темно. Двое молодых людей молчали, прислонившись к каменной стене. Время шло...

Маленькая девушка обратила печальный взгляд на задумчивое лицо своего спутника и еле заметно улыбнулась.

Волдис, не говоря ни слова, нежно обнял узкие плечи и склонился к девушке. В прохладном ночном воздухе поднималось облачко пара от их горячего дыхания.

Они сидели, тесно прижавшись, как два озябших ребенка. Анни, склонив голову на плечо Волдиса, дышала часто и прерывисто.

До самого горизонта сверкали огни. Башня казалась темным одиноким островом. Перебирая пальцы Анни, Волдис думал о том, как жестока жизнь. Сегодня он держит в объятиях эту незнакомую женщину, все его существо полно тихой, но тревожной радостью. Девушка доверчиво прижалась к его груди, слушает, как бьется его сердце о стенки грудной клетки... она, наверно, счастлива сейчас. А завтра где-то далеко на канале загудит один из пароходов, как сейчас этот чужой, неизвестный, между ними лягут громадные просторы, и они пойдут каждый своей узкой тропой. Им нельзя будет оглянуться назад, потому что каждый взгляд в невозвратимое прошлое причиняет только боль...

Анни попыталась улыбнуться. Тогда Волдис заговорил:

— Анни... Жить каждому своей маленькой жизнью,

которая течет по узкому руслу, и только иногда со страстной болью тосковать о недосягаемом, необъятном просторе мира — вот наша судьба. Будничная суета быстро усыпляет всякую боль. Но если случай сталкивает одного человека с другим так близко, как нас с тобой, чтобы потом разлучить, может быть, навеки, — это величайшая жестокость, какая может случиться с человеком.

Девушка прижалась к его лицу своей горячей щекой.

— Я люблю вас... — шепнула она ему на ухо.

Но теперь это были лишние слова...

— Анни, — продолжал Волдис. — Я завтра уеду далеко отсюда. Мои пути, может быть, никогда не приведут меня в эту страну, в этот город, в эту башню. Мы никогда ничего не узнаем друг о друге. Мы будем потеряны друг для друга навсегда.

— Ты будешь обо мне вспоминать... иногда? — шептала она, целуя его в последний раз.

— Может быть, иногда. Но эти воспоминания только отравят наши думы, и они станут горькими. Букашке больно, ей тяжело, потому что у нее есть сердце... Но она бессильна!

В городе один за другим гасли огни. На улицы спустилась ночная тишина. Перестали ходить трамваи.

Наконец они расстались.

Анни продолжала сидеть на подоконнике.

Волдис ушел. Внизу он обернулся, чтобы взглянуть на башню, и ему показалось, что серая громада стала еще больше. Как грозный призрак, темнела она в ночи, стиснув в своих каменных объятиях человеческое существо, оставшееся там в полном одиночестве. В окнах башни завывал ветер.

Волдис один, без товарища, шагал по тихим улицам. Непривычно громко раздавались звуки шагов по асфальту. До утра было далеко. Он замедлил шаги и шел, размышляя о бесконечной повторяемости жизни. Анни завтра опять пойдет к воротам доков — теперь это ее путь. Потом она встретит кого-нибудь, кто ее купит... И одновременно с ней на улицу выйдут тысячи девушек, которым нечего есть. Они будут стоять у доков всего мира...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На другое утро «Эрика» оставила док и вошла в канал. Принятый в Ливерпуле уголь был сожжен, и повторилась старая история: не хватило топлива. Опять плотник с матросами искал по всему пароходу лес, жертвуя совершенно новые доски, отрывая обшивку со стен и все бросая вниз, в кочегарку.

Наконец, больше при помощи буксиров, чем своими силами, пароход достиг места, где обычно наполняли бункера судов, отправляющихся в море. Погрузочная установка напоминала гигантский лифт. Вагон с углем прямо с рельсов поступал на железную платформу, платформа поднималась на нужную высоту, затем наклонялась — и уголь по широкому железному желобу высыпался в люк или на палубу.

У погрузочной установки в этот момент не было ни одного парохода, и «Эрика» сразу стала под нее. На палубу поднялись английские трюмные с длинными сердцевидными лопатами и стали грузить уголь. Белые стены капитанского салона за несколько минут превратились в темно-серые.

— Ну, братцы, теперь держитесь! — сказал Зван товарищам, вернувшись с вахты. — И уголек же мы получили!

— Что, — воскликнул озабоченно Андерсон, — опять мелочь?

— Нет, крупный. Но это не уголь, а просто какие-то камни, серые, как известняк. Однажды мы получили такой уголь в Роттердаме — с ним пару не нагонишь!

— Это капитан все ловчит, — сплюнул Андерсон. — Спекулянт проклятый! Вместе с чифом покупает всякий мусор, а мы должны потеть.

— Почему ему не делать этого? — высунул голову Блав. — Пароходная компания ведь не узнает, какой уголь был куплен: руководителю погрузки дадут взятку, и тот выпишет любой счет. А у капитана с чифом останутся денежки, в которых не надо отчитываться перед женой!

Один за другим кочегары выходили на палубу и ощупывали уголь. Все возмущались и злобно поглядывали на чифа, стоявшего у люка и считавшего вагоны с углем. Чифу было все равно...

Гинтера мучили старые заботы. В обед он разыскал радиста.

— Что хорошего предсказывают? — спросил он Алкс-ниса.

— Зюйд-вест! — ответил радист.

— Проклятая погода! — ворчал Гинтер. — Пока мы стоим в порту — тихо, безветренно, а как только нам идти в море — обязательно ветер. Неужели не могло быть наоборот?

— Ничего, Гинтер, потерпи! — успокаивали его товарищи. — Так скорее привыкнешь. Только наедайся теперь как следует, чтобы потом выдержать натощак.

— Больше, чем полагается, не съешь. Я и так наворачиваю хлеб целыми караваями. Хоть бы уж скорее привыкнуть. Какое же это плаванье — рвет и рвет без конца, как в похмелье.

— Тебе бы куда-нибудь в дальнее плаванье — этак на месяц, да чтобы все время была сильная качка. Тогда ты привыкнешь. А сейчас нам приходится быть в пути дней пять-шесть, самое большое десять. Так никогда не станешь моряком.

— А Волдис? Почему он привык?

— У него, Гинтер, нутро другое.

Точно назло Гинтеру, ветер начал пошаливать еще в канале. Невесело гудела радиоантенна, и небо покрывалось свинцово-серыми тучами.

Наполнив бункера, пароход остался на ночь там же, на месте. Отправились только наутро и после полудня вышли на ливерпульский рейд. Пока пароход шел через гавань, Волдис был свободен и сидел у трубы на шлюпочной палубе. Антенна пела тоскливую, зловещую песню, и морские просторы вдали расцветали белыми гребешками. Но это было только начало — ветер еще не вошел в силу.

Одновременно с «Эрикой» из гавани вышел трехтрубный океанский лайнер. Некоторое время оба парохода шли рядом. На палубе лайнера группами разгуливали пассажиры. Ветер доносил обрывки музыки. Вскоре гигант, выбравшись из узкого фарватера рейда, развернулся, забурлила вода под тремя винтами, и пароход быстро проскользнул мимо «Эрики». Через Атлантику, в богатую, манящую всякими возможностями страну — Америку — уехало несколько сотен человек в надежде

стать счастливыми. Некоторым, может быть, это и удастся. Но большинству? Что найдут они там, на краю света?

Волдис долго провожал взглядом красивый пароход и почувствовал острую зависть: с какой радостью он пустился бы вслед за ним! Удастся ли ему это когда-нибудь?

Матрос на баке пробил четыре склянки. Надо было идти за кофе, сейчас сменится вахта.

* * *

И кочегары и Гинтер огорчались не зря. Уголь был никудышный: горел слабым красным огнем, спекался на колосниках и почти весь превращался в шлак. Всю вахту кочегары не выпускали из рук лопаты и ломы, все четыре часа прошли в беспрерывной чистке топок. За какой-нибудь час они заполнялись шлаком, забивавшим колосники так, что прекращался доступ воздуха и уголь слабо тлел.

Котельная была забита кучами шлака и золы, и трюмные каждую вахту выгружали наверх по пятьдесят-шестьдесят ведер, — а это чрезвычайно много для шеститопочного парохода. Почти все время уходило на выгрузку золы. Чтобы кочегарам хватало угля, трюмные в свободные часы поднимались на бункерную платформу и ссыпали уголь в боковые бункера.

Зюйд-вест разбушевался ночью. «Эрика» была на полпути в Кардифф, где ее ожидал груз. В хорошую погоду она могла бы достигнуть гавани на следующее утро.

Ветер дул с такой силой, что люди, находившиеся на палубе, не могли дышать. Ветер выплескивал суп из посуды, и пока доносили миску до кубрика, она была почти пуста. Навстречу, по проливу Святого Георга, катились громадные волны. Идущий порожняком пароход высоко поднимался над водой и под напором ветра еле двигался вперед: волны кидали его с боку на бок, и он тяжело подпрыгивал на их гребнях. С полуночи до рассвета «Эрика» прошла всего около пяти или шести морских миль.

Поднялась такая буря, что, несмотря на все усилия кочегаров, машина не в силах была двигать пустой корпус парохода навстречу ветру. При работе машины на

полную мощность «Эрику» относило назад на милю в час.

Волна за волной перекатывались через высокие палубы. Вокруг все падало, звенело, грохотало. От качки неплотно прикрытые двери со страшным треском колотились о стенки, не давая возможности уснуть. В кладовой опрокинулись банки и вылилась краска. Тарелки летали по воздуху, и их приходилось держать на коленях, но при такой качке невозможно было даже усидеть на месте. Все ходили, как пьяные, держась за стены.

Окончательно убедившись, что двигаться вперед нет никакой возможности, капитан ввел пароход под укрытие какого-то острова и распорядился бросить якорь. Здесь уже стояло несколько пароходов. Пришлось проторчать тут весь день. К вечеру ветер немного стих, и пароходы один за другим опять вышли на широкие морские просторы. Не прошло и получаса, как их опять настигли порывы бури, и пароходы раскидало по морю в разных направлениях — более сильные держались на месте, слабые ветер гнал обратно. «Эрика» в этой компании была самым слабосильным пароходом.

Чиф Рундзинь побежал к кочегарам:

— Ну, в чем там дело? Неужели нельзя пар поднять? Нас обгоняют разные тачки, над нами начнут смеяться.

— Дайте хороший уголь, — мрачно проворчали кочегары. — Булыжниками пару не нагонишь.

Манометр показывал все время сто сорок фунтов, стрелка опускалась иногда даже до ста двадцати.

Затем произошла авария, хуже которой могла быть разве только потеря винтов: испортилось рулевое управление — оно работало только в одну сторону. Поднялась страшная суматоха. Капитан, штурманы, механики с криком бегали, размахивая руками, не зная, что делать. Все кричали, торопя чифа, но старый баран только хлопал глазами. Второй механик стоял у машины, ему приходилось при каждой волне выключать ее: когда корма поднималась из воды, винты вращались вхолостую и могли разбить машину или отбить крыло у вала. Подняли с коек третьего механика, дункемана и свободных от вахты кочегаров. Разобрали рулевое управление и стали искать причину поломки, но не могли ничего обнаружить. А пароход в это время метался по волнам, как пьяный, и совсем рядом виднелись торчащие

из воды верхушки прибрежных подводных скал. Матросы пытались управлять ручным рулем, выбиваясь из последних сил. Гребни волн один за другим перекатывались через них, обдавая с головы до ног холодной водой.

И так как беда никогда не приходит одна, внезапно на пароходе погасло электричество. Все погрузилось во мрак, пока зажигали коптилки и карбидные лампы. Пароход относило назад. С каждой минутой приближался берег, с каждой минутой все оглушительнее звучал в ушах рев разбивающихся о прибрежные скалы волн. Ветром в двенадцать баллов пароход кидало из стороны в сторону. «Эрика» скрипела и трещала по всем швам, точно собираясь развалиться.

— Выбросить якоря! — крикнул в рупор капитан.

Боцман побежал на бак и отвернул якорный шпиль. Загремели тяжелые цепи, звено за звеном уходя в воду. Наконец якоря достигли дна моря, но там были голые скалы, зацепиться было не за что, и пароход шел вперед, волоча за собой оба якоря. У скал пенились волны. Люди, онемев и побелев от ужаса, переглянулись. Еще четверть часа — и гибель...

Наконец цепи натянулись и пароход остановился. Всю ночь «Эрика» прыгала по волнам, дергая якорные цепи. Всю ночь механики работали у рулевого управления, пока им не удалось обнаружить повреждение: сработалась какая-то часть. Подточили, подвинтили и стали пробовать. Да, теперь все было в порядке, и пароход мог бы идти, но об этом нечего было и думать: при беспрестанной работе машины на «полный вперед» пароход держался на месте только при помощи якорей, цепи не ослабевали ни на минуту.

Затем стали ремонтировать динамомашину: к утру обнаружили в ней сгоревшую деталь. Нужной детали в запасе не было, пришлось изготовлять самим. На это потребовалось несколько часов работы, не было времени даже поесть. Через каждые полчаса капитан сам спускался вниз справиться — не готово ли. Только чиф Рундзинь, засунув руки в карманы, ничего не делал, торопил всех и поглядывал, как другие работали. Да он и не в состоянии был чем-нибудь помочь. В прошлом, еще при царском режиме, ему за взятки удалось без экзаменов получить диплом первого механика, и теперь

этот диплом давал ему право быть чифом. Знания, практика — это дело второстепенное, — для этого на пароходе были второй и третий механики, они помоложе, они и обязаны все знать. Почему Рундзинь должен ломать свою старую тщеславную голову? Достаточно того, что он торопит, поддакивает и делает понимающее лицо.

Около полудня подняли якоря, и пароход опять начал борьбу с морем.

Гинтер ходил бледный и обессилевший, он шатался и падал, не в силах подняться. Каждую вахту надо было выгрузить наверх пятьдесят ведер шлака, если не больше. Первые десять ведер он обычно поднимал довольно бойко, затем начинал выдыхаться, а последние двадцать ворочал с трудом.

Один Зван иногда сочувствовал ему: он сменял Гинтера у ручной лебедки и посылал его вниз, насыпать шлак в ведро. Случалось, что Зван сам забирался в бункер и подгребал уголь. Таким образом Гинтеру удавалось кое-как выдерживать вахту.

К вечеру четвертого дня дошли до Бристольского канала, и «Эрика» переменила курс. Дул попутный ветер, и пароход, как на крыльях, летел мимо многочисленных угольных портов. На обоих берегах залива виднелись огни городов Суонси, Баридока, Порт-Толбота, Ньюпорта...

В глубокой тьме пароход стал на якорь на кардиффском рейде. Путь, который при нормальных условиях занимал меньше дня, он преодолел за пять суток.

Как назло Гинтеру, небо сразу прояснилось, из-за редких облаков показались звезды, ветер постепенно стихал, и темные воды устало плескались за бортом парохода.

Гинтер, проклиная погоду и море, как безумный накинулся на еду. Он ел хлеб, мясо, маргарин. Зейферт тоже стал очень прожорливым.

Никто из них больше не давился костями.

* * *

Вход в Кардиффский порт напоминает широкие ворота. По обе стороны возвышаются горы. Со стороны Кардиффа — это темные голые скалы, с противоположной — зеленая, пестреющая красивыми коттеджами и садами возвышенность.

Во время отлива большое пространство в воротах порта и дальше, в самом порту, становится совершенно сухим, образуется широкий ровный песчаный остров, по обе стороны которого тянутся к докам углубленные фарватеры.

На этой мели было оставлено несколько старых, отслуживших свой век пароходов, которые во время отлива стояли на голой земле. На этих инвалидах моря не было видно ни одного человека, ржавые якоря и цепи глубоко увязли в песке. Но все же нельзя было поручиться, что эти окончательно отслужившие и забытые посудины не уйдут еще когда-нибудь в открытое море. В Риге несколько пароходств занимались тем, что разыскивали по всем портам Европы подобный старый хлам. Государство предоставляло им особенно выгодные кредиты, проценты были незначительные. За смехотворно низкую цену покупало пароходство эти ржавые обломки. Их ставили на месяц в док, оббивали кое-где ржавчину, красили суриком, покрывали белым лаком, вставляли в обшивку несколько новых листов, давали новое название — и пароход опять получал класс. Тогда новые владельцы страховали его как солидный океанский пароход и получали больший доход, чем от любого другого предприятия.

Латышские моряки зарабатывали вдвое меньше, чем их заграничные собратья, содержание парохода стоило дешево — и латвийские пароходные компании смело могли выступить в качестве конкурентов по дешевому фрахту во многих странах. Там, где ни одна заграничная пароходная компания не могла обойтись без убытков, латвийские спекулянты наживали кругленькую сумму. Торговый флот Латвии процветал, он вторгался повсюду и конкурировал со многими, пользуясь самой дешевой в Европе рабочей силой. Недаром иностранные моряки называли своих латышских коллег белыми неграми.

При входе в порт выяснилось, что «Эрика» идет не прямо в Кардифф, а должна остаться на рейде у левого берега, в доке Пенарта. Это была маленькая гавань с несколькими установками для погрузки угля — одновременно здесь могло грузиться три-четыре судна. Сейчас все погрузочные установки были заняты,

и у каждой на очереди стояло еще по одному пароходу.

«Эрика» пришвартовалась борт о борт с небольшим датским пароходом, который тоже назывался «Эрикой».

День прибытия приходился на субботу, и кочегарам велели вымыть машину, — после этого они могли быть свободны. С каким ожесточением все принялись драить концами, керосином, «шкуркой»! Вытерли натекшее масло, очистили ржавчину и, наконец, покрыли все части машины тонким слоем масла. Не было еще и одиннадцати, как машина была уже приведена в порядок и люди могли заняться собой.

Гинтер вымыл кубрик и затопил печку.

— Что мы будем делать до вечера? — спросил Волдис у Ирбе.

— Сходим на берег, посмотрим, что это за гнездо.

— А у тебя еще шиллинг найдется?

— У меня осталось целых полфунта.

— Может, и старик подбросит сколько-нибудь?

— Может быть. Надо наведаться к стюарду.

Блав, вероятно, больше остальных пристрастился к крепким напиткам, поэтому у него никогда не держались деньги. Когда капитан спрашивал, кто желает получить аванс, и некоторые брали фунт, а другие только несколько шиллингов, — Блав был единственный, кто настойчиво говорил:

— Все, что мне причитается.

Нет, он не хранил деньги у капитана. Сколько причиталось, столько и забирал; и сколько забирал, столько и спускал в первый же вечер. Вся его одежда состояла из коричневого комбинезона и маленькой кочегарской шапочки. В них он работал, ходил на берег и спал не раздеваясь, поэтому его койка напоминала бункер. Умывался он только в порту, да и то не каждый вечер. Маленького роста, смуглый, курчавый, он походил на негра. На «Эрике» Блав был самым жизнерадостным человеком. Он умел виртуозно свистеть, у него был приятный голос, и товарищи часто просили его спеть. Кроме того, он неплохо играл на губной гармонике, которой у него, к сожалению, не было, так как у него никогда не оставалось денег на покупки.

— Купи ты себе, наконец, хоть раз гармошку! — уговаривал его Волдис.

— Тогда пусть кто-нибудь пойдет со мной на берег и напомнит мне об этом. Если пойду один, ничего не выйдет.

— Пойдем с нами! — сказал Волдис. — Мы с Ирбе поможем тебе все купить. Неплохо бы приобрести и новую кепку.

— Кепку? Не знаю, как с ней быть. Если старик даст только фунт, ничего не выйдет. — Он стал считать на пальцах. — Гармошка три шиллинга, кепка четыре шиллинга, мыло два шиллинга, апельсины шиллинг — итого полфунта. Гм... Может, и выйдет!

Блав ушел на разведку. У дверей салона он поймал стюарда и вернулся в кубрик, чуть не танцуя от восторга.

— Старик даст деньги! По фунту на брата! — на радостях он тут же умылся и выбил блузу о борт.

Спустя полчаса на бак пришел стюард.

— Кто хочет получить деньги, пусть сейчас же идет к капитану.

Из обеих кают не пошел только один матрос — это был такой скряга, что не разрешал себе даже апельсин купить, и его имя стало на пароходе синонимом скупости. «Скуп, как Томсон!» — говорили про людей этого склада.

Капитан спросил каждого, для какой цели он берет аванс.

— Мне нужно купить несколько сорочек! — пояснил Андерсон.

— Хочу приобрести новый чемодан! — сказал Зоммер.

— Мне нужна рабочая куртка! — заявил какой-то матрос.

— У меня нет ботинок! — сказал Зван.

— Я хочу послать домой, — объяснил Зейферт.

Да, все что-то хотели, что-то собирались купить. Только потом забывали об этом. Когда дошла очередь до Блава, капитан иронически усмехнулся.

— А вы, Блав, что хотите купить?

— Я бы хотел хорошую крахмальную сорочку и галстук.

Все засмеялись. Блав сконфуженно опустил голову.

— Что же это будет? — не удержался от смеха капитан. — Новая крахмальная сорочка при старых брюках!

— Я их выстираю...

— Но что же вы все-таки будете носить? Будете ходить без брюк?

— Нет, я выстираю вечером, за ночь высохнут.

Так он обычно и делал.

— Нет, милый Блав, тогда лучше купите сейчас новые брюки, а уж потом присматривайте крахмальную сорочку. Так будет вернее.

— Может, я так и сделаю, господин капитан.

Капитан не спешил отдавать Блаву деньги. Он подумал, подумал, и на лице его опять появилась легкая усмешка.

— Что вы делаете вечерами, Блав? — спросил он.

Блав с опаской посмотрел на капитана: наверно, опять какой-нибудь подвох.

— Да так, сплю... читаю книги.

— Что? Книги?

Опять во всех уголках салона раздались взрывы смеха. Блав читает книги! Тут и лошади зафыркали бы.

— Вы умеете плести мат? — спросил капитан.

— Умею. Я когда-то служил на паруснике матросом. Там обучают таким вещам.

— Вот и хорошо! Мне как раз нужен мат к дверям салона. Не сплетете ли вы мне? Я вам заплачу десять латов, а если получится хорошо — и больше.

Блав растерялся.

— Да у меня нет материала и... для этого нужно очень много времени.

— Это ничего. Я велю боцману распустить один трос, и вам хватит на дюжину матов. О времени не беспокойтесь, это не к спеху. Возможно, что в течение месяца закончите... первый. Потом сплетете еще.

Блав побледнел. Он понял, что попал впросак. Кто это может выдержать? Целый месяц торчать по вечерам на пароходе и плести мат!

— Господин капитан, — сказал он умоляющим тоном, — сегодня вечером я еще не смогу начать.

— Ничего, сегодня сходите на берег, купите, что вам нужно, а завтра боцман даст вам материал.

Выходя из салона, все весело улыбались, и только Блав вернулся в кубрик с опущенной головой и мрачным лицом.

— Вот дьявол, как старик меня окрутил! — ворчал он. — Теперь нечего и думать о береге.

Все смеялись. Волдис уселся рядом с опечаленным Блавом и положил руку ему на плечо.

— Петер, — дружески заговорил он. — Неужели тебе не нужен приличный костюм?

Блав улыбнулся:

— Как не нужен? Конечно, нужен, только где я его возьму?

— А хорошие ботинки, сорочка, шляпа? Ты только подумай, каким бы ты стал красивым парнем, если бы приоделся.

— Мне о таких вещах и помышлять нечего.

— А я говорю — это плевое дело. Послушай, что я тебе скажу. Ты, конечно, можешь не согласиться со мной, но, думаю, ты этого не сделаешь.

— Что ты задумал? Уж не хочешь ли и ты вроде капитана...

— Капитан на этот раз сделал лучшее, что можно было от него ждать. Теперь послушай. Ты начнешь плести мат. Предположим, ты будешь плести его целый месяц. Все это время ты живешь на пароходе и не сходишь на берег. Если иногда тебе и захочется сойти на берег, ты не станешь брать деньги у капитана, а спросишь у меня. Я дам тебе взаймы несколько шиллингов на мыло и на несколько стаканов пива, потом ты мне их вернешь. А когда у тебя скопится фунтов пять или шесть, пойдем к капитану, заберем их — и прямо в магазин. Оденем тебя и на радостях выпьем. Идет? Все будут свидетелями. Давай руку и слово.

Это было нелегко. Блав не верил себе. Он нерешительно протянул было руку, отдернул, наконец все же подал ее Волдису.

— Идет! Пропадать так пропадать! Только сегодня вечером хочу еще отвести душу.

Они собрались. Волдис, желая подразнить Блава, нарочно надел крахмальный воротничок, повязал галстук и взял шляпу.

Волдис, Ирбе и Блав сошли на берег.

Пенарт — маленький городок у Бристольского залива, раскинувшийся на многочисленных холмах. Издали он кажется громадным парком, застроенным виллами, коттеджами и беседками. Ближе к гавани, так

же как и в других городах, кварталы, заселенные рабочими и беднотой. Здесь нет никакой зелени, только голые камни и длинные казармы для жилья. А немного поодаль — на возвышенности, в стороне от угольной гавани — утопающие в зелени улицы с двухэтажными коттеджами, вокруг которых раскинулись пышные сады с фонтанами, теннисными кортами, беседками и статуями. Здесь жили местные и кардиффские богачи. Внизу синели воды залива, раскинулся пляж... Летом сюда съезжались курортники со всего Уэльса.

Сойдя на берег, друзья по крутой дороге поднялись в гору и очутились в грязном рабочем квартале. Трубы казарм дымились: в сотнях маленьких каминов тлел каменный уголь. Над улицей стояло облако дыма.

Тут же рядом, в нескольких шагах от этого мрачного однообразия, — оживленная торговая улица, красивые двух- и трехэтажные дома, широкие, усаженные деревьями бульвары.

Маленький Блав в своей промасленной, испачканной одежде вызывал всеобщее удивление. Люди оборачивались вслед ему, и, когда он останавливался у витрин, никто не смотрел больше на выставленные товары, а только на Блава. Он лишь посмеивался.

— Пусть смотрят, если не видали маленькую обезьянку.

Прежде всего они зашли в шляпный магазин и купили Блаву кепку. Он здесь же в магазине сунул в карман грязную кочегарскую шапку, и эта небольшая перемена к лучшему сразу же дала себя почувствовать: на улице он не привлекал уже к себе брезгливых взглядов.

Они свернули к морю и вскоре очутились в тихом, малолюдном районе. По сторонам расходились улицы, а кругом застыли в молчании парки и нарядные коттеджи.

— Вот здесь бы я мог прожить сто лет, и мне бы не надоело! — восхищался Блав.

Они зашли в какой-то парк. Несмотря на то что было уже начало зимы, трава на лужайках зеленела, как бархат, по холмам и ложбинам вились узенькие тропинки, повсюду пестрели громадные клумбы цветов, зеленели искусно подрезанные деревья. Здесь были кусты, напоминавшие арфы, фазанов, египетские вазы,

разных животных, якоря, сердце. На одной из площадок стояли танк и несколько пушек.

Парк раскинулся на пологом склоне горы. Отсюда можно было окинуть взглядом весь широкий залив. Ясно различались темнеющие на противоположном берегу скалы, над которыми висел голубоватый туман. По заливу двигались пароходы: некоторые приближались к порту, другие шли мимо, в открытое море. Вдали, на восточной стороне залива, белел трехмачтовый парусник.

Приятели спустились на взморье, к купальням. Берег был защищен гладкой кирпичной стеной, чтобы во время прилива волны не размывали его. У подножья горы стояла гостиница. В море почти на расстояние ста метров вдавались пирсы, — летом здесь приставали пароходы с увеселительными экскурсиями и речные трамваи.

Наконец, Блаву все это надоело.

— Вы осматривайте город, а я хочу выпить.

— Зайдем лучше в кино, — сказал Волдис.

— Идите вы с Ирбе, я не хочу.

Они вернулись через парк на гору и по тихим улицам, мимо коттеджей, дошли до центра города. Здесь они расстались.

* * *

Блав частенько терял шапку. С берега он почти всегда возвращался с непокрытой головой. На пароходе так никому и не довелось увидеть его новую кепку. Он пришел очень поздно. Волдис и Ирбе уже давно поужинали и успели рассказать товарищам о виденном фильме, когда на палубе послышался знакомый стук деревянных башмаков.

Войдя в коридор, Блав запел:

Целуй еще, целуй еще,
Не надо жизнь пугать.
Ведь все равно, ведь все равно
Должна нас смерть позвать...

Он пришел не один. Под руку его держали два черномазых пьяных человека.

— Здорово, ребята! — крикнул один из них во все горло.

Оба незнакомых моряка были поляки. Нежданных

гостей приняли очень радушно, усадили за стол и начали расспрашивать. Пока Блав продолжал свою грустную песенку, пришельцы разговорились.

— Вы обратили внимание на большой пароход с голубой трубой, который стоит за вашей кормой? Это «грек» «Парфенон». Мы служим на нем кочегарами. Как мы сюда забрели? Мы старые морские волки. Во время войны ходили на транспортном пароходе в Средиземное море между Дарданеллами и Порт-Саидом — подвозили продовольствие английским и французским солдатам. После войны плавали под разными флагами. В прошлом году нанялись на австралийское судно. Вот это было здорово! Понимаете, пятнадцать фунтов в месяц, а рейс — шесть месяцев. Аванс — не больше шести фунтов в каждый рейс. При расчете — целый капитал! Вот когда мы пожили!

— Да, пожили тогда... — согласился второй.

— Это было здесь, в Кардиффе. Заплатил в бординг-хауз за целый месяц вперед, купил новый костюм и.., две недели не знал отдыха ни днем ни ночью...

— Куда теперь идет ваш пароход? — спросил Волдис.

Кочегар подсел к Волдису и обнял его.

— Мы идем в Аргентину. Сначала в Монтевидео, потом в Санта-Фе за грузом. Туда — с углем, обратно — с зерном. Дьявольски длинная поездка — сорок пять дней в море! И в том конце пути больше десяти шиллингов не дают. Зато когда вернемся обратно — эх, соколики!

— Замечательная поездка! — сказал Волдис и задумался.

— Тебе хочется? Поедем с нами!

— А можно?

— Спрячься в бункере и дождись, когда пароход выйдет в Ла-Манш. Тогда будешь жить в кубрике, пока не дойдем до места. Мы тебя шутя доставим в Аргентину!

Это было не ново. Волдис не раз слышал от товарищей рассказы о подобного рода путешествиях. Но Аргентина его не привлекала. Если бы греческий пароход шел прямо в Канаду или в Соединенные Штаты, он бы с удовольствием принял предложение моряка.

— Ты не бойся, — уговаривали его поляки. — У нас ты будешь как дома. Спать будешь на койке, кормиться вместе с нами: и не заметишь, как время пройдет.

Андерсон свернул разговор на другое:

— Как живется у греков?

— Да не очень сладко. Получаем семь фунтов в месяц. Пища какая-то чудная, как и полагается у греков. Работой можно быть довольным: пар в котлах держится хорошо и с механиками можно ужиться — лишнего не требуют. А сколько платят на латышских пароходах?

— Четыре фунта.

— Что? И за это вы работаете? Лучше бы подыскали какого-нибудь «иностранца»! Пусть ангелы ездят за четыре фунта! Мы еще никогда так дешево не продавались.

— Как попасть на иностранный пароход? — спросил опять Волдис.

— Здесь, в Англии, трудно — надо иметь английские документы, союзный билет, всякие бумаги, а в Антверпене можешь попасть на какой угодно пароход; только на американские потруднее устроиться: там требуют бумаги о том, что ты уже плавал на «англичанах».

Они рассказали множество мелких подробностей о разных портах. Волдис жадно слушал.

— Если у тебя есть в кармане пять-шесть фунтов, в Антверпене или Роттердаме дело выгорит наверняка, без всяких профсоюзных книжек и документов. Заплати только хозяину бордингхауза вперед за питание, и он тебя так быстро пристроит на пароход, что не успеешь и оглянуться. Мы на «Парфенон» устроились в Антверпене. Там латышей — что морского песку.

Волдиса опять начали терзать соблазны. Хоть бы скорее выбраться из Англии! Надо подкопить денег, чтобы было с чего начать.

Они еще с полчаса послушали игру Блава на новой губной гармонике: он играл хорошо на обеих сторонах, искусно переворачивая гармошку, когда нужно было извлечь какой-нибудь особо редкий тон.

— А кепку эту я себе для расстройства купил! — ворчал он весь вечер. — Зачем мне надо было ее покупать? Разве я не знаю, что у меня такие вещи не держатся? Однажды в Гулле купил сразу четыре шапки. Надо мной все смеялись: мол, хочу запастись на всю жизнь.

И знаете, на сколько мне хватило этих шапок? На неделю. Четыре раза я сходил на берег и каждый раз оставлял по одной.

— Черт тебя знает, куда ты их деваешь? — рассмеялся Зоммер. — Почему я не оставляю? Ведь я напиваюсь не хуже тебя.

— Судьба, значит, такая, — ответил Блав.

* * *

Польские моряки ушли только утром, пригласив всех на «Парфенон». Провалявшись до обеда на койках, кочегары начали играть в карты, — играли не на деньги, а просто так, в «свои козыри» и в «шестьдесят шесть». Некоторые из них считались большими специалистами и высоко ценили свое умение. Самый ничтожный промах глубоко волновал их.

Обед на время прервал игру. Как всегда по воскресеньям, было три блюда: суп, жаркое и компот. Началось с того, что суп никому не понравился: Ирбе ворчал, что в нем мало картофеля, в то время как Зван вылавливал его из тарелки, брюзжа, что картофеля так много, что из-за него не доберешься до супа. Вполне понятно, что к столь различным вкусам не мог приноровиться ни один кок в мире.

Дальше — жаркое, оно было приготовлено из жирного, похожего на мыло, мяса австралийского или аргентинского быка. Зоммер вырезал только постные куски, а куски жира предложил выбросить за борт. Андерсон, наоборот, находил, что постные куски окончательно пережарены:

— Черт знает, что за кок! Не может уследить за плитой! Он и суп не умеет посолить — или недосолит, или пересолит так, что в рот нельзя взять. — И, выбрав особенно пережаренный кусок мяса, положил его на тарелку и понес в камбуз — показать коку.

Некоторые даже не смотрели на компот и отнюдь не одобрили это приложение к обеду, в то же время любители десерта радовались, предвкушая возможность съесть порции своих товарищей.

Все это повторялось каждый раз, как только садились за стол. Не было случая, чтобы все были довольны.

Правду сказать, у кока действительно имелся один недостаток: он не умел в меру посолить кушанье и часто портил самое лучшее блюдо. Месяцами он переносил ругань и оскорбления и, наконец, нашел выход: когда надо было солить кушанье, он отыскивал кого-нибудь из отъявленных крикунов и давал ему попробовать. Недовольному приходилось решать, достаточно ли в нем соли или надо добавить. После этого, если даже суп оказывался похожим на рассол, никто не упрекал кока. Тех, кому никак нельзя было угодить, он время от времени ублажал увесистой костью, на которой оставалось немного мяса. Так он постепенно обезоружил одного за другим всех привередников.

Кок — приземистый, отечно-пухлый, неуклюжий, вечно потный — суетился с утра до вечера и никогда не успевал вовремя приготовить пищу. Он всю войну ездил на иностранных судах и даже несколько месяцев работал в первоклассном ресторане поваром, о чем и старался напомнить при каждом удобном случае.

— Да что вы меня учите! Когда я служил вторым поваром в гостинице «Бристоль», там бывала настоящая публика. Вы и во сне такой не видали, а тоже разговариваете! — заявлял он, когда что-нибудь опять было приготовлено не так.

Самым примечательным в коке было не поварское искусство, а нечто другое, и это другое было настолько значительным, что Гинтер часто проводил свободное время в камбузе, разглядывая все доступные обозрению части тела кока. Он был с ног до головы покрыт татуировкой: его руки были разукрашены от плеч до кончиков пальцев, голени, грудь, спина — все покрывали рисунки синей, красной и черной тушью. Иногда он рассказывал историю своих татуировок:

— Вот этот парусник с флагами мне нарисовали в Копенгагене. Эту пальму со змеями я делал в Тунисе. Зеленые рисунки на плечах мне вытатуировал один малаец в Сингапуре. Малайцы считаются лучшими татуировщиками в мире, у них есть такие краски, которые никогда не выцветают. Они рисуют на теле целые картины. Если бы у меня тогда на груди не было уже этого орла, я бы заказал какую-нибудь из их картин. Можно бы, конечно, сделать на животе, но там трудно переносить татуировку — ужасно щекотно.

— Где тебе сделали этого орла? — спросил его как-то Гинтер.

— Это здесь же, в Кардиффе.

— И сколько ты заплатил за него?

— Пятнадцать шиллингов.

— Вот черт, дорого! Но зато каков рисунок!

Громадная татуировка покрывала почти квадратный фут на обширной груди кока. Великолепный орел с широко распростертыми крыльями держал в когтях земной шар, увитый многочисленными флагами разных государств, среди которых наиболее заметным был флаг Соединенного Королевства Англии и звездный — Соединенных Штатов. Эту аллегорию дополняли два ангела с такими же распростертыми, как у орла, крыльями; ангелы протягивали над земным шаром пальмовые ветви. Рисунок был четырехцветный.

Это яркое украшение не давало покоя Гинтеру. Все воскресенье он ходил как во сне. Эх, если бы такой себе наколоть, вот была бы красота! И каким бы он тогда стал шикарным парнем, прямо заправский моряк! У всех была какая-нибудь татуировка, но это все пустяки. Он бы тогда затмил всех в кубрике, друзья бы завидовали ему, расспрашивали, подражали, накалывали иголками слабую, бледную тушь, которая быстро смывается...

Нет, пятнадцать шиллингов — пустяки! Хотя его мучает еще морская болезнь, но настоящая морская печать на груди не помешает.

После обеда Гинтер помогал коку чистить картофель, и в благодарность за это кок рассказал, что знаменитый татуировщик до сих пор живет в Кардиффе и попрежнему занимается своим ремеслом. Гинтер задрожал от радости.

— Ты бы свел меня к нему! — приставал он к коку. — Вечером, после ужина, поедем в Кардифф!

После некоторого препирательства кок сдался на уговоры. Гинтер пересчитал деньги. Наконец он не удержался и рассказал о своем намерении Волдису. Волдис иронически усмехнулся и ничего не ответил, но и ему хотелось посмотреть, как происходит торжественный обряд татуировки, и поэтому решил пойти с Гинтером.

* * *

Сейчас же после ужина они втроем поехали в Кардифф.

— Я здесь когда-то прожил девять месяцев! — рассказывал по пути кок. — Если бы у нас было больше времени, мы могли бы пойти в Кардифф пешком, через туннель. Здесь от Пенарта под гаванью проходит туннель, плата за проход один пенни.

На каком-то перекрестке они вышли из автобуса. Казалось, что все жители города высыпали на улицы: тротуары были запружены, перед витринами стояли толпы.

Повар повел молодых людей в более глухой район, ближе к домам. Вместо богатых магазинов там были только маленькие лавчонки для моряков и табачные магазины.

У одного из домишек кок остановился.

— Это здесь! — сказал он и вытер пот; было довольно прохладно, но его тучное тело быстро уставало от ходьбы.

В окне было выставлено изображение голого мужчины во весь рост; он был татуирован с головы до ног. Волдиса передернуло, но Гинтер упоенно смотрел на картину. В витрине были выставлены сотни рисунков: всевозможные эмблемы, аллегории и фигуры, голые женщины с рыбьими хвостами, экзотические звери, корабли, якоря, штурвалы и латинские изречения.

Они вошли в татуировочную. Стены ее были вместо обоев оклеены образцами. На столе лежало несколько толстых альбомов с рисунками. На каждом рисунке была указана цена, колебавшаяся между одним и пятнадцатью шиллингами, в зависимости от размера, сложности рисунка и количества красок.

Татуировщик, плотный господин, вышел им навстречу и отрекомендовался профессором. Этого человека знали моряки всего мира, его рисунки встречались во всех уголках земного шара. Это была своего рода знаменитость, и бедный Гинтер краснел и бледнел, перелистывая альбомы. Наконец он разыскал орла с ангелами и показал «профессору».

Гинтеру предложили снять пиджак и сорочку, и «профессор» приступил к работе. Гинтера усадили за маленький столик. «Профессор» взял предмет, похожий на вечное перо, соединил его с электрическим проводом

и начал рисовать. По груди Гинтера запрыгали маленькие искры: постепенно стали вырисовываться контуры крыльев. Потом «профессор» начал вырисовывать детали: полосы на флагах, градусную сетку на глобусе, глаза и клюв орла, складки одежды ангелов.

Грудь Гинтера слегка распухла, места уколов налились кровью, но особой боли он не ощущал.

— Как будто блоха кусает! — смеялся он.

Нарисовав сложную аллегорию, «профессор» принялся за раскраску: сначала пропитал нужные места синей тушью, потом красной, черной, зеленой. На узкой груди юноши будто расцвела картина.

«Профессор» беспрестанно протирал наколотые места мокрой губкой, приостанавливая кровотечение и смывая выступавшие капли крови. Он рисовал по памяти, не глядя на образец. Вся процедура продолжалась примерно полчаса. Закончив, татуировщик отошел на несколько шагов, издали осмотрел свою работу, восторженно захлопал в ладоши и подвел Гинтера к зеркалу.

— Ну, что вы скажете?

Гинтер прямо онемел. Он смотрел и глазам своим не верил: неужели это действительно он — этот бравый морской волк с роскошным рисунком на груди, при виде которого многие позеленеют от зависти! Он с восхищением осмотрел свое раскрашенное тело и осторожно погладил гордую птицу. Да, теперь он настоящий, стопроцентный моряк.

Гинтер оделся, уплатил «профессору», и они вышли из «ателье». Приветливый художник проводил их до дверей.

— Пожалуйста, вот моя карточка! Заходите еще.

Гинтер стал героем дня на «Эрике». Чуть ли не сто раз в день ему приходилось расстегивать сорочку, чтобы показать татуировку. Старые знатоки обсуждали эту аллегорию, высказывали свои замечания, но вообще отзывались одобрительно. Татуировку признали вполне удачной, и акции Гинтера заметно поднялись в глазах товарищей.

* * *

В понедельник вечером «Эрика» подошла к набережной и встала под погрузочную установку. «Датчанин»

вышел в море, а рядом с «Эрикой» стал на якорь старый английский пароход «Кэптен Джозефсон».

Наутро началась погрузка угля. Пароход превратился в ад. Хотя иллюминаторы занавесили плотной материей, двери держали все время плотно закрытыми, а замочные скважины заткнули тряпками — угольная пыль проникала повсюду. Казалось, она обладала способностью пробиваться даже сквозь твердые предметы. Койки покрылись точно копотью, одежда пропиталась пылью, воздух в каютах сделался густым и тяжелым. Палуба парохода, мостики, стены — все покрылось толстым слоем угольной пыли.

Верхние иллюминаторы на потолке были задраены, и в машинном отделении царила вечная ночь. Чадило несколько коптилок, и люди не могли разглядеть друг друга на расстоянии трех шагов. Кочегары пользовались этим обстоятельством: забравшись в темные углы, они рассказывали друг другу анекдоты. Как только раздавался стук двери, все смолкали, и механики напрасно шарили впотьмах. Рундзинь был близорук и боялся темноты — однажды кто-то бросил в него увесистым куском угля, еще и сейчас виднелся шрам на голове, — поэтому он сам не лазил по темным углам, а посылал второго механика.

Насколько легче было в это время кочегарам, настолько хуже стало палубной команде: штурманы стояли на палубе, считая погруженные вагоны; они совершенно почернели от пыли.

Матросы не знали покоя ни днем ни ночью: через каждый час пароход надо было перемещать вдоль берега, чтобы под погрузочные краны подошли другие люки. Грузчики работали в две смены. Матросов поднимали среди ночи и ставили к лебедкам и канатам; на берег их теперь совсем не пускали.

Только радист Алкснис жил без всяких забот. Наслушавшись до одури радиоконцертов, он спал, сколько хотел, потом слонялся по пароходу, просиживая часами у кочегаров. Гинтер опять начал расспрашивать его:

— Какую погоду обещают?

Пока пароход стоял в порту, море было как зеркало. Но штиль не мог продолжаться долго, и Гинтер имел все основания для беспокойства, наблюдая за усиливавшимся ветром.

— Опять задует так, что двоим придется одного держать, — сокрушался он.

— Испортит нам рождество, — решил Андерсон.

— Ну, об этом ты меньше всего беспокойся, — сказал Зоммер. — Когда это тебе приходилось встречать праздник не на море? Если нас сегодня выгонят в море, то при самой хорошей погоде на место доберемся не раньше чем на первый день рождества.

— Тогда лучше совсем не сходить на берег, — проворчал Андерсон. — Деньги в праздники все равно не получим, сиди и кукуй тогда три дня на пароходе. На море, по крайней мере, спокойно — знаешь, что деваться некуда.

— Все же лучше эти три дня пролежать на койке и отдохнуть, чем мучиться у топок в море, — возразил Зван: — Вы знаете ведь, какой у нас уголь и что нас ожидает в море.

— А зачем нам из кожи лезть? — вспылил Андерсон. — Работай, сколько можешь, — и баста! Пойдем на ста двадцати фунтах, зачем нам поддерживать полный пар?

— Это бы можно, если бы мы держались согласно. А куда это годится, если один будет держать пар на сто семьдесят или сто восемьдесят фунтов, а другой — на сто? Этот номер не пройдет, у нас нет чувства солидарности.

Пароход загрузили углем, он вышел на рейд, и матросы поливали из шлангов палубы и мостики, мыли окна, двери и стены.

Несколько часов нужно было ждать прилива.

К вечеру, когда начало смеркаться, «Эрика» вышла в море одновременно с «греком» «Парфеноном». В воротах рейда оба парохода шли рядом, и матросы махали друг другу платками.

Одному судну предстоял дальний путь — по ту сторону экватора, другому — в Бискайский залив, к побережью Франции.

Новая страна и новый народ, считающийся везде самым веселым и счастливым, ожидали Волдиса. А берега Англии окутались в холодный зимний туман. От скал и равнин этой страны веяло чем-то угрюмым, холодным. Здесь дымили заводские трубы, маневрировали

паровозы и люди в кепках уныло бродили по улицам и дорогам в поисках работы, — не все могли ее найти. В то время, как одни зарывались в недра земли и грузили пароходные бункера, сотни тысяч лишних и ненужных скитались по стране. Англия обходилась без них. Англия не нуждалась в них. Если они хотели, то могли продаться на вывоз плантаторам дальних колоний; а если не хотели приносить себя в жертву капиталистам экзотических широт, им оставалось мерзнуть в своих казармах и голодать: время от времени очень полезно дать отдых желудку, от поста люди крепнут...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Это был тяжелый рейс. Ни днем ни ночью не замолкала ручная лебедка, поднимающая наверх золу; и днем и ночью в котельном отделении шипели куски шлака. Люди отдавали сил больше, чем от них можно требовать, и, разбитые, измученные, валились после работы на койки.

В одну из вахт Волдис насчитал шестьдесят ведер шлака, — он после каждой вахты должен был докладывать механику, сколько ведер шлака выброшено в море. Когда он сообщил Рундзиню эту невероятную цифру, тот вытаращил глаза.

— И что эти кочегары делают? — заорал он. — Наверно, чистый уголь выгружают наверх!

После этого он стал следить на палубе за выгрузкой шлака, копался в золе и старался найти в ней хоть кусочек угля.

— Вот, вот, конечно, наберется шестьдесят ведер, если начнете выгружать наверх непрогоревший уголь!

Рундзинь расхрабрился и спустился в котельное отделение, где в это время стояли на вахте Зван и Ирбе.

— Вы у меня аккуратнее обращайтесь с углем! — закричал Рундзинь. — Что это за работа: не дадут углю сгореть, выбрасывают в шлак!

Он наклонился над кучей золы, копаясь в только что вытащенных из топки кусках шлака. Среди больших «лепешек» попадалась угольная крошка, — такая мелочь просыпалась обычно через колосниковые решетки.



— Что это такое, я вас спрашиваю?! — орал чиф. — Вы хотите промотать пароход! Так и на уголь не заработаем. Зван, сейчас же бросьте в топку этот уголь!

Зван подошел ближе.

— Какой уголь? — простодушно спросил он.

— Вот этот! Вы что, ослепли?

— Я не вижу никакого угля.

— Здесь, в золе!

— В золе? — глаза Звана сверкнули, он шагнул к чифу. — В золе, говорите? Я не обязан жечь золу. Если вам угодно — пожалуйста, вот лопата, кидайте в топку. Но смотрите, не заглушите огонь.

— Что? Как? Вы... не хотите этого делать? — заорал чиф. — Я доложу об этом капитану!

Зван окончательно вышел из себя, со сверкающими глазами он рванулся вперед. Чиф испуганно попятился.

— Вон! — крикнул Зван и замахнулся лопатой. — Если ты, старый хрыч, еще хоть раз во время плаванья зайдешь в кочегарку, я тебе ребра переломаю. Негодяи! Накупили булыжников, а люди должны из-за этого мучиться! Интересно, что вы запоете, если об этом сообщить в пароходство!

Рундзинь кинулся бежать, как будто за ним гналась стая собак. С перепугу он ударился головой о стенку бункера, затем, обезумев, ощупью добрался вдоль стенки котла до двери машинного отделения. Зван кинул ему вдогонку увесистый кусок угля, который ударился о стенку бункера и еще больше перепугал механика.

— Ну, больше он сюда не покажется! — сказал Зван Ирбе.

— А если явится, я стукну его куском угля или раскаленной кочергой. Как это мне сейчас не пришло в голову? На Черном море я видел однажды, как кочегар прижег раскаленным ломом механику ляжку. Такой же нахал был, как наш Рундзинь: купил песку, который пар не держит, а сам каждую вахту бегал в кочегарку ругаться с кочегарами.

Волдис в это время работал наверху, свозил тачкой в кучу остатки угля в бункере.

Несколько времени спустя в котельную опять вошел чиф, теперь уже в сопровождении капитана.

— Бог помочь! — довольно приветливо сказал капитан.

Ему никто не ответил. Слегка смутившись, он остано-

вился у манометра, поглядел на стрелку: она показывала сто сорок фунтов. Капитан наморщил лоб.

— Что, в самом деле нельзя поднять пар? — спросил он.

— Чем? Булыжниками? — язвительно спросил Зван, ворочая ломом спекшийся уголь.

— Ну-ну, так ли уж плох уголь? — бормотал капитан, не решаясь взглянуть на Звана. — Мы просили дать нам лучший сорт. Англичане, вероятно, надули нас.

Ему опять никто не ответил. Тогда капитан взял кусочек угля и поднес его к глазам.

— Гм, действительно мусор подсунули. Ничего не поделаешь, придется мучиться. В следующий раз умнее будем.

— Но ведь они выбрасывают из топок несгоревший уголь! — воскликнул чиф.

— Потише, потише! Не нарочно же они это делают. Если и прилипнет какая пылинка, из-за этого не стоит расстраиваться.

Направившись к выходу, капитан заметил:

— Попробуйте, ребята, нельзя ли поднять пар хотя бы фунтов на десять. Нас обгоняют разные угольные тачки. Просто позор, такой большой пароход — и ни с места...

Они вышли. Зван посмотрел вслед им в темноту и злобно усмехнулся:

— «Попробуйте, ребята!» Подлецы, теперь заискивать стали! Знает кошка, чье мясо съела. Какое нам дело, что другие нас обгоняют, — пусть дадут нам такой уголь, как им, тогда и мы покажем класс.

Почти целый день они шли борт о борт с «греком» «Парфеноном», у которого тоже была очень посредственная скорость. Оба капитана как угорелые метались на командных мостиках, и стоило одному или другому пароходу чуть опередить, как в адрес кочегаров летели мольбы и ругань.

— Нас обгоняет какая-то тачка!

Это задевало самолюбие моряков, хотелось доказать превосходство своего парохода. Люди раздевались догола, встряхивали огонь в топках, заставляли котлы дрожать, а трубы — извергать клубы дыма. Наконец «грек» переменил курс и ушел в открытое море, тогда как «Эрика» продолжала держаться берега.

Теперь к «Эрике» приближался трехлюковый «норвежец», какая-то сельдяная посудина, имевшая, по-видимому, твердое намерение обогнать «Эрику». Но Зван не разделял тщеславия капитана, пусть корабли хоть всего света обгоняют «Эрику»!

* * *

Весть о том, что капитан был внизу у топок, быстро дошла до кубрика кочегаров, и когда Зван и Ирбе вернулись с вахты, Андерсон встретил их ехидной улыбкой, а Зоммер с любопытством свесился с койки.

— Как же это у вас получилось? — спросил он, еле сдерживая смех.

Зван непонимающе взглянул на него:

— Что получилось?

— Говорят, вы пар не могли поддержать. Старик спускался вниз браниться.

— Да? А с каким паром ты, Зоммер, шел?

— Сто пятьдесят, иногда сто шестьдесят фунтов.

— Тогда тебе нечего смеяться. У нас с Ирбе никогда ниже этого не бывало.

— А почему же старик спустился именно к вам?

В этот момент вошел Волдис. Он только что умылся и искал полотенце. Зоммер обратился к нему:

— Что у вас там случилось?

— Я ничего не знаю, — ответил Волдис. — Я был на бункерной платформе.

— Ну, вы ведь заодно. Известно — товарищи!

— А ты кто — враг? — оборвал его Волдис. — Мне кажется, мы все здесь товарищи.

Все время ухмылявшийся Андерсон громко рассмеялся.

— Как это у тебя, Зван, так глупо получилось?

Зван спокойно возился у койки, вытирал лицо и причесывался, затем повернулся к Андерсону.

— Ты можешь этим углем нагнать столько пару, чтобы он прорвался через предохранительный клапан?

— Сумасшедший! А ты можешь?

— Если нужно, смогу.

Зоммер не удержался от смеха:

— Чтобы продуть в трубу? Как же это ты сделаешь,

если не можешь нагнать выше ста пятидесяти? Откуда ты возьмешь тридцать фунтов?

— Я их найду. И притом буду работать на двух котлах совершенно один.

Это было вызовом обоим насмешникам. Они замолчали, недоверчиво покачивая головами.

— Ну, ладно, — воскликнул Андерсон. — Если ты в следующую вахту продуешь пар в трубу, я ставлю дюжину пива и литр водки!

— А если я этого не сделаю, то ставлю вдвое! — заявил Зван.

Они протянули друг другу руки, и Зоммер рознял их.

* * *

Весть об этом пари быстро облетела весь пароход. Зоммер рассказал дункеману и боцману, те в свою очередь — начальству и целый час на пароходе только и разговоров было, что об этом пари. Никто не верил, что Звану удастся выполнить свое обещание. На пароходе, идущем полным ходом, даже при наличии хорошего угля невозможно поднять пар настолько, чтобы он прорвался сквозь предохранительные клапаны, — и что уж говорить, когда вместо угля у тебя глыбы известняка! А Зван к тому же расхвастался, что сделает это один.,. Тут уж каждый здравомыслящий человек рассмеялся бы.

Тем не менее, когда после восьми часов сменилась вахта, все с любопытством посмотрели вслед Звану, спускавшемуся вместе с Ирбе и Волдисом в котельное отделение.

Внизу Зван снял рубашку, повязал на шею платок и приступил к работе. Ирбе тоже хотел взять лопату, но Зван отстранил его.

— Сядь на насосный ящик и полюбуйся, как работает старый черноморский волк! — сказал он с легкой усмешкой.

Так как в бункере еще остался уголь, а шлак не был выломан, Волдис тоже смог остаться в котельном отделении и присутствовать при свершении чуда — иначе это нельзя было назвать.

Прежде всего Зван обошел все топки и проверил огонь, затем загрузил в каждую топку по десять лопат

угля, тут же, без всякого промедления, схватил лом, обежал все топки, в каждой пошуровал ломом, передвинул пылающий уголь с одного бока на другой, после чего приоткрыл немного поддувала. Огонь начал разгораться, сквозь запекшийся шлак прорывались языки пламени.

Почти бегом, ловкий и гибкий, как пружина, Зван упругими, быстрыми движениями выхватывал из каждой топки по большому куску шлака, освобождая переднюю часть колосников и открывая свободный доступ воздуха в топки. Отбросив одной рукой кочергу, Зван хватался другой за лопату и поспешно, на бегу, подбрасывал в пламя три-четыре лопаты угля. Ожившее на ветру пламя жадно лизало топливо, огонь становился все ярче, шум в топках все нарастал, — но до выдувания пара в трубу было еще далеко.

Стрелка манометра начала подниматься, показала сто пятьдесят пять, потом сто шестьдесят. Как автомат, ни на мгновение не останавливаясь, серьезный и молчаливый, Зван находился в непрерывном движении, его руки никогда не оставались свободными — лопату сменял лом, лом — кочерга. Постоянно одна из топок была открыта, постоянно что-то делалось. Зван был настоящим виртуозом своего дела: рассчитанными приемами он оживлял пламя — разжигал, вздувал угасающее, поддерживал сильное, бурное. Стрелка манометра поднималась — сто шестьдесят пять, сто семьдесят... Белые языки пламени лизали стенки котла, в топках гудел ветер.

И опять Зван подбрасывал, ворочал, выдергивал. Он взмок от пота, руки и лицо его от жара сделались темно-красными, но у него не было времени ни вытереть пот, ни напиться.

Волдис, поднявшись наверх за свежей водой, заметил, что капитан с мостика смотрит на конец трубы. «Эрика» бодро двигалась, толкаемая могучей силой, винт завертелся энергичнее, пароход смело пробивался сквозь волны Бискайского залива. Когда Волдис спустился вниз, стрелка манометра уже находилась у красной черты максимума. Еще несколько фунтов и...

Ирбе было совестно сидеть и смотреть, как товарищ выбивается из сил, несколько раз он порывался встать и помочь, но Зван и слышать об этом не хотел.

— Успокойся и дай мне возможность показать этим обезьянам, что такое настоящий кочегар! Надо, наконец, им дать по зубам!

И он опять хватал, выламывал, подбрасывал уголь и носился от одной топки к другой. Котлы задрожали, мощный трепет охватил весь корпус парохода. А затем... наверху, рядом с трубой, что-то зашипело, прорвалось и заревело. Ревело резко, душераздирающе. В воздухе заклубилось белое облако, рассеиваясь над пароходом. Избыток пара, лишняя энергия котлов ликующе кричала о своем существовании.

Зоммер и Андерсон озабоченно выскочили на палубу. Они видели, что на мостике стояли капитан и первый штурман. Все смотрели вверх, на клокочущий столб пара.

— Смотри, дьявол, что сделал! — задыхаясь от досады, произнес Зоммер.

Андерсон не сказал ничего, только сердито сплюнул и потащился обратно в кубрик.

А пар ревел, воспрянувшие машины энергично двигали рычагами, и черный ящик мощно рассекал бурные волны Бискайского залива.

В котельное отделение вбежал чиф, радуясь, как маленький ребенок. Немного спустя вслед за ним вошел капитан.

— Ну вот, это дело! Если они захотят, то черта свернут!

На пароходе царило веселое оживление. Кругом видны были сияющие лица, а он, герой дня, создавший этот избыток энергии, тяжело свалился на насосный ящик. Он выжал из себя все до последней капли, в нем дрожал каждый мускул, грудь вздымалась, не успевая набрать воздух.

И опять белые языки пламени сделались красными: огонь кончил свою победную песню, и стрелка манометра опускалась все ниже и ниже... Водяные валы разбивались о грудь парохода, перекатывались через палубы, и черный ящик безвольно нырял и взлетал, нырял и взлетал...

Стюард принес Звану стакан виски.

— Господин капитан сказал, что каждый раз, когда вы повторите это, будете получать по стакану.

Умен был господин капитан!..

* * *

С каждой вахтой все труднее становилось работать. Быстро пустели бункера, и наступил момент, когда у трюмных больше не оставалось времени на выгрузку золы. Все пошло кое-как. Убедившись, что у них не хватит сил сделать всю работу как следует, люди сникли и работали без особого старания.

Напрасно господин капитан с надеждой поглядывал на верхушку трубы, напрасно Рундзинь бегал вниз подгонять кочегаров — пар больше не ревел... Люди не хотели губить себя ради глотка виски.

Если бы погода была спокойной, они и с плохим углем добрались бы в порт на второй день рождества. Но кто из моряков не знает Бискайского залива? Самое отвратительное в мире место! Гигантский пароход пересекает во всех направлениях просторы Атлантики, перерезает знойные воды Индийского океана, его качают всевозможные ветры, треплют ураганы, и все же он без аварий добирается до берегов Португалии. И вот здесь — в небольшом углу моря, в треугольнике, на который напирает весь океан, буря ломает мачты, срывает мостики, а нередко пускает на дно и сам корабль.

Иногда в заливе совсем нет ветра, а вода все же волнуется. Где-то далеко в океане шторм вздымает волны, и отдаленное волнение доходит до широкого залива, будоража его воды, заставляя их кипеть, пениться и реветь. Это залив, в котором штурман теряется, не зная, как управлять: ветер дует с одной стороны, волны хлещут с противоположной, а морское течение устремляется поперек, по-своему. Здесь подчас бывает трудно определить, откуда именно дует ветер. Один старый капитан на вопрос штурмана: «По какому ветру определять курс корабля?» — ответил: «А дьявол его знает, здесь дует со всех сторон. Сам черт ничего не разберет!»

На этот раз ветер дул с силой в девять баллов. Водяные валы с белыми гребнями обрушивались на низко сидящее судно: одна волна шла наперерез другой, на них обрушивалась третья. Столкнувшись, они с шумом разбивались, образуя на некоторое время такой бурный водоворот, будто здесь только что затонул корабль.

Клокочущая дорожка, тянувшаяся по воде за пароходом, извивалась как змея — ни один матрос не мог

удержать руль более или менее прямо, каждая волна сбивала пароход с курса. В лучшем случае продвигались вперед со скоростью двух узлов в час.

* * *

Гинтер опять не мог ничего есть. Полуголодный, он мучился от приступов морской болезни и нечеловеческого труда. По примеру Блава он перестал умываться и неделями ходил грязный, — руки еще иногда споласкивал, когда приходилось мыть посуду, зато шея и лицо покрылись густым слоем угольной пыли.

Потом и остальные стали умываться кое-как — промывали только глаза, вытирались платком и ложились спать. Пестрые от грязи, с темными пятнами на щеках, с черными веками — так они жили в эти дни. В свободные от вахты часы моряки больше не играли в карты и не судачили: окончив вахту, они, как тяжелобольные, валились на койки, дрожали и кутались в тонкие одеяла; во время обеда торопливо выскакивали в одном белье к столу и, пообедав, сразу же ложились, стараясь воспользоваться каждой минутой отдыха.

Из-за маленького роста труднее всех приходилось Блаву, потому что топки находились высоко, почти на уровне его подбородка. Он еле мог забросить уголь в топку, а когда нужно было пускать в ход кочергу или лом, никак не мог выломать шлак. Тогда он подпрыгивал и наваливался всей тяжестью на лом, чтобы пригнуть его конец книзу. Это было очень тяжело, и маленький человечек совсем утратил свою жизнерадостность. Губная гармоника валялась на койке без употребления, стихли песенки. Все ходили угрюмые и неохотно вступали в разговоры.

Так подошло рождество. Моряки бы и не вспомнили о нем, если бы капитан не прислал заранее в каждый кубрик по бутылке джина и за ужином не дали бы по два пирожка.

Студеный ветер гудел в вантах, день и ночь ревело море. Где-то чисто вымытые люди, надев нарядное платье, собирались повеселиться, дети радовались елке, священники рассказывали тысячи раз слышанную сказку о младенце Христе и пастухах. А здесь, в бушующей водной пустыне, пароход выбивался из сил, борясь

с волнами. В ночной темноте только причудливый свет луны иногда пробивался сквозь разорванные бурей тучи, и тогда брызги от разбивавшихся о борт волн, фосфоресцируя, горели и переливались, как бенгальские огни.

Сильнее всего море разбушевалось на вторую ночь рождества: волны перекатывались через шлюпочную палубу, и время от времени через вентиляторы в котельное отделение врывались целые потоки воды. Через верхние иллюминаторы волны обрушивались и в машинное отделение. Одна такая струя окатила с головы до ног чифа.

«Эрика» качалась, как пьяная девка. Ничто не держалось на своих местах — уголь срывался с лопаты, стоявшие в углу кочерги и ломы валились на пол.

Каждые десять минут Волдис бегал наверх поворачивать на ветер вентиляционные трубы, потому что при повороте парохода временами вентиляторы гудели, как ветровые двигатели, иногда же не чувствовалось ни малейшего дуновения. Кепку пришлось сунуть в карман, так как ветер грозил унести ее в море.

С усилием, цепляясь за перила, Волдис взбирался наверх. Перекатывавшиеся через борт волны обдавали его с головы до ног, и, когда он спускался вниз, у него не было уже времени обсушиться у топки.

Мокрый, продрогший, он лез в бункер; его одежда, пропитанная дымом и копотью, начинала преть.

Люди, стоявшие на вахте, проклинали все на свете. Начальство опасалось попадаться на глаза разъяренным кочегарам.

Андерсон честил кпитана:

— Дьявол его знает, за чем он гонится в такую погоду! На других пароходах капитаны заставляют машину работать на половинную мощность и держатся так, пока море не стихнет. А наш рвется вперед, хоть к черту на рога!

На третий день был один момент, когда казалось: море вот-вот поглотит пароход. Сначала под водой скрылась носовая часть палубы, не было видно даже фальшборта, над люками бурлил темный водоворот. Носовая часть не успела еще подняться из воды, когда нырнула под воду корма. Переливающаяся темным, зловещим блеском вода сердито клокотала над обоими концами

парохода. Только мостики, подобно островам, возвышались еще над пучиной.

Это был грозный момент. Все видевшие это оцепенели от страха: что если один из люков не выдержит напора водяной горы и проломится?.. Море на мгновение забурлит, водоворот задержит волнение воды на этом месте — и все смолкнет в ночи.

Люки выдержали, и пароход, тяжело кряхтя и поскрипывая, постепенно поднялся из воды. Но тут нос опять был подхвачен громадной волной, и судно вздыбилось, вынырнув наполовину из воды, затем грузно упало вниз тяжестью всех своих пяти тысяч тонн... Исступленно кланяясь во все стороны, как клоун на арене цирка, пароход с громадными усилиями пробивался вперед.

Вдали кое-где мелькали зеленые и красные сигнальные огни. Налево и направо от «Эрики» прыгали и ныряли в волнах бушующего моря несколько других пароходов.

Днем иногда удавалось видеть эти пароходы. На короткое мгновение они показывались совсем рядом, потом проваливались в пучину, скрывавшую их вместе с мачтами, и только спустя некоторое время опять появлялись, вознесенные высоко на гребни гигантских волн.

Если бы это было не в Бискайском заливе, капитан давно бы направил пароход ближе к берегу, возможно, даже бросил бы якорь, но здесь приходилось держаться подальше в открытом море, иначе шторм мог выбросить «Эрику» на берег.

Трое суток день и ночь бушевал шторм, и «Эрика» почти не сдвинулась с места. Затем наступило затишье. Волны сделались ниже и спокойнее, перестали пениться, и над колыхающейся пучиной засияло солнце. Невесть откуда появившиеся здесь, вдали от берегов, маленькие птички уселись на вантах и больше не улетали. Но море долго еще не могло успокоиться.

В канун Нового года «Эрика» приближалась к земле. Когда она находилась еще далеко от берега, к ней пришвартовалось лоцманское судно. На палубу поднялся молодой человек с румяным лицом и черными усиками.

Над морем возвышался белый маяк, построенный на скале, исчезающей во время прилива под водой.

Впереди мерцали входные огни порта. На концах мола тоже стояли два маяка, и между ними оставалась настолько узкая щель, что два парохода не могли разойтись в ней. Это были ворота, через которые Волдис Витол прибыл во Францию...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пароход ошвартовался у берега. Дул теплый, влажный ветер. Почти все поднялись на верхнюю палубу посмотреть на панораму маленькой гавани. Набережная была заставлена бочками. В воздухе носился запах вина. Моряки вдыхали ароматный воздух и становились беспокойными.

— Хорошо бы заполучить сюда одну такую бочку! — мечтал Андерсон.

— Да, тогда бы мы с шиком встретили Новый год, — сказал Зоммер.

А Блав, умывшись впервые за девять дней, запел:

Если бы моя страна
Винным озером была,
Я б хотел быть окуньком,
Вечно, вечно плавать в нем.

— Ты, Блав, и не мечтай о таких вещах, — усмехаясь, сказал Зван. — Кто же будет мат плести?

Блав в сердцах сплюнул и состроил печальное лицо.

— Придется брать на день отпуск, иначе подохнешь от жажды.

Плетение мата было начато уже давно, но работа подвигалась очень медленно.

Делегация матросов и кочегаров направилась к капитану просить денег.

— Вы в своем уме? — пожал плечами капитан. — Где я вам сейчас возьму деньги? Только что прибыли, я даже на берегу не успел побывать. Все банки закрыты.

— А завтра получим?

— Завтра Новый год. Раньше чем послезавтра к вечеру нечего и думать.

Здесь ничем нельзя было помочь...

— Какой же это Новый год, — ворчал Андерсон, — всухую! У капитана, конечно, голова не болит, у него

есть запасы вин и коньяков. А как ты, бедняжка, обойдешься — это его не касается!

С берега так заманчиво пахло вином.

Люди нервничали: бросались на койки, валялись, вскакивали, поднимались опять на палубу и жадно смотрели на город.

В окнах домов один за другим загорались огни. С соседних судов уходили на берег группы оживленно болтающих моряков. Проклятая участь — остаться без денег!

Только Блав не поднимал головы, углубившись в плетение мата.

Тогда Андерсон затеял игру в карты. Самые нервные — Андерсон, Зоммер и Ирбе — углубились в игру, стараясь таким образом успокоиться, что им отчасти и удалось.

Незадолго до полуночи на бак явился стюард и принес в каждый кубрик по бутылке джина.

Бутылку распили. Несколько глотков, доставшихся каждому, окончательно испортили настроение и вызвали еще большую жажду.

— Так дело не пойдет, — воскликнул Зван, вскакивая. — Старик должен нам дать еще вина, не то мы его вздернем на мачту. Кто пойдет со мной в салон?

— Подождем, пока прогудят Новый год, — сказал Андерсон. — Тогда пойдем с поздравлениями. Уж бутылочку-то вынесет.

Подождали. Медленно тянулись минуты. Вдруг раздался звон и завывание. Вой сирен с нескольких десятков кораблей заглушил все остальные звуки. Радостно откликнулись на этот рев маленький городок и порт. В небо взвились ракеты — зеленые, белые, красные.

«Эрика» тоже заревела мощным басом. По палубе прогуливались захмелевшие штурманы и механики. Салон капитана был ярко освещен.

— Ну, пошли! — пригласил Зван.

За ним последовали Андерсон и Зейферт.

В салоне был накрыт праздничный стол: коньяк, ром, фрукты, яства... Капитан сидел в полной форме, окруженный своими ближайшими подчиненными. Стюард, в белоснежном кителе, с полотенцем на руке, носился как угорелый и наскочил с разбегу на делегацию кочегаров.

— Куда вы идете? — ужаснулся он. — Не беспокойте капитана, вы ведь знаете, какой он нервный!

Они это знали, но отчаяние стюарда не в состоянии было их удержать.

Андерсона пропустили вперед. В дверях салона делегация остановилась в нерешительности.

— Разрешите, господин капитан, пожелать вам счастливого Нового года, попутного ветра, хороших заработков! — начал Андерсон.

— Ага, спасибо! Стюард, посмотрите, нет ли там еще бутылки джина.

Вот и все. Получив свое, кочегары вернулись в кубрик, и там с полчаса царило приподнятое настроение. Когда бутылка опустела, Зван пошел к стюарду просить еще. Он поймал его у камбуза.

— Если ты человек, достань еще! Как только получим деньги, расквитаемся.

Но стюард был неумолим.

— Нет ни капли. Все под пломбой. Когда таможенный надзор разрешит открыть, получите.

Ничего не оставалось делать, как ложиться спать. Люди разделись, погасили свет, пробовали уснуть, но с берега доносились веселые крики моряков с соседних кораблей: счастливцам удалось напиться...

* * *

Ла-Паллис — так назывался маленький порт. В нескольких километрах к северу от него находится Ла-Рошель — старинная крепость и база военного флота. В Ла-Паллисе стояли военные суда — маленькие подводные лодки и несколько минных тральщиков.

В городе имелась одна-единственная улица, застроенная только с одной стороны небольшими двух- и трехэтажными зданиями, в которых размещалось все, без чего не может обходиться ни один порт: управление порта, шипшандлеры, шесть или семь кабачков и кино.

В первый день нового года до обеда моряки занимались стиркой белья. Стирали с ожесточением и радовались, что хоть так могли убить время. Когда все было выстирано, началась нескончаемая игра в карты.

После обеда Волдис, Ирбе и радист Алкснис сошли на берег. В течение получаса они осмотрели город. Ничего примечательного в нем не было. Единственное

интересное зрелище, которое им удалось увидеть, — громадный двухтрубный пассажирский пароход дальнего плавания, принадлежащий «Компани женераль трансатлантик»[1], который стал на ремонт гребного винта. Гигантский пароход, корпус которого теперь был хорошо виден от киля до верхушек мачт, представлял собой весьма внушительное зрелище.

Потом они пошли на мол, к маленькому входному маяку. На рейде стоял, ожидая прилива, большой трехтрубный пароход.

Друзья любовались красивым кораблем и прекрасным спокойным заливом, за которым раскинулись необъятные океанские просторы и заманчивые солнечные страны. Они вздыхали, мечтали и говорили о далеких краях.

— Знаете что? — произнес Ирбе. — Если через год я не буду на той стороне, не стоит больше и плавать!

— Я тоже мечтаю об этом! — сказал Волдис.

— Я бы тоже не прочь! — присоединился к ним Алкснис. — Давайте держать пари: в течение года любой ценой попасть в Америку. Посмотрим, кто из нас это сделает первым.

— Возможно, нам посчастливится уехать всем вместе, — сказал Ирбе.

— В это я не верю, — возразил радист. — «Эрика» так далеко не пойдет.

— Поищем другой пароход! — предложил Волдис.

— Вы с Ирбе сразу найдете другой пароход, кочегары везде нужны. А где я найду место радиста?

— Иди в матросы, пока не переберешься на ту сторону! — воскликнул Волдис.

— Можно и так...

Мечтая таким образом, они смотрели на залив, по которому скользило много рыбачьих лодок с большими парусами; они напоминали маленькие яхты, так как все имели бушприты и по две мачты.

Возвращаясь обратно, они в одном месте увидели сборщиков устриц. Между устоями разводного моста глубина воды была не больше двух футов, и сборщики и сборщицы устриц, засучив штаны и подоткнув юбки, босиком бродили по воде. Запустив по самые плечи

[1] «Всеобщая Трансатлантическая компания».

руки в воду, они шарили по мелким камням, устилающим дно, и изредка находили устричную раковину. Вода в это время года была ледяная. Голые икры женщин багровели. Временами люди останавливались, размахивали руками, отогревали дыханием посиневшие пальцы, продолжая по колено стоять в воде.

«Эрику» окружили любопытные, в недоумении разглядывавшие латвийский флаг, — он, вероятно, впервые появился в этих местах.

Наутро кочегары отказались приступить к работе, пока капитан не достанет денег. Чиф бегал с пеной у рта, второй механик шнырял молча, с угрюмым видом. Угрожая и уговаривая, они пытались заставить «черных» работать.

— Вы только подумайте! — кричал Рундзинь. — Машина залита маслом, везде нагар, ржавчина. Если мы сегодня не промоем ее, она совсем заржавеет. Кто будет возмещать убытки? Промойте машину, а потом хоть последнюю рубаху пропивайте!

Когда о бунте узнал капитан, он сперва очень возмутился и начал даже кричать:

— Вы нарушаете подписанный вами договор! Я имею право отдать вас под суд! Вы что, хотите, чтобы я из кожи вон лез? Ну, нет у меня денег, ждите до вечера, а пока идите работайте. Только имейте в виду, если машина сегодня не будет промыта, никто не получит ни цента. Взрослые люди, а ребячитесь, как мальчишки. Известно ли вам, что я имею право совсем не выплачивать авансов?

— Тогда увольте нас! — крикнул Зван. — Дайте расчет.

— Ах вот как! Когда кончается срок договора?

— Первого апреля.

— Значит, до этого времени не может быть и речи ни о каком расчете.

После некоторых размышлений «бунтовщики» признали, что машину промывать все же придется: кто его знает, этого капитана, иногда он бывает чертовски упрям. Но прежде чем приняться за промывку, они начали дипломатические переговоры с чифом. Для ведения их опять выбрали Андерсона.

— Мистер чиф, вы согласны отпустить нас в город, когда мы промоем машину?

— Ну конечно, черт вас побери! — прокаркал чиф.

— Независимо от того, когда мы кончим промывку?

— Оставьте, наконец, меня в покое! Помилуйте, машина-то ведь ржавеет, а стоит она миллионы.

Выторговав себе аккордные условия работы, кочегары направились вниз и принялись за дело с таким рвением, что отпала всякая необходимость их торопить. Механикам оставалось только следить за тем, чтобы все машинные части были протерты, очищена ржавчина и надраены медные и латунные части. Люди с мокрыми от пота лбами лазали под цилиндрами, терли, полировали, смазывали, время от времени поторапливая друг друга:

— Гинтер, ты там не очень прохлаждайся! Блав, не мечтай о мате!

В результате машина уже к двенадцати часам сверкала чистотой. Чиф пытался казаться недовольным и сердитым, но не мог скрыть улыбки... Кочегары прихватили и часть обеденного перерыва, чтобы окончательно завершить работу, и в половине первого уже вытирали тряпками замасленные руки.

Начались праздничные сборы: брились, стригли ногти, гладили брюки и галстуки. В два часа все были готовы. Дело было за капитаном. Каждые десять минут кто-нибудь бегал к стюарду узнавать, не вернулся ли старик из города.

Люди тосковали по опьянению, которое в один вечер вознаградило бы их за двухнедельные муки. Они чувствовали и знали, что жизнь пуста, темна и тяжела, но сегодня им хотелось пустить в небо яркую ракету, которая на мгновение осветила бы мрачную бездну, чтобы потом рассыпаться на тысячи искр-воспоминаний. И опять десять дней мрака, и — одна ракета...

Блав плел, плел, плел свой мат, пока, наконец, дух беспокойного ожидания не передался и ему.

— Черт бы побрал все маты и всех капитанов! — воскликнул он и с притворной злостью отбросил плетенье на койку. — Беру на сегодняшний день отпуск!

Волдис обнял его за плечи.

— По мне, так пойдем вместе с нами на берег, только деньги ты не бери с собой. Вспомни, что обещал.

— Как же это я буду пить за чужой счет?

— Почему? После отдашь.

— Нет, так неудобно. Я никогда не смогу заказать, сколько мне захочется.

— Вот это и хорошо. Подумай о синем костюме.

Да, синий костюм! Глаза Блава мечтательно заблестели. Он сдался.

Капитан пришел в половине пятого. Не успел он снять фуражку, как салон заполнили жаждущие денег.

— Как, уже все оделись? — удивленно спросил он. — Машину промыли?

— Да, господин капитан! — хором ответили все.

— Что-то не верится. Позовите чифа, пусть он подтвердит.

Ирбе сбегал за чифом и сказал ему, что капитан просит его немедленно прийти. Чиф, вечно трепетавший перед капитаном, прибежал запыхавшись. Ему ничего не оставалось, как только подтвердить, что все сказанное кочегарами действительно правда.

— Ну, если так, у меня возражений нет. Только... — и капитан уставился куда-то на колени, барабаня пальцами по столу, — много я сегодня не могу дать. Из пароходства еще не пришел ордер. Я только разменял в банке те деньги, что привез из Англии.

Лица вытянулись. Недоброе предчувствие замедлило биение сердец. Андерсон вытер со лба пот.

— Но, господин капитан, хоть сколько-нибудь... Поймите, в каком мы положении.

— Безвыходном... — вполголоса добавил Зван.

— Ну конечно, совсем без денег вы не останетесь. Я дам каждому по пятнадцати франков. Этого хватит на марки, на мыло, да и на вино останется. Здесь ведь вино баснословно дешево.

— Вот и нужно воспользоваться случаем повеселиться хорошенько по дешевке! — сказал Зоммер.

Пятнадцать франков! Это просто издевательство. Ведь это меньше четырех латов. Они подсчитали эти жалкие деньги: по здешним ценам их хватит, чтобы один раз напиться. Гинтер принес ужин — жареную рыбу и картофель. Никто не притронулся к еде.

— Выбрасывай за борт, никто ее не будет есть! — сказал Зоммер.

— Зачем? — возразил Андерсон. — Пусть останется. Вернемся домой — пригодится на похмелье.

Кубрик остался неубранным, стол завален посудой, печь потухла.

* * *

Кабачок долго искать не пришлось.

Матросы завернули в тихое заведение, где не было ни одного посетителя. Хозяева — пожилые супруги — читали вслух какую-то книгу.

— Какого вина угодно господам? — обратился к ним седой француз, бросив книгу на колени жене.

— Какое у вас есть? — спросил Андерсон.

— Черное, белое, красное!

Белое вино стоило два франка литр, красное — еще дешевле. Конечно, это был далеко не самый изысканный напиток, — казалось, что пьешь какой-то кислый сок, без всякой крепости. Пили большими чайными стаканами, как воду.

Первые два стакана Волдис выпил просто потому, что ему хотелось пить. Пить вино было приятно, не то что водку или джин.

— Неужели от этой сельтерской можно опьянеть? — спросил он.

— Обожди немного, — ответил Зван. — Выпей еще стакана два и тогда попробуй встать.

Для разнообразия пили и красное вино. Волдису оно показалось горьковатым и невкусным. Выпив один стакан, он вернулся к белому. Не прошло и полчаса, как каждый успел выпить по литру.

— Пойдемте теперь куда-нибудь еще, — приглашал Алкснис, присоединившийся к «черным». — Может быть, где-нибудь есть музыка...

Поднимаясь из-за стола, Волдис внезапно почувствовал странное опьянение: голова была ясная, а ноги подкашивались. Пошатываясь, он вышел на улицу и на минуту остановился, прислонившись к стене.

— Вот чудеса! — воскликнул он. — Что со мной творится?

Остальные смеялись и покачивались так же, как и он. Один Зван держался твердо — его нелегко было свалить с ног. Он не мог напиться за один день, хотя бы пил с утра до вечера.

На тротуарах, у входа в рестораны и бары стояли цветы в больших горшках и кадках, маленькие лавровые кусты, фикусы и другие растения, способные переносить

прохладный уличный воздух. Только по этим цветам и можно было ориентироваться, где находятся кабаки.

Пройдя шагов сто, приятели завернули в какое-то заведение, откуда слышалась музыка. Оно важно именовалось American Bar[1] и было заполнено черноусыми французами — фабричными и портовыми рабочими. Столики были очень малы, и всем не хватило места, поэтому пришлось разбиться на две группы. Волдис, Зван, Ирбе и радист сели за один стол, остальные — за другой. Пили вино и слушали музыку. Вино казалось уже невкусным. Голова стала тяжелой и хмельной. К латышским морякам примкнул какой-то довольно элегантного вида бичкомер с Мартиники, в шляпе и сером пальто. Волдис разговорился с ним.

Андерсон что-то шепнул бичкомеру. Тот утвердительно кивнул головой.

— Girls? I know! Let us go to girls![2]

— Пошли! — позвал Андерсон остальных.

Захмелевшая компания, выписывая вензеля, оставила кабачок. Было темно. По краям улицы тускло горели фонари.

Пройдя немного, Волдис заметил, что Блав куда-то исчез. «Вероятно, пошел домой». Он подумал, что и ему не мешало бы вернуться на «Эрику». Выпито было достаточно, голова кружилась. Но когда он попробовал заикнуться об этом, над ним стали подтрунивать, что он боится женщин.

У входа в один бар горел фонарь в никелированной оправе. Зейферт остановился и стал его разглядывать.

— Такая штука стоит хороших денег, — глубокомысленно изрек он, догнав остальных и оглянувшись назад.

Бичкомер шел впереди, толпа моряков, пошатываясь, следовала за ним. В конце улицы, на окраине, они остановились у темного двухэтажного здания. Бичкомер постучал несколько раз в оконную ставню.

В двери засветилось маленькое отверстие, оттуда что-то спросили, и бичкомер ответил по-французски. Загремели ключи и цепочка. Их впустили в маленькую переднюю. Волдис заметил, что Зейферта нет.

---

[1] Американский бар (*англ.*).

[2] Девушки? Я знаю. Пошли к девушкам! (*англ.*).

— Не остался ли он за дверями? Надо бы выйти посмотреть.

Но улица опустела, вблизи никого не было.

— Ну и бог с ним! У него своя голова, — махнул рукой Андерсон.

Из передней они попали в просторную, слабо освещенную комнату. В углах горели лампы под красными абажурами. Вдоль стен выстроились стулья. Посреди комнаты стоял музыкальный ящик.

Бичкомер повернулся к вошедшим, широко улыбнулся и развязным жестом указал на разгуливавших по комнате семь или восемь женщин.

Две сразу же подбежали к Андерсону и Звану, вцепились в них и что-то торопливо начали говорить на непонятном жаргоне. Это были старые, увядшие женщины, и им бы следовало носить более длинные платья. У одной были узкие воспаленные глаза.

Они вели себя не слишком назойливо. Убедившись, что их увядшие прелести не производят никакого впечатления на посетителей, они отошли в угол, где за бутылкой вина сидело несколько французов в рабочей одежде.

У камина собралось довольно многочисленное общество. Среди них была только одна женщина, стройная, с правильными чертами лица и ясными большими глазами. Около нее толпилось с полдюжины мужчин, и она со всеми кокетничала, куря сигарету и изредка касаясь губами стакана с вином.

Вновь прибывшие заказали две бутылки вина и сели за столик. Волдиса стала одолевать скука. Невыносимо тарахтел музыкальный ящик. Улыбающийся бичкомер стоял позади моряков и разговаривал с представительной дамой, видимо, хозяйкой заведения.

Когда на столике появилось вино, женщины опять стали подходить, заглядывать морякам в глаза и улыбаться, но никто их не приглашал. Они выжидательно остановились в стороне.

Вино здесь стоило вдвое дороже, чем в кабаке, и скоро у приятелей иссякли деньги. На столе стояли пустые бутылки. Сидеть просто так стало неудобно. Зоммер обратился к бичкомеру:

— Ты можешь достать нам франков двадцать? Завтра вечером получим аванс — вернем.

— Ну конечно! Только надо что-нибудь оставить в залог.

Начали искать, что бы заложить. Часов ни у кого не было. Серебряные и тонкие, искусственного золота, кольца, которые носили Ирбе и радист, ничего не стоили. Бичкомер показал на новое летнее пальто Волдиса.

— За него можно получить франков двадцать пять.

— Я его не продам! — сказал Волдис.

— Продавать и не нужно. Вы его получите завтра обратно, как только внесете двадцать пять франков.

Теперь все окружили Волдиса:

— Выручи, если ты настоящий товарищ. Мы сложимся и отдадим тебе деньги.

Волдис снял пальто. На столе появились новые бутылки.

Когда все деньги были пропиты, они ушли. Бичкомер проводил их до самого судна.

По дороге они догнали двух полицейских, тащивших кого-то на носилках. Когда моряки с «Эрики» проходили мимо этой процессии, они с любопытством поглядели на лежавшего на носилках человека. Это был Блав. Все поняли, что случилось что-то недоброе; застывшими взглядами проводили они полицейских, пока те не скрылись в дверях какого-то серого здания.

— Он умер... — шепнул Андерсон. — Я видел его лицо.

— Может быть, трамваем задавило? — высказал предположение радист.

— Надо сообщить капитану, — сказал Волдис.

Бичкомер попросил обождать и вслед за полицейскими вошел в дом. Когда он через некоторое время возвратился, уже по его смеющимся глазам можно было догадаться, что ничего плохого не произошло.

— Полиция нашла его лежащим на мостовой. Пьяный. Теперь он должен выспаться в участке и заплатить штраф.

— Черт, где он умудрился напиться? — соображал Волдис. — Денег у него не было ни цента, и когда мы пришли в заведение, он тут же исчез.

— Наверно, встретил какого-нибудь подгулявшего паренька, тот его и угостил, — решил Андерсон, и все согласились с ним.

До парохода все шли молча, стараясь не привлекать

внимания полицейских, но когда добрались до трапа, Зоммер заорал, как разъяренный верблюд. Закричал Андерсон, рявкнули Зван и Гинтер. Продолжая орать и всячески кривляясь, они остановились у дверей салона, разбудили капитана и стюарда, затем, спотыкаясь и падая, направились по засыпанной углем палубе в свой кубрик.

Зоммер распахнул дверь матросского кубрика и заорал измененным голосом:

— Эй, рогачи! * Не пора ли вставать?

Испуганные и сонные люди зашевелились на койках, отвечая бранью, но их никто не слушал. Чем больше они ворчали, тем безобразнее орали кочегары.

В собственном кубрике их ожидал сюрприз: на столе ярко горел никелированный уличный фонарь, рядом сидел Зейферт, сонными глазами поглядывая на свою добычу.

— Вот молодчага! — обнял Андерсон Зейферта. — Это вещь! Мы за нее возьмем... франков пятьдесят!

Все по очереди вертели в руках фонарь, хвалили Зейферта, укравшего его, и горланили душераздирающим голосом песни.

К ним прибежал взволнованный стюард:

— Господин капитан просил, нельзя ли потише? Если будете так шуметь, он не даст больше денег.

— Провались ты в тартарары вместе со своим господином капитаном! — заревел Зоммер, и стюард моментально исчез.

Кочегары один за другим повалились на койки. Андерсон трижды делал попытку вскарабкаться на свою верхнюю койку, но всякий раз падал обратно и наконец остался лежать на полу.

Печка остыла, в кубрике было холодно. На столе среди грязных тарелок с застывшим на них жиром ярко горел украденный уличный фонарь.

Утром вернулся Блав — жалкий, продрогший, с опухшими глазами. Его встретили громким ликованием.

— Двадцать пять франков — фьють! — крикнул он вместо приветствия. — Пусть капитан раскошеливается!

В восемь часов третий механик постучал в дверь и ушел, но никто и не думал выходить на работу. До обеда все оставались в постелях. Наконец сам Рундзинь удостоил кубрик своим посещением.

— Какого черта вы лежите? Что же, придется упрашивать вас идти работать? — шипел он, боязливо просунув голову в дверь.

Чей-то деревянный башмак ударился в стену, чуть не задев ухо чифа. Он исчез. И после этого никто больше в кубрике не появлялся.

После обеда Волдис с Зоммером спустились вниз работать: им велели надраить крышки цилиндров и все медные части. Остальные кочегары так и не появились внизу.

Вечером все окружили капитана:

— Денег! Денег! Только побольше!

Днем капитан раздобыл крупную сумму и выдал по пятьдесят, а то и по сто франков. С трудом удалось Волдису уговорить Блава, чтобы он не брал денег. На их общие нужды он сам получил пятьдесят франков.

Начались безумные дни. Кочегары не работали. Целые дни напролет они разгуливали по городку, никогда не были трезвыми, и с ними случались всякие неприятности. Однажды вечером полицейские задержали Зоммера, Андерсона, Зейферта и корабельного плотника за нарушение тишины. Капитану пришлось выкупáть их. В другой раз Зван явился с рассеченной щекой. О латышских моряках появились заметки в ларошельских газетах. Капитан в свою очередь поместил в газетах объявление о том, что не отвечает за долги своих людей.

Теперь только Волдис и Блав выходили на работу. Механики оказались без помощников. Некому было подать ключи, поднести нужный инструмент. У цилиндров сняли крышки, но некому было залезть внутрь. В машинном отделении под верхними иллюминаторами соорудили леса, чтобы покрасить потолок и стены, но красить было некому.

Тогда капитан заявил, что каждый кочегар должен по меньшей мере два дня в неделю отработать на пароходе, иначе он не получит денег. Бросили жребий, кому когда выходить на работу, заключали между собой договоры, откупались. Блаву обещали литр вина в день, если он отработает за кого-нибудь.

Вначале Волдис не понимал, почему механики и капитан смотрят сквозь пальцы на распущенность коче-

гаров. Андерсон объяснил ему причины такой снисходительности:

— Видишь ли, в море мы работаем как бы аккордно. Там мы трудимся, как лошади, сверх человеческих сил. Мы это делаем без всякого понукания. В порту же наши аккордные обязанности кончаются, и, по существу, мы имеем право совсем не работать, пока суда стоят у стенки. Мы выполняем, что нам полагается, в море, а если что делаем на берегу, то это наша любезность. Если же нас заставить сейчас работать насильно, тогда в море мы не очень будем следить за манометром, пойдем на неполном пару. Это очень хорошо понимают чиф с капитаном.

Возможно, так оно и было. Возможно, капитан понимал, что необходимо предоставить людям немного свободы, чтобы в следующем рейсе они опять добровольно отдавали всю свою энергию и мускульную силу.

Радист тоже целыми днями слонялся с кочегарами.

Пароход разгружали кранами, так называемыми «крабами». «Краба» опускали в люк, рабочие направляли его к угольной куче, и он вгрызался в уголь. Канаты стягивали челюсти «краба», и он поднимался наверх, наполненный до краев. Подъемный кран поворачивался к набережной, подъезжал грузовик, и «краб» быстро наполнял его.

Волдис обратил внимание на то, что здесь, так же как в Риге, форманы и винчманы кричали на рабочих. Те так же безропотно молчали. Тот же рабский труд, унизительная собачья доля... Рабочему нигде не жилось хорошо. В каждой стране было по-своему плохо...

Украденный Зейфертом уличный фонарь при посредничестве бичкомера продали за тридцать франков. Деньги дружно пропили.

«Эрику» разгрузили за три дня, и в последний вечер на борту появился лоцман. Пароход был готов к отправке в Бордо за грузом, но не мог выйти в море без радиста. Алкснис как раз в этот день поехал в Ла-Рошель, чтобы выкупить свое пальто, заложенное им в каком-то кабачке.

Капитан походил на тигра, готового к прыжку. Рулевой уже стоял у руля. Пароходная сирена запела раз, другой, третий. Алкснис не появлялся. Прилив уже давно освободил кораблю путь к морю.

Прошел час, другой. Еще один час — и корабль в этот день не сможет выйти из порта. Ярость капитана не имела границ. Матросы старались не встречаться с ним.

Наконец появился Алкснис — он приехал в автомобиле, как барин, спокойно вышел из машины, расплатился с шофером, посмотрел на часы, потом закурил сигарету и не спеша поднялся на палубу. Как ни странно, Алкснис совсем не был пьян.

Прежде всего он занялся антенной. Кое-кто из кочегаров без приглашения помогли ему натянуть и укрепить ее, а потом, оставаясь на почтительном расстоянии, стали наблюдать, как он встретится с капитаном.

Получилась довольно драматическая сцена. Алкснис приготовился ко всему. На лице его было написано скорее любопытство, чем беспокойство, когда он подошел к капитану и приветствовал его.

Капитан остановился, по-военному стремительно повернулся к Алкснису и долго пристально смотрел на него, не произнося ни слова. Покачав головой, он с уничтожающим видом выхватил из кармана запечатанное письмо.

— Читайте адрес, — крикнул он.

Алкснис склонился и прищурил глаза.

— Покажите ближе, я не могу разглядеть, — сказал он.

— Не удивительно, что вы не можете разглядеть. Вы многого не видите, даже своего позора! Так слушайте, что здесь написано: «Рига. Главное управление почты и телеграфа». Понятно? Здесь сообщено о вас все. Вы больше не будете радистом, я об этом позабочусь. Как приедете в Ригу — расчет.

— Собственно говоря, именно этого я и ожидал от вас, — спокойно ответил Алкснис.

Его хладнокровие окончательно привело в ярость капитана.

— Вы неисправимый... субъект! — буркнул он сквозь зубы и опять зашагал по мостику.

— Можно идти? — спросил Алкснис, помолчав немного.

Капитан повернулся к нему спиной. Алкснис зажег потухшую сигарету и спустился по трапу вниз.

Пароход вышел в море. Погода была тихая. Внизу,

сбросив рубашки, позвякивали лопатами кочегары. Они опять превратились из веселых забулдыг в серьезных рабочих — пристально следили за красноватым огнем, выламывали шлак, и у них даже не было времени утереть пот.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Первые, кто встречает моряков в любом порту, это торговцы: мясники, булочники, бакалейщики, продавцы различных корабельных товаров, прачки, сапожники, портные. В порту Бордо «Эрику» ожидала толпа оборотистых людей. Все они стремились попасть на борт первыми и вручить поскорее карточки своих торговых фирм. Наряду с бесчисленными карточками шипшандлеров многие моряки получили пригласительные билеты небольшого формата, на которых была оттиснута эмблема — красная мельница, адрес заведения и фамилия владелицы.

Но первый день прибытия в порт Бордо ознаменовался не только пригласительными билетами красной мельницы: вспыхнул очередной, уже давно назревавший продовольственный бунт. По пути из Ла-Паллиса в Бордо пароход один день простоял на якоре в Жиронде, напротив городка Пойак в ожидании разрешения на вход в Бордо. Было достаточно времени на то, чтобы по заслугам оценить питание, и все согласились, что дальше так не может продолжаться.

Артельщиком по-прежнему был судовой плотник. Он дважды в день кормил команду рыбой, благо она была здесь дешевая. Зван не раз ворчал на плотника:

— Ты что, думаешь превратить нас в рыб? Или во Франции больше ничего нельзя достать?

Плотник не обращал внимания на надвигавшуюся бурю и продолжал подавать на обед и ужин жареную и вареную рыбу.

Начальство питалось отдельно, артельщиком у них был второй штурман. Они тоже не видели ничего, кроме рыбы, но зато в конце каждого месяца им выплачивали денежную экономию. Зван нечаянно подслушал разговор штурманов и узнал, что у начальства за последний месяц денежная экономия на питании составила около двадцати латов на человека.

— Так дело не пойдет, — заговорил он во время обеда, давясь осточертевшей рыбой. — У офицеров восемь человек, и получается экономия, а у нас шестнадцать — и ничего не остается. Да хоть бы уж кормил прилично. Селедка, треска, кашица, маргарин — разве это еда?

— Топор нас обкрадывает! — крикнул Андерсон.

— Пусть он подавится своей треской! — взорвался вдруг Зоммер, выходя из-за стола. — Я хочу жрать!

— Кто пойдет со мной? — спросил Зван. — Пойдем к плотнику. Пусть покажет счета и выплатит экономию.

Все вскочили из-за стола и во главе со Званом направились к каюте плотника. Тот вышел на палубу с лоснящимися от жира губами.

— А верно, хорошая погода? — спросил благодушно он.

— Какая есть, такая и есть, — прервал его Зван. — Ты лучше скажи, какой у нас остаток продовольственных денег за этот месяц?

— Что? Остаток? — расхохотался плотник. — Ты бредишь, что ли? Остаток! Какой у тебя здесь получится остаток? Того и гляди недостача будет. Все дорого, как в аптеке! Знаете вы, почем здесь мясо? А хлеб? Даже последняя мелочь? — Он стал серьезным, почти сердитым. — Тут голова идет кругом, когда начинаешь соображать, что можно купить и чего нельзя.

— Ничего, Топорик! — усмехнулся Зван. — Мы тебя вылечим от головной боли. Ты тут нас не дурачь. Мы все умеем считать. Это и брюхом сообразишь, что за девять франков в день можно иначе питаться.

— Ну, может быть, вы умные... — плотник обидчиво пожал плечами. — А я для этого слишком глуп.

— Посмотрим, Топорик! — воскликнул Андерсон. — Пусть попробует кто-нибудь другой.

— Пусть, пусть! Мне уж надоело слушать эти проповеди. Вам и сам дьявол не угодит.

После этого в кубрике кочегаров состоялось совещание, на которое явились и матросы.

— Кого выберем артельщиком? — спросил Андерсон. — Я, со своей стороны, предлагаю Звана.

— Я плохо знаю языки... — пробовал тот отговориться.

— А что тебе нужно знать? Покажи пальцем, если не

знаешь, как называется. Писать-считать умеешь. Попробуй.

Немного поломавшись для приличия, Зван согласился взять на себя обязанности артельщика. Объединенная делегация матросов и кочегаров проводила его к капитану и представила как нового артельщика.

Капитан вначале и слышать не хотел о смене, так как плотник был его земляком.

— Чего вы глупите? — он взволнованно стал расхаживать по салону. — Чем вам нехорош эконом? Кто сумеет лучше его хозяйничать? Он уже привык, знает все порядки, владеет языками.

— Мы ему больше не доверяем! — заявил Андерсон. — Он кладет себе в карман третью часть.

— Ну, а если бы я ведал продовольствием и поручал бы все покупать стюарду? Вы бы и тогда не доверяли?

Угрозы капитана никто не принял всерьез. Если бы он действительно хотел сам заняться питанием экипажа, он бы давно это сделал.

В конце концов Звана узаконили в новой должности.

— Подходящего человека подыскали, нечего сказать, — заметил под конец капитан. — Козла в огород пустили. Смотрите, как бы не пришлось идти ко мне с жалобами...

Но капитан оказался плохим пророком. Скоро появились доказательства этому.

* * *

На «Эрике» наступил праздник. Ни в одном календаре он не значился, но иначе нельзя было назвать роскошную, расточительную жизнь, начавшуюся после избрания Звана артельщиком.

Каждое утро Зван получал от капитана продовольственные деньги — примерно полтораста франков. Он ехал в город, закупал и заказывал необходимое. Его всегда сопровождали в качестве помощников два кочегара. Они отсутствовали довольно долго и всегда возвращались навеселе. На следующий день помощники менялись. Все с готовностью сопутствовали Звану, когда он ходил по магазинам, базарам и пивным. У капитана больше никто не просил денег, — на выпивку хватало, потому что Зван был человек щедрый.

Питание? Так могли жить только господа. Утром каждый получал коробочку сардин или еще какие-нибудь дорогие консервы, сыр, колбасу и другие деликатесы. Обед состоял из трех блюд: великолепный суп, большая порция хорошего жаркого, компот или горячее красное вино. На ужин блинчики с начинкой, дичь или холодные закуски.

Кок, на которого теперь навалилась уйма работы, чертыхался, как только умел. Чтобы примирить его с горькой судьбой, Зван ежедневно дарил ему бутылку вина.

Люди ели и удивлялись:

— Что это такое? Где это видано, чтобы на судне так кормили?

Начальники провожали завистливыми взглядами блюда, проносимые из камбуза в кубрик кочегаров. Механики стали перешептываться со штурманами, недоверчиво и холодно поглядывая в сторону своего артельщика — второго штурмана: «Не ворует ли он? Почему команда так хорошо питается?»

Эта перемена тяжелее всего отразилась на плотнике. Он ходил как побитый пес, никто с ним не хотел разговаривать.

— Вор этакий! — говорили у него за спиной. — Почему теперь так здорово с едой получается?

В один прекрасный день радист заявил второму штурману, что переходит на довольствие в команду.

— Почему я должен подыхать с голоду и есть тухлую рыбу, когда тут же рядом ребята питаются как следует?

Зван охотно принял его в свою семью. Иногда он брал Алксниса с собой в город, так как тот знал французский язык, и в таких случаях Алкснис возвращался домой, тоже напившись сладкого вина.

Да, хорошие были дни! Люди избаловались, сделались разборчивыми в еде. По вечерам Зван приглашал товарищей на берег и угощал на свой счет. Кутили до самого закрытия кабаков, и Зван никому не позволял уплатить хоть цент. Наутро к пароходу подъезжали маленькие «пикапы»: пекари привозили свежие булки, мясники присылали мясо, остальные торговцы — овощи и деликатесы. Зван принимал все, складывал куда следует, подписывал счета и заказывал новые припасы на следующий день.

Кочегары знали, в чем дело, но молчали, в то время как матросы предостерегали Звана:

— Не слишком ли роскошно мы живем? Не вылететь бы в трубу!

— Какое ваше дело? Я же знаю, что делаю! — успокаивал их Зван. — Почему не поесть хорошо, если можно?

Да, на самом деле, почему не питаться получше? Люди покачивали головами и охали, принимаясь за еду. Нет, все же Зван хозяйственный парень!

Каждое утро он получал деньги на продукты, каждый вечер пропивал их вместе с товарищами, а за присланные продукты рассчитывался распиской в счетах.

— Капитан заплатит вам в последний день, — говорил Зван поставщикам, и те удовлетворялись таким объяснением; так делалось на многих судах. Но Звану было известно одно обстоятельство, о котором торговцы не имели представления, — поэтому его щедрости и беззаботности не было границ, поэтому команда «Эрики» питалась жарким и деликатесами и кочегары могли бесплатно напиваться.

— Почему не брать, если даром дается? — рассуждал Зван.

И тем, кто знал его секрет, оставалось только соглашаться с ним. Как он выйдет из положения и что произойдет в день выхода в море, когда поставщики придут с грудами счетов, — об этом они старались не думать...

* * *

Волдиса опять стала одолевать скука. Беспокойная, мутная жизнь захлестывала его, подавляя всякий проблеск мысли, всякое разумное стремление. Вечно замасленный, в угольной копоти, он чувствовал странную апатию — вечером не хотелось отмывать руки, чистить ногти, с отвращением он мыл посуду. Покоя не было и вечером — кубрик наполнялся табачным дымом, шумом и непристойными разговорами. Люди приходили и уходили — пьяные, хвастливые и сварливые, а около полуночи, когда появлялись последние завсегдатаи кабаков, от адского шума, поднимаемого Зоммером, Зейфертом или Андерсоном, вскочили бы и мертвые.

Иногда они докучали своей приветливостью. Поглаживая Волдиса по плечу, они длинно рассказывали о своей разбитой жизни и высказывали убеждение: человек живет на свете только один раз, поэтому нужно изведать жизнь до самых глубин. Веселись сегодня, не думай о завтрашнем дне! Пусть думает лошадь — у нее голова большая ...

Решив не поддаваться окружающему угару, Волдис не ходил с товарищами в кабаки. Достав у одного матроса, учившегося в мореходном училище, учебник английского языка, он проводил за ним все свободное время, вспоминая и повторяя то, чему когда-то учился.

Блав, которому теперь представилась возможность бесплатно напиваться, совсем забросил плетение мата. Как верный адъютант, он везде следовал за общественным кошельком команды — Званом.

Только Ирбе иногда отказывался от общих кутежей и оставался на судне. Однажды вечером Волдис уговорил Ирбе поехать с ним в театр — в Бордо был свой Большой театр. Ирбе ничего подобного в жизни не видал. Из пьесы они не поняли ни слова, но декорации, красота постановки и незнакомая изысканная публика их просто ослепили. Целый день после этого Ирбе только и говорил о спектакле, и... в результате над ними стали смеяться.

— Аристократы, интеллигенция! Кино и кабак для них слишком просты! Что же вы там хорошего видели? Как целуются или как женятся?

В другой раз они оба пошли в городской сад, осмотрели живописные пруды, полюбовались красиво подстриженными кустарниками и цветочными клумбами. Там было так мирно и тихо. Люди гуляли или сидели, наслаждаясь отдыхом. Когда об этой прогулке друзей узнали на «Эрике», в кубрике целыми днями не смолкали насмешки.

Зоммер купил у бродячего торговца серию порнографических открыток и теперь показывал их всем, восхищаясь и уверяя, что он сделал очень выгодную покупку. Остальные с ним соглашались...

Гинтер еще в Риге приобрел томик самых пикантных новелл из «Декамерона» Боккаччо, под названием «Шалости Эроса». Эти новеллы читались вслух. Всем они уже были давно известны, тем не менее на досуге

всегда кто-нибудь, чаще всего Зоммер и Андерсон, листал книжку, отыскивая наиболее «интересные» страницы.

— Вот такую книжку стоит купить, — говорил Андерсон. — Если бы знать, где можно достать что-нибудь в этом роде, я бы не пожалел пятидесяти франков.

* * *

Однажды утром портовые рабочие не вышли на работу. По набережной расхаживали группами люди, издали наблюдая за судами. Больше чем обычно было полицейских.

В порту вспыхнула забастовка.

Рабочие требовали повышения заработной платы. Им платили двадцать пять франков в день — рабочие просили тридцать. Предприниматели отказались прибавить хотя бы франк. На всех судах прекратили работу. Два дня в порту царила полная тишина, и не был погружен ни один пакет груза.

Убедившись, что рабочие приготовились к длительной борьбе, предприниматели прибегли к старинному оружию всех капиталистов земного шара — вербовке штрейкбрехеров.

На третий день капитан созвал утром всех людей к себе в салон.

— Видите ли, господа (он так и сказал: господа), сейчас в порту забастовка. Согласно условиям договора, который вы все подписали, вы обязаны теперь сами взяться за погрузку. Итак, предлагаю приступить к работе. Я думаю, что внизу, у машин, все в порядке. Так ведь, чиф?

Чиф ни за что не осмелился бы произнести «нет».

— Значит, кочегарам и трюмным там нечего делать. Какие работы у нас начаты на палубе, штурман?

— Вчера приступили к окраске квартера и наружной обшивки.

— Эта работа может подождать. Прекратите ее. Матросы пусть спускаются в трюм и принимают груз.

Капитан окинул взглядом собравшихся. Люди нерешительно переминались и перешептывались между собой.

— Что думает по этому поводу Блав? — дипломатично осведомился капитан.

— Не знаю, что тут и думать, — уклончиво ответил Блав. — Посмотрим, что другие скажут.

— Грязное дело, — бормотал Андерсон. — Отнимать у людей кусок хлеба...

Теперь осмелели и другие:

— Мы нанимались на судовую работу — рулевыми и кочегарами, а не грузчиками.

— У лебедки бы еще можно постоять... — заметил кто-то из матросов.

Волдис протиснулся вперед.

— Делайте, как хотите, а я штрейкбрехером не буду. Не для того приехал я во Францию, чтобы отнимать у французского рабочего кусок хлеба.

— Но я имею право вас заставить! — крикнул капитан, побагровев. — Вы подписали договор.

— Увольте меня, выплатите сколько полагается и оставьте в покое. За семьдесят латов в месяц я не стану негодяем. А вы! — Волдис повернулся к остальным. — Что бы вы сказали, если бы мы, моряки, бастовали, а посторонние люди заняли наши места, оставили нас без работы и вынудили проиграть борьбу? Как бы вы тогда себя почувствовали, что бы подумали? То же самое почувствуют и подумают французские портовые рабочие, если мы спустимся в трюм и начнем работать вместо них. Я отказываюсь от этого.

— Я тоже не пойду! — крикнул Зван.

— Ну, вам-то некогда! — иронически заметил капитан. — Времени на выпивку не останется...

— Кажется, я тоже не пойду... — нерешительно пробормотал Андерсон.

— Обождите! — прервал капитан. — Если пойдете на погрузку, вам будут платить двадцать пять франков в день. Это сверх постоянного заработка, лишний доход. Деньги будут выплачивать каждый вечер. Подумайте — двадцать пять франков в день! Приличные чаевые! Заработная плата сохранится, у вас к расчету накопится много денег.

Этот довод кое-кого смутил.

— Идите и посоветуйтесь между собой, а в восемь будьте готовы к работе. Сознайтесь, не все ли равно —

красить пароход или катать кругляки? Да к тому же еще сверх всего двадцать пять франков...

— Иудины сребреники... — прошептал кто-то в толпе. Но напрасно капитан пытался разглядеть говорившего: товарищи загородили его.

В кубриках устроили короткое совещание, после которого все кочегары спустились в машинное отделение к топкам, а матросы — в трюм. Отпетые пьяницы и забулдыги, кочегары с возмущением отказались стать предателями, а честные, благонравные, послушные парни — матросы — не устояли перед соблазном получить двадцать пять франков в день. Возможно, это случилось потому, что кочегаров закалили труд и жизнь, тогда как матросы были по большей части молодые ребята из деревень и рыбацких поселков. Многие из них учились в мореходной школе и старались сохранить хорошие отношения с начальством, другие попали на корабль по рекомендациям, как родственники и знакомые капитана или штурманов. Иной кулацкий сынок шел в штрейкбрехеры по убеждению.

Предатели приступили к работе. Штурманы стояли у лебедки, механики у стропов. На берегу для подачи грузов к лебедке были наняты разные бродяги, белогвардейцы-эмигранты и прочий спившийся и опустившийся сброд.

По набережной порта прогуливался полицейский патруль, а в отдалении небольшими группами стояли бастующие рабочие, наблюдая за каждым штрейкбрехером.

Форман, высохший француз в белых брюках, бегал по палубе, распоряжался, командовал и поучал всех, осмеливаясь даже изредка покрикивать.

Внизу некому было распоряжаться кочегарами, и они слонялись по палубе и высмеивали своих жадных на деньги начальников. Чиф Рундзинь, весь в поту, перегнулся через борт, протягивая крюк и давая распоряжения второму штурману, стоявшему на лебедке.

Работа не ладилась, так как большинство были невеждами в этом деле и ни у кого не было нужного орудия — багра. Матросы голыми руками перекатывали толстые кругляки и, когда следовало их подтащить, до крови обламывали ногти, а кругляки не двигались.

Сделанная ими работа не стоила и двадцати пяти франков. Контора стивидора терпела явный убыток.

Радист тоже не соблазнился франками.

— Пусть они подавятся своими деньгами! — сказал он в присутствии капитана. — Не буду я из-за каких-то жалких грошей перегрызать людям горло!

Вечером матросы хвастались полученными деньгами.

— Ну что, сморчки! — говорили они кочегарам. — Полюбуйтесь на парней, которые заработали хорошие деньги.

— Смотрите, как бы вы еще чего-нибудь не заработали! — отвечали кочегары.

Их предположение оправдалось в тот же вечер: два матроса вернулись из города беспощадно избитыми.

После этого матросы не решались сходить на берег. А когда кочегары вечером уходили в город, Андерсон приоткрывал дверь в матросский кубрик:

— Ну, если только мы из-за вас пострадаем, — берегитесь, вы, предатели!

Зван повел всех в «Кардиффский бар», где был джаз и куда приходили женщины.

Все кабачки были полны портовыми рабочими, которые не пили, а лишь следили за входящими посетителями. Они оказались удивительно хорошо информированными и никогда не ошибались в выборе объекта нападения.

Кочегары могли ходить всюду совершенно свободно, зато матросы «Эрики» обрекли себя на заключение...

Нет в мире такого порта, где бы не было своих бичкомеров — этих скитающихся без работы моряков, разного рода неудачников и просто бродяг, которым по душе безделье.

Первые дни на «Эрике» не было видно этих типов. Разве только иногда во время обеда кто-нибудь из них дежурил у дверей камбуза в ожидании подачки. Но теперь, когда забастовка затянулась и прекратились всякие мелкие случайные работы, многие, кто жил этим случайным заработком, остались без куска хлеба.

Первым на «Эрике» показался молодой швед. Это был совсем жалкий человек. Кутаясь от холода в тонкий пиджак, он однажды во время обеда пробрался в коридор и смиренно ждал, когда моряки понесут выбрасывать остатки еды. Зван позвал его в кубрик:

— Садись за стол и ешь, у нас этого добра достаточно.

Швед не заставил себя просить. Он обладал завидным аппетитом: ни один кусок мяса не казался ему слишком жирным или слишком большим. Поев, он предложил вымыть посуду и убрать кубрик, на что трюмные охотно согласились.

Вечером швед явился опять. Теперь он уже сам приоткрыл дверь и застенчиво спросил:

— Можно войти?

Он помогал ужинать и освобождал трюмных от мытья посуды. Ему разрешили переночевать. Он рассказал кое-что о себе. Оказалось, что он тоже моряк, долго жил на берегу в бельгийских портах, а сейчас уже года два болтается по городам Южной Франции.

— Прошлое лето я провел на Ривьере. Месяц проработал в Марсельском порту, потом пешком по морскому берегу дошел до Монако. Был в Тулоне, Канне, Ницце и во всех уголках побережья.

У него сохранились целые серии открыток с видами всех мест, где он побывал. Познакомившись поближе, он разоткровенничался и стал рассказывать о своих интимных похождениях, что привлекало к нему много слушателей.

— Вот где жизнь, так это здесь, во Франции! — хвастался он. — Прошлой осенью я снимал комнату у одной супружеской четы. Жена не дала мне покоя уже на второй день, и скоро я был обеспечен на славу, ни в чем не нуждался, нужно было только иногда проявить внимание к хозяйке. Муж знал об этом, но совсем не ревновал и не сердился: у него самого на противоположной стороне улицы была парикмахерша, куда он ходил каждый вечер, оставаясь иногда до утра. Жена в свою очередь делала вид, что ей ничего не известно. «Пусть повеселится, для того и живем на свете!» — говорила она.

Вскоре в обеденное время в коридоре «Эрики» дожидалось по пяти-шести продрогших, голодных и оборванных горемык.

Зван начал заказывать больше хлеба и раздавал его целыми караваями.

— Пусть люди едят, капитан заплатит! — говорил он.

Больше всех бичкомеры уважали кока; они смиренно

приветствовали его по утрам, а во время обеда подкарауливали у дверей камбуза. Булочники и мясники были в восторге от такого обилия заказов, кочегары радовались бесплатной выпивке, бичкомеры и неудачники — любезному повару и артельщику, — а где-то в конторах на наколках росли кучки счетов. Но веревочка пока еще вилась, и конца не было видно, а нервы у Звана славились своей крепостью.

Забастовка продолжалась. Пароход не был еще нагружен и наполовину. Приближалось время карнавала.

* * *

В одно воскресное утро Алкснис вызвал из кубрика Волдиса и Ирбе.

— Мне кажется, представляется возможность удрать, — сообщил он.

— Ты что-нибудь узнал? — спросил Волдис.

— Да, вчера слышал разговор двух бичкомеров. Здесь, в порту Бордо, стоит на ремонте какая-то английская барка. Команда уволена, и после ремонта на нее будут вербовать матросов.

— Куда эта барка идет? — осведомился Волдис.

— Говорят, в Австралию.

— Черт побери, вот было бы здорово! — восторгался Ирбе.

— Об этом надо подумать, — заметил Волдис.

— Раздумывать сейчас нечего, — продолжал радист. — Лучше сходим туда и поговорим с капитаном. Посмотрим, что он предложит.

— А станет он с нами говорить? — высказал опасение Ирбе.

— Не станет — не надо. Мы ничего не теряем. Мне все равно нет смысла возвращаться в Ригу — расчет обеспечен, с ручательством.

— Почему не сходить? — сказал Волдис. — Может, посчастливится.

Они оделись и, к удивлению всех, в непривычно ранний час пошли на берег.

Английская барка стояла у берега Гаронны и обновляла такелаж. Это было красивое моторное судно с четырьмя мачтами и железным корпусом. Сейчас на барке

находились только капитан и пожилой матрос, выполнявший одновременно обязанности вахтенного, кока и стюарда. Он встретил вошедших у трапа.

— Доброе утро, сэр! — поздоровался Алкснис и сразу завоевал расположение старого морского волка; «сэр» даже вынул трубку изо рта.

— Капитан на корабле? — продолжал радист.

— О, да. Только что проснулся.

— Нельзя ли с ним поговорить?

— Вы насчет работы?

— Правильно, друг...

— Я пойду узнаю.

— Пожалуйста, сэр!

«Сэр» ушел, стуча деревянными башмаками. Три искателя счастья стояли на палубе и ждали его возвращения.

— Не попало бы нам, — заикнулся Ирбе.

— За что? — возразил Волдис. — Мы же не воруем.

— А кто их знает. Англичане заносчивы.

Опасения Ирбе оказались напрасными. Хотя капитан барки был багров, как солнце на закате, обладал сизым носом горького пьяницы и тучным телом, а разговаривая, рычал, как потревоженный в берлоге медведь, — он ответил на приветствие и охотно вступил в разговор.

— Вы, наверно, ищете работу? — спросил он.

— Совершенно верно, господин капитан! — ответил радист.

— А захотите вы в такой далекий рейс? Мы идем в Аделаиду.

— Это ничего. Чем дальше — тем лучше.

— Договор придется подписать на два года.

— Это можно.

— Сейчас я еще не могу вас принять. Ремонт будет продолжаться, вероятно, месяца два.

— А если мы обождем, пока закончат ремонт, вы примете нас?

— Почему же нет? Для меня все люди одинаковы, только бы умели и хотели работать. Вы ведь моряки?

— Конечно, господин капитан!

— Скандинавы? Мне так кажется, судя по внешности и акценту.

— Нет, мы из Риги, латыши.

— О, латыши! У меня служили латыши. Хорошие парни. Латышей я беру охотно. Вы живете на берегу?

— Нет, мы еще на судне... — радист смущенно умолк, так как сказал то, что не стоило говорить, но было уже поздно. Чтобы исправить положение, он добавил: — Мы сейчас служим на пароходе, хотим поступать в мореходное училище, а для этого нужна практика на парусном судне.

— Ах, вот что, морская практика? Ну, понятно, кто не ходил на паруснике, тот не может еще считаться моряком. Хорошо, заходите попозже, я буду иметь вас в виду.

Друзья уже были на берегу, когда капитан крикнул им вслед:

— Вы, конечно, члены союза моряков?

Приятели переглянулись, и Алкснис соврал еще раз:

— Безусловно, господин капитан.

— Олрайт.

За ближайшим углом они остановились, чтобы обсудить создавшееся положение.

— Ничего здесь не выйдет, — сказал Ирбе. — «Эрика», может быть, через неделю выйдет в море, и оставаться без крова, пока «англичанин» закончит ремонт, рискованно. В конце концов еще может прибыть команда из Англии.

— Недолго осталось ждать, какой-нибудь месяц! — рассуждал Алкснис. — Заберем свой заработок до последнего цента. Жизнь здесь недорогая. Попридержим деньги, тогда их хватит надолго. Мне причитается около семисот франков.

Волдиса тоже взяло сомнение. Он-то знал, как Алкснис «придерживает» деньги: не пройдет и двух недель, как все будет прожито, и тогда... окалачиваться у пароходов, выпрашивая кусок хлеба. Не на всех судах такие щедрые хозяева, как Зван.

— Да у нас и профсоюзных книжек нет, — сказал он. — Без них нас не примут, нечего и думать.

— Да, союз... — Алкснис немного сник. — Надо узнать о порядке вступления в союз. Может быть, это не так уж сложно.

— Вот это дело, — согласился Волдис. — Разузнаем все и тогда начнем действовать.

— А деньги надо постепенно забирать, чтоб не бросилось в глаза, — сказал Ирбе. — Если этот номер и не пройдет, деньги пригодятся на другое.

Чтобы не томиться весь долгий день на корабле, приятели решили выехать куда-нибудь за город.

Они пошли по набережной к центру.

* * *

В городе всюду пахло вином. Почти в каждом доме был винный погреб, где вино продавали прямо из бочек; набережная порта, все площадки и склады были загромождены большими бочками с вином; все стоявшие здесь суда загружались вином. Вино составляло богатство этой страны, его развозили по свету и маленькие каботажные суда и трехтрубные трансатлантические гиганты.

Узкие улицы, широкие площади, колонны, красивые памятники... На одной из площадей играли в поло. Коренастые мужчины, потные, забрызганные грязью, верхом на умных лошадях, с криками гоняли мяч, и тысячи людей следили за каждым их движением. Когда кучка нападающих приближалась к тем или другим воротам, толпа гоготала, размахивала руками, ликовала и время от времени кого-нибудь из коренастых мужчин награждала аплодисментами. После коротких перерывов наездники меняли взмыленных, загнанных лошадей на свежих, загоняли и их, били хлыстами до тех пор, пока они не становились на дыбы, хрипя и роняя пену.

Друзья наблюдали некоторое время за игрой, но не могли понять, что именно здесь происходит: чему аплодировали и что освистывали. Замученные животные проносились мимо галопом, забрасывая скачущего сзади всадника летящей из-под копыт грязью. С наездников катился пот, хотя было несколько градусов мороза. Слышался стук клюшек, и грязный мяч катался под ногами лошадей. На возвышении сидели несколько почтенного вида судей и что-то записывали в блокноты. Здесь, вероятно, происходило нечто чрезвычайно важное.

Скоро друзьям наскучило стоять и смотреть на незнакомую игру, и они направились дальше по набережной. Перейдя через мост на противоположный берег Гаронны, они сели в трамвай и доехали до конечной остановки. Вместе с ними там сошло много народу.

Кругом высились утопающие в садах холмы. Несколько часов гуляли друзья по дороге, прошли через какой-то парк, в котором росли невысокие пальмы и еще

какие-то незнакомые растения. Везде виднелись виноградники, склоны гор поросли кустарником. В садах стояли уютные домики, по краям дороги тянулись довольно высокие каменные ограды, утыканные сверху осколками стекла, горлышками разбитых бутылок и острыми черепками.

На пустынной дороге не было видно ни одного человека. Устав от подъема в гору, друзья остановились на одной из вершин, с которой открывался вид на раскинувшийся внизу город и Гаронну. Это был пейзаж, насыщенный зелеными красками и солнечным светом. Город кутался в туманную дымку, а широкая река, извиваясь гигантскими петлями, текла к морю. Вверх против течения поднимался черный, грязный пароход. Серебристые излучины Гаронны скрывались за холмами, чтобы опять блеснуть вдали в окаймлении зеленых бархатных берегов. В этой обширной панораме было что-то грустное и вместе с тем прекрасное.

«Что только не придет иной раз в голову... — думал Волдис, глядя на открывавшийся перед ним зеленый простор. — Человек смотрит и не видит ничего грустного и дурного, но сердце его вдруг, неизвестно почему, начинает ныть. Хочется везде побывать, все испытать и все охватить, но когда подумаешь, насколько неосуществимо такое желание и что никогда ты не сможешь объехать и осмотреть весь свет, тогда появляется эта грусть, и она не дает спать по ночам. Человек чувствует себя как птица, посаженная в клетку. Напрасно бьется она усталыми крыльями о стенки своей клетки».

Волдису уже давно была знакома эта тоска по далеким странам. Как неразумна и все же прекрасна была она!

Затем они свернули вниз, к трамваю. Там у берега стояло на приколе одинокое старое судно, заброшенное, предоставленное в распоряжение крыс и ржавчины. На некотором расстоянии — второе, побольше и погрязнее. Эти суда, избороздившие в свое время океанские просторы, были приведены сюда, как на кладбище, и повернуты носовой частью к морю, по которому им больше не суждено ходить. Волдису они казались гордыми птицами, привыкшими к необъятным просторам, альбатросами или орлами, которым приходится теперь сидеть неподвижно на привязи, в то время как их свободные



собратья летят мимо, пробуждая в остающихся тоску по свободному полету.

День уже клонился к вечеру, когда они возвратились в город.

Смеркалось. Зажглось электричество, ярко горели огни витрин. Навстречу шли люди — усатые мужчины и безусые юноши, женщины...

На одной площади они увидели карусели, балаганы и услышали музыку. По улицам расхаживали люди в маскарадных костюмах и масках: арлекины, испанские гранды, придворные, монахи. Они держались вызывающе, заговаривая с незнакомыми людьми, громко хохотали и не боялись полицейских...

Друзья зашли в один из балаганов. Там показывали кинжалы, отмычки, кастеты апашей. Здесь были кастеты с острыми шипами над сгибами пальцев, — ими можно было в один прием распороть щеку, вырвать глаза, размозжить нос, губы. Один человек, вооруженный этим ужасным орудием, мог справиться с толпой, — больше одного удара ни один смертный не выдержал бы.

На ярко иллюминированных лодках катался народ. Люди весело болтали, стремились вкусить от всех удовольствий и развлечений.

Обойдя балаганы, приятели опять оказались на набережной порта. Стало совсем темно. Над рекой то и дело взвивались ракеты, то тут то там потрескивали петарды. В кафе-ресторане повизгивали скрипки и давились саксофоны. В эту звенящую ночь ветер разносил по улицам запах вина.

Приятели зашли в ресторан и заказали кофе с коньяком. Барабанщик джаза ударял в медные тарелки, свистел соловьем и квакал лягушкой. Иногда ему даже удавалось рассмешить публику, тогда раздавались аплодисменты и музыкантам подносили вино.

В ресторане стоял многоголосый шум. Женщины... опять они. Дешевые, доступные, они призывно улыбались...

* * *

Чтобы не измять и не запылить свой новый костюм, Волдис хранил его у радиста.

Однажды вечером Алкснис пригласил Волдиса к себе в каюту.

— Тебе придется взять свой костюм, — сказал он тихо.

— А что?

— Я попрошу тебя и Ирбе помочь мне немного.

Волдис вопросительно взглянул на Алксниса.

У того уже были уложены вещи в два больших чемодана. В шкафу, на постели и в бельевых ящиках под ней все было перевернуто вверх дном.

— Что это значит? — спросил Волдис.

— Сегодня вечером покидаю «Эрику»... Вас обоих я все равно не дождусь, а терпеть общество этих заносчивых типов я больше не желаю.

— Куда ты направляешься?

— В Марсель. Там можно устроиться на большие лайнеры, идущие в Южную Америку, Китай и другие страны. Я уже осведомлялся у местных моряков.

— Как же ты уедешь без паспорта?

— Во Франции на этот счет не очень строго. Здесь полиция выдает вид на жительство, по которому можно жить без паспорта хоть сто лет. А потом достану у консула заграничный паспорт, у меня есть документы, удостоверяющие личность.

Волдис отнес костюм в свой кубрик и вернулся к Алкснису. Он и Ирбе взяли по чемодану и, выждав удобный момент, когда на палубе никого не было, сошли на берег. В одном из баров они дождались Алксниса, который, уходя, заботливо запер каюту. Друзья выпили немного на прощанье, потом взяли такси и по улицам, где шумно веселилась карнавальная толпа, поехали на вокзал. Времени у них было достаточно, поезд отходил только через час.

До последней минуты друзья оставались вместе, заранее радуясь будущим приключениям.

— Мы не успокоимся, пока не уедем за океан! — заверяли они друг друга при расставании. Наконец Алкснис уехал, а Волдис и Ирбе сели в трамвай, идущий в Бассейн-Док.

На другой день первый штурман, смеясь, говорил чифу:

— Очевидно, молниеносный Фриц* опять увлекся какой-нибудь юбкой.

— А может быть, сидит в кутузке, — кисло усмехнулся чиф.

— Да, от него и этого можно ожидать...

Когда и на третий день Алкснис не появился в кают-компании, офицеры начали беспокоиться.

— Не сказать ли капитану? Может быть, с ним что-нибудь случилось?

Дверь в каюту Алксниса была закрыта на обыкновенный и, кроме того, на французский замок.

— Явится! — сказал второй механик. — Он только что получил от капитана все свои деньги, надо же их пропить.

Стали расспрашивать кочегаров:

— Вы с ним чаще встречаетесь, не попадался ли он вам на берегу? Где он там застрял?

Кочегары ничего не знали об Алкснисе.

Выждали еще один день, потом первый штурман сообщил капитану. Капитан сразу же велел позвать дункемана с отмычками. Каюту телеграфиста открыли и увидели знакомый уже нам хаос. На столе лежала записка:

Господину капитану.

Вы мне грозили расчетом по возвращении в Ригу. Я понимаю, насколько неудобно вам будет привести в исполнение свою угрозу. Чтобы избавить вас от этих затруднений, а также потому, что я не желаю получать от вас такой пинок в известное место, освобождаю вверенное вам судно от своего нежелательного присутствия. Не трудитесь меня разыскивать. План мой тщательно обдуман.

Алкснис.

P. S. Между прочим, вы — большой осел.

У капитана вздулись жилы на лбу и захватило дыхание.

— Вот тип! — процедил он сквозь зубы. Все сочувственно опустили головы.

* * *

Забастовка портовых рабочих продолжалась целый месяц. Гавань все больше пустела. Пароходы уже не прибывали сюда за грузом; те, которые находились

в порту к началу забастовки, кое-как погрузились при помощи несознательных моряков и всякого околачивающегося в порту сброда. В конце концов рабочие прекратили забастовку, не добившись никаких результатов.

Но это было непродолжительное отступление. Дух времени нельзя заглушить никакими средствами — он подобен карбиду, который разгорается тем ярче, чем больше поливают его водой.

Сразу же после окончания забастовки весь сброд должен был потерять работу. На пароходы вернулись старые, организованные рабочие. Возобновился прежний напряженный труд, и пароходы один за другим освобождались из плена.

К этому времени Блав кончил плетение мата и однажды вечером торжественно и гордо, предварительно умывшись, отнес свое произведение в салон. Капитан выразил признательность за тщательно выполненную работу, выдал ему сорок франков и заодно выплатил весь накопившийся заработок, так как Блав решил вернуть себе человеческий вид. Его сбережения составляли что-то около шестисот франков. За это время он занял у Волдиса всего только тридцать франков, а приступы жажды удовлетворял, пользуясь щедростью Звана.

Наутро Блав взял официально увольнение на день, и Волдис пошел с ним в город. Закупки продолжались недолго, так как Блаву не терпелось скорее уточнить цифру чистого остатка.

Синий костюм стоил двести пятьдесят франков, ботинки, сорочка, шляпа и разная галантерейная мелочь — около двухсот. Вернув долг Волдису, Блав убедился, что в кошельке еще осталось почти полтораста франков. Он тут же надел новый костюм, побрился и привел в порядок волосы у парикмахера, затем спешно направился в фотографию.

— Надо сняться и послать по карточке всем родственникам, чтобы увидели, как я разбогател, — пояснил он Волдису. — Потом ведь всякое может случиться.

Спешка с фотографированием оказалась не лишней. Как только было куплено все необходимое, Блав расстался с Волдисом. На пароход он явился около полуночи, громко горланя, и ни за что ни про что обругал вахтенного матроса. Шляпы на нем уже не было, но

к этому все привыкли и никто не удивлялся... Только Андерсон не преминул заметить:

— И к чему только тебе эти шляпы? Ведь все равно теряешь!

Фотографии Блав немедленно разослал матери, сестрам, братьям и знакомым.

«Я сейчас живу хорошо. Кое-чем обзавелся», — так писал он всем. Это было почти похоже на правду...

Но вскоре после этого пришел конец великолепию Блава. Возвращаясь как-то вечером из кабачка, он принял в темноте дверь котельной за дверь своего кубрика, вошел и улегся на котел. Наутро новый костюм и сорочка утратили свой естественный вид: извалявшись в золе, копоти и саже, Блав сделался пепельно-серым.

Весь день он ни с кем не разговаривал, и все воздерживались от насмешек над ним, боясь рассердить огорченного товарища. С тяжелым сердцем притащил Блав в кубрик два ведра воды и, чуть не плача, намочил красивый костюм в теплой воде. Намочив, он принялся стирать его с мылом, потом расстелил на люке и стал тереть металлической щеткой, после чего повесил для просушки на мачту.

Печальный вид имел теперь костюм: материя полиняла, села, подкладка отвисла складками и вылезла наружу из рукавов и из-под пол. Тряпка — и больше ничего. Но Блав был не из тех людей, которые долго предаются печали: кое-как отутюжив испорченный костюм, он успокоился и стал играть на губной гармошке. Фотографии были на пути в Латвию, и родственники ведь не узнают о случившемся.

* * *

Пароход был готов к отплытию. В последний день «пикапы» поставщиков продуктов не успевали сменять друг друга. Продукты были заказаны на десять дней вперед. Корзины с хлебом и овощами, мешки и пакеты убирали в кладовую, в холодильники или подвешивали на мачту.

Звана не было видно весь день. Сделав необходимые заказы, он продолжал оставаться на берегу, а все припасы принимал и убирал кок. Три главных поставщика — булочник, мясник и еще какой-то шипшанд-

лер — не уезжали. Когда на пароход явился капитан, булочник первым проскользнул к нему в салон.

— Господин капитан, разрешите вручить вам счета.

Капитан резко повернулся к нему.

— Какие счета? — сурово спросил он.

— Пожалуйста, вот они... — угодливо улыбнулся француз; да и стоило: этот пароход был солидным потребителем — пачку счетов еле можно было ухватить одной рукой.

Капитан просмотрел документы, понял все, но не растерялся; иронически скривив губы, он покачал головой.

— Вы хороший торговец? — усмехаясь, спросил он.

— Я этим делом занимаюсь уже двадцать лет!

— Сильно сомневаюсь в этом.

— Почему? Разве я плохо обслуживаю своих заказчиков?

— Дело не в этом. Вы не умеете выбирать себе настоящих клиентов. Вы не знаете, какому клиенту можно доверять и какому нельзя.

Пожилой коммерсант начал усиленно сморкаться, чтобы скрыть смущение.

— Я вас не совсем понимаю, господин капитан.

Капитан протянул ему газету и указал в ней обведенный красным карандашом текст. Бросив взгляд на указанное место, булочник почувствовал, как вся кровь отхлынула от его щек. Потный и бледный, смотрел он на газетный листок, хватаясь временами за сердце, но он не страдал пороком сердца и перенес этот удар если не мужественно, то во всяком случае с честью.

— И вы не собираетесь платить, господин капитан? — спросил он робко.

— Я этого и не должен делать. Здесь же напечатано, что я за долги своей команды не несу никакой ответственности. Что вам еще нужно? Впредь постарайтесь быть осторожнее или по крайней мере своевременно говорите с капитаном обслуживаемого вами парохода.

— Но хоть часть-то вы оплатите, господин капитан?

— Не имею ни малейшего намерения...

Ожидавшие у дверей мясник и шипшандлер не могли взять в толк, почему у их коллеги такой растерянный вид, когда тот, причитая и хватаясь за голову, промчался мимо них из салона. В салон направился заметно оробевший мясник. Не прошло и пяти минут, как вышел

и он, привлекая всеобщее внимание чудовищной бранью, которая сопровождалась угрожающими жестами, сверкающими взглядами и размахиванием кулаками. Он не причитал, но проклинал все на свете, больше всего обвиняя самого себя. К нему присоединился булочник.

И вот, к великому удовольствию собравшихся, раздался яростный дуэт:

— Такая непростительная наивность! Такой бессовестный обман!

Шипшандлера силой выставили за дверь. Ожесточенно брыкаясь, он старался ухватиться за дверной косяк, упирался в стенки и силой пытался ворваться в салон, — но стюард оказался сильнее. Тогда несчастное трио покинуло пароход и уселось в ожидании на берегу. Плохо пришлось бы Звану, если бы он теперь появился... Они долго и терпеливо ждали.

На пароход поднялся лоцман. Буксир отдал концы. Подняли сходни.

Зван не появлялся...

Пароход отвалил от пристани. Незадачливые торговцы сели в свои «пикапы» и ринулись к шлюзам, через которые пароход должен был войти в Гаронну. Но в шлюзах пароход мог задержаться лишь несколько минут, так как за «Эрикой» следовали другие пароходы, уходившие в этот день в море.

Зван не пришел...

Так они и покинули порт, провожаемые причитаниями, проклятиями и благословениями, — ведь многие получали приют и пищу на «Эрике». И кто знает, — возможно, благодарность этих людей была сильнее, чем вопли отчаявшихся спекулянтов.

На пароходе осмотрели все уголки, в надежде найти Звана, но его на борту не оказалось. Правда, нашли двух немцев, дезертировавших из иностранного легиона: они спрятались в углу бункера, чтобы добраться до Англии. Поскольку никто из начальства их не видел, им разрешили остаться.

— Витол, вам придется стать кочегаром на место Звана! — заявил чиф Волдису.

— Но Гинтер плавал дольше меня.

— Что толку, если он все еще страдает морской болезнью.

В этот день Волдис впервые спустился в котельное отделение как кочегар. Он уже шагнул ступенькой выше! Оставалась еще одна ступень до вершины карьеры — должности дункемана. Это — предел.

Трюмным на место Волдиса назначили младшего матроса.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

От Бордо до Ньюпорта шли в благоприятных условиях: Бискайский залив был тих, как озеро. Сильное попутное морское течение помогало движению парохода, и «Эрика» легко дошла до Ньюпорта в три дня. Здесь пришлось простоять ночь на рейде, так как шлюзоваться было поздно.

Пять дней провели в Ньюпорте, небольшом городке у Бристольского залива, где суда загружались углем и уходили в ближние и дальние рейсы. Затем переход в Кардифф и два дня под погрузкой. Из Кардиффа «Эрика» направилась в Испанию, в порту Бильбао сдала груз и пошла в Кадис, где взяла новый груз — железную руду.

В обоих испанских портах латышским морякам не позволили сойти на берег. Полицейские не спускали с «Эрики» глаз ни днем ни ночью. Почему? По очень простой причине: испанские чиновники изучали географию до империалистической войны и были твердо убеждены, что Рига — русский город. Они знали, что в России была революция и установлена Советская власть, что там живут и работают опасные для капиталистов люди — коммунисты. В Испании господствовал зловещий режим Примо де Ривера*, воздух был насыщен духом тирании, и латышам на всякий случай не разрешили вступить на землю Сервантеса и Лопе де Вега.

Страна, которую покинули лучшие ее сыны, страна, где деспотизм, спекулируя на покрытых мхом древности старинных «культурных» традициях, в отчаянии пытался задержать неотвратимый исторический процесс!

Побывав в Испании, Волдис уехал, не увидев ее. Но он не унывал по этому поводу, потому что порт, куда теперь направлялась «Эрика», был Антверпен — город мечты молодых моряков, ворота в мир!

Стоя у топок вместе с Ирбе, Волдис всю дорогу только об этом и говорил. Такой случай они не упустят! Денег накоплено достаточно, да и работать научились. Несколько первых вахт у топок показались Волдису тяжелыми, пока он не научился чистить топки и нагонять пар. Теперь он был уверен, что сумеет работать на любом судне. Зачем убиваться за восемьдесят латов в месяц, когда за ту же самую работу на английских судах платят девять фунтов, на голландских пароходах — сто гульденов, на датских — сто восемьдесят крон? Зачем он должен жертвовать собой ради какого-то рижского пароходства, которое опять, наверное, намеревается купить какую-нибудь старую ржавую посудину? Гниет она в одном из английских доков на приколе, а когда дешевый труд рабов скопит капиталы — латышский предприниматель купит ее и хорошо наживется. И чем больше он будет наживаться, тем больше его станут уважать, в конце концов наградят орденом Трех звезд. Славный господин весом в сто двадцать килограммов, заставляющий своих людей работать на пароходе лишние часы, но забывающий платить за это! Пусть он катится к черту!..

Волдис с нетерпением ждал, когда покажутся берега Бельгии.

За две недели до пасхи они прибыли в Антверпен. И если теперь многие моряки не могли дождаться, когда закончатся таможенные формальности и можно будет сойти на берег, то причиной этого нетерпения были не женщины и не вино. Капитан и вообразить не мог, какой сюрприз готовили ему люди, которых он всегда привык считать немного простоватыми.

Блав не раз бывал в Антверпене и познакомился со многими содержателями кабачков и бордингмастерами; как-то он лежал здесь с переломом руки три месяца в больнице, после чего проработал несколько месяцев слугой у одного бордингмастера. Вот почему он в первый же вечер, когда ни у кого еще не было денег, так бойко сошел на берег и вернулся на пароход лишь на следующий день к обеду — опять, конечно, без шапки, а заодно и без своего испорченного костюма.

Он возбужденно рассказывал:

— Если бы вы только знали, как меня встретили у Йенсена! «Петер, старина, неужели ты наконец опять

в Антверпене?» — сам бордингмастер Йенсен на глазах у всех обнял меня. «Да, говорю, спустя пять лет забрел-таки в эти края». Спросил, как, мол, дела, где служу, на «англичанине» или «норвежце». «Нет, говорю, теперь у нас, латышей, свои пароходы, не нужно больше ходить на чужих». Тут все расхохотались. Говорят: «Вы, латыши, белые негры, работаете даром». Спросил, не хочу ли я устроиться получше. Ну еще бы! Он может похлопотать. Меня, как старого его знакомого, возьмут на самый лучший английский или бельгийский пароход...

— А как это ты умудрился потерять костюм? — спросил Зоммер.

— Это маленькое приключение. Йенсен подливает мне вина, и я пью, наливает еще, — а я, ведь вы знаете, таких напитков не чураюсь. Но я всегда стеснялся пить на чужой счет, поэтому мне не хотелось, чтобы Йенсен за меня платил. «Йенсен, спрашиваю, нельзя ли здесь где-нибудь продать этот костюм?» Он осматривает его, щупает. «Франков пятьдесят, говорит, можно получить». Я прошу его: нельзя ли обменять на какую-нибудь одежонку? Можно и это, — ему один норвежец оставил свой рабочий костюм в уплату за пансион. Я тут же переодеваюсь в этот костюм и получаю тридцать франков наличными. Ну, тут пошла такая кутерьма... до самой полуночи! Даже не помню, как очутился в постели. Утром Йенсен будит меня и рассказывает, что я был на таком взводе, что только держись. Просил заходить еще...

После этого Блав действительно еще несколько раз ходил к Йенсену. Однажды он взял с собой свой обшарпанный чемодан со всем содержимым — одеялом, простыней, подушкой и разной мелочью.

— Отдам в стирку, — отвечал он любопытным товарищам.

Чемодан он обратно не принес... затем получил все заработанные деньги и однажды вечером отозвал в сторону Волдиса.

— Хочешь задать тягу? — спросил он.

— Ты же знаешь, — ответил Волдис.

— Тогда сейчас самый удобный момент. Йенсен устраивает меня на «норвежце», завтра в полдень выходит в море. Ты никому не говори, сегодня вечером я улизну.

— Ты не можешь познакомить меня с Йенсеном?

— Почему ты мне раньше не сказал? Возможно, устроились бы на один пароход. Пойдем со мной, я с ним поговорю. Только захвати немного денег, чтобы он не счел тебя скрягой.

— Нельзя ли взять с собой Ирбе?

— Если ручаешься, что он не сболтнет...

— Он тоже собирается дать стрекача.

— Тогда позови...

Вечером Волдис познакомился с толстым финном, выдававшим себя за датчанина и из чисто коммерческих соображений назвавшимся датской фамилией — Йенсен. И так как друзья оставили в его заведении пятьдесят франков и выразили желание наведываться сюда почаще, толстый джентльмен, который занимался тем, что содержал пансион для моряков — кормил, поил их и устраивал на суда, — был очень доволен.

Им можно прийти, он позаботится о них. Сейчас, с приближением праздников, вакансий сколько угодно, да еще каких!

Блав не вернулся на пароход. Когда спустя два дня его кинулись искать, он уже пересекал Ла-Манш.

Волдис и Ирбе каждый вечер уходили на берег. Всякий раз они уносили небольшой узелок с вещами, который оставляли у Йенсена. Незаметно, беря понемногу, они получили все заработанные деньги и в предпоследний вечер, перед выходом «Эрики» в море, оставили ее навсегда.

Решающий шаг был сделан. Йенсен встретил их с распростертыми объятиями.

* * *

Бордингхаузы и бордингмастера имеют сейчас далеко не то значение, что в прежнее время, когда у моряков не было своего профессионального союза и они напоминали пеструю, разнородную толпу искателей приключений. Тогда бордингмастера были единственными поставщиками рабочей силы на суда. В бордингхаузах вербовали судовые команды, в них жили, тратя свои скудные сбережения, безработные моряки, туда шли капитаны, когда им нужен был человек, — словом, там совершались всевозможные морские сделки. В то время бордингмастера были значительными людьми.

Теперь, когда в каждой стране существует профессиональный союз, членом которого обязан быть каждый моряк, бордингмастера потеряли свое былое значение: что толку, если они и дружат с капитанами всех европейских пароходов, — поставкой рабочей силы занимается профсоюз. Там заведены карточки, номера, оттуда, почти в порядке очереди, членов союза направляют на пароходы, — и бордингмастера, разумеется, лишь изредка умудряются пристроить кого-нибудь вне очереди.

Есть, правда, капитаны, которые постоянно пользуются услугами бордингмастеров, — всякий закон можно обойти, — поэтому они втихомолку продолжают свои коммерческие сделки; и зачастую молодой паренек, имеющий деньги, при помощи бордингмастера очень быстро устраивается на хороший корабль.

В то время, о котором идет здесь речь, Антверпен и Роттердам были портами, куда стремились попасть моряки всех стран, желающие устроиться на хороший корабль и прилично зарабатывать. Латышские парни сначала плавали на своих ржавых посудинах, обучаясь работе и языкам, а затем давали тягу, чтобы стать настоящими международными морскими волками. Многие поступали, как Волдис и Ирбе, — сбегали с парохода за границей. Большинство тайком пробирались сюда из Риги: каждый пароход, прибывающий из Риги, привозил дюжинами «зайцев». Не все они были моряками — очень многие никогда и не видывали моря, у многих не было ничего, кроме грязных обносков на плечах, тощих карманов и пустых желудков, да к тому же они не знали ни слова по-английски или по-немецки. Они приезжали сюда в поисках счастья, не зная, как приниматься за эти поиски; многих из них арестовывали за бродяжничество, и случалось, что тот самый пароход, на котором они приехали сюда, увозил их обратно в Латвию.

Немногим лучше было положение настоящих моряков, знавших языки и имевших в кармане небольшой оборотный капитал. Они имели возможность остановиться в бордингхаузе и дожидаться поступления на пароход через союз или через посредничество бордингмастера.

* * *

— Вы должны уплатить за четыре недели вперед: фунт в неделю — итого четыре фунта.

Это были первые слова, которыми Йенсен встретил новых пансионеров, — такой у него было порядок. Позже Волдис узнал от соседей по бордингхаузу, что обычно уплачивали только за три недели вперед, в течение которых бордингмастер подыскивает место на судне. Но Йенсен был не из тех, кто отказывается от возможности содрать лишний фунт. Недаром, спекулируя на благоволении скандинавских моряков, этот человек скрыл свою подлинную национальность и стал датчанином.

Приятелям указали маленькую комнатку с двумя кроватями, комодом, шкафом и столиком.

Жизнь в бордингхаузе была довольно шумной, люди приходили и уходили в любое время дня и ночи. В нижнем этаже находилась пивная Йенсена, — там протекала вся здешняя общественная жизнь. Утром, еще полусонные, люди спускались вниз, чтобы выпить стакан вина или кружку пива, вечером пили на сон грядущий. К завтраку редко являлись все, обедали многие тоже или на судах, или у знакомых, так что Йенсену содержание пансиона обходилось весьма дешево.

После ухода «Эрики» в море Волдис и Ирбе пошли в управление порта за документами. Йенсен и знакомые моряки научили их, как нужно отвечать на вопросы: оба заявили, что в тот вечер выпили лишнего и заснули, а пароход в это время ушел. Никто, конечно, им не поверил, но тем не менее составили протокол и выдали паспорта, сданные капитаном перед отъездом в соответствующее учреждение.

Получив документы, они направились в профессиональный союз: опять фунт вступительных, потом еще кое-какая мелочь. Им выдали членские книжечки и номера. Номера были большие, около трехтысячных, но здесь каждый день вербовали несколько команд, и они могли рассчитывать устроиться на судно недели через две.

Каких только судов не было в Антверпене! Великаны лайнеры, многочисленные средиземноморские и южноамериканские пароходы, «недельники», танкеры...

Друзья целыми днями гуляли по старинному фламандскому городу, на улицах которого, казалось, веяло еще

дыханием прошлых веков. Большой современный порт, с подъемными кранами, элеваторами и торговым двором, дисгармонировал с древними постройками и позеленевшими памятниками.

Здесь шлифовали алмазы, покупали пшеницу и мясо, продавали машины. Люди, один другого умнее и воспитаннее, обкрадывали друг друга.

* * *

В каждом порту имеются свои постоянные кадры бичкомеров, но в Антверпене они представляли собой особую, довольно многочисленную прослойку, которая занимается тем, что ходит с корабля на корабль, заводит знакомства с моряками, эксплуатируя их и выкачивая из них деньги.

Все бичкомеры выдают себя за моряков, хотя многие из них никогда и не бывали в открытом море, а другие когда-то, много лет назад, сделали несколько рейсов. Они нигде не работают, ничего не зарабатывают и, однако, всегда сыты и одеты если не по последней моде, то во всяком случае вполне удовлетворительно. Иногда их можно видеть даже изрядно подвыпившими. В профессиональном союзе они не состоят, работы от него не ждут. Квартиры у них нет, но зато на каждом судне, прибывающем в Антверпен, у них имеются знакомые: они ходят к ним в обеденные часы, получают по тарелке супа, а когда моряки выпивают на берегу, они безо всякого приглашения присоединяются к ним. Иногда кое-кому из этих бездельников удается подцепить простофилю с деньгами, помочь пропить их, а при удобном случае «бросить якорь» в чужой карман. В зимнее время им живется труднее, особенно если в порту нет гостеприимных судов, где можно переночевать, — зато летом они совершенно не знают забот.

Живя у Йенсена, Волдис познакомился с молодым шведом Нильсеном. Он несколько недель назад ушел с бельгийского парохода, совершавшего рейсы в Конго, и теперь хотел во что бы то ни стало дождаться английского парохода, так как на бельгийских платили довольно плохо.

Нильсен познакомил Волдиса с обычаями местных бичкомеров:

— Прежде всего, они очень нахальны. Если ты нездешний, бичкомер попросит у тебя, как у старого знакомого, сигарету. Когда ты дашь ему, он попросит взаймы несколько франков — на один, самое большее на два дня. Если по своей мягкотелости ты дашь ему денег, он на другой день выклянчит еще, — и больше ты его не увидишь. Потом при встрече с тобой он отвернется и сделает вид, что не знает тебя. Но если ты через некоторое время опять появишься в Антверпене, он все позабудет и встретит тебя, как старый приятель. Опять сигарета, опять два франка на несколько дней — и нет его!

— Как это полиция позволяет им бродяжничать и надувать людей? — спросил Волдис.

— А что полиция поделает? Ведь они моряки — они ждут вакансии и в любой день могут поступить на работу. Но проходит год за годом, а они все не работают. Прошлым летом одно время на пароходах не хватало моряков. В союзе оказалось только около двухсот номеров, в бордингхаузах пусто. Полиция стала хватать безработных и силой гнала на пароходы. Для бичкомеров настали тяжелые дни: кое-кого из «моряков» схватили и направили на маленькие «недельники» и бельгийские каботажные суденышки. После этого бичкомеры исчезли и перебрались на небольшой островок невдалеке от города. Островок они прозвали антверпенским Лонг-Айлендом. Для бичкомеров здесь был настоящий рай: они загорали на солнце, купались и с нетерпением ожидали, когда в порту соберется побольше безработных. Как только союз смог удовлетворить запросы на рабочую силу, а бордингхаузы заполнились безработными моряками, — они вернулись в порт.

Нильсен устроился матросом. Он посоветовал Волдису тоже искать место матроса.

— Летом у кочегаров каторжная жизнь. На палубе легче.

— Но тогда я должен некоторое время пробыть младшим матросом и обслуживать весь кубрик. С меня хватит этого, лучше я останусь у топок.

— Ерунда! Почему младшим? Тебе незачем рассказывать, что ты не служил на палубе.

— А если я не сумею там работать?

— Там нечего уметь. У лебедки стоять сумеешь?

— Сумею. Но я никогда не держал в руках руля.

— Этому можно научиться за одну вахту. Нужно только не волноваться и следить за тем, в какую сторону пароход больше тянет и как он слушается руля, — вот и все.

Последовав совету Нильсена, Волдис заявил Йенсену, что хочет получить место матроса.

Однажды в бордингхаузе появился новый постоялец. Это был невысокого роста норвежец, только что вернувшийся из Канады. За четыре месяца плаванья на английском пароходе его кошелек заметно разбух. Он прибыл в сопровождении целой свиты: как стаю воронов на падаль, потянуло бичкомеров к деньгам, к легкой наживе, — один нес чемодан норвежца, второй — парусиновый матросский мешок, третий занимал его остроумными разговорами.

Польщенный такой предупредительной встречей, норвежец раздавал налево и направо сигареты, угощая даже незнакомых. Устроившись в отдельной комнатушке и заплатив за три недели вперед, он повел своих провожатых вниз, в пивную, и пригласил выпить по стакану пива и остальных обитателей бордингхауза.

Волдис тоже спустился вниз, в надежде узнать от норвежца что-нибудь об условиях жизни в Канаде. Но маленький Браттен в этот день был способен рассказывать только о своих последних героических похождениях. Так как за угощение платил он, его никто не прерывал, и благодарные бичкомеры, слушая его, восторгались вместе с ним до слез. Убедившись, что делового разговора сегодня не получится, Волдис ушел из пивной. Немного спустя он увидел в окно, что маленький норвежец со своей свитой направился в другой кабак.

Вечером норвежец вернулся в сопровождении двух женщин. Весь следующий день он ходил с ними из одной пивной в другую, щедро угощая их и всех, кто был там в это время.

На третий день он появился в сопровождении лишь одной женщины, да и свита бичкомеров заметно таяла: наиболее дальновидные благоразумно удалились в поисках нового источника веселья и безбедной жизни, тем более что в порт прибыли пароходы из Южной Америки и Египта.

Наконец, однажды он вернулся один, без женщин и друзей, разыскал Йенсена и заявил ему:

— Подыскивай скорее какой-нибудь пароход. Прожился в доску!

За четыре дня — четырехмесячный заработок! Да, он умел жить!

Только теперь Волдису удалось поговорить с ним о Канаде. Без гроша денег, всеми оставленный, Браттен обрадовался вниманию, проявленному Волдисом, и начал пространно рассказывать, — слишком пространно, чтобы всему этому можно было поверить. Но и по той небольшой доле его повествований, которая походила на правду, Волдис понял, что Канада — это страна, откуда легче всего попасть в Соединенные Штаты. Ради одного этого имело смысл при случае поступить на какой-нибудь канадский пароход.

* * *

Это случилось примерно через полторы недели. Йенсен вернулся с доков и поднялся к Волдису и Ирбе. Уже по его сияющему лицу можно было догадаться, что у него на примете что-то хорошее.

— Ну, молодежь! — бодро крикнул он. — Не довольно ли околачиваться на берегу? Пора бы опять покачаться на волнах.

— Вы нашли пароход? — спросил Волдис.

— Да, на этот раз вы угадали. И не какой-нибудь бельгийский «недельник», а настоящий атлантический пароход. Должен вам сказать, что за устройство я беру половину месячного заработка с человека.

— Это ничего, лишь бы пароход был порядочный! — воскликнул Ирбе.

Йенсен начал рассказывать. Это большой английский товарный пароход. Он выходит в море сегодня вечером. Требуются три матроса и плотник.

— Из Англии он пойдет в Буэнос-Айрес. Договор на шесть месяцев. Восемь фунтов в месяц — подумайте! Согласны?

— Конечно.

Затем Йенсен разыскал Нильсена.

— Есть место плотника на «англичанине», — сказал он ему.

— Гм, плотник... Я никогда не плавал плотником, и мне даже не приходилось топора в руках держать. А, впрочем, что там особого уметь — насадить метлу на черенок или вытесать клин для люка!

— Значит, идешь?

— Придется идти.

Браттен был четвертым, явившимся в управление порта в сопровождении Йенсена для подписания договора. Сразу же после подписания договора капитан взял их документы и рассчитался с бордингмастером. Эта операция несколько напоминала торговлю рабами: покупатель — капитан — уплачивал долги купленного товара, то есть за все съеденное и выпитое в кредит. Так как Волдис с Ирбе не успели еще наделать долгов, Йенсен получил с них обещанный полумесячный заработок — четыре фунта с каждого.

Капитан выплатил ему эту сумму, выдал каждому аванс в размере двухнедельного заработка и приказал к четырем часам явиться с вещами на пароход.

Моряки вернулись в бордингхауз, уложили чемоданы, купили мыла и спустились вниз, пропустить по маленькой на дорогу. Весь полученный аванс благополучно перекочевал в карманы бордингмастера.

Йенсен в тот вечер имел все основания быть веселым. Широко улыбаясь, он отдавал приказания персоналу пивной, сам обслуживал отъезжающих и благосклонно выпивал с каждым.

— Если попутный ветер занесет вас когда-нибудь в наши широты, приходите прямо к Йенсену, здесь вы всегда найдете приют. А если у вас есть лишние вещи, которые не хочется тащить с собой в море, можете оставить у меня. За хранение денег не беру.

И действительно, многие моряки имели привычку хранить свои лучшие костюмы у бордингмастеров; отправляясь в жаркие страны, некоторые оставляли здесь свои зимние вещи. Волдис ничего не оставил у Йенсена, так как в голове у него роились всяческие планы.

Браттен втянул его с Ирбе в свою компанию.

— Выпьем как следует в последний раз! — крикнул Нильсен. — Теперь долго не придется понюхать вина.

— Может быть, когда будем на месте? — спросил Волдис.

— Нечего и думать, я этих англичан знаю! Дадут мелочь на покупку мыла и марок, и ты можешь подыхать от жажды — никто не сжалится над тобой.

— Тогда не следует пропивать сейчас аванс, а оставить хоть фунт для Буэнос-Айреса.

— А Йенсен что скажет? — Браттен засмеялся. — Он знает, сколько мы получили аванса, и если не пропьем у него все, разъярится, как бык при виде красной тряпки.

И они пили, чтобы угодить Йенсену. После каждого нового заказа лицо бордингмастера расцветало, как георгин на солнце. Стрелки часов уже давно передвинулись за четыре часа, но никто не собирался уходить.

Тогда с парохода прибежал штурман и начал ходить из дома в дом, собирая рассеявшийся по пивным экипаж.

Почти все полученные авансы были уже пропиты, и Йенсен стал отечески поучать:

— Собирайтесь, ребята, на пароход и поберегите последние шиллинги — пригодятся, — затем каждому любезно пожал руку и помог поднять на спину мешки.

Когда пьяные моряки, спотыкаясь и покачиваясь, побрели к докам, Йенсен остановился в дверях пивной, время от времени помахивая вслед уходящим полотенцем, мокрым от пивной пены. После этого он вернулся за прилавок, вытащил узкую длинную конторскую книгу и громадным плотницким карандашом подбил некоторые итоги: два латыша оплатили пансион за четыре недели, а прожили только полторы. Ни один уважающий себя бордингмастер не имел привычки возвращать остаток, а если моряки попадали к нему вторично, старый аванс не принимался во внимание. Будьте добры — за три недели вперед!..

Вот почему бордингмастер стремился как можно скорее устроить своих постояльцев на пароходы. Йенсены не глупые люди!..

Сегодня он ловко одурачил союз и выхватил четыре вакансии у него из-под носа, так как английский капитан был старым знакомым Йенсена. Когда два таких почтенных человека придут к взаимопониманию, можно обойти любой закон.

Было еще одно, пожалуй, самое главное обстоятельство, благодаря которому Волдис так скоро попал на хороший корабль: пасхальные праздники. Бельгийские моряки не хотели выходить в море в канун праздника

и намеренно упускали самые лучшие вакансии. Да и моряки других национальностей, не прокутившие еще всех денег, хотели провести праздник на берегу. У судовладельцев есть такая привычка: перед праздником выпроваживать суда в море, чтобы зря не пропадали три дня. Всю предпраздничную неделю они платят грузчикам сверхурочные, чтоб успеть погрузить или, наоборот, разгрузить пароход, и в канун праздника из портов всего света выходят в море тысячи судов.

Моряки шумной толпой отправились в доки, сопровождаемые вездесущими бичкомерами. У многих ноги не слушались, и они выписывали ими сложные вензеля.

Волдис не был пьян, но притворился захмелевшим, чтобы лучше столковаться с новыми товарищами. У ворот дока Браттен запел «It's a long way»[1], и все ему подтягивали. Они походили на мычащее стадо, которое возвращается вечером с зеленых пастбищ. Дальние страны манили только двоих, остальные уже устали, они так долго брели сквозь туманы и грязь этого мира, что ничего другого встретить в нем уже не рассчитывали.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

День выхода в море полон тревоги и лихорадочной деятельности даже на тех судах, где есть постоянные команды. Неизмеримо сложнее проходит он на тех океанских пароходах, где экипаж появляется на борту лишь в последние часы.

Английский пароход «Уэстпарк», на который поступил Волдис Витол, имел водоизмещение в пятнадцать тысяч тонн.

«Уэстпарк» стоял уже на рейде, готовый к отплытию. Дункеман поднял пары, и пароход будто хотел покрасоваться, перед тем как ринуться вперед, в серую, туманную даль. Маленький портовый катер доставил шумливый экипаж на пароход. Уже на сходнях случилась первая авария: у одного кочегара упал в воду чемодан. Раздались первые проклятья...

Поднявшись на палубу, пестрая толпа хлынула в кубрики и затеяла борьбу за лучшие койки. В кубриках

[1] «Долог путь» *(англ.)*.

было холодно и неуютно. На каждой койке лежал набитый травой полосатый тюфяк.

Волдис бросил свой чемодан и мешок на верхнюю койку, так как там был рядом иллюминатор. Но не успел он отвернуться, как какой-то рыжеватый человек сбросил его вещи на пол и на их место положил свои. Волдис взглянул на рыжего. Это был финн Каннинен — пьяный, злющий, сварливый.

Волдис, не говоря ни слова, подошел и положил свои вещи обратно на койку, а вещи Каннинена поставил на пол.

Финн, пошатываясь, полез на него, бормоча ругательства, но он был настолько пьян, что упал и уже не смог подняться на ноги. На ремне у него висела финка, которую он пытался схватить непослушными пальцами.

Машина начала работать, пароход задрожал. В дверях кубрика показался штурман, не решаясь, однако, войти.

— Ребята, попрошу приступить к работе. Задраим люки и привяжем стрелы.

Сказав это, он поспешил уйти, но кубрик зарычал, как потревоженный в берлоге медведь. Больше всех ругался финн.

— Пошли они к черту со своей работой! Я спать хочу. Если он еще заявится сюда, я пересчитаю ему ребра...

Никто даже с места не тронулся. Многие достали свои музыкальные инструменты: мандолины, гитары и губные гармошки. Играли, орали, кое-кто уже храпел, свалившись на койку.

Появился боцман, старый хромой бельгиец.

— Ребята, идите помогите немного: сейчас выйдем в море, а у нас еще не все в порядке.

И этот призыв был встречен громкими возгласами протеста, но не такими злобными, какими встретили штурмана, — боцмана считали своим человеком. Наконец шесть матросов, в их числе Волдис и Ирбе, вышли на палубу.

Картина страшного хаоса предстала перед их глазами: раскрытые трюмы, люки, валяющиеся в беспорядке на палубе бимсы, перекладины. Погрузочные стрелы свободно раскачивались из стороны в сторону, поскрипывая при каждом движении парохода и ударяясь одна

о другую. В этом хаосе и трезвому человеку трудно было разобраться.

Пьяные, озлобленные матросы без всякой причины ругались друг с другом, из-за всего спорили и, казалось, совсем забыли, что кому-то надо и работать. Наконец уложили бимсы, начали задраивать люки. Внизу зияла бездонная тьма грузового трюма. У Волдиса по спине пробежали мурашки оттого, что пьяные люди беззаботно шагали через люки: одно неосторожное движение — и от человека останется только кровавый комок мяса на дне трюма. Но ничего не случилось.

Пароход вышел в открытое море. Навстречу катились зеленоватые волны Северного моря. Громадная порожняя посудина медленно переваливалась с борта на борт, но ни одна стрела еще не была спущена; от качки судна они неистово грохотали.

Надвигалась ночь. Пароход был большой и незнакомый. Никто не знал, где что находится. Спустить стрелу задача нелегкая, а для экипажа «Уэстпарка», состоявшего на этот раз из толпы совершенно незнакомых между собой людей, — это было совсем невозможно. От лебедок наверх вдоль мачт тянулся целый лес тросов. Люди смотрели вверх, им казалось, что они разобрались в этой путанице тросов и канатов, и становились к лебедке. Решили, что стрела поднимается вверх стоймя вдоль мачты, на деле же, когда отпустили трос, высоченная деревянная стрела упала на палубу, переломившись в нескольких местах. Один обломок, около восьми футов длиной, перелетел через командный мостик, шлюпку, будку радиста и упал на кормовой палубе, до смерти перепугав стюарда, подвешивавшего в этот момент к вантам мешок с мясом.

Штурманы в отчаянии развели руками и отстранили всех от лебедок.

По правде говоря, этих растерявшихся матросов и нельзя было винить: что они могли знать на чужом судне? Расчетливые судовладельцы разрешали вербовать команды только в последний день, поэтому люди не имели возможности своевременно познакомиться с пароходом.

Стемнело, а стрелы задней мачты так и не были спущены и закреплены, их оставили до утра; и они с адским шумом бились всю ночь о мачту.

Второй штурман пришел в кубрик приглашать первую смену — трех матросов — на вахту. Большая часть людей уже погрузилась в тяжелый пьяный сон, остальные, устало облокотившись на стол, дремали, — они и не думали становиться сейчас к штурвалу или дрогнуть на баке, следя в темноте за огнями судов, и звонить в сигнальный колокол. Пусть эту ночь штурманы сами постоят у руля.

Наконец, штурман остановил на палубе нового плотника, Нильсена:

— Вы встанете за руль!

— Не желаю! — прорычал Нильсен.

— А я говорю, вы встанете!

Так как у штурмана имелся револьвер и никого из матросов вблизи не было, Нильсену оставалось только повиноваться. С тяжелой головой, чувствуя непреодолимое отвращение к работе, он пошел за штурманом к рулю. Штурман назвал курс. Нильсен ничего не слышал, ухватившись дрожащими, ослабевшими пальцами за ручки штурвала, он склонился над ним и задремал, затем испуганно встрепенулся, несколько раз повернул штурвал и стал так держать. Пароход крутым поворотом взял влево.

Штурман тем временем отмечал на карте пройденный путь. Когда он возратился на мостик, Нильсен повернул «Уэстпарк» в противоположную курсу сторону и направил его прямо на Флиссингенские мели. Взглянув на компас, штурман, побледнев, кинулся к штурвалу, оттолкнул Нильсена и переложил руль до конца в противоположную сторону.

— Иди проспись, отребье! — прикрикнул он на Нильсена.

Тот только того и ждал. Едва не свалившись с трапа вниз головой, он кое-как спустился и потащился в свой кубрик.

То, что пароход повернул назад, совсем не было случайностью: этот маневр Нильсен позаимствовал у старших моряков. Штурман мог сегодня поставить к штурвалу одного за другим всех матросов — и все они поворачивали бы пароход обратно, — только таким образом добивались они, чтобы их оставили в покое.

Волдис совсем не был пьян, но когда встретил на палубе первого штурмана, стал пошатываться. Конечно,

его немедленно послали к штурвалу. С бьющимся сердцем шел Волдис за штурманом.

Стоять у руля! Но как быть, если он ни разу в жизни не держал в руках штурвала? Теперь единственное спасение — притвориться пьяным до бесчувствия. Волдис состроил жалкую физиономию и двигался так, как будто у него не было костей.

В таком виде его поставили к штурвалу. Штурман назвал курс, показал на компас, и Волдис больше не спускал глаз с острия стрелки. Штурвальное колесо поворачивалось легко, это можно было сделать одним пальцем.

Волдис, как и всякий новичок, не умел определить послушность судна и так круто поворачивал руль, что тут же должен был исправлять свою ошибку. Пароход шел зигзагообразно, бросаясь из стороны в сторону. Штурман чуть не ежеминутно взглядывал на компас, но ничего не говорил, считая, что Волдис пьян. Три-четыре деления вправо или влево от курса — с этим приходилось сегодня мириться.

Пользуясь представившейся возможностью скрыть свою неопытность, Волдис старался как можно менее круто поворачивать колесо, и вскоре сообразил, что «Уэстпарк» имеет тенденцию тянуть влево. Через час он уже умел определить, насколько поворачивать колесо штурвала. Теперь пароход не описывал больше кривых, меньше стучала рулевая машина, и рулевая цепь грохотала гораздо реже.

Когда он отстоял два часа, штурман почти приветливо попросил его:

— Не постоите ли вы еще два часа? Других не стоит теперь будить, все равно они не смогут держать курс.

Волдис согласился. В следующие два часа он уже совсем освоился с управлением и делал вид, что постепенно вытрезвляется. Теперь уже не нужно было притворяться. А когда сменились штурманы, Волдиса опять некому было сменить, и он простоял у руля еще два часа. Наконец пришел боцман и освободил его.

Смертельно усталый, Волдис упал на койку, но теперь он был уверен, что больше уже не осрамится.

Так Волдис стал матросом...

* * *

Утром, в первый день пасхи, отоспавшиеся матросы приступили, наконец, к работе. Разделились на смены — по трое в каждую смену. Получилось так, что в одной вахте с Волдисом оказались Браттен и Каннинен. Когда в двенадцать часов пришел их черед выходить на вахту, финн улегся на койку и заявил:

— Не знаю, как другие, а у меня сегодня первый день пасхи. Я не пойду.

И не пошел. Штурманы поворчали, но не пришли за ним. Волдису с Браттеном пришлось работать за троих. Обычно рулевые, когда их трое, меняются через час двадцать минут. Теперь уже Браттен простоял у штурвала два часа, его сменил на такой же срок Волдис. Освободившийся рулевой через каждые полчаса должен был бегать на квартердек и смотреть на лаг: сколько узлов прошел пароход.

Бедному Нильсену не повезло с самого начала. Первый штурман пригласил его наверх к спасательным шлюпкам:

— Смотрите, для этой шлюпки нужно сделать дощатую крышку; материал лежит в кладовой. Здесь вам хватит работы на несколько дней; затем нужно будет переделать внутреннюю дверь в моей каюте.

— Да, да... — лепетал Нильсен, переминаясь с ноги на ногу. — Можно будет сделать, господин штурман...

— Тогда принимайтесь за работу.

Это было легко сказать, но не так-то легко сделать. Нильсен, предполагавший, что дело ограничится черенком для метлы и клиньями, долго перекладывал из одной руки в другую поделочный материал, не зная, с какого конца начать. Сделать крышку для лодки — по форме, с закругленными концами — было не так-то просто.

Наконец, разыскав старый заржавевший рубанок, он начал строгать доски. Работал не спеша, чтобы отдалить момент, когда придется сознаться в своей беспомощности.

Но Нильсен был достаточно умен и не стал заходить так далеко. После обеда он явился к штурману с окровавленной рукой: он порезал пилой ладонь... Руку промыли, перевязали, и теперь никто не имел права требо-

вать, чтобы Нильсен работал топором и долотом. До самого Барридока крышка для шлюпки не изготовлялась. Мрачное настроение нового плотника несколько рассеялось.

* * *

По всему было заметно, что Каннинен решил задавать тон в матросском кубрике. Когда вторая смена — Ирбе и еще двое — приготовились выйти на вахту, он встал в дверях и загородил выход из кубрика:

— Сегодня пасха, никто не должен выходить на вахту! Кто пойдет, получит вот этим... — он показал на свою финку.

Он задержал вторую смену на четверть часа.

Когда вернулись Волдис с Браттеном, Каннинен встретил их насмешками:

— А, вот они, примерные! Штурман поманил пальцем, и вы готовы в огонь и воду! И это моряки? Ха! Мы таких сумеем проучить.

Волдис пристально посмотрел на него.

— Ну, чего уставился, как баран на новые ворота! — взревел финн, хватаясь опять за рукоятку ножа. — Уж не думаешь ли ты медаль заслужить за свое рвение?

Волдис опять взглянул на финна:

— Нечего про медаль болтать. Если тебе совесть позволяет, чтобы другие работали за тебя, то хоть не мешай им. Или стыдно стало одному бездельничать — хочешь остальных втянуть?

Каннинен, не спуская глаз с Волдиса, угрожающе медленно тащил из ножен финку.

— Дьявол! Ты еще будешь стыдить меня? Откуда ты такой взялся? — Он подошел ближе.

Волдис поднялся, оставив недопитой кружку с кофе. Браттен и остальные обитатели кубрика, затаив дыхание, смотрели на происходящее.

— Ну-ка повтори, что ты обо мне думаешь! — кричал Каннинен с пеной у рта. — Имей в виду, что в этом кубрике я хозяин, и все должно быть так, как я хочу.

— Ты просто шваль! — вскипел Волдис. — Пускай меня назовут последним трусом, если я еще хоть минуту буду слушать твой бред! Если хочешь — подходи! Только как бы тебе не пришлось пожалеть об этом.

Финн немного опешил, потом нагло засмеялся:

— Ах вот как? Ну ладно...

В воздухе сверкнула финка, но ее перехватила сильная рука: внезапно вывернув руку финна, Волдис так сдавил ее, что пальцы разжались и выронили нож; затем он сунул в глаза финна два пальца — сделал «вилочку», прием джиу-джитсу, — а ребром другой руки ударил финна под ложечку.

Каннинен упал и долго стонал, пока наконец не перевел дыхание. Теперь с ним можно было делать, что хочешь.

Волдис сел и продолжал пить кофе. Напившись, он улегся на койку и отвернулся к стене.

Все молчали. Каннинен, придя в себя, сел на скамью, задумчиво глядя на пол. Наконец он встал, подошел к Волдису, тронул его за плечо.

— Слушай, латыш, повернись...

Волдис, все так же лежа, взглянул на финна.

— Что тебе? — сердито буркнул он.

— Ты еще знаешь какие-нибудь приемы борьбы... кроме этих? — спросил финн.

— Сколько угодно.

— Да? Тогда вот моя рука — будем друзьями.

Волдис больше не сердился, они подали друг другу руки. И все остальные с облегчением вздохнули: столкновение в матросском кубрике было ликвидировано без кровопролития.

В следующую вахту, к великому удивлению штурмана, Каннинен вышел на работу; в кубрике он вел себя тихо и ни с кем не спорил. Неужели он переменился? Вряд ли. Ему просто не удалось сделаться вожаком на «Уэстпарке»; и пока здесь находился хоть один человек, способный его осилить, ему приходилось смирять себя. Когда-нибудь позднее, на другом пароходе, его финка опять будет устанавливать порядок в матросском кубрике. Силу уважают везде...

* * *

Погрузка угля в Барридоке продолжалась четыре дня. Во второй половине солнечного и по-весеннему теплого дня «Уэстпарк» отправился в далекий путь — в Южную Америку. Канал прошли в благоприятную

погоду, но в Бискайском заливе бушевал шторм, поэтому берега Португалии показались только на восьмой день.

Как только пароход вышел в открытое море, на нем исчезло то, что именуется дисциплиной. Младший персонал не подчинялся начальству и не терпел ни малейшего грубого окрика.

Первый штурман в годы войны служил офицером на военном корабле и оттуда на всю жизнь вынес привычку к резкому тону. Он не умел отдавать приказания матросам или боцману, не задевая их самолюбия, самые обычные распоряжения он выкрикивал повелительно и резко. Если кто-нибудь задавал ему чисто деловой и необходимый вопрос, он грубо кричал и поворачивался к спрашивающему спиной. Но если кто-нибудь осмеливался задать какой-либо частный вопрос — например, где в данное время находится пароход или сколько мильрейсов * дают за английский фунт стерлингов, — он притворялся глухим и даже не считал нужным взглянуть на того, кто отважился к нему обратиться.

Матросы, которым приходилось стоять с ним вахту, отнюдь не чувствовали себя счастливыми. Ночью он каждые четверть часа гонял к лагу, иногда сам вылезал на бак посмотреть — не ушел ли подремать в кубрик «вперед смотрящий» матрос. Днем он оставлял в покое только рулевого, остальных двух заставлял мыть стены, оббивать ржавчину и красить. Он не довольствовался тем, что гонял матросов своей смены, иногда он распоряжался и людьми второго штурмана — приказывал им драить медные части иллюминаторов, компас, свисток, дверные ручки.

Однажды ночью он нашел Браттена спящим на наблюдательном посту. Трудовая книжка маленького норвежца была навсегда испорчена. Обычно после каждого рейса в книжку записывают отзыв о каждом моряке: «very good»[1] или, в худшем случае, «good»[2]. Браттену он вписал: «bad» — плохо. Матроса, который имеет в книжке такую пометку, не примет на свой пароход ни один капитан.

Стоять на баке очень утомительно. Представьте себе

[1] Очень хорошо (*англ.*).
[2] Хорошо (*англ.*).

человека, который много недель подряд не высыпался как следует. Не успеет он прилечь на несколько часов, как его будят, ставят к штурвалу, а затем посылают темной ночью на нос парохода, чтобы он наблюдал за сигнальными огнями других судов. Утомленный, невыспавшийся, он с трудом борется со сном. Вокруг него завывает ветер, льет проливной дождь — вахтенному негде укрыться. Чем темнее ночь и сильнее шторм, тем зорче приходится всматриваться в беспросветную тьму. Человек о чем-то задумывается и совсем не замечает, как слипаются глаза. Испуганно оглянувшись, он иногда принимает какую-нибудь звезду за сигнальный огонь встречного судна и бьет в колокол, за что получает от штурмана порцию весьма нелестных эпитетов. Чаще всего звонят утренней звезде — ошибаются даже старые, опытные моряки.

* * *

Надменное поведение первого штурмана всех восстановило против него. Вначале он намеревался контролировать даже матросский кубрик — чисто ли он выметен, все ли койки заправлены. По укоренившейся военной привычке он однажды в субботу послал Ирбе вымыть матросский кубрик, отведя на эту работу один час. Ровно через час штурман вызвал Ирбе опять к штурвалу, а сам направился проверить его работу. Каннинен в это время не спал и стирал тельняшку.

Штурман вошел в кубрик, ощупал борта коек, заглянул под койки, провел пальцем по столу. Затем остановился перед Каннининеном.

— Это что за стирка? — заорал он.

— А что? — спросил финн, не прерывая своего занятия.

— Если хотите белье стирать, отправляйтесь на палубу. Я вам запрещаю устраивать такое свинство в кубрике. Смотрите, даже окурки на полу валяются. Что вы за люди?

— А твое какое дело? — финн оставил стирку, медленно выпрямился и, распахнув настежь дверь, указал на нее пальцем. — Видишь, где плотник дырку оставил, и выкатывайся! Нечего тебе здесь делать.

Пораженный штурман не мог ни слова сказать, ни сдвинуться с места. Каннинен схватил его за руку и потащил к двери.

— Выметайся и забудь сюда дорогу.

Штурман опешил. Красный, как свекла, он выскочил вон. До самого Буэнос-Айреса он больше не показывался в матросском кубрике, а на финна посматривал искоса, как собака на ногу, которую собирается укусить.

Совсем другой человек был второй штурман. Молодой, жизнерадостный, он со всеми был вежлив, с каждым был готов поговорить, рассказать о том, что знал. Если он хотел поручить кому-нибудь работу, то обычно начинал робко, извиняющимся тоном: не можете ли вы выполнить то-то или то-то?

И ни один не отказывался от предлагаемой им работы. Даже Каннинен охотно и усердно оббивал ржавчину и красил стенки, если распоряжение исходило от второго штурмана.

Ему, конечно, приходилось скрывать свои приятельские отношения с матросами.

— Они меня без соли съедят, если узнают, что я с вами в дружбе, — говорил он матросам.

Несколько лет назад он сам служил матросом, как практикант. Нет ни одного штурмана и капитана, который бы в свое время не плавал простым матросом, все они перенесли те же невзгоды — дрогли, изнемогали от жары и работали до кровавых мозолей на руках. Но многим из них эта традиция не помогает сохранить человечность, каждый шаг вверх по служебной лестнице портит их; а те, кто не меняется в зависимости от увеличения числа золотых нашивок на рукавах, не пользуются уважением своих коллег.

На примере второго штурмана «Уэстпарка» Волдис убедился, что самые отпетые люди, для которых как будто нет ничего святого, умеют ценить человеческое отношение. Люди хотят, чтобы их считали людьми.

В Лас-Пальмасе, на Канарских островах, пароход остановился на один день, чтобы пополнить запасы угля и взять продовольствие. С якорной стоянки открывался живописный вид на горы и яркую субтропическую растительность.

К пароходу подошли плоскодонные баржи с мешками угля и загорелыми оборванными людьми на борту.

На берег съехали только капитан со стюардом. Единственным и безрадостным результатом их поездки было несколько корзин с темным крошившимся кукурузным хлебом, доставленных катером на пароход. Хлеб, выпеченный из муки грубого помола, по вкусу напоминал солому, но, если верить стюарду, это было лучшее изделие местных хлебопеков.

В дальнейшем пути от этого хлеба никак не удавалось избавиться: ели его очень неохотно, а так как запасы были сделаны солидные, то кок свежего хлеба не выпекал: «Пусть сначала съедят канарский, из кукурузы!..»

В дальнем плавании вообще плохо с хлебом: в порту делают большие запасы его, и он потом черствеет, крошится, плесневеет.

Зной становился все невыносимее — пароход достиг тропиков. Кочегарам выдавали винную кислоту, чтобы подмешивать к питьевой воде; на баке натянули тент, и люди спали не в кубриках, а на палубе.

Погода была безветренная. Белое раскаленное солнце заливало лучами свинцово-серые воды океана. Вялые, точно усталые, птицы летали вдоль бортов парохода, дожидаясь, когда за борт выбросят остатки пищи.

Еще у Канарских островов за пароходом увязались две акулы и не отставали до самых берегов Бразилии.

— Наверное, здесь в воде нет никакой живности, — рассуждал Браттен об акулах. — Если бы им было что жрать, они бы не потащились за нами через весь океан. Они теперь проводят нас до Пернамбуку *, а там пристроятся к какому-нибудь другому пароходу и будут сопровождать его до самых Канарских. Так и курсируют через Атлантику, черт знает сколько раз!

Теплая и тихая погода благоприятствовала ремонтным работам на пароходе, и днем не прекращался грохот маленьких молотков: повсюду оббивали ржавчину, красили. Прежде всего покрасили мостики, стенки кают, салон, потом взялись за внутреннюю отделку. Матросы перебрались со своими вещами на палубу и покрасили стены кубрика и койки.

* * *

Пришел черед красить каюту первого штурмана. Ни один рабочий не любит, если кто-нибудь стоит и смотрит, как он работает, а назойливое внимание штурмана, его

постоянное вмешательство в работу вывели бы из терпения самого уравновешенного человека. Ни один мазок кисти не удовлетворял его: он не постеснялся вырвать из рук старого боцмана кисть, чтобы показать, как глубоко нужно макать ее в краску, как нажимать и как проводить по потолку.

На свою беду, он позволил себе это и по отношению к финну Каннинену, которого заставил помогать боцману.

— Кто же так красит? Смотрите, какие полосы получились. Почему там просвет остался? Вы так нажимаете на кисть, будто хотите продавить стену.

Финн не сказал ни слова, он побагровел и продолжал красить, временами скрипя зубами. А когда штурман, увидев, что финн не обращает внимания на его распоряжения, вырвал у него кисть и выступил в роли мастера, финн спокойно закурил сигарету.

Сигарета! Да еще во время работы! Это уж слишком! Штурман сам, разумеется, мог курить и курил в любое время, но сохрани бог, чтобы матрос разрешил себе такую вольность!

Финн курил и терпеливо ждал, когда штурман вернет ему кисть. Но это случилось лишь тогда, когда в банке с краской почти ничего не осталось.

— Знаете вы, что вам запишут в книжку? — спросил штурман финна.

— «Very bad» [1], — ответил финн, щелчком отбросив окурок за борт.

— А вам известно, что вас тогда ожидает?

— Другой пароход, где штурманом будет не такое чучело, как вы...

Любая степень негодования показалась бы слабой перед лицом такой чудовищной наглости, поэтому штурман ограничился взглядом, который должен был испепелить финна.

— В военное время вы меня, вероятно, с удовольствием пристрелили бы? — дразнил финн, смеясь прямо в лицо штурману.

В ответ ему лишь сверкнули молнии.

— Вы никогда больше не будете служить под английским флагом!

---

[1] Очень плохо *(англ.)*.

— Другие флаги ничуть не хуже.

— Я сообщу о вас капитану!

— Он не такой самодур, как вы, и не обратит внимания на ваши бредни.

— У нас на пароходе есть кандалы!

— А у меня финка.

Они довольно долго обменивались подобными комплиментами, пока наконец обоим не стало легче: клокотавший в них гнев вылился во взаимных угрозах. Но тут финн должен был идти к штурвалу, и они в этот день больше не встретились.

Окраску каюты штурмана завершил Нильсен, который окончательно доказал свою неспособность к плотничьему ремеслу и лучше орудовал кистью, чем топором и долотом. Двери и иллюминаторы на ночь оставили открытыми, чтобы каюта лучше просохла.

Наутро штурман зашел в каюту посмотреть, не просохла ли краска, и выскочил оттуда как ошпаренный. Охрипшим от гнева голосом он позвал боцмана и велел отрядить двух матросов для работы: в каюте пришлось соскоблить всю краску, так как все стены были испачканы присохшей золой; отмыть ее было невозможно.

Весь день три человека орудовали скребками, пока не соскоблили краску, затем еще один день, под настоящим тюремным надзором, красили стены.

Вечером дверь каюты заперли на ключ. На ночь только один иллюминатор оставался открытым. Но утром стены опять оказались вымазанными золой. Первый штурман все время с подозрением приглядывался к финну, но тот сохранял полную невозмутимость.

Снова соскоблили краску со стен штурманской каюты и выкрасили ее заново. И теперь уж никто не стоял над душой, не следил за работой. На этот раз обошлось без золы, и несколько дней спустя первый штурман смог перебраться в каюту.

* * *

Нигде нельзя было укрыться от палящего зноя. Казалось, само небо горело и пылало, синея над водной пустыней. Люди ходили вялые, ошалевшие от изнеможения, не разговаривали друг с другом. Солнце экватора огненными языками лизало тело, одежду, окружаю-

щие предметы. Палуба парохода походила на раскаленную плиту, стены кают стали горячими.

Обессиленные люди работали с трудом, малейшее движение требовало громадных усилий. А после вахты никто не мог заснуть; потные, измученные люди метались на койках в невыносимой духоте.

Так было на палубе, а в котельной царил ад кромешный. Кочегары напрасно поворачивали вентиляторы, сверху не доносилось ни малейшего дуновения. Накаленный пламенем и газами воздух, как огненный туман, охватывал со всех сторон обнаженные тела кочегаров, впитываясь во все поры. Люди дышали огнем, истекали потом, мускулы стали дряблыми, мягкими, вялыми.

Стены котельной и поручни трапов настолько раскалились, что к ним нельзя было прикоснуться. А внизу, в топках, ревело белое пламя, дрожали и вздрагивали под напором страшной силы котлы. Тяжело шаркая деревянными башмаками, кочегары ходили от топки к топке, с нечеловеческими усилиями кидали уголь в красно-белые жерла, обмотав руки тряпками, взламывали и выгребали шлак.

Питьевая вода согревалась, как чай. Теплая влага наполняла желудок, но не освежала. Только винная кислота давала минутное вкусовое ощущение. Люди мечтали о питье — о прохладном лимонаде, о воде со льдом, которую можно тянуть через соломинку, о кислом вине. Мечтали, делились друг с другом своими мечтами, а жажда все усиливалась.

От громадных машин медленно струился невыносимый жар, и смазчики, изнемогая, лазили под ними.

Это был крематорий, в котором заживо сгорали люди. За несколько фунтов стерлингов в месяц их подвергали медленному сожжению. Они ежедневно теряли в весе.

Вот почему первому механику «Уэстпарка» не следовало слишком часто сверяться с манометром. Но он не понимал этого, и однажды ночью, когда стрелка отклонилась на два деления от черты максимума, сам явился в котельную и стал бранить кочегаров за недосмотр, обзывая их ленивыми скотами. Тогда маленький португалец, чистивший в этот момент топку, выхватил оттуда раскаленный добела лом и побежал к механику. Возможно, он сделал это без всякого умысла; возможно, чиф просто случайно оказался на его пути, — но

в результате у чифа была прожжена блуза, пострадал и бок.

Португалец не понес наказания: он был нужным работником; а чиф с обожженным боком просидел в каюте до самого Пернамбуку.

Как-то ночью стюард разбудил Волдиса в необычное время:

— Идите к капитану.

Волдис пошел за стюардом в салон. Капитан и второй механик ждали его с озабоченным видом.

— Вам приходилось работать кочегаром? — спросил капитан.

— Да, приходилось, — ответил, ничего не подозревая, Волдис.

— Это хорошо. Видите ли, у нас сдал один кочегар. Вам придется заменить его.

Волдис вздрогнул, представив, что его ожидает.

— Но я ведь нанимался матросом... — пробовал он возразить.

— Это ничего не значит. У нас бывали случаи, когда всех матросов посылали к топкам.

Волдис молчал, стиснув зубы.

— Мы вам повысим заработок до десяти фунтов. В Буэнос-Айресе получите три свободных дня. Отказываться вы не имеете права.

Волдис пошел за механиком. Тропическое небо отражалось в море миллионами звезд. Вода искрилась, за кормой тянулась широкая сверкающая полоса. Но Волдис и не думал восхищаться фосфоресцирующим морем и отражающимися в черных блестящих глубинах звездами. Да и никто из тех, кто, отстояв свою вахту, обливаясь ручьями пота, поднимался наверх из огненных ям, не любовался морем и звездами.

Волдис следовал за механиком, не способный, казалось, ни думать, ни чувствовать.

Внизу, когда ему указали топки, он взял себя в руки. Умело и заботливо поправил огонь в топках, пытаясь не думать о предстоящих муках.

Проходили часы. Изломанный и точно вываренный, он поднялся на палубу, еле передвигая ноги. У бортов парохода монотонно журчала вода, океан по-прежнему был пустынен и безмолвен.

Волдис, облокотившись на поручни, равнодушно

смотрел на сверкающую воду. Он размышлял о том, в каких страшных муках рождаются ценности: сотни, тысячи таких, как он, задыхаются в угольных шахтах, откалывая острым кайлом куски угля. Этим добытым шахтерами углем наполняют длинные железнодорожные составы. Потом его ссыпают в громадный «Уэстпарк», грязную железную посудину, на которую нанимают несколько десятков дешевых рабочих и отправляют в море. Они месяцами живут на пароходе, отрезанные от всего мира, отдавая все свои силы, теряя человеческий облик, переставая что-либо соображать и понимать. За наносимый нравственный и физический урон им кидают жалкие гроши. Моряков гостеприимно встречают кабаки, увеселительные заведения, а за буйство в общественных местах — арестантская полицейского участка.

Вахта за вахтой, рейс за рейсом — так проходит жизнь. Объехав весь свет, они не знают его. Они бросают якорь в портах по соседству с дворцами и величественными площадями, но не видят их, потому что путь моряков — темные переулки, дымные таверны и дешевое кино.

И вот из человеческих страданий выкристаллизовываются золотые кружочки, наполняющие необъятные карманы капиталистов, рождаются ценности. По столицам всего мира путешествуют молодые красивые женщины, увешанные брильянтами, не знающие цену деньгам, жаждущие всяческих наслаждений, — это любимые дочери богатых отцов, чьи-то возлюбленные.

Каждая лопата угля, кидаемая в топку, шла этим ненасытным, прожорливым, обнаглевшим людям, а они даже не испытывали чувства благодарности к своим кормильцам. Они захватили в свои руки весь мир. Они создали бога и поставили его на видное место, как страшное пугало, перед которым гнули колени простаки всех стран. Они заботились, чтобы эти простаки не переводились. Они были бы довольны, если бы все рабочие стали слабоумными.

В разгоряченном мозгу рождались тревожные, злобные мысли. Усталый, обессиленный, Волдис наконец свалился на койку, чтобы через несколько часов подняться и опять нести свое тело в жертву пламени топок.

По дороге в Пернамбуку выбыли еще два кочегара, и Ирбе тоже пришлось стать к топкам. В порту Пернам-

буку пароходу пришлось пополнить запасы угля, это задержало его на два дня. Кочегары немного отдохнули. Все же на берег никого не пустили, и Волдис только издали мог полюбоваться красивым городом, зданиями и пальмовыми аллеями.

Опять море. Пароход шел на юг, не теряя из виду берегов. По-прежнему было жарко, но с каждым днем жара становилась терпимее. Иногда чувствовалось дуновение свежего ветерка, и ночью уже можно было уснуть.

Зной спадал, и люди стали оживать. Иногда даже слышались звуки мандолины или кто-нибудь насвистывал песенку. В часы отдыха моряки собирались вместе и долго разговаривали о женщинах: о них шептались рабочие, красившие шлюпки, о них рассуждали Нильсен и боцман, вязавшие проволоки и канаты, беседовали кок с юнгой, и даже кочегары, освободившись от чистки топок, в свободное время разговаривали о том же.

На сорок пятый день утром Волдис увидел поднимающиеся над водой белые сверкающие полунебоскребы Парижа Нового континента. Это был Буэнос-Айрес!

Когда «Уэстпарк» пристал к берегу, Волдис впервые за шесть недель сбрил бороду, сильно отросшую за это время. Посмотрев в зеркало, он не узнал себя: на него глядел бледный, как после тяжелой болезни, человек с ввалившимися глазами. В лице у него не было ни кровинки. Замученный, высохший, с темными тенями под глазами — таким он явился в Новый Свет.

* * *

Все, казалось, было хорошо: великолепный город, сколько хочешь баров, а женщины такие же красивые, как в Европе, — только... не было денег. Десяти шиллингов, точно в насмешку выданных капитаном каждому, еле хватило на мыло и марки. А в местных магазинах взгляды привлекали аргентинские шляпы и роскошные шелковые пояса. Цирк с профессиональными борцами, театры, ревю, кино! Везде нужны деньги, деньги, деньги...

Кто опишет страдания экипажа «Уэстпарка»! Многие не могли теперь простить себе легкомыслия, с каким истратили в Антверпене первый аванс до последнего пенни.

Зной вызывал у всех безумную жажду.

Тогда они нашли выход: устроили распродажу. Мо-

ряки продавали свою одежду и вещи. Синие костюмы, летние пальто и ботинки уходили тем же путем, что и карманные часы, бритвы и золотые кольца. В покупателях не было недостатка, но платили мало. Костюм, купленный в Кардиффе за шесть фунтов и надеванный только два раза, шел за четыре-пять долларов. Летнее пальто, приобретенное в Лондоне за семь гиней, нашло покупателя, «великодушно» заплатившего пятнадцать шиллингов.

А после — кутежи, женщины, вино, тяжелое похмелье...

Когда кончились деньги, вырученные за костюм, — продавалось пальто, когда и с ним было покончено, — собирали всякие мелкие вещи, жертвовали новой парой белья, хорошим чемоданом. Старый боцман тайком продавал краску и новые канаты, — правда, понемногу, но это тем не менее давало ему возможность выпить бутылку вина.

Когда наступал вечер и за стенами слышалось треньканье гитар, люди покидали черные, неопрятные пароходы, на них оставались хозяевами стада крыс, которые бегали по всем помещениям, через котлы и койки, — иные с обгрызенными ушами, иные без хвостов, хромые, голодные и злобно наглые.

Начиная с первого дня пребывания в Буэнос-Айресе Волдис стал наблюдать и изучать местную жизнь. Впечатление было невеселое. Как и в других больших центрах, здесь на одном полюсе царили ослепительная роскошь, богатство и мотовство, а на другом — разорение, нищета, прозябание без каких-либо надежд на лучшее будущее. Рядом с великолепными, обсаженными пальмами бульварами, где журчали красивые фонтаны и, соперничая друг с другом в комфортабельности и пышности, в модных лимузинах катались местные спекулянты мясом и хлебом, — тянулись длинные грязные улицы с низкими и мрачными постройками, в которых вместе с местными пролетариями ютились обнищавшие иммигранты из европейских стран.

Среди грузчиков, работавших на разгрузке «Уэстпарка», Волдис встретил нескольких европейцев. Из разговоров с ними ему удалось кое-что узнать об условиях жизни в Аргентине. Настроение у всех было очень подавленное.

— Если иммигрант не желает продаться поденщиком на плантации или скотоводческие фермы, то здесь у него не остается никаких перспектив. В городах и портах все квалифицированные работы захватили в свои руки крупные профессиональные союзы, но туда принимают только коренных аргентинцев. Например, в порту вы не встретите ни одного нового иммигранта. Те редкие европейцы, которым посчастливилось вступить в союз, приехали раньше и попали туда только благодаря протекции какого-нибудь влиятельного лица. Здесь очень недоброжелательно относятся к приезжим и предоставляют им только те работы, за которые не хотят браться аргентинцы. Моряков совсем не терпят: если они уходят с парохода, им не дают разрешения на проживание, очень быстро вылавливают и отправляют обратно в Европу.

Заработки здесь очень низкие, как и вообще в Южной Америке, — и именно это являлось причиной быстрого роста благосостояния местных промышленников и крупных фермеров.

Из бесед с рабочими порта Волдис понял, что в этой стране счастья не найдешь, здесь, как и на родине Волдиса, властвовал денежный мешок. А эксплуататоры во всех странах имели одинаково зверский аппетит, разница была только в масштабе и способе присвоения. Там какой-то ожиревший скороспелый богач наживался за счет дешевых кредитов своего государства, — здесь интернациональный разжиревший паук, сознавая власть своего золота, попирал все законы, божеские и человеческие.

Из Буэнос-Айреса «Уэстпарк» направился за грузом в Росарио. Там он провел недели две, обойдя несколько элеваторов: не все партии пшеницы были заготовлены, поэтому пришлось в ожидании их стоять без дела.

На обратном пути в Европу Волдису опять пришлось стать к топкам, так как заболели два кочегара.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Серым дождливым утром «Уэстпарк» входил в антверпенские доки. Несмотря на неприветливую погоду, какой-то человек, отнюдь не принадлежавший к служащим порта, терпеливо мирился с ней и издали махал прибы-

вающим грязным носовым платком. Вначале никто ему не отвечал и только потом, узнав во встречавшем бордингмастера Йенсена, некоторые моряки тоже принялись махать ему.

Йенсен знал, чего ждет. Наивно было бы думать, что его сюда привело желание поскорее встретиться со знакомыми: он был хорошо информирован в лоцманской конторе о приближении «Уэстпарка» и находился здесь с самого утра. С таможенными чиновниками у него были наилучшие отношения, и он пробрался на пароход еще до завершения всяких формальностей.

Просто невероятно, до чего сердечно встречал каждого возвращавшегося из дальнего плавания моряка этот тучный, на вид такой грубый человек. С подчеркнутой горячностью он хватал за руки матросов и кочегаров, долго тряс и пожимал их и каждому старался сообщить что-нибудь радостное и приятное.

— Вам просто везет! — воскликнул он, когда его окружила кучка матросов. — Только вчера я отправил целый экипаж, и сейчас у меня дома двенадцать свободных мест. Утром пришли было четыре кочегара с английского суденышка, просят взять к себе. Я сказал, что не могу, потому что жду друзей из дальнего плавания.

Потом уже более серьезно и по секрету сообщил, что только что получил две новые бочки вина урожая позапрошлого года. Деловитый, бойкий, он шмыгнул наконец к капитану.

В кубриках все были заняты укладыванием вещей, так как по прибытии команду должны были рассчитать. Из всего экипажа на пароходе оставались лишь капитан, первый механик и дункеман. Пока пароход загружали, остальные жили на берегу, в бордингхаузах и на частных квартирах. В последний день перед отправкой в море капитан начнет вербовку нового экипажа, и на судно не попадут многие из прежнего состава. Те, что досадили чем-нибудь старому начальству, не надеялись попасть на прежний пароход и при первом удобном случае устраивались на другой. На «Уэстпарке» таких было немало.

Рейс продолжался пять месяцев. Волдис при расчете получил сорок фунтов. Он впервые располагал такой суммой. Он мог бы теперь, не работая, полгода прожить в бордингхаузе, купить билет в Соединенные

Штаты... Чего только нельзя было сделать на эти нежно шелестевшие листочки бумаги! Но в этот момент у него не было никаких желаний. Равнодушно он ощупал в кармане пачку денег, и только сознание, что теперь можно будет некоторое время отдохнуть, вселяло в душу приятное чувство покоя.

Волдис и вообще имел причины быть довольным, так как получил впервые документы о службе на английском пароходе. И штурман и механик дали самые лучшие отзывы: «Very good sailor»[1] и «Very good fireman»[2]. Теперь он мог поступить на любое судно кочегаром или матросом.

За Йенсеном последовало восемь человек с чемоданами и мешками. У ворот дока их встретил целый рой бичкомеров, они приветствовали прибывших громкими восторженными восклицаниями на самых разнообразных языках. Незнакомые, никогда не виденные молодчики в пестрых шарфах на шее и в тонких, мокрых от дождя пиджаках пытались обнять Волдиса. Высокий рыжий швед называл его по имени. Неизвестно откуда вынырнувший низенький толстенький парень заговорил с ним на чистейшем латышском языке.

Такая осведомленность никого не удивляла. Каждый встречающий увивался около своего земляка. У Волдиса и Ирбе взяли мешки и чемоданы. Четыре бичкомера-латыша рассказывали им о последних событиях в Антверпене: на прошлой неделе вся латышская колония участвовала в похоронах какого-то капитана, умершего на пути из Канады; этим летом бичкомеры вновь пережили крупные неприятности — полиция ловила их и силой посылала на пароходы; но сейчас, слава богу, опять все по-старому — можно жить на берегу сколько хочешь, не нужно доказывать, что где-то работаешь.

Хронические безработные проявляли такой восторг, что можно было подумать, что не Волдис и Ирбе, а они проделали далекий путь в Аргентину и теперь их ожидает веселый отдых.

— Волдис! Фриц! — восклицали они.

Даже неловко становилось от таких бурных проявлений дружбы.

---

[1] Очень хороший матрос *(англ.)*.
[2] Очень хороший кочегар *(англ.)*.

Волдису и Ирбе удалось получить у Йенсена прежнюю комнатку. Прежде всего они привели в порядок хозяйственные дела: заплатили Йенсену за три недели вперед и распаковали багаж.

Из нижнего этажа уже доносились звуки трехрядной гармоники, навевавшие праздничное настроение. «Жаждущие» один за другим, оставив полуразобранные чемоданы, спустились вниз. Начался кутеж.

Волдис прислушивался к шуму дождя за окном и думал о поездке через тропики. Как бы пригодилась прохлада там, на экваторе! А сейчас? На улице бурлили потоки воды, с шумом бежали по водосточным трубам, и люди зябко прятали головы в воротники. У Волдиса было сорок фунтов, но как они добыты? Каждый грош выстрадан нечеловеческими муками. Эти деньги хранили в себе горечь человеческого пота. Было бы безумием прокутить их теперь.

В нижнем этаже заливалась гармоника...

Ирбе мучили своеобразные угрызения совести:

— На что это будет похоже, если мы не пойдем вниз? — вслух рассуждал он. — Подумают, что мы жадничаем. Надо бы угостить по крайней мере парней, что несли чемоданы.

— Я своим дал десять шиллингов, — сказал Волдис. — Мне кажется, этого достаточно.

Ирбе ничего не ответил, только поморщился.

Наконец они все же решили для приличия сойти вниз на часок.

— Только не распускать нюни и смотреть в оба! — предупредили они друг друга.

* * *

Внизу их встретили всеобщими восторженными возгласами. Свободных столиков было достаточно, да и собутыльников хватало. Йенсен, потный, задыхающийся, сам спешил им навстречу.

— Чего изволите? Белого? Вы, наверно, будете пить что-нибудь получше?

Появились бутылки, стаканы, сифон. Медленно потягивая сильно разбавленное вино, Волдис наблюдал. Те самые люди, которые в Буэнос-Айресе продавали последнюю одежду, чтобы заплатить за продажные

ласки женщин и глоток вина, теперь восседали с барским шиком; они величественными жестами подзывали официантов, заказывали новые порции, угощали самого Йенсена.

А как умно Йенсен заставлял их раскошеливаться: когда они достаточно выпили вина одной марки, он, как бы между прочим, рассказывал о другой, высшей марке, которую пьют знакомые капитаны. О, капитаны! «Йенсен, подайте, пожалуйста, этот сорт, который пьют капитаны!»

Йенсен топает, как слон, пол гудит под его ногами; то он в буфете, а вот уже возвращается из подвала. Сегодня он такой доверчивый, ни с кого не требует денег. «Потом рассчитаемся!» — говорит он и вписывает большим плотницким карандашом в узкую конторскую книгу цифры. После, когда они опьянеют, он подытожит эти маленькие долги, подаст счет. И они заплатят, заплатят с довольной улыбкой. Йенсен знает в этом толк!

Если он замечает, что несколько гостей шепчутся между собой, он подзывает официанта и говорит ему на ухо несколько слов, и тот выходит. А пока официант рыскает по соседним переулкам, Йенсен подсаживается к подозрительному столику и занимает гостей пикантными анекдотами. Все слушают его и смеются до колик в животе.

Через некоторое время дверь пивной открывается и входит официант в сопровождении четырех женщин. Сердца пьяных моряков учащенно бьются. Стулья сдвигают, и женщины садятся к столикам.

Тогда Йенсен задает вопрос:

— А что вы закажете для своих дам?

Женщине ведь не предложишь кислого вина или пива! И Йенсен приносит вина лучшей марки. Все тонет в алкогольном тумане. Человек с плотницким карандашом продолжает записывать.

Через час Волдис подозвал Йенсена и попросил счет.

— Что так скоро? — не верил тот своим ушам.

— Мне нужно написать несколько писем, — солгал Волдис.

— Может быть, вам скучно без дам? — прошептал Йенсен, нагнувшись к нему. — Если хотите, я пришлю кого-нибудь к вам наверх...

— Можете не трудиться. Я же сказал, что мне надо писать письма.

Он расплатился, хотя в бутылках еще оставалось вино.

Латыши-бичкомеры, помогавшие им пить, обманутые в своих ожиданиях, кисло улыбались.

Весь вечер Волдис просидел в комнате один. Он думал о безрассудном поведении товарищей и впервые после отъезда из Риги почувствовал себя одиноким. Будущее не сулило никаких чудес. Только чувство собственного достоинства помогало ему переносить пустоту одиночества. Но стоило ли обладать чувством собственного достоинства? Для чего?

Внизу надрывалась гармоника. В приступе нервного отчаяния Волдис метался на кровати. Мир — это кабак или, скорее, увеселительное заведение. Неужели это единственный из всех доступных человеку миров?..

* * *

Утром Волдиса разбудил сильный стук в дверь. Сев на кровати, он увидел Ирбе, лежащего поперек своей постели: он уснул, не сняв залитой пивом и вином одежды, и тяжело дышал во сне. Казалось, не было силы, которая могла бы разбудить его.

Стук повторился. В ответ на приглашение Волдиса в комнату вошло четверо вчерашних земляков, они были сильно навеселе; двое принялись тормошить Ирбе.

— Эй, старина, что за сон! Вставай! Припомни, о чем вчера договаривались. Ведь уже поздно.

Ирбе что-то бормотал и вяло отмахивался, но бичкомеры продолжали трясти, щипать и щекотать его, так что он поднял наконец отекшие веки и, ослепленный ярким утренним солнцем, закрыл лицо руками.

Волдис молча оделся и, подойдя к окну, повернулся к ним спиной.

— Ну, что с тобой такое? — расталкивал Ирбе один из бичкомеров. — Надо опохмелиться. Собирайся, пойдем вниз.

— Ммм... — мычал Ирбе.

— Пойдем! Ты увидишь, что голове легче станет.

— Мне противно даже смотреть на бутылку, — простонал Ирбе.

Бичкомеры встретили эти слова грубым смехом.

Волдис быстро обернулся и увидел, как двое бродяг хитро перемигнулись. Он подошел к двери, распахнул ее и крикнул охрипшим от бешенства голосом:

— Вон отсюда, скоты! Да поживей!

— О-о, какой ты горячий! — бормотали застигнутые врасплох вымогатели.

Со сжатыми кулаками Волдис шагнул к ним, схватил стул и поднял его.

— Вон, попрошайки! Мало вы вчера выдоили? Хотите до последнего цента обобрать?

— Что ты!..

— Долго я буду ждать? Или вам помочь?!

Сердито ворча, с глухими угрозами, бродяги наконец выбрались из комнаты.

— Как бы тебе не пришлось пожалеть об этом! — бросил один из них, уходя.

Волдис ничего не ответил, с шумом захлопнул дверь и несколько минут сердито шагал по комнате. Наконец он остановился перед Ирбе, заложил руки назад и презрительно сплюнул.

— Кто не видел обезьяну, может здесь увидеть ее! — насмешливо сказал Волдис. — Дурак, настоящий дурак! Для этого ты ходишь в море?

Ирбе молчал. Он только гримасничал от страшной головной боли и тяжело дышал.

Волдис собрался как следует отчитать приятеля, но его намерениям не суждено было осуществиться: тихо постучав, в комнату вошел Йенсен. Поздоровавшись с Волдисом кивком головы, он подошел к Ирбе и присел на край кровати.

— Как ты себя сегодня чувствуешь? Головка болит, а? Ну, тут нет ничего удивительного! — он отечески положил руку на плечо Ирбе и, улыбаясь, повернулся к Волдису. — Ты ведь рано ушел и ничего не видел. Надо было остаться еще с часик... Ай-ай-ай! Что там делалось! Голова кругом! Да вот хоть бы этот, — он опять вернулся к Ирбе, — куролесил, как черт!.. Говорит: «Что, почему, разве я не могу? Йенсен — дюжину пива! Йенсен — три красного старого портера! Йенсен, нет ли у тебя чего получше?» Потом он открыл дверь и стал зазывать с улицы всех, кто только захочет, усаживал за стол, поил и никому не давал платить.

«Сегодня плачу я! Сегодня я хозяин в этом кабаке». Я, правда, раза два подходил к нему, говорю: «Зачем с ума сходить? Пора прекратить, пусть чужие уходят, откуда пришли». — «Что? Это мне что еще за наставник выискался? Мои деньги — что хочу, то и делаю!» Ну, когда так, мне ничего не оставалось, как уйти и подавать, что заказывали.

Волдис холодно усмехнулся. Йенсен пытливо взглянул на него.

— Не веришь? Спроси кого хочешь, — поторопился он оправдаться, — такого бесовского шабаша давно не припомню.

Ирбе мрачно уставился в пол.

— Сколько же я должен? — с трудом произнес он.

— Ах, об этом не стоит больше говорить! — Йенсен махнул рукой. — Мы ведь еще вчера за все рассчитались.

— Я расплатился?

— Да, это в порядке. Как самочувствие? — спешил Йенсен повернуть разговор на другое.

— Идиотское...

— Ничего, я велю принести бутылку белого. Теперь пойду проведаю Нильсена. Он был не лучше тебя. Эх, ребята, ребята!

Отечески похлопав по спине Ирбе, Йенсен молниеносно исчез в дверях.

Ирбе стал шарить в карманах, вытащил кошелек и записную книжку, потом вывернул карманы наизнанку, осмотрел пиджак, пальто. После самых тщательных поисков набралось около двух шиллингов мелочи. Он недоумевающе взглянул на Волдиса.

— Все подчистую, верно? — спросил Волдис.

— Да... Но как же это могло получиться? Я совсем не так уж безумно пил. Не помню, чтобы и с улицы кого-нибудь приглашал. Йенсен сам привел какую-то девицу и усадил мне на колени:.. Много ли такая девица выпьет!

— И ты веришь его басням? — усмехнулся Волдис. — Эх, ты, головушка! Он сейчас это же рассказывает Нильсену, потом скажет Браттену, наконец — всем. Да, дружок, можешь сколько хочешь рвать теперь на себе волосы — денег тебе не видеть как своих ушей!

— Скотина проклятая! Я из него душу вытряхну.

— Может, ты это и сделаешь, но вряд ли получишь свои деньги.

— Сорок фунтов — это не шутка! Как я мог столько пропить? Шампанского у него нет.

Ирбе в отчаянии рвал на себе волосы и бил кулаками по голове. Наконец он повернул искаженное горем лицо к Волдису.

— А ты, почему ты, черт тебя дери, допустил это?! Неужели не мог увести меня? Хотя бы насильно... Почему не удержал меня?

— Тебе вчера сам черт не брат был, и близко не подступишься.

— Проклятый Йенсен!

Пошумев с полчаса, Ирбе наконец протянул Волдису руку.

— Пусть это будет в последний раз. Теперь в рот не возьму ни вина, ни пива! Не веришь? Увидишь.

— Хорошо, — сказал Волдис, пожимая потную руку друга. — Попробуем пожить по-человечески. А трудно не будет?

— Не будет. Только ты держи меня в руках.

* * *

Они не вернулись больше на «Уэстпарк». Сразу же после разгрузки пароход ушел на капитальный ремонт в док по меньшей мере месяца на два.

Кончались три оплаченные недели, но никаких перспектив еще не намечалось. Финн Каннинен устроился на пассажирский пароход конголезской линии. Нильсен нашел себе место на норвежском моторном судне.

Йенсен ежедневно заходил поговорить с Волдисом и Ирбе. Чем ближе подходила к концу третья неделя, тем он становился предупредительнее. Он пронюхал, на каких парусниках и каботажниках всегда можно получить место. Волдис пока отклонял предложения, в надежде дождаться парохода, направляющегося в Северную Америку.

Несколько раз он наведывался в контору Ред Стар Лайн, беседовал с береговым капитаном этого общества. Шансов было мало: в конторе Ред Стар Лайн было зарегистрировано несколько сот кандидатов на вакансии,

а когда в порт прибывал один из гигантов этого пароходства, редко кто покидал его.

В профсоюзе опять состояло на учете несколько тысяч безработных.

Ирбе, уже давно сидевший без единого гроша, становился все беспокойнее.

— Сколько мы еще будем ждать? Надо сделать рейс хоть на этих самых «недельниках».

— Ну их к дьяволу! — отверг Волдис это предложение.

Когда прошли три недели и Йенсен начал открыто выказывать свое недовольство, Волдис уплатил за обоих еще за две недели вперед. Опять ходили, расспрашивали, ждали.

На худой конец работу найти можно было, местные шахты всегда нуждались в рабочих; иногда гонимые голодом моряки группами направлялись туда. Но выдерживали они там не больше двух недель и возвращались в порт изнуренные, полные мрачных воспоминаний о нечеловеческих условиях труда в шахтах.

Жертвами этих шахт чаще всего становились легкомысленные подростки, тайком, в пароходных бункерах, прибывавшие сюда из Риги и других портов. Без денег, не зная языка, без каких-либо документов моряка, они не могли останавливаться в бордингхаузах или искать себе места на судах, в союз их не принимали — они никому не были нужны. Испробовав все способы, они в конце концов продавались за бесценок в шахты.

Когда прошли и вновь оплаченные две недели, Ирбе категорически отказался принимать помощь от Волдиса.

— Сколько времени я буду жить на твой счет? Ведь придется же когда-нибудь рассчитываться. Если ты не хочешь — оставайся на берегу; я пойду на каботажник.

Они договорились сделать рейс через канал и на заработанные деньги опять жить в Антверпене, пока не подвернется настоящий пароход, и сообщили о своем намерении Йенсену. Тот заметно оживился и на следующий же день подыскал им судно.

«City of Hull»[1] — так назывался маленький, крайне запущенный «англичанин», который в течение месяца трижды курсировал по каналу от Антверпена до

[1] «Город Гулль» *(англ.)*.

Ньюпорта и обратно. Это была грязная посудина водоизмещением в тысячу четыреста тонн, предназначенная для перевозки руды и угля. Все было в угольной пыли; палубы, стены кают, шлюпки, иллюминаторы — все покрывала ржавчина, которую никогда не оббивали; пароход ни разу не ремонтировался. С тех пор как он был построен, его беспрестанно, год за годом, гоняли из рейса в рейс.

Чтобы грязь не бросалась в глаза, пароход окрасили в черный и темно-коричневый цвета. Как закопченный чайник, носился он по морям, и его обмывали лишь дожди в бурю.

В кубриках творилось что-то невообразимое: сплетенные из проволоки жесткие койки, голые, без деревянной обшивки, вечно запотевшие железные стены, с которых стекала вода, крохотные иллюминаторы, забитая золой печка.

Люди здесь были такие же грязные, как и сам пароход. Они не брали с собой смены одежды и белья и неделями ходили в нестиранных комбинезонах. У штурманов, как и матросов, вокруг глаз лежали черные тени от угольной копоти. Капитан, правда, носил гуттаперчевый воротничок, но он был буро-пепельного цвета и почти не отличался от загорелой шеи.

Здесь каждый сам должен был заботиться о своем питании. Деньги на питание входили в заработную плату, и их выплачивали на руки, — каждый мог покупать и есть, что хочет. Поэтому по приезде в порт все возвращались с берега на пароход нагруженные караваями хлеба, мясом и консервами. Даже посуду нужно было брать с собой.

На пароходе, правда, был кок, но он готовил только для капитана, команде варили лишь кофе. Поэтому в камбузе всегда толпились люди, которые что-нибудь жарили, варили, подогревали. Нечего и говорить, что этот способ ведения хозяйства был очень неудобен. Было и другое, худшее неудобство: получив деньги на продукты, многие забывали запастись продовольствием и пропивали все за один вечер. После этого они дня два-три в море жили тем, что оставляли товарищи, или просто голодали. Капитан всегда держал небольшой запас разных продуктов: сало, консервы, сахар, сухари и продавал их нуждающимся по очень высоким ценам.

Палуба парохода была открытая, чтобы удобнее было насыпать и выгружать уголь и руду. На погрузку требовалось не больше одного дня, и маленькая калоша была готова к отплытию. Через полторы недели друзья уже возвращались в Антверпен. Еще через два дня Волдис поддался уговорам Ирбе и согласился сделать еще один рейс на каботажнике.

Человек привыкает ко всему: после второго рейса маленький каботажник совсем уже не казался таким страшным, и в конце концов друзья сделали на «Сити оф Гулль» пять рейсов.

Опять наступила осень. Начались штормы. На маленьком суденышке жизнь сделалась невыносимой: в штормовую погоду каюты наполовину затопляло водой, так что на нижних койках спать было невозможно. Ирбе прикопил немного денег, выплатил свой долг Волдису, и друзья опять поселились у Йенсена.

Несмотря на любезные приглашения Йенсена, они ни разу не спустились вниз, в пивную. Люди приезжали, шумели целыми ночами, кассовая книга Йенсена заполнялась столбиками цифр, а оба латыша держались обособленно. Многие, глядя на них, подсмеивались, но они отвечали на это оскорбительным равнодушием.

Друзья проводили томительно тянувшееся время в разговорах о жизни в других странах, — мысленно они обращались к Востоку, где вырисовывались величественные очертания Страны Советов. Самим им не представлялась возможность попасть в эту великую страну. Может быть, несколько позже... когда-нибудь... За Атлантическим океаном лежала другая страна, о которой среди моряков ходили всякие соблазнительные слухи, — страна доллара, стиральных машин и сказочного богатства. И попасть в эту страну было легче: множество пароходов ежедневно отправлялось туда. Может быть, попытать счастья? Может быть, и они очутятся в числе баловней судьбы и найдут там золотое руно?

В результате всех этих мечтаний они намеренно упустили возможность устроиться на шведский пароход, направлявшийся в Средиземное море.

* * *

В середине ноября прибыл латвийский пароход «Виестур» водоизмещением в шесть тысяч тонн. Перед выходом в море ему понадобились три кочегара и один трюмный.

Пароход был зафрахтован в Нью-Йорк.

И хотя платили здесь вдвое меньше, чем на английских и шведских пароходах, Волдис и Ирбе, ни минуты не колеблясь, подписали договор с капитаном «Виестура».

Наконец-то открылся путь в землю обетованную...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На «Виестуре» все три хозяйственные должности — стюарда, кока и уборщицы — занимали женщины.

Обязанности кока выполняла пожилая женщина, вечно утомленная, флегматичная и неопрятная. Находить в тарелке с кушаньем женские волосы стало настолько обычным явлением, что этому никто уже не удивлялся.

Стюардесса была моложавая женщина, очень кичившаяся своим привилегированным положением: капитан, пожилой холостяк, предоставил ей большую свободу в хозяйственных делах. От дурного или хорошего настроения этой спесивой дамы зависело качество обедов и ужинов. Случалось, что она трижды в день подавала селедку — то жареную, то соленую с луком; иногда целую неделю подряд пичкала весь экипаж (исключая, конечно, капитана) всякими кашами — манной, рисовой, мучной «болтушкой» с салом. Капитану и себе она готовила отдельно, и всегда что-нибудь получше. Часто для супа выдавали мясо с таким душком, что его впору было только за борт выбросить, но стюардесса категорически запрещала такое неслыханное расточительство: по ее мнению, мясо можно было провернуть через мясорубку и приготовить отличные котлеты или фрикадельки.

Вполне понятно, что вся команда, не исключая штурманов и механиков, смотрела на эту женщину с открытой неприязнью. Пробовали говорить об этом с капитаном, но безуспешно: капитан относился к ней благосклонно, так как она сохранила еще некоторую миловидность.

Уборщицей была совсем молоденькая девушка. Неко-

торые величали ее мадемуазель Жения, другие звали просто Женией. Занятая выполнением своих многочисленных обязанностей, она носилась из одной каюты в другую, выколачивала дорожки, убирала постели, мыла полы, наливала в графины воду. Свободное время она проводила в камбузе, помогая кухарке чистить картофель и рубить мясо.

Иногда к ним присоединялась и стюардесса. И тут начиналось стрекотанье, перешептывание, сплетни — доставалось решительно всем; все, что ни происходило на пароходе, на следующий день становилось им известным.

Многие были недовольны присутствием женщин на судне, и больше всех — старый дункеман.

— Бабы на пароходе — это непорядок, — ворчал он. — Ты еще только собираешься сказать слово, а эхо уже раздается по всему пароходу. Да и потом — что это за порядок: где кок мужчина — обед всегда готов вовремя, а здесь — когда кухарке заблагорассудится. Мужчину ты можешь выругать, а этим барышням скажешь словцо покрепче — захнычут да потом еще осрамят тебя.

Действительно, порядка не было. Иногда обед подавали за четверть часа до окончания обеденного перерыва, и приходилось наскоро, обжигаясь, глотать его, чтобы успеть вовремя поесть. В злоупотреблении своим влиянием стюардесса зашла так далеко, что начала распоряжаться штурманами: господин капитан приказал то-то и сказал то-то! От нее зависело, кто сколько получал аванса. Матросы шли сначала к ней, излагали свои «неотложные» нужды, заискивали и угождали, затем она говорила с капитаном, и ее ходатайства имели неизменный успех.

Темными осенними ночами трюмные, разгружая шлак и золу, иногда видели, как чья-то фигура в накинутом на плечи пальто пробиралась по коридору к каюте капитана. Эти ночные посещения ни для кого не были секретом, о них говорили совершенно открыто, с легким оттенком презрения, но не без зависти. Ведь стюардесса как-никак была женщина и в дальнем плавании по океану могла покорить сердце не одного моряка.

Насколько осложняется жизнь на море, когда на пароходе находится женщина, в скором времени убедился Ирбе. Волдис заметил, что его друг все дольше

задерживается в камбузе. Он с удовольствием болтал с Женией. Часто после ужина, когда девушка кончала уборку кают-компании, Ирбе заходил в каюту, где жили Жения с кухаркой. Не думая о предстоящей вахте, он проводил там без сна все свободные часы. Когда кухарка начинала ворчать, что ей мешают спать, они с Женией выходили на палубу.

Однажды Ирбе перегружал уголь в бункер, грохот тачки раздавался чуть не на весь пароход. Поглощенный работой, он не слышал, как в межпалубное помещение вошла Жения. Коптилка чадила, и Жения фыркнула носом.

— Ой, как здесь темно! — тихо воскликнула она. — Здесь нет крыс?

— Сколько угодно! — отозвался Ирбе. — Хочешь посмотреть?

Нет, крыс она не хотела видеть.

— Тебе далеко возить уголь?

— О да, видишь в том углу кучу? Когда перевезу ее, придется лезть с лопатой в бункер.

Он высыпал уголь в люк бункера и, скрипя колесом тачки по угольной крошке, исчез в темном углу. Жения побоялась остаться одна, — ведь здесь было так много крыс, — она пошла за Ирбе. Грохот тачки стих.

Немного спустя на палубу вышел Волдис, кончивший свою вахту. Он вытирал лицо, всматриваясь в ночную темноту, откуда доносились мерные вздохи спокойного, величественного моря. Мимо него прошла женщина.

— Добрый вечер, Жения! — поздоровался Волдис.

Девушка остановилась. Ее лицо осветила электрическая лампочка, — оно было выпачкано угольной пылью.

— Где это вы были? — расхохотался Волдис.

— А что? — удивленно откликнулась Жения.

— Посмотрите на свое лицо.

— Ах, вот что! Видите, у нас в камбузе вышел весь уголь. Ходила в межпалубное помещение узнать, нет ли там угля.

— Почему же вы ничего не сказали нам, кочегарам? Мы бы вам подняли несколько ведер.

— Правда? Мне и в голову не пришло...

Жения еще не раз появлялась на палубе с измазанным лицом, а посреди недели ей пришлось устроить стирку.

— Не понимаю, что это за пароход! — жаловалась она кухарке. — Все пылится, все грязнится, ни к чему нельзя притронуться.

— Уж известно — угольщик... — вздохнула кухарка, почесав голову; несколько волосков при этом упало в котел с супом...

* * *

Это случилось по ту сторону океана, вблизи Ньюфаундленда, через несколько дней уже должны были показаться огни лонг-айлендских маяков. На пятнадцатый день плавания запели ванты корабля и антенна, мощные порывы ледяного ветра всколыхнули гладкую поверхность океана и началось сильное волнение. Ветер, днем достигавший лишь шести-семи баллов, к полуночи задул с силой до одиннадцати баллов. К восходу солнца он немного стих, чтобы затем превратиться в настоящий шторм.

Нечего было и думать о дальнейшем движении вперед. Судно развернули против ветра и под неполным паром удерживали против бушующих волн, которые одна за другой перекатывались через палубу. Женщины ходили бледные и растерянные, мужчины отчаянно ругались.

Около полудня гигантская волна скрыла под собой носовую часть парохода и сорвала переднюю обшивку капитанского мостика. Радист поймал сигнал «SOS»: в нескольких милях к северу тонул большой норвежский пароход; он лишился винта, и шторм кидал его во все стороны.

Офицеры наблюдали в бинокли с капитанского мостика «Виестура» за отчаянной борьбой парохода с разбушевавшейся стихией. Норвежцы сигнализировали флажками, можно было различить фигурки людей, машущих шапками и платками.

«Виестур» повернул к северу и через полчаса подошел к «норвежцу» на расстояние в двести метров. Подойти ближе было небезопасно: нечего было и думать о том, чтобы в такую волну спустить спасательные шлюпки.

«Виестур» держался вблизи «норвежца» больше часа. Вскоре пароход исчез в волнах — очевидно, крышки

люков не выдержали. Несколько минут на этом месте бурлил водоворот, бушевавшие волны выбросили на поверхность доски, спасательные круги и шлюпку — и опять, насколько хватал глаз, на всем необозримом водном пространстве «Виестур» остался один.

Кочегары спали теперь или возле машины, в кладовой или около трубы, наверху, на котельных решетках. Добраться до кубрика было невозможно: на палубу то и дело обрушивалась масса воды, погребая под собой люки, лебедки и поручни. Койки в кубриках намокли.

Так прошел день. Бушующий океан погрузился во мрак. Всю следующую ночь буря завывала, как громадная стая волков. Наступило утро. Отстояв вахту, Волдис с Ирбе вышли на палубу. Мимо них взволнованно бегали люди. По выражению их лиц и жестам можно было догадаться, что случилось что-то ужасное.

Второй штурман промчался мимо Волдиса к машинному отделению. Вскоре после этого машина дала полный ход, и пароход повернулся кормой против ветра.

— Что случилось? — спросил Волдис у боцмана, бежавшего куда-то с молотком в руке. Тот махнул рукой и не ответил.

Из кают-компании высунула голову Жения, кивнула парням. Ирбе не заставил себя просить, Волдис последовал за ним. Жения сообщила жуткую новость: во втором люке волной вырвало клинья, теперь срывает брезент, каждую минуту люки могут оголиться. И тогда...

Они понимали, что это означало: сильной волной могло сорвать крышки со всех люков, а следующей затопить трюмы, — и тогда конец всему.

Люди взволнованно бегали с молотками и мешками с землей для заделывания пробоин. Все подошли к трапу, но никто не решался спуститься вниз на палубу, через которую то и дело перекатывались океанские волны. Штурман уговаривал матросов. Боцман с плотником собрались спуститься вниз и снова отступили, качая головой и дрожа, как лошади на краю пропасти.

Каждая просроченная минута могла оказаться роковой. Первый штурман сбежал с мостика и, обозвав всех трусами, хотел было кинуться вниз, к люкам, но потом вспомнил, что забыл надеть пробковый жилет, и поспешил вернуться за ним. Волны, перегоняя одна

другую, тяжело перекатывались через палубу. Скрипели железные поручни, трещали заклепки.

Не успел еще штурман возвратиться, как какой-то человек подошел к трапу. Это был Ирбе. Он с минуту смотрел на все происходящее. Жения, стоя рядом с ним, рыдала.

— Боже мой, что только будет! Что только будет! Мы утонем!

Она рыдала... Девушка, которая приходила к Ирбе в бункер! Ирбе вспомнил, что у котла сохнет какой-то канат, побежал туда, взял его и вернулся к трапу. Обвязав себя одним концом каната, он взял молоток, несколько клиньев и спустился вниз на палубу. Матросы держали другой конец каната.

Это были жуткие минуты. Ирбе, все время стоя по пояс или по грудь в воде, загнул края брезента и начал забивать клинья. Временами он поглядывал наверх, на матросов, и, смеясь, что-то кричал им, но рев ветра и шум воды заглушали его голос. Забив последний клин, Ирбе ощупал остальные, намеренно задерживаясь, так как заметил наверху, за спинами матросов, лицо Жении: в глазах девушки он прочел ужас и восхищение.

Ирбе неторопливо обошел еще раз вокруг люка, ощупал клинья, ударил по некоторым молотком. Он находился шагах в шести от трапа, когда на корабль обрушился «девятый вал». Шел он сбоку, закрыв собой солнце и небо, поднимаясь выше боковых сооружений капитанского мостика.

Забыв о полных восхищения глазах девушки, Ирбе бросился вперед, чтобы ухватиться за перила трапа, но пальцы его поймали воздух — он летел. Кругом крутились зеленые вихри, а Ирбе крепко сжимал в руках молоток, — он перестал что-либо понимать, ничего не видел, только пальцы его все крепче стискивали молоток.

Когда водяная лавина перекатилась через корабль, люди, державшие канат, почувствовали, что он ослабел, — канат перервался, как нитка. Ирбе уже не было на палубе. Спустя минуту он показался вдали, на белом гребне волны. Лица его нельзя было различить, так как облака закрыли солнце и над морем царили сумерки.

Волдис схватил спасательный круг и, размахнувшись изо всей силы, кинул его в море. Ветер подхватил круг,

и он упал в воду метрах в сорока от корабля. Но Ирбе был уже далеко в море. Еще раз показались его плечи над гребнем волны — и он исчез в пучине...

В честь человека, уже не существовавшего и не нуждавшегося в этой почести, на мачте приспустили флаг.

Гибель Ирбе произвела гнетущее впечатление на Волдиса. Мрачный и молчаливый, он делал свое дело и думал о том, как жестоко обманула судьба его друга: скоро, совсем скоро должны были показаться берега Америки, той земли обетованной, к которой так стремился Ирбе... Но его поглотила морская пучина, и он никогда не увидит эти берега...

На следующую ночь, когда буря утихла, Волдис поднялся на шлюпочную палубу, откуда открывался более широкий горизонт. Местами уже виднелись сигнальные огни каботажных судов. Скоро должен был показаться берег Америки. Стоя на палубе, Волдис видел, как Жения вошла в кубрик радиста. Волдис хотел попросить у нее несколько книг, которые она взяла из дому, и остался ждать ее.

Иллюминаторы кубрика были задернуты тонкими шторами, сквозь которые пробивался свет. Вскоре электрическая лампочка погасла, и кубрик погрузился в темноту. Жения не возвращалась.

«Так, мой друг... — грустно подумал Волдис, вспоминая дружбу Ирбе и Жении. — Скоро же тебя забыли. Стоило ли демонстрировать перед ней свое мужество?»

Он так и не попросил у Жении книгу.

* * *

На двадцатый день «Виестур» подходил к Нью-Йорку. Над морскими просторами поднимался гигантский факел статуи Свободы. За ней возвышались высокие строения двадцатого века — нью-йоркские небоскребы, сверкающие своими стеклами днем, ночью они горели, как стоглазые чудовища. Здесь трепетал жизненный нерв мирового капитала. Здесь сконцентрировалась величайшая алчность на всем земном шаре.

Пароход остановился в Бруклинском доке. Вдоль набережной тянулись громадные элеваторы и товарные склады, дымили многочисленные ближние и дальние



заводы, и ветерок, дувший со стороны Нижней бухты, разносил темно-серые облака по всему городу.

Потрясенные внушительными размерами современного Вавилона, матросы «Виестура» совсем было забыли о новой несправедливости, возмущавшей их всю эту неделю: стюардесса опять осчастливила стол младшего персонала тухлым мясом. В начале пути она скупилась и дождалась того, что целая туша загнила и покрылась зеленоватым налетом, а теперь она с непривычной щедростью несколько раз в день подавала на стол невиданно большие порции гнилого мяса.

Люди морщились, их тошнило, они не ели, но говорить ничего не решались, понимая, что в таком дальнем рейсе все может случиться. Они надеялись, что в Нью-Йорке их мучения прекратятся.

Шипшандлеры в первый же день стали осаждать стюардессу. Она заказала хлеб, овощи, разную мелочь — все, кроме мяса, его еще было достаточно. Вечером в тарелках опять дымились вонючие куски падали. То же повторилось и на следующий день.

— Это просто невыносимо! — швырнул за обедом Волдис ложку. — Мы не гиены, чтобы питаться падалью!

— Сегодня можно было бы подать что-нибудь посвежее! — сдержанно проворчал кочегар Роллис.

— Погоди, ты еще всю неделю будешь давиться этой дрянью, — сказал Круклис, уже два года плававший на «Виестуре». — Я эту бабу хорошо знаю: она ничего не закупит до тех пор, пока все старые запасы не будут съедены. Не нравится — иди покупай на свои деньги.

Волдис встал и застегнул блузу.

— Кто пойдет со мной к капитану? — обратился он к товарищам. — Снесем это мясо и суп в салон и дадим ему отведать.

— Это не поможет, — махнул рукой Круклис. — Капитан будет защищать стюардессу. С ним уже не раз говорили.

— Тогда сходим на берег к санитарному офицеру! — не отступал Волдис.

— А это другое дело! И позови кого-нибудь из матросов, чтобы не подумали, что только мы, черные, бунтуем.

Матросы с готовностью согласились принять участие в делегации протеста.

Торжественное шествие из четырех человек направилось в салон. Впереди шел Волдис, церемонно неся миску с мясом, за ним один из матросов нес чашку дымящегося супа, от одного запаха которого становилось дурно, потом шагал Круклис с другой чашкой супа. Шествие замыкал маленький матросик Биркман с чистой ложкой и вилкой в руках.

Капитан в этот момент лакомился блинчиками с завернутыми в них вареными сосисками. Стюардесса ушла в камбуз.

— Что это такое? — капитан изумленно посмотрел на вошедших.

— Господин капитан, просим вас попробовать это мясо и суп! — сказал Волдис.

— Да? А в чем же дело? — капитан вытер салфеткой усы и встал.

Биркман подал ему ложку и вилку. Капитан зачерпнул супу, подул на него и, маленькими глотками опорожнив ложку, облизал губы и на несколько мгновений о чем-то задумался, как бы проверяя, какое действие окажет теплая жидкость на его желудок.

— Гм... Мне кажется, соли маловато.

— И больше ничего? — спокойно спросил Волдис.

— Нет, суп очень вкусный. Надо только сказать кухарке, чтобы она побольше солила.

— Будьте так любезны, господин капитан! — Волдис протянул ему миску с мясом. — Попробуйте этот кусочек.

Кусок мяса, предложенный капитану и неторопливо им съеденный, был совершенно зеленый. Но на лице капитана не дрогнул ни один мускул, только челюсти двигались слишком уж энергично. Проглотив кусок, он вытер усы и сказал:

— Вы попросите горчицы и хорошенько солите. Мясо вполне хорошее.

— Горчицы? — наивно изумился Волдис.

— Да. Разве ее нет у вас? Разведите в какой-нибудь кружке, а чтобы не выдыхалась, накройте сверху ломтиком хлеба.

— Благодарим за совет.

Делегация повернулась к выходу. В дверях она столкнулась со стюардессой, которая несла капитану десерт. Женщина злобно посмотрела на матросов.

— Сластены!.. — прошипела она.

Волдис направился прямо к трапу. За ним вереницей, с торжественным и серьезным видом, следовали остальные, высоко подняв перед собой миски. Сойдя на берег, они свернули налево. Но не прошли они и десяти шагов, как с палубы «Виестура» послышался беспокойный голос:

— Куда вы? Куда же вы пошли?

Капитан и стюардесса, не кончив обедать, выбежали на палубу и взволнованно махали один рукой, другая полотенцем. Капитан впопыхах забыл даже снять салфетку с шеи.

— Вы что, оглохли? Почему не отвечаете?

Делегация остановилась.

— Куда вы несете эту еду? — спросил капитан. — Хотите отдать бичкомерам?

— Нет, мы не отравители и поэтому ограничимся санитарным офицером, — ответил Волдис.

— Да вы в уме?! Почему вы мне ничего не сказали? Мы же могли с вами договориться.

Капитан тут же пригласил их в салон, подальше от глаз столпившихся на берегу зевак, привлеченных необычным зрелищем. Отведав пищу вторично, он признал, что суп действительно не совсем удачен, а мясо не исправишь и горчицей.

Вдруг откуда-то появились консервы, свежая рыба и овощи, а стюардесса сделалась до приторности любезной и ласковой. Но жестоко ошиблись те, кто думал, что гниющую говядину теперь выбросят за борт: стюардесса засыпала толстым слоем соли оставшийся кусок мяса и убрала его в ледник.

— На обратном пути сожрут, — заявила она капитану.

Дункеман видел процесс засолки. Как-то вечером, встретив на палубе стюардессу один на один, он пригрозил ей:

— Берегись, стерва! Если нам в море придется есть эту падаль, мы тебя выбросим за борт!

Но его угроза не испугала стюардессу.

Когда на следующий день люди начали выпрашивать

у капитана аванс, у него вдруг заболела левая рука, да так, будто его параличом разбило. Руку он держал на перевязи. Стюардесса опекала его, как больного ребенка, и никого не впускала в салон. Когда самые решительные матросы столпились у двери, она принялась бранить их:

— Вы с ума сошли! Хотите человека в могилу вогнать? Вы же видите, капитан болен, его нельзя беспокоить.

Болезнь капитана затянулась, он как будто и не собирался выздоравливать. Людям приходилось обходиться без денег. Один Круклис понимал, что все это означает.

— Раз рука на перевязи, у старика что-то на уме, — говорил он.

— Почему? — не понимали остальные. — Какая же здесь связь?

— С его рукой творятся прямо чудеса, — рассказывал Круклис. — Я третий год плаваю с этим капитаном, и за это время у него шесть или семь раз болела рука. И всегда в такое время, когда капитан хочет от чего-нибудь увильнуть. Прошлой зимой у нас в Роттердаме истек срок договора, нужно было заключать новый, на тот срок, пока не приедем в Латвию. Мы потребовали плату по английским ставкам. Старик чуть не взбесился. «В своем ли вы, говорит, уме: просить оплаты по английским ставкам на латвийском судне? Если, говорит, не хотите подписывать договора, можете списаться на берег, а я наберу новую команду». А мы как раз только того и ждали, чтобы нам дали расчет и отпустили на берег, потому что в Роттердаме тогда можно было устроиться на самые лучшие суда. Старик понял, что расчетом нас не запугаешь, и разыграл больного: у него вдруг разболелась рука, вот как и теперь. Он заперся в каюте, и стюардесса никого к нему не пускала; только велел передать, что с договором уладим дело, когда придем в Ньюпорт, — там, мол, есть латвийский консул. Ну, мы решили: чего мучить больного человека, все равно свое возьмем. Но как только вышли в море, рука у капитана, как по волшебству, сразу стала здоровой. А у ньюпортских шлюзов он опять стал носить ее на перевязи, и стюардесса охраняла его дверь и на всех рычала.

— Ну, и вы пошли в Ньюпорте к консулу? — спросил кто-то.

— В Ньюпорте? Там кочегары запили, и было не до бунта.

— Какого же дьявола он теперь добивается? — задумчиво сказал Роллис.

Круклис засмеялся:

— Что же здесь непонятного? Старик боится, что ребята зададут стрекача. Ведь это Америка... Но кто же захочет оставить заработанные деньги?

«Ну, это еще вопрос, кто как на это посмотрит...» — подумал Волдис.

* * *

У маленького Биркмана жил в Бруклине дядя, и племянник вел с ним оживленную переписку. Дядя писал о себе замечательные вещи: у него есть собственный автомобиль, прекрасная квартира с ванной; он берет подряды на строительные работы, и у него всегда в подчинении много народу.

Биркман уже давно мечтал попасть к дяде. Доллары... Теперь он не давал ни минуты покоя Волдису:

— Сходим к дяде, он нам поможет устроиться. Ты знаешь язык, тебе нечего бояться.

На третий вечер после прибытия в порт они отправились на поиски родственника Биркмана.

Через Бруклинский мост устремлялся непрерывный поток людей. Посредине этого потока неслись бесконечной вереницей автомашины. Но это было пустяком по сравнению с тем водоворотом, который теперь, по окончании работы, клокотал в современном Вавилоне.

Кончились портовые строения. Стены домов точно осели. Потянулись длинные, уходящие вдаль улицы. Начались казармы, бесконечные, грязные, мрачные, — улица за улицей, квартал за кварталом. Вопиющая нищета глядела из этих казарм на прохожего. Это напоминало лагерь рабов, раскинувшийся у ног богатого Манхаттана, закружившегося на золотой карусели. И хотя Биркман ни за что не хотел поверить тому, что его дядя — подрядчик, имеющий собственный автомобиль и квартиру с ванной, — мог жить в такой дыре, они разыскали его в верхнем этаже именно одной из этих жалких казарм.

Дядя не узнал Биркмана, и Биркман не узнал дядю. Они не виделись двенадцать лет. Американский дядя был очень изумлен, но его изумление нельзя было назвать радостным. Он растерянно ввел пришельцев в довольно скудно убранную комнату и познакомил с женой, маленькой латышкой, которую он только недавно выписал из Лиепаи. Гости сели на сильно потрепанный диван.

Сразу завязался деловой разговор.

— Вы, вероятно, хотите остаться в Америке? — начал дядя. — Можно попытаться. Здесь не хуже, чем в других местах.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что он старший рабочий в обыкновенной артели маляров. В артели кроме «принципала» работает еще шесть человек, все латыши, бывшие моряки. Когда строительный сезон кончается, сезонные рабочие обычно остаются без работы. Они большими партиями уезжают в другие города и штаты, на строительство новых железнодорожных линий, дамб и домов. В зимние месяцы Биркман со своей артелью уже несколько лет подряд ездит на юг и работает на ремонте дач богачей.

— Если вы захотите поехать с нами во Флориду, то недели через две мы можем отправиться, — сказал он своим гостям.

Если захотят! Они были готовы хоть сейчас покинуть судно. Через несколько часов оба парня в приподнятом настроении вернулись в порт.

Флорида!

Только на минуту маленький Биркман вдруг усомнился: «А есть ли у дяди на самом деле автомобиль, о котором он писал?»

После всего, что он сегодня увидел в кирпичной казарме, у него зародились сильные сомнения в зажиточности дяди. Не выходили из головы старый просиженный диван и пожелтевшие занавески на окнах.

. . . . . .

Напрасно на этот раз капитан носил руку на перевязи: на «Виестуре» нашлось девять сорвиголов, которые, оставив в залог заработанные деньги, накануне выхода судна в море покинули его.

Одним из этих девяти был Волдемар Витол.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дядя Биркмана раньше много лет служил на пароходах боцманом и научился смешивать краски и орудовать кистью. В Америку он попал в первые годы мировой войны, и ему удалось избегнуть всех ужасов и лишений, связанных с войной, с которыми пришлось познакомиться его товарищам, оставшимся в европейских водах. Некоторое время он работал на больших судостроительных верфях в Балтиморе, красил новые пароходы. Потом земляки, с которыми он вместе плавал, уговорили его перебраться в Нью-Йорк. Он поселился в Бруклине и опять стал работать маляром, — эта профессия оказалась на суше самой подходящей для моряка. Освоившись немного, он познакомился с одним подрядчиком-латышом, эмигрировавшим в 1905 году в Америку. Биркман основал свою малярную артель и стал выполнять различные мелкие заказы. Иногда в разгар строительного сезона ему с товарищами удавалось получить даже малярную работу на строительстве небоскребов, хотя обычно туда принимали только членов профессионального союза, вступить в который Биркману, к сожалению, до сих пор не удавалось.

Они работали на головокружительной высоте над землей, внизу зияла бездонная пропасть улицы. Не каждый мог это выдержать; маляры должны были иметь железные нервы, и тогда им удавалось заработать пять, шесть, иногда даже десять долларов в день.

Несмотря на сравнительно хорошие заработки, материальное положение Биркмана и его товарищей было незавидным. У Биркмана действительно была собственная автомашина, в существовании которой его скептически настроенный племянник напрасно сомневался. Однако старая фордовская коробка, продемонстрированная гостям «строительным подрядчиком» Биркманом, совершенно не походила на бесшумно скользящие лимузины, подобно муравьям шныряющие по Бродвею и Пятой авеню. Автомашины подобной конструкции, возможно, были в моде до войны, но сейчас она со своим широким кузовом, поставленным на несоразмерно узкие колеса, походила на Клеопатру с ногами аиста.

Квартира Биркмана с ванной и электрической кухней во всех мелочах напоминала квартиры соседей. Шаб-

лон был достигнут в совершенстве. Самая ничтожная мелочь напоминала такую же принадлежность у соседей. Если бы кому-нибудь пришло в голову украсть или обменять свой шкаф на шкаф соседей и он бы перетащил его через коридор в свою квартиру, никто бы не смог доказать, что это не его собственность. Так как трафарет царил и в распланировке комнат, мог произойти и такой курьез, что Биркман, зайдя по ошибке в квартиру своего товарища по работе, Брувелиса, в первый момент даже не заметил бы этого.

Устроив свою жизнь, Биркман выписал себе из Латвии жену. Несмотря на то что они прежде не были знакомы и в день свадьбы встретились впервые, они привыкли друг к другу и, живя вместе, стали во всем повторять образ жизни своих соседей. У них был старый «форд», был патефон; иногда они ходили в кино или к знакомым и знакомые приходили к ним. В этом заключалась вся их общественная жизнь, стоившая им притом довольно дорого. Кроме того, они имели сберегательную книжку, которую перелистывали по воскресным утрам. Они были сыты, не ходили оборванными, отложили и кое-какие сбережения на черный день. К большему они и не стремились.

* * *

После ухода с «Виестура» Волдис с маленьким Биркманом временно поселились у его дяди. Им на двоих дали небольшую комнату, в окно которой виднелся тесный двор жилой казармы. Здесь им предстояло провести неделю, пока артель готовилась к отъезду на юг.

Знакомый Биркмана, подрядчик, заканчивал еще кое-какие дела в Нью-Йорке, поэтому маляры пока были без работы.

Узнав о появлении новых земляков, к Биркману один за другим наведывались его товарищи, и Волдису приходилось рассказывать все, что он знал о жизни на родине. Все эти люди выехали из Латвии в годы мировой войны и не потеряли еще связь с родными и друзьями.

Первый, с кем Волдис познакомился поближе, был серьезный, сдержанный Брувелис. Его квартира из двух комнат находилась в том же доме, где жил Биркман, только этажом ниже. Брувелис был маленький подвиж-

ной человек, лет тридцати. Он больше других интересовался тем, что происходило за пределами его домашнего круга, — читал газеты и книги, следил за международными событиями. Вместе со своим шурином-каменщиком, уроженцем Лиепаи, он приобрел подержанную автомашину, не очень шикарную, но и не такую жалкую, как «форд» Биркмана.

Как-то утром он поднялся наверх и пригласил Волдиса прокатиться по городу. Волдис охотно согласился. Они несколько часов ездили с умеренной скоростью по широким улицам, разглядывая гигантские небоскребы. В одном месте они обратили внимание на стальной каркас строящегося двенадцатиэтажного здания.

— Через месяц в нем будут жить люди, — сказал Брувелис. — Здесь любое здание строят в несколько месяцев. С этой стройкой немного запоздали, потому что строительный сезон близится к концу.

— На этих стройках, вероятно, хорошо зарабатывают? — спросил Волдис.

— Да, во время сезона можно сорвать доллар-другой. Тогда работа идет дьявольскими темпами, ежедневно приходится работать сверхурочно. Но не каждого допускают на эти стройки. Все подобные работы захвачены профсоюзом.

— Почему вы не вступаете в союз?

Брувелис рассмеялся:

— Вы думаете, туда так легко попасть? Туда принимают не всякого, кто захочет вступить в союз. Приезжим, вроде нас, почти невозможно стать членом союза, вступительные взносы так велики, что не каждому по карману. Кроме того, необходимо, чтобы соответствующий отдел союза согласился принять вас. Мой шурин — первоклассный каменщик. Несколько лет назад он решил вступить в союз, но сколько ему пришлось помучиться! Он давал взятки и секретарю, и отдельным влиятельным членам союза, истратил все свои сбережения, — и его приняли только потому, что в тот момент был большой спрос на каменщиков.

— А окупилось все это?

— Конечно. За одну и ту же работу член союза получает вдвое больше, чем сутсайдер, то есть неорганизованный рабочий. Это настоящая рабочая аристократия. Мы, оставшиеся за бортом, можем рассчитывать лишь

на такую работу, которая не по вкусу членам союза или которую они в сезонной горячке не в состоянии выполнить.

Волдис понял, что и ему грозит перспектива стать парием и довольствоваться объедками со стола рабочих-аристократов.

— Как же эти союзы могут сколько-нибудь улучшить положение рабочих или по крайней мере сохранить теперешний уровень, если они избегают приема новых членов? — спросил он немного погодя, когда на каком-то перекрестке им пришлось обождать несколько минут.

— Задача здешних профсоюзов — не враждовать с предпринимателями, а полюбовно договариваться с ними.

Брувелис привел несколько примеров. Организоваться — означало избежать нежелательной конкуренции. Сравнительно немногие избранные замыкались в профсоюзах, они ограничивали прием новых членов и тогда, на основе известного компромисса с капиталистами, хлопотали о привилегиях для своих членов — о преимущественном праве на получение работы и заработка. Эти союзы, так сказать, снимали сливки заработков: выгодную работу забирали себе, а невыгодную оставляли прочему пролетариату.

Волдис увидел этот прочий пролетариат в тот же день. Проехав роскошные авеню Манхаттана, они очутились в отталкивающих трущобах, где жили парии большого города. Мрачной чередой перед глазами Волдиса Витола промелькнули негритянские, итальянские, еврейские, китайские кварталы, один другого беднее, грязнее и несчастнее. Трудно было себе представить, что где-нибудь в мире можно одновременно увидеть столько лохмотьев, истощенных детей и униженных людей, как здесь. Там было негритянское гетто — Гарлем. В этой стране комнатная собачка белокожей дамы имела больше прав, чем человек, которого природа наделила черным цветом кожи. Каждый негодяй мог его оскорбить, поколотить или убить; самый последний идиот и садист, если только у него была белая кожа, мог себе позволить все что угодно по отношению к негру, и любую подлость белого человека закон брал под свою защиту. Это называлось демократией. Такова была свобода во вкусе и понимании янки, которой они кичи-

лись перед всем миром. В шестистах церквах Нью-Йорка, где гнездилось мракобесие всех оттенков, продажные священники на всех языках мира прославляли эту демократию и эту свободу, пахнущую потом и кровью. И все порядочные люди страны краснели за эту ложь.

Какое счастье мог найти в этой стране приезжий, если он хотел остаться порядочным человеком?

Все виденное смущало Волдиса. Понемногу проходило чувство изумления, охватившее его при виде роскошных ресторанов, клубов и дворцов магнатов, и к нему вернулась способность правильно оценивать действительность. Но контрасты, с которыми он сталкивался в течение одного дня, были так велики и невероятны, что разум не в состоянии был их сразу постигнуть. Право хищника и божественная власть доллара, возросшая до безумия алчность власть имущих — и бездна унижения и бесправия для тех, кто не имел золота.

Волдис понял, что его ожидает: или он должен стать зверем и в кровавой схватке, по трупам других людей пробиться наверх — или остаться внизу и превратиться в бесправного пария, которого хозяева жизни, издеваясь, будут топтать грязными ногами.

Жизнь в современном Вавилоне бурлила, как океан. Звонкая, ослепительная, титаническая — и одновременно мелкая, серая, мелочная жизнь... жестокая и злобная.

Одурев от массы впечатлений, Волдис к вечеру вернулся на квартиру.

В этот день он познакомился с другим товарищем Биркмана — Граудынем, или, как он теперь называл себя и подписывался, Джоном М. Гравдингсом. Когда Волдис вернулся, Граудынь сидел за столом в комнате Биркмана, втянув в плечи бычью шею и выпятив грудь. Ростом он был выше шести футов, светловолосый, немного веснушчатый, широкоплечий и статный. Но в его статности было что-то неестественное, деланное, напыщенное. На вид ему было не больше сорока лет. Покусывая полупотухшую сигарету, он пытливо, с нескрываемым чувством превосходства посмотрел на Волдиса. На столе стояла большая бутылка темного стекла и два стакана. Биркман познакомил Волдиса с Граудынем:

— Джон Граудынь, наш товарищ по работе. Волдис Витол... из Риги.

— Good afternoon[1], — ответил Граудынь на латышское приветствие Волдиса. — How long will you stay here? You don't know? That's no good. You certainly are for first time in New-York?[2]

— Да, в первый раз, — ответил Волдис.

— Very well, that's all right![3] — Граудынь спешил продемонстрировать свои лингвистические способности и продолжал говорить по-английски. — Как вам нравится наш Нью-Йорк и Бруклин? Кем вы были на пароходе, кочегаром или матросом?

— Как когда — то кочегаром, то матросом, — ответил Волдис, которого забавляла неудержимая тяга Граудыня к английскому языку.

— Oh, that's all right![4] А что вы думаете предпринять здесь?

— Это будет видно, когда удастся устроиться.

— Will you drink any whisky?[5] — переменил неожиданно тему Граудынь и указал на бутылку.

— Нет, благодарю вас, — уклонился Волдис.

— Of course, prohibition's friend?[6] — поморщился Граудынь и кивнул Биркману. Они чокнулись и с жадностью осушили стаканы запретного напитка.

Только теперь Волдис заметил, что из всех карманов Граудыня торчат бутылки. Пока двое коллег мирно нарушали «сухой закон», он незаметно выскользнул из комнаты. Жена Биркмана, чем-то занятая на кухне, сделала ему знак.

— Просто горе с этим скотом, — тихо сказала она, кивнув в сторону Граудыня. — Вечно является с полными карманами контрабандных напитков и спаивает Биркмана. Теперь они не успокоятся, пока не вылакают всего. А я знаю, Граудынь принес четыре бутылки.

— Где только он достает?

— Этого добра хватает! Бери хоть целыми ящиками. Пьют без всякого соображения. Посмотрите, что кругом творится. Пьют, пожалуй, больше, чем в Европе.

---

[1] Добрый день! *(англ.)*.

[2] Сколько времени вы пробудете здесь? Не знаете? Это нехорошо. Вы, вероятно, впервые в Нью-Йорке? *(англ.)*.

[3] Очень хорошо, вот это ладно! *(англ.)*.

[4] Вот это хорошо! *(англ.)*.

[5] Не выпьете ли виски? *(англ.)*.

[6] Наверно, сторонник сухого закона? *(англ.)*.

В справедливости этих слов Волдис впоследствии имел возможность неоднократно убеждаться. Сухой закон не оправдал себя. Наперекор угрозам всех судов, Америка утопала в алкоголе, с той разницей, что это стоило ей гораздо дороже, чем любой другой стране, потому что сухой закон открыл широкие возможности для сказочной наживы новому виду спекулянтов — контрабандистам.

Кроме пьянства в рабочих казармах существовало другое зло — азартные карточные игры. Каждый раз, когда Граудынь появлялся у Биркмана, оповещали соседей, и квартира наполнялась самыми разными людьми. Иногда кроме товарищей Биркмана по работе приходили знакомые итальянцы, ирландцы и норвежцы. Тогда игра шла всю ночь напролет, до следующего полудня. За карточным столом в одну ночь проигрывались доллары, накопленные за долгие месяцы, со сберегательных книжек брали все до последнего цента.

Теперь Волдису стало ясно, почему в квартире Биркмана стоял старый, потертый диван, а на окнах висели пожелтевшие, ветхие занавески и почему Джон Граудынь, или как он себя называл, Джон М. Гравдингс, холостяк, имевший хороший заработок, никогда не расплачивался вовремя с долгами и уже много лет ходил в одном и том же сером клетчатом костюме.

— Во всем виноват этот негодяй Граудынь, — плакалась жена Биркмана Волдису. — Если бы он не таскался сюда и не совращал Биркмана, нам бы неплохо жилось. Можно бы скопить несколько сот долларов, приобрести новую мебель...

В шумные вечера, когда в квартире Биркмана пьянствовали и играли в карты, жена одиноко сидела на кухне или спускалась вниз к Брувелисам. Брувелис не был пьяницей и картежником, — хотя его нельзя было назвать и трезвенником, но он знал во всем меру. Граудынь его терпеть не мог.

— Баптист! Скряга! Разве это человек!

Все это он произносил, конечно, по-английски.

Но Брувелис не принимал его всерьез.

— Дрянной человечишка...

Пристрастие Граудыня к английскому языку было настолько нелепым, что все его высмеивали. Забавнее всего было то, что он неважно говорил по-английски.

— Когда я приехала в Нью-Йорк, — рассказывала жена Биркмана Волдису, — я очень плохо понимала английский язык. Граудынь приходил сюда ежедневно и разговаривал со мной не иначе как по-английски — словно в насмешку над моим невежеством. Он и в письмах в Латвию к родным так же ломается, хотя пишет по-английски совсем неправильно. Он, видите ли, пять лет плавал на английском судне среди чистокровных англичан и совсем забыл латышский язык! Своим домашним он пишет разные небылицы: что он богач, чуть ли не миллионер, что ему незачем работать. А когда родители, бедные рабочие, стали просить, чтобы он прислал им что-нибудь, Джон М. Гравдингс не отвечал им целый год. Кажется, однажды он послал в письме целый доллар. Вот и все за восемь лет.

— Он женат?

— Нет. Кто за такого пойдет и на что он будет кормить жену? Он и без того ухитрился залезть по уши в долги. Прошлой зимой занял у Биркмана семьдесят долларов. Нечего и думать, что он их когда-нибудь отдаст.

Так жили земляки Волдиса в этом далеком краю... Так жило большинство обитателей бруклинских казарм.

* * *

Всю зиму Волдис проработал на юге, где артель Биркмана красила дачи богачей, — конечно, только снаружи; внутри работали живописцы и декораторы. Это были по большей части новые постройки или пустовавшие несколько лет дома, в которых намеревались опять поселиться их владельцы после длительных путешествий по Европе. В то время как на севере завывали студеные ветры, поля и леса прятались под снежным покровом, здесь, на побережье, ласкаемом Гольфстримом, бурлила веселая летняя жизнь — беззаботная, бездумная, богатая развлечениями, и только развлечениями. Волдис издали, насколько это позволяли его общественное положение и условия работы, заглянул в эту жизнь, и бессмысленность ее вызвала у него отвращение.

Молодые и пожилые люди, один другого богаче, состязались здесь в остроумии, в придумывании новых игр и забав, до того бессмысленных, что всякий здравомыслящий человек должен был бы стыдиться участвовать

в них. Все эти люди слегка баловались спортом. Дряхлые, сморщенные старики считали себя ловкими игроками в гольф, молодые бездельники с бешеной скоростью мчались на спортивных автомобилях по дорогам и вдоль побережья, давя на своем пути собак, а иногда и людей: они были богаты и могли заплатить штраф, поэтому никто их не сажал в тюрьму. Они ходили полуголыми или в белых фланелевых штанах, много купались, были общительны и поглощали в среднем пять тысяч калорий в день. Когда им угрожало ожирение, они применяли электрический массаж, а когда у них расстраивались половые функции, им прививали обезьяньи железы. И вот, наполовину наэлектризованные, наполовину обезьяны, они вновь обретали жизнерадостность и со скотской ненасытностью пользовались всем, что им давала за доллары жизнь. В заливе сверкали их белоснежные яхты, на берегу воняли бензином их лимузины. Они ездили в гости, принимали гостей у себя и были заняты с утра до вечера. У некоторых были свои музыкальные капеллы, другие выписывали на один вечер из Нью-Йорка целые театральные труппы. Несмотря на «сухой закон», они ни одного дня не обходились без шампанского и других европейских вин.

И над этим вихрем удовольствий раскинулось синее южное небо — небо Флориды. Над пальмовыми аллеями и синим заливом скользили белые облака.

По ночам Волдис часто выходил из своего скромного жилья, нанятого артелью на окраине города. Он наблюдал, как сверкают окна отелей, как в темноту льются заблудившиеся мелодии купленных скрипок и флейт, — да, заблудившиеся, потому что эти звуки предназначались для сердец, искали сердца, а натыкались на звон фарфора и хихиканье флиртующих дам.

Где-то в Сьерра-Неваде дымили угольные копи, грохотали и гудели гигантские фабрики в Питтсбурге, множество судов плавало по Атлантике, по всему континенту раскинулась сеть железных дорог, — а здесь веселились те, для кого все это дымило и грохотало.

Время шло. Работа спорилась, и сбережения Волдиса понемногу увеличивались. Но к тому времени, как он собрался обратно в Нью-Йорк, в мире назрели неожиданные перемены. Надвигалось что-то темное и леденящее, как зимняя ночь. Этот леденящий мрак, подобно

волне заморозков, охватил Европу. Его холодное дыхание внезапно почувствовалось и в солнечной Флориде.

В двери капиталистического мира стучался великий кризис. Постучался он и в двери богатой Америки...

* * *

Вернувшись в Нью-Йорк, Волдис опять остановился у Биркмана. Маленький Биркман, у которого на строительных лесах от большой высоты кружилась голова, избрал менее опасную, хотя и не столь выгодную профессию — мытье посуды в одной из больших гостиниц, где третьим поваром был дядин старый товарищ, тоже бывший моряк. По протекции этого мистера Паркмана приняли Биркмана на работу, на которую, в связи с начавшимся кризисом, находилось много желающих.

Один раз в неделю Волдис ходил в кино, иногда по воскресеньям выезжал за город и проводил несколько часов на берегу озера или в глухом уголке леса. В остальное время он сильно скучал. Знакомые рассказывали ему о каком-то латышском обществе в Нью-Йорке, но, расспросив о нем Брувелиса, Волдис услышал не очень одобрительные отзывы: это гнездо местных латышей-обывателей, латышские рабочие туда не ходят. Волдис тоже не пошел.

Несколько месяцев спустя после возвращения из Флориды произошло единственное интересное событие в однообразной жизни их узкого, маленького мирка: женился Джон М. Гравдингс. Вернее сказать, его женили, и мотивы, побудившие сватов к энергичным действиям, были далеко не бескорыстны. Чету Биркманов, подыскавшую ему невесту, беспокоило не столько то, что за Граудынем некому присмотреть, сколько одолженные ему семьдесят долларов, на которые не оставалось уже ни малейшей надежды. А среди нью-йоркских латышек была дама лет под пятьдесят, скорее уродливая, чем красивая, но зато обладавшая солидными сбережениями, которые она скопила за долгие годы работы в какой-то конторе. Решающим было то немаловажное обстоятельство, что мисс Корпней (прежде Курпниек) была близкой знакомой жены Биркмана и, несмотря на свой почтенный возраст,

страстно мечтала о замужестве и семейной жизни. Граудынь импонировал ей своей мощной фигурой и физической силой, а главным образом своим независимым видом. Она восторгалась этим статным мужчиной, а когда познакомилась с ним ближе, к восторгу присоединилось и возвышенное желание осчастливить Граудыня, наставить его на путь истинный, выполнить благородную миссию. Мисс Корпней соглашалась уплатить долги Граудыня, лишь бы Биркманы помогли ей пленить его. Почему бы Биркманам не сделать этого? Зачем отказываться от получения своих почти уже потерянных денег да еще с процентами? Граудыню расставили сети. Каждый раз, когда он забегал к Биркманам, ему внушали:

— Долго ли ты будешь жить бобылем? Тебе, Джон, давно пора жениться. Такой солидный мужчина... да если найти подходящую жену — какая пара будет! Кстати, мисс Корпней как раз и по росту тебе подходит.

Затем следовали прямые и косвенные намеки на богатство Корпней и ее ангельский характер:

— Она бы тебя на руках носила!

Нельзя сказать, что Граудынь поддался так уж легко. Он привык к независимой холостяцкой жизни, и эта располневшая крупная женщина, которая к тому же была старше его на восемь лет, не очень прельщала его. Но доллары!.. Кончилось все это тем, что однажды вечером, когда они вдвоем с Биркманом опустошали уже четвертую бутылку, рядом с Граудынем усадили за стол жаждавшую замужества даму. Все пили за их здоровье и счастье, а на следующий день они сочетались законным браком.

Биркманы получили сто долларов, Джон М. Гравдингс — новый костюм и старую жену, а мисс Корпней — новое имя: она стала госпожой Гравдингс. Теперь сослуживцы называли ее миссис Гравдингс. Это звучало чудесно! А Граудынь стал пить теперь еще больше и через месяц после свадьбы впервые поколотил свою «молодую» жену. Силы у него хватало!

* * *

В это лето артель Биркмана часто оставалась без работы, потому что после большого краха на Уоллстрите янки стали гораздо сдержаннее. Призрак кризиса витал

над континентом. Спрос на изделия американской промышленности уменьшился, внешнеторговый баланс грозил стать пассивным. Все это заметно влияло на промышленность. Все спекулятивные сделки этого периода отличались большой осторожностью. Строительная лихорадка внезапно прекратилась, фабрики уменьшили выпуск продукции, везде сокращали рабочих. В обращении появилось слово, звучавшее в этой стране еще несколько непривычно: безработица! Очень скоро Волдис, часто оставшийся теперь без работы и проводивший свободное время в бесцельных скитаниях по улицам огромного города, заметил новое явление, которое он до этого в Америке не наблюдал: улицы, как и прежде, были всегда полны людей, но люди эти уже не спешили, как раньше. Жизнерадостные, гордые янки ходили вялой, развинченной походкой. Те, что еще накануне были уверены в своем благополучии, сегодня заговорили о классовой борьбе. Толпы безработных слонялись по улицам и толковали о голоде. Такие разговоры были не по душе властителям страны.

Из газет, которые скупо и осмотрительно писали о великом недуге, можно было понять, что семена растущей тревоги распространились по всей стране. Каждый день полиция прибегала где-нибудь к насилию. Флегматики, довольствовавшиеся до сих пор своими сберегательными книжками, вдруг сделались строптивыми, непослушными и дерзкими.

Но, как и прежде, вечерами сверкал и шумел Манхаттан. Переливались огнями небоскребы, над улицами бесновались оргии реклам. Театры — вернее, пародия на театры — ревю, где герлс, королевы красоты, женщины с длинными ногами и женщины с идеальнейшими ягодицами показывали себя за деньги; дождь жемчугов осыпал красивое женское тело; Вандербильд строил самую большую и дорогую в мире яхту; Армия спасения била в барабаны; президент Гувер как будто обещал отменить «сухой закон»; в Чикаго никто не мог сказать, какая разница между полицией и преступниками, так как полицейские инспекторы были бандитами, а главари бандитов являлись в то же время ответственными правительственными чиновниками...

При наличии такой своеобразной гармонии в этой стране начался кризис, или, как его сначала деликатно

называли, депрессия. Читатели газет на одно ученое слово стали умнее.

Тяжелые жизненные условия имели и свою положительную сторону: люди сделались серьезнее, осмотрительнее, стали наблюдать за тем, что происходит в мире, и осмысливать увиденное. После безумной погони за долларом наступил период переоценки ценностей.

В гостиной Биркмана на некоторое время совсем прекратилось хлопанье пробок, и игре в карты уже не посвящались целые ночи. Это отнюдь не означало, что о таких вещах совсем забыли: пили и теперь, но только вне дома, без ведома жен; продолжали и играть, только реже и осторожнее, так как нельзя было забывать о завтрашнем дне, который казался уже далеко не таким многообещающим, как раньше.

Иногда у Биркмана собирались его товарищи по артели и «всухую», без единой капли виски, проводили время в серьезных разговорах о тяжелом положении.

— Во всем виновны машины, — утверждал Биркман во время одной из таких бесед. — Они делают нас лишними и ненужными. Ежедневно изобретают все новые и новые усовершенствования. Скоро из тысячи рабочих понадобится только один — чтобы обслуживать машину. Остальным придется околевать с голоду.

— И что же, по-вашему, нужно делать? — спросил у него Волдис.

— Во-первых, разбить все на свете машины, — ответил Биркман. — Потом всех изобретателей объявить умалишенными, а тех, кто еще осмелится изобретать новые машины, вешать, потому что их изобретения обрекают на голодную смерть тысячи людей. Вот тогда не будет больше безработицы и перепроизводства.

— Well, that's you've spoken very well![1] — воскликнул восхищенный Граудынь.

— Вы говорите: надо уничтожить все машины, — улыбнулся Волдис. — А как вам понравится, если вдруг перестанет гореть электричество, не будет железных дорог и вам придется шагать пешком пять-шесть миль на работу? Как вы отнесетесь к тому, что не будет больше кино, утренних и вечерних газет с последними известиями со всех концов света, что груз на

[1] Хорошо, то есть хорошо сказано! *(англ.)*.

пароходы придется поднимать старыми ручными лебедками и из нашей жизни вдруг исчезнет все, к чему вы привыкли и без чего, я твердо убежден, вы не можете себе представить жизни?

Вопросы Волдиса слегка смутили собравшихся. Граудынь сердито покусывал сигарету. Биркман обдумывал ответ.

— Уничтожать следует не все машины, — сказал он наконец, но уже менее уверенно. — Те, которые служат для нашего удобства, производят нужные нам предметы, можно оставить, они всем полезны. Следовало бы взорвать только те, которые производят товары на мировой рынок, которые порождают перепроизводство и делают ненужным человеческий труд.

— Но, друзья, — сказал Волдис, — перепроизводство само по себе не такая уж плохая вещь, это далеко еще не означает голод и нищету. Если мир переживает экономический кризис из-за перепроизводства, это вовсе не значит, что он стал худосочным, малокровным. Как раз наоборот — он страдает от ожирения. Надо уничтожать не машины и тех, кто их изобрел, а тех, кто эти машины присвоил как частную собственность. Частная собственность на машины — это преступление, подлое ограбление остальных людей. Надо сделать машину достоянием всего народа, чтобы она выпускала продукцию для всего народа, — тогда она не будет золотым дном для немногих и причиной обнищания и голода многих. Ведь именно так и поступили в Советском Союзе: все заводы и фабрики там принадлежат государству, народу, работают для народа — и там не знают безработицы. Значит, дело не в машинах и не в том, что их слишком много, а в том, кому принадлежат эти машины и на кого они работают, — дело в общественном и государственном устройстве.

Единственным ответом Волдису было неопределенное бормотание. Пораженный Биркман испуганно смотрел на земляка, но ничего не говорил. Не привыкли к таким речам эти люди, идеалом которых была сберегательная книжка и мещанское благополучие.

...Как ни плохо было в это время с работой, Волдис все же зарабатывал столько, что ему хватало на жизнь и не нужно было трогать старые сбережения, которые позволяли ему сравнительно спокойно думать о бли-

жайшем будущем. Все надеялись, что кризис минует, что это лишь небольшое испытание, туча, ненадолго заслонившая небосклон, после чего опять выглянет солнышко и всем будет хорошо. Как бы в подтверждение этих предположений, примерно в середине лета знакомому подрядчику Биркмана подвернулся подряд на ремонт нескольких домов с дешевыми квартирами. Предвиделась работа месяца на два. Люди облегченно вздохнули. Джон М. Гравдингс даже нашел возможным позволить себе некоторую расточительность: опять он разгуливал с полными карманами бутылок, а заодно и поколачивал миссис Гравдингс.

Затем произошла неприятность с маленьким Биркманом — мойщиком посуды в гостинице. Из-за снижения оборота дирекция гостиницы сократила штат служащих. Уволили и нескольких мойщиков посуды. Маленького Биркмана пока еще оставили, так как за него замолвил слово третий повар. Но среди уволенных было несколько коренных американцев, и кто-то из них послал донос в полицейский участок с просьбой проверить, по каким документам проживает и каким путем попал в Соединенные Штаты мистер Биркман.

Товарищи Волдиса Витола по работе или уже приняли американское подданство, или во всяком случае получили так называемые «первые документы», поэтому их не трогали и им не угрожала высылка из Соединенных Штатов. До сих пор иммигранты пользовались льготой: они могли годами жить без разрешения на въезд, достаточно было удостоверения с места работы. В Нью-Йорке проживало немало таких «нелегальных». Если ничего не случалось и им удавалось прожить необходимые три года, тогда нечего было бояться высылки, — по крайней мере такое положение существовало до этого времени, — по прошествии трех лет выдавали «первые документы», и их владелец считался кандидатом на американское подданство.

Полицейские власти знали, что в Соединенных Штатах много «нелегальных». До тех пор, пока такой человек не сталкивался с законом, его не преследовали, но стоило ему совершить малейший проступок, который карался штрафом в один доллар — сказать неосторожное слово или по незнанию нарушить правила уличного движения, — и ему приходилось с первым же парохо-

дом покидать Новый Свет. Теперь, по мере углубления кризиса, власти запретили въезд и следили за всеми подозрительными и нежелательными элементами. С бруклинских улиц один за другим исчезали знакомые моряки.

Однажды вечером на квартире Биркмана появилось четверо полицейских, они искали маленького Биркмана и Волдиса Витола, — очевидно, какой-то усердный сосед донес и на Волдиса. Он ожидал этого и не очень удивился, увидев на пороге комнаты полицейских.

— Соберите свои вещи, — сказал полицейский сержант, — и следуйте за нами. В вашем распоряжении полчаса, поторопитесь.

— Все брать с собой? — спросил Волдис. — Или мы еще вернемся сюда?

— Вряд ли... — цинично ухмыльнулся сержант.

Маленький Биркман побледнел.

— Господа! Вероятно, это какое-то недоразумение... — бормотал он. — За что же меня-то... Я ведь честно работал, ни с какими левыми и социалистами не путался...

— Как тебе не стыдно! — крикнул ему по-латышски Волдис. — Нечего упрашивать этих молодчиков. Ты же ничего не теряешь.

Полицейский сержант, будто в шутку, ударил Биркмана по плечу резиновой дубинкой. Хотя удар казался совершенно пустячным, плечо онемело и заныло.

— Поторопитесь, молодой человек, прекратите болтовню. Мы люди занятые.

— И совсем незачем драться... — пробубнил Биркман. — Я человек честный...

— Ах так? — сказал сержант. Подмигнув своим приятелям, он с добродушной улыбкой несколько раз основательно ударил Биркмана дубинкой. — Как вам это нравится, молодой человек? Очень хорошее средство против лишней болтовни. Вот видите, помогло... Сразу замолчали. А если вы не уйметесь и после этого, тогда могу отпустить вам более солидную порцию, ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо! — заржали, как жеребцы, остальные полицейские.

Четыре пары глаз внимательно следили за каждым предметом, которые Волдис и маленький Биркман укла-

дывали в чемоданы. Когда наступил момент прощания Биркмана с родственниками, полицейские не отходили ни на шаг и с нескрываемым презрением наблюдали за ними.

— Скорее, скорее... — торопил сержант, подталкивая их дубинкой в спину. — Радоваться надо, а не хныкать, вы теперь скоро попадете на родину.

— Я и радуюсь, — вызывающе произнес Волдис.

— Ах, ты радуешься, бродяга? — прошипел сержант. — Так порадуйся еще.

И резиновая дубинка тяжело опустилась на плечо Волдиса.

Жена Биркмана заплакала. Выйдя на лестницу, Волдис с Биркманом еще слышали рыдания маленькой женщины. Долго звучали они в ушах Волдиса... до самой Европы, — словно голос угнетенной и униженной Америки.

...Двое суток провели они взаперти вместе с другими высылаемыми. Там были итальянцы, норвежцы, шведы, венгры, французы. На третий день маленького Биркмана назначили младшим матросом на какой-то румынский пароход, и он ушел в море. Днем позже Волдиса послали кочегаром на старую бельгийскую торговую посудину.

В теплый летний вечер, когда пурпурное солнце пылало за корпусами небоскребов, пароход проходил мимо статуи Свободы. Волдис угрюмо усмехнулся, представив себе, какую свободу символизировала эта гигантская фигура. Это была бесчестная и преступная свобода хищников и вечное поругание человека, его человеческого достоинства и права на жизнь. Долго ли народ этой страны будет переносить это?

Он признательно взглянул на море, грудь которого мерно дышала здесь, на просторе. Не прошло и полугода, как он приехал в Новый Свет. Так и не нашел здесь Волдис свою обетованную землю.

Где же она? Где искать ее?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Волдис жил уже второй месяц в Антверпене у Йенсена. Признаки кризиса и здесь ощущались на каждом шагу. В порту простаивали сотни пароходов.

Великолепные пассажирские пароходы, лайнеры и простые торговые суденышки унылыми колоннами томились у причалов.

Дела у Йенсена тоже шли не блестяще. Вербовка матросов происходила теперь исключительно через союз. Содержателям кабачков уже больше не помогало знакомство с капитанами. В бордингхаузах не раздавались больше веселый шум и пение вернувшихся из дальнего плавания матросов. Все стали серьезнее. Да и было отчего: после двухмесячного рейса не дальше Средиземного моря моряки затем жили на берегу четыре-пять месяцев, пока до них доходила очередь и они снова попадали на судно. В течение этого времени они залезали в долги и при подписании договора не получали на руки ни цента. Как обычно, в Антверпене было много латышей. Каждую неделю многие из них возвращались в Латвию, даже те, кто начал свои странствия еще до войны. Многие воздерживались от возвращения на родину только потому, что хотели избавиться от призыва на военную службу.

У Волдиса этих опасений не было, но его удерживали дурные известия, которые привозил каждый появляющийся в Антверпене латвийский пароход. Иногда он ездил в Гент, где всегда стояло несколько латышских пароходов, и узнавал у моряков про обстановку в Риге. Это были мрачные рассказы о разрухе и безработице.

— Лес больше не рубят, потому что некуда девать. Фабрики и порты завалены лесом, которого никто не покупает. Предприятия останавливаются, работы прекращаются, рабочие голодают...

Люди голодали — а в мире было столько хлеба, что его некуда было девать. Пашни зеленели, закрома были наполнены до краев — а миллионы людей ходили голодными. Разве это не было одним из тех противоречий, которые как можно скорее требовали разрешения? И, возможно, это разрешение было близко, потому что всему есть предел, всякому долготерпению — конец. Волдис повидал свет, но он устал от того однообразия, с каким распространялись во всех странах нищета и разорение. Рабочий на море и в подземных шахтах, рабочий на постройке небоскреба и в сыром туннеле — все они были подвластны одной судьбе, одной несправедливости! Бледные, оборванные

ребятишки, бродящие по улицам Старого и Нового Света! Забитые, униженные женщины, продающие себя на мостовых Нью-Йорка и Риги! Белоснежные дворцы сверкают на набережных Лонг-Айленда и Ла-Манша; трубят охотничьи рога, борзые настораживают уши, и яхты соревнуются в скорости; во имя «стабилизации цен» в океан выбрасывают громадные количества всякого добра — а в январские морозы на улицах находят замерзших людей. Как земля терпит это? Почему люди не видят поругания своих прав? И что это за поколение, которое может столько терпеть?

Неужели никогда не переполнится чаша терпения?

* * *

Проходив больше двух месяцев без работы, Волдис наконец получил место матроса на небольшом бельгийском судне, идущем с грузом пшеницы в Гамбург. В Гамбурге Волдис встретил своего старого товарища, кочегара Звана с «Эрики». Увидев в порту среди толпы знакомое лицо, он сначала не поверил своим глазам — так изменился за эти годы Зван и, что было особенно удивительным, изменился к лучшему. На нем был новый темно-синий костюм, приличное летнее пальто и серая шляпа; лицо его больше не носило предательских следов кутежей. Он казался заметно посвежевшим и стал как-то серьезнее и культурнее.

Зван с неподдельной радостью поздоровался с Волдисом.

— Меньше всего я ожидал встретить тебя в этих краях, — сказал он. — Слышал, что ты устроился жить в Америке. Или не по нутру пришлось?

— Не стоило ехать, — ответил Волдис. — Того, что я там нашел, я не искал, мне это не нужно.

— А то, что тебе нужно и что ты разыскиваешь по всему свету, следует искать в другом месте, — ответил с улыбкой Зван. — Мне, видишь, повезло, — я нашел.

— Можно узнать, где? — тоже улыбнулся Волдис.

— Почему же нет. Я думаю, ты и сам это достаточно хорошо знаешь, только как следует не подумал об этом. Пойдем ко мне на судно, увидишь.

У Волдиса был свободный вечер, поэтому он принял приглашение Звана. Через четверть часа они пришли

на новый, современного типа теплоход. На флагштоке развивался флаг Советского Союза.

— Вот мой дом! — сказал Зван. — Уже год, как я плаваю на нем смазчиком. Совершаем регулярные рейсы между Ленинградом и Гамбургом. Пойдем наверх, я тебя познакомлю со своими товарищами. Все они славные ребята.

Волдис Витол пробыл на советском судне до двух часов ночи. Зван познакомил его со своими товарищами из машинной команды и со старшим помощником капитана, моложавым приветливым человеком, который показал ему все судно. В матросских кубриках было чище, чем в командирских каютах кораблей, на которых служил Волдис. И хотя людей здесь было значительно больше, чем на кораблях других стран, — на палубе три смены, у кочегаров четыре, — они жили с несравненно большими удобствами и культурнее моряков любой другой страны. Они не валялись в одном закопченном закутке: на два человека полагался отдельный удобный кубрик с центральным отоплением и электрическим освещением. Столовая, красный уголок со свежими газетами и журналами и библиотека с сотнями книг по всевозможным вопросам. Когда Волдис вошел в красный уголок, там находилось несколько матросов. Некоторые углубились в чтение, а старший механик играл в шахматы с кочегаром. Помощник капитана рассказал Волдису, что в свободное от вахт время они здесь слушают лекции и проводят семинары.

Странная теплота охватила Волдиса при виде этой чистой, умной и красивой жизни моряков советского судна. Чувство долга и товарищества господствовало в их жизни. Здесь человек был Человеком с большой буквы, и никто не смел его унизить. Здесь труд человека не был проклятьем, а делом чести, и трудящийся был хозяином своего труда.

«Вот где настоящий новый мир...» — думал Волдис. А он-то по своей наивности искал его по ту сторону океана.

Ему стало смешно при воспоминании о своих бесплодных поисках. Он улыбнулся, вспомнив всех тех легковерных людей (он сам долгое время был в их числе), которые верили, что правда на земле установится сама собой — упадет, как манна с небес. Здесь,

на этом судне, он своими глазами видел людей, которые ценой героической борьбы и тяжелого труда построили справедливое и свободное государство для своего народа. Трудящиеся всего мира видят в Советском Союзе счастливую страну своей мечты.

Советские моряки угостили Волдиса ужином. Завязалась задушевная беседа, из которой Волдис узнал много нового о жизни советских людей, о большом созидательном труде всего народа, — труде, который замалчивали газеты буржуазных стран. Советские люди еще многого не успели сделать, и в их жизни было немало трудностей, но, несмотря на это, они намного опередили старый мир. Трудящиеся Советского Союза уже сегодня жили в таких условиях и в такой обстановке, о каких народы других стран могли только мечтать.

Как не хотелось Волдису возвращаться в ту ночь на грязное судно, где его ожидали спившиеся, мрачные, неуживчивые люди — его товарищи!

«Я теперь знаю свое место в жизни, — думал он, медленно шагая домой. — Настоящий смысл жизни в борьбе, борьбе за правду для всех людей на земном шаре. До сих пор я искал по свету счастья. Но разве человек может найти счастье для себя одного? Такого счастья нет, есть только кратковременные иллюзии счастья. Найти, завоевать, построить счастье всего народа, всех людей — может ли быть на свете цель выше этой! Тебе надо возвращаться домой, Волдис Витол, и начинать работать. Довольно ты скитался по земному шару и жил неизвестно для чего. Пришла пора браться за работу и работать так, как ты еще никогда не работал. Работать так, чтобы все негодяи, тираны и эксплуататоры Латвии задрожали от страха».

Но тут он рассмеялся: какая самоуверенность! Не может он один заставить дрожать всех негодяев. Это ничего — можно примириться и не с такой ответственной ролью. Главное, чтобы его жизнь и труд были посвящены самому основному — строительству нового мира.

На следующий день советский теплоход вышел в море, и Волдис больше не встретился с Званом. А его маленькая жалкая посудина через два дня возвратилась обратно в Бельгию.

* * *

После нескольких рейсов в Гамбург и обратно для парохода, на котором работал Волдис, не оказалось груза, и его поставили на прикол. Волдис поселился на берегу, но на этот раз не у Йенсена, а у одного матроса-бельгийца, с которым он познакомился на последнем пароходе. Так обходилось дешевле, и, главное, жизнь была гораздо спокойнее, чем в бординг-хаузе. Положение с каждым днем ухудшалось. У приколов вырастали все новые караваны судов, а пароходы, которые еще курсировали, ходили полупустые, с ничтожным грузом, так что не покрывались даже расходы по содержанию судна. Каждую неделю Волдис ездил в поисках работы в Гент и Роттердам, но везде его встречали огромные толпы безработных.

Время шло. Работы не находилось. Сбережения постепенно таяли.

Обходя однажды недавно прибывшие в порт суда, Волдис забрел на какой-то «норвежец» водоизмещением в три тысячи тонн. Здесь он встретил косоглазого Андерсона с «Эрики». Тот искренне обрадовался, увидев Волдиса.

— Дружище, сколько лет, сколько зим! Вот уж не думал встретить тебя в этих краях. Считал, что ты на той стороне океана, в Норте *.

— Да, был около полугода, но сейчас там нечем дышать. Кем ты здесь на пароходе?

— Дункеманом. Мне сейчас неплохо. Но я хватил горя, немало побегал по берегу в поисках работы. Впрочем, что мы болтаем здесь, на палубе, — заходи в кубрик. Или не сходить ли лучше в какой-нибудь кабачок? У меня как раз и время есть, пар не надо поддерживать.

Сменив замасленную рабочую блузу на френч цвета хаки, Андерсон потащил Волдиса в ближайшую портовую пивную. За бутылкой дешевого вина они разговорились.

— Эх, чего только я не перевидал за это время! — говорил Андерсон. — С «Эрики» я сбежал в Роттердаме. Сразу же поступил на «голландца». Сходил один раз на юг, был на Яве и Суматре. Потом опять скитался здесь, по Европе. А нынче весной в Антверпене со мной дурацкая штука приключилась: гол я был как

сокол, и задержали меня как безработного, впихнули в работный дом. Знаешь, что это за заведение? Тюрьма, настоящая тюрьма, куда людей сажают за то, что у них нет работы и нет денег. Там мне выдали полосатую тюремную куртку и заставили вместе с такими же товарищами по несчастью целые дни напролет работать: шить одежду, чинить сапоги, ковать, пилить, а если ничего не умеешь — щипли концы, — словом, всякой ерундой занимайся. На обед нам давали по комку сухого картофельного пюре. Вечером — всех за решетку. Мы там сидели в клетках, как обезьяны. Поздно вечером, перед тем как ложиться спать, давали клочок бумаги и табаку на сигарету. Свернем сигарету, берем ее в рот и выстраиваемся у решетки, прижавшись к ней так, чтобы конец сигареты торчал наружу, в коридор. Проходит сторож с горящей головешкой, сует ее каждому под нос. Если удается прикурить — хорошо, не удается — оставайся без курева. Кого только там не было: латыши, эстонцы, поляки, негры, индусы, скандинавы — все безработные моряки. И всех их сажали только за то, что полиция захватила их, когда они были без работы.

— Как же ты выбрался оттуда?

— Видишь, там такой порядок: если у тебя не найдется друга, который может тебя выкупить, тогда нужно проработать столько времени, пока не заработаешь на билет до Голландии или границ Франции. А в день платят не больше двенадцати центов, — пока заработаешь нужную сумму, можно состариться. Когда я таким образом проторчал несколько месяцев, мне разрешили надеть свою собственную одежду, и нас вместе с другими «отслужившими» под конвоем направили к французской границе. По дороге каждый старался сбежать, не зевал и я. Сбежал, вернулся в Антверпен, и вскоре мне посчастливилось попасть на этот пароход. Не приведи бог кому-нибудь попасть в работный дом! Лучше уж просто в обыкновенную тюрьму.

Потом они стали вспоминать общих знакомых. Волдис рассказал Андерсону о гибели Ирбе.

— Да, вот какие дела... — задумчиво сказал Андерсон. — Нет-нет да и выбывает кто-либо из строя. Ирбе не один такой. Помнишь Зоммера? Он теперь лежит на роттердамском кладбище.

— Что ты говоришь, Зоммер умер?

— Да, умер. В Гамбурге он спрятался в трюм на пароходе, который шел в Роттердам с грузом пшеницы. Когда голландцы открыли люк, Зоммера нашли мертвым: с голода он стал есть пшеницу, она разбухла в желудке, переполнила кишки, живот вздулся, и Зоммер умер.

— Вот и гибнут наши один за другим... — вздохнул Волдис.

— Да и Алксниса — ты ведь помнишь его, радист, который не мог ужиться с начальством, — его тоже нет в живых. Я только недавно узнал. Он как сбежал с нашего парохода, добрался до Марселя и некоторое время служил на французском пароходе алжирской линии, потом на каком-то «итальянце» выбрался из Средиземного моря. Однажды в Ливерпуле возвращался пьяный на пароход, свалился в док и утонул.

Волдис стиснул зубы. Значит, он единственный из тех, кто заключил тогда пари, добрался до Америки — и... горько разочаровался в этой стране.

— А вот Блаву посчастливилось, — продолжал Андерсон. — Он тоже пробрался в Соединенные Штаты и почти год проработал на судне, перевозившем контрабандой алкогольные напитки. Говорят, ужас сколько зарабатывал — получал проценты с общего дохода. Уж на что Блав известный транжира, и то не смог все пропить, даже накопил несколько тысяч долларов. Когда в воздухе запахло паленым, Блав перекочевал в Австралию. Сейчас он живет в Мельбурне на широкую ногу: женился на богатой вдове, у него собственный дом и десятка два автомашин. Нечего и думать, что он когда-либо вернется в эти края.

«Затерялся навеки на чужбине», — подумал Волдис о маленьком смуглом кочегаре, который так хорошо свистал и пел.

— А что ты думаешь делать? — спросил Андерсон. — Хочешь еще пошататься по белу свету?

— Нет, не хочу, — ответил Волдис. Его взгляд сделался мрачным, почти грозным. — Я вернусь домой. Хватит дурака валять. Надо наконец заняться чем-нибудь таким, чтобы жизнь не зря была прожита.

— Знаешь что, у нас на пароходе нет боцмана, — вспомнил Андерсон. — Старый боцман подхватил дур-

ную болезнь и остался в больнице в Гулле. Попробуй наняться. Я шепну старику несколько словечек, он ко мне хорошо относится.

— Сомневаюсь, чтобы вышло что-нибудь. Я ведь никогда не был боцманом.

— Ну, на палубе-то тебе приходилось работать? Краски тереть умеешь?

— В Америке научился.

— Узлы знаешь?

— Немножко знаю.

— Чего же ты боишься? Заходи сегодня же, иначе будет поздно.

— Хорошо, можно попытаться.

— Вот и ладно. Слыхал? Мы теперь будем в Данциге брать уголь для Риги.

В пивную вошли две женщины, сели в углу у столика и уставились на моряков. Им тоже теперь жилось хуже. Кризис... Андерсон беспокойно задвигался.

Волдис встал и протянул ему руку.

— Не забудь прийти сегодня вечером! — напомнил Андерсон.

— Приду!..

* * *

Вечером Волдис направился на норвежский пароход, но Андерсон был пьян и не смел в таком виде показываться на глаза капитану, поэтому в тот вечер разговор не состоялся. Наутро Волдис застал капитана, когда тот собирался идти в союз искать нового боцмана. Довольный, что ему не нужно брать совершенно незнакомого человека, которого предложат в союзе, капитан не стал слишком детально интересоваться прошлой карьерой Волдиса. Его приняли на работу. В тот же день он перебрался с вещами на пароход.

Стояла уже поздняя осень. По утрам долго держался туман, а вечерами становилось прохладно... В одно такое туманное утро пароход Волдиса вышел в море. То и дело слышались звуки колоколов со стоящих на якорях пароходов. Со всех сторон гудели сирены идущих неполным ходом судов. Где-то вдали, в невидимом море, отдавалось многоголосое эхо. Корпус парохода водоизмещением в три тысячи тонн осторожно, будто ощупью, врезался в белую мглу, а в туманной пустыне угрожающе выла и стонала сирена.

Часть третья



БЕСКРЫЛЫЕ ПТИЦЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На улице Путну потемнело: большая снеговая туча заслонила небо. Мокрый противный снег огромными мохнатыми хлопьями падал на землю, на ухабистый тротуар, осыпал редких прохожих, маленький киоск, стоявший на перекрестке, и полицейского, который одиноко скучал на посту, поигрывая выразительным символом своей власти — белой резиновой дубинкой, прозванной в народе «континентом» *. Полицейскому было холодно. Мокрый снег оседал на его густых пышных усах, очень похожих на усы самого начальника полицейского участка. Таявший снег грозил уничтожить это почетное сходство — кончики усов намокли и уныло повисли книзу, а некоторые особенно непослушные волосинки топорщились в разные стороны, как иглы ежа.

Это тихий район. Только изредка торопливо прогромыхает по направлению к порту грузовик с бочками, ящиками, кипами льна или крепежом, и опять на улице пусто. Никто не мешает воробьям драться из-за лошадиного помета. Из труб домов вьется дым самых различных оттенков: совершенно черный, зеленовато-белый, прозрачно-голубой и даже пестрый, в зависимости от топлива. Полицейский знал, что черный дым дают уголь и брикеты, — наверное, какой-нибудь портовый рабочий жжет наворованное топливо. Зеленоватый дым шел от старых гнилушек — трухлявых железнодорожных шпал или от забора соседней мельницы, который доска за доской растаскивали по ночам. А чистый, почти прозрачный дым... он не успел определить источник

этого сорта дыма, потому что на улице показался человек.

Пьяный человек... Запахло протоколом... Полицейский направился навстречу пьяному, внимательно приглядываясь к нему.

Впрочем, это было явление, не заслуживающее особого внимания: человек среднего роста, лет пятидесяти или немного старше, лицо и одежду которого покрывала белая пыль, — очевидно, он работал на местной мельнице. Безвольно кривился его рот, глаза бессмысленно следили за движением рук, тщетно нашаривавших что-то в карманах. У киоска он остановился. Полицейский следил за каждым его движением. Пусть только он позволит себе сказать что-нибудь такое, чего мужчины не говорят в присутствии женщин... А может быть, его занесет в подвернувшееся окно или он налетит на встречного прохожего... или по крайней мере заорет...

Но пьяный молчал. Обшарив карманы, он вывернул их наизнанку, пожал плечами и сплюнул. (Какая административная недальновидность — не запретить плевать на улице!)

— Забыл дома кошелек... — проворчал прохожий. — Вы, наверно, мне в долг не дадите? Мне нужна большая пачка «Спорта». Газету уже взял кто-нибудь?

— Да, только что приходила ваша супруга, — ответила старуха продавщица.

Пьяный улыбнулся: как можно его жену назвать супругой? Да и могла ли быть супруга у такой вечно выпачканной мукóй образины?

— Значит, вы не дадите мне «Спорт»? — повторил он.

— А если вы потом забудете?..

— Вы мне напомните.

— Могу, конечно, но... Да ладно, ничего не поделаешь, ведь знакомый...

Рабочий взял папиросы, тут же открыл пачку и закурил. Он совсем не скандалил, не шумел, и полицейский разочарованно отвернулся. Опять целый день без протокола! Долго ли начальство будет с этим мириться? Заподозрят его в дружбе с населением... переведут в другой участок, куда-нибудь на окраину. Почему этот тип не кричал, не задевал прохожих? Полицейский оста-

повился и оглянулся: пьяный медленно, слегка пошатываясь, осторожно шагал вперед. Придраться было решительно не к чему.

Но не одного полицейского одолевала забота... Походке пьяного рабочего придавала медлительность не столько усталость, пьяный угар или рассеянность, сколько инстинктивное беспокойство, которое все росло по мере того, как он подходил к желтой калитке своего дома. Он думал о жене, и это были далеко не утешительные мысли. Предвидя все, что его ждало, он трусил. Преувеличенное сознание виновности, свойственное слабовольным людям, заставляло его переоценивать значение своего проступка, — он чувствовал, что заслужил наказание, хотя, может быть, и не столь суровое, какое ему придется понести. Он опять выпил, хотя жена категорически запретила ему; он сделал себя посмешищем; истратил почти два лата; он заставил своих домашних ждать целых два часа и волноваться по поводу его продолжительного отсутствия! Мучимый страхом и укорами совести, он даже не думал о сопротивлении. Старый Гулбис был слишком податливым, бесхарактерным. Если бы его кто-то не подталкивал и не тянул, он бы всю жизнь просидел на месте, потому что был слишком робок.

Он не любил спорить или отстаивать свои выгоды и свою правоту, ему было незнакомо тщеславие, он не знал счастья быть первым, лучшим, не имел понятия о том, что такое сильная страсть к чему-нибудь. Без особого желания, подстрекаемый товарищами и знакомыми, он стал пить и превратился в завсегдатая пивных. Но алкоголь не открыл ему всех секретов своего очарования, и пил он не потому, что это ему нравилось, а лишь потому, что пили все его знакомые, его ближайшее начальство, — и это казалось ему признаком мужества. К тому же только в этом он чувствовал себя более опытным, чем жена, которая держала его под башмаком вот уже двадцатый год. То же самое было и с курением, — это настолько неотъемлемая привилегия мужчин, что бороться с ней не осмеливалась даже Гулбиене. Но если бы она когда-нибудь надумала запретить мужу курить, это, вероятно, вполне бы удалось ей, потому что Гулбис, как обычно, не стал бы сопротивляться.

Он долго не решался нажать щеколду калитки. Наконец осторожно, как вор, сделал это, просунул голову и, убедившись, что жены во дворе нет, поспешно прошмыгнул в калитку.

«Что мне сказать ей, как оправдаться? — силился придумать он, поднимаясь по полутемной лестнице. — Назвать мамусей или собраться с духом и припугнуть, как тогда?»

«Тогда» — было много лет назад. Гулбис в то время еще ни разу не пытался возражать жене, но однажды выпил с друзьями и, подученный плутоватым мастером, учинил дома первый и единственный за всю его жизнь скандал. Он топнул ногой на жену и закричал: «Кто здесь главный — ты или я?» А когда жена принялась бранить его, он стал бегать за ней вокруг стола. Она в испуге завизжала: «Вот сумасшедший, вот шальной! Совсем взбесился, дурак!»

Он в тот раз даже прибил жену. Не потому, что сердился на нее, а просто потому, что так делали другие, и это казалось ему признаком несомненного мужества. Как все трусы, он больше всего уважал отвагу и старался если не быть храбрым, то по крайней мере казаться таким! Правда, за вспышкой храбрости последовала реакция, и Гулбиене очень долго не могла простить ему этого дерзкого поступка, но воспоминания о тех ярких минутах были самыми приятными в жизни Гулбиса.

Сегодня он не чувствовал в себе достаточно отваги, чтобы позволить такой выпад.

«А если она примется бить меня? — мелькнула у него вдруг мысль, когда он поднялся наверх. — Попробую начать с мамуси».

И Гулбис нажал ручку двери.

* * *

В узкой, похожей на коридор, кухоньке царил полумрак. Маленькое помещение было наполнено паром, подымавшимся от лохани с бельем. Гулбиса охватила противная, душная сырость, но он к этому привык, как привык к обветшавшему кухонному столу, выкрашенному в коричневый цвет, к посудным полкам и зеленовато-серой табуретке с облупившимся эмалированным

тазом для умывания. Давно не беленные стены густо пестрели пятнами сырости и следами мух. В углу, рядом с полкой, висела большая плетеница луку. На плите шумел чайник. Но все это ничуть не занимало Гулбиса. Он нерешительно посмотрел на окутанную облаками пара жену, стоявшую у лохани с бельем и с ожесточением стиравшую матросские рубашки и простыни. Кинув на мужа короткий угрюмый взгляд, пожилая женщина не обращала на него больше внимания и с еще большим ожесточением продолжала работать.

Гулбис облегченно вздохнул: мамусе было не до него, мамуся осталась вполне равнодушной. Теперь скорей в комнату, с глаз долой! Потом ей уже будет неудобно отчитывать его. Но маневр старикана не удался: не успел он взяться за ручку двери, как жена бросила стирать и оглянулась на него через плечо.

— Ты что, совсем одурел? Весь в муке и прямиком в комнату. И так все в пыли и в копоти, не успеваешь вытирать, а ты еще с улицы грязь таскаешь!

Когда сбитый с толку муж нерешительно остановился, не зная, что делать, она окончательно рассердилась:

— Да закрой ты дверь, чтобы пар не шел в комнату! Что стоишь, как баран? Опять, наверно, наклюкался?

— Где уж там наклюкаться. Четвертинка на четверых. Мастер именинник... как откажешься, когда компания приглашает?

— Ври, ври, старый хрыч, знаю я ваши именины.

— Нет, я вправду...

— Не болтай. Который час?

— Да еще не поздно.

— Поздно или рано, а тебе и дела нет, что у меня обед сварен, перепрел и остыл.

— Ладно, съем и такой. Лучше остывший, чем горячим глотку обжигать.

— Ишь как заботится о глотке! А когда льешь в нее чистый спирт, так ничего, не обжигаешь?

— Ну, ну, будет, мамуся...

— Нечего лебезить, не задобришь. Ну, чего стоишь? Не можешь сам разуться, ждешь, чтобы я помогла?..

Рассерженная Гулбиене энергично повернулась к лохани и продолжала прерванную стирку. Гулбис сел на скамеечку для ног и пытался развязать шнурки ботинок. Это ему долго не удавалось. Изредка он

лукаво, с усмешкой, посматривал на спину жены и вообще чувствовал себя прекрасно. По всему было видно, что голова у нее занята чем-то другим, иначе он бы так легко не отделался. Не пытаясь угадать, о чем могла думать жена, он старался вспомнить какую-нибудь новую, интересную, еще неслыханную новость, чтобы рассказать супруге и тем окончательно завоевать ее расположение. Свежие новости — старый испытанный способ, при помощи которого Гулбис не раз спасал свою шкуру. В прошлом году, когда поездом задавило ломового извозчика вместе с лошадью и Гулбис случайно оказался очевидцем, он спокойно просидел с друзьями три часа и без всякого страха явился на строгий суд своей супруги. Не успела жена поднять крик и замахать кулаками, как он ошеломил ее одним-единственным вопросом:

— Ты слышала, что извозчика задавило?

Сегодня не было никаких новостей. Плохо дело! Жена ожесточенно стирала белье, тяжело дыша, вся мокрая от пота, он, несчастный, не знал, о чем говорить. Молчать было неудобно и опасно: если предоставить инициативу жене, нельзя предусмотреть, на какую тему начнется разговор.

— Где же девчонка? — собравшись с духом, спросил наконец он.

— Спрашивает как маленький! — сухо засмеялась жена. — Где ж ей быть, как не в порту. Понесла норвежцам выстиранное белье.

— Откуда мне знать ваши дела.

— У тебя ни о чем заботы нет. Отец называется! — опять раздался ее сухой, презрительный смех.

Гулбис чувствовал себя неловко. Хотя упрек был, по его мнению, незаслуженный, он не пытался оправдаться. Налив в таз воды, он стал умываться. Жена продолжала стирать, полоскать и отжимать рубахи, кальсоны и простыни, лицо ее было серьезно и мрачно. Причиной этому был, однако, не муж, не эта тряпка. Нет... Этот тихий, смиренный человечек никак не мог по-настоящему рассердить ее или огорчить, и если она время от времени ворчала на него, то больше по привычке и для поддержания необходимой дисциплины.

Гулбиене была на шесть лет старше мужа. Насколько он был непредприимчив и пассивен, настолько она

активна и властолюбива. Привыкшая всем распоряжаться и все делать по-своему, она не только раздумывала, но и действовала. Двадцать лет назад, уже довольно поблекшей старой девой, она женила на себе Гулбиса. Все последующие годы она занималась тем, что подыскивала мужу работу, устраивала его на место, договаривалась об оплате и заботилась о квартире. Решающее слово во всех делах их скромной жизни принадлежало Гулбиене; муж всегда и во всем подчинялся ей.

У них была дочь, восемнадцатилетняя Лаума, — предмет вечной тревоги и мрачных предчувствий матери. Лаума недолгое время работала на лесопильном заводе, наколола руку, попала в больницу и вышла оттуда калекой. Теперь она не ходила работать и лишь помогала матери носить белье. Был человек, который охотно женился бы на ней, только Лаума все не решалась выходить замуж. И вот эта сложная проблема лежала тяжелым камнем на сердце Гулбиене. Чем плох Эзериньш? Он молод, здоров, солиден. Разве он не зарабатывал вполне достаточно для того, чтобы содержать жену? Сплавщик по профессии, приличный молодой человек, уважающий не только свою невесту, но и ее родителей. На что еще могла надеяться Лаума со своей искалеченной рукой? Да ей бы радоваться, что такой порядочный парень согласен на ней жениться!

Гулбиене при этом старалась не вспоминать об одном: когда-то прежде она сама лелеяла заветную мечту о будущем Лаумы, надеялась, что дочери удастся обратить на себя внимание кого-нибудь получше. Что понималось под этим «получше» — образование, зажиточность или физические данные, — она и сама толком не знала. Несчастный случай с Лаумой разбил все ее мечты, и старуха чувствовала себя словно обманутой, — обманутой потому, что дочь не оправдала надежд и потеряла цену как невеста. Вот почему Гулбиене не слишком горячо любила дочь, а ее непонятное упрямство, ее холодность к Эзериню просто тревожили мать.

«Все равно ничего больше не придумаешь, — окончательно решила она. — Хочет Лаума или не хочет, она должна стать женой Эзериня».

Гулбиене считала совершенно непростительным

равнодушие мужа к этому ее проекту. Неужели он не понимает, в чем дело, и не учитывает, насколько эта свадьба выгодна им всем: Лаума будет пристроена, выйдет за хорошего человека, родители могут переехать в дом, который зять получит в наследство после умершей тетки... отпадут расходы по найму квартиры...

На Гулбиса следовало воздействовать, поэтому жена сегодня была приветливее, чем обычно, хотя старик пришел пьяным и вполне заслужил головомойку. Когда Гулбис умылся, переоделся и сел к кухонному столу, жена зажгла огонь и поставила на стол ужин, потом села напротив мужа. Гулбис медленно, задумчиво жевал картофельное пюре, хотя оно давным-давно остыло, и слушал, что говорила ему жена.

— Помоги хоть ты уговорить девчонку, скажи ей ласковое слово. А то получается, что я одна этого добиваюсь... Чем плох Эзеринь? Где она найдет жениха лучше? Ведь не бог знает какая принцесса.

Гулбис, набив рот пюре, что-то невнятно бормотал, и из этих булькающих звуков нельзя было понять, согласен он или — что уже казалось совсем невероятным — отвергает предложение жены.

— Что ты скажешь об этом? — настаивала она.

И Гулбис почувствовал, что на сей раз ему никак не отвертеться от ответа.

— Откуда я знаю, что тут сказать... — буркнул он и поспешил снова наполнить рот картошкой.

— Кому же и знать, если родной отец не думает о судьбе своего единственного ребенка? Тебе, видать, все равно, что с ней ни случись. Пусть хоть по миру пойдет...

— И вовсе нет... Но разве я понимаю их дела? Пускай женятся, если хотят. Какое нам дело?

— Я тоже говорю, чтобы женились, а девчонка не согласна. Неизвестно, что у нее на уме, чего она еще дожидается. А вот случай подвернулся, может, и не будет больше никогда такой возможности. Упустишь, всю жизнь будешь каяться.

— Мм-да...

— Она о завтрашнем дне не думает. Какое ей дело? Старики обеспечат! А долго ли мы еще будем кормить взрослого человека? Пора самой подумать, как жить. Поговори ты, может, она тебя послушается.

— Можно попытаться. Но...

— Вот-вот, попытайся. Скажи, чтобы она дурь из головы выбросила, не девочка ведь.

Сквозь клубы пара тускло мерцал слабый свет лампы, и два человека сидели друг против друга, как призраки.

— Гм... да... может быть... — произнес муж. — Я поговорю.

Жена, успокоившись, встала и направилась к лохани. Она терла, полоскала, отжимала и складывала в кучку белье моряков. На улице становилось все темнее, на углах зажглись фонари...

* * *

В это время Лаума добралась до порта. Дневная вахта на пароходах закончилась, люди ужинали, отправляющиеся на берег переодевались. На улице была слякоть, и старые дырявые туфли девушки давно промокли насквозь. Сначала ноги зябли, потом начали гореть, и Лаума опять почувствовала себя хорошо. Через плечо у нее были перекинуты связанные вместе две большие корзины с выстиранным бельем. Веревка, связывавшая обе корзины, натирала плечо. Временами Лаума опускала их на землю, немного отдыхала, затем поднимала на другое плечо и несла дальше. Ей надо было пройти в самый конец порта — туда, где стоял небольшой норвежский пароход.

Под навесами портовых складов жались оборванные бродяги. На набережной расхаживали хмурые таможенные досмотрщики, наблюдая за сходившими на берег моряками. В одном месте работали сверхурочно, и грузчики с мешками зерна сновали от парохода к вагонам. Это была десятки раз виданная, надоевшая картина. Девушка уже не обращала внимания на любопытные взгляды грузчиков и моряков; она их чувствовала повсюду, везде, где бы она ни появлялась, ее преследовали взгляды незнакомых людей. Вначале это было невыносимо оскорбительно, на лице каждого встречного Лаума читала немой вопрос. Всякий раз при этом она краснела до слез, — ведь не могла же она доказать этим незнакомым, двусмысленно улыбающимся людям, что она не такая, что она приходит на пароход не

искать приключений, а заработать честным трудом кусок хлеба. И часто, когда Лауме приходилось идти в порт, она воспринимала эту необходимость как пытку. Но ничего нельзя было поделать, а говорить об этом матери казалось просто смешным.

Лаума уже третий месяц собирала и относила белье и стала привыкать к мелким, но болезненным уколам, неизбежным при ее теперешней работе. Самым большим ее желанием, о чем она постоянно думала, было уйти от родителей, стряхнуть с себя их опеку и начать самостоятельную жизнь. Но эта тяга к независимости все еще оставалась несбыточной дерзкой мечтой — мечтой о свободе заключенного пожизненно. Она даже не в состоянии была ясно представить себе, каким образом могло бы произойти это освобождение. Порой Лаума с затаенным восхищением и завистью наблюдала жизнь других, более счастливых девушек.

Иллюзий у нее было достаточно, она их черпала из книг. К счастью, Лаума уберегласъ от слепого увлечения фантазиями первого попавшегося писателя, что часто случается с девушками в ее возрасте. Руководствуясь собственным опытом и чутьем, она выработала свой вкус и умела отличить настоящее искусство от подделки.

В этом ей помог неизвестно откуда появившийся и так же внезапно исчезнувший Волдис Витол. Этот человек, возможно даже помимо своего желания, произвел на Лауму сильное, незабываемое впечатление. Их отношения продолжали оставаться сдержанно дружескими, и все же Волдис значил для девушки больше, чем просто дружески расположенный человек. Волдис выгодно отличался от Эзериня, который пользовался благосклонностью Гулбиене и уже вошел в роль будущего господина и повелителя Лаумы.

И вот Волдис исчез — внезапно, ничего ей не сказав. Лаума больше не встречала его по вечерам. Не зная, что случилось, она ломала голову: иногда ей казалось, что Волдис стал жертвой несчастного случая — в порту они происходили нередко; иногда в тоске думала, что надоела ему и он просто решил избавиться от нее. Только через месяц ей случайно, в лавке, удалось узнать правду: бывшая квартирная хозяйка Волдиса, Андерсоннете, рассказывала всем, какой порядочный

и вежливый был у нее жилец, а теперь вот ушел в плавание.

«Почему он уехал тайком, даже не попрощался?» — спрашивала себя Лаума. Ей вдруг стало горько и обидно. Ей казалось, что Волдис презирал ее, не счел нужным соблюсти даже ничтожную, ничего не стоящую вежливость. Но вскоре она успокоилась, так как в это время собственная ее судьба все больше осложнялась. Нужно было напрячь все силы, чтобы устоять против натиска, который готовила ей мать вместе с Эзеринем.

Лаума опустила корзины на землю и погладила саднящее плечо, натертое веревкой. Опять стало холодно ногам и заныли кончики пальцев. Немного отдышавшись, она продолжала путь. До парохода было недалеко.

По дороге Лаума встречала много молодых, сильно напудренных женщин с вызывающе накрашенными губами. Все они громко разговаривали и визгливо хохотали, поглядывая на пароходы. Моряки улыбались им и махали руками. Лаума, опустив глаза и покраснев, проходила мимо этих женщин. Она знала, кто они.

Вынужденная наблюдать все это, Лаума не могла не думать о виденном. Казалось ужасным, невероятным, чтобы люди могли так жить, что находились женщины, способные спокойно переносить такое унизительное существование. Лауме страстно хотелось уйти подальше от всего этого, не видеть больше этой жизни, вырваться из этого окружения. Но на лесопилку, где она искалечила руку, ее больше не приняли, поневоле приходилось заниматься сбором белья, все выслушивать, все наблюдать и молча переносить оскорбительные взгляды, какими ее встречали в порту.

Однажды она отнесла небольшой узелок с чистым бельем какому-то немецкому механику и ей пришлось возвращаться на берег с пустыми руками. На этот раз с ней не было корзинки, и какой-то негодяй, таможенный досмотрщик, заговорил с ней: он пригласил ее пойти с ним и осведомился, сколько это будет стоить. Оскорбленная бесстыдным предложением, девушка расплакалась и ускорила шаги, но досмотрщик не отставал от нее. Наконец она села в автобус и избавилась от преследователя. После этого она никогда больше не ходила в порт без корзинки.

Сейчас только один путь мог увести ее от этой жизни,

но и он не вел к свободе, — нельзя же было назвать свободой жизнь с Эзеринем. Девушка терпела, надеялась, тосковала и отчаивалась. Она все еще не теряла надежды получить весточку от Волдиса. Что бы ни случилось, его письмо даст ей новые силы сопротивляться... Но Волдис не писал. Эзеринь приходил каждый вечер, а мать уже заговаривала о свадьбе...

«О боже, если ты есть, зачем ты допускаешь все это?» — в смятении кричала душа Лаумы. Но небо хранило молчание, и сильные, как всегда, унижали слабых.

* * *

Это был один из тех грузовых судов, которые как будто бесцельно и без всякого плана блуждали вдоль берегов Европы: то они появлялись на севере, в России или в Финляндии, то грузились испанской рудой для бельгийских сталелитейных заводов, то вставали в Черном море у хлебного элеватора или везли каменный уголь в Исландию. Случайно, ради выгодного фрахта, они заходят в Ригу, но никому не известно, вернутся ли они еще когда-нибудь. Лаума обычно имела дело с такими случайными «бродягами», потому что пароходы, прибывавшие по расписанию, обслуживались старыми известными прачечными, агенты которых дожидались прихода судов вместе с лоцманами и опережали мелких конкурентов. Моряки, прибывавшие на случайных пароходах, не знали агентов и отдавали в стирку белье кому придется.

Грязное белье служило объектом ожесточенного соперничества: каждый сборщик спешил подняться на палубу раньше других, представиться, принять белье. Случалось, что возле одного парохода встречались представители четырех или пяти прачечных. Как ни претила эта голодная конкуренция Лауме, она все же не отставала от других, и иногда ей удавалось урвать чуть ли не из-под носа у старых специалистов полную корзину белья. Вначале она эти достижения объясняла собственной деловитостью и была очень довольна. И только спустя некоторое время Лаума сообразила, что причина успеха кроется совершенно в другом: морякам просто

нравилась ее девическая свежесть, только поэтому они отдавали свои заношенные сорочки ей, а не какой-нибудь высохшей старухе или мужчине с лицом, изрытым оспой. Это открытие сперва возмутило Лауму, тем более что некоторые неудачливые и несдержанные конкуренты бросали ей этот упрек в глаза. Тогда она на некоторое время отошла от участия в конкуренции, пропуская вперед своих соперников и довольствуясь маленькими суденышками. Теперь Лаума часто возвращалась домой с полупустой или пустой корзиной, за что ей приходилось выслушивать попреки матери. Наконец она собралась с силами и, делая вид, что не слышит эпитетов, которыми ее награждали конкуренты, не видит ехидных улыбочек, стала сознательно пользоваться преимуществами, данными ей природой: молодостью, красотой и способностью быстро бегать. Моряки радушно встречали ее и охотно давали ей возможность заработать, а конкуренты завидовали.

Теперь она уже привыкла к окружающей ее обстановке и не краснела от каждой двусмысленности, однако по мере приближения к норвежскому пароходу ее все сильнее охватывало чувство неловкости: ее смущала излишняя любезность первого штурмана. В прошлый раз, когда она приходила сюда за бельем, он подарил ей флакон французских духов и коробочку пудры.

— Возьмите, вам пригодится, — сказал он. — Предполагалось, что судно пойдет в Осло, и я купил сестре... а теперь, оказывается, уходим совсем в другом направлении.

Он уверял Лауму, что в его подарке нет ничего особенного, — просто ему надоело прятать духи и пудру от таможенных чиновников, а за борт бросать по меньшей мере глупо. Это был мужчина лет за тридцать. Предлагая подарок, он сам, очевидно, чувствовал себя неловко и смущенно улыбался, как ребенок, стыдящийся проявления своих добрых чувств. В конце концов он уговорил Лауму принять подарок, но никакой радости это ей не доставило. Лаума понимала, что дома о подарке рассказывать нельзя: никто не поверит, что незнакомый человек так, ни с того ни с сего, подарил ей духи, которые, вероятно, стоили немалых денег. Пользоваться ими украдкой тоже не было возможности: всякий сразу почувствовал бы, насколько они отлича-

ются по запаху от дешевеньких духов, которые она до сих пор употребляла.

Лаума была недовольна собой. Она упрекала и корила себя за уступчивость, за то, что приняла подарок от незнакомого человека. Почему она должна скрывать этот подарок, если знает, что приобрела его честным путем? Разве она не имела права принимать подарки? Разве мать не поедала приносимые Эзеринем конфеты и не пила купленное им фруктовое вино? Какая разница между Эзеринем и штурманом? Оба они мужчины, оба чужие ей, и намерения Эзериня вряд ли более возвышенны, чем намерения штурмана.

Не зная, как держать себя с незнакомым мужчиной, которому она обязана благодарностью, Лаума поднялась по трапу. Уже стемнело. Кок в камбузе мыл посуду и громко напевал незнакомую мелодию; из кают-компании доносился звон ножей и вилок; по шлюпочной палубе разгуливал радист, посасывая изогнутую трубку. Лаума поставила корзины на бункерный люк и стала оглядываться в поисках человека, который позвал бы матросов взять белье. В это время в салоне послышался сердитый голос: первый штурман что-то гневно выговаривал юнге, — насколько поняла Лаума, по поводу невычищенного лампового стекла и несвежей воды в графине. Мальчик робко пытался оправдаться, но тут раздался злой окрик: «Молчать!», за ним последовало известное скандинавское ругательство...

Лауме стало неудобно прислушиваться, она вернулась к сходням, громко кашлянула и, нарочито стуча каблуками, подошла к корзинам. Штурман вышел с сердитым и нахмуренным лицом, но, заметив Лауму, улыбнулся, и морщины на его лице исчезли.

— Здравствуйте, барышня, здравствуйте! Пожалуйста, проходите в салон! Гаральд! — крикнул он юнге. — Сходи на форпик и скажи людям, чтобы шли за бельем.

Улыбаясь и что-то весело болтая на ломаном немецком языке, он помог Лауме внести корзины в салон. Девушка открыла корзины и стала вынимать пачки белья с приколотыми к ним записками. Штурман уселся напротив и с нескрываемым удовольствием следил за ее движениями. Когда подходившие один за другим матросы стали получать белье и рассчитываться, он

развернул датскую газету и сделал вид, что углубился в чтение. Но время от времени, переворачивая листы газеты, он незаметно поглядывал на стол, и его лицо освещалось ласковой, почти сочувственной улыбкой. При этом он не забывал заглянуть в корзины.

Занятая выдачей белья и получением денег, Лаума забыла о штурмане, пока наконец не дошла очередь до пакета с его бельем. Все уже ушли. Когда девушка вынула белье, штурман стал рыться в карманах.

— Я забыл в каюте кошелек, барышня. Сколько я вам должен?

Лаума назвала сумму и тут же покраснела. Она покраснела еще сильней, поняв причину своего смущения: разве он не расплатился с ней сделанным ей подарком? Вероятно, он так и считал. Она растерянно прошептала:

— Вы уже уплатили. Нет, нет, с вас ничего больше не причитается.

Он взглянул на нее и рассмеялся.

— Пожалуйста, пожалуйста, барышня! Это я не считаю. Все равно мне пришлось бы их выкинуть за борт...

Он взял белье и направился к двери, но потом, будто вспомнив что-то, остановился и сказал, безразлично глядя в сторону:

— Вы не зайдете ко мне в каюту? Я вам уплачу за белье.

Не дождавшись ответа, он вышел в коридор. Лаума сложила в корзины платки, которыми было прикрыто белье, и последовала за ним. Каюта штурмана помещалась в противоположном конце парохода. Ее освещала электрическая лампочка. Штурман отворил перед Лаумой дверь и, когда она переступила высокий порог, затворил ее и повернул ключ, незаметным движением задернул занавеску иллюминатора и предложил девушке сесть.

Маленькое помещение было загромождено мебелью и разными вещами. Вдоль одной стены стояла выкрашенная в коричневый цвет полированная койка с двумя выдвижными ящиками, у противоположной стены был прикреплен небольшой стол, на котором стояло несколько фотографий; рядом туалетный столик и узкий гардероб. Вдоль третьей стены тянулся черный кожа-

ный диван, четвертую стену занимала дверь с несколькими полками по обеим сторонам.

Пока штурман открывал стол и доставал деньги, Лаума присела на диван и стала разглядывать картинки на стенах. Там была фотография какого-то судна и две репродукции: красивые полуобнаженные женщины весело смеялись, показывая белые зубы и стройные округлые формы. Лаума вдруг подумала, что штурман, вероятно, часто любуется этими картинками.

Бессознательно, движимая мгновенным импульсом, она взглянула в лицо штурмана, точно надеясь прочесть на нем ответ на свои тайные мысли. Штурман вынул деньги, но не отсчитал их. Положив на стол кошелек, в котором виднелось несколько десятилатовых бумажек и мелочь, он остановился в каком-то замешательстве. Бросив украдкой несколько быстрых взглядов на Лауму, он, наконец, решился и круто повернулся вместе с креслом к ней.

— Барышня... — начал он, но покраснел и, заметив свое смущение, рассердился на себя за это и продолжал уже раздраженно: — Сколько вам следует?

Удивленная Лаума назвала сумму, но лицо штурмана внушило ей тревогу: пристально глядя девушке в глаза, он открыто, недвусмысленно улыбнулся. Ей сразу стало понятно, почему у него не оказалось с собой денег, зачем он задернул занавеску иллюминатора и повернул ключ в дверях. Не считаясь с тем, что ничего еще не было сказано и она своим преждевременным возмущением может поставить себя в смешное положение, Лаума вскочила с дивана и кинулась к двери. Ключ был вынут из замка, она только теперь заметила это. Ее бросило в жар.

— Пустите меня, отворите дверь... — почему-то тихо, почти шепотом, произнесла она, судорожно хватаясь за дверную ручку.

Штурман видел, что девушка правильно истолковала его поведение и что она думает о том же, о чем думает и он.

— Пожалуйста, возьмите! — Он протянул кредитку, вопросительно глядя странно заблестевшими глазами Лауме в лицо.

Неясное, смутное сознание, что ее приняли за «такую», унижение, которое она ясно почувствовала,

взглянув на протянутые деньги, испуг — все это взбудоражило девушку, и, не отдавая себе отчета, Лаума вдруг, выпустив дверную ручку, побежала к иллюминатору и открыла его.

— Отоприте дверь... — шептала она. — Я закричу.

Штурман, услышав угрозу девушки, внезапно помрачнел, с хмурым, злым лицом разыскал ключ и отпер дверь.

— Пожалуйста... — сказал он, но это больше походило на «убирайся вон!» Исчезла улыбка, ласковый взгляд, тихое любование. Он чувствовал себя обманутым.

Только ощутив под ногами ухабистую мостовую, Лаума успокоилась. Под впечатлением только что пережитого волнения она шагала быстрее, чем обычно, — это походило на бегство. Она думала о человеке, так резко захлопнувшем дверь каюты. Почему он рассердился? Вообще, какое право имеют люди сердиться, если кто-либо поступает не так, как они хотят? Или она обязана удовлетворять прихоть любого человека? В этот момент она подумала и о своей матери и об Эзерине: они тоже требовали от нее того, что было противно ее желанию, и если она не сделает так, как они хотят, они тоже рассердятся, возможно, возненавидят ее. Неужели она должна угождать этим чужим ей людям, подчиняться им, не считаясь с собой, со своими желаниями и интересами? И так ли уж будет плохо, если она не сделает этого?

Лаума давно знала ответ на все эти вопросы. Но для того, чтобы высказать его вслух, нужно было обладать большой внутренней силой и, главное, независимым положением в жизни, чего у нее пока еще не было.

«Духи и пудру я выброшу», — подумала она и уже заранее предвкушала удовольствие, которое при этом испытает.

Дома ее ждал Эзериньш.

* * *

Альфонсу Эзериню было шесть лет, когда он потерял отца, хорошо известного среди сплавщиков кормчего. Мальчик рано узнал нужду и заботы. Мать, правда, всячески баловала его, но все же не могла дать своему

любимцу беззаботного детства: одиннадцатилетним мальчиком она отдала его в пастухи в дальнюю волость. Хозяин был скуп и считал всех городских ребят баловниками, лентяями, нахалами и воришками. Его слова как бы подтверждались тем обстоятельством, что маленький Эзеринь украдкой покуривал. Скупой хозяин охотно принял на себя отцовские обязанности — он частенько порол его. Однажды после особенно сильных побоев Эзеринь, оставив хозяину заработанные за половину лета деньги, убежал обратно в Ригу. С тех пор в нем укоренилась лютая ненависть ко всем хуторянам.

Через год Эзеринь устроился на небольшой лесопильный завод. Там он сразу пристал к компании развеселых парней, которые любили выпить. Шутки ради пьянчуги угощали мальчика водкой, и он сначала пил, чтобы повеселить взрослых, а позже — из-за глупого молодечества.

Началась война, и алкоголь стал нелегальным товаром. Но Эзеринь уже чувствовал потребность в нем и пятнадцатилетним подростком впервые купил бутылку самогонки. Это стало повторяться, конечно, когда у него появлялись деньги.

Эзеринь проучился несколько зим в начальной школе, а там пришлось начать работать, и он навсегда забросил учебники.

Позже, спустя много лет, Эзеринь не раз жалел, что ему не удалось получить образование, но, как многие его товарищи, он из самолюбия и гордости вышучивал каждого, кто знал больше него. Слово «интеллигент» он считал ругательством, выражавшим высшую степень презрения.

С литературой Эзеринь знакомился по многочисленным выпускам бульварных романов. «Шерлок Холмс», «Нат Пинкертон», «Ник Картер», а позже романы Эдгара Уоллеса показали ему незнакомый мир. Как бы пошло, неправдоподобно и наивно ни были написаны его любимые книги, как бы шаблонны и однообразны ни были приключения и подвиги героев — они захватывали Эзериня, он зачитывался до поздней ночи и ради какого-нибудь нового романа Уоллеса готов был отказаться даже от выпивки с товарищем. Днем, за работой, он мечтал о прочитанном накануне, представлял себя в роли героев, с трепетом переживал в мечтах все,

что совершил знаменитый детектив или ловкий преступник. Понятия о нравственности и безнравственности, низменном и благородном спутались в его голове. Он считал положительными качествами смелость, физическую силу, умение драться, искусно обращаться с ножом, кастетом и револьвером.

Субботними вечерами и по воскресеньям Эзеринь в компании таких же жадных до приключений парней шатался из одного предместья в другое в поисках скандалов, ввязывался в драки и частенько попадал в арестантскую полицейского участка. Обычно причиной драки были девушки. Если какой-нибудь парень из другого района города встречался с одной из девушек района, находившегося в сфере влияния соответствующей шайки, все парни считали это не только нарушением обычая, но и личным оскорблением. Чужака преследовали до тех пор, пока тот не отступал или не заключал сепаратный мирный договор без ведома своих атаманов...

У них было принято, что уже лет в семнадцать каждый парень имел «невесту», чтобы было из-за кого соперничать, бороться и драться с другими. Обычно это были легкомысленные, распущенные девицы, пользовавшиеся щедростью своих кавалеров и при случае терпеливо переносившие их побои. Само собой разумеется, что и тут Эзеринь не отставал от других. Почему в самом деле не прибить девчонку, которая тайком дружит с другими парнями?

Так как девушки, дружившие с Эзеринем, позволяли это, а сам он зарабатывал достаточно, чтобы платить за кино и покупать конфеты, ему и в голову не приходило, чтобы какая-нибудь девушка его круга могла держаться иначе, презирать его, отказаться от близости с ним.

Вскоре он познакомился с Лаумой, вернее — с ее матерью, старой Гулбиене. Как-то ему пришлось быть на небольшом поминальном обеде у общего знакомого — товарища Гулбиса по работе. Эзеринь был не настолько пьян, чтобы позволить себе какой-нибудь хулиганский поступок, и держался почти прилично. Гулбиене понравился серьезный, на первый взгляд, рассудительный молодой человек, а ее стремление заполучить зятя было настолько неудержимым, что она тогда же пригласила Эзериня в гости. Через неделю, в дождливый день, когда

у Эзериня не было настроения тащиться с приятелями куда-то на окраину города на вечеринку, он зашел к Гулбисам. Лаума сразу пленила его. Чем больше он к ней присматривался, тем неотразимее действовало на него это юное своеобразное существо.

Эзериньш почувствовал духовное превосходство Лаумы, но это нисколько не убавило его самоуверенности. Ее превосходство и духовное развитие странным образом притягивали Эзериня. Сразу поняв, что она не такая, как те девушки, с которыми он до этого встречался, и что их отношения ни в коем случае не станут похожими на отношения с его прежними подругами, он все же не мог остаться равнодушным. Возможно, что именно трудности, которые обещало ему это новое приключение, и заставили Эзериня на время отказаться от прежнего образа жизни.

Он стал ежедневным посетителем Гулбисов. Вначале, пока хулиганские манеры и типичный уличный жаргон не выдали его, он кое-как справлялся со своей новой ролью, но однажды вечером он пришел пьяным и за какой-нибудь час раскрыл весь свой убогий духовный багаж. Лаума, относившаяся к нему если не дружески, то по крайней мере терпимо, с того раза стала сдержанней, а порой и откровенно подсмеивалась над ним. Но Эзериньш не отступал. Превосходство девушки действовало на него, как приманка.

Он позволил одному из парней отбить у него девушку, с которой раньше проводил время, и был теперь совсем свободен. Все его мысли сосредоточились на Лауме. Когда ему казалось, что он уже близок к своей цели, неизвестно откуда появился неожиданный противник — Волдис Витол — и разом все испортил. Этот человек оказывал на Лауму несомненное влияние; она все очевиднее стала избегать Эзериня. Но через некоторое время Витол исчез.

Неудача Эзериня скоро стала известна его друзьям, и они безжалостно подтрунивали над ним:

— Тут у тебя ничего не выйдет, зря только тратишь время и силы. Если до сих пор ничего не добился, так брось всякую надежду. Она не из таких...

Эзериньш терпел все насмешки и не переставал надеяться на успех. Иногда, выпив лишнее, он откровенничал в кругу собутыльников. Однажды, когда зубоскалы

особенно стали донимать его, он вышел из терпения и ударил кулаком по столу.

— Давайте поспорим, что я ее уломаю! Если захочу, она будет моей.

— Тогда ты должен сначала жениться на ней! — ответили приятели.

— Нет, без всякой женитьбы! — крикнул Эзеринь. — Я еще не сошел с ума, чтобы жениться, да еще на такой.

Они поспорили на три полштофа и дюжину пива. И Эзеринь стал действовать...

* * *

После заключения этого дерзкого пари действия Эзериня приняли определенное направление. Он тщательно, до мелочей, взвесил все обстоятельства, которые могли помешать достижению намеченной цели: в то время Волдис еще не уехал, и Эзеринь должен был считаться с соперником. Все несчастье заключалось в том, что он не знал подлинных намерений Волдиса: ограничится ли тот дружбой Лаумы, или пойдет дальше? Как бы то ни было, Волдис был самым главным препятствием, и Эзеринь не мог придумать, как устранить его. Обычными приемами — хорошим костюмом, билетами в кино и театры, подарками и угрозами — на Лауму не подействуешь. Запугать Волдиса казалось делом еще более невероятным: он был физически силен и знал кое-какие приемы борьбы. Оставался единственный путь, чтобы упрочить свое положение и завоевать доверие Лаумы, — попытаться влиять на ее родителей. Мать с самого начала благоволила к Эзериню, потому что он приносил ей иногда конфеты и фруктовое вино. Гулбиса Эзеринь если не целиком перетянул на свою сторону, то во всяком случае обезоруживал, распив с ним несколько бутылочек.

И все же этого было недостаточно. Нужно было добиться, чтобы его официально признали женихом.

В это время один из приятелей Эзериня получил в наследство от умершей в Саркандаугаве тетки дом и две тысячи латов. Счастье, выпавшее на долю приятеля, долго занимало ум Эзериня. Почему он не получил наследства? Он представил себя в положении своего

приятеля, вжился в эту роль, наслаждался ею. Чего только нельзя было сделать, имея дом и две тысячи латов!

В результате этих размышлений ему пришла в голову мысль: а что если он скажет, что получил в наследство от умершей тетки дом и деньги? Не будет ли это достаточно веским доводом, чтобы заставить девушку, у которой ничего не было за душой, остановить свой выбор на нем?

Зная по опыту, что алкоголь помогает людям совершать всякие темные и грязные дела, Эзериньш выпил — не очень много, чтобы не стать излишне болтливым, но достаточно для того, чтобы не мямлить и не краснея говорить людям в глаза заведомую ложь. Однажды вечером, когда Лаумы не было дома, он будто между прочим намекнул старикам о том, какое счастье ему привалило. Гулбис, как всегда, выслушал сообщение с простодушным видом, вероятно, не оценив всей важности его, но на его жену эта весть произвела совсем иное впечатление: в первый момент она смутилась и весь вечер не могла скрыть охватившего ее волнения. Кое-как успокоившись, она принялась выспрашивать Эзериньш, что он думает предпринять. Тот сдержанно ответил, что решил начать самостоятельную жизнь. Мать уже давно советует ему жениться, и, вероятно, придется решиться на это.

В тот вечер он больше не высказывался: от богатого наследника и нельзя было ожидать, чтобы он теперь кому-нибудь навязывался со своей любовью. Раньше он был охотником, а Лаума добычей, теперь же ей придется его считать добычей, притом добычей ценной.

Предположения Эзериньш до некоторой степени оправдались: его акции заметно повысились. Гулбиене встречала его как сына, старалась угодить, заискивала перед ним, не позволяла Лауме уходить вечерами из дому; Гулбис называл Эзериньш зятьком. Только Лаума оставалась по-прежнему такой же сдержанной, так же насмешливо разговаривала с ним, а когда хотела избавиться от его общества, брала книгу и принималась читать. Тогда Эзериньш стал намекать на свои планы, на женитьбу и на свое расположение к Лауме. Гулбиене сияла от счастья... Девушка упрямо молчала... Отец был само равнодушие...

Неделю спустя обстоятельства вдруг сложились благоприятно для Эзериня, и ему показалось, что он близок к цели. Гулбиене должна была поехать в Слоку к умирающей сестре, а Гулбис всю эту неделю работал в ночную смену, — целую ночь Лаума будет дома одна! Эзериньш придет к ней и останется до утра...

Но он не рассчитал, что Лаума может уйти. Когда в обычное время, в семь часов вечера, он постучал в дверь Гулбисов, ему не открыли. Постучав еще, он убедился, что никого дома нет, вышел на улицу и стал ждать. Проходил час за часом — девушки не было. Наступила ночь. Эзериньш прихватил с собой бутылку померанцевой, рассчитывая с ее помощью уговорить Лауму. Обозленный долгим ожиданием, он не удержался и сам выпил всю бутылку. Он сильно опьянел и чувствовал себя необычно смелым.

Наконец Лаума приехала из города с последним трамваем. Ее провожал Волдис Витол. Когда они подошли к калитке, Эзериньш, не владея собой, бросился на Волдиса. Но Волдис так сильно ударил, что у Эзериня начался припадок эпилепсии, от которого он пришел в себя только дома. Его противник, на которого он напал, сам принес его домой. Вот смехота. Это, должно быть, совсем бесхарактерный человек. Ведь Эзериньш и его друзья великодушие считали свойством слабых людей. Сам он испытывал такой стыд из-за полученных побоев, что несколько недель не показывался к Гулбисам. Выручила опять водка. Эзериньш выпил, чувство неловкости прошло, и он по-прежнему стал каждый вечер ходить к Гулбисам. Лаума сидела теперь по вечерам дома, мать не пускала ее никуда. Портовый рабочий не появлялся. А вскоре Эзериньш узнал, что Волдис Витол ушел в дальнее плавание.

Эзериньш успокоился, но не совсем. Может быть, Волдис уговорился с Лаумой? Может быть, они переписываются, и, вернувшись в Ригу, соперник предпримет решительный шаг? Эзериню надо было поспешить не только для того, чтобы выиграть пари, — ему эта трудная игра успела надоесть. Он хотел ускорить ее ход, чтобы покончить с ней раз навсегда.

* * *

В тот вечер, когда Лаума вернулась из порта, Эзеринь не стал долго задерживаться. По настороженному выражению его лица и лиц родителей Лаума сразу определила, что всех троих объединяло что-то общее и что она пока находится за пределами этого таинственного союза. Когда Эзеринь, посидев полчаса, собрался уходить, Лаума по многозначительным взглядам, которыми обменялась с ним Гулбиене, поняла: они что-то замышляли, и ей следовало приготовиться к самым неожиданным сюрпризам.

— Мне сегодня нужно уплатить в союз членские взносы, — сказал Эзеринь, отвечая на вопросительный взгляд Лаумы.

Простившись, он ушел. Гулбиене вышла за ним в коридор.

— Надо посветить, а то у нас на лестнице можно шею сломать, — сказала она.

Поругивая скупого и жадного домохозяина, который за квартиры дерет бог знает какие деньги, а об освещении лестницы не думает, она вышла. Лаума слышала тихий шепот, потом на лестнице раздались шаги, и мать вернулась в комнату.

«Что-то готовится», — подумала девушка и попыталась принять все это за шутку. Но она не могла найти в этом ничего смешного. Напрасно она старалась настроить себя иронически: таинственный вид матери, задумчивое кряхтенье отца, темные углы комнаты, безмолвие, царящее во всем доме, и монотонные трамвайные звонки на улице — все это наполняло ее сердце тревогой. Лауме казалось, что комната полна удушливыми испарениями. Она настолько живо вообразила себе это, что почувствовала сухость в горле, жар, а когда попыталась проглотить слюну, это ей не удалось, — горло отказалось сделать обычное движение.

Молчание затягивалось. Мать села за стол против Лаумы и, сложив руки на коленях, неуверенно поглядывала на дочь. Отец курил. Не вытерпев напряженного молчания, Лаума встала и взяла с подоконника книгу. Раскрыв ее на заложенной странице, она начала читать, не понимая ни слова, — буквы прыгали перед глазами, строчки сливались в сплошное черное пятно.

Только слух жадно ловил каждый звук, каждый скрип стула, шорох платья, дыхание.

«Чего я боюсь? — думала она про себя. — Как это глупо. Пусть спрашивают, о чем хотят, — я отвечу, как найду нужным...» И тут же она внезапно почувствовала себя несчастной, одинокой, беззащитной. Так хотелось плакать...

Мать кашлянула и пошевелилась на стуле.

— Альфонс нам сегодня рассказывал... о себе... — начала она.

— Он всегда говорит о себе, это не новость! — Лаума нервно прервала мать, удивляясь своей резкости и неизвестно откуда взявшейся смелости.

— Он решил жениться, — продолжала мать.

Опять наступило молчание. Старый Гулбис вышел в кухню напиться. Пока он там громыхал кружкой и медленными шаркающими шагами возвращался в комнату, мать с дочерью сидели молча.

— Да, он хочет на рождество сыграть свадьбу, — снова начала мать, выждала немного, покашляла. — Что ты скажешь на это?

— Я? — спросила Лаума сухо и засмеялась. — Какое мне дело. Пусть женится.

— Да что ты притворяешься непонимающей? — рассердилась Гулбиене. — Ведь хорошо знаешь, что он хочет жениться на тебе.

— Вот как! Откуда же мне знать? — Лаума опять засмеялась и закусила губы; она машинально перелистывала книгу то от начала к концу, то от конца к началу.

— Разве вы с ним об этом не говорили? — не успокаивалась мать.

— Ничего я не знаю.

— Может, и не знаешь. Но сегодня вечером он спрашивал наше мнение на этот счет. — Затем, вдруг рассердившись, повернулась к мужу. — Да скажи и ты хоть слово! Говори, было так или не было? Сидит, как чурбан!

— Ну да, было... — испуганно пробубнил Гулбис. — Спрашивал, спрашивал... и велел нам поговорить с тобой, что ты скажешь...

— Ну вот, что ты скажешь? — настаивала мать.

— Я... — Лаума хотела сказать: «Я знать ничего не желаю», но неизвестно почему тихо пробормотала, опустив глаза в книгу: — Я ничего не знаю.

— А кто же, по-твоему, должен знать? — всплеснула руками Гулбиене. — Жить-то с ним придется тебе, значит, ты должна знать. Обдумай все, только не тяни очень долго. Альфонс и так уж долго ждал.

— Я не знаю... — опять только смогла прошептать Лаума.

«Рождество... — размышляла она. — Всего лишь несколько недель... Свадьба... Эзеринь... Какой он ничтожный и наглый. Только несколько недель... Норвежский штурман и флакон одеколона... «Сколько вам уплатить?..» Меня считают уличной девкой, делают гнусные предложения, а Эзеринь хочет жениться на мне... Где мне найти работу?.. Работу!.. Работу!.. Сейчас... завтра... тогда еще не будет поздно... Господи, почему они не оставляют меня в покое?»

— Он не какой-нибудь голодранец! Две тысячи латов и дом в Саркандаугаве. Мы с отцом стареем... Долго ли еще мне стоять у лохани с бельем? Пора бы тебе поумнеть. Да и рука у тебя...

Тихим монотонным голосом мать перечисляла свои доводы, и насколько они были просты и сами собой понятны, настолько же убийственны и неотразимы. Лаума старалась не думать, не вникать в слова матери — страшилась согласиться с тем, что мать была права. Она вздрогнула от одной мысли, что может убедить себя дать согласие.

— Я подумаю, только не сейчас. Подождите до завтра... нет, до воскресенья, тогда я дам ответ.

Она сжала голову руками и уставилась на страницы книги. А мать продолжала говорить еще с полчаса, потом замолкла.

«Почему они не оставят меня в покое? — думала девушка. — Я ничего для себя не прошу, только позвольте мне жить. Свою долю я заработаю, как и до этого. Буду ходить в порт, собирать белье, переносить обиды... Почему они мне не дают покоя? Что им от меня нужно?»

Думая так, она поняла, что ей нужно было сказать это во всеуслышание, таким должен быть настоящий,

спасительный для нее ответ. И в то же время она сознавала, что никогда не будет в силах произнести эти слова. Это было мучительное сознание своей беспомощности, какое испытываешь иногда во сне, когда хочешь что-то сказать, а с губ не срывается ни звука.

В ту ночь Лаума долго не могла заснуть. Взбудораженный мозг безостановочно рисовал всевозможные положения, какие ожидали ее в будущем, в зависимости от того, какое решение она примет. Раньше она испытывала по отношению к Эзериню лишь насмешливое любопытство, а теперь вдруг увидела все его духовное и физическое убожество. А ее положение?.. Сборщица белья, девушка, подвергающаяся всяческим оскорблениям, к тому же с искалеченной рукой... В ее положении сватовство Эзериня нужно было принять как заманчивый выход: не придется заботиться о куске хлеба, не надо будет выслушивать ворчанье матери и заслуженные и незаслуженные упреки в дармоедстве... Она получит материальную независимость. Да, независимость... когда она будет связана с человком, о котором не может подумать без чувства гадливости!.. Как ни стремилась Лаума вырваться из окружающей ее обстановки, как ни тяжела была ей назойливая, мелочная опека родителей, она понимала, что путь, предлагаемый Эзеринем, не даст ей свободу. Она только сменит оковы и тюрьму: вместо матери ее надсмотрщиком и повелителем будет Эзеринь, чужой человек, нисколько не лучше любого другого незнакомого мужчины, а может быть, во много раз хуже. Да, но что же делать?..

Она опять вспомнила Волдиса. Почему он ни разу не написал? Неужели он так никогда и не напишет? Неужели это так трудно? Или... она ничего для него не значила, и Волдис забыл о ней, как о случайной знакомой?

Лаума ломала голову, не находя ответа на эти вопросы, и чувствовала, что тупеет. Засыпая, она ощущала почти физическую усталость и вместе с ней — готовность уступить злу, которое нависло над ней, как дамоклов меч...

А утром она мучилась сомнениями и не могла сделать выбор. И не было ни одного человека, у которого она могла бы попросить совета...

* * *

Надежды Лаумы на письмо от Волдиса не имели под собой ни малейшего основания, и все же, стыдясь признаться в этом даже себе самой, она ждала его с тех пор, как узнала, что Волдис ушел в море. Она чувствовала мучительную горечь оттого, что проходила неделя за неделей, а письма все не было. Если бы совершилось чудо и почтальон вдруг в самом деле принес письмо, у нее не хватило бы даже сил порадоваться этому, так как вся радость ожидания растворилась в тоске и унизительных сомнениях.

Эзеринь приходил, сидел до полуночи, иногда приглашал в кино, и по настоянию матери Лаума шла с ним. Она ждала, что Эзеринь сам заговорит о своих намерениях, и хотела, чтобы это случилось поскорей: рано или поздно ей придется решать этот вопрос, — так уж чем скорей, тем лучше. Но Эзеринь молчал. Он не говорил ясно и прямо о своих планах, а проявлял свои чувства к Лауме так, как выражают свое влечение животные: он искал тесной близости с девушкой, старался сесть поближе к ней, сжимал ее руку, обнимал и, многозначительно умолкая, выражал этим свое волнение. И Лаума намеренно делала вид, что не понимает намеков. Иногда, когда она старалась представить себе, над чем работает сейчас мозг Эзериня, у нее в душе возникало сочувствие, похожее на жалость, которую испытывает здоровый, сильный человек при виде страданий калеки.

И в то же время ей стала невыносима физическая близость Эзериня. Она высвобождалась из его объятий и энергично противилась всякой попытке повторить их. Иногда, прощаясь с ней у калитки, Эзеринь пытался поцеловать ее.

— Перестань дурачиться... — уклонялась она.

— Ишь, какая недотрога! — восклицал он сердито и обиженно, отнюдь не считая поцелуй событием большой важности.

Он не раз целовал равнодушных, почти незнакомых, продажных и задобренных подарками женщин, оставаясь при этом безразличным, и был уверен, что поцелуй — это что-то вроде рукопожатия, не более чем простая формальность. Если девушка разрешает иногда

обнять себя, почему ее нельзя поцеловать? Отказ Лаумы его задел. Если бы намерения Эзериня были настолько серьезны и искренни, какими он старался их представить, он бы всерьез обиделся на неподатливость девушки, но, зная истинное положение дел, он лишь подосадовал и полушутя упрекнул ее: она, вероятно, боится, что ее убудет!

В следующую субботу вечером Эзериньш заявился к Гулбисам в сопровождении двух приятелей; они были нагружены бутылками и заметно под хмельком. Чтобы показать приятелям, какое положение он занимает в доме, Эзериньш держался подчеркнуто фамильярно, выходил из комнаты в кухню, садился где попало — то на кровать, то на край стола, курил, смеялся и, разговаривая с Лаумой, старался показать, насколько близки их отношения; слегка дерзил, говорил непристойности и, уверенный, что в присутствии посторонних Лаума не оттолкнет его, несколько раз обнимал ее.

Напитки он принес с таким расчетом, чтобы хватило на всех: кроме бутылки спирта были померанцевая, вишневый ликер и слабое фруктовое вино. По распоряжению Эзериня все это поставили на стол. Гулбиене, притворно ворча по поводу его расточительности, приготовила закуску, Лаума помогла накрыть на стол, и скоро все сели за него. Эзериньш занял место рядом с Лаумой. Гости быстро захмелели, разговорились, старый Гулбис рассказывал им о работе на мельнице. А Эзериньш улыбался и не спускал глаз с Лаумы.

Все смотрели на Эзериня и Лауму с веселым любопытством и многозначительно посмеивались. Лаума видела и чувствовала эти взгляды, понимала их значение, знала, о чем думают эти люди, и сознавала свое бессилие. Где-то в глубине души она еще ощущала последние вспышки протестующей воли, но, заглушаемые звоном посуды, разговорами, смехом, они становились все слабее и, наконец, угасли совсем.

Как могло случиться, что она сидела рядом с Эзериньш, смеялась, когда смеялись другие, отвечала на вопросы, переносила его прикосновения, откровенно любопытные и хищные взгляды чужих ей людей, как *могла позволить им так думать?* Она ничего не понимала. Только позже, когда все ушли, Лаума вспомнила, что после настойчивых уговоров она выпила несколько рю-

мок померанцевой и ликера. Всего лишь несколько рюмок, но они на нее сильно подействовали. Ей стало непривычно легко, она вдруг почувствовала себя беззаботной, веселой, доброй. В таком состоянии человек не может никого огорчить, отказать, если его о чем-нибудь попросят.

— Лаума! — продолжали ее уговаривать приятели Эзериня. — Пожалуйста, теперь ваш черед. Берите рюмку. Ну, ну, не надо морщиться, это ведь не яд, не отравитесь!

Ликер был сладкий. Лаума пила и не стеснялась этого — все ведь пили, даже мать. От разговоров в комнате стоял гул. Лаума глядела на всех, и при виде улыбающихся лиц ей тоже хотелось улыбаться. Не понимая, о чем ее спрашивает Эзериньш, мать и гости, она, улыбаясь, только радостно кивала головой. Все были довольны. Затем стаканы опять наполнили вином, все подняли их и встали; пошатываясь от опьянения, чокнулись друг с другом. Старая Гулбиене заговорила рыдающим голосом, заплакала, утирала слезы. Потом стал говорить один из приятелей Эзериня; он все время смотрел на Эзериня и Лауму и, кончив говорить, запел заздравную песню. Все подхватили ее и запели каждый по-своему, фальшивя и путая слова. Кончив петь, все стали пожимать руки Эзериню и Лауме, еще раз поздравили и, утихомирившись, сели за стол. Мать почему-то была очень ласкова и приветлива — несколько раз подходила к Лауме и, поглаживая ее плечи, заботливо спрашивала, не холодно ли ей, хотя в комнате было жарко как в бане.

Вдруг один из приятелей Эзериня поморщился, принюхиваясь к налитому в стакан вину:

— Горько. Надо бы подсластить немного.

Все засмеялись и взглянули на Эзериня. Он покраснел, потом, будто решившись, обнял Лауму и притянул к себе. В момент, когда Лаума увидела вблизи эти полусонные глаза, бледное худощавое лицо, влажный рот, обдавший ее запахом водки, она словно очнулась. Как сквозь туман, до ее сознания дошло значение всего происходящего — произнесенных тостов, песен, улыбок, поздравлений, материнской приветливости и этого приближающегося к ней чужого влажного рта. Опять где-то в глубине души вяло шевельнулся протест: девушка

хотела встать, крикнуть, что это неправда, что она совсем об этом не думает, — но вместо этого неловко качнулась в сторону Эзериня, и все поняли это движение как ответное, активно проявленное согласие. И в следующий момент она почувствовала, как к ее губам присосалось что-то скользкое, влажное... Все были очень довольны.

Вытерев губы, Лаума задумалась. Глядя в пространство, она старалась сосредоточиться, но это ей не удавалось: ликер горячил кровь, жег мозг и притуплял чувства. Не заметив, как простились гости, как Эзеринь, пожав ей руку, обещал прийти на другой вечер, она задремала, склонившись на залитый вином стол.

* * *

Когда Лаума проснулась, вокруг было совсем темно. На улице стояла тишина. От противоположной стены комнаты доносилось храпенье отца, изредка стонала во сне мать. Болела голова, во рту было невыносимо сухо, хотелось пить. Девушка встала, не зажигая огня, вышла в кухню и выпила кружку воды. Вдруг у нее закружилась голова. Она ухватилась за косяк и переждала, пока прошло головокружение, затем вернулась, легла на кровать и укрылась до подбородка теплым одеялом.

Что же произошло? Что с ней? Лаума силилась припомнить. Сознание мало-помалу прояснилось. Она вспомнила ликер, поздравления, поцелуи... Сердце взволнованно застучало, ее охватил жгучий, невыносимый стыд и чувство гадливости.

«Как я могла допустить это? — спрашивала она себя, и чувство стыда все росло в ней. — Все смотрели, видели, что он меня целует, все знают об этом!»

Лаума отбросила одеяло и села. Комната остыла, но девушка не чувствовала холода, от которого тело покрылось гусиной кожей. И вдруг неясная догадка превратилась в уверенность: она поняла, что произошло.

«Я дала слово... Ему, человеку, который меня целовал... Предложение... официальное... при свидетелях... Я дала слово! Дала слово!»

Только теперь дошло до сознания Лаумы, какую страшную ошибку она совершила. Эзеринь получил

ее согласие. Она должна будет теперь выйти за него замуж, провести всю жизнь — во всяком случае часть ее — рядом с ним. Лаума не могла даже представить себе этого, — так это было страшно, так отвратительно и вместе с тем неизбежно. Ей казалось, что она попала в болото: жадные подземные силы трясины засасывают ее, пытаются поглотить, она не в силах сопротивляться, не в силах вырваться. А кругом непроглядная тьма, такая же, как в этой комнате.

Лауме не к кому было обратиться за помощью, за поддержкой в эту трудную минуту. Никто бы ее не понял, не захотел бы понять, а те, кого сама природа дала ей как самых близких людей — ее родители, — оказались самыми чужими, равнодушными. Что им нужно от нее? Почему они не оставляют ее в покое? И почему... почему не пишет Волдис?

Представив себе, как бы отнесся к этому Волдис, Лаума почувствовала себя такой униженной, что заплакала, вцепившись зубами в подушку. И опять ей было непонятно, почему она не может заплакать громко, почему не может открыто проявить свое отчаяние. Зачем нужно лгать и притворяться? Или она щадила людей, которых могло оскорбить ее горе, или, возможно, это просто-напросто был страх: запоздалое отчаянное признание могло только оттолкнуть людей, благосклонность которых она купила своей покорностью.

Наконец она обессилела и сквозь тихие всхлипывания услышала, как проснулись родители. Думая, что Лаума спит, они заговорили между собой. Их довольные голоса окончательно убедили девушку, что все решено, — она дала слово и обратно его не вернешь.

Родители говорили о доме в Саркандаугаве.

— Говорят, дом довольно большой. Нам не придется больше скитаться по чужим углам. Интересно, будет он с нас брать квартирную плату? Неужели зять окажется таким скрягой по отношению к тестю...

Они беседовали о будущем, о счастье, которое ожидало их дочь, по-ребячески мечтали о разных мелочах, всплывавших в связи с новым положением, которое они готовились теперь занять в жизни.

Лаума натянула одеяло на голову. Ей больше не о чем было мечтать, все уже было взвешено и решено.

* * *

На следующий вечер Эзеринь явился один. Старики скоро вышли в кухню, и Лаума осталась вдвоем с ним. Он сел рядом с ней, обнял ее и поцеловал.

Лаума молчала.

Они сидели в темноте, не зажигая огня, и Эзеринь слегка коснулся своих планов на будущее. Он собирается открыть в своем доме бакалейную лавку, и Лаума будет там хозяйничать. Если ей это не по душе, они наймут приказчика, тогда ей будет легче.

Лаума молчала.

Решив, что Лауму не интересуют такие отдаленные перспективы, Эзеринь перешел к обсуждению ближайших: какую мебель ей хотелось бы — светлую, под орех, или черную? У них будет квартира из трех комнат, не считая лавки. Дом трехэтажный. Хорошо бы как-нибудь походить по мебельным магазинам и выбрать себе обстановку по вкусу и по деньгам. Может быть, послезавтра? Кстати, он свободен в этот день.

Лаума продолжала молчать...

В комнате было темно, поэтому Эзеринь не видел выражения отчаяния на лице девушки, он только чувствовал, как она неопределенно пожимала плечами, — и это было единственным ответом на все его вопросы. Тогда он замолчал и, тесно прижавшись к Лауме, сидел несколько минут не двигаясь. Потом, будто вспомнив что-то, он крепко обнял девушку, отыскал в темноте ее губы и стал целовать их. Рот у него был влажный и горячий. Лаума слабо вздрогнула, подавляя гадливость, но промолчала...

Из кухни доносился тихий разговор старых Гулбисов. Мать временами звенела посудой, показывая, что она занята и не подслушивает. Эзеринь понял этот знак и взвесил обстановку. Склонившись к Лауме, он обдавал ее своим горячим дыханием, девушка почувствовала неуверенное прикосновение его пальцев... Оттолкнув Эзериня, она вскочила.

— Перестань!

Лаума подошла к окну и долго смотрела на улицу, на крыши домов, покрытые снегом, который мерцал в красноватом свете восходящей луны. На сердце у нее сделалось тяжело-тяжело... Она готова была запла-

кать, но старалась сдержаться. Она старалась думать о постороннем, безразличном, и, когда Эзеринь опять подошел к ней, взял ее за руку и взглянул в лицо, она уже нашла в себе достаточно сил, чтобы улыбнуться.

Он обрадованно спросил:

— Когда пойдем регистрироваться?

— Мне все равно, — ответила Лаума, продолжая улыбаться и глядя мимо него, куда-то в темноту. Через некоторое время Эзеринь заметил, что эта улыбка словно застыла на ее лице. Он понял, что мысли девушки где-то далеко и эта тревожная улыбка предназначена не ему.

— Значит, послезавтра? — повторил он. — Заодно и мебель выберем.

— Мне все равно, — произнесла она и отошла от окна.

Вскоре Эзеринь ушел, поняв, что сегодня всякие дальнейшие попытки будут напрасны. Его неожиданный уход обеспокоил Гулбиене.

— Что у вас нынче случилось? — допытывалась она у Лаумы, когда Эзеринь ушел. — Уж не поссорились ли? Ты у меня смотри, не оскандалься.

Лаума лишний раз убедилась, что пути отступления отрезаны и сопротивления ей не простят.

— Послезавтра мы регистрируемся, — промолвила она.

Старики успокоились.

— Зачем тогда это скрывать? — недоумевала мать. — В этом нет ничего дурного. Иди ужинать...

* * *

Через два дня Эзеринь появился опять, одетый в свой лучший костюм. Он побывал у парикмахера, подстригся, побрился, и от него сильно пахло одеколоном.

Лаума быстро надела темное шерстяное платье, повязала голову голубым шелковым шарфом и накинула поношенное, сшитое два года назад и совсем уже немодное пальто. Мать стояла рядом и грустно смотрела, как она одевается. Когда Лаума собралась уходить, мать вдруг громко заплакала; закрыв лицо фартуком, она всхлипывала, вздрагивая всем телом. Увидав жену

плачущей, Гулбис тоже взгрустнул, и по его щекам одна за другой покатились, неизвестно какими чувствами вызванные, редкие тяжелые слезы, которые, добравшись до усов, застревали в них. Пришлось доставать носовой платок.

Лаума молча смотрела на плачущих родителей, ожидая, когда кончится этот традиционный обряд проявления печали. Она знала, что все это одно лицемерие. Точно так же плакали они, когда Лауму конфирмировали; так же лицемерно плачут и во многих других семьях, когда происходит что-нибудь подобное. Слезы родителей, всхлипывания, прощальные поцелуи и объятия не трогали Лауму, а, наоборот, вызывали в ней чувство неприязни. О чем они могли грустить и плакать? Не о том ли, что она теперь для них как бы потеряна, стала собственностью другого, чужого человека? Но ведь именно к этому они больше всего и стремились! Или где-то в глубине души они все же чувствовали свою вину, сознавали, что поступают неправильно, выталкивая свою дочь из родной семьи к чужим людям, в жизнь, полную неизвестности, быть может, обрекая ее на страдания?.. В таком случае они в своем лицемерии напоминали злую хозяйку, которая продавала чужим людям выращенную ею самою и не раз в сердцах нещадно битую корову и, расставаясь с нею, причитала над бедной скотинкой, которой неизвестно как теперь придется.

Поплакав, сколько требовали приличия, старые Гулбисы утерли слезы, высморкались и, пожелав счастья Лауме и Альфонсу, проводили их.

В бюро регистрации браков быстро покончили со всеми формальностями предварительной регистрации. Потом они пошли бродить по городу, заходя в мебельные магазины, узнавая цены и условия выплаты. Всем этим занимался Эзеринь. Лаума даже не пыталась скрыть свое равнодушие. Напрасно Эзеринь прельщал ее пестрым турецким диваном, безуспешно расхваливал ей дорогую спальню, которую был не в состоянии приобрести, если бы даже она и понравилась Лауме, — ее не заинтересовали ни зеркальный шкаф, ни буфет, ни трюмо, ни дубовые стулья с обивкой.

— Присмотрись и запомни, — предупреждал ее Эзеринь у входа в магазин. — Потом посоветуемся, где и что купить.

Продавцам он говорил: «Мы зайдем в другой раз». И он и продавцы знали, что этого «другого раза» не будет никогда, но Эзеринь держался солидно и серьезно, и продавцы делали вид, что верят его словам. Вежливо лицемеря, он обходил магазин за магазином.

Лауме надоело это хождение, но когда она представила себе вечер дома в обществе родителей, обсуждающих все подробности предстоящей свадьбы, и требовательно ласкового Эзериня, по отношению к которому она теперь должна быть уступчивее, — она готова была ходить без конца.

У какой-то столовой Эзеринь почувствовал, что проголодался, но он ничего не сказал, столовая ему чем-то не понравилась, и повел Лауму на другую улицу и остановился у дверей маленькой гостиницы.

— Пойдем перекусим немного, — предложил он.

— Мне все равно, — ответила Лаума, бросив равнодушный взгляд на вывеску гостиницы; прочитав название, она тут же забыла его и пошла за Эзеринем.

* * *

В нижнем этаже гостиницы находился ресторан с буфетом. У буфета скучало несколько официантов в залоснившихся смокингах, с прилизанными волосами и застывшими лицами. Один из них поспешил навстречу Эзериню, и они о чем-то заговорили вполголоса. Эзеринь спрашивал, официант утвердительно кивал головой, с любопытством искоса поглядывая на Лауму. Потом Эзеринь подошел к буфету.

— Пойдем наверх, — сказал он Лауме, заказав обед. — Там спокойнее. Здесь, внизу, все пялят глаза, тебе это будет неприятно.

Они поднялись на второй этаж. Официант поспешил вперед, открыл двери, поклонился и отдал ключи Эзериню.

Это был обычный номер дешевой гостиницы. Небольшое зеркало на стене, потертый плюшевый диван, два старых стула, стол, покрытый скатертью в пятнах, еще мокрой от пролитого вина, умывальник с большим кувшином для воды под ним и широкая деревянная кровать, прикрытая тонким изношенным одеялом. В комнате

было тепло. Эзеринь чувствовал себя свободно и непринужденно, сразу снял пальто и предложил Лауме последовать его примеру...

— Тебе здесь нравится? — улыбаясь, спросил он и, не дождавшись ответа, подошел к окну и опустил штору. Лаума села на диван и посмотрела на Эзериня странно заблестевшими глазами.

— Я знаю, зачем ты меня сюда привел... — сказала она; в ее дрожащем голосе слышалась холодная насмешка.

Эзеринь покраснел и попробовал засмеяться, но смех получился принужденным и неестественным.

— Тем лучше, если знаешь... — И, подойдя ближе, он спросил нерешительно и тихо: — Ну, и что ты скажешь?

Лаума сделала вид, что не слышит. Сложив руки на коленях, она сидела притихшая, отчаявшаяся, по временам беспокойно вздрагивая. Вошел официант с закусками и вином, и Эзеринь рассчитался с ним. Лаума все время не спускала глаз с официанта. Увидев, что он старается избежать ее взгляда, Лаума поняла, что этот человек все знает.

Официант вышел, и Эзеринь, заперев дверь на ключ, сел рядом с Лаумой.

— Итак, отметим этот знаменательный день маленьким торжеством, — засмеялся он, наполняя стаканы вишневым ликером. В то же время его все время мучила мысль, что эта затея обойдется довольно дорого. Он припомнил все сделанные им подношения — сладости, вино... даже подсолнухи. Не считая мелочей, общая сумма расхода значительно превышала стоимость предстоящего вознаграждения! Эзеринь в основу своих расчетов брал цену, которую обычно платил уличным девицам.

— За что же мы будем пить? — опять обратился он к Лауме.

Она вглянула на Эзериня. Бесконечную усталость и апатию выражал этот грустный взгляд, но Эзеринь не понял его.

— Ты опять хочешь напоить меня, как тогда? — спросила она, скривив губы в горькой усмешке. — Не нужно... Совсем не нужно.

— Да что ты! Разве я что-нибудь такое сказал? —

пробормотал Эзеринь. — Вообще нам уже теперь не к чему притворяться. Еще каких-нибудь две недели — и мы будем мужем и женой.

Она рассмеялась прямо ему в лицо.

— Притворяться не к чему, а ты все-таки притворяешься! Ну скажи откровенно, зачем ты меня сюда привел? Пообедать? Отметить знаменательное (она резко подчеркнула это слово) событие? Ты же сам этому не веришь.

— Что ты в самом деле думаешь! — воскликнул он, смущенно отодвигаясь от Лаумы и взяв стакан. — Пока мы тут с тобой болтаем, вино выдыхается, жаркое стынет...

— И аппетит проходит... — насмешливо добавила Лаума. — Пей ты, я не буду.

— Но как же так?

— Да просто не хочу и не буду пить.

— Как хочешь, а я выпью! — сказал Эзеринь.

Он демонстративно опустошил стакан, налил его и выпил опять.

— Но есть-то ты будешь? — спросил он Лауму.

— Если захочу, поем, — усмехнулась она.

Эзеринь принял это как шутку.

— Смотри, как бы все не оказалось съеденным, когда ты вздумаешь поесть... — И он с напускной жадностью стал отправлять в рот большие куски жареной свинины, намазывая их горчицей и посыпая солью.

Он не переставал смеяться, хотя не понимал, шутит Лаума или насмехается над ним. Ему понравился ликер. Он пил и становился все смелее и беззастенчивее.

— Значит, ты боишься, что я тебя напою? — спросил он. — Чего ты боишься? Ведь ты не в лесу, а в городе. На каждом шагу полиция. Неужели я кажусь таким страшным?

Наконец он подошел к Лауме вплотную. Она, продолжая наблюдать за ним, думала: «Я буду принадлежать этому человеку. Он получит власть надо мной, и я должна буду во всем ему подчиняться... Какие у него тонкие губы, выпачканный жиром подбородок, длинный нос... Он будет меня целовать, и я должна буду переносить его ласки, его близость, не посмею сказать ему, что он мне гадок, не смогу оттолкнуть его, уйти от него...»

Она представила все подробности своей жизни с ним и испугалась того равнодушия, с каким могла обо всем этом думать.

«Это всего лишь сделка, расчетливая сделка. Он покупает, я продаюсь. Ему не стыдно покупать, мне — продаваться. Как он не замечает этого? Чего он ждет от меня? Что я полюблю его, буду послушной, вещью? Возможно, надеется спустя некоторое время, когда все надоест, избавиться от меня?»

А Эзеринь пил, ел и ни о чем не думал.

На мгновение в душе Лаумы вспыхнула искра протеста.

«Если бы найти работу!» — еще раз страстно подумала она о свободе. Но эта отчаянная мысль как внезапно возникла, так же быстро и угасла, — она была лишь короткой зарницей, похожей на вспышки маяка ночью над необозримой морской пучиной.

Кончив есть, Эзеринь вытер рот носовым платком и, подавив отрыжку, взглянул на девушку.

— Ну, так как же?

Безразлично, ни о чем не думая, но ясно сознавая все, она отдалась ему.

* * *

Добившись близости, Эзеринь при каждом удобном случае стремился подчеркнуть это. Он больше не чувствовал превосходства Лаумы над собой и своего ничтожества, что его всегда так угнетало. Она ведь была такая же, как все, и он стал теперь ее полным хозяином! Эта победа значительно подняла его самомнение, и он не замедлил сообщить о своих успехах друзьям.

Те две недели, которые оставались в его распоряжении до срока записи брака, он приходил каждый вечер, но с собой уже ничего не приносил. Гулбисы эту внезапную бережливость должны были расценить как заботу о будущем хозяйстве, устройство которого требовало немало средств. Да в конце концов ему было безразлично, как это истолкуют другие.

В отношениях с Лаумой он сделался более требовательным, беззастенчивым, иногда даже грубым.

— Ты заказал себе костюм? — спросила она однажды.

Эзеринь смутился, но быстро нашелся:

— Нет, я куплю готовый. Это обойдется дешевле.

Она больше ничего не спрашивала, но Эзеринь стал осторожнее. Оставалась только неделя...

* * *

Прошла и эта последняя неделя. Эзеринь еще ничего не готовил к свадьбе, и Гулбиене становилась все нетерпеливее. Однажды вечером Гулбис не работал в ночную смену, и старики, к большому неудовольствию Эзериня, не ушли на кухню, а зажгли в комнате огонь и уселись за стол. Эзеринь понял, что на этот раз от объяснений ему не уйти. С одной стороны, он испытывал некоторую неловкость и боязнь, предстоящее объяснение тревожило его, он не чувствовал себя к нему достаточно подготовленным, но, с другой стороны, сам хотел ускорить развязку. Рано или поздно эту горькую пилюлю ему все равно придется проглотить. Сознавая это, Эзеринь размышлял, как все обставить поудобнее. Цель достигнута, пари выиграно, и его ущемленное самолюбие удовлетворено. Продолжать начатое — безрассудно: жениться он никогда не собирался, и теперь, когда его прихоть исполнена, он по-настоящему почувствовал преимущество своего свободного, независимого положения.

«Если нельзя будет иначе, заплачу за аборт, и пусть они оставят меня в покое!..»

Мысленно подсчитав, сколько может стоить аборт, он с сожалением подумал о предстоящих расходах.

Гулбиене откашлялась и нерешительно, точно ожидая помощи, взглянула сначала на мужа, затем на дочь, но они оба были заняты своими мыслями.

— Ну, Альфонс, как ты думаешь — устраивать свадьбу или так, без всякого шума?

— Мне все равно, — процедил сквозь зубы Эзеринь.

— Это как же так? Если хотите что-нибудь устраивать, надо приготовиться заранее. Мы думаем, хоть небольшой ужин, а нужно устроить. Пришли бы твоя мать, близкие друзья, посидели бы, поговорили и этим бы обошлись. Большие расходы мы не можем себе позволить. Сами сварим пиво, напечем пирогов и булок,

и если ты прихватишь бутылочку-другую вина, так и достаточно будет. Это мы можем. Устраивать танцы, нанимать музыкантов и приглашать гостей — обойдется очень дорого. Лучше на эти деньги купить какую-нибудь вещь, нужную в хозяйстве. Как ты думаешь? Нам-то все равно, как сами хотите, так и делайте.

Подчеркнутое слово «сами» заставило Лауму покраснеть, а Эзериня вздрогнуть. Он понял, что зашел слишком далеко, если эти люди уже не могли и представить его отдельно от их дочери. Он чувствовал, что попал в западню. Дверца еще не захлопнулась, но это могло произойти каждую минуту.

— Мне все равно, делайте, как считаете лучше, — промолвил он, с беспокойством глядя на людей, которые становились так опасны для него. Эта практичная, озабоченная мать при других обстоятельствах развеселила бы его, над наивно-доверчивым отцом он и сейчас был готов посмеяться, но Лаума, тихо сидевшая возле него и глядевшая большими задумчивыми глазами куда-то мимо, как будто ее не касались все эти разговоры, — она на короткий миг вызвала в нем нечто вроде сочувствия. На мгновение Эзериньш невольно представил себе положение Лаумы и все, что ее ожидало, и ему стало жаль девушку. Испугавшись своего мягкосердечия, он сейчас же отогнал от себя эти мысли и постарался думать только о своих собственных интересах, своих неудачах, насмешках Лаумы, — да, его долго презирали, он долго терпел унижения. «Отплатить, насмеяться, рассчитаться за все!» — подбадривал он себя.

Гулбиене не переставала говорить, но Эзериньш почти ничего не слышал; временами он поглядывал на Лауму.

«К чему бы мне придраться? — думал он, покусывая губы. — Какую бы найти причину?»

Вдруг он улыбнулся своим мыслям. Вздохнув с облегчением, он удивился своей недогадливости: как можно забыть об искалеченной руке Лаумы? Несмотря на длинные рукава и косынку на плечах, которую Гулбиене заставляла носить Лауму, Эзериньш давно знал об ее уродстве. От людей этого не скроешь. Прежде всего об этом узнали на лесопильном заводе, затем подруги рассказали своим матерям, матери — знакомым, и, проделав известный путь, секрет достиг ушей Эзериня.

Никогда не питая серьезных намерений, он этому обстоятельству вначале не придал особого значения, а впоследствии даже забыл о нем. Только сегодня вечером, попав в затруднительное положение, он понял, что именно изуродованная рука Лаумы могла спасти его!

Не скрывая довольной улыбки, он придвинул свой стул ближе к Лауме и обнял ее за плечи.

— А ты что думаешь об этом? — спросил он, скользя рукой вниз по боку Лаумы, крепко прижимая к себе ее плечи. — Почему ты ничего не говоришь? Не держи так руку. Ты хочешь показать свою силу? Думаешь, я не согну ее? Я не такой слабый, — и, как бы играя, он схватил Лауму за руки, стараясь разогнуть их. — Что это? Почему ты не выпрямляешь эту руку? А, ты думаешь, я не разогну ее? Ну, попробуем!

Вскочив со стула, он схватил обеими руками больную руку Лаумы. Нажимая одной рукой на локоть, он другой тянул за кисть вбок, навалившись на плечо девушки.

Старые Гулбисы испуганно переглянулись, а Лаума, краснея от стыда и боли, стиснув зубы, пыталась вырваться.

— Пусти... — вкрикнула она; на глазах ее показались слезы. — Отпусти, не ломай! — Лаума вдруг застонала от боли и вырвалась. Прижав в груди изувеченную руку, она склонилась на стол, опираясь на другую руку и еле сдерживая рыдания.

Эзериньш выпрямился во весь свой маленький рост, состроил зверскую физиономию, точь-в-точь как герои гангстерских кинофильмов, и, заставив себя порывисто дышать (что должно было означать высшую степень взволнованности), стиснув зубы, прошептал:

— Вот, значит, как? Ах, вот как? Калеку хотели подсунуть?

— Успокойся же, Альфонс! — Гулбиене вскочила и, поглаживая плечи Эзериня, пыталась усадить его. — Ничего особенного нет, немного задето сухожилие. Она все может делать. Понемногу совсем поправится. Врач сказал, что рука будет сгибаться.

— Ах, ничего особенного? — передразнил он ее. — Только немного не гнется? Для вас это, конечно, ничего не значит, а мне?.. Подумайте сами — мне, которому придется прожить с ней всю жизнь! — Он затопал ногами и закричал: — Вы меня хотели обмануть!

Сухорукую сосватать! На что она мне нужна? Что у меня, богадельня, что ли? Оставьте меня в покое, не подходите! — Он сердито оттолкнул Гулбиене. — Вы меня больше не задобрите! Я увидел, я понял, почему вы меня так уговаривали жениться! Но я теперь этого ни за что не сделаю!

Он, как безумный, схватил с вешалки пальто и шапку и, не надевая их, выбежал из комнаты. В несколько прыжков он сбежал с лестницы, и за ним сердито громыхнула захлопнутая калитка. На улице он сразу успокоился. Улыбаясь, надел пальто, шляпу, ощупал карманы — не выронил ли чего, и направился к трамвайной остановке.

«Теперь в город, к друзьям. Вот потеха-то будет!..»

Он заранее веселился, представлял себе, как друзья посмеются над забавным приключением, и даже заторопился от нетерпения.

Ему стало легко и приятно, будто он избежал большой опасности.

«Завтра откажусь от регистрации брака. Вот смеху-то будет!..»

И он засмеялся, но не очень громко, потому что вблизи расхаживал полицейский, — еще примет за пьяного...

* * *

Первое время после происшедшей катастрофы Лаума чувствовала себя счастливой. Ее не покидала радостная мысль, что ее миновало что-то гадкое и опасное. Даже не верилось, что ей не надо связывать свою жизнь, свою судьбу с чужим, отталкивающим человеком. Она чувствовала себя как муха, каким-то чудом вырвавшаяся из паутины, в которой она запуталась. Во время переполоха, поднявшегося сразу после ухода Эзериня, Лаума не в силах была скрыть свою радость. В ее мозгу мелькали веселые, даже чуть легкомысленные мечты, жизнь снова стала светлее и легче, в будущем опять виделось что-то прекрасное и радостное. Даже ее теперешняя работа — сбор белья на пароходах — казалась легче и приятнее. Пусть! Она уже не станет терзаться от подозрений посторонних людей, спокойно

и безразлично будет переносить двусмысленные шутки моряков и приставания какого-нибудь нахала. Что значили эти мелочи в сравнении с тем страшным, унизительным положением, которого ей так неожиданно удалось избегнуть!

Эзеринь, уходя, назвал ее калекой. Пусть! Как хорошо, что у нее не сгибается рука! Именно ей она обязана своей свободой. Лица родителей были мрачны. Из-за чего они волнуются и кричат? Из-за несостоявшейся сделки...

Волнение Гулбиене достигло той степени, когда человек не может обойтись без энергичных движений и громких криков. Первым, на кого излился ее гнев, оказался муж.

— Ты тряпка! Ты теленок! У тебя что, язык отсох? Не мог сказать этому лоботрясу, чтобы он еще не считал себя свободным! Если бы я была мужчиной, я бы его не выпустила. Встала бы в дверях и сказала: «Потише, молодчик! Не спеши!..» Поговорили бы с ним часик-другой — уломала бы! А ты что? Теленок теленком! Еще отец называется!

— А что же я мог сделать? Удерживать насильно? Потом стыда не оберешься; скажут, жениха силком ловили.

Сообразив, в каком она оказалась смешном положении, Гулбиене почувствовала жгучий стыд, и из ее глаз неудержимо полились слезы. Плача, она не переставала кого-то бранить и обвинять. Вспомнив о прямой виновнице всех неудач — изуродованной руке Лаумы, она снова загорелась злобой. Заливаясь слезами, она визжала:

— А ты, дрянь такая, не смогла скрыть свое уродство! Зачем тебе нужно было затевать с ним возню? Где тебе устоять против мужской силы? Ну, теперь насидишься в девках. Жди, когда тебя кто-нибудь захочет взять.

И вдруг Гулбиене завыла, как волчица, на самых высоких нотах.

— Что ты комедию ломаешь?! — вышел из терпения Гулбис. — Соседи услышат, невесть что подумают.

— И-и-и-и! — выла старуха. — Какой стыд! Какой позор! Жених сбежал от невесты! И-и-и-и! Вот до чего тебя довели книги! Читай, доченька, читай...

В приступе внезапной злобы она схватила лежавшую на столе библиотечную книгу и кинула в Лауму. Книга пролетела мимо и упала на пол, так что разорвалась обложка. Лаума молча подняла ее. Несмотря на происходящее, она чувствовала себя хорошо...

И весь долгий вечер, пока раздавались крики и вой старой фурии, девушка мысленно торжествовала. Пусть мать пошумит. Если придется перенести только это — можно сказать, что ей дешево досталась свобода.

* * *

Эзеринь у Гулбисов больше не показывался. Вездесущие, всеведущие соседи некоторое время пошептались, посмеялись и мало-помалу забыли случай со сватовством Лаумы. Происходили новые события: люди разводились, мужчины обольщали чужих жен, кто-то повесился, какой-то бродяга отравился денатуратом, автомашина задавила любимую собаку домовладельца Клейна... В центре внимания оказались бродяга и собака.

Гулбиене целыми днями простаивала у лохани с бельем, Лаума ходила в порт, отец таскал на мельнице мешки и по вечерам выпивал с приятелями. Дома вечерами было тоскливо; разговаривали мало, в молчании Гулбиене чувствовался непрестанный упрек.

Прошло несколько недель, и Лаума с тревогой почувствовала, что вся эта история будет иметь и другие последствия. Она ничем не выдавала своего беспокойства, только иногда задумывалась о своем положении: а что, если это произойдет? С новой силой вспыхнула ненависть к Эзериню. Но она еще надеялась...

Прошел еще месяц... Полная тревоги и забот, выполняла Лаума свою повседневную работу, а соседи думали, что она не может примириться с утратой... счастья.

Она не знала, что делать. Кое-что она слышала о всяких медицинских средствах. Знакомые девушки, сплетничая друг про друга, упоминали иногда имена каких-то женщин, которые помогали в таких случаях, но Лауму эти разговоры не интересовали. Теперь она пожалела о своем равнодушии. Знать хоть бы одну

такую женщину... Сколько это могло стоить? Вероятно, не мало. Денег у нее не было, да и просить не у кого. Обратиться к Эзериню, еще раз унизиться перед ним Лаума была не в состоянии.

Так жила она, не находя выхода, понимая, что каждый лишний день все больше усложняет положение.

В это время ей стали приходить в голову мысли о смерти. Эти страшные, пугающие мысли все больше овладевали ею. Вот выход, в котором не было ничего унизительного, — наоборот, она бы посмеялась над всеми превратностями судьбы. Ночами, натянув одеяло на голову, она испытывала какое-то жуткое удовольствие от страшных мыслей. Она представляла себя мертвой. Как все сочувствовали ее несчастной судьбе! Даже мать плакала, поняв свою вину. Но в тот момент, когда ее опускали в могилу, появлялся Волдис... И... и... тогда ей хотелось жить! Она чувствовала себя глубоко несчастной и украдкой плакала, стиснув зубами подушку...

А время шло. Ее мучили приступы тошноты, еда казалась противной. Иногда Лаума смотрелась в зеркало, не заметны ли какие-нибудь признаки. Долго ли ей удастся скрывать свое положение? Она дрожала при мысли о неизбежном объяснении с матерью и обо всем остальном. Она ломала голову над тем, как сообщить обо всем матери, но не в силах была что-нибудь придумать.

Все произошло иначе, чем предполагала Лаума. Однажды, когда она вернулась из порта с полной корзиной белья, мать, только что кончившая полоскать, сняла фартук, села на стул, странным, испытующим взглядом посмотрела на дочь и сухо засмеялась:

— Так вот как далеко зашло!..

Лаума молчала. Мать вспылила. Она схватила Лауму за локоть.

— Говори, когда это случилось? Давно?

Лаума рассказала все. Расспросив обо всех подробностях, мать сказала:

— Почему ты мне раньше не говорила? Я бы его так не выпустила. Какой позор, какой позор!..

Не владея собой, Гулбиене, вскочив с места, ударила Лауму по спине, по голове, обзывая ее развратницей, уличной девкой. Лаума, втянув голову в плечи,

молчала. Ей казалось, что с каждым ударом уменьшалась тяжесть ее вины.

Утомившись, Гулбиене повязала голову белым ситцевым платком и накинула на плечи большую шаль. Уходя, она заявила:

— Я с ним поговорю об этом деле! Он еще не успел никуда улизнуть!

И ушла.

* * *

Мать Эзериня только что отправилась в продуктовую лавку. Альфонс, весь день провалявшийся в кровати с романом Уоллеса, собрался уходить, когда раздался стук в дверь. Эзери ь небрежно откликнулся:

— Да-да!

Вошла Гулбиене.

— Добрый вечер! — довольно приветливо сказала она. — Как хорошо, что ты дома. Не надеялась застать тебя.

Эзериньш, почувствовав, что попал в затруднительное положение, что-то невнятно промычал, подал было Гулбиене стул, но вдруг, спохватившись, отодвинул его назад к столу.

— Очень сожалею, что не имею времени сейчас побеседовать с вами. («Как бы отделаться от этой старухи, пока не вернулась мать?» — подумал он.) Видите ли, я тороплюсь в союз уплатить членские взносы. («Что ей нужно от меня? Пусть только попробует приставать!») У вас какое-нибудь дело ко мне?

— Да, есть дело. Ты, наверно, сам понимаешь, что это за дело?

— Говорите скорее. Мне некогда.

Чтобы показать, как он занят, Эзериньш вытащил карманные часы и, взглянув на них, стал поспешно одеваться.

— Разве это так спешно, зятек? — слащаво улыбаясь, спросила Гулбиене, подвигая к себе стул. — Разве нельзя уплатить в другой раз? У меня к тебе неотложное дело.

Эзериньш переминался с ноги на ногу, словно стоял на горячих угольях. («Теперь она не уйдет, пока всего

не выскажет. Как бы ее выпроводить?») Положение становилось угрожающим. Мать Эзериня ничего не знала о проделках сына и считала его самым лучшим парнем в мире. Что, если сейчас обе матери встретятся?.. Ух!..

— Говорите поскорей, я не могу откладывать. Сегодня последний срок. Если я не уплачу, меня исключат из союза.

— Ну, если уж так, я тебя не стану задерживать. Лучше всего зайди потом к нам сам.

(«Ишь, чего захотела! Нет, нет, старушка, в свою западню ты меня больше не заманишь!»)

— Не знаю, как и быть...

— Ну да, ну да, если не можешь, не ходи. Только... — Гулбиене состроила такое умильное лицо и заговорила таким сладким голосом, что Эзериню стало тошно. — Придется все же вам пожениться. Ничего не поделаешь.

— Что вы болтаете? Кому жениться? Почему я должен жениться на... сухорукой!..

— Потише, потише, зятек. Что ж поделаешь, если она... ждет...

— Кого ждет?

— Ребенка.

Эзеринь засмеялся, но голос у него дрожал. Он злился на себя за смущение. Чтобы скрыть его, он расхаживал по комнате, но малейший шум на лестнице заставлял его вздрагивать. Он уже перестал надеяться на то, что Гулбиене уйдет до прихода матери. Поняв, что попался, он злился, как крыса, попавшая в ловушку.

— Значит, у нее будет ребенок? — внезапно воскликнул он и остановился. — А какое мне до этого дело?

Эта наглость смутила даже Гулбиене. От изумления она только моргала глазами и долгое время не могла произнести ни слова.

— Как... как... как? — воскликнула она, вскакивая со стула. Эзеринь на всякий случай отошел за стол. — Тебе нет дела? Значит, ты не знаешь? Ты что же думаешь, мы были глухие и слепые? Стыдись ты... ты... пес эдакий!

— Попрошу немного потише, это мой дом, и я не глухой! — расхрабрился наконец Эзеринь. — Криком вы меня не испугаете, не младенец. Если ваша дочка

ожидает ребенка, то ей самой лучше знать, от кого он и как с ним быть. Спросите прежде, со сколькими она встречалась.

— Постыдись! Говоришь, будто ни в чем не повинен. У нас же есть свидетели, которые все видали. Нет, ты не отделаешься. Не хочешь по-хорошему, мы заставим через суд.

Эзеринь нервно засмеялся.

— Пожалуйста, кто вам запрещает. Я об этих делах ничего не знаю. Теперь только я вижу, какую вы воспитали невесту для всего света... И вообще, знаете, мне некогда. Я ухожу. Может быть, вас здесь запереть?

Эзеринь рассмеялся в глаза взбешенной женщине.

— Бог тебе отплатит за это, греховодник! Попомни мои слова! — кричала Гулбиене уже в прихожей.

Эзеринь повернулся к ней спиной и запер дверь на ключ, потом поспешил к окну и проследил, как разъяренная старуха вышла на улицу и исчезла в вечернем сумраке. Минуту спустя на противоположной стороне улицы показалась маленькая, сгорбленная женщина, она несла какие-то свертки и полкаравая хлеба.

— Слава богу! — с облегчением вздохнул Эзеринь и отер со лба пот. — Если бы они встретились...

Гулбиене встретила дома взгляд больших, застывших в боязливом вопросе глаз дочери.

— Тебе надо кончать с этим делом, — заявила мать. — Я не допущу такого бесчестья.

Она села рядом с Лаумой и долго что-то вполголоса ей внушала. Лаума краснела и бледнела. К приходу Гулбиса они уже обо всем договорились.

* * *

С этим было покончено.

Все прошло удачно, без тяжелых последствий. И хотя ни домашние, ни те несколько посторонних людей, которые были замешаны в этом деле, ничего не говорили и держались так, будто все происшедшее было им совершенно неизвестно, Лауме в каждом взгляде чудилась насмешка, почти презрение, в каждом слове слышалась плохо скрытая двусмысленность. Ей казалось,

что она стоит голая на виду у целого света и все знают о ее позоре.

Мучительные переживания, насилие над природой, внезапный конфликт со своими собственными понятиями о морали — все это безжалостно калечило еще почти детскую душу Лаумы. Ее страдания выразились не в самобичевании или приступах тоски, ее просто охватило полное равнодушие к своей судьбе и ко всему на свете. Она ни о чем не могла думать, никакие происшествия в жизни окружающих людей не в состоянии были ее тронуть, вызвать в ней сочувствие. Книги ее больше не захватывали, все яркие и возвышенные места в них казались ей искусственными и фальшивыми. После того она долгое время не плакала. Ожесточившись, она, казалось, выжидала, что будет дальше.

Все произошло тайно и без всяких осложнений, но коварные соседки все же кое-что пронюхали. Прежде всего их удивило исчезновение Эзериня. Это вызвало много пересудов, а самые любопытные прямо спрашивали Гулбиене, что случилось. Немного спустя они безошибочно определили состояние, в котором находилась Лаума. А после того как она несколько дней не выходила на улицу, а потом появилась побледневшая и осунувшаяся, все, знавшие толк в таких вещах, догадались, что именно произошло. И теперь это уже не было плодом болезненного воображения Лаумы, — нет, она повсюду — во дворе, на лестнице, в лавке, на улице — чувствовала на себе нескромные, испытующие взгляды.

Как-то утром, направляясь в порт с корзиной чистого белья, Лаума встретила двух девушек, с которыми прежде работала на лесопильном заводе. Они оглядывали Лауму с таким интересом, как будто она вышла в новом пальто.

— Ну, как ты теперь себя чувствуешь? — спросила одна из них. — Ты, говорят, влипла?

— Не понимаю, о чем это ты? — сказала Лаума, покраснев.

— Да уж чего притворяешься? Думаешь, мы не знаем? — рассмеялись девушки. — Дорого тебе это обошлось?

Лаума, не ответив им, свернула в сторону, и девушки, иронически фыркнув, пошли дальше.

«Пусть, пусть... — успокаивала себя Лаума, но на сердце у нее было горько, и корзина с бельем казалась еще тяжелее. — Пусть они думают, что хотят. Поговорят, поговорят и забудут».

А через минуту она уже не надеялась, что люди забудут ее позор. И при мысли, что ей придется жить среди этих людей на этой улице долгие мрачные годы, ее охватывала еще большая усталость. Но у нее не было жалости к себе, и поэтому она не плакала.

* * *

Несмотря на то что Гулбисы много лет жили в одном доме и жители этого района отлично знали всех соседей, у Лаумы не было ни одной близкой подруги, а из молодых людей она знала только Эзериня и Волдиса. Трудно сказать, кто в этом был виноват. Возможно, Лаума не была достаточно общительна, она никогда не ходила к знакомым девушкам в гости и не приглашала их к себе. Молодых людей, вероятно, удерживало то, что она не походила на тех девушек, с которыми можно было завести ни к чему не обязывающий роман. Многих отпугивала ее серьезность, ее считали, может быть, даже гордой и поэтому не осмеливались выражать свои симпатии.

Лаума убедилась, что случившееся с ней ни для кого не является секретом, но она надеялась, что ее оставят в покое, не будут вспоминать о происшедшем, дадут ей забыть и сами забудут об этом. Случилось иначе. Люди по-иному стали относиться к Лауме, они считали, что Лаума уже не имела права разыгрывать из себя недоступную, невинную девушку, — она была такая же, как многие другие. И окружающие не замедлили проявить свое новое отношение к ней.

В том же доме жил недавно вернувшийся с военной службы одинокий парень Арвид Крастынь. Он снимал небольшую комнатку в нижнем этаже и слесарничал в механической мастерской. Встречаясь с Лаумой, он обычно вежливо здоровался, но никогда не делал попыток заговорить с ней. Но однажды вечером, когда Лаума возвращалась домой из порта с полным мешком белья, Крастынь встретил ее у железнодорожного пе-

реезда. Лаума ответила на его торопливый поклон и хотела пройти мимо.

— Мешок у вас, наверно, довольно тяжелый? — спросил Крастынь, улыбаясь. — Дайте я помогу вам нести. Нам ведь по пути.

Он почти насильно взял у Лаумы ее ношу. Молча они направились к дому; Лаума чувствовала себя неловко, так как не привыкла пользоваться услугами незнакомых людей. На улице Путну на них изо всех углов уставились любопытные. У калитки Крастынь отдал мешок Лауме, с улыбкой протестуя против обычных выражений благодарности, затем направился к трамвайной остановке и уехал в город.

На следующий день Лаума вернулась домой раньше и не знала, что Крастынь после этого целый час напрасно ждал ее у переезда. Вернувшись домой, он вертелся во дворе, пока девушка не вышла из дому. Крастынь заговорил с ней. И так как он вчера помог нести мешок Лауме, она не могла уйти, не обменявшись с ним несколькими словами. Но этот человек слишком высоко ценил свою маленькую услугу и слишком низко — девушку, которая совершила в своей жизни ошибку.

— Не зайдете ли ко мне? — спросил он, ухмыляясь. — Никто об этом не узнает. — И робкий, вежливый юноша взял руку Лаумы и крепко сжал ее, оглянувшись украдкой.

Во дворе, кроме них, не было ни души. Крастынь наклонился к ней и засмеялся. Он все время смеялся.

— Почему не можете? Ведь никто не узнает.

Он назвал сумму, сначала небольшую, потом набавил...

Оскорбленная до слез Лаума вырвала руку из пальцев Крастыня и вбежала в коридор. Он пошел за ней.

— Но почему же нет? Разве другие были лучше меня?

— Как вам не стыдно... вы... вы... — лепетала Лаума дрожащим от волнения и негодования голосом.

А он смеялся и набавил еще немного.

Лаума весь вечер думала об этом новом унижении. Это было первое, но — она знала — за ним последуют другие, более болезненные и тяжелые. Ее считали продажной. И не без основания. Здесь она никогда не сможет вернуть уважение к себе...

Лаума еще больше замкнулась. Завидев на улице знакомых, она переходила на противоположную сторону или без всякой нужды сворачивала в первый же переулок. В порт она ходила окольным путем, по незнакомым улицам, чтобы не смотреть в глаза людям, знавшим о ней все. И все-таки она не могла избежать мелких оскорблений, ожидавших ее на каждом шагу. Крастынь продолжал ее преследовать, временами становился грубым и даже сердился на Лауму, когда она его отталкивала. Знакомые и незнакомые молодые мужчины то и дело приставали к ней, и ей приходилось молча переносить оскорбительные замечания и вольные шутки.

Под влиянием этих мелких уколов Лаума все больше тосковала об иной жизни, о других условиях и другой среде. Ей хотелось уйти от этих людей, знавших ее и так жестоко относившихся к ней. Отправляясь в порт, она ежедневно старалась узнать что-нибудь о работе. Две недели она ходила окрыленная — ей обещали место кондуктора в автобусе. В конце концов Лауме отказали, потому что к управляющему фирмой приехала дальняя родственница, выразившая желание жить и работать в Риге.

— Наведывайтесь время от времени, — посоветовали Лауме. — Если будут нужны люди, мы вас примем.

Когда она спустя некоторое время зашла в контору, ее уже не узнали и забыли о своем обещании:

— К нам каждый день ходит столько народу. Где же всех запомнить...

Она попытала счастья на конфетной фабрике и в типографии, дававших объявления в газетах. По объявлению явилось около ста девушек. Приняли тех, у кого были лучшие рекомендации.

С каждым днем Лаума яснее понимала причины своих неудач: она не имела никакой специальности. У нее была единственная возможность получить заработок — это пойти прислугой в какую-нибудь зажиточную семью, но к такой работе она испытывала непреодолимое отвращение и решила искать ее лишь в том случае, если больше ничего не найдется.

Гавань замерзла, пароходов стало меньше — Гулбиене нечего было стирать. И опять на Лауму посыпались упреки за то, что она ничего не зарабатывает.

— Читай, читай романы! Ими сыта не будешь! — ворчала она каждый раз, как только дочь брала в руки книгу.

Чтобы не сердить мать, Лаума читала мало. Но зимние вечера были такие длинные и скучные, иногда в квартире Гулбисов даже не зажигали огня. В такие вечера Лаума сидела в темноте у окна, смотрела на дверь и грустно думала о будущем, от которого она уже ничего не ждала.

* * *

В тот год была очень суровая зима. Сильный мороз, ударивший около рождества, не спадал до самой весны. Залив застыл, порт замер. Многие рабочие потеряли работу; они голодали и испытывали жестокую нужду. Время от времени толпы голодных рабочих начинали угрожающе роптать, и тогда недовольных усмиряли плетками; самых отчаянных сажали в тюрьмы, робких разгоняли. Но зима от этого не становилась мягче и короче.

Чтобы веселее провести это скучное время, так называемое «общество» устраивало разные балы, чаепития и официальные торжества. Новое государство и его граждане еще не могли похвастаться установившимися традициями, поэтому «общество» превращало в традицию каждое сборище, вечеринку или просто случайное событие, если только оно время от времени повторялось. Так рождались традиции. Юноша, нацепив накладные усы, казался себе зрелым мужчиной.

Безработица, нужда и голод тоже повторялись каждую зиму. «Общество» привыкло к ним и возмущалось этим ровно настолько, чтобы известные «деятели» высказали в печати свое мнение и стали еще более известными. Они не говорили: «Наши традиционные нужда и голод!» Нет, этого они не говорили. Но традиционные плетки, пускаемые в ход в одних и тех же традиционных случаях, «общество» и его известные «деятели» помещали в разряд вещей интимного порядка, о которых можно думать, но неприлично говорить. И все молчали.

Не молчали только голодные желудки, и мрачным огнем горели глаза голодных людей. Резиновая фабрика

работала дни и ночи, изготовляя плети и дубинки. И их пускали в ход...

Пока залив был покрыт льдом, не имело смысла ходить в порт. Гулбиене иногда сама обходила знакомые семьи, набирая корзину белья и зарабатывала лат-другой. Мельница Гулбиса работала по-прежнему, и он мог даже разрешить себе по вечерам выпить четвертинку пополам с приятелем.

Прежде он распивал четвертинку со старым Сильманом. Когда тот уехал в деревню к замужней дочери, Гулбис нашел нового партнера в лице некоего Айзпуриета. Айзпуриет был значительно моложе Гулбиса, ему было лет сорок, но пристрастие к вину как бы сгладило разницу в летах, и они хорошо понимали друг друга. Только одну перемену внес новый партнер: Айзпуриет не любил пить на улице, скрываясь в разных закоулках, как это привыкли делать Гулбис с Сильманом. Одинокий холостяк, он уводил Гулбиса к себе.

Через некоторое время Гулбис решил отплатить гостеприимством за гостеприимство: не подумав, как к этому отнесется жена, он пригласил Айзпуриета к себе.

Айзпуриет сначала ворчал и всячески отговаривался:

— Чего я туда пойду. Женщинам, может быть, это вовсе не понравится. Чем у меня плохо?

Но в конце концов сдался и как-то вечером, весь в мучной пыли, усталый, пошел за Гулбисом. Они уселись в кухне и распили свою четвертинку.

Как ни странно, Гулбиене приняла довольно спокойно эту дерзость мужа, без ее ведома и согласия приведшего в дом постороннего человека. Когда Айзпуриет опорожнил последний стаканчик и ушел, она подробно расспросила мужа о новом знакомом. Взвесив, насколько этот холостой мужчина может пригодиться (человек в летах, пожил, перебесился!), она разрешила мужу и в дальнейшем приводить Айзпуриета. В следующий раз она сама приготовила им закуску и велела Лауме накрыть кухонный столик чистой скатертью. Она нарочно несколько раз посылала Лауму на кухню с разными поручениями, чтобы Айзпуриет мог ее хорошенько разглядеть. Вечером она спросила Лауму:

— Как он тебе понравился?

Лаума упрямо молчала. Она знала мать и сразу по-

няла ее новые планы. По всему было видно, что Айзпуриет теперь ее очередной жених. Но Лаума уже не ощущала того страха, который ее мучил раньше, при Эзерине. Она твердо знала, что больше не поддастся ничьему влиянию, будь что будет!

Айзпуриет не был уродом. Многие бы нашли его даже приятным. Он был краснощек, круглолиц, с коротко подстриженными усиками, строен и очень подвижен. Безусловно приятнее Эзериня. Но он слишком много говорил, считая себя очень умным. О каждом предмете у него было свое собственное мнение, причем всегда отличное от мнения других. Хуже всего было то, что он брался судить о вещах, которых совсем не знал. Хвастливо и самонадеянно отвергал он все возражения, выдвигая со своей стороны в качестве доводов всякую чепуху. Лауме он показался жалким, ограниченным человеком.

Айзпуриет стал приходить и по воскресеньям, уже лучше одетый и поэтому еще более самоуверенный и самодовольный. Гулбиене всеми силами способствовала его сближению с Лаумой. Он приходил вечером и сидел до полуночи. Старики Гулбисы уходили спать, а Лауме приходилось весь вечер скучать с чужим человеком.

Дни тянулись невыносимо долго. До весны было еще далеко. Лаума терпеливо выслушивала дешевые остроты Айзпуриета, а мать внимательно следила за каждым ее словом и движением. Когда Айзпуриет собирался идти в кино, Лауме разрешалось сопровождать его. Ему, так же как Эзериню, нравились лишь трюковые и приключенческие фильмы.

Потом случилось несчастье. Как-то вечером Гулбис опять выпил у Айзпуриета, на этот раз больше, чем четвертинку на двоих. Угощал Айзпуриет и шутя называл Гулбиса тестем, что тому очень льстило. Далеко за полночь так называемый зять выпроводил так называемого тестя. Был сильный мороз. Снег пронзительно скрипел под ногами. Сильно охмелевший Гулбис кое-как доплелся до своей калитки, спотыкаясь вошел во двор и присел на пороге, чтобы собраться с силами, перед тем как предстать пред лицом грозного домашнего судьи.

Так хорошо было сидеть, спокойно отдыхая! И он все сидел... и заснул... Закоченел на пороге своей квартиры!.. Утром его нашли уже мертвым.

Гулбиене всегда жаловалась на больное сердце. Неожиданная смерть мужа чуть не стоила ей жизни, целый день она рыдала и металась. Лаума успокаивала ее, как могла. Когда к ней присоединился и Айзпуриет, женщина приутихла.

— Что мы теперь станем делать, как жить станем, две одинокие женщины? — повторяла она без конца.

— Как-нибудь проживем, мама. Другим еще хуже живется.

— Того уж не будет, что было...

— Ну и пусть. Что будет, тем и обойдемся.

Гулбис состоял членом какой-то похоронной кассы, и его похороны не вызвали особых затруднений, Айзпуриет, чувствуя себя в какой-то мере виноватым в смерти Гулбиса, счел своим долгом разделить одиночество осиротевшей семьи. Он приходил каждый вечер, разговаривал с матерью, болтал с Лаумой, а по воскресеньям приглашал обеих в кино. Гулбиене не помнила, чтобы она встречала лучшего человека. Иногда, когда Лаумы не было дома, она беседовала с Айзпуриетом о более серьезных вещах.

Они отлично понимали друг друга.

Вскоре после пасхи, которая в тот год была ранней, Гулбиене сказала Лауме:

— Долго ты думаешь так таскаться?

Лаума удивленно взглянула на мать.

— Как... таскаться?

— Не притворяйся глупенькой! Айзпуриет хочет на троицу устроить свадьбу.

— Пусть устраивает. Какое нам дело! — строптиво отрезала Лаума и вышла на кухню. Там она подошла к окну и забарабанила по подоконнику. Ей слышно было, как мать последовала за ней, остановилась в нескольких шагах. — Пусть... Пусть... — Этого моменга она ждала и именно сегодня чувствовала себя достаточно упрямой и отчаянной, чтобы сопротивляться. На сей раз этот номер не пройдет ни в коем случае!

— Чего ты ломаешься, глупая? — заговорила Гулбиене, но ее голос прозвучал нерешительно. — Ты, поди, думаешь, что Айзпуриет для тебя слишком прост?

— Дело не в том, прост или не прост. Он стар и скорее подойдет тебе, чем мне.

— Вот ненормальная! Бывает, что молодые девушки выходят еще и не за таких стариков. Что тут особенного, если муж на каких-нибудь двадцать лет старше. Это ничего не значит.

— Нет, это кое-что значит. И поэтому я не хочу больше ни слова слышать о твоем Айзпуриете.

Лаума сама дивилась своей внезапной смелости и, чтобы не потерять ее, старалась искусственно злить себя. Она припомнила все то, что мать делала ей плохого. Во всех подробностях она представила себе унизительную сцену, когда мать на глазах у Волдиса била ее на улице. Мысленно она поставила Айзпуриета рядом с Волдисом и громко расхохоталась. Гулбиене не могла понять, что с ней.

— Ненормальная и есть! Еще приходится удивляться, как Айзпуриет хочет жениться на такой.

— Ну и удивляйся, а я буду смеяться.

— Айзпуриет...

Лаума зажала уши.

Этого Гулбиене не могла перенести. Побагровев, она с минуту стояла, не веря своим глазам: Лаума осмелилась!..

— Я тебя выдеру, как щенка! — закричала она и бросилась к Лауме.

Лаума отскочила в сторону и вбежала в комнату. Мать за ней. Лаума зашла за стол, лицо ее стало серьезным, глаза загорелись недобрым огоньком.

— Зря стараешься! — крикнула она. — На этот раз ничего у тебя не выйдет.

— Заткни рот, бессовестная! Если ты так говоришь, тогда убирайся вон из дома! Не хочешь принять в дом человека, который согласен тебя обеспечить, заботься о себе сама. Я тебя кормить не стану.

— Ты этого и не делала. Я сама себя содержала.

— Не перечь, бесстыдница! Ты выйдешь за Айзпуриета!

— Нет, не выйду. Почему ты не вышла за старика, а выбрала молодого парня? Отец ведь был гораздо моложе тебя.

Это было слишком. Лаума почувствовала мстительную радость, увидев, как лицо матери покрылось

белыми и красными пятнами. Старуха начала всхлипывать, но Лауме ничуть не было жаль ее.

Гулбиене плакала, закрыв лицо руками; по временам она поглядывала украдкой на Лауму, но та сохраняла невозмутимость, и тогда мать принималась рыдать еще громче. Лаума оставалась непреклонной, и Гулбиене чувствовала, как в ее душе опять закипает злоба.

Наконец Гулбиене отняла от лица руки, затопала ногами и исступленно закричала:

— Я на тебе живого места не оставлю... ты, подлая! Я забочусь, чтобы тебе лучше было, стараюсь изо всех сил, а ты... собака... насмехаешься над родной матерью. Смейся, смейся!.. — И она опять заплакала от жалости к себе.

Когда она попыталась, обойдя стол, подойти к Лауме, та сразу перешла на противоположную сторону.

— Перестань ломаться, мать! — воскликнула Лаума. — Не тебе бы следовало плакать, а мне. Тебе никто ничего дурного не делает, а если я не позволяю издеваться надо мной — рыдать тут нечего. Самое большое, ты бы могла удивиться, что я отказалась от такого большого счастья, какое ты мне навязываешь... Имей в виду: если твой Айзпуриет еще явится сюда, я с ним и разговаривать не буду. В угоду тебе я терпела его всю зиму, я ходила с ним в кино. Теперь довольно. Я не товар, который можно продать, когда вздумается. А если я товар, то сама себя продам, когда захочу или когда будет нужно.

Гулбиене не плакала. Неожиданная смелость девушки озадачила ее. Она не знала, что ей делать: ни слезы, ни крики, ни угрозы уже не помогали. Она почувствовала страшную усталость и села, опустив голову на грудь.

Некоторое время и мать и дочь молчали, избегая смотреть друг на друга. Лаума подошла к окну, взглянула на улицу и снова вернулась к столу. Когда она снова заговорила, ее голос был спокоен и ясен.

— Кажется, мне лучше всего сейчас уйти. Тебе так трудно меня содержать...

Мать тихо всхлипывала, не поднимая глаз. Лаума взяла пальто, надела его и вышла, торопливо закрыв за собой дверь, чтобы мать не заметила слез, безудержно, крупными каплями катившихся по ее щекам.

— Я не поддамся, ни за что, — повторяла она про себя, но сердце у нее замирало.

Выйдя на улицу, она вдруг почувствовала себя совсем одинокой и никому не нужной. Прохожие изумленно смотрели ей в лицо, оборачивались вслед. Полицейский с интересом подошел поближе к киоску, мимо которого проходила Лаума, и подозрительно посмотрел на покрасневшие глаза и мокрое лицо девушки.

— Гм... — произнес он, покачав головой.

Улица Путну была удивлена, женщины после этого весь день говорили о девушке, которая плакала на улице.

Потом все удивились еще больше, когда девушка, вдруг остановившись посреди мостовой, помедлила, затем бросилась обратно. Никто не понимал, что с ней.

Лаума вернулась домой. Она подумала о том, какой одинокой и покинутой чувствовала себя мать, какая жуткая тишина окружала ее в пустой квартире, — и она забыла всю злобу, все обиды, незаслуженные страдания и нелады. Ей стало жаль матери.

«Я не могу так уйти. Мы должны расстаться по-хорошему, — думала она. — Она должна понять меня и согласиться с моим решением».

Расстаться враждебно, уйти и не вернуться — означало навсегда обречь себя на одиночество, — на одиночество в этой враждебной черной ночи, окружившей со всех сторон ее маленькую жизнь, как колючая изгородь!

Без горечи, не стыдясь своей уступчивости, Лаума направилась домой. На лестнице она остановилась, прислушалась. Кругом царило безмолвие. Вытерев слезы, она пошла в кухню. Огонь в плите погас, потому что никто не подложил дров. В комнате царила напряженная тишина. Под впечатлением этой тишины и Лаума старалась двигаться как можно тише. На цыпочках подошла она к двери и приоткрыла ее. Резкий скрип петель заставил ее вздрогнуть.

Мать сидела на том же месте, где Лаума ее оставила, в том же положении, опустив голову на грудь. Она казалась совсем спокойной и была бледна — подозрительно бледна... Отекшие руки, лицо, шею, затылок покрывали капли холодного пота. Она не пошевелилась, и с ее губ не сорвалось ни звука при появлении Лаумы...

Больное сердце Гулбиене не выдержало последнего удара: оно перестало биться, очевидно, в тот момент, когда Лаума надела пальто. Она умирала на глазах дочери, а та и не знала этого...

Лаума осталась теперь одна, совсем одна. Внешне бесчувственная и равнодушная, она делала все, что от нее требовалось. Люди считали ее бессердечной, но никто не знал, как сильно страдала она, особенно по вечерам, когда заботы, связанные с похоронами, были позади. Она считала себя виновной в смерти матери, думала, что ее резкие слова разбили слабое старое сердце. Каждый угол, каждое окно пустой квартиры напоминали о прошлом...

Айзпуриет помог Лауме во всех хлопотах, да и после похорон продолжал играть роль великодушного покровителя, надеясь на заслуженную награду. Ему казалось, что теперь девушка должна с благодарностью принять его предложение. Но когда однажды он заикнулся о своих планах, Лаума попросила его больше не приходить к ней: она сама знает, как устроить свою дальнейшую жизнь. Айзпуриет был возмущен ее неблагодарностью.

Лаума продала соседям за смехотворную цену оставшийся после родителей хлам и заявила домовладельцу, что живет в квартире последний месяц. Она думала о будущем. Пришли долгожданная самостоятельность и свобода, но они теперь не доставляли ей ни малейшей радости.

Она ежедневно ходила в город.

* * *

Лаума бродила по улицам без какой-либо определенной цели и без всяких намерений. Она не хотела возвращаться домой, в эту невыносимо тесную клетку, душившую ее своей холодной пустотой, — дома ее никто больше не ожидал. Но и впереди, в новой жизни, все было незнакомым и чуждым. Она не знала, что с ней будет через неделю, через месяц. И опять она стала находить утешение в мыслях о смерти. Темные холодные воды Даугавы... пыхтящие грязные паровозы... сладкие капли яда... Она думала о само-

убийстве, но без того жгучего ощущения, которое охватывает человека, как лихорадка, не давая осознать свои действия. Она только думала, но не хотела этого...

Улицу заливало весеннее солнце. В ветвях деревьев на бульваре чирикали воробьи, а на скамейках сидели влюбленные... Молодые женщины уже кое-где показывались в легких весенних пальто, светлых шляпах, с зонтиками. Комнатные собачки гуляли без теплых попон, белоснежные пудели пачкали свои чистые лапки в лужах и конском навозе. Мимо мчались на большой скорости автобусы, обдавая брызгами чулки и брюки прохожих; прохожие проклинали шоферов. Гигантская рекламная фигура негра в белой поварской одежде разгуливала по улицам, рекомендуя есть горячие пирожки. В витринах магазинов были выставлены плакаты: «Покупайте латвийские изделия». Рядом афиши Оперного театра извещали о приезде знаменитого французского пианиста...

На одном перекрестке Лаума увидела людей, толпившихся возле конторы какой-то газеты в ожидании выхода очередного номера. Хотя это были люди различного возраста и по-разному одетые, но их общественное положение было одинаково — все они ходили без работы и надеялись ее получить.

Лаума остановилась в толпе и стала ждать. Болтовня окружающих вывела ее из состояния смятения, она слышала разговоры незнакомых ей людей, но ничего не понимала, относилась к ним без всякого интереса.

Через некоторое время на улице показались мальчишки, нагруженные связками газет. Толпа всколыхнулась, задвигалась и окружила мальчика. Газеты раскрывались, как зонтики в дождливую погоду, люди поспешно, нервно пожирали глазами строчки. Некоторые, небрежно сложив газету и сунув ее в карман, сразу шли дальше; другие, обманувшись в своих надеждах, становились грустными и задумчивыми; иные, плюнув, уходили. Лаума тоже купила газету и, зайдя в один из переулков, развернула ее. Она стала читать объявления.

Прислуга, прислуга, прислуга! Прислуга к ребенку и прислуга к бездетным супругам. Умеющие готовить и с рекомендациями! «Исполнительные... тихие...

в маленькую семью за небольшое вознаграждение... Ученики без оплаты и ученики за небольшую плату... Чулочницы и экономки. Дамы для провинциальных баров...»

Работодатели ставили своим будущим наемникам самые странные условия: одному требовались честные, другому — непьющие, тот искал тихих, смирных, этот — вежливых, послушных или добронравных.

Одной хозяйке требовалась «молодая симпатичная девушка».

«Почему именно симпатичная? — думала Лаума. — Какое значение имеет для этой «интеллигентной бездетной семьи», симпатична или несимпатична прислуга? Возможно, это поклонники красоты? Возможно, они просто хотят, чтобы их прислуга не была отталкивающей, уродливой? К ним, вероятно, приходят разные важные господа, — неприятно, если прислуживает им безобразное существо. Но если эти интеллигентные бездетные супруги действительно так требовательны к красоте других людей, значит, они и сами должны быть приличными и приветливыми? Интересно, признают ли они меня симпатичной?»

Лаума оглядела себя с головы до ног. Пальто слишком истрепалось, и сама она казалась такой невзрачной — узкие плечи, маленькая грудь. «Вероятно, мне откажут...» — подумала она. Потом она еще раз прочла объявление, и ей все больше стало казаться, что оно предназначено для нее.

Лаума решилась.

«Интеллигентная бездетная семья» жила в одном из прилегающих к центру тихих кварталов, через которые не проходит ни трамвайная, ни автобусная линия. Торжественным, аристократическим покоем веяло от изящных маленьких балконов и красивых, украшенных кариатидами и атлантами фасадов. Здесь не было магазинов. Люди шли не спеша, с достоинством. Мимо них так же неслышно и незаметно скользили и останавливались у подъездов лимузины. В прежние времена здесь обитало дворянство, а теперь в этот аристократический район стала проникать избранная часть латышских граждан.

На третьем этаже Лаума позвонила. Массивную дубо-

вую дверь украшала блестящая медная дощечка. Изнутри послышался собачий лай, щелкнула задвижка; дверь приоткрылась и показалась красивая женщина. Она недоверчиво, но с любопытством глядела на Лауму.

— Что вам угодно? — спросила женщина; у нее был приятный голос.

— Я пришла... в газете было объявление...

— Ах, вот что! Тогда заходите.

Лауму впустили в маленькую полутемную переднюю. Большой доберман с недоверием посмотрел на нее и заворчал.

— Смирно, Лео! — прикрикнула женщина на собаку, и та улеглась в глубине передней, беспокойно рыча и враждебно поглядывая на Лауму.

Только теперь Лаума заметила, как красива и нарядна молодая женщина. На ее лице не было ни единой морщинки, руки с миндалевидными крашеными ногтями были изящны и нежны. Это было в высшей степени женственное существо, только глаза казались чуточку наглыми и взгляд их — почти бесстыдным. Она окинула внимательным взглядом лицо, шею, всю фигуру Лаумы с головы до ног, и Лаума покраснела под этим беззастенчивым взглядом. Женщина заметила смущение Лаумы, улыбнулась и сказала, глядя на собаку:

— Значит, вы хотите служить у нас?

— Да.

— Вы уже служили?

— До сих пор еще нет.

— Чем вы до этого занимались?

— Помогала дома по хозяйству, стирала белье... работала на заводе...

— Да, да. Значит, у господ не служили. Но может быть, вы мне подойдете. Сегодня до вас уже приходили. Мне пришлось им отказать.

Взгляд красивой женщины еще раз оценивающе скользнул по фигуре девушки. Они продолжали стоять в передней. Как только Лаума делала какое-нибудь движение, собака рычала.

— Когда вы можете начать работать? — спросила женщина.

Радостная дрожь пробежала по телу Лаумы. «Я принята! У меня будет работа! Я буду зарабатывать! Я симпатичная!»

От радости она не слышала, что говорила ей хозяйка об ее обязанностях и жалованье. На все она отвечала без раздумья:

— Хорошо, я согласна, я думаю, что сумею!

— Значит, завтра вы придете, — сказала женщина, выпуская Лауму.

Какой у нее приятный, ласковый голос! Спустившись в нижний этаж, Лаума вспомнила, что не знает фамилии своих будущих хозяев. Она вернулась наверх и прочла на медной дощечке:

Я. М. ПУРВМИКЕЛЬ КАНД. ФИЛ.

«Я так и думала, что это интеллигентные люди».

На улице радостное возбуждение улеглось: Лаума вспомнила, что нужно идти домой, — еще раз домой, в холодное одиночество. Еще один вечер придется провести в этих мрачных стенах. Какая теплая и уютная передняя у Пурвмикелей... Как хорошо жить в таком комфорте!

Чтобы возвратиться домой как можно позже, Лаума решила походить по городу, полюбоваться витринами магазинов и улицами. В витрине книжного магазина были выставлены фотографии писателей и общественных деятелей. Среди них она заметила портрет молодого длинноволосого человека. «Я. М. Пурвмикель» — было написано под карточкой. Тут же рядом, среди выставленных в витрине книг, Лаума увидела большого формата брошюру, в обложке, украшенной старинной гравюрой на дереве, — это была поэма Пурвмикеля, о которой Лаума когда-то читала в газетах. Она не могла вспомнить, что именно, так как не интересовалась в то время произведениями Пурвмикеля, но она припоминала, что поэму очень хвалили.

Так Лаума коротала время, не замечая, что проголодалась, и когда наступил вечер, направилась домой, полная спокойной уверенности. Завтрашний день уже не казался ей страшным. Она нашла работу...



ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда Милия Риекстынь выходила замуж за Яна Пурвмикеля, ее голову переполняли самые блестящие планы. Уже то, что она, дочь простого фабричного мастера, бесприданница, без законченного образования, сумела соединить свою судьбу с судьбой представителя высшей интеллигенции — поэта, кандидата философских наук и преподавателя государственной средней школы, — кружило ей голову; и должно было пройти некоторое время, прежде чем она критически оценила свое теперешнее положение.

Несмотря на то что Пурвмикель был еще молодой, интересный и довольно заметный человек, Милия отнюдь не влюбилась в него. Он ей нравился, потому что был всегда подчеркнуто внимателен по отношению к своей невесте, что Милия далеко не всегда встречала в среде, где она выросла. В ее глазах особый интерес Пурвмикелю придавало то обстоятельство, что его имя сравнительно часто появлялось в газетах. Это льстило самолюбию Милии. Опьяненная открывавшимися перед ней перспективами, она умела, однако, внешне сохранять равнодушие и спокойствие. До тех пор, пока Милия не убедилась в серьезности намерений Пурвмикеля, она всячески старалась показать, что ничего не ждет от него и вовсе не ослеплена им, — одним словом, что он ей безразличен.

И так же, как собака, в зависимости от обстоятельств, виляет хвостом или рычит и оскаливает зубы, Милия подсознательно умела подладиться и, когда это было необходимо, занять наиболее выгодную позицию. Это облегчалось тем, что сама она отнюдь не была влюблена.

Убедившись в силе и глубине чувств Пурвмикеля, Милия начала строить на этом фундаменте все свои замыслы. Она стала одеваться так, чтобы выгоднее показать свою фигуру; оставшись наедине с Пурвмикелем, она, будто нечаянно, закидывала ногу на ногу и мгновенно ловила лихорадочный блеск в глазах поэта; она была застенчива, краснела и улыбалась, как девочка, избегая прикосновений увлекшегося мужчины, когда он, по ее мнению, становился слишком смелым. Почти так же она вела себя со всеми мужчи-

нами, которым хотела нравиться. И несмотря на то что они принадлежали к различным слоям общества, — это были простые портовые рабочие, и манерные инструкторы-сверхсрочники, и просто хорошо танцующие чиновники, — все попадались на эту удочку, все одинаково принимали за чистую монету игру, которую вела Милия, руководимая безошибочным чутьем.

То же самое произошло и с Пурвмикелем, только с более определенными результатами: поэт не устоял, и они поженились.

Для семьи Риекстыней это было настоящим триумфом. Блестящий жених казался им солнцем, в лучах которого заблестели и они сами. Но Милия знала, что то, чего она добилась, переехав из маленького тесного родительского домика в городскую квартиру, состоявшую из спальни, столовой, где стояли модный буфет и стулья с кожаной обивкой, гостиной с камином и мягкой мебелью, кабинета с массивным письменным столом и книжным шкафом, — это только начало. Они будут жить еще лучше — в шести, восьми комнатах, они наймут прислугу, а потом еще кухарку, и... если дела пойдут нормально, не лишним окажется и собственный лимузин.

Так представляла Милия свою жизнь с Пурвмикелем, когда они сразу же после свадьбы уехали в Видземскую Швейцарию. Но об этом она ничего не говорила мужу.

* * *

Ян Пурвмикель родился в одной из дальних волостей Курземе. Отец его продал свой большой благоустроенный хутор, переехал в Ригу, где открыл торговлю сельскохозяйственным инвентарем. Достатки Пурвмикеля быстро возрастали, и накануне мировой войны он при содействии Кредитного банка начал строить пятиэтажный дом в одном из лучших районов города. Война прервала строительство, а во время немецкой оккупации старого Пурвмикеля за излишнюю болтливость поставили к стенке. Мать умерла от брюшного тифа за полгода до гибели отца. Семнадцатилетний Ян остался один. Братьев и сестер у него не было.

В то время он учился в гимназии. Казалось, пришло время на все махнуть рукой и стать простой канцелярской крысой или приказчиком в магазине.

Но о нем позаботился брат матери Сиетынь, зажиточный мельник в Задвинье. Он принял осиротевшего подростка в свою семью, дал ему возможность продолжить образование и взял под опеку имущество, оставшееся после старого Пурвмикеля. Благодаря энергии Сиетыня Пурвмикель получил в собственность земельный участок, на котором строился дом. Несколько лет спустя, когда началась строительная горячка, Сиетынь выгодно продал участок и начатую постройку, а вырученные деньги положил в банк на имя Яна. Таким образом, Пурвмикель был более или менее обеспечен и мог без забот продолжать свое образование.

Пурвмикель рос почти самостоятельно. Мать его была недалекой, скромной женщиной, отец больше занимался торговыми делами, чем воспитанием сына. Яну предоставили полную свободу в выборе друзей. Избалованный родителями и товарищами, он с юных лет составил о себе весьма высокое мнение. Читая много и без разбора, Пурвмикель любил в минуты одиночества предаваться бесплодным мечтаниям. Иногда в кругу друзей он давал волю своей фантазии и преувеличенно восторгался довольно обыденными вещами. Некоторым это нравилось, кое-кто советовал ему писать стихи, и Пурвмикель, после первого же стихотворения, состоявшего из трех строф, почувствовал, что его призвание — стать великим поэтом.

Он познакомился с правилами стихосложения и из всех стихотворных размеров выбрал амфибрахий, считая его наиболее соответствующим особенностям своего дарования. Уверенный в своем таланте, он и внешне старался походить на поэта: отрастил длинные волосы, был бледен, задумчив и грустен, не улыбался, в обществе держался замкнуто и носил черную широкополую шляпу. И хотя у него был солидный вклад в Латвийском банке и он всегда был сыт, его стихи рисовали жизнь и судьбу человека в крайне мрачных тонах. Впрочем, Пурвмикель наряду с гладко звучащими стихами о мировой скорби, бесцельности всего земного и сладости небытия писал и другие — воспевающие женщину и ее вполне земную красоту.

В то время он увлекался новейшими французскими поэтами и заимствовал у них утонченность. Он обходился с воспеваемым им событием или предметом, как торговец посудой с хрупким фарфором: до такой степени окутывал его в изящную, заумную, чувствительно непонятную солому фраз, что изображенный объект совершенно исчезал из глаз читателя, и нередко даже самым тонким знатокам поэзии этого рода не удавалось добраться до истинного смысла стихотворения. Наловчившись писать в такой манере, Пурвмикель уже ни одну вещь не называл своим именем, ни о чем не говорил ясно и недвусмысленно, а лишь увивался вокруг да около. Говоря о женщине, он обычно ударялся в древнюю, чаще всего в греческую, мифологию и сравнивал свою героиню со всеми богинями. Одна и та же самая обычная, смертная, одним лишь подросткам способная волновать кровь женщина была одновременно отчасти Венерой, капельку Дианой, немножко Психеей, еще чуточку Деметрой, а в целом — молодой дамой, вся божественность которой заключалась в том, что она была женщина.

Когда Пурвмикель учился в последнем классе гимназии, там часто устраивались ученические вечера, на которых молодые гении выступали со своими последними произведениями. Пурвмикель был обязательным участником этих вечеров. Его стихи, щедро уснащенные изощренными тонкостями, привлекали внимание дам. Его просили написать стихи в альбом, ему преподносили цветы с надушенными записками, в которых разбитые сердца покорно склонялись к стопам новоявленного Байрона. Он оставался недоступным и гордым, ибо мнил себя великим. Как ни томился он по женщине, какие бы страстные мечты ни волновали его кровь и ни разжигали воображение — он сдерживался. Ему чрезвычайно льстило всеобщее признание его таланта. Постепенно популярность стала для него потребностью, и если случалось, что цветы преподносили кому-нибудь другому, он огорчался.

В редкие минуты, когда Пурвмикель становился откровенен сам с собой и осмеливался заглянуть в тайники собственной души, он убеждался, что тяга к поэзии отнюдь не была для него какой-то насущной, жизненной необходимостью, шестым или седьмым чувством,

а всего лишь тщеславным стремлением доказать свое превосходство. Его заставляли писать не волнения души, а жажда славы, не чувство, а холодный, расчетливый рассудок. Если бы Пурвмикель в начале своей поэтической деятельности был уверен, что она не будет иметь ни малейшего успеха, что ему не суждено возвыситься над остальными, хотя бы в пределах своего круга, — он бы не стал поэтом. Нет, он был вовсе не из тех, чей голос мог быть гласом вопиющего в пустыне.

Успех пришел довольно скоро. Но ведь все, что слишком часто повторяется, быстро надоедает, — и подношения в виде альбомов и цветов уже мало удовлетворяли тщеславного юношу. Ему хотелось более тесного общения с высшим кругом, хотелось выступать перед широкой публикой и слышать отзывы настоящих законодателей искусства — критиков. Как бы ни льстило Пурвмикелю признание и восхищение узкого круга его поклонников, он не вполне им доверял. Нужно было узнать мнение настоящих знатоков, только тогда он мог бы судить о реальных результатах своей деятельности. Необходимо было проникнуть в печать.

Он стал писать галантные стихи с уклоном в салонную эротику, посвящая их знакомым влиятельным дамам. Влиятельные дамы, естественно, пожелали, чтобы эти посвящения сделались достоянием всего общества. Они взяли молодого поэта под свое покровительство, и благодаря их стараниям произведения Пурвмикеля увидели свет — сначала на страницах газет, впоследствии в толстых литературно-художественных журналах. Попав в бурный водоворот литературной жизни, Пурвмикель был вынужден примкнуть к какой-нибудь литературной группировке, чтобы заручиться поддержкой людей, способных бороться за признание его таланта и привлечь внимание общества к молодому поэту. По своему характеру и склонностям он больше тяготел к группе литераторов, культивировавших так называемое «чистое» искусство — искусство ради искусства. Подобно Пурвмикелю, эти жрецы «чистого» искусства были заняты не столько совершенствованием искусства и виртуозного мастерства, сколько тем, как бы скрыть за туманными, непонятными фразами отсутствие подлинного таланта и свою идейную пустоту.

Бессильные заглянуть в душу живого человека, они маскировали свое бессилие, описывая необычные существа с нереальными склонностями и неестественным ходом мыслей, совсем не свойственным нормальным людям. Неспособные убедить кого-либо в чем-либо, ибо сами не были ни в чем убеждены, они объявляли произведения других тенденциозными и старались доказать, что тенденция недопустима в настоящем искусстве, за которое они выдавали радужные мыльные пузыри, пускаемые ими самими или их кликой.

Пурвмикель примкнул к ним, так как в их руках в данный момент находились главные акции литературной биржи: ведущие журналы, самые популярные газеты, часть критики и радиовещание. Он надеялся, что завоюет здесь самый бурный успех. Тогда же Пурвмикель принялся изучать философию, конечно идеалистическую, и стал еще более рьяно утверждать «чистое» искусство. Его стихи появлялись то в одной, то в другой газете и в журналах. Несколько раз за сезон он выступал на литературных вечерах. В конце концов поэт издал на собственные средства первую книжку стихов «Звучащая душа» и разослал ее по всем редакциям. Но все было тщетно! Даже близкие друзья Пурвмикеля, от которых он ожидал большего, — отзывались о книге очень сдержанно: «В лице Пурвмикеля мы приобретаем молодой симпатичный талант, муза которого особенно близка каждому своей интимностью... Уже в первой книге автора чувствуется хорошая школа... Пурвмикеля вместе с... (следовали фамилии множества дилетантов) можно причислить к наиболее заметным поэтам молодого поколения ...»

Подобное равнодушие и непонимание воплощенного в его лице искусства крайне огорчало Пурвмикеля. Почему он всего лишь симпатичный, а не великий талант? Почему его муза не универсальна, а лишь интимна? Почему в его книге увидели хорошую школу, но не отметили глубокое, ярко индивидуальное дарование? Эрудицию, а не гениальность? Почему не отвели ему самостоятельного места в семье поэтов, а поставили на одну полку с толпой незначительных, бездарных новичков, где каждый мог считать себя самым лучшим и выдающимся?

Отзывы представителей других литературных группировок были и вовсе уничтожающими. Они унижали и оскорбляли Пурвмикеля до слез, и он долго чувствовал смертельную ненависть к язвительным циникам, позволившим себе усомниться в его поэтическом даровании и рекомендовавшим ему лучше изучать естественные науки, чем продолжать рискованное путешествие на своем хромом Пегасе в область человеческих чувств.

Слава не ждала его с распростертыми объятиями!

И в то время как Пурвмикель был так унижен, другие пожинали лавры. Историки литературы пели дифирамбы некоторым поэтам предыдущих поколений. Чем они заслужили такое признание? Чем они лучше Пурвмикеля? Это было очень трудно понять. Пурвмикель считал, что многие знаменитости увенчаны лаврами незаконно. Внимательно присматриваясь к истории литературы и пристально изучая путь, по которому шли к славе известные поэты, он сделал совершенно новый вывод, который вселил в него надежды на успех, славу, известность...

Он заметил, что самый большой и прочный успех завоевывали монументальные поэтические формы: эпические произведения, поэмы, песенные циклы. Чтобы завоевать бессмертие мелкими лирическими стихотворениями, одами, балладами, сонетами, следовало быть исключительно даровитым поэтом, с необычайно широким кругозором, ярко выраженной творческой индивидуальностью, блестящим талантом. История мировой литературы знала очень мало таких мастеров малых жанров, чья слава пережила бы столетия. Совсем другое дело — поэты, создавшие крупные произведения. Гомер написал «Илиаду» и «Одиссею», Данте — «Божественную комедию», Мильтон — «Потерянный рай», Байрон — «Чайльд-Гарольда»... Кем бы оказались эти мировые знаменитости, если бы они писали только лирические стихи? Кто из современников заметил бы их? Много ли внимания уделила бы им нынешняя читающая публика, если бы их произведения не были так длинны, так заметны по своему объему?

Перейдя от широких мировых горизонтов к более узкому кругу отечественной поэзии, Пурвмикель увидел

и здесь аналогичное явление, особенно в ранний период латышской литературы. Он пришел к убеждению, что прославились прежде всего поэты, написавшие первые эпические произведения. И прославились они, по его глубокому убеждению, вовсе не потому, что в эти эпосы вложили много поэтических красок или силы, не потому, что в них говорится о чем-то великом, захватывающем общество, а лишь потому, что они сумели написать такие обширные поэмы, размером в несколько сот страниц. Их помещали в хрестоматии, школьники обязаны были читать их, заучивать наизусть, и произведениям посредственных поэтов обеспечивалось бессмертие до той поры, пока новая критика не подойдет по-новому к оценке художественных произведений.

Пурвмикелю было ясно одно: если бы он написал эпопею или большую поэму, вокруг них сразу бы поднялась шумиха. Такое редкое явление не осталось бы незамеченным, хотя сейчас и другие времена. Иногда Пурвмикель просто сожалел, что не жил в прошлом столетии. Как бы он прославился тогда своими произведениями, которые теперь собирался писать!

Когда и вторая книга стихов, выпущенная через год, не получила признания и его по-прежнему не выдвигали в первые ряды современных поэтов, Пурвмикель окончательно решил перейти к крупным формам. Он искал материал для поэмы. Исторические темы не привлекали его, так как все выдающиеся события уже были воспеты. Ничего подходящего не нашел он и в мифологии. Он хотел написать что-нибудь такое, чего все давно жаждали, искали, чего не было во всей современной литературе, чего никто еще не придумал, — что-то необычное, вроде «Чайльд-Гарольда» двадцатого века, заключающего в себе основные черты современной эпохи и наиболее характерное в жизни людей, их взгляды, противоречия, борьбу...

Так он пришел к замыслу «Искателя истины». Он составил план, разработал конспект — осталось только сесть и работать. Но тут молодой кандидат философских наук познакомился с Милией Риекстынь и... физическая часть его существа поборола духовную. Он влюбился и ничего не мог делать, пока не женился на этой обольстительной женщине. Сразу же после

свадьбы они уехали из города в деревенскую тишь, где Пурвмикель надеялся плодотворно потрудиться над задуманным произведением.

* * *

Тихая деревенская обстановка пришлась Милии не по вкусу: она была рождена вовсе не для идиллий. Все ее существо требовало движения, разнообразия, беспокойства и шума, а мирная дача на берегу Гауи не обещала ничего подобного. Заметив, что Пурвмикель и другие равные ему по образованию и общественному положению люди находят особое удовольствие в бесцельном шатании по глухим лесным тропинкам и купании, она поняла, что здесь это считается хорошим тоном и ей следует усвоить привычки и интересы людей этого круга. Она перестала жаловаться на скуку и восторгалась густыми зарослями орешника, запахом папоротника и купанием в мелкой воде.

Понемногу Милия привыкла к новому положению, тем более что оно было гораздо приятнее прежнего. Вначале они не держали прислуги, Милия сама так захотела; каждое утро к ним приходила крестьянская девушка с соседнего хутора убирать комнаты. Иногда она соглашалась выстирать белье, наколоть дров и помочь на кухне. У Милии было много свободного времени. В те часы, когда Пурвмикель не работал над своей поэмой, они предпринимали небольшие прогулки по окрестностям, если была хорошая погода.

Из дачников ближайшими соседями Пурвмикелей оказались семьи инженера Кронита и адвоката Крума, с которыми они познакомились.

В то время как мужья только изредка и мимоходом могли принимать участие в жизни маленького мирка, жены наслаждались ею в полной мере.

Милия, выросшая и воспитанная в мещанской среде, с первых же дней знакомства с госпожами Кронит и Крум почувствовала себя в своей сфере и легко завладела вниманием обеих образованных дам.

— Очень приятная женщина, — решила госпожа Кронит.

— Да, и какая хорошенькая! — добавила госпожа

Крум. — Если бы я была мужчиной, я бы в нее влюбилась.

«Какие воспитанные дамы...» — думала Милия о своих новых знакомых.

Но Милии ее новая роль давалась не без усилий. Хорошо чувствуя разницу в развитии, она всячески старалась сделать ее незаметной: она приспособилась к новым требованиям, переняла привычки этих людей, их манеры; инстинктивно чувствуя, что любое преувеличение больше, чем простое неведение, выдаст ее, она умело придерживалась во всем золотой середины: не была ни слишком шумной, ни чересчур любезной, ни слишком откровенной.

В хорошую погоду Милия ежедневно гостила у своих новых знакомых или принимала их у себя. Мало-помалу она составила себе представление о быте этих семейств, их материальном благополучии и положении в обществе. Инженер и адвокат занимали доходные и видные должности. Инженер помимо основной государственной службы выполнял какие-то побочные работы, получал жалованье от нескольких фирм. Адвокат имел обширную практику, к нему обращались уличенные в мошенничестве банковские чиновники, обанкротившиеся торговцы и фабриканты, а иногда и подделыватели векселей. Он пользовался влиянием в политических кругах, а обширные связи с властями придавали его личности такой вес, что судебные дела, которые он вел, всегда решались в пользу его клиентов, причем господину Круму это отнюдь не стоило больших усилий.

Для Милии благополучие этих людей было вершиной мечтаний. Они держали горничную и кухарку, а у инженера даже был автомобиль, которым он сам управлял. Сравнивая их положение со своим, Милия испытывала зависть, почти стыд. Она чувствовала унижение оттого, что другие жили богаче. Она сама себе казалась смешной оттого, что не держала постоянной прислуги: на что это похоже, если хозяйке самой приходится прислуживать гостям! Позор!.. А мужчины! Инженер и адвокат обязательно сделают блестящую политическую карьеру: оба они состояли в партиях, их кандидатуры выставляли на выборах в сейм. Господин Крум только из-за нескольких голосов остался в кандидатах. Если депутат умрет или с ним что-нибудь случится, перед Крумом открыто

все: должность, министерский портфель, власть и богатство. А Пурвмикель? Ее собственный муж, от судьбы которого зависела и ее судьба, который нес ответственность не только за себя, — этот человек просиживал долгие часы в своем кабинете, не думая ни о какой карьере; он довольствовался тем, что ему давали жалованье педагога и проценты с оставленного отцом капитала; он фантазировал, строил поэтические планы, которые никто уже не принимал всерьез, о которых инженер Кронит отзывался с улыбкой, как взрослые говорят о детских шалостях.

Иногда они говорили о своих видах на будущее. Тогда окончательно проявлялась пассивность Пурвмикеля: все ему было безразлично. Когда Милия указывала на громадные доходы и широкий образ жизни адвоката Крума, Пурвмикель посмеивался:

— Тот, кто ест дорогое жаркое, ничуть не лучше того, кто довольствуется сухой коркой. Ценность человека заключается не в его пище, одежде или мебели, а в нем самом.

Но в этот момент он забывал, что был большим чревоугодником и никогда не удовольствовался бы сухой коркой...

По вечерам Пурвмикель читал Милии отрывки из своей поэмы. Он был вполне доволен ими, ему казалось, что поэма удалась. Стихи были хорошо срифмованы, некоторые рифмы звучали очень свежо, даже оригинально.

В этом произведении кроме чисто поэтических и стилистических достоинств имелась еще и определенная идейная направленность. Его герой был искателем истины — смысла жизни, сущности бытия. Бесстрашно появлялся он то в одной, то в другой части света, то опускаясь до подонков общества, то поднимаясь к его верхам. Он молод, богат, красив, перед ним открыты все пути, но его ничто не удовлетворяет. «Для чего я существую? Для чего продолжаю существовать? В чем смысл жизни?» — неустанно вопрошает он. Вкусив от всех наслаждений жизни, он устает от них, не находит в них удовлетворения. Он ищет смысла жизни в славе, становится всемирно известным художником — и это ему надоедает. Он равнодушен к богатству, любовь женщин кажется ему опиумом, мудрость — самообма-

ном. В конце концов, все испытав, всем пресытившись, он покидает общество и в полном одиночестве поселяется на необитаемом острове, на лоне природы, чтобы скромно, в труде провести остаток дней своих. И в этом — в природе, в возвращении к первобытному состоянию — он находит счастье!

Сам Пурвмикель отнюдь не разделял убеждений, к которым должен был прийти его герой. Он достаточно хорошо видел приятные стороны жизненных явлений, которые предавал осуждению в поэме, поэтому в иных местах он умышленно замалчивал тот или другой убедительный аргумент, который мог бы опровергнуть скептические рассуждения героя.

Пурвмикель надеялся, что читатели и критики этого не заметят или поймут, что он умолчал по чисто литературным соображениям, чтобы последовательнее изложить свой замысел.

Пурвмикель все надежды возложил на успех поэмы. Его уверенность в себе была так велика, что иногда ему удавалось убедить даже Милию, которая никак не могла понять, какую вообще ценность могут представлять стихи. Лишь надежда, что поэма Пурвмикеля откроет ему путь к славе и богатству, заставила Милию выжидать и не вмешиваться в дела мужа.

* * *

Пурвмикель работал над своей поэмой систематически. Каждое утро он сочинял определенное число строк и столько же в тихие вечерние часы. Поэма росла на глазах. В два месяца она была закончена. К тому моменту, когда «искатель истины» поселился на необитаемом острове, Пурвмикели вернулись в Ригу, и автор занялся переговорами с издателями.

Несмотря на то что Пурвмикель выпустил уже две книжки стихов и часть критиков отнеслась к ним довольно терпимо, издатели, когда он обратился к ним с новым стихотворным трудом, встретили его очень сдержанно. Издание стихов в то время себя не оправдывало — их никто не покупал. На полках книжных магазинов годами лежали пожелтевшие брошюры, и в конце концов их сбывали как макулатуру.

Первые книги Пурвмикель издавал на свой счет, да и сейчас он, не задумываясь ни на минуту, покрыл бы все расходы по изданию, если бы это обстоятельство можно было скрыть от читателей. Он ведь отлично понимал, какое невыгодное впечатление произведет скромная надпись на обложке: «Издание автора». От этой маленькой приписки веяло чем-то незрелым, чем-то навязчивым и сомнительным; читатель понимал, что издательства не считают произведения поэта заслуживающими внимания и что поэт сам навязывает их читателю, подсовывает низкопробный товар. Хуже всего то, что обычно недоверие это было обоснованным. Если же на переплете красовалась марка какого-нибудь издательства, это производило хорошее впечатление: автор такой книги уж наверное один из настоящих писателей, и каждый серьезный ценитель литературы начинал интересоваться книгой.

По этим соображениям Пурвмикель не хотел издавать книгу сам. Отбросив робость, он обошел крупные издательства, предлагая свою поэму. Оказалось, что одно крупное, на первый взгляд очень солидное издательство широко практиковало фиктивные издания: под маркой фирмы оно разрешало молодым авторам издавать свои произведения, не интересуясь их содержанием и качеством, при условии, что авторы сами покрывали все расходы по изданию и сдавали свои книги на комиссию этому издательству.

Пурвмикель не замедлил заключить договор с этой фирмой.

«Искатель истины» вышел осенью, в самое удачное время — когда начинается учебный год, возобновляют работу различные художественные учреждения и в Ригу возвращается интеллигенция.

Но успех не пришел...

Новую поэму никто не принял всерьез. Враждебно настроенные критики зубоскалили: автор, мол, опоздал родиться ровно на полвека. Настроенные более дружественно отзывались со сдержанным сочувствием, указывая, что поэма сделана наспех и что сюжет больше годился бы для приключенческого романа, чем для серьезной поэмы. Некий критик, считавшийся очень объективным, саркастически характеризовал Пурвмикеля как неисправимого дилетанта.

Вместо ожидаемого триумфа получился полный провал. Пурвмикель чувствовал себя уничтоженным. Ему казалось, что его товарищи-педагоги смеются над ним. Даже директор Намикис, потеряв всякое чувство такта, в одну из перемен остановил Пурвмикеля в коридоре и сказал:

— Вы не принимайте этого так близко к сердцу. У нас еще пока нет настоящей, объективной критики, но, возможно, лет через десять появится и у латышей свой Белинский или Брандес. Тогда о вашей поэме заговорят по-другому. Вы ведь будете продолжать писать?

Еще невыносимее было поведение воспитанников. Мальчики старших классов уже разбирались в литературе, Пурвмикель сам их приучил к этому, и они с вполне понятным интересом следили за всеми отзывами, появлявшимися в прессе о поэме их преподавателя. Какими глазами они будут теперь смотреть на педагога, которого разные циники поносили в газетах? Какой у него после этого может быть авторитет? Правда, мальчики делали вид, что ничего не знают, но Пурвмикель видел, что они смотрят на него не как на великого мастера, а как на простого смертного. И когда Пурвмикелю приходилось говорить о крупных эпопеях, о «Лачплесисе»* и «Ниедришу Видвуде»,* его уже не воодушевляли эти произведения, они казались ему не идущими ни в какое сравнение с его собственной поэмой. Как он мог превозносить эту посредственность, которой тем не менее отведено видное место в истории литературы, если не признают его современную поэму, отвечающую всем требованиям стилистики и формы! Когда он представлял, с какой любовью он мог бы говорить о своих произведениях, если бы их признали, сердце его обливалось кровью.

Пурвмикель нервничал без всякой причины, сделался мнительным, в каждой улыбке ему чудилась ирония. Возмущенный людской несправедливостью, он целый месяц ничего не писал.

Литературная неудача мужа не прошла незамеченной и для Милии. Она разыскивала в газетах и журналах все статьи и заметки, где говорилось о поэме Пурвмикеля. Вместо того чтобы со свойственной женщинам мягкостью и сердечностью успокоить мужа, помочь ему оправиться от удара, она стала презирать

его. Она почувствовала, что задеты ее гордость и самолюбие. Ведь оказалось, что у ее избранника совсем нет поэтического таланта! Обвинение в литературном бессилии, предъявленное Пурвмикелю, касалось и Милии, — она ведь была женой этой бездарности! Она ожидала большего от своего мужа и теперь чувствовала себя бессовестно обманутой. Она горевала, сожалела, что судьба свела ее с таким бездарным человеком, она приходила в отчаяние при мысли о будущем. Теперь она на всю жизнь обречена на серое, незаметное существование. Никогда, никогда Пурвмикель не поднимется над окружающей средой, не будет на виду, с ним никогда не окажется на виду и его красивая жена.

Чтобы хоть как-нибудь смягчить свои страдания, Милия некоторое время сознательно отравляла жизнь поэта. Между ними часто разыгрывались маленькие драмы.

* * *

Точно желая усугубить страдания Милии, госпожи Крум и Кронит по возвращении с дачи продолжали знакомство с Пурвмикелями. Теперь Милии стало ясно, как жалка ее четырехкомнатная квартирка, скромная, простая мебель черного дуба по сравнению с роскошной обстановкой зала и столовой адвоката. У Пурвмикелей не было еще ни одной настоящей картины, а гостиную инженера Кронита украшали дорогие пейзажи.

Милия всякий раз испытывала жгучее чувство стыда, когда эти дамы приходили к ней. Ведь у нее не было даже будуара, где бы можно было принять гостей; ей самой приходилось открывать и закрывать дверь — у нее не было прислуги...

А собаки! Если бы Милии раньше сказали, что собаки так же отличаются друг от друга, как родовитый английский лорд от грязного бродяги, — она бы не приняла этого всерьез. Собака — это собака, четвероногое животное, обнюхивающее своих сородичей, послушное хозяину и рычащее на посторонних. Но, постепенно привыкая к вкусам и взглядам окружавшей ее среды, она стала понимать, какое значение имеет собака. Она часто встречала на улице молодых женщин

в сопровождении породистых собак. Прохожие любовались красивыми догами, терьерами и доберманами, восторгались белоснежными пуделями, провожали завистливыми взглядами смешных бульдогов — и обязательно, вдосталь налюбовавшись красивыми животными, бросали взгляды на их владелицу; даже некрасивых женщин замечали благодаря их чудесным собакам. Собака украшала владельца. Но только хорошая собака. Милия с презрением вспоминала своего Дуксиса и простых дворняг бывших соседей. Эти собаки прожили весь свой век на цепи или бегали по узким улочкам окраины в старых, рваных намордниках. Это были грязные, пестрые, косматые, бесхитростные и смешные существа. Вывалявшись в грязи и пыли, со сбившейся клочьями шерстью, вечно голодные, любопытные и сварливые, они не пропускали ни одного, даже самого незаметного, прохожего, чтобы не полаять на него. В них не было ни капли аристократической надменности и безошибочного инстинкта, заставляющих породистого добермана или овчарку презирать оборванцев и нищих и уважать хорошо одетых людей.

Постигнув все значение собак в общественной жизни, Милия стала ломать голову не зная, на какой породе остановиться. Она взвешивала, которая из них более изящна и как она сама будет выглядеть с болонкой, с овчаркой или борзой. Ее не прельщали хрупкие, болезненные болонки или крохотные собачки-обезьянки. Овчарки казались слишком обыкновенными, так как Рига была наводнена овчарками, и даже самые выдающиеся представители этой породы не привлекали внимания. Бульдог оскорблял ее эстетическое чувство: несмотря на всю породистость и чистокровность, ей не нравилась его отвратительная морда. Наконец она остановилась на желто-сером добермане, которого продавал по случаю отъезда представитель какой-то французской фирмы. Это красивое крупное животное с гладкой, будто прилизанной шерстью, стройным тонким туловищем и длинными лапами напоминало молодую львицу. Собаку звали Лео.

Он ел только котлеты и молоко и доставлял своей молодой хозяйке немало радости. Милия теперь ходила гулять чаще, чем обычно. Собака шла впереди, равнодушная ко всем прочим псам, подчинялась первому

окрику хозяйки, враждебно глядя на каждого, кто останавливался поговорить с ней...

Пурвмикель ничего этого не понимал. Безразличный, молчаливый, утром он уходил в школу, возвращался после обеда и часами исправлял ошибки в ученических тетрадках. Его непритязательность до глубины души раздражала Милию. Их окружали предприимчивые, ловкие люди, которые настойчиво и не без успеха продвигались вперед, укрепляя свое благополучие; не успокаиваясь на достигнутом, они делали карьеру, становились могущественными, знаменитыми, влиятельными, богатыми. Их везде уважали, в газетах писали о них, помещали их фотографии, и когда они появлялись на улице, люди с уважением смотрели им вслед. Как, должно быть, счастливы были эти удачливые люди! Как важничали их жены! И чего только они не могли себе позволить!

«А он? Он не думает о карьере. — Эта мысль все чаще тревожила Милию. — Он ни к чему не стремится, ничего ему не нужно...»

И ведь нельзя сказать, что у Пурвмикеля не было возможностей для продвижения. Вокруг происходили всякие изменения: старые чиновники впадали в немилость, другие уходили на пенсию, возникали новые должности, сменялось начальство, после чего следовала чистка ведомства от «нежелательных элементов». Предприимчивому, способному человеку ежедневно представлялась возможность что-нибудь сделать себе на пользу, не все зевали, как Пурвмикель. Люди гораздо менее образованные и менее заслуженные, не написавшие ни одной строчки, известность которых не простиралась дальше узкого семейного круга и небольшой кучки друзей, — эта незаметная, но беззастенчивая категория людей в один прекрасный день усаживалась на теплые и видные места, натянув нос старым заслуженным деятелям. Почему так получалось? На этот вопрос нетрудно было ответить: связи... протекция... партийные группировки.

Разве Пурвмикель не располагал достаточными знаниями? Или он не мог заручиться авторитетной протекцией? Он — литератор, представитель высших слоев интеллигенции! Почему он не вступит в какую-нибудь партию? Так мало, так смехотворно мало нужно было

для того, чтобы в один прекрасный день он заблистал на небосклоне латышского общества в качестве восходящей звезды! Но он не стремился к этому... Да и вообще были ли у этого человека какие-нибудь желания? Жалкий стихоплет, которого никто не читает!..

Убедившись, что на Пурвмикеля нечего рассчитывать, Милия решила действовать сама, чтобы создать мужу и себе более достойное положение. И вот, как всякая пассивная, слабовольная, хотя и самолюбивая натура, Пурвмикель подпал под влияние энергичной и целеустремленной Милии. Приспособляясь к настроению мужа и обстоятельствам, она умела соответствующими приемами добиться своего; поняв, что у жены гораздо больше практической сметки, Пурвмикель во многих делах всецело доверился Милии, предоставив ей полную свободу действий.

Незаметно, не говоря ничего о своих намерениях, Милия выпытала у мужа все, что касалось его служебной обстановки, порядков в ведомстве народного просвещения, системы правления, и узнала имена наиболее влиятельных лиц. За короткое время она получила полное представление обо всех возможных повышениях в чинах и должностях, на какие мог рассчитывать Пурвмикель, а также о людях, от которых зависели эти повышения и получение должностей. Она стала более внимательно следить за газетами. Смена политических событий вселила в ее душу новые надежды. А затем, когда государственный аппарат, за год с лишним выдержавший бурю самого жестокого сопротивления, накренился и собирался пойти ко дну и пошли разговоры о новом правительстве, новом курсе и новых возможностях, Милия поняла, что решительный момент наступил.

Ясно представляя, от чего теперь зависит ее будущность, Милия начала действовать.

* * *

Не считаясь со стремлениями Пурвмикеля к тишине и домашнему уединению, Милия не только с удовольствием принимала гостей, но и сама добивалась приглашений на все «чашки чая», домашние и общественные вечера, где собиралось избранное общество столицы.

Следуя примеру госпожи Кронит, Милия участвовала в многочисленных благотворительных затеях, широко распространенных в то время. Нельзя сказать, что ею руководило сочувствие к нуждающимся детям и бедноте, Милия ничуть не задумывалась об окружавших ее страданиях и нужде, — ведь они не затрагивали ее собственного благополучия. Заметив, однако, какое внимание уделяет общество и пресса филантропической деятельности и что фотографии дам-благотворительниц ежедневно появляются на страницах газет, распространяя их славу по всему свету, Милия поняла, что ничто так не будет способствовать ее популярности, как деятельность на благо обездоленных.

С увлечением приняла она участие в комедии, которую инсценировали состоятельные граждане, чтобы замаскировать действительное положение вещей. Ничтожными грошами, ненужными изношенными тряпками пытались они подкупить народ; при помощи нескольких порций похлебки, которая доставалась лишь двум-трем из тысячи нуждающихся, разыгрывали спектакль, лживо изображавший заботу о спасении всех голодных детей. Отлично зная, что всенародную нужду можно устранить, лишь изменив до самого основания существующий строй, имущие классы спешили проявить свою гуманность, свое основанное на эгоизме человеколюбие. Это был наркоз, который давали народу, чтобы он не чувствовал страданий и позволял себя истязать и в дальнейшем. Вся эта благотворительность была просто жульничеством, и проявлялась она в таких отвратительных, унижающих человеческое достоинство формах, какие способны изобрести только отъявленные негодяи. Фотокорреспонденты обходили пункты раздачи вспомоществования, фотографировали нуждающихся, ослабевших от голода детей, когда они сидели за столом и жадно ели выданную им похлебку или стояли в очередях у кухонь, когда они дома будто бы восхищались полученным тряпьем и туфельками. Эти фотографии появлялись в газетах; «осчастливленных» нуждающихся, нищих выставляли перед лицом всего народа как что-то забавное, редкое. «Вот те люди, которых *мы* кормим и одеваем, которые живут нашими щедротами!» — кудахтали буржуа, как курица, только что снесшая яйцо.

Сборы пожертвований и благотворительные базары следовали один за другим. Милия каждую неделю участвовала в каком-нибудь благотворительном вечере — то у лотереи, то в цветочном киоске, то за буфетной стойкой. И Пурвмикелю приходилось всюду сопровождать свою деятельную жену. Когда ему надоедало хождение по чужим домам и базарам и он выражал свое недовольство, Милия принимала оскорбленный вид.

— Тебе, наверно, стыдно показываться со мной на людях? Я для тебя слишком проста, мне нельзя появляться в обществе! — Она закрывала лицо руками и содрогалась от безудержных рыданий.

Пурвмикель чувствовал себя виноватым, говорил, что он эгоист, утешал жену и снова продолжал ходить всюду за ней.

Милия держалась в своей роли уверенно, она успела напрактиковаться в ней. Успеху больше всего способствовала ее внешность, благодаря которой не замечали даже дурных манер Милии: умной должна быть только некрасивая женщина, красавице можно быть даже дурой, — ибо красота восполняет все, в особенности красота, волнующая кровь.

На одном из благотворительных базаров, где Милия была помощницей распорядительницы лотереи, на нее обратил внимание один из высокопоставленных чиновников — господин Вайтниек. Понаблюдав некоторое время за Милией, высокий чин сказал своему сослуживцу, состоявшему в более низком чине:

— Какую пикантную нежность излучает эта особа!

— Да, она очень, очень мила, — поспешил согласиться с его мнением низший чин.

— Какая грация, какая детская простота в улыбке, и в то же время какая ярко выраженная женственность! — восхищался господин Вайтниек.

Он долго стоял на одном месте, наслаждаясь пленительным видением, наконец не выдержал и подошел к столу. Купив несколько билетов, он не спеша разворачивал их, чтобы растянуть время, постоять здесь подольше, очень мило сострил по поводу ожидаемых выигрышей; но выигрыша не досталось, и он купил еще несколько билетов, ни на секунду не спуская глаз с прекрасного видения. Наконец, Вайтниеку попался билет

с выигрышем, и он протянул его Милии. Принимая от него листок бумаги, она опустила глаза, и кончики ее ушей слегка порозовели... Склонившись над списком выигрышей, она нашла нужный номер и поспешила к другому столу, где были расставлены разные безделушки; она казалась смущенной и долго не могла отыскать нужный предмет. Кровь возбужденно пульсировала, сердце билось взволнованно: *она узнала высокого чиновника!..*

— Пожалуйста, господин Вайтниек! — сказала, наконец, она, покраснев, и протянула ему стеклянную пепельницу.

Приятно удивленный сановник вздрогнул.

— Благодарю вас, уважаемая госпожа. Откуда вы знаете мое имя?

— В этом нет ничего удивительного.

— Неужели я так популярен?

— Было бы странно, если бы вы не были популярны...

— Из-за вас я становлюсь тщеславным и... любопытным... — добавил он тише. — Смею узнать, с кем имею честь?

После краткого и довольно жеманного препирательства, которое, однако, Вайтниеку не показалось неуместным, Милия сказала свою фамилию.

Неделю спустя Пурвмикели были в гостях у адвоката Крума, и уж отнюдь не было случайностью, что среди приглашенных оказался высокий чин из ведомства просвещения — Вайтниек. Теперь они встретились как старые знакомые. При первом удобном случае Вайтниек напомнил о лотерее, и они в тот вечер много болтали и смеялись. По окончании вечера Вайтниек получил приглашение от Милии и Пурвмикеля на следующую пятницу. Он был вполне доволен своими успехами, не подозревая того, что Милия считала случившееся своим достижением и радовалась едва ли не больше, чем он.

Пятницы ждали оба — красивая женщина, муж которой был всего-навсего учителем государственной средней школы, и высокий чин из ведомства просвещения, могущий быть полезным ее мужу. Но пока женщина хладнокровно соображала, как бы повыгоднее устроить свои дела, Вайтниек сгорал от нетерпения.

Сравнительно молодым, с помощью своего шурина,

руководившего тогда министерством, Вайтниек попал на занимаемый им высокий пост. Теперь о нем говорили как о вероятном кандидате на пост министра. Не думая сейчас об этих перспективах, Вайтниек мечтал только о Милии, только о ней.

Пятница... Церемонный званый вечер. Присутствие лишних людей. Надоевшие разговоры о политическом положении и культурной деятельности. Робкие взгляды исподтишка... немой разговор глазами... несколько улыбок... Наконец — короткий, тревожный миг вдвоем. Каждое мгновение мог войти муж или кто-нибудь из гостей. Вайтниек, боясь, что им могут помешать, забыл все: приличия, разницу в их положении, красноречие и изящные манеры. Схватив пальцы Милии, он сжимал их в своих руках, шепча сдавленным голосом:

— Когда я вас могу увидеть... наедине?

У нее не оставалось времени, чтобы разыгрывать оскорбленную невинность, сомневаться, обдумывать и смущаться. Сознавая себя соучастницей, она, взглянув на полуоткрытую дверь, промолвила:

— Приходите в понедельник утром, часов в десять.

Весь вечер после этого Вайтниек был весел и остроумен, очаровав своими манерами маленькое общество. Даже меланхоличный Пурвмикель увлекся и, забывая подчас всякое почтение к высокому начальству, позволял себе легкомысленные выходки, о которых потом жалел.

В понедельник они были только вдвоем. Три часа провели они в полном блаженстве. Целуя этого молодого человека, задыхаясь в его объятиях, Милия шептала ему на ухо страстные слова и хитро задавала вопросы, облекая их в самую нежную форму. Он был готов решительно на все, лишь бы она принадлежала ему. И это не составляло труда для женщины, которую избаловала покорность мужа и других мужчин, обожающих ее. Потеряв всякое чувство меры, она не признавала больше ни моральных обязательств, ни приличий. Она считала, что может позволить себе все, и мужчина должен покорно выполнить любой ее каприз. Если она кого-нибудь и запутывала в свои сети, тот должен быть благодарен, что она не причиняет ему больших страданий. Вступив в связь с Вайтниеком, Милия ничуть не чувствовала себя виноватой

перед мужем — ведь она заботилась о его будущем!

Они продолжали встречаться. Вайтниек присылал ей цветы.

Незадолго до рождества определился новый состав правительства, в котором Вайтниек получил министерский портфель. Через неделю Пурвмикеля назначили на ответственный пост. Жалованье его значительно повысилось, да и занимаемое положение требовало этого, — они переменили квартиру и наняли прислугу, потому что Милии нелегко было справляться с обязанностями хозяйки дома...

* * *

Это была богатая удачами зима. Деятельность Пурвмикеля на новом посту оказалась успешной. Милия делала все, чтобы на эту деятельность обратили внимание надлежащие лица, и результаты не заставили себя ждать: Пурвмикеля все больше выдвигали на передний план, так что вскоре он оказался в числе деятелей, на которых обращала внимание печать. Учитывая образование Пурвмикеля и его влечение к искусству, его выбирали в разные комиссии, которых было достаточно при каждом ведомстве. А когда в суровую февральскую стужу начальник отдела департамента Мазкалнынь захворал гриппом, Пурвмикеля назначили исполняющим его обязанности, хотя он имел о них самое туманное представление. Начальник отдела умер, и следующим циркуляром министр утвердил на его место кандидата философии Яна Пурвмикеля.

Примерно в это же время и, возможно, в тесной связи с этими удачами последовали другие, которые радовали не столько Милию, сколько ее мужа: газеты стали охотно печатать стихи Пурвмикеля, его имя все чаще упоминалось в печати, и даже когда он однажды вследствие сильного насморка два дня не выходил из дому, это событие тоже было отмечено в газетах.

Казалось, Милия достигла желаемого. Увеличились доходы, а с ними — и расходы. Новая квартира помещалась в аристократическом районе. Шесть комнат, просторный балкон, выходящий на тихую улицу. Понадобилась новая мебель, хотя старая находилась

в употреблении только год. Магазин принял ее обратно за полцены. Вместо нее появились ореховые и красного дерева гарнитуры, спальня под слоновую кость, гобелены, оригинальные картины, а не копии или репродукции, рояль, цветы...

Пурвмикели поддерживали самую оживленную связь со всеми видными семействами, ходили в гости, принимали гостей у себя. Это, разумеется, стоило денег, но зато они все больше укрепляли свое положение, и их уважали.

У Милии было много тайных и явных поклонников. Кроме Вайтниека в ее будуар имели доступ некоторые другие видные или просто влиятельные люди. Эти посещения она скрывала от мужа. Новая прислуга, эстонка Минна, была слишком простодушна, чтобы разбираться в жизни господ...

Время шло...

Когда Пурвмикеля назначили на должность, имевшую отношение к искусству, он принял это как заслуженное признание своей поэтической деятельности. Чиновник он был старательный, своим новым обязанностям отдавался всей душой. Как все люди искусства, он был немного наивен в практических делах и поэтому превратно понял чиновничьи обязанности. По его мнению, ответственному чиновнику следовало не только нести ответственность, но и что-то делать; он не знал, что служебный педантизм — довольно забавная вещь, и если иногда в обществе и раздавались по его адресу кое-какие сочувственные голоса — это было или простым лицемерием, или самовосхвалением педантов. Пурвмикель аккуратно являлся в положенные часы на службу и сразу приступал к работе, отговариваясь занятостью, когда сослуживцы обращались к нему с частными разговорами. Скоро над ним стал посмеиваться весь департамент, но он не замечал этого. Убедившись, что прямые служебные обязанности не могут удовлетворить его честолюбие, Пурвмикель всячески старался расширить круг этих обязанностей, принимая на себя такие функции, которые входили в компетенцию других департаментов или даже ведомств. Интересующие Пурвмикеля дела оказались рассеянными и разбросанными по разным местам, что совершенно исключало их обозримость. Когда Пурвмикель попытался на свой риск

сделать что-либо с целью концентрации этих дел, его грубо одергивали. «Не суйте свой нос куда не следует...» — казалось, говорили холодные, насмешливые взгляды бюрократов.

И он сдался. Но это было нелегко: сидеть за рабочим столом становилось с каждым днем скучнее. Ему просто-напросто нечего было делать. Тем более смущали его следовавшие одна за другой удачи: он не мог понять, за какие заслуги его назначили членом комиссии, почему именно его, а не другого утвердили на пост заболевшего, а потом умершего начальника. Самолюбивый, жадный до славы и успехов, он тем не менее признавал заслуженными только те достижения, которые он завоевывал собственными усилиями. «Всякое приобретение, не соответствующее вложенным в него усилиям, нечестно!» — любил повторять Пурвмикель. Правда, он никогда не задавался вопросом, какие собственные усилия вложил он, например, в капитал, полученный в наследство от отца. Так и теперь он ежедневно продолжал пользоваться незаслуженными, а следовательно, беззаконными преимуществами.

Иногда его мучили мысли о судьбах народа и о своем отношении к этим судьбам. Он отлично понимал, что не все в мире делается так, как нужно, — где-то кому-то причинялись несправедливости, за которые он несет свою долю ответственности. Встречая на улице нуждающихся, безработных, нищих-калек и оборванных ребятишек, он сознавал, что они терпят незаслуженно и что они достойны, быть может, лучшей, более справедливой судьбы. Почему именно они должны взваливать на свои плечи бремя нужды и страданий и почему именно для него, Пурвмикеля, так щедро раскрылись источники всякого благополучия?

Сравнивая свое положение с их положением, он терялся перед загадкой: законна ли такая громадная разница в судьбе людей? Чем он заслужил такие преимущества?

Представив себе, что ему вдруг пришлось бы обменяться ролями с одним из таких чернорабочих — таскать мешки, пилить дрова, разбивать камни, мостить улицы или служить кочегаром на пароходе, — он невольно вздрогнул, почувствовав, что их труд отнюдь не легче бесплодного сидения в канцелярии. Значит, нет

ни малейшего сомнения в том, что его авторитет в обществе, занимаемое им положение — незаслуженны, фальшивы, незаконны. И все же так было лучше, лучше для него — и поэтому он заглушал обличающие мысли. Такой несправедливый распорядок был выгоден для него и для всех, кто сумел выдвинуться. Если на свете когда-нибудь действительно установится полное равенство, может оказаться, что благосостояние Пурвмикеля превысит общий уровень. Поэтому надо молчать, оставаться глухим и слепым к требованиям народа и участвовать в комедии, разыгрываемой перед народом классом эксплуататоров и узурпаторов. Пурвмикель видел, что окружавшие его сослуживцы и знакомые отлично сознавали всю ложность своего положения, но оно было выгодно, и они продолжали пользоваться им, делая вид, что не понимают того, что всем было ясно. И без особенной внутренней борьбы он присоединился к этой толпе комедиантов.

Пурвмикель никогда не мог быть последовательным и легко мирился с этими непостижимыми удачами. Однако ему хотелось знать их причину. Уединившись в своем кабинете, он предавался раздумью, взвешивая все обстоятельства, даже такие, которые являлись плодом его фантазии. Неужели его способности, старания или поэтический талант так притягивали к себе внимание начальства? Маловероятно, особенно если принять во внимание взгляды этих людей: ни Вайтниек, ни другие особы, которым он был обязан головокружительной карьерой, не были ни меценатами, ни любителями или по крайней мере ценителями искусства. Для них искусство было лишь предметом роскоши, безделушкой, чем-то вроде детской игрушки, которой взрослому, благоразумному человеку не полагается заниматься; и если они относились к искусству терпимо, то только потому, что это была мода, соблюдавшаяся людьми, которые хотели казаться прогрессивными и культурными. Так иногда взрослые, стараясь показать, что они любят детей, бегают с малышами, играют с ними в кошки-мышки, позволяют себя ловить, обнимают малюток и в то же время смеются над ними.

Значит, дело было не в этом. Даже если бы Вайтниек понимал и ценил поэтический талант Пурвмикеля, все равно он не доверил бы ему ответственный и серьезный

пост начальника отдела, где требовался человек практического ума. Мало-помалу Пурвмикель начал понимать, что известная заслуга здесь принадлежит Милии. Один за другим пришли на память многочисленные званые вечера, благотворительные базары и юбилеи, в которых они участвовали. Милия всегда находилась в окружении влиятельных господ, она знала их лучше, чем муж, и много с ними разговаривала, но он никогда не замечал ничего предосудительного. Весьма возможно, конечно, что Милия иногда пользовалась благосклонностью влиятельных людей и закидывала словечко-другое в пользу мужа. Быть может, он обязан своей карьерой именно ее невинным усилиям? Это предположение больше огорчало Пурвмикеля, чем оскорбляло. Его меньше трогало то, что Милия оказывала ему такие услуги, которые могли весьма дурно истолковать, чем несправедливая оценка труда, достойного уважения и награды. Таким образом, размышлял Пурвмикель, труд серьезного и старательного человека на благо народа и государства сводился к нулю, в то время как улыбке и любезности женщины или просто ее красоте придавалось такое громадное значение. И хотя в данном случае это была его собственная жена, из-за женских достоинств которой оставались в тени деловые заслуги Пурвмикеля, хотя достигнутые ею результаты выдавались за собственные достижения Пурвмикеля, — он огорчался, и вместо ожидаемой радости успех доставил ему только разочарование. Он чувствовал себя, как человек, который лакомится вкусными орехами, страдая в то же время от зубной боли.

И все же он не противился всему этому. Он ничего не говорил, когда Милия флиртовала с Вайтниеком или другими мужчинами: он верил жене и был глубоко убежден, что она знает границы. Как все безвольные люди, Пурвмикель не мог сопротивляться злу, если оно шло ему на пользу.

* * *

Несчастье произошло не так, как Милия мысленно иногда себе представляла: она заболела серьезной венерической болезнью.

Когда Милия заметила первые симптомы, ее охватил ужас. Обманывая себя всякими предположениями, она все же не могла успокоиться и обратилась к медицинскому словарю, который подтвердил ее подозрения.

Она больна, больна постыдной болезнью! И самое ужасное было в том, что она не могла сказаться больной, не могла открыть свое злополучное положение.

— Боже, что мне делать? — шептала она, ломая руки. — Я погибла! Что со мной будет?

Она не чувствовала себя виноватой. Свалившееся на нее несчастье она расценивала как страшную беду, в которой виноваты другие: они... наделившие ее этой болезнью мужчины, с которыми у нее были мимолетные связи... и муж, — больше всех муж, ради которого она пустилась на такую игру. Если бы Пурвмикель не был такой тряпкой, сам заботился бы о своем благополучии, поменьше мечтал, а больше действовал, ей не пришлось бы прибегать к *таким* средствам. И тем не менее никто не должен знать о ее несчастье, она должна перенести его одна, иначе ей конец. И она вспыхнула при мысли о том, как злорадствовали и торжествовали бы люди, узнав о случившемся...

Пометавшись и даже немного поплакав, Милия после первых приступов отчаяния и бессильной злобы принялась обдумывать свое положение.

«Где это я подцепила?» — раздумывала она и стала припоминать... Но нелегко было ответить на этот вопрос. Что виноват не муж, в этом Милия была уверена. Но кроме мужа и Вайтниека она в поисках новых ощущений, побуждаемая иногда чувственностью, иногда расчетом, а то и любопытством, вступала в связь с многими мужчинами, которые занимали более высокое положение, чем Пурвмикель, или просто нравились ей.

Она брала под сомнение то одного, то другого, но — безуспешно. Господин Вайтниек? Нет, нет, он такой чистоплотный, солидный и аккуратный; его спокойно-самоуверенное поведение исключало всякие подозрения.

Художник Мазупите, больше недели расписывавший потолок в гостиной Пурвмикелей, совсем недавно вернулся из Парижа... а у Милии сложилось мнение, что все французы развращены и больны. Но этот скромный

юноша казался таким милым и неиспорченным, он даже не сразу понял намеки Милии, и ей пришлось его обольщать, как мальчишку. Это не он.

Директор Крауя?.. Редактор Миела? Молодой поэт Кайва? Все эти связи носили случайный характер. И тем не менее кто-то из них, а может быть, и все они могли оказаться виновными.

«Нет, мне в этом не разобраться, — махнула Милия наконец рукой. — Но что же мне делать? Что мне сказать им и мужу?»

Перед Милией встала трудная задача. Несмотря на всю свою распущенность, она поняла, что случилось что-то, заслуживающее только презрения. Но это еще не означало, что она стала презирать себя. Презрения заслуживали единственно последствия, неудачи, неопытность, — так же как и в других случаях нарушения общепринятой морали, осуждали, скажем, не самый факт воровства или подделки векселей, а глупое поведение, отсутствие находчивости, когда человек попадался. Всякое ловко совершенное преступление, каким бы низким оно ни было, удивляло людей, вызывало даже зависть, и только из врожденного или привитого воспитанием лицемерия они осуждали его. Милия знала много очень знатных и уважаемых дам, позволявших себе такую же и даже большую свободу, чем она. И она была убеждена, что все об этом знали, но корчили невинные физиономии, будто ничего не замечали; этих дам уважали и к ним относились, как ко всем порядочным женщинам. Общество лицемерило. Оно до тех пор прикидывалось, что ничего не видит, пока виновные умело скрывали свои проделки. Но стоило попасться, потерпеть неудачу — и это немедленно вызывало всеобщее возмущение. Двери закрывались... связи порывались... Ведь в каждом таком провале общество усматривало наряду с отсутствием ловкости и находчивости явное пренебрежение к себе и поэтому презирало неудачников. Люди сурово осуждают тех, в ком они, как в зеркале, видят отражение своих недостатков.

Милия решила скрывать свое состояние, пока это возможно. Когда окажется невозможным... тогда... тогда...

«Ну, как-нибудь вывернусь...»

* * *

Скрывать свое состояние было гораздо труднее, чем предполагала Милия. Одним молчанием нельзя было отделаться, — приходилось лгать, лгать постоянно и много. Любой ценой нужно было скрыть свое состояние в первую очередь от Пурвмикеля, а это оказалось самым трудным: заболев, он сразу бы догадался, кто его заразил; он не должен был заболеть.

Болезнь была серьезная — мучительная и заразная. Это очень огорчало Милию и причиняло ей физические страдания. Пурвмикель, как назло, отличался страстным темпераментом; Милии приходилось избегать его, объяснять свое поведение всевозможными обстоятельствами.

«Сколько времени это может продолжаться? — думала Милия. — Пока я вылечусь, пройдет несколько месяцев. Ему надоест слушать мои бесконечные отговорки, он не поверит, начнет следить — и все узнает». Тогда ей останется один путь: униженной, опороченной вернуться обратно в родительский дом. От этой мысли Милия зябко поводила плечами. Как хорошо ей теперь жилось! Она согласна прожить так всю жизнь, если б только удалось здесь остаться. Она никогда больше не рискнет увлечься такой опасной и некрасивой игрой. Ей даже порой казалось, что она бы искренне любила мужа — и только мужа, больше никого, — только бы удалось вывернуться!..

От отчаяния она была готова на все, лишь бы замести следы. Запершись в своем будуаре, она взвешивала все возможности, строила самые рискованные планы. И среди сотни негодных, до смешного наивных или до нелепости бесстыдных один показался ей спасительным, и она без раздумья уцепилась за него. Все ее существо радостно встрепенулось, и разгоряченный мозг стал обдумывать план, который был настолько же прост, насколько и дерзок. Но она ни минуты не сомневалась в успехе.

Как ей сразу не пришел в голову такой остроумный план? И как прост, как бесконечно прост он был! Она смеялась и от радости каталась по подушкам. Представив двусмысленную роль мужа, она окончательно развеселилась.

«Бедняжка, сколько ему придется вытерпеть! Но ничего, это послужит ему сюжетом для цикла элегий». И Милия начала действовать. Она стала вести себя, как шалунья-девочка, которая только что влюбилась. Лихорадочно, в дьявольской спешке старалась она ускорить события. Она не могла медлить.

. . . . . .

— Минна, когда ты в последний раз стирала пыль с буфета?

— Как — когда? Разве вы, барыня, не видели? Утром. — Прислуга обиженно смотрела на барыню.

— Видела я или не видела, не твое дело. Смотри...

И Милия проводила пальцем по дверце буфета. Прислуга, презрительно пожав плечами, отворачивалась.

— Ну, я не могу стоять здесь каждую минуту с тряпкой. У меня есть и другая работа...

. . . . . .

— Минна, почему в компоте так много ванили?

— Много? Вы же сами сказали...

— Ничего я не говорила. Ты начинаешь бредить средь бела дня. И бульон не процедила, попадаются мелкие косточки. Ты, верно, хочешь, чтобы мы заболели аппендицитом?

— Оставь, Милия, — с улыбкой вмешивался Пурвмикель.

— Как это оставь? — Милия горячилась еще больше. — Если ей не сказать, это будет повторяться ежедневно. За что же мы ей деньги платим?

. . . . . .

— Минна, твоя беспечность становится невыносимой! Я сижу в ванне и уже четверть часа кричу, чтобы ты принесла мне зеркало и гребенку.

— Барыня, я поливала большой олеандр.

— Когда я в ванне, ты должна быть возле меня. Олеандр не засохнет, если его польют на полчаса позже.

— Разве вам когда-нибудь угодишь!

. . . . . .

Вечером взволнованная Милия вошла к Пурвмикелю в кабинет, нервно прошлась, затем села.

— Ян, это становится невыносимым!

— Ну, что там опять?

— Она меня не слушает! Она меня злит на каждом шагу! Она делает все, что ей взбредет на ум! С каждым днем она все больше наглеет. Сама съедает все мясо, которое оставляем для Лео, и бедняжке приходится глодать одни кости. Я не понимаю, для чего мы держим прислугу и платим ей жалованье, если от нее нет никакого толку?

— Так уволь ее.

— Мне тоже кажется, что больше ничего не остается.

Пурвмикель углубился в чтение, а Милия тихо вышла из кабинета. Вскоре послышались голоса из кухни. Затем все стихло.

На следующий день Минна ушла от Пурвмикелей.

. . . . . .

По объявлению в газете к Милии явилась целая вереница молодых девушек. Несмотря на то что она изъявила желание нанять симпатичную прислугу, некоторые кандидатки никак не могли быть отнесены к этой категории. Милии пришлось многим отказать. Только на второй день пришла девушка — тихая, застенчивая, с миловидным лицом, ясными большими глазами, стройная, хорошо сложенная. Она показалась подходящей, и Милия наняла ее, хотя девушка призналась, что незнакома с обязанностями прислуги. Но дело было не в этом. Ей ничего не надо было уметь...

* * *

Наутро Лаума явилась на новую службу. Она принесла с собой только небольшой узелок с бельем и платьем. Милия встретила ее приветливо и ласково и сразу же познакомила с ее обязанностями. Прежде всего она подружила ее с собакой, чтобы та не кусала девушку, а затем посвятила в режим дня. Они обошли все ком-

наты, осматривая их. Милия радовалась, видя удивление и нескрываемый восторг этого бедного создания при виде роскошной обстановки, мебели, занавесей, ковров, картин. Она загорелась желанием ослепить эту простую девушку своей роскошью и богатством: раскрывала шкафы с висевшими в них меховыми пальто, шелковыми и бархатными платьями, смокингами и визитками; показала ей великолепный кабинет Пурвмикеля, где на полках красовались нечитанные книги в золоченых переплетах; повела в столовую, где буфет ломился от фарфоровой и хрустальной посуды и серебра. И хотя Лаума понимала, что вся эта роскошь — не главное в жизни и что не эти дорогие безделушки определяют ценность человека, она, сама того не замечая, поддалась впечатлениям и не могла удержаться, чтобы не узнать цену некоторых вещей. Милия называла преувеличенную сумму, уверенная в том, что девушка никогда не сможет ее проверить.

Раздался звонок, Лаума нерешительно взглянула на хозяйку.

— Пойти открыть? — спросила она.

Милия, поправив перед зеркалом прическу, махнула Лауме рукой, чтобы она шла в кухню.

— Я сама выйду. Ты ведь еще не знаешь, можно ли впустить.

С самого начала она стала обращаться с ней на «ты», а Лауме не показалось это странным.

Звонок повторился. Милия вышла в переднюю. Лаума услышала из кухни радостные приветствия, затем шепот. На щебетание Милии отвечал недовольно рокочущий, приглушенный бас.

Немного спустя гость ушел, и Милия продолжала прерванный обход квартиры. Несколько раз Лаума ловила на себе пытливый взгляд хозяйки: будто она что-то хотела сказать, но сдерживалась. Скоро они все осмотрели.

— Теперь ты можешь приниматься за дело. Если что-нибудь не поймешь, спроси меня. Когда ты мне понадобишься, я позвоню.

Новые обязанности не показались Лауме трудными. Она быстро усвоила все необходимое, и Милии не пришлось затруднять себя повторными объяснениями. Ослепление чужим богатством скоро прошло, и Лаума

спокойно смотрела на окружающую роскошь. Хозяйка была с ней приветлива и вежлива, и положение прислуги уже не казалось девушке унизительным. Все было не так плохо, как она представляла.

Хозяин не играл почти никакой роли в домашней жизни, и Лауме редко приходилось встречаться с ним. После дневных трудов, не очень утомительных, но требующих постоянного внимания, Лаума вечерами могла читать в своей комнате. Иногда барыня спрашивала, не хочет ли она пойти в кино или цирк. Но Лаума никуда не ходила. Она наслаждалась сознанием своей самостоятельности. Ей еще никогда не было так хорошо. Будь ее хозяйка грубее, капризнее, требовательнее, Лаума и это перенесла бы с легким сердцем: на работе она могла вынести любые трудности, лишь бы завоевать себе право на жизнь, — ее жизнь все же оставалась в полном ее распоряжении... Ничья чужая, навязчивая, враждебная воля не имела права вмешаться в ее жизнь. Она не позволит этого никому, никому на свете! При одном воспоминании о прежних обидах в ней поднимались вспышки глухого гнева. Она не могла вычеркнуть из памяти прошлого!

Лаума не была любопытной, но и она скоро поняла, что в семье Пурвмикелей происходит что-то странное. Днем, пока Пурвмикель был в министерстве, Милию посещали молодые и средних лет мужчины. Все они держали себя очень свободно, со многими Милия была на «ты», все они приходили с какими-то требованиями, но неизменно уходили разочарованными и неудовлетворенными. Милия всячески старалась их успокоить, но дело было не в словах.

Лаума никогда не слышала, чтобы Милия говорила о своих гостях мужу, да и он не интересовался ее рассказами, — казалось, он тоже был чем-то озабочен. В этом доме все проявляли странное, непонятное недовольство. Иногда, подавая вечерний чай, Лаума слышала, как Милия жаловалась на боли, которые уже давно ее мучают, в другой раз она рассказывала о визите к врачу, который рекомендовал ей принимать какие-то лекарства. Пурвмикель кусал губы, а когда к нему обращались, растерянно улыбался.

Лаума смутно чувствовала, что и недовольство гостей находится в какой-то связи с неизвестной болезнью

Милии. Постепенно они стали появляться все реже, присылали лишь записочки.

Лаума мало разбиралась во всем этом, и все, что ей казалось странным или сомнительным, относила к особому, господскому тону. Ведь эти люди были совсем непохожи на нее и на тех людей, которых она до сих пор знала.

«Какое мне дело, — унимала она свое любопытство. — Каждый живет, как ему нравится и как умеет».

«Эта девушка мне подходит, — радовалась Милия. — Она прямо создана для меня».

Только Пурвмикель ни о чем не думал. За него думали другие.

* * *

Пурвмикель не сознавал, но чувствовал, что его словно пытают. Во время особенно острых приступов страданий он не мог не обратить внимания на какую-то продуманную дьявольски безжалостную систему, которая вела к ухудшению его состояния. Правда, он был слишком деликатен и слишком хорошо думал о жене, чтобы догадаться, какую постыдную роль она навязывала ему.

Влюбившись в Милию, Пурвмикель, как и большинство влюбленных, наделил ее самыми блестящими качествами. Свои мечты, свои самые прекрасные и глубокие замыслы он посвятил ей и, отуманенный пылкими чувствами, думал, что Милия сияет своим светом, а не отражает лучи его личности. Обманув себя, подняв ее на пьедестал, чтобы она была выше его, — он радовался. Но кумир рассыпался в прах: вместо божества на пьедестале оказалась обыкновенная самка, а у Пурвмикеля не хватало духа признаться себе в этом. Он продолжал обожать ее, пресмыкаясь и унижаясь перед своим же вымыслом.

Пурвмикель не замечал, какие наперченные и жирные блюда подавали ему в последнее время; будто случайно, у него на столе всегда оказывались книги эротического содержания...

Болезнь Милии затянулась. Она ежедневно ходила к врачу, сильнее, чем обычно, душилась крепкими ду-

хами, чтобы заглушить предательский запах лекарств. Пурвмикель так ни о чем и не догадывался, он только хотел, чтобы жена скорее выздоровела. Но Милия, будто не замечая состояния мужа, часто совершала в его присутствии свой туалет. Чувствуя, что у него нет больше сил сдерживаться, он запирался в кабинете и, стиснув зубы, до полуночи расхаживал взад-вперед, опрокидывая стулья и швыряя книги, назойливо лезшие в глаза своими соблазнительными заглавиями.

Пурвмикель старался утомляться, думать о чем-нибудь постороннем, работать — но напрасно. Он приходил на службу раньше времени, целый день нервничал, придирался и сердился на себя и своих подчиненных за малейший промах. Он в это время был плохим коллегой: хмурился, ворчал, нетерпеливо швырял папки и бумаги и портил настроение всем, кому приходилось с ним соприкасаться. Никто не мог объяснить причину такой резкой перемены в характере начальника отдела.

Больше всего он был зол на женщин — сотрудниц министерства. Стоило одной из них показаться в его кабинете, как он сердито выпроваживал ее:

— Если вам что-нибудь не ясно, идите к делопроизводителю. Неужели у меня только и дела, что инструктировать вас по каждому пустячному вопросу!

«Я, вероятно, сойду с ума, если не заглушу в себе это», — часто думал Пурвмикель.

И он пытался подавить в себе бушевавшие страсти. Он вычитал в какой-то книге, что искусство — это видоизмененная эротика, художник изживает в искусстве излишки своей страсти. Упоминались некоторые видные поэты, ученые и философы, освободившиеся при помощи художественного творчества от своей чувственности и вложившие эту громадную энергию в бессмертные художественные произведения. Ах, если бы он мог эти силы, раздирающие и потрясающие все его существо, подчинить своему таланту, своему разуму! Какие перлы искусства, какие бессмертные ценности создал бы он!

Он пробовал писать. Убежденный в том, что избыток сил сам выльется в нужную форму, он не гнался за идеей, за жанром. Инстинктивно, доверяясь прозорливости своей взволнованной души, он давал волю перу

скользить по бумаге, предоставлял чернилам растекаться пестрыми рядами букв. Он, не перечитывая, исписывал страницу за страницей, сознание лихорадочно создавало образы, мелкие и значительные картины, на память приходили какие-то сцены, уличные шумы, смутные порывы чувства. А когда он позже, усталый, останавливал этот поток, то видел, что перед ним только бессмысленный хаос.

Спасаясь от страсти, он хотел похоронить ее под бессмысленным нагромождением фальшивых фраз, — но этот покров был слишком непрочен. Он видел женщину во сне и наяву, желая этого и помимо желания. Ни на мгновение не мог он забыть предмет своего волнения, своей страсти — Милию. Она, как тень, следовала за каждым его душевным движением, она не давала сосредоточиться, она появлялась и исчезала, все время напоминая о себе.

Милия с удовлетворением замечала, что все идет по намеченному ею плану.

«Теперь пора», — сказала она себе как-то утром и загадочно улыбнулась.

* * *

Пурвмикель проснулся. Укрывшись до подбородка теплым одеялом, он предавался сладостному чувству безделья. Он редко помнил свои сны, а когда вспоминал, то радовался всплывавшим из подсознания видениям. Целый день он думал о них, пока сквозь бредовый хаос не вырисовывалась какая-то живая картина, связное переживание, страшная или приятная ситуация. Тогда он фиксировал ее на бумаге, — у него была специальная тетрадь, в которую он вписывал все достойные внимания сны. Некоторые из них даже вдохновляли его на стихи.

Этой ночью Пурвмикелю тоже снился сон. По грязной, вязкой дороге он шел в какую-то глухую деревушку. Вокруг раскинулось болото, почва колебалась под ногами, около пожелтевших кочек пучилась болотная жижа. Он пришел в деревню. Она находилась на открытом месте, на горе, поднимавшейся, как остров, над окрестной мрачной, пустынной равниной. Но и гора была болотистой — она сотрясалась, как студень, от

каждого прикосновения. С вершины горы во все стороны стекали речки. Гору окружали одинокие дома, разделенные друг от друга речушками. Пурвмикель вошел в один дом, где у него было какое-то дело. Все обитатели — взрослые, дети и собаки — сидели на полу у входа и ели из большого закопченного котла. Казалось, они не заметили вошедшего. Торопливо и серьезно эти люди вынимали из котла вареных змей и ящериц. Дети дразнили собак еще живыми пресмыкающимися, которые извивались и шипели. Но собаки заметили Пурвмикеля и, сердито ворча, принялись обнюхивать его; он не мог ступить и шагу — со всех сторон виднелись оскаленные клыки, из красных пастей вырывалось горячее дыхание. Беспомощно смотрел он на людей, но они смеялись и показывали на него пальцами, дети науськивали на него собак. Даже во сне он рассердился. Над ним насмехались. Но он не успел запротестовать, как почувствовал острую боль во всем теле, ужас сковал его сердце... Затем он полетел в пропасть... и проснулся.

Это был страшный сон, но именно такие сны и нравились Пурвмикелю. Он лежал с открытыми глазами, с приятным, спокойным сознанием, что ничто ему не угрожает.

«Почему я ничего не говорил? — думал он. — Я же мог кричать, отогнать детей, когда они науськивали на меня собак».

— Ян... — послышался за его спиной голос Милии. Она сидела на своей кровати, потягивалась и сладко зевала, прикрывая рот. — Тебе еще хочется спать?

Он повернулся на бок и взглянул на жену. Она сидела, закинув за голову белые обнаженные руки, еще немного сонная, лукавая, красивая.

— Еще ведь рано. Можно с полчасика поваляться... — ответил он.

— Мне некогда. Профессор Бахман обещал осмотреть меня до приема, он сегодня едет на конференцию в Германию.

Милия встала и, накинув кимоно, пошла в ванную. Пурвмикель слышал, как она позвала прислугу и что-то сказала ей. Затем зажурчала вода. Пурвмикель старался не думать о том, что делалось за стеной, сердито повернулся на другой бок и с преувеличенным интересом стал разглядывать рисунок обоев. Но в ушах

раздавалось журчание воды... В злобном отчаянии он натянул на голову одеяло. В этот момент Милия вышла из ванной.

Пурвмикель резко повернулся и лег спиной к Милии, но перед ним был зеркальный шкаф... Ему и в голову не приходило, что Милия сознательно позирует, с расчетом довести его возбуждение до предела. Как биолог-экспериментатор, она направляла на него невидимый ток, Пурвмикель был для нее подопытным объектом, чем-то вроде лягушки. С хладнокровным любопытством она следила за действием тока, сотрясавшим тело испытуемого животного.

Когда возбуждение Пурвмикеля, по расчетам Милии, достигло предела, она оставила его одного. Торопливо одевшись, она вышла, чтобы отдать Лауме распоряжение насчет завтрака. Пурвмикель тоже встал и начал одеваться.

За столом он старался не глядеть на жену. Они молча позавтракали. И сразу же после завтрака Милия уехала к профессору.

Пурвмикелю пора было отправляться в министерство, но он, казалось, забыл об этом. Апатичный, вялый и нервный, он пошел в кабинет и стал расхаживать из угла в угол. Мысли упорно возвращались к утренним впечатлениям. Он ничего не забыл, с новой силой его охватило прежнее томление. Время шло, но он не смотрел на часы. Усевшись в кресло, он тут же вскакивал, все его нервировало, всякий пустяк раздражал...

Вдруг из соседней комнаты до него донесся резкий, пронзительный звук: это звенели ножи и вилки, которые Лаума вытирала и убирала в буфет. Позвякивание металла раздражало слух Пурвмикеля, терзало его нервы. Он заткнул уши и остановился, но шум не затихал. Он окончательно рассвирепел, топнув ногой о пол, крикнул:

— Прекратите вы там наконец!

Но звон ножей не стихал, вонзался в сознание.

— Проклятие! — крикнул Пурвмикель, распахивая дверь.

У буфета стояла девушка в темном платье и белом фартуке. Поглощенная работой, она торопливо вытирала полотенцем ножи и вилки и убирала их в ящик. В ответ на гневный окрик Пурвмикеля она повернула

голову и посмотрела на него серьезным, чуть тревожным взглядом.

— Вы что-то сказали? — спросила она.

— Нет, ничего... я только... я сам с собой... — вдруг, смутившись, пробормотал он. В глубокой задумчивости смотрел он куда-то мимо девушки неживым, неподвижным взглядом, затем, вглядевшись в ее растерянное лицо, пришел в себя.

— Нет, я ничего не говорил, — повторил он и вернулся в кабинет.

Пурвмикель сел. В его мозгу зародилась какая-то новая неотвязная мысль: он думал о девушке в белом фартуке.

* * *

«Этого никогда не случится. Она не *такая*... — думал Пурвмикель о Лауме. — А как это мне узнать? А если она из *таких*...»

Как он хотел в эту минуту, чтобы она оказалась *такой!*..

«А Милия? — мелькнула в голове тревога. — Что скажет Милия, если узнает?»

Но бессильны были слова, которые вызывало в его сознании сомнение. Эти слабые упреки совести опрокидывались целым ураганом веских доводов.

«В чем она может меня упрекнуть? А она сама...»

И мысленно он еще раз представил себе все те возбуждавшие подозрение картины, которые и раньше тревожили его. Сегодня он уже не искал оправданий некоторым сомнительным ситуациям. И он содрогнулся от выводов, какие ему поневоле пришлось сделать.

«Я только тешу себя самообманом! Я низкий человек и стараюсь убедить себя в том, что имею право...»

Он потерял способность логично рассуждать. Мысли метались, как мыши в мышеловке. Обессилев, он наконец махнул на все рукой и прилег на диван. В нем боролись грубый дикарь и утонченный эстет, низменное желание и этические нормы. Но напрасно воспитанный человек пытался переубедить дикаря, тот был глух и слеп, хотел только одного. И вдруг он, вздрогнув, сдался... Пусть это нехорошо, пусть даже за эту



минуту он расплатится дорогой ценой, но — пусть, пусть!

Пурвмикель встал и направился к двери. Когда он уже собирался нажать ручку, его опять охватило сомнение: «Что ты задумал, ты... ты сам?..»

Он глотнул воздуха, облизал губы и, не ответив себе, торопливо, чтобы снова не остановили сомнения, нажал дверную ручку. Приоткрыв дверь, он позвал, не узнавая своего голоса, ставшего чужим и резким:

— Лаума, зайдите сюда на минутку.

Он услышал стук закрываемой буфетной дверцы и быстрые легкие шаги. Пурвмикель медленно отошел к письменному столу и повернулся спиной к двери. Девушка вошла и остановилась посреди комнаты.

— Вам что-нибудь нужно? — спросила она.

Пурвмикель медленно повернулся к ней. Лауму поразил его необычный вид: лицо словно перекосилось, он смотрел на Лауму воспаленными глазами. Как он старался уловить на ее лице хоть какой-нибудь признак того, что она его поняла! Пусть бы это был испуг, презрение или любопытство... Но девушка оставалась серьезной и немного удивленной. Темные брови слегка приподнялись, и глаза казались больше, чем обычно; вопросительный, недоумевающий и беспокойный взор этих ясных глаз отвечал на его смущенные взгляды. Ему сделалось невыносимо стыдно. Вздохнув, он подошел к двери и повернул ключ...

Напрасно она умоляла и кричала от отчаяния: стены были непроницаемы, никто не услышал ее криков. Пурвмикель оказался сильнее ее.

Потом он упал на колени, гладил руки Лаумы и умолял простить его:

— Прости... не сердись... я не мог иначе... Милая Лаума... пойми же меня... Я сам жалею о случившемся...

Он заплакал, уткнувшись головой в колени девушки.

Бесчувственно смотрела Лаума на мужчину, рыдавшего у ее ног. Она молчала. Казалось, она даже перестала дышать, грудь ее словно окаменела под тонкой тканью. Она не чувствовала боли, не в силах была думать, не могла понять и возненавидеть человека, унизившего ее.

— Прости, не сердись, я жалею об этом...

Не говоря ни слова, она оттолкнула его и вышла. В квартире воцарилась гнетущая тишина. Полчаса спустя Пурвмикель ушел в министерство, и Лаума заперла за ним дверь; они избегали глядеть друг на друга. Только оставшись одна, Лаума дала волю слезам. Она забыла вытереть пыль, полить олеандр, выколотить ковры. Ей все было безразлично. Теперь уже никто не мог еще более унизить ее...

* * *

По покрасневшим глазам и подавленному настроению Лаумы Милия сразу догадалась, что за время ее отсутствия что-то произошло. Но судить о том, удался ли ее остроумный план, она не могла, не увидев мужа. Как только он явился домой, Милия дала ему почувствовать, что наблюдает за ним. Пурвмикель, и так уже терзаемый угрызениями совести, окончательно смутился под ее настойчивым, пытливым взглядом. Виноватый и жалкий сидел он за столом, не в силах проглотить ни куска. Лаума накрыла на стол, подала обед и поспешила уйти. Пока она находилась в столовой, Пурвмикель не знал, куда глаза девать, презирал себя за слабоволие и низменные чувства, думал о том, как несчастна Милия и каким он стал негодяем.

План Милии удался, она могла торжествовать! Вечером она заявила, что профессор признал ее вполне здоровой.

Прошла неделя. Пурвмикель успел уже забыть о недавних мучениях. Он приходил на службу свежий, в хорошем настроении. Сослуживцы удивлялись внезапной перемене. Только дома его блаженное настроение снова и снова омрачалось маленьким облачком: это была Лаума.

Еще более тихая и замкнутая, чем раньше, девушка открывала ему дверь. Она ни одним словом не напоминала о случившемся, ничего не требовала, но одно ее молчаливое присутствие стало вечным укором.

Пурвмикель чувствовал себя неловко. Он сознавал свою вину перед Лаумой, он охотно бы заплатил ей, как вполне порядочный буржуа.

Однажды, пользуясь отсутствием Милии, он вошел к Лауме в кухню. Девушка, вероятно, решила, что

у него опять какие-то дурные намерения, и встретила его гневно сверкающими глазами. Он поспешил ее успокоить:

— Не бойся, я просто так. Видишь ли, у тебя, возможно, в связи с этим (он покраснел) будут расходы. Чтобы тебе не тратить свои деньги...

Он протянул Лауме пачку кредиток.

На мгновение девушка точно оцепенела. Пораженная и растерянная, она глядела на протянутую ей тонкую руку с шуршащими кредитками... Потом поняла. Она застонала и разрыдалась.

— Ну, ну, зачем же так...

Пурвмикель слегка прикоснулся к ее плечу.

Она гадливо стряхнула его руку.

— Уходите прочь!.. Уходите... вы... вы... — она не могла договорить, голос ее прервали рыдания. Значит, ее считали продажной!

Пурвмикелю было неловко, но он оставался хладнокровным. Его только беспокоила мысль о том, что произойдет, если их застанет Милия, и он спешил сказать все, что считал нужным:

— Не думай так дурно. Я не хочу, чтобы ты из-за меня страдала. Поверь, я эти деньги...

— Уйдите... подлец! — крикнула Лаума. — Не мучайте меня. Что вам еще нужно от меня? — И она оттолкнула его с такой силой, какой от нее совсем нельзя было ожидать. Смущенный и в то же время задетый тем, что его собственная прислуга осмеливается его толкать, Пурвмикель попятился к дверям. Деньги он все еще продолжал держать в руке.

— Да, но как же ты думаешь? — бормотал он. — Так ведь не может продолжаться. Мы должны договориться. Ты думаешь, мне приятно, что ты меня ненавидишь?

— А вы думаете купить этими бумажками мое расположение? Эх вы, жалкий человек!

— Чего же ты хочешь? — крикнул Пурвмикель.

Пожав плечами, он ушел в кабинет.

Вскоре новые заботы заставили Пурвмикеля забыть тяжелую историю с Лаумой: однажды он вдруг почувствовал непривычную резкую боль, — он заразился! Деньги, отвергнутые Лаумой, очень пригодились ему самому: по секрету от Милии он начал посещать врача.

По секрету от Милии? Она смеялась над своим мужем и его неловкими увертками. О болезни Пурвмикеля она узнала раньше, чем он, так как все симптомы ей были известны куда лучше.

— Ну, птенчик, попался! Посмотрим, что ты теперь запоешь!..

* * *

Прошло несколько дней. Был вечер. Дул теплый весенний ветер, и временами моросил мелкий дождь. На улицах стояли лужи.

Втянув голову в воротник, Пурвмикель возвращался домой; он только что был у врача. Подавленный и грустный, он обдумывал свое позорное положение.

«Какая змея!.. — вспомнил он Лауму. — Больная тварь, а разыгрывает из себя оскорбленную невинность!..»

Он в бессильной злобе скрипел зубами и сжимал кулаки. С каким удовольствием он прогнал бы эту испорченную девчонку, заразившую его дурной болезнью! Но только как это сделать? Под каким предлогом? И будет ли она молчать?

«Проклятая! Создать ей невыносимую жизнь, завалить непосильной работой, изменить обращение с ней? Но тогда она заговорит, и все откроется. Подлое создание, почему именно она оказалась тогда под рукой?»

Он сердито позвонил у своей двери. Опять она! И какой овечкой притворяется!.. Не сказав ни слова, он прошел мимо Лаумы, снял пальто и, не взглянув на девушку, бросил его ей, затем вошел в комнату.

Откуда-то доносились странные звуки, похожие на кошачье мяуканье. Пурвмикель остановился, прислушался. Звуки неслись из будуара Милии. У нее кто-то есть? Его охватили смутные подозрения.

«Не будь смешным...» — успокаивал он себя, но тут же, затаив дыхание, на цыпочках приблизился к дверям будуара. Все стихло. Сердце Пурвмикеля билось как птица в клетке. Прошло несколько мучительных мгновений... затем в комнате что-то упало, и дверь распахнулась так неожиданно, с такой силой, что Пурвмикель не успел отскочить от замочной скважины. По-

краснев, он пытался улыбнуться, но, взглянув на лицо Милии, побледнел.

Впившись в него сверкающим от ненависти, полным глубокого презрения взглядом, крепко сжав губы, стояла она перед ним как воплощенный упрек.

— Входи! — произнесла она наконец, тон ее не предвещал ничего хорошего.

Безуспешно попытавшись еще раз улыбнуться, Пурвмикель вошел в будуар. Милия захлопнула дверь и с вызывающим видом остановилась перед мужем. Она была сильно взволнована, грудь ее бурно поднималась и опускалась, она тяжело дышала сквозь стиснутые зубы, тонкие ноздри раздувались.

— Ты, ты... бессердечная тварь! — крикнула она, и все ее тело содрогнулось.

Милия угрожающе двинулась на Пурвмикеля. Он инстинктивно попятился. Он понимал — нужно что-то сказать, защищаться, занять какую-то позицию, но не мог вымолвить ни слова. Он стоял как парализованный и выслушивал обвинения, так безжалостно и тяжело падавшие на него.

— Ты шпионишь у моей двери?.. Это за каждым твоим шагом нужно следить! Бесстыдный распутник! По каким притонам ты таскался? Если бы из-за этого мучился один ты, мне было бы безразлично, но сделать несчастным другого человека... О боже, боже!

— Успокойся, ну успокойся же... — нерешительно бубнил Пурвмикель. — Я не понимаю, чего ты волнуешься. Наверное, какое-нибудь недоразумение...

— Ах, вот как, недоразумение! — взвизгнула Милия, как ужаленная. — Интересно, от кого же получила я эту болезнь? Думаешь, я не знаю, куда ты ходишь по вечерам? Как тебе не стыдно обманывать меня! О боже, боже!

Она закрыла лицо руками и громко зарыдала.

— Если заболел ты, почему надо было губить и меня? Что теперь делать? С какими глазами покажусь я врачу с такой болезнью?

Пурвмикель готов был сгореть от стыда.

— Могла ли я думать, что мой муж так подло меня обманывает!

Милия бесновалась, называла себя мученицей, сравнивала себя с обглоданной костью, которую выбрасывают

собакам. Она изливала свою фальшивую злость и боль в потоках слез.

Эта сцена потрясла Пурвмикеля до глубины души. Он упал к ногам Милии, рвал на себе волосы, не давая себя оттолкнуть, умолял выслушать его, — Милия не желала слушать никаких оправданий. И так они довольно долго плакали и причитали. Пурвмикель был готов на любое унижение, лишь бы все это не вышло за стены дома. Его пламенные мольбы тронули наконец Милию. Она сжалилась над убитым горем мужем (в глубине души она презирала его за трусость) и милостиво выслушала его рассказ: как он страдал в первые дни ее болезни, как она, не зная того, мучила его, как он боролся с соблазном и, наконец, поддался...

— Но, дорогая, я не обманывал тебя. Я не отдавал себе отчета в том, что делаю.

— Нужно было по крайней мере быть осмотрительнее в своем выборе... Тогда хоть не заболел бы...

Он промолчал.

Наконец она простила его. Теперь они сидели рядом, взявшись за руки, как два заброшенных, несчастных ребенка, и молча грустили о своей «разбитой» жизни. На глазах обоих еще блестели невысохшие слезы. Несчастье сблизило их, они были преувеличенно внимательны друг к другу.

— Кто *она?* — спросила Милия, когда Пурвмикель успокоился.

— Ты о ком? — непонимающе отозвался Пурвмикель. (Он отлично знал, про кого она спрашивает.)

— Ну, которая тебя... от кого ты заразился... (Она знала — от кого.)

Пурвмикель покраснел. При воспоминании о дурной болезни, которой его наградила эта мерзкая женщина, он опять помрачнел. И все-таки ему было неудобно назвать имя девушки: он наклонился к самому уху Милии, прошептал имя Лаумы и тотчас спрятал лицо на груди жены. Как ему было стыдно! Если бы это была известная красавица, уважаемая дама, стоящая на одном уровне с Милией, — его увлечение было бы если и не совсем оправданно, то во всяком случае объяснимо. Но простая прислуга, их собственная прислуга! Это было двойным унижением для жены.

— Так это она... Да, да, я так приблизительно

и думала. Но как невинна... как наивна!.. Как будто ничего не понимает!

Вдруг Милия расплакалась.

— Я не потерплю, чтобы у меня в доме оставалась эта гадина! Я не хочу согревать на своей груди змею! Она должна уйти сейчас же, немедленно!

Пурвмикель поспешил согласиться. Но когда Милия заикнулась о том, что не мешало бы заявить в полицию, он энергично запротестовал:

— Тогда об этом узнают все, а ты, наверное, не захочешь этого...

— Нет! Только не это!

Они решили обойтись без полиции. Поднявшись, они вместе пошли к Лауме.

* * *

Они нашли Лауму за книгой: покончив с делами, она по вечерам несколько часов посвящала чтению.

Ей не дали опомниться. Распахнув дверь, Милия разразилась потоком самых отборных ругательств. Как библейский пророк, она потрясала кулаками, метала глазами молнии и время от времени топала ногой.

— Вон из моего дома, уличная девка! Немедленно вон! Чтобы я больше тебя здесь не видела! Распутница, обольстительница! Парней тебе мало? Вешаешься на женатого человека!

Самые отвратительные циничные ругательства, словно комки грязи, летели в лицо девушки. Милия не ограничивалась словами, как ястреб налетела она на Лауму, выхватила из ее рук книгу и толкнула девушку к стене.

— Нечего глядеть и раздумывать! Собирай свои тряпки и убирайся!

Хорошо разыгранная Милией сцена негодования увлекла и Пурвмикеля. Хоть он и не умел так искусно и цинично ругаться, тем не менее всегда располагал необходимым запасом презрительных выражений. Он изобразил на своем лице высшую степень презрения, фыркнул вздернутым носом и наградил девушку коротким уничтожающим взглядом, каким обычно смотрят на что-то отвратительное, уродливое, тошнотворное.

Сердито лаял Лео, встревоженный шумом.

Лаума стояла, прислонившись к стене. Оскорбления, презрение, плевки, все эти ужасающие нападки привели ее в состояние столбняка. Ей казалось, что на нее обрушилось что-то громадное, темное и смертоносное, навалилось со всех сторон и душит. Слова, доносясь откуда-то издали, хлестали, как плети, она их не понимала и не слышала.

«Я погибла... погибла... погибла...» — мелькала в ее сознании последняя ясная мысль. Она продолжала стоять, опустив голову еще ниже. Она не чувствовала даже озлобления. Как бесчувственный, неодушевленный предмет, она позволяла себя толкать, дергать. Чужие руки до тех пор трясли ее за плечо, пока она не пришла в себя.

— Не мешкай! Собирай свои вещи! — кричала ей в ухо Милия.

Какой она была раньше приветливой, эта красивая барыня...

Двигаясь бессознательно, как автомат, Лаума собрала свое немудреное имущество: белье, пару туфель, маленькую шкатулку с безделушками, завязала все в узелок, завернула в платок, надела пальто и недавно купленную мягкую бархатную шляпку...

Пурвмикель больше не бранился. Тихая покорность девушки тронула чувствительное сердце поэта. Он не мог смотреть без жалости на Лауму и, боясь наделать из-за своего мягкосердечия глупости, старался думать о своей болезни: мысль о переносимых им страданиях давала ему силы не замечать чужих страданий. Ожесточившийся и мрачный, он пропустил Лауму мимо себя и вместе с Милией последовал за ней в переднюю. Лаума все время молчала и не смотрела на своих судей, но в последний миг остановилась в дверях, взглянула на них своими ясными и открытыми глазами, — казалось, она хотела навсегда запомнить образ этих людей.

Она ушла. Супруги закрыли дверь и облегченно вздохнули.

— Слава богу, дом теперь очистился, — сказала Милия.

Была темная, дождливая ночь. Ветер завывал над крышами, грохотал водосточными желобами и скрипел ставнями. Представляя себе, как неприятно сейчас на

улице, супруги прижались друг к другу в приятном сознании, что им тепло и мирские бури мчатся мимо их уютного, чистого гнездышка. Но в тишине они никак не могли отделаться от мысли о третьем человеческом существе, которое бродило ненастной ночью — без крова, не зная, что его ждет завтра. Только теперь Милия вспомнила, что она не рассчиталась с Лаумой.

«Ну, сама вспомнит и придет», — успокаивала она себя.

У ног Пурвмикеля лежала собака. Милия включила радио. Из репродуктора полилась прозрачная мелодия «Анданте кантабиле» Чайковского. Двое, прижавшись друг к другу, говорили о будущем. У директора департамента нашли рак желудка. Близкая его смерть вселяла новые надежды в сердца кандидата философии и его достойной супруги.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Всю ночь бушевала теплая весенняя буря. Потоки дождя уносили последние остатки снега. Журчала вода в желобах. Повсюду неслись мутные бурные потоки, и беспокойно качались на ветру верхушки деревьев.

Выйдя на улицу, Лаума остановилась. Ее неприветливо встретила ненастная, сырая ночь. Куда идти? Прислонившись к железной решетке ворот, она глядела в окружающую темень. У нее не было калош, старые туфли сразу промокли. Ветер распахнул полы легкого пальто и прохватил все тело; девушка вдрогнула, как от прикосновения холодной лягушки. Кто-то подошел к воротам. Лаума съежилась и перешла на противоположный тротуар.

Лаума посмотрела через улицу на большие, широкие окна. Горела висячая лампа под красным абажуром. У камина сидели двое. У ног их лежала собака, и нежные белые руки гладили ее по спине. Счастливая собака... Как тепло там, в комнате!..

Девушка пересилила себя и отошла.

Другие улицы... площади... несущиеся автомашины... Вспыхивают и гаснут зелено-красные рекламы... кофе «Мокко»... папиросы «Феникс»... Девушка

чувствует на груди холодные капли, узелок оттягивает руку. Если бы можно было присесть!

На бульваре под деревьями стоят скамейки. Она садится на одну из них. Мимо несутся извозчики; как грузные тени, бредут люди. Через улицу, во втором этаже, — лучшее рижское кафе. Столики, дамы в шубках, мужчины. В углу гнутся тонкие фигуры музыкантов. Известный юморист ест пирожное и пишет фельетон для завтрашнего номера газеты. Другие господа тоже пишут — может быть, фельетоны, а может быть, и векселя... Они все могут...

Как тянется ночь! Девушка все ходит, промокшая, усталая. Город затихает. Все расходятся по домам.

Лаума выходит на набережную Даугавы. Мутные, грязные воды стремятся к морю. Около набережной плавают редкие обломки льдин. Вдали темнеют силуэты судов. На фоне темного неба полощется флаг над дворцом президента. Спит президент, утомленный банкетом... Девушка глядит на темную воду... Всего лишь прыжок в темноту, секундное напряжение воли — и не придется больше дрогнуть, не нужно будет думать...

Она долго стоит на берегу. Издали полицейский с любопытством наблюдает за ней: прыгнет или не прыгнет? Если прыгнет, будет о чем рассказать жене, друзьям, начальству...

Нет, не прыгнула... Как ни мрачна ночь, она не может длиться бесконечно. Как бы ни была пуста жизнь — человек не имеет права сбросить ее, как изношенную калошу. Слишком сильна в девушке жажда жизни... Она удерживается от соблазна...

Она направляется дальше с маленьким узелком под мышкой. В одном месте присаживается и плачет. Ночной сторож гонит ее. Она встает и уходит... Но везде есть ночные сторожа, везде закрыты двери... А над усталым городом бушует и завывает ветер.

Измученная бессонной ночью, продрогшая, с синевато-серым лицом, Лаума утром собралась с духом и пришла к Пурвмикелям за жалованьем. Ей выплатили деньги без всяких разговоров. Холодно и сдержанно простилась с девушкой красивая барыня, и даже Лео, почувствовав настроение хозяйки, сердито зарычал на старую знакомую.

И опять она продолжала бродить по улицам, пока ноги не отказались повиноваться. В горле стоял тяжелый комок, временами ей приходилось стискивать зубы, чтобы сдержать подступающие рыдания. Почему у нее не было своего угла? Почему не было человека, к которому она могла бы прийти, приласкаться и пожаловаться на свою неудачную жизнь?

Ночь Лаума провела на вокзале в зале ожидания, вместе с латгальскими лесорубами и разными бродягами, а как только забрезжил рассвет, ушла в город искать работу.

* * *

Начались бесконечные мучения и беготня по городу. Лаума целыми днями выстаивала на углах улиц в ожидании выхода газеты, спешила по указанным в ней адресам, топталась вместе с другими женщинами по чужим передним — и получала отказ. Ведь у нее не было ни одной рекомендации, а богатые хозяйки и разговаривать не хотели, если не было рекомендации. О поступлении на фабрику или в мастерскую нечего было и думать.

«А если так и не удастся найти работу?» — не покидала Лауму мрачная мысль.

У нее еще оставалось немного денег от полученного жалованья; и пока она была в состоянии уплатить за место в ночлежке или на постоялом дворе и купить пару кренделей на завтрак, она чувствовала себя уверенно. Но деньги быстро таяли, не помогали ни бережливость, ни самый строгий учет — скоро должны были иссякнуть последние сантимы.

И Лаума представляла себе дальнейшее, неизбежное... гибель. Так нередко бывает: если человек оказался в трудном положении и не может продолжать жить в прежних условиях — он приходит в отчаяние, считает, что все потеряно. Жизнь человеческая похожа на горные террасы: человек, привыкший жить на высокой террасе, рассматривает жизнь на следующей, более низкой террасе как гибель, — не потому, что на ней вообще нельзя жить, а потому, что его пугает самый момент падения. Но, пережив этот страшный момент,

это падение вниз, он становится на ноги, приходит в себя и продолжает жить, посмеиваясь над недавним отчаянием и страхом.

Жизнь Лаумы нельзя было назвать легкой и радостной, но она привыкла к ней, и мысль о том, что ей придется жить в худших условиях, на более низкой ступени общественной лестницы, внушала ей ужас. Наблюдая людей, живущих этой, казавшейся ей страшной жизнью (которые отнюдь не считали себя менее счастливыми, чем она), Лаума не могла понять их. Оборванные бродяги, провожаемые презрительными насмешками прохожих, скитались по окраинам, возле порта; голодные, продрогшие дети просили милостыню, унижаясь перед каждым встречным; падшие женщины предлагали себя за деньги каждому, кто хотел их купить, и не краснели, если кто-нибудь называл их самыми бесстыдными именами... Что это за люди, как они могли переносить все это? Где их человеческое достоинство? Или они совсем отупели, стали бесчувственными?

Еще не наступил сезон найма на полевые работы. Возможно, что тогда Лауме удалось бы наняться батрачкой или хотя бы пастушкой и на некоторое время проститься с Ригой. То обстоятельство, что она никогда не бывала в деревне, ее не пугало: всему можно научиться. Но было еще рано.

Проходила неделя за неделей, и она продолжала ходить и томиться, все больше теряя надежду, надломленная, притихшая... Началась нужда. Деньги кончились. Нечем было платить за ночлег.

Над горизонтом нависли черные тучи.

* * *

Дни становились теплее. Весна повела решительное наступление на спящую землю: вскрывались реки, на лугах пробивалась молодая трава, распускались почки на деревьях; дамы ходили в весенних пальто и шляпах, мужчины перестали носить гетры; парламент спешил утвердить последние законы; школьники корпели над книгами в ожидании экзаменов, а скворцы выгоняли из своих домиков воробьев, — весь город в лихорадоч-

ной спешке встречал весну, как праздник. Под темными арками ворот кланялись нищие, по улицам бродили озабоченные безработные. Вокзал, постоялые дворы, рынки и порт кишмя кишели обездоленными существами. «Работы!..» — просили они. Но работы не было. Большой город со всем его шумом, движением и красками напоминал наряженного покойника. Фабричные трубы не дымили, мастерские были закрыты. Казалось, над горизонтом висел гигантский паук и ткал крепкую, затягивающую всех паутину; в ней трепыхались и жужжали мелкие мухи.

Лаума потеряла всякую надежду. Уже заранее убежденная в неудаче, выходила она утром на улицу; усталая, разбитая и голодная возвращалась с наступлением темноты. Она была в этом городе лишней. Грозное кольцо все туже стягивалось вокруг нее, она это чувствовала.

У нее теперь был такой усталый и жалкий вид, что прохожие иногда по-своему истолковывали ее медлительную походку. Несколько раз она забредала на такие улицы, где любители продажных ласк поджидали добычу; проходя мимо, она видела в тени ворот и подъездов парочки, вполголоса договаривающиеся о цене: молодые, средних лет и совсем пожилые мужчины торговались с вызывающе ярко накрашенными женщинами, говорившими сиплыми, грубыми голосами. Все они громко смеялись, стараясь обратить на себя внимание прохожих; они то пренебрежительно отворачивались от мужчин, то через минуту догоняли их и заговаривали с ними.

Дрожа от страха и отвращения, Лаума спешила скорее миновать эти места. Навстречу ей шли мужчины. Назойливо и пристально вглядывались они ей в лицо, усмехались, подмигивали и долго смотрели вслед.

Однажды какой-то пьяница схватил ее за плечо. Улица была безлюдная, и уже темнело. Лаума испуганно рванулась и окинула мужчину гневным сверкающим взглядом. Тот, смеясь, шел за ней. Лаума ускорила шаги, перешла на другую сторону улицы и спряталась в каком-то дворе. Притаившись в темноте, она переждала, пока преследователь ушел, потом вышла и продолжала путь. Но незнакомец заметил ее и наме-

ревался снова пойти за ней. Увидев, что ему не догнать Лауму, махнул рукой и крикнул вдогонку:

— Иди к черту! С шлюхой не стоит... — и прибавил несколько грубых ругательств...

Этот случай и виденные ею картины не выходили из памяти Лаумы. Оставшись одна, она часто думала об этом. Чем отличалось то, что случилось у нее с Эзеринем и Пурвмикелем, от виденного ею на улице? В чем здесь различие? И те и другие унижали женщину, и те и другие без любви и взаимности обманывали природу. И Пурвмикель и пьяный прохожий предлагали деньги... Случай с Пурвмикелем она уже пережила, с чувством гадливости примирилась со своим унижением и нашла в себе силы жить дальше... А с этими?..

Нет, думать дальше у нее не хватало сил. Она видела впереди лишь мрачную пропасть, темную и гибельную пучину и боялась заглянуть в эту бездну, упасть в нее, потому что слишком ясно чувствовала свое бессилие и усталость.

Дни шли один за другим. Положение Лаумы все ухудшалось, она больше не верила в свои силы. Если бы в это время кто-нибудь протянул Лауме дружескую руку и позвал на совместную борьбу за право человека быть свободным — право, которым она никогда не пользовалась, — она без малейшего сомнения последовала бы за ним и отдала этой священной борьбе все, что имела: силу, жизнь, свое будущее. Но никто ее не заметил, никто не протянул руку, не позвал... И, покинутая на произвол судьбы, не зная правильного пути, она чувствовала, что гибнет... Как уставшая птица, заблудившаяся в морских просторах, она отчаянно взмахивает в последний раз крыльями... еще раз... Внизу ревет разбушевавшаяся стихия...

* * *

Отдав последние сантимы за ночлег, Лаума ушла в город. До полудня она бродила по улицам. Голод мучил ее все сильнее. Несчастная, смертельно уставшая, она с отчаянной решительностью подошла к прилично одетым женщинам, возвращавшимся с рынка, и заговорила с ними.

— Не нужна ли вам прислуга или работница? Я все могу делать...

Дамы покосились и отрицательно покачали головами.

— Нет, нет, нам не нужно.

— Может быть, вы знаете, кому нужно?

— Ничего мы не знаем.

И поспешно, чтобы девушка не задавала больше вопросов, они принялись обсуждать цены на мясо и цветную капусту.

Лаума смутилась, виновато улыбнулась и пошла дальше. Очень хотелось есть!..

Улица за улицей, час за часом. Яркий пламенный закат... Сверкают огни витрин. Швейцар у входа в кино сует в руки новую программу. Мимо проходит рослый генерал с пышными усами. В магазине музыкальных инструментов играет патефон. Ах, как хочется есть!..

— Барышня, мы ночлег бесплатно не предоставляем!

— Барышня, здесь нельзя спать. Уходите!

— Барышня, не забудьте свой узелок...

И опять ночь. Сырая весенняя ночь. Почему она так долго тянется? В темноте раздается резкий свист. Быстрый топот, окрики, тишина... На углу в такси дремлет шофер... Есть хочется...

И снова день. И снова вечер. Девушка уже продала свой узелок. Торговец-старьевщик дал три лата. Девушка ест хлеб. На вокзале дремлют люди. Поезда приходят и уходят, рельсы гудят всю ночь. Какой кислый запах идет от овчинных полушубков... Головокружение... в мозгу у нее все смешалось...

— Где я?

— Барышня, выпейте воды! Что с вами? Вы такая бледная...

Она не хочет пить. Устыдившись своей слабости, она встает и, покраснев, уходит. Люди перешептываются и качают головами:

— Кокаину нанюхалась! Вы заметили, какие у нее припухшие красные веки?

— Да, новые времена! Беда. Близится страшный суд! Покупайте «Ключи тысячелетнего царства мира»!

Дама с жетонами и господин с собакой:

— Жертвуйте на нуждающихся. Ну, барышня, прошу вас, пожалуйста.

— Мне нечего жертвовать...

— Не надо шутить, барышня. На нуждающихся следует найти.

Дама не прикалывает жетона, господин вздернул нос:

— Бессердечная!

О, как хочется есть! Нет больше узелка, нет хлеба. И во всем городе нет такого уголка, где можно выплакать свое горе. Город не любит плачущих, в городе должны смеяться!

И опять вечер... ночь... рассвет... Голод...

* * *

Когда был истрачен последний сантим и Лауме больше нечего было продавать, она поняла, что у нее осталось только два выхода: умереть голодной смертью или пойти на улицу. Весь остаток дня она бродила, терзаемая сомнениями.

«Зачем умирать, когда жизнь только начинается? — думала она. — Впереди самые лучшие годы. А если уж умирать, то почему именно теперь, когда еще есть хоть какой-нибудь выход? Есть ли на свете хоть один человек, который может меня в чем-либо упрекнуть? Есть ли еще человек, перед которым я должна отвечать?»

Те, кто произвел ее на свет, умерли, не обеспечив ей возможности жить честно. Те, кого она знала, старались эксплуатировать ее. А тот — единственный, который, может быть, помог бы ей, не требуя ничего взамен, — скитался где-то по белу свету. Почему она колеблется? Есть ей нечего, пристанища у нее нет, и никто не протянет ей руку помощи. Зачем оттягивать неизбежное? Лаума подумала о красивой барыне, выгнавшей ее среди ночи на улицу: разве она была лучше? Разве многие люди не знали, какова она на самом деле? И тем не менее никому не приходило в голову упрекнуть ее в чем-нибудь.

«Я буду жить...» — решила Лаума и с наступлением вечера подрумянила щеки, накрасила губы и ресницы. Но не для того, чтобы стать красивее, — для того, *чтобы знакомые не узнали!..* Выйдя на улицу, она по-

выше подтянула юбку. Но не для того, чтобы открыть колени, — для того, *чтобы незнакомые узнали!*

После полуночи Лауму встретил студент, только что расставшийся со своей возлюбленной; полный самых нежных чувств, он поспешил сюда, на улицу. Он был вежлив и нетерпелив. Небрежно, второпях протянул он девушке деньги. Густо покраснев, с растерянной улыбкой, она взяла их. Уходя, он даже не простился.

Через полчаса Лаума встретила какого-то скупщика скота, решившего развлечься после выгодной сделки. У него было вино, и Лаума охотно выпила. После этого ей стало весело, она много смеялась. Скупщик ушел.

Встречались другие...

* * *

Лаума без оглядки погружалась все глубже в болото унижений. Она научилась без мыслей, без чувств переносить все. Спустя несколько недель она уже не обращала внимания на лица «гостей». Преодолевая отвращение, она шла за каждым.

С самыми наглыми было легче всего: они смотрели на ее положение как на что-то вполне естественное и не мучили девушку своим слезливым сочувствием, которое только бередило свежие раны. От этих людей веяло пошлым оптимизмом, их назойливая веселость и непритворное равнодушие к мнениям других людей поддерживали на какой-то момент измученную сомнениями девушку. В эти минуты Лаума предавалась обманчивой иллюзии, что во всем случившемся нет ничего дурного. Совесть молчала, воля давно уже ослабела...

Шло время. Привыкнуть к унизительному положению было несравненно легче, чем перенести зависть старых проституток, они преследовали ее язвительными замечаниями и злобными насмешками. Из-за жестокости этих женщин Лаума стала держаться вызывающе: не уступала дорогу хорошо одетым дамам, сердито и враждебно разговаривала со своими «гостями», издевалась над робкими юношами, а любопытных, выражавших ей сочувствие и пытавшихся узнать историю ее падения, озадачивала резким вопросом: «Вам-то какое дело?»

Но такой вызывающей и беззастенчивой она была только с чужими. При виде прежних знакомых ее все еще охватывала дрожь. Всякий отблеск, всякая тень

прошлого будили в ней стыд. Ее душа была похожа на рану, покрывшуюся струпьями: они защищали ее от новых ранений; но всякий раз, когда нечаянно срывали эти ставшие нечувствительными струпья, опять раскрывалась живая, чувствующая боль душа.

Лаума, все потерявшая, одинокая и покинутая, затосковала по другому близкому и такому же несчастному существу, с которым можно было бы разделить одиночество. Впервые в жизни она мечтала о подруге. Она искала ее и вскоре обрела.

Ее звали Алмой. Встретились они в один ветреный, ненастный вечер, когда, спасаясь от хлынувшего ливня, обе укрылись под аркой ворот. Дождь затянулся, и девушки разговорились. Алма, рослая девушка, с простоватым круглым, но довольно миловидным лицом, была года на два старше Лаумы и уже третий год как впервые вышла на панель. Несмотря на свою унизительную жизнь, Алма сумела сохранить в себе много непосредственности и веселости.

— Где ты живешь? — спросила она у Лаумы.

Узнав, что та ютится где попало: в гостиницах, меблированных комнатах, а порой остается совсем без ночлега, Алма покачала головой:

— Нет, дружок, это не жизнь. Так ты и на квартиру не заработаешь.

И она рассказала, что снимает две маленькие комнатки в центре города, и стоят они пятьдесят латов в месяц.

— Видишь, как дешево они мне обходятся... Бывает, что «гость» тихий, тогда я привожу его домой. Вход с улицы, так что никто ничего не видит.

В тот вечер они до полуночи ходили вдвоем, — ненастная погода распугала всех ловцов ночных бабочек. Наконец Алма увела Лауму к себе.

Они стали жить вместе, снимая пополам крохотную квартирку. Алма была для Лаумы заботливой и ласковой старшей сестрой. Она посвятила ее во все тайны профессии: как лучше увертываться от полиции; какому полицейскому нужно дать взятку и какого нужно обходить за километр; в каком районе какую цену запрашивать; как подойти к интеллигенту и как к простому клиенту; как отличить *настоящего* клиента от такого, что вышел подурачиться; какие самые доходные

дни и часы и в каком именно районе. Это была целая наука, требовавшая известной сообразительности и даже знания психологии. Алма учила, как завлекать нерешительных, скупых и разборчивых и как заводить постоянных клиентов. Но самое главное — она советовала Лауме рассматривать свое положение как нечто вполне естественное и отбросить глупый и ненужный стыд.

Алма училась на белошвейку, но несчастный случай заставил ее покинуть родительский дом. Она была родом из Вентспилса и приехала сюда в надежде получить работу — шить на большие модные магазины. Но швейные мастерские были переполнены, а брать работу на дом она не могла — не было швейной машины. Если бы у нее была возможность внести первый взнос за швейную машину... если бы кто-нибудь одолжил ей несколько десятков латов — тогда все обернулось бы иначе. Но никто не доверял незнакомой девушке. Поголодав и помучившись некоторое время, она отдалась на волю течения. И все же Алма надеялась рано или поздно вернуться к честной трудовой жизни. Вначале она собиралась, как только скопит деньги на швейную машину, распроститься с улицей. Но получилось не так, как было задумано. Алма поселилась у какой-то старухи на Мариинской улице, у которой девушки принимали «гостей», а все заработанные деньги сдавали на хранение хозяйке. Когда скопилась нужная сумма, Алма попросила свои деньги, но старуха заявила, что никаких денег она в глаза не видала, и выгнала ее. Алма погоревала о потерянных деньгах и принялась вновь копить их. Но прежде чем ей удалось накопить нужную сумму, полиция захватила ее с клиентом в гостинице и вручила контрольный номер. Неделю спустя она заболела и была отправлена на Александровские высоты *. После этого больше ничего не оставалось, как продолжать начатое. Теперь у Алмы многое было за плечами, и все-таки она еще могла смеяться и была в состоянии заражать своим весельем других.

* * *

Два месяца с лишним Лаума удачно избегала столкновений с полицией и осмелела, — настолько осмелела, что однажды пришла с каким-то провинциальным

торговцем в одну из сомнительных гостиниц, состоявших под надзором полиции.

«Может быть, этой ночью и не будет облавы!» — успокаивала она себя.

Торговец, человек средних лет, с солидным брюшком и лицом завзятого любителя пива, сообщил, что он женат, имеет дочь, ровесницу Лаумы, но жена его нездорова и разрешает ему развлекаться вне дома. Дважды в месяц он приезжает в Ригу на несколько дней; у него много знакомых «барышень». К счастью, торговец скоро крепко уснул.

Лауму одолели горькие думы. Она сознавала все, видела и чувствовала ужас своего положения, раздумывала о загубленном завтрашнем дне и о том, что ее ждет в дальнейшем. Сколько еще страшных дней впереди! Что ее ожидало, какие руки будут ее обнимать, какие губы целовать? Мысленно она уже представляла свой будущий облик: ввалившиеся глаза, ярко накрашенный, бесстыдный рот, жалкая, отталкивающая улыбка и хриплый, каркающий голос...

В приступе нахлынувшего на нее омерзения она соскользнула с кровати и оделась.

«Пуф... пуф...» — слышалось через определенные интервалы дыхание спящего мужчины.

Лаума села у стола и оперлась головой на руки. Она не знала, что делать: уйти и оставить торговца одного или потерпеть и дождаться утра? Если она уйдет, торговец может поднять шум, со злости позвонит еще в полицию, что «барышня» его обокрала и сбежала. Но и оставаться с ним невыносимо тяжело. Лаума не в силах была переносить близость этого человека. Его циничная откровенность, его излияния о своей семейной жизни вызывали у нее отвращение. Может быть, он проспит до утра? Тогда можно посидеть у стола или подремать на диване, пока успокоятся нервы, пока она опять примирится... Да, придется примириться. Не завтра, так послезавтра она снова будет вынуждена пойти по тому же пути.

Она сидела одна в полутемной комнате и так задумалась, что не услышала шума шагов в коридоре и громкие настойчивые голоса. Лаума очнулась от своего оцепенения, когда в дверь постучали и кто-то резко, повелительно крикнул:

— Откройте дверь! И, пожалуйста, без задержки!

— Кто там? — спросил, проснувшись, торговец. Усевшись на кровати, он глядел то на испуганную девушку, то на дверь номера, в которую не переставая стучали. — Чего вы стучите! Неужели я за свои собственные деньги не могу спокойно отдохнуть!

Прерывающийся голос торговца мало гармонировал с резкими словами:

— Прошу не рассуждать. Здесь полиция. Откройте.

Лаума отперла дверь. Вошли полицейские. Непосредственная опасность придала девушке хладнокровие. Спокойно отвечала она на вопросы, отдала сумочку и, увидев свой паспорт в руках надзирателя, правильно поняла ироническую улыбку на его лице.

— Так, так, барышня... Это ни в коем случае продолжаться не может. Каждый порядочный работник и работница состоят в профессиональном союзе, а вы хотите работать в одиночку. Что на это скажут ваши организованные коллеги? Ну, ничего — завтра мы вам тоже вручим членский билет...

Лаума молчала. Через минуту она вышла вместе с полицейскими. Ее клиент остался в номере. При виде уходящей Лаумы в нем проснулся торгаш:

— Извините, господа! Я ей уплатил до утра, а что же теперь получается? Сейчас ведь только полночь.

Надзиратель, усмехаясь, обернулся:

— К сожалению, ничем не могу вам помочь. Вам следовало расплатиться только утром. Теперь вы страдаете из-за собственной опрометчивости.

Лаума молча вынула сложенную кредитку, скомкала ее и швырнула изумленному торговцу:

— Успокойтесь, не скулите. Подарите их своей дочери на приданое.

Сконфузившийся торговец что-то пробормотал, но все же не утерпел — нагнулся и поднял деньги. Он виновато улыбнулся и слегка покраснел. Даже полицейские презрительно поморщились.

. . . . . .

Лаума провела ночь в арестантском помещении полицейского участка — в тесной клетке, за решеткой и под замком. В таких же клетках находились другие

женщины; те, что были постарше, дразнили сторожа, сквернословили, шумели, пели и требовали папирос. Наутро их повели на контрольный пункт. И вместе со многими другими девушками-новичками Лаума перестала быть личностью, потеряла имя: у них отобрали паспорта, а взамен выдали контрольные книжки под номерами. Лаумы Гулбис не стало. Была девушка под номером.

Ловушка захлопнулась еще прочнее. Вся прежняя жизнь осталась по ту сторону тяжелых ворот, закрывшихся за Лаумой в эту ночь. И она ничего, ничего не могла сделать, чтобы помешать этому, так же как не может сопротивляться оторвавшийся от дерева лист, гонимый и подбрасываемый ветром.

* * *

Смертельно уставшая от переживаний этой страшной ночи, Лаума вернулась к Алме. Все время сдерживаемые и подавляемые слезы прорвались, наконец, в истерических рыданиях, лишь только Лаума добралась до своей комнатки. Напрасно Алма успокаивала ее и, поглаживая дрожащие плечи своей подруги, старалась узнать причину ее отчаяния, — Лаума не слушала, что ей говорили. Мозг настойчиво сверлила одна неотступная мысль: «Так вот какая у меня теперь будет жизнь! И так я буду жить до самой смерти».

Только через некоторое время Алме удалось узнать о том, что случилось ночью.

— Только и всего! — сказала она ободряюще. — Я думала, невесть что с тобой случилось: прибили или встретила прежнюю любовь. Ну, ну, Лаумук, соберись с духом! Без номера долго не проживешь. Хорошо, что так обошлось. У других еще хуже получается.

И Алма приводила в пример трагикомические случаи, когда совершенно невинных девушек заставали в подозрительной обстановке и регистрировали.

— Я знаю гимназистку, на которую соперницы из-за ревности натравили полицию, когда у нее было свидание с мальчиком. Их застали целующимися. Мальчик оказался жалким трусом и не заступился за девушку. Испугавшись последствий, он не признал ее перед полицией своей невестой, — и ей дали номер. Теперь она

проститутка. Постой, Лаума, у меня есть лекарство, оно вылечит тебя и придаст бодрости.

Алма, порывшись в сумочке, вынула два маленьких порошка и, сделав из бумаги тонкую трубочку, протянула ее Лауме.

— На, понюхай...

Лаума понюхала. Подруга не успокоилась, пока не исчез весь порошок до последней пылинки; приставшие к бумаге комочки кокаина Алма слизнула языком и проглотила...

— Так. Теперь ты почувствуешь, что все обстоит не так уж плохо.

И Лаума почувствовала. В носу стало прохладно, во рту еще чувствовался горьковатый вкус кокаина, но тяжелое настроение понемногу рассеивалось. Тоскливые мысли ушли, как облака, разгоняемые ветром. Стало невыразимо хорошо. Никакого опьянения, тумана, только удивительное ощущение, будто в ненастный день вдруг показалось светлое солнечное небо. О, совсем не так уж все плохо! Другим живется гораздо хуже. Она в конце концов свободная женщина и может делать, что хочет. Если разобраться, такая жизнь даже интересна. У нее всегда водятся деньги, даже довольно много, а ведь живя с родителями, она редко видела и сантим... Да, что она хотела купить себе?.. Новое пальто — такое, как у Алмы: из синего сукна, с настоящим меховым воротником. Не хватало нескольких десятков латов. Если бы она из гордости не вернула торговцу деньги, даже сегодня можно было бы пойти в магазин. Какая глупость — отдать обратно деньги! Больше этого не повторится.

Лаума вытерла слезы, умылась и начала болтать с Алмой о всяких пустяках. А когда Алма под вечер заставила ее переодеться, она тотчас послушалась. Нервы успокоились, страшную душевную боль утолил прохладный белый порошок.

— Какую блузку мне сегодня надеть? — спросила она у Алмы.

— Лучше с длинным рукавом. Ты ведь знаешь свое увечье.

Сегодня Лаума забыла об этом. Напоминание подруги, казалось, встряхнуло ее, и вслед за изувеченной рукой она вспомнила еще кое-что из прошлого, но тут

же постаралась отогнать назойливые призраки. Когда ей это не удалось, она спросила у Алмы:

— Нет ли у тебя еще порошка? Если есть, дай. Я тебе потом заплачу!

У Алмы был кокаин, и она знала, где его можно достать...

* * *

Лаума не сделалась настоящей кокаинисткой, но в сумочке у нее всегда лежало несколько порошков, которые она приберегала на случай нового приступа меланхолии. То были тяжелые минуты, когда сознание ее постигало весь ужас происходящего и человеческое достоинство восставало против унижения! Случалось, что Лаума неделями жила почти довольная своей судьбой. Но вдруг воспоминание о прошлом или случайно услышанное слово будто пробуждали ее. И тогда окружающие ее люди становились враждебной — только по отношению к ней — толпой. Ей казалось, что за ней следят, что повсюду ее каждую минуту подстерегает опасность.

И всякий раз, когда на нее надвигались серые тени, Лаума доставала белый порошок. К нему же она прибегала и в тех случаях, когда приходилось продаваться какому-нибудь отвратительному, невыносимому животному.

И все же Лаума никак не могла усвоить самооправдывающую мораль Алмы. Если бы она меньше раздумывала и понимала, если бы она не читала так много, если бы примирилась с тем, что другие считали для себя вполне приемлемым, — тогда не стало бы больше этих упреков, этих мучений! Она завидовала бесхитростным натурам, которые не замечали своей гибели.

«Почему я не могу смотреть на все глазами Алмы?» — думала Лаума. Насколько легче жилось Алме! Ей и в голову не приходило презирать себя за то, что она продавалась.

Неразвитому человеку редко удается до конца постичь то, что понимает человек, долго и всесторонне развивавший свои умственные способности; но если развитой человек старается не понимать того, что он понимал раньше, иногда ему это удается. Страус в случае опас-

ности зарывает голову в песок; человек, чтобы освободиться от голоса разума, одурманивает себя: он прибегает к алкоголю, никотину, кокаину, морфию, опиуму. Наркотики льют искусственный розовый свет на потемневший мир. Но свет этот исходит не от солнца, и он не греет. Этот свет похож на мертвенное сияние, освещающее снег и ледяные пустыни.

Лаума расходовала на кокаин значительную часть своих доходов, туалеты, косметика и питание требовали своего, — и она очень мало могла скопить и часто страдала от безденежья. Отчасти это было хорошо: заботы о насущном отодвигали на задний план все остальные мысли.

* * *

Только что отпраздновали троицу. Ясные, знойные солнечные дни сменялись прозрачными тихими вечерами. Временами шел дождь. Земля казалась умытой, воздух чистым, и людям дышалось легко. Но даже в такие прекрасные вечера на улицах большого города появляются люди тяжкой, мрачной судьбы. Выходят молодые и средних лет женщины, желающие заработать на чужих пороках. Люди сходятся, торгуются и скрываются в темных углах.

В один такой вечер начался для Лаумы последний мираж.

Она встретила молодого парня. Он был немного пьян, но держался твердо и заговорил с девушкой вежливо. Он не торговался. До утра они пробыли в одной из ближайших гостиниц.

Это был странный человек. Лаума такого встретила впервые. Он положил голову на колени девушке и долго не произносил ни слова.

— Ты на меня не сердишься? — спросил он через некоторое время.

Лауме пришлось улыбнуться.

— Зачем же сердиться?

— Ну все-таки... Ты же поневоле должна презирать всех мужчин, которые к тебе приходят. Ты знаешь, какие мы, мы ничего от тебя не скрываем. Ты будто священник, перед которым мы исповедуемся в грехах. Ты не можешь не презирать нас...

— Не знаю, вы так странно говорите.
— Почему ты говоришь мне «вы»?
— Хорошо, я буду говорить «ты».

Он опять замолчал, затем прижался к девушке с доверчивой нежностью, с какой ребенок ищет защиты у взрослого, — а ведь он был атлетически сложен: плечистый, с сильной шеей, с крупными жилистыми руками.

— Нет, ты должна понять, я тебе все расскажу. Как тебя зовут? Лаума? Меня зовут Алфред, если хочешь знать — Алфред Залькалн. Ты не думай, что я пришел сюда только за... Ты, может, не знаешь, как трудно человеку быть одному. Я совсем одинок, у меня нет никого близких. Вечером после работы я возвращаюсь в свою пустую комнату, никто меня не ждет. Я долго сижу, не зажигая огня, и прислушиваюсь, как шумит улица под моим окном. Иногда я выхожу, ищу кого-нибудь из знакомых, потому что хочется быть среди людей. Иногда я прошу своих товарищей по работе, чтобы они познакомили меня со своими друзьями и подругами. Но когда я попадаю к ним и вижу, что они заняты друг другом и что везде я лишний, я сейчас же ухожу. После этого я неделями не выхожу по вечерам из дому, несмотря на то что очень скучаю по людям. Я ищу друга — такого, который хоть на минуту, но будет принадлежать только мне. Тогда я прихожу сюда. Но и здесь я не всегда нахожу то, что ищу. И здесь женщины напоминают улиток, запрятавшихся в свои раковины: они отдаются, они идут за мной в мое одиночество, но как только я хочу прикоснуться к их душе — они замыкаются в себе и недоверчиво сторонятся... Как будто между мной и остальными людьми стоит какая-то невидимая преграда, что-то вроде стены — она всегда передо мной и отталкивает все, к чему я приближаюсь.

Он замолчал, закусив губы. Лаума почувствовала жалость к этому странному, впечатлительному человеку. Перебирая пальцами густые волосы юноши, она любовалась его резко очерченным, выразительным профилем. Ему было не больше двадцати пяти лет, и он тоже был одинок, стоял вне общества... Его не отвергали, он только отошел в сторону — и каждую минуту мог вернуться туда...

Под утро Лаума заснула. Проснувшись, она увидела Залькална сидевшим на краю кровати и погруженным в раздумье. Его напряженный взгляд и озабоченно нахмуренный лоб показывали, что он обдумывает что-то важное. Только спустя некоторое время он заметил, что Лаума проснулась. Он схватил ее за руку.

— Знаешь что... — начал он и замолчал, закусив верхнюю губу. — Знаешь что...

— Ну, говори...

Он решился и порывисто стиснул локоть Лаумы.

— Ты пойдешь со мной? — проговорил он сдавленным шепотом.

Увидев, что девушка его не поняла, он стал длинно и бессвязно говорить о том, что надумал долгой бессонной ночью.

— Ты так же одинока, как и я. Мы ничего не потеряем. Бросай эту жизнь — станем жить вместе! Я буду работать, зарабатывать деньги, ты — вести хозяйство. Мы будем жить неплохо, у меня постоянная работа. Почему тебе не пойти ко мне? Я буду тебя любить, как всякий человек любит свою возлюбленную, даже еще больше. Я ни в чем тебя не упрекну, ни о чем не напомню... Ведь я понимаю тебя. И ты хоть чуточку пойми меня!

И, заранее чувствуя себя несчастным от мысли, что Лаума может отказать, он умолял ее, клялся, что она не пожалеет, заверял, что ни одну женщину он так не любил, как ее, рисовал ей прелести и преимущества совместной жизни и старался пробудить в сердце девушки если не любовь к себе, то по крайней мере хоть сочувствие. Ему казалось, что он загорелся высоким чувством: он убедил себя, что поступает так не для своего блага, а ради спасения красивой девушки от окончательной гибели. Ради нее он хотел пойти наперекор всему, пренебречь укоренившимися предрассудками, стать рыцарем назло всему двадцатому веку. Загоревшись пламенем самоотвержения, он дал волю красноречию, захватившему и увлекшему его самого, — страстно рисовал он будущее Лаумы, изображал волнующие контрасты между теперешним и будущим ее положением... Наконец он умолил ее обдумать все и вечером дать ответ.

Лаума не могла ни на что решиться, пока с ней был Залькалн. Она, конечно, понимала, как сильно изменилась бы вся ее жизнь, если бы она согласилась. Воображение Лаумы уже рисовало спокойное, уютное существование: свое собственное гнездышко, куда ни один завистник не посмеет сунуть свой любопытный нос, совершенно новая жизнь — спокойная, беззаботная, чистая... не надо будет проходить контроль... И с другой стороны — улица, со всеми ее темными безднами, грязью, унижением!

Лаума почти совсем согласилась, но где-то в самых отдаленных уголках сознания шевелились сомнения, — слишком уж невероятным казалось ей это неожиданное счастье... Залькалн обещал ждать ее вечером у кино. Весь день не могла Лаума забыть его умоляющий взгляд при расставании. Она все рассказала Алме. Та недоверчиво покачала головой и предрекла неудачу:

— У вас ничего не выйдет. Он поживет некоторое время с тобой, а потом прогонит.

Она привела много примеров, подтверждавших непостоянство мужчин.

— Даже самые хорошие из них не в состоянии поступиться чем-нибудь для женщины. Ни один мужчина не пойдет на невыгодную сделку. Если твой знакомый берет тебя к себе, значит, у него есть свои расчеты, и он в любом случае не теряет на этом, а выигрывает. Как только он почувствует, что ему невыгодно, он тут же избавится от тебя. Если хочешь, попытайся...

Скептические высказывания подруги все же не смогли удержать Лауму от принятого решения: сама того не сознавая, она уже была во власти новых надежд.

— Я все-таки попробую, — сказала она. — Что я теряю? Самое страшное я уже перенесла, хуже этого быть не может...

— Все же смотри, Лаума...

Вечером Лаума ушла к Залькалну. Он помог ей нести разную мелочь. Так как было уже поздно и темно, они шли, тесно прижавшись друг к другу.

«Она будет моей, только моей!» — с удовлетворением думал Алфред.

«Он полюбит меня...» — мечтала Лаума.

* * *

Начались дни, полные своеобразной прелести. У Лаумы наконец была своя квартира — кухня и комната, свое небольшое хозяйство, свои обязанности и права. Залькалн вставал рано. Лаума готовила ему завтрак. Потом он уходил на работу. Весь день Лаума оставалась одна, убирала квартиру, ходила в лавку или на рынок за покупками, готовила ужин и ожидала возвращения Алфреда. Как заботилась она о том, чтобы приготовить кушанье повкуснее! Лаума забывала себя, свои нужды и желания, — только бы он был доволен, только бы ему было хорошо!

Залькалн приходил вечером усталый, грязный, но держался бодро: ему ничего не сделается, тяжелая работа ничего для него не значит, он к ней давно привык! Но... того искреннего простодушия, той откровенной нежности, той настойчивой мольбы о близости и детской непосредственности, которыми Залькалн завоевал доверие Лаумы, — уже не было. Их сменили внимательность, бурная, скоро проходящая страсть, неудержимые объятия и поцелуи и изредка легкое нетерпение... Лаума не искала его ласк, не стремилась в его объятия, она молча покорно ждала, когда он подойдет и скажет ей что-нибудь ласковое.

Он был заботлив и вежлив, но не обладал чувством юмора. Алфред не напивался, а значит, и не дрался, как многие его женатые товарищи; с ним можно было довольно легко ужиться.

Лаума окрепла, поздоровела, исчезли приступы тоски. Непритворная дружба Залькална убедила ее в том, что люди видят в ней нечто большее, чем предмет утехи, что она может нравиться и как человек. Она была благодарна Залькалну, хотя понимала, что любит его не так, как нужно любить.

Они часто ходили в кино. Театр не интересовал Залькална, и Лаума не смела обратиться к нему с предложением пойти на какой-нибудь спектакль. К музыке он был совершенно равнодушен, любил только духовой оркестр. Когда летом в Верманском парке* начались симфонические концерты, они однажды пошли туда, но Залькалн весь вечер скучал, потому что программа состояла из сложных произведений Стравинского и

Дебюсси. Только в конце концерта его приятно поразил «Турецкий марш» Бетховена.

— Вот это вещь! — оживившись, восхищался он, жадно вслушиваясь в музыку великого композитора. — Это я понимаю!

Что ему было понятно, он и сам не знал.

По воскресеньям они всегда куда-нибудь выезжали — на взморье, на Киш-озеро, в Сигулду, Огре. Они никогда не ездили в компании, а добравшись до места, всегда уходили подальше.

— Не понимаю, что за удовольствие шататься целой толпой, пить, орать песни и кривляться, — говорил Залькалн. — Чем плохо каждому по себе?

Он любил идиллию, — так он говорил... Но однажды вечером, когда они возвращались со взморья в город, на вокзале появилась большая группа молодежи: парни были под хмельком, девушки грызли орехи. Вдруг Лаума заметила, что парни перешептываются и посматривают на Залькална, сидевшего рядом с ней на скамейке у края перрона, потом сказали что-то остальным, и все стали смотреть в их сторону. Залькалн ничего не замечал.

— Это не твои знакомые? — спросила Лаума, показывая глазами на парней.

Залькалн, взглянув в их сторону, покраснел и поднял воротник плаща.

— Обожди меня, — произнес он, вставая. — Пойду куплю папирос.

Он исчез в здании вокзала. Очевидно, в буфете было много народу, потому что Залькалн вернулся только к отходу поезда, после третьего звонка. Вагоны были переполнены, и пассажиры осаждали подножки.

— Поедем со следующим поездом, — сказал Залькалн. — Нам некуда спешить, еще рано.

Он стал читать рекламы на стенах вокзала, повернувшись спиной к перрону, и только когда поезд ушел, опять сел рядом с Лаумой, смущенный и пристыженный. Лаума ничего не сказала, только в груди у нее что-то чуть заметно дрогнуло. Но она собрала все свое хладнокровие и подавила внезапно возникшее чувство обиды.

«Он прячется от других, стыдится меня...» — подумала она.

Теперь Лауме стало понятно, почему Залкалн так любит одиночество...

На следующей неделе Залкалн несколько вечеров подряд приходил домой изрядно охмелевший, злой и раздраженный. Он требовал, чтобы Лаума оставила его в покое, и, не говоря ни слова, тяжело дыша, садился куда-нибудь в угол, пока не засыпал в таком положении. Наутро он чувствовал себя виноватым, но никогда не пытался сгладить впечатление или оправдаться. Огорченная Лаума ни в чем его не упрекала.

Оставаясь одна, она старалась понять, в чем причина холодности Залкална. Они не ссорились, Лаума все время старалась приспособиться к привычкам Залкална, угождала ему во всем, старалась без слов угадать каждое его желание; балуя друга, она сама старалась казаться маленькой и незаметной. Но Алфред не исправлялся; он являлся домой все более мрачным, раздраженным и суровым, и когда Лаума подходила к нему, он пренебрежительно стряхивал ее руку со своего плеча.

— Что с тобой? — спросила она наконец. — Ты сердишься на меня?

Он насупился еще больше и упрямо молчал. Не рассказывать же ей о тех обидах, которые он терпит в течение дня, о насмешках, которыми преследуют его товарищи по работе, о снисходительном сожалении, выражаемом ему знакомыми девушками, о недовольстве хозяйки дома и о том, как она настойчиво допытывается, кто такая его новая сожительница. Говорить об этом Алфред не мог, но и молчать было нестерпимо, поэтому он нервничал и нарочно избегал Лаумы, надеясь в глубине души, что ей надоест такая жизнь и она оставит его. Но Лаума продолжала делать вид, что ничего не понимает, и он нервничал еще больше.

Залкалн чувствовал себя несчастным, и во всем виновата была эта женщина. Была бы хоть серьезная любовь! А то глупости, детская блажь — и больше ничего!

Нередко он напивался, чтобы набраться мужества и сказать Лауме всю правду, но, опьянев, чувствовал себя только усталым и все таким же нерешительным, как и до этого. И, будто назло ему, Лаума терпеливо переносила все его капризы, не обижалась, не упрекала

его и еще больше притихла. Ее безграничное терпение раздражало Залькална. Он заподозрил, что Лаума нарочно терпит все, — ей ведь некуда идти.

Как-то вечером он с возмущением отшвырнул ложку:

— Черт знает что за бурда! Никогда не поешь как следует. Придется ходить ужинать в ресторан.

Ухватившись за этот предлог, он ушел из дому. Лаума не пыталась его удерживать. Она убрала посуду и села у открытого окна. Серая нить мыслей потянулась опять к прошлому: она думала о родителях, о Пурвмикелях и о человеке, который был где-то далеко. У нее не было никаких желаний, все ей казалось безразличным. Без малейшего огорчения она пришла к выводу, что окончательно потеряла гордость. Ее ничто больше не могло задеть, унизить, вызвать в душе болезненный отклик. Отгадав причину поведения Залькална, она принимала все как должное или не относящееся к ней. Всюду и везде она подчинялась, покорялась, покорность была единственно доступной ей формой существования.

Залькалн пришел поздно. Лаума еще не спала. С грустью взглянула она на своего сожителя. Он забыл запереть дверь и, одетый, упал лицом на кровать. Лаума заперла дверь и стала расшнуровывать ботинки Залькална. Стащив один башмак, она принялась за второй, но в этот момент Залькалн быстро перевернулся на спину и толкнул ее ногой в грудь. Она, шатаясь, сделала несколько шагов и ухватилась за стол, долго не могла перевести дыхание.

— Что ты давишься, как гусыня? — крикнул сквозь стиснутые зубы Залькалн. — Что тебе от меня нужно? Почему ты не оставишь меня в покое?

Лаума, придя в себя, глубоко дышала, держась рукой за горло, как будто в нем что-то застряло и душило ее.

— Разденься, Алфред, — прошептала она еле слышно. — Нельзя так спать...

— А какое тебе дело? Какое тебе дело до меня? Ну скажи, что тебе от меня надо? Не все ли тебе равно, как я сплю, разутый или обутый? В конце концов, это мое дело. И если я ем в трактире и пропиваю свои деньги, какая тебе забота? Это мои деньги, и я делаю с ними, что хочу!

— Да... Ты имеешь право делать, что хочешь.

Он язвительно рассмеялся:

— Ах, вот как? Ты только говоришь так! Я знаю, что злость в тебе так и кипит, у тебя сердце кровью обливается, когда ты видишь, что я израсходовал хоть один лат. Ты сама не своя, когда смотришь на чужие деньги, за деньги ты на все готова... — Он исступленно закричал. — Но ты не воображай, что я тебе отдам последний сантим, хоть ты и добиваешься этого!

— Ничего я не добиваюсь...

— Вот как? Это здорово! Что же тогда тебе нужно от меня?

— Ничего мне не надо...

— Смотри, как хорошо! Ей ничего не нужно! Ну и мне тоже не нужно. Значит, мы друг для друга нуль без палочки?

Лаума не отвечала.

— Ты, конечно, понимаешь, что я тебя здесь не удерживаю?

Она молча кивнула головой.

— Ну, тогда марш! Поторапливайся, еще не очень поздно. Рестораны закроются через час. Может быть, удастся подцепить какого-нибудь доброго дядю!

И, как бы в знак того, что теперь он все сказал и не желает продолжать разговор, Залькалн снова улегся ничком на кровать.

Лаума медленно разжала пальцы, крепко вцепившиеся в край стола, и принялась собирать свои вещи. Через полчаса она ушла. Как только на лестнице стих звук ее шагов, Залькалн встал и проверил свое имущество. Но Лаума ничего не взяла. И молодой мастеровой, обманутый в своих предположениях, лег спать, не понимая, как могла не украсть *такая* женщина.

Так кончилось в жизни Лаумы это грустное интермеццо, от которого она ожидала гораздо большего. Но мрачные отголоски пережитого еще долго преследовали ее...

* * *

Единственным человеком, к которому могла теперь обратиться Лаума, была Алма. Она шла к ней, не зная, найдет ли подругу дома: возможно, она бродила по улицам, возможно, где-нибудь заночевала. В таком

случае и Лауме не оставалось ничего другого, как переночевать в гостинице.

Была тихая и теплая ночь. Уличные шумы постепенно утихали. Лаума шла неторопливо и, вдыхая свежий ночной воздух, старалась успокоиться. Несмотря на все происшедшее, выгнанная ночью на улицу, отвергнутая и оскорбленная, она, наперекор всему, была почти счастлива и чувствовала себя так, как будто сбросила с плеч тяжелый груз. Необходимость постоянно угождать, приспособляться к сумасбродным требованиям, добровольное унижение, самопожертвование, которое никем не ценилось, — все это порядочно утомило ее. И теперь она почти не сердилась на Залькална, ей только было обидно за свои обманутые мечты: она надеялась, что ей удастся вернуться к прежней жизни, почувствовать под ногами твердую почву и жить как равная среди людей. Лаума была убеждена, что всякое явление бывает плохим или хорошим постольку, поскольку мы его таким признаем. Лакомка отчаивается, если ему приходится день прожить на хлебе и воде, тогда как аскет рассматривает это состояние как самое возвышенное и достойное человека. Привыкший к обществу человек страдает от одиночества; мечтатель, напротив, считает одиночество величайшим счастьем.

Лаума позвонила у дверей Алмы. Через некоторое время послышались тихие шаркающие шаги. Этажом выше, на чердаке, пищали крысы. В дверях появилась Алма в накинутом на плечи халатике.

— Ты, Лаумук? — радостно прошептала она, узнав подругу, но тут же, приложив палец ко рту, многозначительно кивнула на комнату. — Тсс! У меня «гость». Иди, я тебя впущу через кухню в другую комнату. Утром поговорим. Но я и так могу себе представить.

Впустив Лауму в соседнюю комнату, Алма ушла, боясь, что «гость» рассердится.

— Знаешь, это совсем мальчик, только что с военной службы.

Лаума разделась и свернулась клубочком на старом диване. Она долго не могла заснуть. Мозг, возбужденный последними событиями, работал лихорадочно. Как только нить мыслей прерывалась хотя бы на мгнове-

ние, слух ее улавливал малейший шум на улице или в соседней комнате.

— Барышня, вы очень хорошенькая! — говорил за стенкой незнакомый мужской голос.

— Почему вы не скажете «красивая»? — смеясь, спрашивала Алма.

— Разве это не одно и то же? — отвечал мужчина, и по его голосу Лаума поняла, что он улыбается.

Так они дурачились, шутили и смеялись. Стена была такая тонкая, что можно было расслышать даже вздохи. Лаума невольно слушала их разговор. Опять эта жизнь предстала перед ней во всей наготе. Она знала, что ее ожидает, но выбора не было.

Когда ее стали мучить сомнения и сердце сжалось в предчувствии несчастья, она обратилась к белому порошку. Так наступило утро...

* * *

Несколько месяцев в жизни Лаумы не происходило никаких значительных событий. Она продолжала идти по тому же пути. В «гостях» недостатка не было. Все поражались ее свежести, а некоторые, не докучая пошлыми комплиментами внешности Лаумы, осаждали ее вопросами о душе. Что только их не интересовало! Они считали, что за свои деньги имеют право требовать у купленной ими женщины полной откровенности. Каждый из этих благомыслящих, сочувственно настроенных мужчин желал стать исповедником женщины. Они жаждали необычайных повествований, сентиментальных переживаний, хотели слышать об отчаянной борьбе падшего создания с неизбежным... Но больше всего их привлекал самый момент падения: при каких обстоятельствах, с каким чувством женщина поддалась неизбежному? Когда Лаума отказывалась раскрыть перед первым встречным свою кровоточащую душу, они сердились за ее скрытность...

Да, ей сопутствовал успех. Уже давно она перестала ходить в старом пальто и поношенном платье. На ее маленьких стройных ногах красовались туфли, отделанные змеиной кожей, и шелковые контрабандные чулки, подаренные моряками, на руках — изящные кожаные перчатки. Она походила на молодую даму. Но это было

невыгодно: уличная женщина не должна быть слишком элегантной, что-то в костюме, гриме или манерах должно отличать ее от других женщин, что-то в ней должно быть преувеличенным, вызывающим, крикливым, небрежным, — что-то такое, по чему мужчины безошибочно узнавали бы ее профессию. Многие эту предательскую небрежность допускают неумышленно, но более опытные стремятся к ней вполне сознательно: чтобы мужчины сразу понимали, с кем они имеют дело. Поэтому и Лаума сильно красила брови и ресницы, что придавало ее лицу грубоватое выражение. Она с трудом узнавала себя, зато другие признавали безошибочно.

Потом одно за другим произошли два события, оказавшиеся роковыми для Лаумы. Немолодая дама, у которой Алма снимала комнаты, уехала из Риги, а новые квартирные хозяева решили сами поселиться в них. Девушкам пришлось искать себе квартиру. Они не успели еще ничего подыскать, как Алма заболела и ее с одного из очередных осмотров направили в больницу. Лаума опять осталась одна — без постоянного жилья, без близкого человека. С большим трудом, скрыв свою профессию, она нашла комнату в Старой Риге. Здесь и в помине не было тех удобств, какими она пользовалась в квартире Алмы. Лаума сняла скромную меблированную комнату с отдельным ходом, но хозяева предъявили жилице множество условий. Поздние возвращения Лаумы сразу же возбудили подозрения, и ей пришлось пойти на всяческие ухищрения, чтобы не лишиться комнаты. Она сказала, что служит на далекой окраине, в кино, названия которого хозяева еще никогда не слышали.

Однажды вечером Лаума встретила на улице Залькална. Она отвернулась и хотела пройти мимо, но он загородил ей дорогу и поздоровался, как старый знакомый.

— Добрый вечер! Ты меня больше не узнаешь? — он дружески улыбнулся.

Лаума отшатнулась, не глядя на Залькална.

— Пропустите меня...

Он не уходил и, взяв руку Лаумы, задержал ее в своей руке.

— Пойдем, пройдемся. Мне нужно с тобой поговорить. Я тебя долго не задержу.

— Мне не о чем с вами говорить! — сказала Лаума, стараясь высвободить руку. — Пустите, или я позову полицию.

— Зови, если хочешь скандала. Но тебе так или иначе придется поговорить со мной.

Взяв Лауму под руку, он шагал рядом с ней.

— Говорите, — сдалась она, наконец, убедившись, что от Залькална ей не отделаться.

Он стал просить ее вернуться к нему: он жалеет о своем недостойном поведении и понимает, что жизнь его без Лаумы пуста.

— Не бойся, я больше не буду таким. Тебе у меня будет хорошо. Милая Лаума, не вспоминай о случившемся. Тогда я еще не понимал, что для меня важнее — твоя любовь или отношение окружающих. Теперь я знаю. Ты ведь вернешься, милая, правда?

Он с беспокойством ждал ответа, как будто в нем заключался для него вопрос жизни и смерти.

— Нет, мне от вас ничего не нужно.

— Но почему? — в отчаянии воскликнул он. — Неужели ты все еще помнишь о том, что случилось?

— Что случилось, то случилось. Пустите меня, мне нужно идти.

Лицо Залькална помрачнело. Он желчно рассмеялся.

— Я знаю, куда ты идешь. Но ты можешь обождать, еще рано. Я еще не все сказал.

Они стояли у арки старинных ворот на маленькой грязной площади.

Лаума оттолкнула руку Залькална.

— Ну, говорите же.

Он вздохнул, огляделся вокруг и произнес:

— Если ты не пойдешь ко мне, я тебя заставлю пожалеть об этом. Понятно?

— Это все, что вы хотели сказать?

— Да. Подумай хорошенько.

— Делайте, что хотите. Я вас не боюсь.

И она быстро ушла, не оборачиваясь. Он поглядел ей вслед, глаза его сощурились, и, что-то пробормотав, он круто повернулся и зашагал прочь.

На другой день Лауме отказали от квартиры.

— Мы не знали, что вы из таких, — уничтожающе

вежливо объяснила хозяйка. — Один порядочный молодой человек сказал нам об этом.

Два дня спустя Лаума сняла комнату в Задвинье. Там она прожила две недели. И опять однажды утром, когда она вернулась домой, к ней явилась жена управляющего домом и заявила:

— Вам придется освободить эту комнату. Мы не сдаем квартиру проституткам. С вашей стороны было нечестно скрывать свое занятие.

Опять донос исходил от какого-то приличного молодого человека.

Лаума знала — это работа Залькална, он всюду следовал за ней по пятам. И опять ей пришлось уйти. Соседки по дому облегченно вздохнули: матери больше не опасались, что их дочерей может кто-либо совратить дурным примером, жены и невесты не дрожали за нравственность своих мужей и женихов.

Лаума нашла комнату на далекой окраине, у Видземского шоссе. Несколько недель она прожила там среди простых рабочих людей и уже стала думать, что здесь ее оставят в покое. Но однажды утром к ней постучала дворничиха, которая заменяла управляющего домом:

— Приходил какой-то мужчина. Он сказал...

И снова Лаума собрала свои пожитки и побрела по враждебному ей городу. Все двери закрылись перед ней. Она, как злой недуг, как мор, везде возбуждала отвращение и испуг. Где бы она ни показывалась, люди как будто задерживали дыхание, целомудренные краснели, ханжи поносили ее, а бездельники показывали пальцами и смеялись.

Лаума отказалась от дальнейших поисков. Она останавливалась либо в меблированных комнатах, либо у содержательниц притонов. В том и другом случае жизнь обходилась слишком дорого.

Одежда, квартира и кокаин требовали много денег, и хотя Лаума имела успех, ей ничего не удавалось скопить. Теперь Залькалн уже не мог ей повредить. Она еще несколько раз встречала его, и потом он исчез навсегда.

К тому времени, когда Алма вышла из больницы, Лаума нашла себе постоянное пристанище с полным пансионом у какой-то старухи, которая содержала тай-

ный дом свиданий на Мариинской улице. Кроме Лаумы там постоянно жили еще две девицы, а вечером приходили с «гостями» и другие. Здесь же поселилась и Алма.

* * *

Они жили в подвальном помещении большого дворового флигеля. Квартира состояла из кухни и пяти небольших комнат. Только две из них имели более или менее приличный вид, с целой мебелью, с обоями; стены были увешаны цветными литографиями, изображавшими эпизоды из немецкой военной истории. Единственным исключением был портрет какой-то краснощекой девицы, висевший у кровати, где женщины обычно принимали «гостей», приходивших на ночь. Под красивым, улыбающимся лицом со смелыми, гордыми глазами и пышными локонами стояла подпись: «The girl of the golden West» [1].

В остальных комнатах творилось что-то невообразимое: грязные обои, скрипучие полы, дырявые покрывала на кроватях, грязные простыни, фанерные стулья с проломленными сиденьями, на которых «гости», случалось, рвали брюки, и щербатые умывальные тазы на покосившихся скамейках. В квартире невыносимо пахло сыростью и кошками. Этот запах был так резок, что «гости», приходившие сюда впервые, чихали, не переставая, весь вечер.

Квартирную хозяйку никто не называл иначе, как «кошачьей барыней», и не без основания: все пять комнат ее квартиры кишели кошками и котами самых разных мастей и возрастов; сколько их развелось здесь на самом деле, никто не знал, но сама хозяйка была уверена, что их не меньше тридцати. Помимо них у нее было еще восемь собак — безобразные, черные, лохматые, глупые и изнеженные существа, которые боялись всякого чужого человека, всем лизали руки и не умели лаять. Старуха развела это вонючее хозяйство за короткий срок. Вначале у нее была только одна кошка и собака. Когда они обе принесли потомство, хозяйка целиком оставила его, ибо не могла допустить и мысли об

[1] «Девушка золотого Запада» *(англ.)*.

уничтожении беспомощных созданьиц. Так продолжали они множиться и расти, а квартира — благоухать.

«Кошачья барыня» давно бы могла уже стать зажиточной особой, если бы не проматывала весь свой солидный доход на содержание мяукающего и скулящего двора. Каждый вечер все приемные комнаты были заняты, деньги текли в карман старухи ручьем, но она еле сводила концы с концами. Прислуга каждое утро ходила в мясную лавку за свежим мясом, из молочной приносила бидон молока; для кошек и собак жарились котлеты, а когда они как следует наедались, их поили молоком, чтобы бедные животные не страдали от жажды. Процесс их кормежки доставлял старухе истинное наслаждение; пока собаки, с ворчанием и огрызаясь, глотали котлеты, а кошки, мурлыча, не спеша разделывались с едой по своим углам, старуха сидела у окна с вязаньем в руках и, блаженствуя, любовалась своими питомцами. Боже сохрани, если кто-нибудь из девиц осмеливался ударить или даже только прикрикнуть на ее кумиров!

Когда вечером женщины заходили в эти комнаты со своими «гостями», навстречу им изо всех углов сверкали зеленые кошачьи глаза. Случалось, что из-под кресла или кровати выскакивало сразу по пять-шесть кошек или показывалась собачья морда. Некоторые «гости», сняв ремень, били избалованных дармоедов. Как они тогда прыгали по столам и подоконникам, прятались под кровать, метались по углам и мяукали истошными голосами, пока им не открывали дверь!

Лаума подвизалась теперь в более бедном районе, недалеко от дешевых постоялых дворов и кино. Раньше она вращалась в среде интеллигентных и полуинтеллигентных девиц — кельнерш и прогоревших «артисток» эстрады и ревю; здесь же промышляли женщины попроще — обитательницы закрывшихся публичных домов, безработные из предместья.

На этом фоне Лаума выглядела почти настоящей дамой. Местные уличные клиенты — крестьяне, солдаты и чернорабочие — дарили ее своим трехлатовым вниманием. Теперь все чаще Лаума прибегала к помощи кокаина и даже не отказывалась от водки, когда подгулявшие «гости» предлагали ей выпить. Она немного побледнела и слегка покашливала.



После одного осмотра Лауму направили в больницу, где она провела целый месяц как в тюрьме, в обществе совершенно одичавших женщин. Здесь она познакомилась не только со всеми ужасами болезней, но и с самыми отталкивающими формами разврата. От соседок по палате, которые лечились здесь бесчисленное множество раз, она услышала такие вещи, что это показалось ей безумным бредом.

В больнице Лаума познакомилась с девицей, которая посещала пароходы, и та ей много рассказывала о своих многочисленных поклонниках во всех концах Европы.

— Моряки не то, что береговые мужчины, — они признают и нас за людей. Знаешь ты хоть одного мужчину с улицы, который бы осмелился пройти с тобой днем на виду у всех? Нет. А моряки не стесняются. Утром они провожают нас на берег, чтобы таможенники и портовые рабочие не обижали нас и не приставали. Они даже письма нам пишут. Приходи когда-нибудь, сама увидишь.

Лаума все это уже знала. Не были ей чужды и пароходы. Она знала, что там существовали особые порядки. У матросов, этих скитальцев по свету, таких же бездомных, как и она, Лаума встретила искреннее одобрение ремеслу, которое среди них вовсе не считалось постыдным. Лаума охотно пошла бы туда, если бы ее никто не знал, но в тех местах прошло ее детство, там жили парни и девушки, среди которых она выросла... И на одном из пароходов, вернувшемся из дальних морей, она рисковала встретить человека... Нет, нет!.. Лучше умереть, быть затоптанной в уличную грязь, задохнуться в вонючем подвале «кошачьей барыни», чем встретиться с Волдисом...

Она все сильнее кашляла. Ее всегда немного лихорадило. «Я простудилась!» — успокаивала она себя.

Из больницы Лаума вернулась опять к «кошачьей барыне». Наступила поздняя осень, потянулись ненастные, сырые дни. Продрогшая Лаума ходила вечерами по улицам, с трудом заглушая кашель... Она давала ему волю, только когда никого поблизости не было, — какой мужчина пойдет к женщине с больными легкими?

* * *

Наступила ранняя и суровая зима. Сразу же после рождества замерзло море. Судна, которые и в летнее время приходили очень редко, теперь, казалось, совершенно забыли Ригу. Да и тем редким «рейсовикам» и судам местных пароходных компаний, которые, не желая упускать завоеванные линии в Голландию, Бельгию и Францию, изредка пробивались в замерзший порт, нечего было делать — не хватало грузов; они месяцами стояли в порту, пока с трудом набирали хоть какой-нибудь груз, и наполовину порожняком отправлялись в море...

Все медленнее, слабее бился пульс города. Все замирало, останавливалось, и только ледяной северный ветер с завыванием носился над заглохшими фабричными трубами, пустыми складами и крышами домов, в которых мерз и голодал трудовой люд.

Лауме давно уже не везло. Целыми неделями ей не удавалось заработать ни лата. На улицах ежедневно появлялись свежие, молодые лица: из закрывающихся фабрик и мастерских, из рабочих семей, гонимые беспощадной нуждой, шли на улицу молодые девушки. И некому было их покупать...

Верхи общества содрогались от катастроф крупного масштаба: банкротства, разорения, аукционы, пожары; в подвалах незаметно и тихо происходили мелкие трагедии: там вешались, перерезали артерии, топились, отцы убивали своих детей, чтобы не видеть, как они мучаются от голода, и невинные девушки предлагали себя за кусок хлеба первому встречному.

Над миром сгустились темные тучи бедствия. Но пустыни жизни лежали в оцепенении, как океан перед бурей. Воздух стал тягостным, наэлектризованным.

Иссякли скромные сбережения, отложенные Лаумой в лучшие дни, она уже больше не могла платить «кошачьей барыне» за пансион, и старуха дулась и сердилась. А четвероногое хозяйство мяукало и скулило каждое утро, и прислуга жарила им котлеты и приносила молоко.

— Вы же видите, сколько у меня расходов, — напоминала старуха девицам. — Как же я могу вас бесплатно кормить?

И девицы бродили с утра до вечера, в мороз и вьюгу, простаивали у дверей пивных, дрогли у подъездов кино в надежде на какой-нибудь заработок. Счастливы были те, кто заболевал и попадал в больницу.

В рождественский вечер Лаума встретила какого-то матроса, но он был без денег, и они только гуляли по улицам, разговаривая и наблюдая за прохожими. В окнах переливались огни рождественских елок, по улицам спешили радостные люди с пакетами подарков в руках, все церкви были открыты, и туда потоками вливался народ, — что-то торжественно-легкомысленное, ханжески-лихорадочное носилось в воздухе. И, совсем как на рождественских поздравительных открытках, падал большими сухими хлопьями снег. Головы и плечи прохожих покрылись снегом, щеки девушек алели от холода, стоявший на перекрестке полицейский топал замерзшей ногой. Затем показались сани, дети в белоснежных вязаных костюмах и дамы из Армии спасения с душеспасительной литературой. А у стен сидели скорчившиеся нищие, безногие и слепые; они склоняли свои обнаженные лохматые головы к земле, и их обмороженные уши напоминали красные куски мяса. Звонили колокола. В семейных домах читали газеты с традиционной рождественской передовицей профессора Малдона *, в которой он, цитируя философов, поэтов и народные песни, оправдывал все жизненные трудности и призывал покориться и не отчаиваться, ибо «звезда взошла, и волхвы пришли поклониться младенцу».

В этот вечер Лауму охватило такое чувство умиления, жалости к себе и ко всем несчастным, что она чуть не расплакалась на улице. Матрос, сопровождавший ее, смущенно улыбнулся, заметив ее волнение.

— Не глупи. К чему хныкать, от этого лучше не станет. Я такая же заезженная кляча, как ты, — чего нам горевать, когда никто о нас не горюет.

...Вскоре после Нового года «кошачья барыня» выгнала Лауму, потому что она уже вторую неделю не платила за содержание. Лаума вышла на улицу искать новый приют, мало веря, что найдет его. Было холодно. Кашель мучил девушку все сильнее. Отхаркивая мокроту, она стала замечать в ней темные сгустки крови. Лаума улыбнулась, покорная судьбе.

Скоро все кончится...

И сердце как будто отогревалось, оживало в радостной уверенности, предчувствуя скорое освобождение. Усталая птица больше не пыталась поднять надломленные крылья для свободного полета. Тяжело и неудержимо земля притягивала ее к себе... в себя. И это больше не казалось страшным.

На руку Лаумы упала крохотная снежинка. Секунду она сверкала на солнце, как маленький алмаз, затем медленно съежилась, потеряла блеск и расплылась в крошечную бесформенную капельку воды. И ничего не осталось. Другие снежинки кружились, падали на землю, и их растаптывали... Другие люди продолжали жить...

* * *

Один за другим следовали морозные, вьюжные дни. Ветреные вечера, ночи без приюта, леденящие утра с багрово-красным туманным небом над городом. Казалось, земля дымится, как большое, остывающее после заката болото. Под ногами пронзительно скрипел сухой снег, пар от дыхания замерзал на лету. Уродливо-смешные комнатные собачки появлялись в теплых шубках и сапожках и все-таки дрожали и тряслись от холода.

Люди при встрече говорили:

— Какой проклятый холод!

И встречные соглашались, что холод действительно проклятый.

Девушки выходили на улицу и, побродив немного, укрывались в вестибюлях гостиниц. Никто к ним не подходил.

Лаума гораздо больше страдала от холода, чем от голода, у нее совсем не было аппетита. Это ежедневное безуспешное хождение начало тревожить девушку. Что случилось, почему вдруг на нее никто больше не обращает внимания? Почему те немногие мужчины, которые появлялись на улице, не шли за ней? Неужели ее время действительно прошло? Всем надоела, больше никому не нужна?

Зеркало отражало бледное худое лицо, ввалившиеся, лихорадочно блестевшие глаза с большими предательскими синяками под ними. И потом этот вечный кашель,

какие он причинял мучения! Заметив, что мужчины отворачиваются, едва только она закашляет, Лаума старалась скрыть кашель. Сделав глубокий вдох и задержав после этого дыхание, она подавляла боль в груди, пока не отделялась мокрота, которую она могла сплюнуть в носовой платок. Но не помогала и эта хитрость, ее совсем перестали замечать. И ей пришлось стать такой же назойливой, как старые проститутки. Она сама заговаривала с мужчинами, а они с любопытством глядели на нее и порой сердито отворачивались или насмешливо кривили рот, будто собирались сказать:

— Не трудитесь, милая барышня! Могу найти получше.

Потом она стала предлагать себя за ночлег и даже за ужин в дешевой столовой. Мужчины относились к этому с недоверием, догадываясь, что она больна. Несчастная, осмеянная своими товарками, она пряталась в тени и с горечью думала о своей судьбе. Она больше не обманывала себя надеждами, не успокаивала и не подбадривала тем, что все еще повернется к лучшему и что другим живется гораздо хуже. Время иллюзий кончилось. Суровая действительность заставляла видеть то, что было на самом деле, и довольствоваться этим.

Так бродила она, улыбаясь встречным мужчинам, и съеживалась при виде полицейского. Во время этих скитаний она иногда забывала обо всем. Казалось, она погружалась в глубокое раздумье, но на самом деле она не думала ни о чем. Бессознательно, движимая инстинктом, Лаума шла вперед, как лунатик, не замечая дороги. Когда наконец ее что-либо выводило из этого состояния, она оказывалась далеко от района своих постоянных прогулок. Однажды в таком состоянии она дошла до своего прежнего дома на улице Путну.

Знакомый киоск на углу вернул ее к действительности. Она поспешила прочь от этого места, где все ее знали, где каждый булыжник мостовой был знаком. Весь вечер ее преследовали сотни воспоминаний — нежных, мучительных, заманчивых и милых. Удивительно ясно воскресали в памяти разные незначительные мелочи, все прошлое казалось бесконечно дорогим.

В другой раз она в таком состоянии дошла до набережной Даугавы и пришла в себя на Понтонном мосту,

уже дойдя до его середины. И сразу же ей вспомнилась одна ночь на этом самом мосту. Она возвращалась домой с какого-то вечера в Задвинье. Дул ветер, и хлестал дождь. На середине моста ее кто-то нагнал. Это был Волдис. Тогда они познакомились. Заметив, что Лаума промокла, он снял пиджак и накинул ей на плечи, а сам шел в насквозь промокшей рубашке. Дождь лил не переставая, а они смеялись и совсем не замечали холода.

«Нет, нет, не надо этого!» — гнала Лаума безжалостные, причиняющие боль прекрасные тени прошлого. — К чему теперь все это! Лучше подумай о ночлеге...»

Образ далекого друга не оставлял ее. Думая о Волдисе, Лаума мысленно видела его на иностранном пароходе в чужеземных портах. И тут же она вспомнила многие другие пароходы, темную набережную порта... ощутила боль в груди, холод и усталость. Незаметно погрузившись опять в состояние бездумного оцепенения, она шла дальше по набережной... к порту.

* * *

Ветер раскачивал электрические фонари на столбах. Светлые блики перебегали по мостовой. У набережной стояло несколько груженых темных пароходов. В камбузах дремали одинокие вахтенные матросы. Окна кают были завешены, но сквозь занавески пробивался слабый свет.

Лаума дошла до нижнего конца порта, затем вернулась обратно. Никто ее не приглашал на пароход. Возможно, что там уже были другие женщины, постоянные портовые. У сходней одного судна она задержалась и не успела еще взяться за веревочные поручни, как на верхнем конце трапа показалось сонное лицо матроса. Лаума испуганно отшатнулась.

— Ну, что вам надо? — сердито проворчал матрос, недовольный, что прервали его сон. — Кто-нибудь из знакомых на пароходе?

— Нет, нет... — смущенно бормотала Лаума. — Знакомых у меня нет, но я думала, кто-нибудь из ваших...

Она смутилась еще больше и не могла произнести ни слова. Матрос наконец понял, в чем дело, и грубо рассмеялся.

— А! Тебе нужны парни? Гм, ничего не скажешь, недурная девочка! Жаль только, что негде устроить. Каюты уже полны.

Тогда она попросила, чтобы он разрешил ей немного погреться в камбузе, в дверь камбуза виднелась пылающая топка печки. Но матрос и слушать не стал.

— Уходи, уходи, здесь у тебя ничего не выйдет. Пускать в камбуз не имею права. Придет штурман, что тогда?

— Только немного погреться...

— Нельзя...

Матрос стоял на трапе, как неприступный, грозный страж, и сердито смотрел на нее сверху вниз.

Лаума ушла. Повторить попытку на другом пароходе она уже не отважилась. Съежившись от холода, она медленно двигалась вперед, опять погружаясь в бездумное оцепенение. Она миновала элеваторы, забрела на лесную биржу и, не разбирая дороги, спотыкаясь, скользя, шла все вперед и вперед по освещенному луной берегу. Вдруг перед ней выросло что-то большое, темное, и она остановилась. Оказалось, это остов парусника, вытащенный на берег и наполовину почти ободранный. Из оголенного корпуса торчали гвозди и болты. Лаума обогнула обломки и продожала идти, ничего не сознавая, как лунатик. В одном месте, где тропинка поднималась вверх, она присела на большой камень отдохнуть. В легких что-то щекотало и пыло. Лаума прикрыла рот перчаткой и дышала через нее, так как воздух был обжигающе холодным.

Она думала о том, какое счастье было бы сейчас очутиться в тепле, под крышей, и представила всю прелесть натопленной комнаты. Какое наслаждение в такую ночь спать в мягкой постели, укрывшись до подбородка ватным одеялом! На дворе трещит мороз, завывает ветер, и порывы метели ударяют в ставни! Горит ночник. Она лежит и читает любимую книгу о жарких странах, о больших и смелых людях, которые борются и выходят победителями. И, может быть, тут же рядом в комнате сидит любимый человек и смотрит на нее, на

Лауму. Или они сидят рядом, тесно прижавшись друг к другу, читают вместе или прислушиваются к завыванию вьюги. На улице так неуютно, страшно, а им хорошо, невыразимо хорошо...

Лаума тихо вздохнула. В этот момент ее испугал прохожий, который приближался к ней по песчаному берегу. Внезапно ее охватил страх, она вскочила и хотела бежать, но прохожий был уже совсем близко, и она успела только немного посторониться, чтобы дать ему пройти. Он шел задумавшись, разговаривая сам с собой, и сильно хромал. Лаума слышала обрывки слов и резкий короткий смех.

— Десять латов! Х-ха-ха! Она думает, что этого достаточно. Да, десять латов! Нет, обождите, милая барыня, вы встретили неблагодарного человека. Мне не надо, *не надо* ваших десяти латов...

Он смеялся как-то странно: его смех походил на сдерживаемые рыдания. Вдруг прохожий заметил Лауму и вздрогнул. Он устыдился своего громкого монолога и, втянув голову в воротник, хотел пройти мимо, но, когда Лаума испуганно отступила еще дальше от тропинки в снег, поглядел на девушку и остановился. Он был одет в сплошные лохмотья.

При свете луны они стояли и смотрели друг на друга — продрогшая девушка и оборванный мужчина. Он рассмеялся.

— Ну, что, страшновато?

— Нет. Почему я должна бояться?

— Все же, может быть... Хм, да... я вижу, что вам уже нечего опасаться. Богатые дрожат, зажиточные трясутся, нуждающихся колотит лихорадка от боязни потерять все свое имущество, а нам, голытьбе, которой нечего больше терять, спокойнее всего. Но что я вижу, вы тоже дрожите?

— Мне холодно.

— Чего же вы мерзнете на улице?

— Мне некуда идти.

— Гм, да. Это печально. Я знаю, как это печально, когда некуда идти.

С минуту он о чем-то раздумывал, потом, взглянув на Лауму, улыбнулся каким-то своим забавным мыслям.

— Вы и вправду не боитесь меня?

— Нет.

— И вам негде приютиться?

— Нет.

— Тогда пойдемте со мной. У меня есть местечко, там, может быть, найдется уголок и для вас.

Не ожидая ответа, он пошел, сильно прихрамывая, вдоль берега, Лаума последовала за ним. Они дошли до вмерзшей в лед заброшенной баржи. Незнакомец вскарабкался наверх и помог взобраться Лауме. На носу баржи он открыл люк и привычными, уверенными движениями спустился в темное отверстие, чиркнул спичку и осветил узкие самодельные ступеньки, по которым Лаума сошла в каюту баржи. Незнакомец заботливо прикрыл люк на крючок, находившийся где-то под потолком каюты, и зажег свечной огарок.

— Будьте как дома, — сказал он с усмешкой. — Не могу предложить ничего роскошнее, но здесь все же лучше, чем под открытым небом.

В тесном клинообразном помещении находился совсем маленький, очень грубый стол, два низких еловых чурбака, которые служили стульями, на стене полочка, и в углу на полу порядочная охапка сена и соломы, покрытая куском брезента. Щели в потолке и стенах были заботливо заткнуты тряпками и концами канатов. Здесь в самом деле получилось хорошее убежище, и Лауме показалось даже тепло.

— Ну, что вы скажете об этом дворце? — засмеялся незнакомец. — Разве плохо?

— На самом деле чудесно.

— Немного прохладно, ну да это ничего — лучше спится. Устраивайтесь, чувствуйте себя свободнее. Вам, наверно, все-таки страшно?

Лауме показалось, что она где-то видела этого человека. Лохмотья и небритая щетинистая борода делали его не только жалким, но и старым; ему, вероятно, не было и тридцати лет, а выглядел он сорокалетним. Нос с горбинкой, тонкие посиневшие губы и слегка насмешливые глаза вызывали в памяти другое лицо, которое Лаума когда-то видела, но где и когда, она не могла вспомнить. Пока незнакомец устраивал из соломы постель, Лаума разглядывала его. И внезапно нечаянная гримаса, нахмуренный лоб незнакомца озарили память Лаумы.

— Вы знали когда-нибудь Волдиса Витола? — спросила она.

Незнакомец вздрогнул, быстро обернулся к Лауме и взглянул на нее. Он ничуть не пытался скрыть своего волнения.

— Вы тоже знали его? — спросил он и, получив утвердительный ответ, продолжал: — Я его знал. Он был моим другом, единственным другом, до того как я стал таким... Мое имя Карл Лиепзар.

Теперь Лаума окончательно вспомнила его. *Тогда* он был хорошо одетым, приличным юношей и заходил на улицу Путну к Волдису. Лаума встречала их вместе на улице и на каком-то вечере. Но тогда он еще не хромал. Да, тогда все было иначе...

Затуманенным нежностью взглядом Лаума смотрела на незнакомого человека, который словно принес ей весточку от далекого, потерянного друга. Глядя на него, Лаума думала о Волдисе. И когда они вместе вспоминали о прошлом, казалось, что и Волдис присутствовал здесь, в каюте заброшенной баржи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Прошло два года с тех пор, как Карл стал калекой и нога у него перестала сгибаться. Милия вышла замуж. Волдис ушел в плавание, и Карл остался совершенно один. Вначале ему жилось сносно, так как у него оставались кое-какие сбережения, иногда ему давали работу на судах стивидора, у которого он получил увечье.

Как только он вышел из больницы, владелец конторы Рунцис пригласил Карла и предложил на выбор: или добиваться единовременного пособия за искалеченную ногу, — и тогда он больше не получит работы в порту, или обеспечить себе право на постоянную работу — и отказаться от пособия. Карлу обещали подыскать посильную работу, и он отказался от пособия. Первое время он работал довольно часто, и, возможно, Рунцис еще некоторое время выполнял бы свое обязательство, если бы вдруг в середине зимы не умер. После его смерти управление конторой перешло в руки сына. Это был молодой, но уже достаточно деловитый

и наглый человек, — он сразу отказался от всяких обязательств по отношению к Карлу.

— У вас есть письменный договор на этот счет? — спросил он Карла, когда тот, получив увольнение, явился в контору и сослался на договоренность с отцом молодого хозяина.

— Нет, мы договорились на словах.

— Тогда нам не о чем толковать. Я ведь не могу принимать на себя неизвестно какие обязательства на основании устных заявлений первого встречного. Так, пожалуй, сюда скоро придут все рижские бродяги и потребуют, чтобы я их содержал. Идите в отдел социального обеспечения, может быть, вам там окажут помощь. Я не в силах предоставить работу всем рижским инвалидам, вы должны это понять.

Карл молча смотрел в сытое лицо молодого хозяина. Плешивый человек с едва намечающимся брюшком и двойным подбородком взглянул искоса на Карла, вспомнил, видимо, что-то и вытащил кошелек.

— Пожалуйста, может быть, вам...

Карл с минуту постоял, не глядя на протянутую руку с несколькими монетами.

— Этого мало... — сказал он, затем, медленно повернувшись, вышел из конторы.

Карл направился в страховое общество, чтобы возбудить ходатайство о выплате пособия. Низенький, с лицом алкоголика, господин выслушал его просьбу, временами прерывая Карла короткими замечаниями и вопросами, свидетельствовавшими о том, что он большой знаток дела. Потом, немного поразмыслив, сочувственно покачал головой.

— Вы явились слишком поздно. Срок подачи ходатайства истек.

И, пожалев, что просрочено такое важное дело, низенький господин простился с Карлом.

Много времени спустя Карл узнал, что молодой Рунцис и директор страхового общества — свояки, и ему многое стало понятным. Но тогда, выходя из страхового общества, он был убежден в своей правоте и решил возбудить судебное дело. Все представлялось очень просто: следовало только найти нескольких свидетелей несчастного случая.

Но когда Карл начал обходить прежних товарищей

по работе, он столкнулся со странным явлением: никто не хотел выступать свидетелем против хозяина, все отговаривались кто как мог.

— Я ничего не помню.

— Я совсем там не работал.

— Я работал, но в тот момент был в другом месте и ничего не видел.

— Терпеть не могу таскаться по судам.

Кнут, именуемый голодом и находившийся в руках хозяина, был слишком грозным, чтобы беднота могла пренебрегать им.

Из боязни потерять работу они не смели говорить, каждый дрожал за свое существование. Единственный человек, который не побоялся бы пойти свидетелем против богачей, Волдис Витол, — скитался где-то по дальним морям. От него не было известий.

Взвесив все обстоятельства, Карл решил обратиться к известному адвокату, имя которого не было замешано ни в каких сомнительных сделках, и поручить ему ведение дела или по крайней мере услышать его откровенное мнение о возможном исходе дела.

* * *

Карла принял приветливый моложавый мужчина. Полка с книгами в черных с золотом переплетах, громадный письменный стол с телефоном, хрустальным чернильным прибором, мраморными бронзовыми фигурами и лежащие на нем брошюры по специальности на многих языках давали основание думать о большом государственном уме и бесспорной эрудиции их обладателя в избранной им профессии. Только потом Карл обратил внимание на то, что большинство брошюр было не разрезано, а мраморные и бронзовые фигуры изображали ржущего жеребца с хвостом трубой и несколько бегущих легавых, обнюхивающих землю. Возможно, это являлось символом: скорее всего бегущие по следу собаки были вовсе не собаки, а усердные слуги правосудия, выслеживающие преступников.

Ободренный видимым интересом со стороны приветливого адвоката, Карл рассказал ему о своем деле. Адвокат спросил, какого числа произошел несчастный

случай и еще кое о чем; некоторые его вопросы звучали бы довольно странно и смешно, если бы не исходили из уст такого известного специалиста: «Когда это случилось, утром или вечером? Употребляете ли вы алкоголь? Какая на вас была обувь и сохранилась ли она сейчас у вас?»

Загадочный ход мыслей адвоката сильно отличался от образа мышления обычного человека. Он все время что-то чертил на бумаге: рисовал буквы, цифры, геометрические фигуры, расшифровать которые, вероятно, сумел бы только он сам (если их вообще стоило расшифровывать).

Выслушав рассказ Карла, он немного подумал, как бы выдерживая внутреннюю борьбу или убеждая в чем-то себя, и, наконец, подняв глаза и, ободряюще улыбнувшись Карлу, произнес:

— Дело пойдет.

Бегло сославшись на некоторые статьи и параграфы законов, в которых Карл ничего не понял, он доказал, что дело примет самый лучший оборот. После чего перешел к материальной стороне дела.

— Вам следует внести аванс.

Адвокат назвал сумму, напугавшую Карла. Он смущенно объяснил, что не располагает такой крупной суммой.

— Господин адвокат, вы действительно уверены, что я выиграю дело? — спросил Карл.

— Можете не сомневаться!.. — И адвокат еще раз перечислил статьи и параграфы.

— Значит, мне присудят пособие?

— Несомненно.

— Господин адвокат, не можете ли вы в таком случае взяться за ведение дела на процентах? Я вам уплачу... тридцать процентов от присужденной суммы. Учитывая мое тяжелое увечье, эта сумма должна быть не маленькой.

Адвокат осекся и принялся рисовать пирамиду с крестом на вершине.

— Гм... да... Без сомнения... Я понимаю... Но пока мы дождемся решения и получим пособие, пройдет, возможно, много месяцев, ибо, как вам известно, у нас суды перегружены делами. Кроме того... у меня будут расходы. Да и вам выгоднее уплатить какую-то

определенную сумму. Тридцать процентов пособия могут составить солидную сумму, мне неудобно будет принимать такой гонорар.

— Тогда уменьшим его до двадцати процентов, — сказал Карл.

— Нет, такой вид вознаграждения я вообще еще не практиковал.

Карл больше не стал задерживаться. Он встал, раскланялся и сказал:

— Это значит, что исход дела вы не гарантируете?

Адвокат отшвырнул карандаш и тоже встал.

— Если вы говорите об исходе дела, — произнес он громко, тоном профессионального оратора, — тогда я должен сказать, что ваше предложение — вести дело на проценты от суммы, присужденной решением суда, — противоречит *нашей* юридической этике.

— Каким образом?

— Очень просто: если я принимаю ваше предложение, я лично заинтересован, чтобы вы выиграли дело любой ценой, независимо от того, насколько законны ваши права, и независимо от того, на вашей ли стороне правда.

— Значит, вы допускаете, что правда может быть и не на моей стороне?

— В зависимости от того, с какой точки зрения мы будем рассматривать дело.

— А какие есть точки зрения?

— Это я вам не обязан объяснять.

— Но если мы посмотрим с человеческой точки зрения, — а такая точка зрения должна существовать, — разве правда не на моей стороне? И если это так, разве здесь что-нибудь противоречит вашей профессиональной этике?

Не ответив, адвокат отпустил его.

«Значит, так! — мысленно воскликнул Карл, очутившись на лестнице. — Если у тебя нет наличных, твоя правота не имеет никакого значения. Этика? Ха, ха! Адвокат и этика! Хорошенькая пара. От такого скрещения рождается ублюдок, имя ему лицемерие».

Он смеялся, чтобы успокоиться.

«Эти господа не хотят быть лично заинтересованными исходом дела! Возможно, благоприятный исход совсем не в их интересах!»

Он вспомнил, что ему приходилось слышать о подобных судебных процессах, когда рабочие судились с хозяевами, бедные с богатыми. Один адвокат взялся вести дело изувеченного рабочего, предъявившего иск страховому обществу. У рабочего были все шансы на благоприятный исход дела, но в то время как калека по простоте душевной целиком положился на свое законное право и честность юриста, ловкий крючкотвор вступил в тайную сделку со страховым обществом, выговорил себе солидную взятку и провалил дело. Разве и с ним не могло так случиться? Карл знал, что ему следовало пройти врачебную комиссию, которая должна определить процент потери трудоспособности. Всесильные деньги и здесь окажут влияние на членов комиссии, тайные подкупы приведут к тому, что человека с искалеченной ногой признают трудоспособным. Ничего не достигнув, только дав возможность разным продажным людишкам лишний раз заработать, он будет вынужден принять то, что ему швырнут.

Чего можно ожидать от продажных судей, занимающих должности в частных банках и обществах? Можно ли надеяться на адвокатов, которые в качестве юрисконсультов кормились спекулятивными сделками и в своей общественной жизни находились в самых запутанных отношениях с личностями, игнорировавшими все установленные государством законы? Негодяев, обворовывающих государство, проматывающих огромные ценности, принадлежащие всему народу, оберегали, насколько было возможно, чтобы это не бросалось в глаза; а умирающего от голода рабочего, который, отчаявшись, украл кусок хлеба, бичевали со всей суровостью и выставляли перед всем обществом в качестве примера морального разложения.

Преисполненный горечи, Карл на все махнул рукой. Не стоило бороться с этим грязным сбродом. Он чувствовал себя слишком слабым, чтобы восстать и громить каменные стены тысячелетней тюрьмы. Он не замечал, насколько они прогнили, какими громадными трещинами испещрены — под натиском первой бури они могли рухнуть и рассыпаться...

Какая удивительная круговая порука существовала в обществе, против которого Карл хотел было восстать, он понял из того, что обо всех предпринятых им шагах

на следующий же день было известно молодому Рунцису. Вóроны перекликались между собой... Слух о рабочем, собиравшемся судиться со своим хозяином, облетел порт и город. Карла больше нигде не принимали на работу. Напрасно он ходил по конторам и пароходам — в нем нигде не нуждались.

* * *

Одно из самых отвратительных человеческих качеств — лицемерное сочувствие. Может ли здоровый представить себя на месте калеки, богатый — на месте бедняка, красавец — на месте урода, юноша — на месте старика? Их сострадание — это только самоуверенное любование своим превосходством.

Карл был не из тех, кому нравилось такое сострадание. Каждого, кто пытался выразить соболезнование по поводу его увечья, он охлаждал убийственным вопросом:

— Ты, верно, считаешь себя со своими здоровыми ногами гораздо лучше меня?

Оскорбленные в своих самых благородных чувствах, люди возмущались. Их обижало, что какой-то несчастный калека не позволяет поставить себя в положение низшего, достойного сожаления существа, и считали его спесивым глупцом.

И тем не менее Карл не избегнул унижений. Сочувственные взгляды незнакомых женщин жгли его, как крапивой. Молодые женщины на улице уступали ему дорогу, торопливо освобождали место в трамвае, — его, двадцатисемилетнего парня, ставили наравне со стариками! Ему давали преимущества, какие предоставляют слабым.

Карл с безжалостной откровенностью оценивал свою жизнь, которая ничего больше не обещала. В голове все назойливее вертелись мысли о самоубийстве. Бродя без работы по городским улицам или томясь в своей комнатке, он решал проблемы жизни и смерти. Раздумывая о непонятных скитаниях человеческого рода из небытия навстречу небытию, о тщетности всех усилий, о смешном бессилии перед вселенной, Карл становился безнадежным скептиком. Какой смысл что-нибудь делать или

бороться, когда всему так или иначе наступит конец и забвение? Какой смысл в открытии Галилея и его упорстве? Разве признание, что земля вертится, облегчило жизнь человечества или сделало ее более счастливой? В чем ценность произведений Шекспира и Гете, открытий Эдисона и Пастера, когда стоит только солнечному теплу понизиться на несколько градусов — и мертвые равнины, вечные ледяные пустыни навеки похоронят все достижения человеческого разума? Человечество казалось ему большим муравейником, который живет в лесной тиши своей жизнью, строит лабиринты, накапливает ценности и трудится, трудится без конца; но вот в лес врываются враждебные силы в образе муравьеда или дикого кабана и за несколько мгновений растаптывают, разоряют и разрушают все, что было создано трудолюбием муравьиного племени. А над опустошенным местом так же шумит лес, так же сверкают ночные звезды и птицы поют свои любовные песни. И никто больше не вспоминает погибшее муравьиное царство. Почему люди хотят жить? Только ли потому, что их страшит неизвестное, неизученное и не поддающееся изучению представление о небытии? Или они находят в жизни какую-то прелесть, ради которой есть смысл мириться с пустой скорлупой бытия?

Он не мог найти ответа на эти вопросы.

* * *

Положение Карла становилось с каждым днем все труднее. Долгие месяцы он пробыл без работы. Иссякли последние деньги, и, чтобы оплатить квартиру и счет продуктовой лавки, ему пришлось заложить в ломбард выходной костюм. Так подошла весна, на которую он сильно рассчитывал: в это время порт обычно оживал после долгой зимней спячки, повсюду слышался звон пил, и плотогоны выезжали на сплав леса.

В этом году все было по-иному. Лес не рубили, лесопилки стояли без дела, а порт оставался тихим и пустынным все лето... весь год.

Карл заложил зимнее пальто, за которым через некоторое время последовало и летнее. Через месяц он

снес старьевщику свои непромокаемые сапоги, и, когда вырученные деньги были истрачены, пришел к выводу, что некоторые книги ему теперь совершенно не нужны. Его комната пустела с каждым днем, хотя он старался тратить как можно меньше, довольствуясь в день куском хлеба и полулитром молока. Расходы на питание сократились до предела: Карл вполне удовлетворялся тем минимумом, который статистики с физиологами признали вполне достаточным для того, чтобы человек не умер голодной смертью. Если бы Карлу удавалось время от времени заработать несколько латов, он был бы самым обеспеченным человеком среди... себе подобных. Но судьба точно задумала сжить его со света.

Летом Карл лишился комнаты: впервые за многие годы он не внес в срок квартирную плату, и хозяйка предложила ему выехать. Он сложил немногочисленные оставшиеся у него пожитки, продал их старьевщику и, свободный от всего, начал новую жизнь. Пока стояли теплые дни, Карл не заботился о крове, на худой конец можно было ночевать и под открытым небом. Со временем он умудрялся находить приют в старых заброшенных зданиях, разрушенных фабричных корпусах, пустых вагонах и баржах. С отсутствием жилья он мирился.

Но когда давал себя знать голодный желудок и не было ни малейшей надежды на кусок хлеба, тогда... да, тогда в Карле восставали остатки былой гордости, и ему хотелось сбросить бремя жалкой жизни, как ветхие, опостылевшие лохмотья.

«К чему тянуть жалкое существование? — спрашивал он себя. — Какая радость в беспрерывном, неутолимом голоде, в скитании без крова? Или я еще на что-то надеюсь? Или со временем привыкну к такому положению?»

Но именно этого он боялся больше всего.

Однажды ночью он не мог уснуть, — уже второй день он ничего не ел. Мучимый голодной фантазией, он скитался по улицам и успокаивал себя думами о близком конце. Возможно, уже завтра, послезавтра... С него хватит этой игры! Кому нравится, пусть продолжает. Он готов хоть сегодня ночью, если бы... Было что-то, чего нельзя выразить словами, но что всегда скрывалось за этим «если бы». Иногда это было желание еще хоть раз перед смертью хорошенько поесть, удовлетво-

рить потребность истощенного организма, чтобы не пришлось умирать в состоянии, когда воспаленный мозг охвачен полубезумными голодными галлюцинациями. Иногда ему казалось, что его интересует какое-то событие, и хотелось дождаться, чем оно кончится. Он был похож на человека, который начал читать пустую, глупую книгу, но не может бросить ее, не дочитав до конца, потому что хочет узнать, чем все кончится. Но чаще всего он и не стремился постичь причину помехи, что-то подсознательное, непреодолимое овладевало им.

Несмотря на поздний час, улицы по-прежнему были многолюдны. У перекрестков выстроились вереницы машин. Люди возвращались из кино и театров.

Резкий автомобильный гудок вывел Карла из задумчивости, он испуганно отскочил в сторону. Мимо него медленно проскользнула красивая открытая машина. За рулем сидел молодой еще человек с двойным подбородком, он пожевывал сигару и разговаривал с сидящей молодой дамой. Карл узнал этого человека — это был молодой Рунцис.

Он остановился как вкопанный, глядя вслед медленно удалявшемуся светловолосому затылку. Так вот как — этот господин купил новую машину! Прошлой зимой он ездил в старой отцовской коляске. Весной он обзаведется яхтой, моторной лодкой и новой любовницей. Почему ему и не делать этого, если доходы позволяют?.. У него уже был пятиэтажный дом, полученный в наследство от отца, дача на берегу моря и солидный вклад в надежном заграничном банке. А трудолюбивые пчелы ежедневно продолжали наполнять соты медом, нагружать пароходы и баржи и отправлять их за моря. Человеку с двойным подбородком оставалось только собирать очередной урожай, приходовать прибыли и стараться половчее скрыть их от налогового инспектора...

Лимузин свернул в переулок, а Карл все продолжал стоять на том же месте, вглядываясь в темноту.

«Я уйду, — думал он, — меня больше не будет, не станет многих, многих, кому надоела неравная борьба, а эти все равно будут жить! Они будут кататься в лимузинах, ласкать красивых женщин, холить свое тело, эксплуатировать себе подобных и пользоваться всеобщим уважением до самой смерти. И если все станут им уступать покорно, как я, их счастью не будет конца...»

Терзаемый этими мыслями, Карл забрел на окраину города. Он не замечал сырости осенней ночи. Он не пытался убедить себя в том, что есть смысл жить и мысли о самоубийстве надо отбросить. Наоборот, незаинтересованный в своем существовании, он мог дать беспристрастную оценку жизни.

«Если я умираю по своей воле, значит, отдаю жизнь даром. Она не оставит следа, и от сделанного мною шага никому нет ни пользы, ни вреда. Уничтожая себя, я как бы добровольно отдаю себя на казнь. Разве не смешно подвергать себя такому самосуду?»

Он обдумал все преимущества самоубийцы. Чего только он не мог себе позволить перед смертью! Самые страшные преступления — и вместе с тем самые отчаянные подвиги! Ему не угрожала опасность, парализующая деятельность людей, которые цепляются за жизнь. Он мог уйти в небытие один... и мог взять кого-нибудь с собой. Кого-нибудь... Он имел возможность отомстить за себя и многих униженных; судить и освобождать; продать свою жизнь как можно дороже или стряхнуть ее, как приставший к ногам комок грязи... Ему казалось, что он может все.

«Если бы люди знали, как опасен человек, готовящийся к смерти, — думал он, — тогда бы многие перестали смеяться и улицы стали бы гораздо пустыннее».

Под утро Карл зарылся в какой-то стог сена и уснул, но и во сне его не оставляли призраки открывшихся ему новых страшных возможностей. Он смеялся во сне — и в испуге просыпался, засыпал опять — и снова его терзали кошмары. Утром он проснулся с созревшим намерением. И опасность, связанная с его осуществлением, совсем его не тревожила.

* * *

Принятое решение опять вызвало у Карла прилив энергии, он словно пробудился, вышел из состояния апатии. И странно: его мрачные мечты меньше всего или почти совсем не относились к тем личностям, которые в жизни Карла играли какую-либо отрицательную роль. Он точно забыл о молодом Рунцисе, об управляющем страховым обществом и других, хотя именно

эти люди довели его до теперешнего состояния. Они казались ему слишком мелкими и незначительными, чтобы нести ответственность за всю ту несправедливость и зло, что сильные причиняют слабым. Дело ведь было не только в обидах, нанесенных Карлу: если бы на свете было всего лишь столько страданий, сколько пришлось перенести ему, тогда не требовалось бы никакого возмездия, — он перенес бы все молча. Но человечество стонало под тяжестью ежедневно увеличивающихся и умножающихся страданий; не было видно конца мукам и долготерпению народа, так же как и бесстыдству сильных. Каждый новый день сопровождался новыми стонами и новыми гнусностями. В центре мира на пьедестале стоял золотой телец и смотрел своими глупыми глазами на кровавую бойню, происходившую у его ног. Во имя золотого тельца натравляли народ на народ, воздвигали виселицы и тюрьмы, храмы искусства и дома терпимости...

Дни и ночи скитался Карл по улицам большого города, стараясь найти квинтэссенцию мерзости, — среди тысячи негодяев он искал самого главного, самого опасного. Найти его было нелегко, так как негодяев было бессчетное множество. Они отличались друг от друга только внешностью и родом деятельности. Все они находились под покровительством государственного строя, всякий протест заглушался тюремными стенами, а тех, кто осмеливался усомниться в святости и божественном происхождении их идола — золотого тельца, относили к разряду умалишенных.

Перед мысленным взором Карла пронеслась нескончаемая галерея отпугивающих призраков: расслабленные прожигатели жизни и выжившие из ума скряги; неправедные судьи, оправдывающие богатых преступников и осуждающие невинных бедняков; высшие правительственные чиновники, распродающие государство и обворовывающие народ; магнаты прессы, которые выдавали себя за выразителей дум народа, а сами на каждом шагу предавали его интересы ради своего кошелька. И хотя на их стороне продажное право и его многочисленные охранители, они дрожали в вечном страхе за свое благополучие. Нелегко было в этом сборище уродов выбрать самого отвратительного и безобразного...

* * *

Так же бессознательно, как утопающий хватается за соломинку, самоубийца цепляется за смысл своего существования, как бы он ни был ничтожен. Каждое пустячное обстоятельство становится оправданием существования и целью почти уже конченной, презираемой жизни. Раньше Карла в самые мрачные минуты удерживало от рокового шага желание поесть или узнать, кто победит в шахматном турнире — Капабланка или Алехин. Теперь у него появилась серьезная задача, важная миссия, ради которой стоило не только обождать с самоубийством, но, наоборот, заботиться о поддержании своего существования до той поры, пока задача не будет решена.

Опять близилась зима, и к заботам Карла о пропитании прибавились заботы о теплой одежде и жилье. Не каждый день удавалось добыть те несколько сантимов, которые нужно было уплатить за ночлег, а спать под открытым небом становилось с каждым днем все невыносимее. Карл существовал случайными заработками: оказывал мелкие услуги, помогал нести пакеты, продавал мешочки угля, в котором никогда не было недостатка на набережной Андреевской гавани, или, пробираясь украдкой на пароходы, выпрашивал остатки еды, — следовало только остерегаться штурманов, которые не терпели бродяг. Когда в порту не было пароходов, Карл вместе с другими бродягами шел в предместье, в какую-нибудь столовую. Там было просторно и тепло и на каждом столе всегда стояла тарелка с хлебом. Имея шесть сантимов, можно было взять кружку чая и, потихоньку прихлебывая его, напихать полные карманы хлебом. Позже Карл обнаружил в центре города, недалеко от биржи, столовую, где по воскресеньям бесплатно раздавали объедки. Бродяги скрывали друг от друга это маленькое золотое дно, где раз в неделю удавалось наесться досыта.

Вопрос о жилье тоже оказался не таким сложным. Карл уже испробовал понтоны и паровозные котлы, мусорные ящики, вокзалы и убежища Армии спасения. В сильные морозы или метели он вместе с другими проводил время в какой-нибудь общественной уборной. Сторож уборной, правда, ворчал, но не выгонял их, —

ведь среди бродяг имелись и весьма внушительные атлеты. Резкий запах уборной не причинял им особого неудобства. В конце концов Карл поселился в своем теперешнем убежище — на пустой барже. Он законопатил щели в потолке и стенах каюты, натаскал соломы из вагонов, в которых перевозили яйца, устлал ею пол, устроил постель, принес с какого-то судна старый брезент, который служил ему и простыней и одеялом.

Устроившись таким образом, он опять мог вернуться к своим мыслям.

Размышляя о своих мелочных заботах, о пище и ночлеге, Карл задавал себе вопрос: не были ли все эти заботы, эти хлопоты с устройством и подготовкой жилья самообманом? Не старался ли он заставить себя забыть о главном — о ненужности и бессмысленности жизни? С того дня, как ему стала ясна его последняя цель, прошло уже несколько месяцев, но он все время избегал думать об этом, откладывая решающий шаг на будущее. Не было ли это увертkой? И хотел ли он теперь этого? Ведь сегодня ему жилось уже немного лучше, кровоточащая рана заживала..

* * *

В очень сильные морозы Карл не уходил со своего «корабля», если только его не очень мучил голод. Пальто у него не было, подметки давно сносились; чтобы пальцы не вылезали наружу, он обмотал ботинки тряпками. Такое одеяние привлекало внимание публики и настораживало полицейских. Но иногда все же приходилось, отбросив остаток стыда, вылезать в стужу и метель на улицу, караулить у рынков или магазинов, в надежде что-нибудь заработать. Люди не очень охотно доверяли свои покупки оборванцу. Единственное, что их успокаивало, — это хромота Карла: калеке ведь далеко не убежать. Таким образом, ему удавалось изредка заработать лат-другой, и он мог пойти в одну из столовых предместья.

...Был вечер, ранние сумерки надвинулись на город, и, как бы в ответ на их вызов, в окнах вспыхнули яркие огни. У громадных витрин магазинов толпился народ; те, у кого были деньги, делали покупки.

Продрогший Карл остановился в тени у аптеки и с безразличным видом разглядывал прохожих. Если бы можно было пройти поближе к перекрестку, на котором стоял полицейский, где было много больших магазинов, — там, возможно, и подвернулся бы какой-нибудь заработок. Но на углу сидели рассыльные, сплетничавшие, как старые бабы, а вдоль тротуара выстроился длинный ряд машин. Что-то потянуло и Карла туда, ближе к магазинам, к свету. Он прошел несколько шагов в ту сторону и вернулся обратно: в аптеку вошла какая-то дама с чемоданом.

«Может быть, она еще будет что-нибудь покупать? — подумал Карл и сразу же оживился, его охватило радостное волнение. — Если она здесь сделает покупки, то у нее окажется два пакета. Один она, возможно, даст мне нести».

Он расхаживал взад и вперед перед аптекой, заглядывая в окно. Ему видна была спина дамы в лиловом бархатном пальто со светло-серым пушистым воротником. Дама стояла у кассы. Когда она взяла сдачу и положила ее в кошелек, Карл отошел в тень, нащупал пуговицы пиджака, застегнул верхнюю, поднял воротник и поправил шапку. Нет, он совсем не кажется таким уж жалким, да к тому же и темно... Только бы она свернула сюда! Нагонять ее и предлагать свои услуги будет неудобно, она может счесть его назойливым.

Скрипнула дверь. Карл напрасно старался подавить свое волнение: «Этот чемодан ей далеко не унести; кроме того, у нее еще пакет... Бедняжка, как ей должно быть трудно, как этот тяжелый чемодан оттягивает ей плечо! И как это не идет к ее красивому пальто...»

Карл снял шапку:

— Извините, мадам... Если вам надо снести эти вещи, я могу услужить.

Дама недоверчиво взглянула на Карла и пошла дальше, замедлив шаги и, видимо, обдумывая предложение. Карл неуверенно следовал за ней.

— Я не знаю, как быть... — обернувшись, сказала она. — Мне недалеко идти...

— Но, мадам, эта ноша вам не под силу. Я с вас недорого возьму... Сколько дадите...

— Не знаю, как и быть... Мне совсем близко. Ну, тогда возьмите чемодан.

Но Карл не успокоился до тех пор, пока дама не отдала ему и пакет. Она молча шла впереди, изредка оглядываясь — идет ли за ней носильщик. Карл понял, что она ему не доверяет. Дама, вероятно, прислушивалась к каждому звуку его шагов, и если бы он внезапно остановился, она бы сразу это почувствовала. Он улыбнулся ее опасениям.

«Нет, мадам, я не такой. Мне ваших вещей не надо, будь это хоть чистое золото!»

Но поразмыслив еще и представив на месте этой женщины мужчину-собственника, он уже не был так уверен в непоколебимости своих принципов: «Если бы это был толстый надутый буржуй и если бы он меня задел... и если бы я был уверен, что в пакетах золото... ну, тогда бы...»

Дама свернула в тихую аристократическую улицу. Когда она проходила мимо освещенного окна и свет упал на нее, Карл увидел, что у нее стройная и гибкая фигура. Она напомнила ему другую женщину, такую же гибкую и красивую, почти с такой же походкой... И он страдальчески поморщился при этих воспоминаниях.

Женщина свернула к какому-то дому. Лестница была плохо освещена. Они поднялись этажом выше, на узкую площадку, освещенную электрической лампочкой. Дама открыла сумочку, в ней звякнули деньги. Карл поставил чемодан на пол и утер лоб, ему стало жарко.

— Пожалуйста, получите. — Женщина протянула ему мелочь.

Яркий электрический свет безжалостно осветил бледное, изможденное лицо, обросшие щетиной щеки и подбородок Карла. Он ясно разглядел в холодном электрическом свете красивое овальное лицо с большими серыми глазами... Он узнал свою прежнюю подругу... Эти губы он когда-то целовал, этот стан, окутанный бархатным пальто, приобретенным другим мужчиной, он когда-то обнимал...

Карл отшатнулся. Не обращая внимания на протянутые ему деньги, он хотел уйти. Взволнованный, огорченный и в то же время озлобленный, он не в состоянии был управлять своими мыслями и чувствами. Встреча с Милией вызвала в памяти прошлое, в груди заныла

старая рана. Карл, как и тогда, почувствовал свое несчастье, крушение всех надежд и в то же время бесконечное отвращение, гадливость, словно от прикосновения пресмыкающегося... Неудержимое любопытство заставило его еще раз взглянуть на нее.

Милия тоже узнала Карла и стала смущенно переминаться, разглаживая перчатку, и теребить ручку сумки, — она не оставила прежних привычек, — потом опомнилась, вынула темно-красный кошелек. Зашелестели бумажки. Не глядя и не говоря ни слова, Милия протянула Карлу десять латов. Он ждал, что Милия заговорит с ним, скажет хоть слово — пусть даже пустую, ничего не значащую фразу, вспомнит о прошлом; и он дрожал от волнения, стараясь угадать, как она к нему обратится: на «ты» или на «вы»?

Милия не сказала ни слова; смутившись, слегка покраснев, она протягивала деньги. Карл решил, что она протягивает ему руку, и, забыв гадливость, злобное волнение, чувство превосходства, потянулся к тонким пальцам женщины. Вместо живого прикосновения он ощутил на ладони скомканную, засаленную бумажку. Разочарованный и сконфуженный, он почувствовал, что у него перехватило дыхание. Не вымолвив ни слова, Карл отступил, скомкал деньги и бросил на пол...

Спускаясь по лестнице, он замедлил шаги, стараясь шагать по возможности спокойно, чтобы Милия видела, как он еще несгибаем и тверд.

«Да, уважаемая сударыня, мы — хромые, но горды не меньше вашего. Мы голодаем и дрогнем, но в ваших деньгах не нуждаемся!»

Он с удовлетворением подумал о том, как теперь должна страдать Милия. Пусть она поймет, какого мужественного друга потеряла, пусть увидит, какая разница между гордым рыцарем, который, даже находясь в глубокой нищете, не теряет благородства духа, и тем беспомощным, изнеженным существом, которое называется ее мужем. Она теперь, наконец, поняла все, ей стыдно, она не может себе простить и, зная, что все потеряно, заперлась в своем будуаре, комкает носовой платок и рыдает. О, чего бы она не дала, чтобы вернуть прежнее!

Выйдя на улицу, Карл остановился у двери, несколько минут предаваясь приятным размышлениям. Но когда

самолюбивые, мстительные мысли стали повторяться, он пошел прочь... не спеша, медленно... Дойдя до угла, он повернул обратно.

«Куда делась десятилатовая бумажка? — подумал он. — Она отшвырнула ее ногой и поспешила к двери квартиры. Теперь эта бумажка лежит там. На площадке светло, случайный прохожий заметит ее, поднимет и спрячет в карман; он истратит все на пустяки за один вечер. А мне бы этих денег хватило на целый месяц... Милия даже не узнает, кто их взял. Она, пожалуй, так и подумает, что их поднял кто-нибудь другой...»

Карл поспешно вернулся в подъезд, прислушался, затем поднялся наверх. Кратковременная вспышка гордости погасла, — он боялся только одного, чтобы его кто-нибудь не заметил. Возможно, Милия еще не вошла в квартиру; возможно, она стоит за дверями и прислушивается к крадущимся шагам Карла... Как только он нагнется, чтобы поднять деньги, она распахнет дверь и станет насмехаться над ним — покажет его мужу и расскажет о мнимо гордом калеке...

Он крался по лестнице, как мышь. Никто не увидел его, никто его не подстерегал, но десятилатовая бумажка исчезла. За это время никто не входил в дом и не выходил из него... значит, Милия сама подняла ее...

Карлу стало тошно, и он плюнул на массивную дубовую дверь.

«И я сам навязался ей, она видела, как я жалок и нищ!..»

Шатаясь, как пьяный, он побрел в холодную темную ночь. Гадливое чувство сменилось горечью, сожаление о потерянных десяти латах — презрением к самому себе. Но сильнее всех этих чувств и мыслей была глубокая, беспредельная ненависть к этой женщине.

В ту ночь Карл поздно возвратился на свою баржу. На берегу он встретил продрогшую и измученную девушку. Он сразу понял, что это одна из тех несчастных, которые продаются за самую ничтожную плату. В ту минуту он еще раз вспомнил недоступную, далекую красоту Милии... И словно в отместку ей, ценившей себя так высоко, он пригласил в свою убогую конуру женщину, которая вообще потеряла всякую ценность.

* * *

Лаума прожила на «корабле» Карла всю зиму. Днем они обычно уходили каждый по своим делам, ничуть не стараясь скрыть их. Часто Лаума возвращалась только на следующее утро. Карл не спрашивал, где она была; но когда она приносила продукты, купленные на заработанные деньги, он стыдился прикасаться к ним. Лауме приходилось уговаривать его, как маленького, доказывать, что она кормит его не из милости, а лишь возмещает свою долю, — разве она не пользуется гостеприимством Карла?

Вынужденный необходимостью, он, скрепя сердце, давал себя уговорить.

«В конце концов я превращусь в сутенера, — мрачно думал он. — Дойдешь до того, дружище Карл Лиепзар, что скоро будешь водить к ней «гостей», отбирать заработанные ею деньги и прибьешь ее, если она откажется отдать их тебе...»

Они понимали друг друга без слов. Понемногу рассказали друг другу о своей жизни. Опять вынырнули из прошлого роковые тени Эзериня и Милии, а где-то в стороне стоял Волдис...

Карл теперь убедился, какую низкую роль сыграла Милия в жизни Лаумы: она, сознательно или невольно, погубила Лауму; из-за нее эта девушка была отвергнута обществом, втоптана в грязь и настолько унижена, что у нее больше не оставалось ни самолюбия, ни гордости. Кокаин тоже сделал свое дело: глубоко запавшие глаза девушки горели, как у загнанной собаки. Лаума теперь редко была в таком состоянии, когда с ней можно было серьезно поговорить; обычно она была очень рассеянна, с трудом слушала собеседника, не вдумываясь в его слова, и часто удивляла Карла, неожиданно прерывая его заданным невпопад вопросом. Круг ее интересов настолько сузился, что охватывал только отдельные мелочи.

Изредка искусственно возбужденное кокаином сознание Лаумы словно прояснялось, ум приобретал прежнюю остроту. В такие минуты она невыносимо страдала. Карл, который по-прежнему лелеял в своих мрачных мечтах планы мщения, старался воспользоваться этими проблесками, чтобы вызвать подобное чувство и в ней.

— Ты унижена до такой степени, что даже и представить нельзя, так как же ты можешь спокойно переносить все это? Когда от тебя возьмут все — подумала ли ты, что с тобой будет тогда? Те, кто сегодня покупает тебя, завтра будут покупать других, а тебя, как обглоданную кость, выбросят в помойную яму.

— Так долго я не проживу!.. — усмехнулась Лаума.

— Возможно. Но в один прекрасный день болезнь доведет тебя до того, что ты не сможешь выйти на улицу. Сюда к тебе никто не придет. Стоит ли ждать, пока червь постепенно сгложет твою жизнь? — Лаума молчала, а Карл воодушевлялся все больше: — Для таких, как мы, уничтожить себя — значит выпрямиться во весь рост и отомстить обществу за все то презрение, что мы долгие годы переносили от них! А уходя, прихватить еще кого-нибудь с собой! Разве это не хорошо?

— К чему все это? — сказала Лаума. — Себе мы не поможем, а остающимся причиним только зло. Кто имеет право требовать или по крайней мере спокойно соглашаться с тем, чтобы другой пожертвовал собой ради него? Тот, кто допускает это, — самая отвратительная гадина. Почему, например, ты должен страдать ради меня? Почему я сама с таким же успехом не могу этого сделать? Разве мое счастье существеннее для человечества, чем счастье любого другого?

— Ты рассуждаешь, как эгоистка. Странно, что ты со своими взглядами не смогла устроиться в жизни гораздо лучше.

— По той же причине, что и ты.

— А именно?

— Из-за недостатка воли.

— Воли? — Карл желчно рассмеялся. — Нет, дружок, воли у нас обоих хватало, но нам не хватало наглости. Мы слишком благородничали при выборе орудий борьбы. Обладай мы такой алчностью, как некоторые другие, мы бы достигли чего-нибудь. Я бы не попрошайничал и не нищенствовал, а брал бы силой или обманывал, воровал и грабил бы где только мог... Ты со спокойной совестью вышла бы замуж за богатого, хотя и противного тебе человека, позволила бы ему содержать себя и холить, в то же время изменяя мужу и, может быть, любя другого.

— Но почему же мы все-таки не поступаем так? Какая сила навязывает нам эту невыгодную для нас честность? Покорность судьбе? Вера в предопределение свыше? Боязнь людского мнения?

— Человек, духовно свободный, по самому существу своему честен. Только мракобесам, рабским натурам нужны кнут и узда. Они не видят, насколько наивна такая вера — вера в жесточайшую тиранию, в самое нелепое противоречие. Возьмем, хотя бы, к примеру, хорошо известных нам христиан: они верят во всемогущего, всеблагого и всезнающего бога. А когда во время мировой войны погибло двенадцать миллионов ни в чем не повинных людей, всезнающий и всеблагой творец и пальцем не шевельнул, чтобы положить конец кровопролитной бойне. Слишком уж терпеливо это всемогущее божество, способное так спокойно относиться к происходящему злу, к тому, что люди губят себе подобных, осуждают невинных, угнетают слабых, порочат честных! Ханжи говорят: «Без его воли ни один волос не упадет с головы. Все, что происходит, происходит по его велению...» Следовательно, это с его ведома и при участии его божественных сил убивают на большой дороге прохожих и насилуют женщин; это он шепчет на ухо несознательному человеку непотребнейшие советы, учит лжи, обману, учит натравливать нацию на нацию, грабить, жечь, убивать. С какой целью он допускает все это? Может быть, такое отвратительное зрелище приятно ему, доставляет ему наслаждение? Для чего в таком случае болтовня о грехе, страшном суде, муках ада? Как можно осуждать человека, если он является лишь слепым, бессознательным орудием в руках всемогущей, высшей силы? Люди превращены в актеров, человеческая жизнь — в спектакль, режиссер — бог — каждому из нас поручает свою роль: кому ханжи, кому негодяя, кому иную какую-нибудь, и мы вынуждены играть ее, какова бы она ни была. В конце концов нас, наверное, осудят за плохой спектакль и за плохую игру.

Карл умолк. Лаума растерянно глядела в пространство, не слушая его. Она уже устала думать.

После этого прошло несколько недель, прежде чем в ее сознании опять появился какой-то проблеск.

* * *

За суровой зимой последовала дружная весна. Реки вышли из берегов, затопили равнины, и обширные пространства скрылись под водой. Но через несколько недель шум половодья затих, воды рек отступили в свои русла и, мутные и грязные, гневно бурля, понеслись в море.

Как только кончился ледоход, какой-то буксир увел баржу Карла. Опять они с Лаумой очутились без пристанища. Но стало теплее, и предстоящие скитания уже не пугали их.

Здоровье Лаумы становилось с каждым днем хуже. Она сама понимала, что это ее последняя весна. Каждую ночь ее мучила лихорадка, аппетит совсем пропал — с трудом выпивала она стакан молока.

У Карла, напротив, аппетит стал больше, чем это было желательно в его теперешнем положении. Вечно голодный, он бродил из одного конца города в другой, иногда неделями не встречая Лауму. Несмотря на то что каждый из них шел своей дорогой, они не теряли друг друга из виду и, встретившись, проводили часдругой вместе. Летом положение Карла было более или менее терпимым. Нередко удавалось встретиться с матросами, которые давали ему поесть и даже выпить; охмелев, он забывал обо всех невзгодах.

Опять наступила осень. Над капиталистическим миром опустилась беспросветная ночь кризиса. Миллионы людей голодали. Покорные существа, не требовавшие от жизни ничего, кроме возможности кое-как влачить свое существование, угрюмо молчали. И настолько подавляюще гнетущим было это молчание, это затишье перед бурей, что неестественность его сознавали самые неисправимые оптимисты. Во тьме зрели опасные силы. Ежеминутно могла случиться катастрофа, в самую глухую полночь вдруг могло вспыхнуть пламя пожара. Власть имущие чувствовали нарастающую опасность. Не надеясь уже на силу оружия и авторитет закона, они использовали иные средства умиротворения. Частная благотворительность, пособия безработным и общественные работы были теми редкими каплями, которые должны были погасить разгоравшийся пожар. Кудахтала без удержу печать, на банкетах провозглашались тосты,

в церквах служились благодарственные молебны — и господа облегченно вздыхали...

Только Карл не почувствовал на себе заботы общества — ведь он, бродяга, принадлежал к его отбросам. Когда он решил пойти на биржу труда, зарегистрироваться безработным, его, как одинокого, зачислили в последнюю категорию. Мало было надежд на то, что он до весны получит работу. Спасительные капли дождя падали на других, Карл не был очагом пожара. Его даже не считали человеком, достойным жалости, несчастным, имеющим право на помощь, — его просто не считали человеком. Никому не нужный, забытый, бродил он среди живых...

Он почувствовал, что дошел до предела... Вспомнилось все, что произошло за последние годы, особенно за прошлый год — когда он решил умереть. Бессмысленно растрачиваемое время, лишения, голод, холод, лохмотья, вши и ругань... Тогда еще он, усталый и отчаявшийся, взмахивал крыльями над черным болотом, пытаясь удержаться над ним. Теперь он по горло увяз в трясине, она затягивала его все глубже, кругом бурлила грязь. Но он не чувствовал себя усталым и не отчаивался, ибо научился барахтаться в болоте. Он привык! Еще год такого прозябания — и он забудет, что ему нанесена обида!

Карла охватило смятение: неужели действительно он до конца своей жизни будет добровольно прозябать в этом положении, осмеянный всеми и ко всему бесчувственный? Если он позволит себя втоптать еще глубже в трясину — тогда он должен уничтожить себя не из жалости, а в наказание...

«Нет, теперь хватит».

Перед его глазами все время маячил виденный им на днях жирный затылок Рунциса.

«Ты этого вполне заслужил», — думал Карл, полный мстительной радости. Внезапно он почувствовал, что ему ничто больше не угрожает, что завоевана большая, безграничная, стоящая выше властей всего мира свобода и что решающий момент совсем близок. Чувство мести заставляло работать фантазию: ему хотелось бросить вызов всему свету, каждому человеку. Поняв, что общественные нормы поведения уже потеряли власть над ним, Карл убедился в полном бессилии этих норм.

Однажды он расхохотался на улице, вызвав удивление прохожих. Его охватывал все больший задор, в голове кружились веселые и озорные мысли. И вдруг, не думая о последствиях, он схватил за бороду старого, почтенного господина и несколько раз с силой дернул ее. Господин рассвирепел и закричал, размахивая своей суковатой палкой, жестикулируя и бранясь. Поблизости не было ни одного полицейского, и прохожие, не зная в чем дело, посмеивались над ними.

Карл пошел дальше и, когда за спиной его стихли крики, засвистел.

«Что будет, если я позволю себе проделать этот номер с кем-нибудь другим?» Он припоминал всех известных политиков, коммерсантов, ученых и артистов — у кого были подходящие бороды. Как бы они бранились! Его бы арестовали, судили, написали бы об этом в газетах, в отделе хроники появились бы его фотографии — вот это была бы слава! После суда он сразу же повторяет свой номер. Опять скандал, суд и — слава. В конце концов бородатым мужчинам пришлось бы носить специальные чехлы, чтобы защищать свою растительность от внезапных нападений.

«Я сошел с ума», — одернул себя Карл, пытаясь настроиться на серьезный лад. Но волна болезненного, истерического веселья вновь нахлынула на него. Ему захотелось сделать что-нибудь очень смелое, не слишком умное и не злое.

Заметив идущего навстречу архиепископа, Карл опустился перед ним на колени и поцеловал ему руку, но при этом слегка оскалил зубы. Увидев, что студент выбросил в кусты пустую коробку из-под папирос, Карл поднял ее и положил в карман пиджака, — все имели возможность любоваться маркой, это были самые дорогие папиросы.

Затем он сел в автобус, хотя ему некуда было ехать и не было денег на билет. Автобус был набит битком, и на каждой остановке садились все новые пассажиры. Напротив Карла стоял молодой парень с коричневым портфелем под мышкой и, широко разинув рот, уставился на кондукторшу. Карл взглянул на открытый красный рот парня, и его разозлило жадное выражение лица.

«Что, если ему засунуть в рот палец? — подумал Карл. — Нет, нельзя, откусит».

Тогда он вытащил папиросную коробку и ловким движением сунул ее в зубы парню. В следующий момент юноша очнулся, сплюнул в носовой платок, но никакого особого возмущения не выразил, потому что в автобусе было слишком тесно. Покраснев от смущения, он сердито проворчал что-то. Карл почувствовал разочарование, он ожидал основательного скандала. Недовольный, он сошел на следующей остановке, делая вид, что не слышит неоднократных напоминаний кондукторши об уплате за проезд.

Так он дурачился весь день, намеренно вызывая озлобление мирных людей. Но, как ни странно, никто к нему не привязался. Соскучившийся и усталый, Карл вечером пошел в порт, — ему хотелось еще раз встретить Лауму. Но в тот вечер ее не было видно у пароходов, и Карл утешился тем, что она все равно все узнает, — другие расскажут.

Завтра... да, *это* должно произойти завтра. Молодой Рунцис сегодня вечером ужинает в последний раз. И Карл смеялся, смеялся долго и не мог уснуть, хотя в вагоне, где он в эту ночь спал, было тепло и уютно. Когда он смеялся, у него странно хрипело в груди и все тело слегка вздрагивало, как перегретый паровой котел под напором бушующих внутри него сил. Он не замечал, как неестественны были эта последняя радость, смех и озорство. Ему и в голову не приходило, что он во власти приглушенного отчаяния. Жизненный инстинкт сцепился в невидимой борьбе с мыслью о смерти. Отзвуком этой борьбы и был смех Карла.

* * *

Забывшись на несколько часов тревожным сном, Карл проснулся. Было еще темно, но кое-где уже слышались шаги рабочих. Продрогший и голодный, Карл вышел из вагона и направился в порт; на каком-то шведском пароходе ему дали доесть остатки каши. Насытившись, он пошел в город, по дороге обдумывая детали своего плана.

«Как странно... Сейчас я пойду и убью человека, потом себя — и все останется, как было. Мир и люди

будут существовать по-прежнему. Только я уже ничего не буду знать об этом».

Он смешался с уличной толпой и, коротая время, бродил по городу. Все уступали ему дорогу — такой он был грязный. Ему стало смешно: как бы они вели себя, если бы знали его мысли! Как все эти люди испугались бы, попрятались по углам!

В одиннадцать часов Карл подошел к конторе Рунциса, зная, что в это время хозяин обычно возвращался из города и сидел некоторое время совершенно один в конторе. Узкая уличка точно вымерла. У подъезда стояла машина. В соседнем доме находились склады, напротив — небольшая типография, немного подальше — старая сектантская молельня.

Карл, собираясь с духом, три раза прошел мимо двери. Его бросало то в жар, то в холод. Рука нервно сжимала в кармане рукоятку револьвера.

«Теперь самое время... — думал он, приближаясь к дверям в четвертый раз. — Рунцис дома и скоро может опять уехать».

В этот момент из конторы вышел молодой человек и направился к бирже. Карл узнал его — это был делопроизводитель Рунциса.

«Сейчас он совсем один. Больше ждать нечего».

Карл вошел в переднюю и, не раздумывая, постучал.

«Что я ему скажу, если спросит, что мне надо?» — подумал он, нажимая ручку двери. Не дождавшись ответа, но вдруг успокоившись, Карл вошел в контору.

За громоздким, заваленным бумагами столом сидел Рунцис. Он был один. На краю стола дымилась сигара. Стивидор листал белыми пальцами конторскую книгу.

Карл осторожно прикрыл дверь и, поздоровавшись, остановился, не доходя до стола. Рунцис некоторое время не обращал на него никакого внимания. Углубившись в книгу, исписанную столбиками цифр, и что-то бормоча про себя, он соображал и подсчитывал; иногда, опершись на руку подбородком, рассеянно смотрел в окно. По соседней улице прошел трамвай; вдалеке слышались автомобильные гудки и однообразный стук копыт о каменную мостовую.

Молчание затянулось. Карл не решался нарушить его вопросом или резким движением. Что-то заставило его задерживать дыхание, прислушиваясь к биению

своего сердца и к мучительно тяжелому состоянию оцепенения. Шелест переворачиваемых листов казался ему раскатами грома.

По пути сюда Карл представлял себе, что все произойдет совсем иначе. Драматическая, напряженная сцена: два человека с глазу на глаз... короткий разговор... животный страх... испуганный крик, звук выстрела... струйка крови на щеке, на белом воротничке, на груди, на животе... Потом Карл кладет оружие в карман, окидывает взглядом помещение и уходит.

Ничего подобного не произошло.

Пока Рунцис изучал книгу, Карл стоял на месте и рассматривал человека, которого собирался убить. В спокойствии и рассеянности его было что-то жуткое. Карл вспомнил одно зимнее утро... В то время еще были живы его родители. Они жили на окраине города. Мать выкормила большого борова, и однажды утром отец пригласил соседа, опытного резника. Карлу нужно было держать таз, в который стекала кровь. Когда они подошли к хлеву, боров мирно похрюкивал, роясь пятачком в корыте, и, не найдя там ничего, стал тереться боком о стену хлева. Тогда отец Карла почесал борову спину, и тот довольно захрюкал. Приятное ощущение сделало борова рассеянным, и он не заметил, что его привязали веревкой за ногу и пытаются накинуть петлю на пятачок. Только несколько мгновений отделяли его от последней решающей минуты — удара ножа, но он всем своим существом еще продолжал жить, наслаждался приятным почесыванием, чувствовал голод и любопытство к пришедшим людям...

Глядя на равнодушные движения Рунциса, Карл невольно вздрогнул. Он испытывал какое-то странное ощущение: перед ним сидит человек, который погубил его, но он не чувствовал в себе гнева. Вместо того чтобы, оглянувшись на путь своего падения, почерпнуть в этом силы для исполнения задуманного, Карл старался представить себе, что почувствует Рунцис, когда он выстрелит, как тот на мгновение оторвется от книги, поймет все и испытает животный страх...

В эту минуту Рунцис заметил Карла.

— Что вам нужно? — нетерпеливо спросил он, стряхивая пепел с сигары и просматривая какую-то ведомость.

Карл точно очнулся. Он вздрогнул, облизнул губы, но ничего не сказал.

«Теперь пора. Пока он склонился над бумагами, нужно вынуть револьвер...»

Пальцы сжались в кармане, рукоятка револьвера стала влажной, — руки Карла почему-то вспотели; он бессознательно вытер их о брюки, но через несколько мгновений они опять стали влажными... В голове Карла не было ни одной связной мысли. Беспорядочно сплетались в самых невероятных сочетаниях образы прошлого. Виденная им когда-то в витрине на улице Смилшу модель «Мажестика» плыла по просторам Атлантического океана. Было безветренно, играла музыка, и чайки кружили над мачтами громадного парохода. Скоро эта картина исчезла, и уши Карла уже терзал бессмысленный мотив «Бимбамбули». Он даже не слышал вопроса Рунциса.

— Что вам надо? — крикнул в третий раз Рунцис.

Наконец, Карл пришел в себя.

— Мне надо было... (Но теперь уже поздно, делопроизводитель может явиться с минуты на минуту...) Да, в сущности я только за этим и пришел... (Есть ли у меня хоть пять минут? Может, я все же успею дойти до угла улицы?) Вы, может быть, припомните, в прошлом году... у меня была сломана нога... то есть сломана на самом деле раньше... (Ну, теперь он начнет кричать и обвинять меня. Все патроны нельзя расходовать.) Я прошу дать мне работу. Ваш отец обещал мне.

Рунцис ничего не говорил, барабаня пальцами по столу, он ждал продолжения, но, когда Карл замолчал, взглянул на него.

— Продолжайте. Я не помню, в чем там у вас дело.

— (Кажется кто-то прошел мимо окна). Ваш отец давал мне работу, а вы не хотели признать его договор со мной.

— Что ж тут особенного?

— Возможно, что для вас в этом нет ничего особенного, а меня это обстоятельство окончательно погубило.

— Но вы ведь как-то жили до сего времени?

— Вы тоже живете до сего времени. Уж не кажется ли вам, что нам обоим живется почти одинаково?

— По-видимому, у вас имеется какой-то источник существования.

Карл с минуту смотрел на насмешливо искривленный рот молодого Рунциса и почувствовал омерзение, какое испытывает человек, увидев гнойную язву, рот наполнился слюной. Карл подошел к столу, оперся рукой о черный дуб и плюнул через бумаги, чернильный прибор, ящик с картотекой и телефон.

— Теперь позвоните в полицейский участок, чтобы меня забрали.

— Вы... свинья!

— От свиньи слышу.

— Скотина, что вам от меня надо?!

Рунцис сопел и утирался.

«Почему он не кричит? — думал Карл. — Почему не звонит в участок?»

— Я бы мог отправить вас в полицию, но что мне это даст? Уходите, уходите прочь! Вы можете быть счастливы, что так дешево отделались.

— Нет! Вы счастливы, что напали на простофилю! Если бы я оказался тем, кем мне следовало быть, вы бы тут не разыгрывали великодушного барина!..

В передней кто-то вытирал ноги. Карл понял, что весь его замысел потерпел неудачу. Здесь ему нечего больше делать. Возможно, так лучше. Возможно, он хотел этого и в самом начале. Он почувствовал ужасную усталость. У дверей обернулся, не глядя на Рунциса, сказал:

— Я вам советую не злоупотреблять терпением рабочих. В действительности вы гораздо слабее, чем думаете. Если бы я сегодня немного выпил, этот день оказался бы для вас последним. Но сейчас мне противно вас раздавить, вас ... вонючего клопа.

Карл показал молодому Рунцису свой револьвер, усмехнулся, увидав его испуг, и вышел из комнаты.

«Теперь он напуган», — подумал Карл и успокоился. В передней он встретил делопроизводителя. На улице уже собралась кучка грузчиков, ожидающих работы.

Никогда в жизни он не презирал себя так, как в тот день, поняв, как крепко, с каким ожесточенным отчаянием цепляется за жизнь все его существо. Мысли о самоубийстве и мечты о мщении были только забавой.

Ребенок построил пушку из песка, но, когда захотел выстрелить из нее, у него ничего не вышло. И только тут он понял, что это всего лишь игрушка.

* * *

Метеорологическое бюро в тот день дождалось чуда: после нескольких недель неудач впервые оправдался прогноз погоды. Ясная, солнечная первая половина дня сменилась ненастным ветреным вечером. Кружились рыхлые, влажные хлопья снега и, упав на землю, сразу же таяли. Тротуары покрылись густым снежным месивом, прохожие мокли, лица их становились красными и влажными.

Карл поднял повыше воротник старой блузы и, втянув в него голову, направился в порт. Снег, оседая на затылке, таял и ледяными струйками стекал за ворот, в лицо дул студеный ветер, глаза залеплял мокрый снег; дырявые ботинки намокли в снежной слякоти, ноги замерзли и нестерпимо ныли от холода. Но Карл ничего не чувствовал, не спеша он шел своей дорогой.

«Если бы Рунцис держался со мной более вызывающе, суше и суровее, возможно, я бы его застрелил... Если бы он рассердил меня... Но он был так гадок, так бесстыден... Нет, ведь не потому я его пощадил! Какое мне дело до того, что он гадок! Я не могу или не умею убивать. Мне бы следовало некоторое время поучиться у мясников, тогда... да... Но разве это поможет? Разве, уничтожив Рунциса, я истреблю все зло на свете? Этого негодяя не будет, но на его место придет другой, возможно, даже много других; они так же будут кричать и воровать, так же будут презирать рабочих. А почувствуют ли облегчение мои товарищи? Нет, совсем наоборот: мой поступок истолкуют как гнусное преступление против человечества. Это развяжет руки реакционным силам. Режим станет еще невыносимее, по одному подозрению начнут арестовывать ни в чем не повинных людей, постараются репрессиями и угрозой суда выбить из головы смельчаков опасные мысли. И в конце концов получится, что я оказал друзьям медвежью услугу. Рунцис — большое зло, но оно не уменьшится, если его уничтожить. Он только ничтожный сорняк на обширном поле, — выдергивая по одной тра-

винке, не очистишь поле от сорняков. Нужно перепахать все поле, острыми зубьями бороны вырвать с корнем сорную траву, всю без остатка. Весь общественный строй нужно преобразовать так, чтобы сорняки больше не росли. Сделать это один я не в состоянии, хотя бы мне и удалось уничтожить сотни и тысячи сорняков. Ни одному человеку в мире это не по силам, каким бы могучим он ни был».

В памяти воскресли воспоминания прошлого, забытые мечты. Прежде и он верил в борьбу за лучшее будущее, хотел участвовать в этой борьбе. Когда Волдис уходил в море, Карл пытался отговорить его: «Зачем искать по свету счастье? Мы можем завоевать его на своей родине».

Так он говорил тогда. Но Волдис уехал, Карл остался, и мелочные, будничные заботы уводили его все дальше от борьбы, пока, наконец, он не остался один.

Теперь он понимал причину своего падения. Не потому он погибал, что был мягкотелый, безвольный, беспомощный человек, находившийся в плену каких-то несбыточных иллюзий, а потому, что хотел бороться за свое право на жизнь один, отдельно от других. Он боролся один против всего общества, отлично зная, что отдельной личности такая борьба не под силу. Любой обречен на гибель, если он в борьбе за справедливость не объединяется с товарищами. В одиночку он не может постоять за себя, добиться чего-нибудь для себя и для общества. Упрямых одиночек одного за другим растаптывает и перемалывает отлично налаженная машина безжалостного противника. Они растрачивают по мелочам свою силу и боевой задор, понемногу обескровливаются, устают и опускаются на самое дно жизни. Карл теперь понял, куда его привело гордое одиночество. Таким же образом погибла Лаума — чистая, смелая девушка. Если бы они вовремя объединились с товарищами, шагали бы с ними плечом к плечу, — тогда все могло бы быть иначе.

Карл вспомнил тех необыкновенных людей, для которых он теперь стал чужим. Он представил себе сотни и тысячи отважных людей, поднявших знамя борьбы в самые темные дни реакции. Как смело и самоотверженно делали они свое дело, с гордо поднятой головой шли во имя своих идей в тюрьмы и на виселицы, долгие

годы переносили незаслуженные страдания и выходили из заключения не усталыми, а накопившими еще большую энергию и, полные боевого духа, вновь продолжали работать. Их опять ловили, сажали, судили, а они с усмешкой выслушивали приговор, не прося пощады: они были неистребимы, силу их нельзя было изолировать — она била ключом через тюремные стены, электризовала массы и пугала власть имущих. Вернувшись через многие месяцы на свободу, они не хвалились перенесенными страданиями. Непреклонные, закаленные в беспощадной борьбе, продолжали они свой путь. За ними шли остальные... тысячи... весь рабочий люд.

Карла охватил глубокий, мучительный стыд за напрасно потерянное время, за энергию, растраченную по пустякам. Разве не мог он, ничего не значащий в жизни человек, шагать в ногу с товарищами? Неужели его бы и там оттолкнули так же, как везде?

«Нет, — сказал он себе. — В гигантской работе по перестройке мира никто не лишний. И чем больше будет тружеников, тем лучше будет спориться работа. Даже я, жалкий калека, могу что-то сделать».

После тяжелой, кошмарной ночи в его жизни наступило утро, он уже чувствовал на темнеющем горизонте отблески зари.

Падал и кружился снег, стыло на ледяном ветру лицо. Приближался вечер. Карл обошел весь порт, надеясь разыскать Лауму. Он хотел рассказать ей о своем новом решении и уже заранее чувствовал удовлетворение, сознавая, как он обрадует девушку. Может быть, и она?.. Нет, ее дни были сочтены. Свечу, догорающую синим огоньком, не заставишь разгореться ярким пламенем.

* * *

Сероватый сумеречный свет, проникавший через окно, был настолько тусклым и слабым, что еле освещал часть комнаты напротив окна. В углах царил полумрак, и глаз должен был сначала привыкнуть к нему, чтобы различить отдельные предметы. Ничего особенного там не было: простая железная кровать, покрытая темно-зеленым шерстяным одеялом, старый комод с зеркалом, стол, книжная полка в углу за дверью и несколько стульев.

В комнате находились два человека — Карл Лиепзар и мужчина лет сорока, светлоусый, в темно-синем комбинезоне. Карл сидел на стуле. Другой примостился на краю кровати и, посасывая кривую трубку, по временам кидал на Карла короткий, спокойный, пытливый взгляд. Слушая горькое повествование Карла о жизни за последние два-три года, человек, которого Карл называл Индриком, не произносил ни слова, он продолжал задумчиво слушать.

— Видишь, каким я теперь стал, — сказал Карл, — заканчивая свой рассказ. — Я понимаю, что не имею ни малейшего основания просить, чтобы ты мне поверил и мог доверять. Бродяга, деклассированный элемент... бесхарактерный и безвольный человек... таких типов ведь легче всего завербовать — такой за лат готов продаться полиции или этой швали с улицы Альберта*. Другое дело, если бы я уложил молодого Рунциса. Но верь мне, Индрик, если ты сочтешь это необходимым, я готов хоть сейчас. Мне не страшен риск. Страшно только ошибиться.

— Да... — промолвил наконец Индрик. — Ты поступил правильно, не застрелив Рунциса. Уничтожив отдельного человека, нельзя уничтожить общественную несправедливость. Отдельный человек в таком деле — мелочь. Причину нужно искать в чем-то более крупном... в самом строе. А расшатать его и сбросить может только коллектив.

— Значит, ты все-таки веришь мне? — прошептал Карл.

— Я все знал о тебе еще тогда, когда ты мне не сказал ни слова, — ответил Индрик, слегка улыбнувшись. — Ты что думаешь? Разве можно упустить из поля зрения человека, который вырос на твоих глазах, которого ты сам обучил тяжелой профессии портовика? Если бы меня не арестовали, я бы давно уже побеседовал с тобой... не допустил бы, чтобы ты валялся по баржам и мусорным ящикам. Подумаешь, какая честь, какие великие заслуги! — Его лицо помрачнело. — Мученик! Весь мир виноват в том, что ты лишен возможности танцевать! И поэтому ты должен превратиться в паразита, бездельника, стать посмешищем в глазах своего класса? Если бы все рабочие, все те, кому пришлось трудно, оказались настолько же огра-

ниченными и действовали так же, как ты, тогда бы пришлось оставить все надежды на освобождение рабочего класса от ига эксплуататоров и на построение свободной, справедливой жизни на земле. Но не все такие, как ты. Сотни и тысячи умеют и могут не думать о своих мелких горестях и несчастьях, способны подчинить личные интересы интересам своего класса и народа. Эх ты... если бы я не знал, что ты все же остался своим парнем, я бы с тобой и разговаривать не стал.

Карл, опустив голову и покраснев, выслушал горькие правдивые слова.

— Все, что ты мне говоришь, Индрик, правда... — сказал он. — Я был до сегодняшнего дня последним бездельником... глупцом и лодырем. Изругай меня, но помоги выйти на дорогу. Доверь мне самое трудное и опасное поручение. Я хочу быть достойным своих товарищей. Я задохнусь, если мне не дадут права бороться.

Еще долго бранил его Индрик.

— Хорошо, мы дадим тебе поручение, — сказал он напоследок, но прежде всего тебе нужно вернуть человеческий облик, тебе нужно приодеться. Затем ты поселишься в каком-то определенном месте и поступишь на работу, потому что должен будешь проживать легально, — такому, как ты, нет никакого смысла в самом начале становиться подпольщиком. И когда все будет устроено, тебе, брат, придется учиться, много и целеустремленно читать. Тот, кто хочет преобразовать мир, должен много знать и понимать. Новый мир не построишь с мякиной в голове. Но прежде всего тебе нужно научиться держать язык за зубами и всегда помнить, что за каждый шаг, за каждое слово ты отвечаешь перед своими товарищами. С этой минуты ты принадлежишь не себе, а нашей борьбе, коллективу борцов.

— Партии, — добавил Карл.

— О партии тебе еще рано говорить. Твоя работа покажет, достоин ли ты вступить в ряды партии.

— Я буду достоин! — воскликнул Карл. — Ты увидишь, вы все увидите. У меня в жизни нет иной цели, как идти с вами до конца.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Снежная буря на море — такое же бедствие, как туман. Все окутано непроницаемой завесой, невидимая темная вода плещется у бортов судна, а палубу то и дело окатывают ледяные потоки. Медленно двигаются суда, завывают сирены; штурманы и вахтенные матросы напряженно вглядываются в белесый мрак: ежеминутно из снежного вихря может вынырнуть нос чужого корабля. Корабли приходят в порт с опозданием...

Снежная буря, разразившаяся над Ригой только к вечеру, бушевала на море с самого утра. Норвежский пароход «Сцилла» водоизмещением в три тысячи тонн заставил портовых лоцманов ожидать себя несколько часов. Сейчас, незадолго до наступления темноты, пароход медленно шел вперед по Даугаве. Боцман Волдис Витол приводил в порядок трюм и привязывал блоки к стрелам, ему помогал младший матрос. Снежная мгла скрывала низкие берега реки, только изредка из нее проступали неясные очертания леса, колоколен, фабричных труб. Над этим безмолвным пейзажем царили глубокая тишина и оцепенение.

Волдис смотрел на знакомые окрестности и не слышал вопросов матроса. Он очнулся лишь тогда, когда штурман крикнул, чтобы приготовили якорную лебедку.

Так вот какова была родина Волдиса, которую он не видел несколько лет! Знакомый порт встречал его таким грустным безмолвием...

Пароход медленно вошел в порт. В разных местах у набережной стояли суда. На некоторых не было заметно никакого движения, на других время от времени шевелилась стрела и над трюмом показывался пакет с грузом. Куда девалась загруженная товаром набережная, где вереницы подвод, заваленные лесом площади, нагруженные до отказа баржи? Всюду была неприветливая пустота. В одном углу порта виднелся большой караван стоявших на приколе пароходов и барж.

Сырой снег насквозь промочил синий комбинезон Волдиса, но ему некогда было сходить в каюту за плащом — боцмана постоянно спрашивали то штурманы, то матросы; он должен все знать, приготовить и при-

вести в порядок. Волдис сейчас завидовал кочегарам: им не приходилось заботиться о том, чтобы сделать уборку на пароходе, пришвартоваться, спустить сходни, привести в порядок лебедки; отстояв свою вахту у топок, они могли умыться, переодеться и беспрепятственно идти осматривать незнакомый порт. А ему, сыну этой земли, нужно бегать из конца в конец парохода — то на шлюпочную палубу, то в такелажную кладовую, то на бак, то к котлу за высушенными канатами. И только когда были закреплены последние швартовы и пароход плотно прижался бортом к стене, Волдис с облегчением вздохнул.

Он надеялся испытать радость возвращения, почувствовать неизъяснимое тепло родных мест, охватывающее человека по возвращении на родину после долгих странствований на чужбине. Но ничего этого не было, — чужими и равнодушными казались ему рижские дома, чужды и равнодушны были лица многочисленных рабочих, столпившихся в ожидании парохода на берегу. С горечью вспомнил Волдис день, когда он уехал из этого города искать по свету счастья. Он и сам не знал, в поисках чего скитался из одной страны в другую, везде встречая те же страдания и ту же нищету, что видел здесь. Всякое испытал он в жизни, разные люди были его друзьями, он скопил за эти годы немного денег, — но ведь это сущий пустяк по сравнению с тем, чего он надеялся достичь. Он кое-чему научился, освободился от кое-каких наивных иллюзий и все с большим недоверием относился ко многому, что раньше принимал без всяких сомнений.

Волдис всматривался в людей на берегу. Серые, изможденные лица безработных; полные ожидания и неуверенности взгляды жаждущих работы людей... Как это походило на то, что он видел за океаном! Как сурова была жизнь этих людей! Как немного требовали они от жизни и как ничтожно мало она им давала!

Среди стоявших на берегу рабочих Волдис узнал кое-кого, с кем раньше вместе работал на угольщиках. Но никто из них не узнавал Волдиса, и когда они обращались к нему за веревкой или тросом, чтобы связать брусья мостков, то говорили по-английски, кто как умел. Это казалось смешным, и Волдис невольно улыбнулся. Увидев, что боцман человек приветливый, некоторые

стали приставать к нему, чтобы он продал корабельной краски. Они обещали ему взятку. Тогда Волдис перестал улыбаться.

* * *

Наступил вечер. У мрачной набережной Андреевского острова кроме «Сциллы» стояло еще несколько пароходов с углем. За высокими горами угля светились огни домов. По ту сторону элеватора слышались паровозные гудки. Снег все падал.

Сырой ветер ударил в лицо Волдису, когда он, одевшись, чтобы сойти на берег, вышел на палубу. Он опустил поля шляпы и поднял воротник пальто; по пути заглянул в котельную, где дункеман Андерсон — старый товарищ Волдиса по первому пароходу — один возился у топок.

— Я ухожу, — крикнул Волдис. — Тебе ничего не нужно принести из города?

— Купи газету. Больше ничего. Табаку еще достаточно.

— Ладно!

Волдис ушел. Несмотря на ненастную погоду, он чувствовал себя отлично, словно в ожидании чего-то приятного. Он будет теперь ходить по городу, разглядывая его нынешнее, изменившееся за несколько лет лицо, встретит прежних друзей, услышит много нового. Сколько всего произошло за это время! Карл... Милия... Лаума... Андерсониете... другие. Что они теперь делают, как выглядят, как отнесутся к появлению старого друга на улицах пятиэтажного города? Раздумывая о предстоящих встречах, Волдис не спеша шагал вдоль набережной. Он не мог решить, куда сначала пойти: в город или на свою прежнюю квартиру на улице Путну.

Его вывел из задумчивости громкий смех. Навстречу шли две девушки. Пьяные или нанюхавшиеся кокаину, они брели покачиваясь, размахивая руками. Они были еще на большом расстоянии от Волдиса, а их визгливые крики и хриплый смех далеко разносились по пустынной набережной. Волдис перешел на противоположную сторону. Но это оказалось излишним, потому что,

остановившись у первого парохода, они крикнули вахтенному:

— Боцман! Боцман, э-эй! Сходи на берег!

Когда показались лица еще нескольких матросов, девушки спросили, нельзя ли им подняться наверх. Развеселившиеся матросы сыпали всякие непристойности, на которые девушки отвечали еще более изощренными ругательствами. Все смеялись.

— Ну, чего вы так долго копаетесь? — крикнула одна из них, стройная и полная. — Нам некогда. Нет так нет, мы пойдем дальше.

Матросы посовещались. Некоторые собирались сойти на берег. В этот момент на палубу вышел капитан, привлеченный шумом. Седой, сухощавый, в жилете, с длинной трубкой в зубах и золотом пенсне на носу, он, грозно взглянув на матросов, что-то спросил у стюарда. Стюард пожал плечами.

— Капитан, здравствуйте, капитан! — закричала стройная девушка, посылая старику воздушные поцелуи. — Хотите, я приду к вам?

Капитан смотрел на нее и сердито молчал. Тогда она рассмеялась и начала танцевать, распевая какую-то непристойную песенку на мотив чарльстона. В эту минуту Волдис подошел поближе. Девушка плясала, пела, всячески ломаясь, затем, вдруг остановившись, вытащила из кармана пальто маленькую бутылочку джина.

— Прозит! — крикнула она сиплым голосом и отпила из бутылочки. — Это мне подарил мой жених из Голландии! Капитан, сходи на берег, дам и тебе глоток! — После этого опять принялась плясать.

Матросы давились от смеха, но терпению капитана пришел конец. Он сказал что-то стюарду, и тот спустился на берег. Девушка не убежала: она ласково приветствовала посланца. А ее подруга, маленькая и более хрупкая, чем ее бойкая приятельница, все время стояла в стороне, ежась и дрожа, — ей, вероятно, было холодно.

— Сию же минуту убирайтесь! — громко закричал стюард, чтобы и капитан услышал его повелительный голос. — Да поживей, не то позову полицию!

Рослая девушка вызывающе рассмеялась. Тогда стюард толкнул ее. Но она храбро сопротивлялась и все

время бранилась. Увидев, что стюарду одному не справиться, капитан послал ему в помощь еще двоих. Отчаянно сопротивляясь, высокая девушка пятилась назад, а маленькая по-прежнему стояла в сторонке. Приятельница ее была уже отогнана к угольным кучам, а маленькая по-прежнему не двигалась с места, пока наконец моряки не обратили на нее внимание. Она сжалась в комок и вдруг, сорвавшись с места, побежала, неуклюже переставляя ноги, хотя никто и не собирался преследовать ее. На ее пути, у самых ног Волдиса, попалась груда камней. Она споткнулась, сильно ушиблась, поднялась и опять упала.

Волдис наклонился, чтобы помочь ей, и девушка вцепилась в его руки. У нее разорвался чулок, из ноги сочилась кровь, темно-синее плюшевое пальто было запачкано угольной пылью, вся одежда девушки намокла в луже. Она с трудом поднялась, села и, покорная, с видом просящей пощады собаки, улыбнулась Волдису. Она все еще дрожала. Из-под густого слоя пудры заметно проступал лихорадочный румянец.

— Thank you![1] — поблагодарила она, когда Волдис помог ей подняться на ноги.

На некотором расстоянии ее ожидала подруга. Еще раз поблагодарив Волдиса и грустно улыбнувшись, маленькая ушла. От нее тоже пахло джином.

В улыбке маленькой проститутки, в ее худеньком болезненном лице было что-то, что вызывало в памяти Волдиса старые, забытые картины. Он где-то видел это лицо, какие-то переживания были связаны именно с его чертами... Оно напоминало лицо Анни из манчестерских доков и маленькой Нанетт из увеселительных заведений Бордо, и еще кого-то — все те худенькие покорные лица хрупких девочек-женщин, которые на миг появлялись на жизненном пути Волдиса, такие же молчаливые, молящие о пощаде.

Прежде всего Волдис отправился на улицу Путну и разыскал старый деревянный дом, где когда-то прожил несколько лет. Прежняя квартирная хозяйка Волдиса, Андерсониете, уже не жила там. Ему открыли дверь незнакомые люди, нетерпеливо выслушали его, пожимая

---

[1] Благодарю! *(англ.)*.

плечами. Нет, они не знали, куда девалась госпожа Андерсон.

Волдис сел в трамвай и поехал в Задвинье, к своему другу Карлу Лиепзару. Маленькие окраинные домики стояли среди оголенных кустов сирени и закутанных в тряпки яблонь. Тихие, идиллические улицы, казалось, с годами стали у́же, людей стало меньше. С громким лаем, бешено громыхая цепью, бегали привязанные к натянутым во дворах проволокам собаки.

Карла не было. Никто не знал, где он живет. Раздосадованный неудачами и дурной погодой, Волдис купил несколько газет и собрался возвращаться на пароход, когда его вдруг заинтересовало объявление в газете: в одном из театров столицы сегодня состоится литературный вечер. В длинном списке участников вечера Волдис увидел много известных имен, но еще больше было незнакомых.

«Надо будет пойти», — подумал Волдис.

До начала вечера оставался целый час. Не спеша, погрузившись в раздумье о впечатлениях дня, Волдис направился в театр.

* * *

Забыв о том, что в Риге ни один вечер не начинается в час, указанный в программе, Волдис пришел в театр, когда там еще никого не было. Сдав пальто и шляпу на вешалку, он в одиночестве гулял по фойе, разглядывая развешанные по стенам гравюры и картины. От всех этих изображений, от самого здания, от людей, которые постепенно собирались, сильно отдавало так называемой национальной культурой. Все носило отпечаток старины, вся эта выставка предметов национального быта напоминала музей. Разглядывая пестрые шерстяные шали — «виллайне», каменные топоры, палицы и пасталы, Волдис улыбался ребячески наивным стараниям пылких патриотов возродить в Латвии культуру каменного и бронзового веков.

Через полчаса стала появляться публика. Среди прогуливающихся мужчин, дам, девушек и юношей Волдис узнавал известных людей. Писатели, поэты, ученые, политические деятели, издатели, редакторы и обыкно-

венные смертные проходили мимо Волдиса. Все эти люди были знакомы между собой, все они здоровались друг с другом, обменивались улыбками и вопросами, останавливались, мужчины целовали дамам руки, дамы смеялись и шли дальше. Как большая дружная семья, щебетала вся эта пестрая толпа. Благоухала парфюмерия. Блестели покрытые лаком ногти.

Став к сторонке, Волдис рассматривал скользивший мимо него людской поток. Так вот каков латышский литературный мир! Улыбающиеся физиономии, деловые лица коммерсантов, черные смокинги, длинные шелковые платья со шлейфами. Волдис оглядел себя в зеркало: нет, внешне он почти не отличается от толпы. Костюм сидел на нем как следует, ботинки блестели, галстук был куплен за океаном, в Нью-Йорке. Но у него не было ни одной золотой вещицы — ни перстня, ни часов, ни очков в золотой оправе или вечной ручки. А когда Волдис взглянул на свои натруженные руки с коротко остриженными, не очень чистыми ногтями, он почувствовал себя как введенная в комнату лошадь. Это усугубило чувство одиночества; его охватил гнев, презрение к этим изящным людям и досада на себя за то, что пришел сюда.

«Мне здесь нечего делать», — сказал он себе.

Он заметил поблизости солидную фигуру известного писателя, выступавшего с гордым сознанием собственного достоинства, написанным на его высокомерной физиономии. В эту минуту Волдис почувствовал на себе чей-то взгляд. Он не обратил на это внимания, но спустя мгновение опять почувствовал, что на него смотрят.

«Кто здесь может мною интересоваться?» — подумал он и рассеянно оглянулся. Но тот, кто так пристально смотрел на него, уже отдалился, увлекаемый потоком гуляющих.

«Посмотрим, с кем мы имеем дело», — подумал Волдис и стал внимательнее всматриваться в лица проходивших мимо людей.

Раздался первый звонок. В этот момент кто-то слегка прикоснулся к плечу Волдиса, до него донесся аромат увядающих цветов. Рядом с собой он увидел ослепительно белые плечи, ярко-красные губы, черные брови и сверкающие зубы.

— Я, вероятно, должна буду прийти на помощь вашей памяти, господин Витол? — весело рассмеялась женщина.

Волдис покраснел и неловко поклонился красивой даме.

— Нет, в этом нет необходимости... госпожа Милия. Должен признаться, что я действительно не ожидал вас встретить.

— И я вас тоже. Если не ошибаюсь, мы с вами не виделись с тех пор, как... ну, когда это было? (Каким он стал мужественным, загорелым! Но *тогда* он был со мной не очень вежлив.)

— Со времени вашей свадьбы...

Госпожа Пурвмикель чуть покраснела, но тут же, преодолев чувство неловкости, задорно откинула голову и пристально взглянула Волдису в лицо.

— Скажите, где вы пропадали все эти годы? Никто ничего не знал о вас.

— Приятно слышать, что мое отсутствие было замечено.

— Пройдемся немного? — сказала Милия, так как на них уже начали обращать внимание.

— Как вам угодно...

Они медленно сделали несколько кругов по фойе. Часть публики уже направилась в зал, и они смогли несколько минут поговорить без помехи. Отвечая на вопросы Милии, Волдис рассказал ей кое-что из своих приключений. Милия несколько раз прерывала его восхищенными возгласами:

— Как, вы были в Нью-Йорке? Это замечательно! И во Флориде, этой американской Ривьере, куда съезжаются самые известные богачи? Как чудесно! Я вам завидую. Если бы я была мужчиной, ни одного дня не сидела бы на месте. За всю жизнь я ни разу не выезжала из Латвии. Здесь можно задохнуться от скуки.

— Непохоже, чтобы в Риге не было развлечений.

— О них не стоит и говорить. Все здесь надоело до тошноты, все однообразно, повторяется без конца. Ничего необычного, нового, свежего. Может быть, вы теперь внесете какие-либо перемены.

— (Какие перемены она имеет в виду?) Как поживает ваш муж?

— Его только что назначили вице-министром.

— Ого! Значит — превосходительство?

С минуту они молчали. Волдис о чем-то думал, нервно покусывая губы, затем решился и спросил:

— Я нигде не могу найти Карла... Карла Лиепзара... Может, вы что-нибудь знаете о нем? Уж не умер ли он за это время?

Лицо Милии покрылось красными пятнами. Она кинула на Волдиса быстрый недовольный взгляд и немного помолчала, затем произнесла тише и с некоторым оттенком досады:

— Я тоже за все эти годы видела его всего один раз, примерно год назад... случайно встретила его на улице. Он выглядел окончательно опустившимся, настоящим... бандитом... Вы останетесь в Риге или опять уедете? — Милия пыталась переменить тему разговора.

— Не знаю, еще не думал об этом. Умирать с голоду даже на родине не хочется.

— Ну что вы! Вы все же меня как-нибудь навестите? Прошу вас, не отказывайтесь!

Она назвала адрес и не успокоилась, пока Волдис не записал его. После второго звонка она протянула руку и, очень мило улыбнувшись, вошла в зал и села рядом с мужем, оживленно беседовавшим о современном искусстве. Говорили о Бернской конвенции и о том, почему Нобелевская премия присуждена умершему поэту, тогда как было столько живых, готовых получить ее по заслугам.

Волдис, разыскав свое место, стал думать о разговоре с Милией.

Раздался третий звонок. Волдис стал опять рассматривать окружавшую его публику.

В первых рядах он увидел много писателей и поэтов, весь латышский литературный мир явился сегодня сюда. Когда унялось общее покашливание, в зале воцарилась тишина, раскрылись блокноты, — ибо здесь было принято делать заметки по поводу прослушанных выступлений: это должно было свидетельствовать о сознательном интересе.

На сцену вышел высокий юноша с пышной шевелюрой и худощавым, монгольского типа лицом. Он самоуверенно остановился посреди сцены, не спеша достал несколько листков бумаги, перебрав их — от-

кашлялся, затем, засунув одну руку в карман брюк, расставил ноги; помолчал еще немного, давая возможность публике хорошенько разглядеть себя, и наконец начал читать весьма пессимистическое стихотворение о себе самом. Он говорил о своих страданиях, о муках голода, о своих лохмотьях (на нем был хороший бостоновый костюм), о любви, разочаровании, о ненависти к женщинам, ко всему на свете. Когда он кончил, публика восторженно зааплодировала ему.

Потом читали другие.

Волдис с удивлением слушал, как хорошо одетые, сытые парни сокрушались о тяжелой жизни и смертельно тосковали. Чем больше отчаяния и бессильной печали было вложено в стихи, тем с большим воодушевлением аплодировала публика. Молодые поэты словно старались перещеголять друг друга — не столько в новизне рифмы, сколько в безнадежности отчаяния, так нравившегося публике. Волдис не мог понять этого искусственного, лживого пессимизма, этих беспричинных стенаний, этого любования несуществующими страданиями и больше всего — публичного выворачивания своей души, которым с инстинно театральной жестикуляцией занимались темпераментные юноши.

Наконец, совершенно неожиданно какой-то поэт поразил слушателей суровыми, полными сарказма и гнева стихами о борьбе, о близком торжестве правды и о багряной утренней заре после темной ночи. В последних строфах прозвучала угроза. И когда он кончил, мужчины сделали вид, что усиленно сморкаются, а дамы стали рыться в своих сумочках. В зале почувствовалось замешательство; было такое ощущение, как будто в порядочном обществе кто-то осмелился вдруг сказать непристойность. Заметив это, Волдис подумал: как эти люди боятся всего нового, как упрямо, почти болезненно цепляются за старое, консервативное. Мещанство походило на пожилую женщину, у которой давно уже ослабло зрение, но которая ни за что не хочет носить очки, чтобы не выдать свою близорукость; она натыкается на окружающие предметы, ушибается, становится смешной, но упорно стоит на своем.

У этой публики не было своих суждений, на ее симпатии и антипатии влияла не объективная оценка, а приспособление к моде. Те, кто был призван давать

оценку искусству, заточали его, как канарейку, в красивую клетку, и оно обязано было услаждать своих владельцев. Вся жизнь здесь проходила под знаком лжи и притворства: жизнерадостные, веселые, обеспеченные юноши разыгрывали пессимистов; жадная до наслаждений буржуазия пренебрежительно говорила о бренности всего житейского, о величии отречения, а в антрактах Волдис видел, как эти мирские печальники весело болтали с девушками, посасывая конфеты. Они, как актеры после спектакля, за сценой снимали трагическую маску и превращались в приятных, общительных людей.

Ложь витала повсюду. Волдис чувствовал ее здесь во всем, не только в искусстве, не только среди писателей — вся новая история Латвии казалась пронизанной ложью. Волдис с отвращением вспомнил бесчисленные случаи, когда в обществе и печати люди похвалялись той ролью, которую они сыграли в событиях 1905 года: люди, которые действительно в 1905 году, подхваченные революционным подъемом, что-то делали, боролись и страдали — одни в большей, другие в меньшей степени, — за долгие годы превратились в оголтелых реакционеров, разбогатели, стали самыми алчными дельцами, словно издеваясь над своими прежними благородными стремлениями. Но повсюду, где бы ни появлялись, они не переставали говорить о своих заслугах в 1905 году. За этими заслугами, как за розовой маской, прятали они свое сегодняшнее лицо. Стоило кому-нибудь заикнуться об их теперешних гнусных проделках, как они каркали:

— Вспомните 1905 год, неблагодарные!

...После перерыва выступления возобновились. Появились более солидные и уважаемые личности. Вышел на эстраду и Пурвмикель. Волдис с трудом узнал его: поэт заметно потучнел, у него появился второй подбородок, а волосы стали значительно короче и реже. Публика явно аплодировала не стихам Пурвмикеля, а его положению и ловко сшитой визитке. В нескольких шагах от себя, в первом ряду, Волдис видел белые плечи Милии. «Не знаю, пойду ли я к ней, — думал он. — Что ей от меня нужно? Не для того я вернулся в Ригу, чтобы стать ее любовником».

Публика утомилась и с трудом следила за послед-

ним отделением программы, а когда оно окончилось, все почувствовали облегчение. Оживленно болтая, толпа хлынула в гардероб. Волдис пробрался кое-как к дверям и остановился, сам не зная почему. Мимо него медленно двигался людской поток. Под руку с Пурвмикелем показалась закутанная в меховое пальто Милия. Она заметила Волдиса, улыбнулась, кивнула головой и вышла. У подъезда стояла вереница машин.

Около полуночи Волдис вернулся на пароход. Он устал и ему наскучило все, что он слышал.

— В такую слякоть не стоило сходить на берег, — сказал вахтенный матрос, увидев мрачное, нахмуренное лицо Волдиса, и тут же поспешил сообщить, что на корабле женщины.

— Да? Ну понятно, где их только нет.

— Они зашли к дункеману. Андерсон сам позвал их наверх.

Волдис, ничего не ответив, направился в кубрик, постучал в каюту Андерсона:

— Открой!

В каюте раздавался смех. Андерсон открыл дверь и впустил Волдиса.

— Видишь ли... дело в том, что девочки шли мимо... — мямлил он по-английски, словно оправдываясь, и показал глазами на двух женщин, которые, сняв пальто, грелись у радиатора. Андерсон ждал какой-нибудь язвительной шутки, но Волдис не сказал ни слова. Стряхнув снег с пальто, он сел в углу каюты.

Это были те самые женщины, которых Волдис встретил вечером.

— Что я с двумя стану делать? — продолжал Андерсон. — Маленькой придется перебраться к матросам. Рогачи требуют ее к себе.

Он все еще продолжал говорить по-английски, и маленькая не догадывалась, что речь идет о ней. Пьяная, она устало взглянула на вошедшего, не узнав его.

— Я пойду на берегу, Молли, — лепетала она подруге, — оставайся одна.

— Что ты болтаешь!.. — проворчала высокая. — Все уладится.

Маленькая надолго закашлялась, зажав носовым платком рот. Когда кашель унялся, Волдис заметил на белом носовом платке красные пятна. Теперь, при свете,

он увидел, насколько жалка эта девушка. Он всматривался в ее странно знакомые черты — и не хотел верить себе. Вспомнилась девушка с улицы Путну, маленькая Лаума... Неужели это в самом деле она? Встречаются иногда люди, поразительно похожие друг на друга. Случайно он бросил взгляд на руку девушки: она была слегка искривлена в локтевом суставе.

Теперь Волдис уже не сомневался, что это Лаума. На душе стало тяжело; склонив голову на грудь, он глубоко задумался.

* * *

— Если маленькая не имеет ничего против, пусть она идет ко мне, — сказал Волдис, поднимаясь.

Никто не догадывался, какую внутреннюю борьбу он перенес, прежде чем решился на это: Волдис не боялся насмешек товарищей по поводу внезапной его перемены — ведь все знали его как серьезного, сдержанного парня, — и все же где-то в глубине сознания таился протест против такого поступка. Он понимал, что лучше всего оставить девушку в ее нынешнем положении, к которому она привыкла, — встреча с бывшим другом заставит ее страдать еще больше; но когда он представил Лауму в матросском кубрике в объятиях рыжего алкоголика Петерсона, его охватила глубокая жалость. Этого нельзя допустить!

У Волдиса была собственная каюта в несколько квадратных метров. Прежде здесь жили двое, и сейчас еще были две койки, но с наступлением большого кризиса пароход ходил с уменьшенным штатом людей, поэтому помещение целиком предоставили боцману.

— Ну, маленькая, пойдешь со мной? — обратился Волдис к Лауме.

Девушка сразу поднялась и повисла у него на шее; он почувствовал прикосновение ее пылающего лба.

— Что с тобой, у тебя голова болит? — спросил он, ощупывая ее лоб.

— Нет, буби, у меня ничего не болит! — с усилием улыбнулась она. — Мне просто стало жарко возле радиатора. Ты боишься заразиться? О, я вполне здорова. Хочешь, покажу карточку?

Но лоб ее горел как в огне. Волдис взял ее маленькую

влажную руку и, как ребенка, повел к себе. И она с детской доверчивостью ласково улыбалась, идя за ним в темноте.

Волдис впустил ее в свою каюту, а сам сходил в камбуз за водой. Вернувшись, он помог Лауме снять грязную, мокрую обувь, — Лаума была очень пьяна и не могла расстегнуть ботики и туфли. Пока она умывалась, Волдис вышел из каюты. Прохладная вода совсем не освежила Лауму, худенькое лицо ее горело болезненным румянцем, на лбу и носу блестели мелкие капли пота. Хотя в каюте было жарко, Лаума, дрожа, куталась в пальто.

— Ах, буби, какой ты милый! — она протянула руки навстречу Волдису, когда он возвратился в каюту. — Нет ли у тебя сигареты?

— Нет, но я могу попросить у кого-нибудь.

— Нет, нет, нет, не нужно! — с жаром воскликнула она, но сразу же ослабела и, ссутулившись, стала напевать про себя какую-то песенку, пока ее не прервал приступ кашля; когда он кончился, Лаума, словно прося прощения, улыбнулась Волдису. Он сел рядом с ней на коричневый бельевой ящик, она пододвинулась к нему и, как котенок, прижалась к его груди. Она была такая маленькая, хрупкая, миниатюрная. Когда Волдис обнял и легким, бережным прикосновением прижал к груди ее голову, Лаума словно очнулась и порывисто прильнула к нему. Они молчали.

И вдруг маленькое создание вспомнило свою роль — в ней пробудились профессиональные привычки, ожили заученные движения и приемы; она взвизгнула, как обрадованная собака, немного помолчав, взвизгнула опять — громко, резко, болезненно; нельзя было определить, что звучало в этом визге — смех или слезы. Потом она сникла, обессиленная, надломленная, задыхаясь от недостатка воздуха.

Волдис закусил губу. Так вот что они сделали с этой девушкой! Он откинул волосы со лба Лаумы и грустно улыбнулся, глядя в ее лихорадочно блуждающие глаза. Грудь у него сдавило, и он отвернулся, чтобы девушка не заметила его волнения. Но это было напрасно: когда он опять повернулся к Лауме, она уже заснула, как ребенок посреди игры. Подождав, когда Лаума окончательно заснет, он поднял ее и уложил на койку.



Укутав девушку шерстяным одеялом и накрыв сверху своим пальто, он сел за стол и задумался.

Он просидел всю ночь, время от времени поглядывая на спящую измученную девушку.

«Как теперь быть? Что делать?»

Почему все не могло быть иначе? Если бы он тогда не уехал, Лаума никогда не дошла бы до такого состояния. Возможно даже, что ему совсем не нужно было и жениться на ней. Спокойно и независимо от нее делал бы он свое дело, но его присутствие было бы для девушки самой надежной опорой, в роковой момент он протянул бы ей руку помощи, и Лаума устояла бы... Эх!..

Волдис, стиснув голову ладонями, уставился на крышку чернильницы, словно она могла избавить его от навязчивых мыслей.

— Нет, нет, нет! — крикнула вдруг Лаума и, отчаянно сопротивляясь, замахала руками. Она сбросила пальто и одеяло, заметалась, села, озираясь расширившимися от страха глазами, не переставая бредить. Волдису с трудом удалось опять уложить ее и укрыть. Но не успел он сесть за стол, как она снова вскочила и засмеялась отрывистым мелким смешком, потом откинулась навзничь, попыталась запеть, после первых же слов забыла продолжение и, рассердившись, выкрикнула бесстыдное ругательство. Постепенно она утихла и успокоилась.

«Что *они* сделали с этим ребенком...» — подумал с горечью Волдис. Он ожидал всего, но никогда не думал, что и эту хорошую, смелую девушку постигнет такая судьба. Почему на ее месте не очутилась Милия, сластолюбивая Милия? Почему именно Лаума? Она всегда была такой чистой... ясной... А теперь... она сгорела, сожжена.

Ночь Лаума провела в тяжелом бреду. Она не приходила в сознание. Волдис еще не смыкал глаз, когда на пароходе уже началась утренняя суета: вахтенный будил людей, по палубе грохотали башмаки, дункеман Андерсон направился в котельную поднимать пары для работы лебедок. Проходя мимо каюты Волдиса, он спросил, как им спалось, и, не дождавшись ответа, что-то пробормотал, усмехнулся и ушел.

Волдис переоделся в рабочий костюм и направился

в камбуз за завтраком. Повар, не дожидаясь просьбы, положил на тарелку двойную порцию.

— Чтобы хватило на девочек, а то еще скажут, что на «Сцилле» скупой кок! — пошутил он.

Возвратившись в каюту, Волдис накрыл на стол, нарочно громко гремя посудой. Но Лаума не просыпалась.

«Неужели придется ее будить?» — подумал Волдис. Времени оставалось немного, скоро надо будет приступать к работе. Он подошел к койке и взял руку девушки, рука была горячая и влажная. Лицо Лаумы стало багровым, по щекам и шее струились ручейки пота, при каждом вдохе в груди хрипело. Вдруг Лаума вздрогнула, заметалась, открыла глаза и взглянула на Волдиса. Некоторое время она смотрела на него, затем откинулась на подушку, закинула руки за голову и, тяжело вздохнув, закрыла глаза.

— Доброе утро, Лаума... — сказал Волдис; она, казалось, не слышала. — Не пора ли вставать?

Она все молчала.

— Что с тобой, ты больна? Ну, взгляни на меня, разве ты меня не узнаешь? — Девушка облизнула губы и бессознательно поднесла руку к горлу. — Ты хочешь пить? Тогда привстань, я тебе дам воды...

Волдис приподнял Лауму. Она застонала, но, почувствовав у рта влагу, жадно начала пить, схватив стакан обеими руками.

— Ну, взгляни на меня, Лаума. Неужели ты в самом деле, не узнаешь меня? Я же твой друг, Волдис. Вспомни-ка...

Лаума взглянула на него, но не узнала.

— Нет, нет, нет! — со стоном заметалась она на узкой койке. — Я знаю... но вы должны идти позади. И где я остановлюсь... Еще нет? Тише, тише! Это мой... нет... да... одну понюшку... ну дай мне в долг один порошок.

Волдис стоял у койки и, прислушиваясь к бреду девушки, раздумывал, что ему делать. Было ясно, что Лаума тяжело больна. Оставить ее на пароходе нельзя ни в коем случае: он не сможет присматривать за больной весь день, а она в бессознательном состоянии может упасть с койки, ушибиться. Болезнь могла быть опасной,

возможно, даже смертельной, если вовремя не пригласить врача.

Волдис стал действовать. Во-первых, зашел к Андерсону и велел сонной Молли одеться и перейти в его каюту:

— Последи за ней, пока я вернусь.

Сойдя на берег, Волдис позвонил по телефону в городскую больницу и попросил выслать машину скорой помощи. Вернувшись на судно, он попросил Молли немедленно уйти и стал ждать.

Одновременно с санитарами прибыли и полицейские. Волдиса подробно допросили; неизбежные формальности поставили его в неприятное, двусмысленное положение. Собрались штурманы, капитан тоже заинтересовался случившимся, а портовые рабочие, явившиеся на работу, шныряли у дверей каюты.

Волдис хладнокровно пропускал все мимо ушей, подписал протокол и, провожаемый десятками глаз, последовал за Лаумой до машины. Девушку увезли. На пароходе загрохотали лебедки.

Волдис вернулся в каюту. Не зная, что боцман латыш, грузчики зубоскалили за его спиной. Но Волдис делал вид, что не слышит их замечаний. «У нее воспаление легких и туберкулез в последней стадии...» — думал он.

Затем Волдис направился к капитану и попросил отпуск на несколько дней. Его отпустили без жалованья до выхода в море. В распоряжении Волдиса было четыре свободных дня.

* * *

Несколько часов Волдис бродил по рижским улицам. Повсюду он видел чужие лица — такие же чужие, как и сам старый город, который возле набережной Даугавы изменился до неузнаваемости: исчезли многочисленные торговые будки и навесы, а вместе с ними — шумная жизнерадостная сутолока, пестрая толпа, которые прежде были так обычны для этого района; повсюду виднелись сломанные и полуразобранные здания, развалины, обломки кирпича, груды полусгнивших досок.

Волдис погулял по набережной, прошел мимо рос-

кошных павильонов нового рынка, завернул на барахолку и побродил там среди груд тряпья и жалких лохмотьев. Здесь грязные, жалкие, оборванные люди сбывали такой же жалкий товар, но даже самые изношенные отрепья находили покупателя. Утомленный назойливыми зазываниями, предложениями и криками торгующихся, Волдис поскорее покинул это место. Через несколько минут он очутился совсем в другом мире, — казалось, это уже была не Рига, а какой-то далекий уездный городишко. Старые, облезлые деревянные дома, чайные, мастерские ремесленников, женщины в черных плюшевых кофтах и ярких ситцевых юбках, мужчины в блестящих высоких сапогах, расшитых рубашках и шапках, напоминающих пожарные каски... Много-много нищенски одетых людей — старых, неопрятных, нечесаных, в залоснившейся одежде, с ухватившимися за руки или сидящими на руках изможденными детьми... На Волдиса пахнуло дыханием нищеты. На углах улиц стояли кучками мужчины, некоторые с пилами в руках — ждали, когда их позовут пилить дрова. Из всех окон и дверей, щелей, стен и ворот глядела горькая нужда. Волдис содрогнулся от этой картины беспомощного горя и покорного отчаяния.

Проходя мимо раскрытых ворот, он заглянул в узкий грязный двор, в глубине которого виднелся полуразвалившийся сарай или старый хлев. Однако окно с несколькими чахлыми цветами на подоконнике и желтосерое лицо старухи в окне показывали, что и здесь живут люди. Забрызганный грязью голодный серый кот плелся по двору, не обращая ни малейшего внимания на прыгающих неподалеку воробьев. Вероятно, он отлично понимал, что не в силах поймать их.

Заметив в просвете одного из переулков блеснувшие воды Даугавы, Волдис направился туда.

Порывы ветра гнали вниз по течению зеленовато-свинцовые волны. Вдали, за Заячьим островом, туман окутал излучины реки. Лодка перевозчика боролась с волнами. Со всех сторон к воде льнул черным смыкающимся кольцом покорный, отчаявшийся город. Сколько страданий, разбитых надежд, незаслуженного несчастья, несбывшихся чаяний, грубо растоптанных мечтаний таили эти стены! И в то же время как много грозной силы было в них скрыто! Сила, которая сегодня

еще позволяла топтать себя, презирать, оплевывать, обманывать, с каждым днем становилась все более зрелой и могучей.

Волдис понимал, какая громадная задача стоит перед ним — помочь разбудить эти дремлющие силы! Знания, приобретенные им ценой тяжелой жизни, он должен распространять дальше и дальше.

Если бы он был писателем, сколько добра принес бы он людям! Писатель казался ему фильтром, сквозь который проходят впечатления действительности, очищаясь от посторонних примесей и в то же время принимая отпечаток личности художника.

Пообедав в портовой столовой, Волдис поехал в городскую больницу. Посетителей еще не впускали, и ему пришлось удовольствоваться сомнительными сведениями, полученными от персонала барака. Лауме сегодня не хуже, сказали ему. Это означало, разумеется, что ее состояние по сравнению со вчерашним ухудшилось. Оставив больной несколько апельсинов и гроздь винограда, Волдис ушел.

Падал мокрый снег, по водосточным трубам, журча, бежала вода, на тротуарах образовалось жидкое месиво из снега и воды. Новое светлое пальто Волдиса покрылось снегом, шляпа стала тяжелой, ботинки промокли, и ноги озябли.

* * *

Пока Волдис ходил по городу, устраивая свои дела и переживая одно разочарование за другим, Лаума медленно, но неотвратимо таяла. Она слабела с каждым днем. Похудевшая до неузнаваемости, беспомощная и маленькая, она сгорала от беспощадной болезни.

Когда Волдиса пустили в больницу, кровать Лаумы уже вынесли в отдельную палату. Итак — развязка приближалась.

Она настолько ослабела, что у нее не было даже силы бредить. Только вялые протяжные стоны, похожие на мычание, иногда вырывались из ее груди.

Время, отведенное для посетителей, кончалось, а Лаума ни разу не открыла глаза. Волдис понял, что видит это исхудавшее личико в последний раз. Мысль о том, что Лауме придется мучиться в агонии совсем

одной или на руках чужих, равнодушных людей, наполнила сердце Волдиса несказанной горечью. Где ее родители, где все те, кто прибегал к ее ласкам? Она умирает покинутая, как бездомная собака, а потом, если не придет никто из близких, ее труп возьмут в анатомичку.

Волдису разрешили остаться у Лаумы до вечера. Проходили часы. По временам в палату являлась сиделка, проверяла, есть ли питье в стакане, поправляла подушки, одеяло и исчезала. Они остались совсем одни в маленькой комнатке, где все — стены, потолок, посуда, белье, мебель и лица людей — было одинаково бело. Сквозь занавеску пробивался вечерний сумеречный свет, в углах комнаты сгущались бесформенные тени. Кругом царила глубокая тишина...

До руки Волдиса дотронулись горячие, худые до прозрачности пальцы. На него смотрели два огромных глаза, но взгляд девушки был устремлен куда-то мимо него; еле заметно зашевелились губы. Волдису пришлось нагнуться, чтобы уловить какой-нибудь звук, но и тогда он ничего не разобрал.

— Ты узнаешь меня? — спросил он тихо, чтобы не услышала сиделка и не помешала их последнему разговору.

Лаума слегка кивнула головой и слабо улыбнулась.

— Ну, видишь, я вернулся...

Пальцы девушки тихонько касались руки Волдиса. Это была ласка, нежная, как дуновение легчайшего ветерка. Волдис придвинулся поближе, чтобы Лаума могла его лучше видеть и чтобы слышать тихий шепот друг друга.

— Ты знаешь... что стало... со мной? — спросила она.

— Я знаю, я догадываюсь, какая ужасная судьба тебя постигла.

— И ты меня... за это... не...

Волдис с волнением гладил ее маленькую руку. Лаума, не отрываясь, смотрела на него, в ее глазах показались слезы. Но зная, какую боль причинит Волдису вырвавшееся рыдание, она собрала последние силы и успокоилась.

— Если бы ты знал, как я тебя ждала... все время... Не надеялась... ничего не знала... и все-таки ждала.

— Если тебе трудно говорить, не говори. Я пойму все и без слов.

— Нет, Волдис... мне нечего больше беречься... это не поможет. А я хочу, чтобы ты все знал... чтобы не думал плохо обо мне... Нагнись поближе... еще ближе... если ты не боишься заразиться... Так.. положи руку мне на лоб... Теперь хорошо... Слушай...

Короткими, отрывочными словами, подолгу отдыхая, тихим, слабым голосом она ему рассказала о своей несчастной жизни. Сердце Волдиса замирало, и грудь щемила острая боль, когда он слушал ее признания. Перед его глазами прошла вся чудовищная картина унижений, вонючее болото, по которому пришлось шагать девушке, презрение, сопровождавшее ее на каждом шагу... И когда она еще раз спросила его шепотом, не презирает ли он ее, Волдис готов был зарыдать, но сдержался и нежными, ласковыми словами старался успокоить свою маленькую подругу.

Лаума хотела рассказать и про Карла, но короткий проблеск сознания, подаренный ей природой, окончился, и та же природа, которая заставляет человека почувствовать страдания и радости жизни, заботливо окутала сознание девушки туманом, когда перед ней раскрылись бездны небытия.

В палате появились чужие люди, санитарки, врачи. Они шепотом говорили между собой, ощупывали руки умирающей, что-то делали, приносили, уносили. Волдис стоял не двигаясь и не спуская глаз с лица, покрывшегося капельками холодного пота, он не выпускал из рук медленно остывающие пальцы девушки и не обращал внимания на то, что ему говорили окружающие. Он остался возле Лаумы до самого конца. Она заметалась, оказывая последнее сопротивление смерти, из ее груди вырвалось несколько хриплых звуков, последний вздох — и она умерла...

* * *

Навстречу Волдису дул свежий ветер, когда он вернулся в порт. В одном углу гавани, где течение было спокойнее, мороз затянул ночью воду тонкой ледяной корочкой. Мальчишки, забавляясь, кидали на лед мел-

кие камешки и радовались, когда они катились до самой воды.

«Как ничтожно мало иногда нужно, чтобы человек был счастлив... — подумал Волдис. — И тем не менее как еще мало радости в жизни людей, несмотря на их нетребовательность».

Он почувствовал себя утомленным, немного болела голова. Добравшись до парохода, он сразу же хотел улечься на койку и хорошенько выспаться, но из этого ничего не вышло: не успел Волдис снять пальто, как в дверь его каюты постучал вахтенный:

— Алло? К тебе гость с берега, впустить?

— Кто там? — спросил Волдис.

— Не знаю. Иди посмотри сам. Он говорит, что твой хороший знакомый, но кто его знает, — я не пустил его на трап.

Волдис вышел на палубу и взглянул на человека, переминавшегося внизу у трапа. Когда тот повернул лицо к свету, Волдис сразу узнал Карла Лиепзара.

— Карл, старина! — воскликнул он. — С каких это пор ты стал таким стеснительным? Заходи сюда!

— К тебе труднее попасть, чем к губернатору, — отозвался Карл. — Этот цербер сначала не хотел и разговаривать со мной. Давно ли на судах такие строгости?

— С тех пор, как в портах всего света безработных стало больше, чем работающих, — ответил Волдис. — Сытым неприятно смотреть в глаза голодающих.

Крепко, с суровой мужской задушевностью они трясли друг другу руки, оглядывая один другого с ног до головы. Карл поздоровался и с «цербером» — неразговорчивым вахтенным, который оказался добрым малым, затем последовал за Волдисом в каюту.

— Ну, как поездил по белу свету? — спросил он, улыбаясь, и сел на скамейку. — Понравилось?

— Хлеб везде с коркой, — ответил Волдис. — И здесь и за океаном — везде рабочий только рабочий, и везде его обворовывают и притесняют. Разница лишь в том, что в одном месте над ним издеваются на английский манер, в другом на французский, в третьем на немецкий и так далее. Только в одной стране над рабочим не издеваются, потому что он там хозяин. Ты знаешь, где?

— Да, знаю... — промолвил Карл. — Но то, что есть в одной стране, может быть и в других, если только

трудовой народ сильно этого пожелает — так сильно, что не побоится ни борьбы, ни жертв.

— Теперь я понимаю, — прошептал Волдис и взглянул Карлу в глаза. — Нужно очень сильно пожелать. Нужно забыть о себе и не бояться трудностей борьбы.

— Ты хочешь этого?

— Только для того я и вернулся в Ригу. Завтра уйду отсюда и останусь на берегу. Может быть, в Латвии найдется дело и для меня.

— Если ты все до конца продумал и не сомневаешься, тогда найдешь себе и дело. Обязательно найдешь!

Потом они рассказали друг другу о своей жизни за время разлуки, ничего не утаивая и не приукрашивая. Когда все было рассказано, в каюте на некоторое время воцарилось молчание. Разными путями они оба пришли к одному и тому же. Обоим им было сейчас ясно, что дальнейший путь у них может быть только один. Это тяжелый и опасный путь, сегодня еще никто не мог сказать, когда он приведет к цели и окажутся ли они в числе тех, кто своими глазами увидит достигнутую в суровой борьбе цель, — но это уже не имело значения. Важно было то, что они поняли великую историческую правду и нашли свое место в рядах борцов. Теперь их существование приобретало смысл и они знали, для чего живут.

— Знаешь, кем мы были все это время? — заговорил первым Карл. — Птицами без крыльев. Тоска по полету, по прекрасному, по свободе всегда была свойственна нам всем — тебе, Лауме, мне. Но у нас не было крыльев, которые подняли бы нас ввысь и понесли над болотами и трясинами. И мы только тлели — беспомощные, жаждущие прекрасного, свободы и справедливости. Мы умели только мечтать и тосковать. Но от тоски еще никто не стал свободным и счастливым. Тоскуя и мечтая, нельзя построить новый мир. Даже наш гнев, пока он бездеятелен, никому не приносит ничего хорошего, — пока держишь кулак в кармане, никому он не страшен. Но теперь, Волдис, теперь все будет по-другому. Жаль Лауму, она сломилась рано, иначе и она была бы с нами. У нее не успели вырасти крылья. Но у нас они выросли, и от нас самих, от нашей воли, от нашей силы и мужества будет зависеть высота нашего полета.

— И дальность этого полета... — добавил Волдис. — Очень может случиться, что некоторые из нас не доберутся до далекого счастливого берега, но многие доберутся, и в дни победы они вспомнят и о нас, если мы погибнем в трудном пути. Для достижения великой цели есть смысл пожертвовать жизнью. Так ведь? — Понизив голос, он спросил: — Ты мне поможешь скорее вступить в строй? Я не хочу больше терять ни одного дня. Я не прошу для себя каких-то почетных заданий. Что мне прикажут, то и сделаю, пусть это будет тяжелой, непривлекательной работой — лишь бы она служила на пользу нашему общему делу.

— Я тебе помогу, тебе не придется долго ждать, — сказал Карл. — Поговорю с товарищами, и постараемся подыскать такие поручения, которые тебе больше всего подходят.

Они расстались, условившись встретиться на другой день вечером. На следующий день Волдис получил расчет на пароходе, снес свой мешок на улицу Путну, где он снял комнату, и вечером отправился на окраину города, где должен был встретиться с Карлом.

Во всех концах города, в порту, на фабриках завыли сирены, — выли протяжно, резко и повелительно.

Под этот пронзительный вой люди просыпались каждое утро, а вечером, усталые, разбитые, кончали работу. И из поколения в поколение люди страдали в жестоком ярме. Земля пропиталась кровавым потом. Но многие уже видели и знали, что ночь, длившаяся тысячелетия, близится к концу и час рассвета недалек.

Дойдя до условленного места, Волдис остановился и прислушался, как гудел и бурлил город, полный близких и далеких шумов, сдерживаемого гнева и назревающей, но еще пассивной силы. Дальше за городом раскинулись поля, леса и болотистые луга, там жило стойкое, упорное, трудолюбивое племя. Волдис думал о всех тех, кого держали в своем плену серые стены города, и о тех, кто ожесточенно боролся с суровой природой на просторах своей родины, — думал обо всем угнетенном человечестве, чей ежедневный труд животворил громадную планету.

«Наступит день, когда не будет больше избранных и отвергнутых, когда никто никого не будет унижать, —

это будет солнечное время великого братства, свободы и справедливости, — мысленно говорил себе Волдис, который сегодня еще был отверженным и униженным. — Удивительно прекрасный мир построит себе человечество, но оно не успокоится на достигнутом, оно будет строить дальше свою жизнь, делать ее еще краше, чтобы людям жилось еще лучше на земле. Плохо, что колесо истории вращается слишком медленно: наше сознание и мечты опережают время. Надо заставить его вращаться быстрее; все, у кого есть сила и отвага, должны приложить свои руки и помочь истории. Надо, надо...»

В сумерках навстречу ему шел сильно прихрамывающий человек. Поздоровавшись с Волдисом, Карл Лиепзар повел его в сторону от маленьких домиков, за город, к темневшей опушке соснового леса.

Когда они дошли до опушки и Карл свернул с асфальтированной дороги на узкую тропинку, протоптанную собирателями грибов и шишек, Волдис спросил его:

— Куда ты меня ведешь?

Идя впереди него и не оборачиваясь, Карл ответил:

— К твоим товарищам... У них крепкие, сильные крылья, и они не боятся самых дальних и трудных полетов.

— Я тоже не боюсь... сегодня уже не боюсь... — ответил Волдис.

В лесу их ожидало несколько человек. И хотя Волдис видел их в этот вечер впервые, они жали ему руку, как старому знакомому, дружески улыбались и говорили:

— Это хорошо, что ты пришел.

И Волдису показалось, что он уже давно знаком с ними, что после долгого отсутствия он встретил дорогих старых друзей и товарищей, которых ему все время недоставало.

Кончились одинокие скитания, а с ними — постоянное чувство беспомощности и подавленности. Впервые в жизни Волдис почувствовал свою силу, и он рос от этого сознания — настолько могущественна была эта сила, настолько неисчерпаема и неутомима, — ибо то была сила коллектива. Перед ней не устоят никакие крепости врага, теперь он это твердо знал.

Рига, 1931—1933

КОММЕНТАРИИ

Трилогия «Бескрылые птицы» впервые была опубликована в газете «Социалдемократс» (с № 95 1931 г. по № 168 1932 г.).

Отдельными книгами романы трилогии вышли в 1939 году («Пятиэтажный город») и в 1940 году («По морям» и «Бескрылые птицы»). Издания 1939 и 1940 годов подверглись жестокой цензуре — в них были вычеркнуты все наиболее острые в политическом и социальном отношении места.

Подготовляя романы к изданию отдельными книгами, Вилис Лацис внес в них ряд исправлений. Он исключил из романа указания на попытки Волдиса Витола заниматься литературой, а также выбросил ряд малозначительных и натуралистических эпизодов, много внимания уделил редактированию произведения с точки зрения стиля и языка. В результате романы выиграли композиционно и стилистически, однако, из-за вмешательства цензуры, проиграли в идейном отношении, в значительной мере утратив политическую остроту.

Сразу же после Великой Отечественной войны писатель стал готовить новое издание трилогии. За основу была взята первая, не изуродованная цензурой публикация романа в газете «Социалдемократс». Вновь редактируя трилогию, а также внося в нее некоторые дополнения, Вилис Лацис добивается ясности и полнозвучности идейной концепции произведения. В 1949 году все романы трилогии впервые были изданы одной книгой под общим названием «Бескрылые птицы». Это было первое советское издание трилогии и в то же время третья ее редакция. Автор подверг текст стилистической правке, отказался от отдельных натуралистических и эротических деталей. В этом издании Вилис Лацис получил, наконец, возможность более широко и конкретно показать те социальные явления в капиталистическом обществе, о которых в буржуазной Латвии можно было говорить только вполголоса. Так, например, более развернутое изображение получила стачка портовых рабочих

в «Пятиэтажном городе», была пополнена характеристика пролетариата Манхаттена в романе «По морям», детальнее рассказано об установлении Карлом Лиепзаром связи с борцами революционного подполья в романе «Бескрылые птицы».

В 1953 году трилогия была издана на русском языке. Это уже четвертая редакция трилогии; автор, учитывая контингент читателей, сделал некоторые исправления редакционного характера и сокращения — главным образом за счет эпизодов, касающихся локальных явлений жизни досоветской Латвии, которые не представляли интереса для читателей других республик. Для этого издания Вилис Лацис написал также введение, охарактеризовав историю написания трилогии и условия, в которых она создавалась.

После этого романы неоднократно издавались как на латышском, так и на русском языках. Они включены во все собрания сочинений Вилиса Лациса. Трилогия переведена на азербайджанский, литовский, украинский, эстонский, болгарский и другие языки.

Романы трилогии инсценированы и показаны на сценах латышских театров. 27 ноября 1960 года состоялась премьера спектакля «Бескрылые птицы» в Государственном Валмиерском театре драмы им. Л. Паэгле (инсценировка первой части трилогии). Автором инсценировки и режиссером был П. Луцис, оформляли спектакль художники Г. Земгал и Я. Пелш. Роль Волдиса Витола исполнял З. Мисинь, Карла Лиепзара — Р. Зебергс, Лаумы Гулбис — И. Эргле.

Вторично театральную жизнь трилогия обрела на сцене Государственного академического театра драмы Латвийской ССР имени Андрея Упита. 26 декабря 1970 года здесь состоялась премьера спектакля по первой части трилогии («Пятиэтажный город»), а 20 января 1971 года — третьей части («Бескрылые птицы»). Инсценировал обе части А. Лининь, ставил спектакли режиссер А. Яунушан, оформлял художник Г. Земгал. Роль Волдиса Витола исполнял Ю. Каминскис, Карла Лиепзара — Г. Цилинский, Лаумы Гулбис — Э. Дуда.

Стр. 32. *Отец лежит в Тирельском болоте.* — Тирельское болото находится западнее Риги (к югу от Кемери); во время первой мировой войны здесь проходила линия фронта между XII армией царской России, в составе которой были латышские стрелковые полки, и немецкими войсками; в происходивших здесь тяжелых боях погибло много латышских стрелков.

— *Банды Бермондта* — армия русского белогвардейца П. Бермондта («князя» Авалова-Бермондта), сформированная летом 1919 года в Курземе германскими империалистами из нахо-

дившихся в немецком плену русских солдат и контрреволюционно настроенных немецких добровольцев (осенью 1919 года в нее были включены все германские войска, находившиеся в Латвии и на западе Литвы). Целью германских монархически-монополистических кругов, создавших и вооруживших армию Бермондта, численность которой превысила 50 тыс. человек, было под видом борьбы с революцией добиться утверждения господства Германии в Прибалтике и, в случае удачи, попытаться восстановить прогерманский монархический режим в России. Банды Бермондта грабили и жгли латвийские селения и города, зверски убивали трудящихся Латвии. Войска Бермондта были разгромлены армией буржуазной Латвии при поддержке англо-французского военного флота осенью 1919 года под Ригой, и к концу года их остатки бежали в Германию.

Стр. 33. *«Яунакас зиняс»* («Последние новости») — буржуазная газета; выходила в Риге с 1911 по 1940 год.

Стр. 35. *Айзсарги* — в буржуазной Латвии члены военизированной организации, находившейся под влиянием кулацкого «Крестьянского союза». Формирования айзсаргов, типа гитлеровских штурмовиков, являлись опорой фашистской диктатуры Ульманиса. В годы Великой Отечественной войны бывшие айзсарги на временно оккупированной территории Латвии тесно сотрудничали с гитлеровскими захватчиками.

Стр. 38. *Задвинье* — часть города Риги, расположенная на левом берегу Даугавы (Западной Двины).

Стр. 42. *...за конторой Аугсбурга.* — «А. Аугсбург» — пароходное акционерное общество в Риге, владевшее речными судами. Этому акционерному обществу принадлежала в Риге также небольшая верфь. Контора общества находилась на набережной Даугавы.

Стр. 43. *Андреевская гавань* — часть Рижского морского торгового порта у нынешнего Рижского морского вокзала и несколько ниже его по течению Даугавы.

— *Царский сад* — в настоящее время сад Виестура. Находится недалеко от берега Даугавы, между улицами Рупниецибас, Ханзас и В. Лациса. Первый публичный парк в Латвии; заложен в 1721 году по планировочным эскизам Петра Первого. В честь Петра Первого он и получил свое первоначальное название — Царский сад.

Стр. 47. *Старая Рига* — древнейшая часть Риги, прилегающая к реке Даугаве. В XIII—XIX веках ее окружали городская

стена и вал. Здесь сохранился ряд ценных историко-архитектурных памятников.

— *Бастионная горка.* — В 1857—1859 годах, когда были уничтожены рижские городские укрепления, причем был срыт окружавший Старую Ригу земляной вал, на месте одного из бывших бастионов был насыпан холм, ставший частью пояса зеленых насаждений вдоль городского канала. Этот холм получил название Бастионной горки.

Стр. 61. *Улица Бруниниеку* (Рыцарская) — современная улица Сарканармияс (Красноармейская).

— *Улица Маршинская* — ныне улица Суворова; в годы буржуазной Латвии на этой улице было много мелких частных магазинчиков, а также заезжих дворов для крестьян.

Стр. 63. *Пасталы* — легкая самодельная обувь латышских крестьян, изготовленная из цельного куска кожи без швов; на ноге закреплялась веревочкой или полоской кожи, продетой в отверстия на краях пастал.

— *Попов* — фирма по торговле скобяными товарами «Братья Поповы»; имела в досоветской Риге несколько магазинов.

Стр. 68. *Лат* — денежная единица в буржуазной Латвии (в 1922—1940 гг.). Лат равнялся 100 сантимам.

— *Кварт.* — В 20-х годах в буржуазной Латвии одновременно имели хождение как латвийские рубли (казначейские билеты выпуска 1919 г.), так и введенные вместо них (начиная с 1922 г.) латы (1 лат, или 100 сантимов, был приравнен к 50 латвийским рублям). Монету в 50 сантимов в это время по аналогии с царской 25-копеечной монетой (четвертаком) в просторечии называли квартом (т. е. четвертаком), поскольку 50 сантимов также равнялись двадцати пяти — хотя и не копейкам, а латвийским рублям. К концу 20-х годов латвийские рубли постепенно были изъяты из обращения.

Стр. 78. *Экспортная гавань* — часть Рижского торгового порта, расположенная за Андреевской гаванью вниз по течению Даугавы.

— *Саркандаугава* (Красная Двина) — район в северной части Риги на правом берегу Даугавы у ее рукава — Саркандаугавы. В период существования буржуазной Латвии в этой окраинной части города, где находилось несколько фабрик, жили преимущественно рабочие. Ныне является частью Октябрьского района города.

Стр. 92. *...сержанты-сверхсрочники с жетонами в память «освободительной борьбы»...* — «Освободительной борьбой» латыш-

ские буржуазные националисты тенденциозно именовали военные действия, которые вела армия буржуазной Латвии в 1918—1920 годах против вооруженных сил трудового народа — Красной Армии, а также в 1919 году против войск германских империалистов, пытавшихся установить здесь господство Германии.

— *Чиновники 16-го и 14-го класса* — низшие степени чиновничьей иерархии в буржуазной Латвии, заимствовавшей свой табель о рангах у царской России.

Стр. 94. «Гараган» — роман немецкого писателя Людвига Вольфа, в 1924—1925 годах печатавшийся на латышском языке в журнале «Неделя».

— *«Неделя»* — иллюстрированный журнал с бульварным уклоном, выходил в Риге с 1922 по 1928 год (с 1926 года под названием «Яуна неделя» — «Новая неделя»).

Стр. 95. *Точно неизвестно, сколько классов окончила она, — может быть, два, а может, три.* — Второй и третий классы гимназии в буржуазной Латвии соответствовали примерно седьмому и восьмому классам советской средней школы.

Стр. 146. *Пороховая башня* — памятник архитектуры XIV—XVI веков — одна из башен городской стены Риги (у начала ул. Смилшу), прикрывавшая въезд в город по главному сухопутному пути и использовавшаяся для хранения пороха. Ныне является частью здания Музея революции Латвийской ССР.

Стр. 147. *Губерман* Бронислав (1882—1947) — выдающийся польский скрипач-виртуоз; автор ряда скрипичных обработок произведений Шопена; в 1926—1929 годах с большим успехом выступал в Латвии.

— *Большая гильдия.* — В средневековой Риге Большой гильдией именовалось объединение крупных и средних купцов города. Оно располагало большим зданием, которое также называли Большой гильдией. При перестройке здания в середине XIX века в нем был сооружен обширный зал, в котором устраивались концерты и т. п. мероприятия. В настоящее время в этом здании помещается концертный зал Государственной филармонии Латвийской ССР (ул. Амату, 6).

— *«Улей»* — возведенный в 1880—1881 годах дом Русского общества в Риге; в этом здании (в настоящее время перестроенном) помещается Государственный Рижский театр русской драмы.

— *Ремесленное общество.* — Рижское ремесленное общество, основанное в 1865 году преимущественно с целью обеспечить

его членам «нравственное воспитание и приятный досуг», объединяло многих рижских торговцев, ремесленников и лиц свободных профессий. Общество располагало собственным зданием (на углу улиц Аудею и Вальню). В здании Ремесленного общества был огромный зал, в котором устраивались концерты, балы, вечера танцев и т. д. В октябре 1944 года, отступая из Риги, немецкие фашисты сожгли это здание. При восстановлении оно перестроено.

Стр. 152. *Улица Грециниеку* — ныне ул. Иманта Судмалиса.

Стр. 164. *«Маска»* — второразрядный кинотеатр в досоветской Риге, находился на месте современного кинотеатра «Спартак».

Стр. 165. *Уоллес Эдгар* (1875—1934) — английский журналист и писатель, автор большого количества детективных романов. Многие из этих романов были изданы в Риге в 20-х годах.

Стр. 169. *«Сплендид»* («Сплендид-Палас») — в настоящее время кинотеатр «Рига».

— *Яннингс Эмиль* (1886—1950) — известный немецкий актер драмы и кино, прославившийся исполнением ролей Петра Первого, Дантона, Отелло, Мефистофеля и др.

Стр. 176. *«Латвияс саргс»* («Страж Латвии») — реакционная газета, выходила с 1919 по 1934 год; была связана преимущественно с крайне националистически настроенными кругами буржуазии Латвии.

Стр. 181. *Даугавгривская крепость* — старинные укрепления на левом берегу Даугавы близ ее устья, за местом впадения в нее р. Буллюпе, прикрывавшие Ригу с моря. Ниже крепости находились аванпорт и зимняя гавань Риги. После первой мировой войны крепость была ликвидирована. Ныне поселок Даугавгрива входит в состав Ленинградского района Риги.

Стр. 182. *Но везде их опережали латгальцы.* — Речь идет о выходцах из Восточной Латвии (Латгалии), главным образом безземельных и малоземельных крестьянах, которые, не имея возможности заработать на хлеб в родных местах, отправлялись в поисках заработка в другие части Латвии, где нанимались батраками в кулацкие хозяйства, лесорубами, строительными рабочими и т. д.

Стр. 212. *«Национальные воины», «орлы».* — Имеются в виду существовавшие в буржуазной Латвии объединения отставных военнослужащих, ставившие своей целью дальнейшее одурманивание отслуживших свой срок солдат националистической, антикоммунистической идеологией, с тем чтобы в случае необходимости использовать их для внесения раскола в ряды сознательных рабочих. Крупнейшим из этих объединений было

Латвийское национальное общество солдат-отставников, при котором действовала спортивная секция, именовавшаяся «Легионом латвийских орлов».

— *«Ястребы»* — члены крайне националистической молодежной организации «Латвияс ванаги» («Латвийские ястребы»).

Стр. 231. *«Видземская Швейцария».* — Так называют район Сигулды, Турайды, Кримулды — сильнохолмистую, поросшую густыми лесами местность Видземе с живописной долиной реки Гауя.

Стр. 238. *Юрьев день.* — В этот день (23 апреля) в Латвии обычно истекал срок контрактов, заключенных между батраками и хозяевами, и батраки, как правило, нанимались к новым хозяевам.

Стр. 246. *...когда ты будешь бачковым...* — т. е. когда будет твоя очередь мыть посуду артели моряков, питающейся из одного бачка.

Стр. 252. *Добровольный флот.* — В условиях быстрого развития капиталистических отношений в России после крестьянской реформы 1861 года остро встал вопрос о развитии в стране транспорта, как сухопутного, так и водного. С призывом о создании усовершенствованных транспортных средств выступили во второй половине XIX века ряд общественных деятелей, отстаивавших главным образом интересы буржуазии. Среди них был также один из руководителей во многом прогрессивного, но буржуазного по своей сути младолатышского движения К. Валдемар. В 1873 году по его инициативе было основано Общество для содействия русскому торговому мореходству, которое в 1878 году стало центром сбора добровольных пожертвований на приобретение быстроходных океанских пароходов, составивших так называемый Добровольный флот. Царское правительство решило пристроиться к этому начинанию и взяло руководство сбором средств в свои руки. В 80-х годах управление Добровольным флотом было передано Морскому министерству. К началу первой мировой войны Добровольный флот включал 42 парохода, которые курсировали главным образом на линии Одесса — Владивосток и между портами Тихого океана.

Стр. 266. *...чиф Рундзинь, которого кочегары называли не иначе, как адмиралом Палочкиным...* — «Рундзиня» по-латышски — «палочка».

Стр. 270. *...всыпать твенти файф* (англ.: twenty five — двадцать пять). — Имеется в виду двадцать пять ударов линьками: телесное наказание, принятое в английском флоте.

Стр. 280. *Топорик.* — На судах латвийского торгового флота корабельному плотнику иногда давали кличку «Топор».

Стр. 284. *Макдональд* Джеймс Рамсей (1866—1937) — английский политический деятель, один из основателей и лидеров лейбористской партии, занимавший правые, крайне оппортунистические позиции. В 1924 году был премьер-министром Великобритании. В 1929—1935 годах снова возглавлял английское правительство, в состав которого входили в основном консерваторы.

— *Шинфейнеры* — члены основанной в 1905 году ирландской мелкобуржуазной националистической партии «Шин фейн» («Мы сами»), которая вела активную борьбу (зачастую террористическими методами) против английского господства в Ирландии. После того как Англия в 1921 году вынуждена была согласиться на создание так называемого Ирландского свободного государства (в него были включены шесть северных графств Ирландии), в среде шинфейнеров произошел раскол. Левые шинфейнеры во главе с де Валерой, требовавшие независимости для всей Ирландии, выступили против правого крыла партии, согласившегося на компромисс с Англией, и начали партизанскую войну (1922—1923 гг.), в которой, однако, потерпели поражение. В последующие годы из представителей бывшего левого крыла шинфейнеров образовалась партия «Фианна файл», а правое крыло их оформилось в партию «Фине гэл»; обе они поныне являются основными политическими партиями в республике Эйре. Некоторые левые шинфейнеры оставили за собой прежнее наименование партии — «Шин фейн». Партия «Шин фейн», в которой ныне выделяются сочувствующее марксизму «официальное» крыло и экстремистское «временное» крыло, предпочитающее террористические методы борьбы, осуществляет политическое руководство боевыми отрядами, существующими с 1919 года под названием Ирландской республиканской армии и ведущими вооруженную борьбу за обеспечение гражданских прав католического (в основной массе малоимущего) населения остающейся под властью Англии Северной Ирландии и за объединение Северной Ирландии с республикой Эйре.

Стр. 347. *Рогачи* — прозвище матросов.

Стр. 369. *Молниеносный Фриц.* — Так на судах латышского торгового флота называли радистов.

Стр. 375. *Примо де Ривера* Мигель (1870—1930) — испанский генерал, совершивший в 1923 году при поддержке королевского двора военный переворот и установивший в Испании дикта-

туру наиболее реакционных кругов эксплуататорских классов и генералитета. В начале 1930 года в обстановке экономического кризиса и резкого обострения недовольства народных масс был смещен королем.

Стр. 395. *Мильрейс* — бразильская денежная единица (равная 1000 рейсам), бывшая в обращении до 1942 года.

Стр. 398. *Пернамбуку* (более правильное название — Ресифи) — портовой город на востоке Бразилии. Является административным центром штата Пернамбуку.

Стр. 453. *В Норте* — то есть в Северной Америке (North America).

Стр. 459. *«Континент»* — фабрика резиновых изделий в Риге (в Задвинье), изготовлявшая, в частности, полицейские резиновые дубинки. В 30-х годах получила новое название — «Метеор», которое сохранилось и в послевоенные годы. В настоящее время — один из филиалов фирмы «Сарканайс квадратс».

Стр. 539. *«Лачплесис»* — эпическая поэма классика латышской литературы Андрея Пумпура (1841—1902), написанная на основе народных преданий, сказок и песен. Русский перевод поэмы, выполненный В. Державиным, впервые издан в 1945 г.

— *«Ниедришу Видвуд»* — эпическая поэма реакционного латышского писателя Е. Лаутенбаха-Юсминя (1847—1928), написанная в 80-х годах прошлого века. Автор ряда эпических опусов, Е. Лаутенбах-Юсминь претендовал на лавры создателя народного эпоса. Однако в художественном и идейном отношении его сочинения были так слабы, что на долгие годы стали объектом нападок и насмешек представителей прогрессивных кругов.

Стр. 585. *Александровские высоты* — психиатрическая больница в Риге, ныне Республиканская психиатрическая больница (на ул. Аптиекас).

Стр. 595. *Верманский парк* — ныне парк имени Кирова; находится между улицами К. Барона, Кирова, П. Стучкас и Меркеля. В 1817 году сад был подарен городу вдовой рижского купца Вермана, именем которой вначале и назывался. В буржуазной Латвии на эстраде в парке устраивались симфонические концерты.

Стр. 610. *Малдон* Волдемар (1870—1941) — известный в буржуазной Латвии пастор, профессор богословия, один из наиболее активных проповедников клерикальной идеологии и буржуазного национализма.

Стр. 649. *Улица Альберта* — ныне улица Ф. Гайля. На этой улице находилось здание охранки буржуазной Латвии.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ МОРСКОЙ ЛЕКСИКИ

Бимсы — поперечные балки, поддерживающие палубу.

Бичкомеры — в зарубежных портовых городах люди без определенных занятий и места жительства, в основном бывшие моряки. Существовали за счет подачек моряков, иногда не брезговали и воровством.

Бордингмастера — содержатели бордингхаузов — пансионов для моряков, иногда подыскивавшие для них работу на судах торгово-пассажирского флота. Посредничая между матросами и судовладельцами, бордингмастера эксплуатировали моряков, присваивая значительную часть их заработка.

Брандмауэр — глухая стена из несгораемого материала, отделяющая на судах котельную от других помещений.

Бунты — груз, уложенный рядами в несколько ярусов.

Бушприт — горизонтальный или наклонный брус, выступающий с носа судна вперед.

Ванты (от голландского want, wandt) — оттяжки к борту из стального или пенькового троса, служащие для укрепления мачт.

Ватершаут — должностное лицо в порту. В конторе ватершаута судовладельцы и капитаны заключали договоры с матросами и другими членами судового экипажа.

Винчман (от английского winch — лебедка) — рабочий, управляющий лебедкой, или старший рабочий, руководящий лебедчиками.

Дункеман — помощник первого механика, смазчик.

Квартердек, квартер — приподнятая на 0,8—1 метр кормовая часть верхней палубы.

Лаг — прибор для определения скорости хода судна.

Лайнеры — транспортные суда, совершающие регулярные рейсы

между двумя портами, в том числе особо быстроходные суда, плавающие между Европой и Америкой, так называемые «трансатлантики».

«Недельники» — каботажные суда, совершавшие непродолжительные рейсы вдоль побережья, не выходя в открытое море.

Стандарт — мера учета пиломатериалов при экспорте их в Англию; содержит 165 кубических футов, или $4^2/_3$ куб. метра, плотной древесной массы.

Стивидор — буквально: «грузовщик»; здесь капиталист-предприниматель, финансирующий погрузочно-разгрузочные и складские работы в морском порту.

Стюард — судовой буфетчик.

Такелаж (от голландского takel — снасть) — совокупность всех корабельных снастей, имеющих служебное назначение.

Грюмный (или трюмер) — в торговом флоте помощник кочегара, подающий ему уголь и выполняющий всевозможные подсобные работы в кочегарке и машинном отделении.

Форман — бригадир грузчиков, руководящий погрузочно-разгрузочными работами на торговых и пассажирских судах, ответственный за правильную укладку грузов в трюмах.

Фальшборт — легкая обшивка борта открытых палуб.

Форпик (от английского Fore-peak) — носовой отсек на гражданских судах, расположенный непосредственно у форштевня. Форпик служит балластной цистерной, необходимой для устойчивой осадки судна.

Форштевень — носовая часть киля; массивная часть, продолжающая киль и образующая носовую оконечность судна.

Фрахт (от немецкого Fracht) — плата за перевозку грузов, а также вообще груз корабля.

Шипшандлеры — портовые торговцы, поставляющие на суда продукты и всевозможные товары, необходимые морякам.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 5
Предисловие автора к первому русскому изданию 20
Часть первая. Пятиэтажный город 23
Часть вторая. По морям 241
Часть третья. Бескрылые птицы 457
Комментарии 677
Краткий словарь морской лексики 686

Вилис Тенисович Лацис
БЕСКРЫЛЫЕ ПТИЦЫ

Редактор *С. Варпа.* Худ. редактор *А. Галевицсс.*
Тех. редактор *Г. Слепкова.*
Подписано к печати с матриц 25 мая 1975 г. Типографская бумага № 3, формат 84×108¹/₃₂. 21,5 физ. печ. л., 36,12 усл. печ. л.; 37,08 уч.-изд. л. Тираж 100000 экз. Цена 1 руб. 23 коп. Издательство «Лиесма», г. Рига, бульвар Падомью, 24. Изд. зак. № 577/27490—Klm. 75. Отпечатано с матриц типографии «Циня» Государственного комитета Совета Министров Латвийской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Рига ул. Блауманя 38/40 в Киргизполиграфкомбинате им. 50-летия Киргизской ССР Госкомиздата Киргизской ССР, г. Фрунзе, ул. Жигулевская, 102, Заказ № 2343.



1 р. 23 к.

ВИЛИС ЛАЦИС

БЕСКРЫЛЫЕ ПТИЦЫ